



4

СТЕФАН ЦВЕЙГ

# СТЕФАН ЦВЕЙГ

СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
В СЕМИ ТОМАХ

**ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ**

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
МОСКВА • 1963

Издание выходит  
под общей редакцией  
Б. Л. Сучкова.

Оформление и иллюстрации  
художника С. Г. Бродского.

МАРИЯ СТЮАРТ



# ВСТУПЛЕНИЕ



Если ясное и очевидное само себя объясняет, то загадка будит творческую мысль. Вот почему исторические личности и события, окутанные дымкой загадочности, ждут от нас все нового осмысления и поэтического истолкования. Классическим, коронным примером того неистощимого очарования загадки, какое исходит порой от исторической проблемы, должна по

праву считаться жизненная трагедия Марии Стюарт. Пожалуй, ни об одной женщине в истории не создана такая богатая литература — драмы, романы, биографии, дискуссии. Уже три с лишним столетия неустанно волнует она писателей, привлекает ученых, образ ее и поныне с неослабевающей силой тревожит нас, добиваясь все нового воспроизведения. Ибо все запутанное по самой природе своей тяготеет к ясности, а все темное — к свету.

Но все попытки отобразить и истолковать загадочное в жизни Марии Стюарт столь же противоречивы, сколь и многочисленны: вряд ли найдется женщина, которую бы рисовали так по-разному — то убийцей, то мученицей, то неумелой интриганкой, то святой. Однако разноречивость ее портретов, как ни странно, вызвана не скудостью дошедших сведений, а их смущающим изобилием. Сохранившиеся документы, протоколы, акты, письма и сообщения исчисляются тысячами — ведь что ни год, вот уже триста с лишним лет, все новые судьи, обуянные новым рвением, решают, виновна она или невиновна. Но чем добросовестнее изучаешь источники, тем с большей грустью убеждаешься в сомнительности всякого исторического свидетельства вообще (а стало быть, и изображения). Ибо ни тщательно удостоверенная давность документа, ни его архивная подлинность еще не гарантируют его надежности и человеческой правдивости. На примере Марии Стюарт, пожалуй, особенно видно, с какими чудовищными расхождениями описывается одно и то же событие в анналах современников. Каждому документально подтвержденному «да» здесь противостоит документально подтвержденное «нет», каждому обвинению — извинение. Правда так густо перемешана с ложью, а факты с выдумкой, что можно, в сущности, обосновать любую точку зрения. Если вам угодно доказать, что Мария Стюарт была причастна к убийству мужа, к вашим услугам десятки свидетельских показаний; а если вы склонны отстаивать противное, за показаниями опять-таки дело не станет: краски для любого ее портрета всегда смешиваются заранее. Когда же в сумятицу дошедших до нас сведений вторгается еще и политическое пристрастие или национальный патриотизм, искажения принимают и вовсе злостный характер. Тако-

ва уж природа человека, что, оказавшись между двумя лагерями, двумя идеями, двумя мировоззрениями, спорящими, быть или не быть, он не может устоять перед соблазном примкнуть к той или другой стороне, признать одну правой, а другую неправой, обвинить одну и воздать хвалу другой. Если же, как в данном случае, и сами авторы в большинстве своем принадлежат к одному из борющихся направлений, верований или мировоззрений, то однобокость их взглядов заранее predetermined; в общем и целом, авторы-протестанты возлагают всю вину на Марию Стюарт, а католики — на Елизавету. Англичане, за редким исключением, изображают ее убийцею, а шотландцы — безвинной жертвой подлой клеветы. Особенно много споров вокруг «писем из ларца»; если одни клятвенно защищают их подлинность, то другие клятвенно ее опровергают. Словом, все до мелочей подцвечено здесь партийным пристрастием. Быть может, поэтому неангличанин и нешотландец, свободный от такой кровной зависимости и заинтересованности, более способен судить объективно и непредвзято; быть может, художнику, охваченному хоть и горячим, но не партийно-пристрастным интересом, скорее дано понять эту трагедию.

Конечно, и с его стороны было бы непростительной смелостью утверждать, будто он знает непреложную правду обо всех обстоятельствах жизни Марии Стюарт. Единственное, что ему доступно, — это некий максимум вероятности, и даже то, что он по всему своему разумению и всей совести сочтет за объективную точку зрения, неизбежно будет носить черты субъективности. Поскольку источники загрязнены, ему приходится в мутных струях искать свою правду. И так как показания современников противоречивы, он вынужден на этом процессе в каждой мелочи выбирать между свидетелями обвинения и свидетелями защиты. Но как бы ни осмотрителен был его выбор, в иных случаях он поступит всего честней, снабдив свое суждение вопросительным знаком и признав, что тот или иной эпизод в жизни Марии Стюарт остался темным, недоступным исследованию и таким, должно быть, останется навсегда.

Поэтому автор представленного здесь опыта взял себе за правило не обращаться к показаниям, исторгнутым

пыткой и другими средствами запугивания и насилия: тот, кому дорога истина, не станет полагаться на вынужденные показания как на заслуживающие доверия. Точно так же и донесения шпионов и послов (в те времена понятия почти равнозначные) лишь с величайшим отбором принимаются здесь во внимание и каждый отдельный документ берется под сомнение; и если автор держится взгляда, что сонеты, а также большая часть «писем из ларца» достоверны, то пришел он к этому, тщательно взвесив все обстоятельства, а также основываясь на мотивах внутреннего характера. Повсюду, где в архивных документах сталкиваются два противоречивых утверждения, автор каждое из них возводил к его истокам и политическим мотивам, и если бывал вынужден сделать между ними выбор, всегда сообразовался с тем, насколько данный поступок психологически созвучен характеру в целом, что и было для него конечным мерилom.

Ибо сам по себе характер Марии Стюарт не представляет загадки, он противоречив лишь во внешнем своем развитии, внутренне же монолитен и ясен от начала до конца. Мария Стюарт принадлежит к тому редкому, глубоко впечатляющему типу женщин, чья способность к бурным переживаниям как бы ограничена коротким сроком, к женщинам, которые знают лишь мгновенный пышный расцвет и расточают себя не постепенно, а словно сгорая в горниле одной-единственной страсти. До двадцати трех лет чувства ее все еще покоятся тихой заводью, да и потом, начиная с двадцати пяти, ни разу не всколыхнулись они бурным прибоем, и только в течение короткого двухлетия флокочет разбушевавшаяся стихия — так обычная, будничная судьба превращается в трагедию античного масштаба, великую и величаво развивающуюся трагедию, подобную «Орестее». Лишь за это двухлетие предстает перед нами Мария Стюарт поистине трагической фигурой, только под этим давлением поднимается она над собой, разрушая в неистовом порыве свою жизнь и в то же время сохраняя ее для вечности. Только благодаря страсти, убившей в ней все человеческое, имя ее еще и сегодня живет в стихах и спорах.

Этой необычайной уплотненностью внутренней жизни, сведенной к единственному мгновенному взрыву, предугазаны форма и ритм всякого жизнеописания Ма-

рии Стюарт; задача художника — воспроизвести эту круто взлетающую и так же внезапно ниспадающую кривую во всем ее неповторимом своеобразии. А потому да не сочтут произволом, что таким большим отрезкам времени, как первые двадцать три года жизни, а также без малого двадцать лет заточения, здесь отведено столько же места, сколько двум годам ее трагической страсти. В жизни человека внешнее и внутреннее время лишь условно совпадают; единственно полнота переживаний служит душе мерилom: по-своему, не как холодный календарь, отсчитывает она изнутри череду уходящих часов. В опьянении чувств, блаженно свободная от пут и благословенная судьбой, она может в кратчайший миг узнать жизнь во всей полноте, чтобы потом, отрешившись от страсти, снова впасть в пустоту бесконечных лет, скользящих теней, глухого Ничто. Вот почему в прожитой жизни идут в счет лишь напряженные, волнующие мгновения, вот почему единственно в них и через них поддается она верному описанию. Лишь когда в человеке разыграют его душевные силы, он истинно жив для себя и для других; только когда его душа раскалена и пылает, становится она зримым образом.

# Действующие лица

<i>Первое место действия</i>	<i>Шотландия 1542—1548</i>
<i>Второе место действия</i>	<i>Франция 1548—1561</i>
<i>Третье место действия</i>	<i>Шотландия 1561—1568</i>
<i>Четвертое место действия</i>	<i>Англия 1568—1587</i>

## ШОТЛАНДИЯ

*Иаков V (1512—1542), отец Марии Стюарт.*

*Мария де Гиз Лотарингская (1515—1560), его супруга, мать Марии Стюарт.*

*Мария Стюарт (1542—1587).*

*Джеймс Стюарт, граф Меррейский (1533—1570), внебрачный сын Иакова V и Маргариты Дуглас, дочери лорда Эрскина, сводный брат Марии Стюарт, регент Шотландии до и после правления Марии Стюарт.*

*Генрих Дарнлей (Стюарт) (1546—1567), правнук Генриха VII по своей матери, леди Ленокс, племяннице Генриха VIII. Второй супруг Марии Стюарт, возведенный ею на шотландский престол.*

*Иаков VI (1566—1625), сын Марии Стюарт и Генриха Дарнлея. После смерти Марии Стюарт (1587) — полноправный шотландский король, после смерти Елизаветы (1603) — английский король Иаков I.*

*Джеймс Хепберн, граф Босуэлский (1536—1578), позднее герцог Оркнейский, третий супруг Марии Стюарт.*

*Уильям Мэйтленд Ледингтонский, государственный канцлер Марии Стюарт.*

*Джеймс Мелвил, дипломатический агент Марии Стюарт.*

*Джеймс Дуглас, граф Мортонский, после убийства Меррея — регент Шотландии, казнен в 1581 году.*

*Мэтью Стюарт, граф Леноксский, отец Генриха Дарнлея; обвинял Марию Стюарт в убийстве своего сына.*

Аргайл  
Аран  
Мортон Дуглас  
Эрскин  
Гордон  
Гаррис  
Хантлей  
Керколди Грейнджский  
Линдсей  
Мар  
Рутвен

лорды, выступающие то как сторонники, то как противники Марии Стюарт; участники бесчисленных заговоров и междоусобиц, они почти все кончают жизнь на эшафоте.

Мэри Битон  
Мэри Флеминг  
Мэри Ливингстон  
Мэри Сетон

четыре Марии, сверстницы и подруги Марии Стюарт.

Джон Нокс (1505—1572), проповедник реформатской церкви, главный противник Марии Стюарт.

Давид Риччо, музыкант, секретарь Марии Стюарт, убит в 1566 году.

Пьер де Шателляр, французский поэт при дворе Марии Стюарт, казнен в 1563 году.

Джордж Бьюкенен, гуманист, воспитатель Иакова VI, автор наиболее злобных пасквилей на Марию Стюарт.

## ФРАНЦИЯ

Генрих II (1518—1559), с 1547 года французский король.

Екатерина Медичи (1519—1589), его супруга.

Франциск II (1544—1560), его старший сын, первый супруг Марии Стюарт.

Карл IX (1550—1574), младший брат Франциска II, после его смерти король Франции.

Кардинал Лотарингский  
Клод де Гиз  
Франсуа де Гиз  
Анри де Гиз

из дома Гизов.

Ронсар  
Дю Белле  
Брантом

авторы, прославлявшие Марию Стюарт в своих творениях.

## АНГЛИЯ

*Генрих VII* (1457—1509), с 1485 года английский король, дед Елизаветы, прадед Марии Стюарт и Дарнлея.

*Генрих VIII* (1491—1547), его сын, правил с 1509 года.

*Анна Болейн* (1507—1536), вторая супруга Генриха VIII; обвиненная в нарушении супружеской верности, была казнена.

*Мария I* (1516—1558), дочь Генриха VIII от брака с Екатериной Арагонской, после смерти Эдуарда VI (1553) — английская королева.

*Елизавета* (1533—1603), дочь Генриха VIII и Анны Болейн, при жизни отца считалась незаконнорожденной; после смерти своей сводной сестры Марии (1558) взошла на английский престол.

*Эдуард VI* (1537—1553), сын Генриха VIII от третьего брака с Джоанной Сеймур, ребенком обручен с Марией Стюарт, с 1547 года — король.

*Иаков I*, сын Марии Стюарт, преемник Елизаветы.

*Уильям Сесил, лорд Берли* (1520—1598), всемогущий государственный канцлер Елизаветы.

*Сэр Фрэнсис Уолсингем*, государственный секретарь и министр полиции.

*Уильям Девисон*, второй секретарь.

*Роберт Дадлей, граф Лестерский* (1532—1588), фаворит Елизаветы, предложенный ею в супруги Марии Стюарт.

*Томас Хоуард, герцог Норфолкский*, первый дворянин королевства, претендовал на руку Марии Стюарт.

*Толбот, граф Шрусберийский*, по поручению Елизаветы был стражем Марии Стюарт в течение пятнадцати лет.

*Эмиас Паулет*, последний тюремщик Марии Стюарт.

*Палач города Лондона.*

## КОРОЛЕВА - ДИТЯ

1542—1548



**М**арии Стюарт не исполнилось и недели, когда она стала королевой Шотландской; так с первых же дней заявляет о себе изначальный закон ее жизни — слишком рано, еще не умея радоваться, приемлет она щедрые дары фортуны. В сумрачный день в декабре 1542 года, увидевший ее рождение в замке Линлитгау, отец ее, Иаков V, лежит в соседнем Фокленде на смертном одре. Тридцать один год королю, а он уже сломлен жизнью, устал от власти и борьбы. Истинный храбрец и рыцарь, жизнелюбец по натуре, он страстно почитал искусство и женщин и был любим народом. Нередко, одетый простолюдином, посещал он сельские праздники, танцевал и шутил с крестьянами, и отчизна еще долго хранила в памяти сложенные им песни и баллады. Но

злосчастный наследник злосчастливого рода, он жил в смутное время в непокорной стране, и это решило его участь. Властный, наглый сосед Генрих VIII побуждает его насадить у себя реформацию, но Иаков V остается верен католицизму, и этим разладом пользуется шотландская знать, вечно впутывающая жизнерадостного, миролюбивого короля в войны и смуты. За четыре года до смерти, когда он искал руки Марии де Гиз, Иаков V уже хорошо понимал, что значит быть королем наперекор строптивым и хищным кланам. «Madame,— писал он ей с трогательной искренностью,— мне всего лишь двадцать семь лет, а жизнь уже тяготит меня, равно как и моя корона... Осиротев в раннем детстве, я был пленником честолюбивой знати; могущественный род Дугласов держал меня в неволе, и я ненавижу это имя и самую память о нем. Арчибалд, граф Энгасский, Джордж, его брат, и все их изгнанные родичи постоянно натравливают на нас английского короля, и нет у меня в стране дворянина, которого он не совратил бы бесчестными посулами и не подкупил золотом. Никогда не могу я быть уверен в своей безопасности, а равно и в том, что воля моя и справедливые законы выполняются. Все это страшит меня, Madame, и от вас жду я поддержки и совета. Без всяких средств, прибавляясь лишь помощью французского короля да щедрыми даяниями моего богатого духовенства, пытаюсь я украшать свои замки, подновлять крепости и строить корабли. Но мои бароны видят в короле, который хочет на деле быть королем, ненавистного соперника. Боюсь, что, невзирая на дружбу французского короля и поддержку его войск, невзирая на преданность народа, мне не одолеть баронов. Я не отступил бы ни перед чем, чтобы проложить моей стране путь к справедливости и миру, и думаю, что преуспел бы, когда бы не было у моей знати могущественного союзника. Английский король неустанно разжигает меж нами вражду, а ереси, насаждаемые им в моем государстве, поражают все сословия вплоть до духовенства и престоляродья. Единственной силою, на которую я и мои предки искони могли опереться, были горожане и церковь, и я спрашиваю себя: долго ли еще они будут нам опорой?»

Поистине это письмо Кассандры — все его зловещие

предсказания сбываются, да и многие другие, еще более тяжкие бедствия обрушиваются на короля. Оба сына, подаренные ему Марией де Гиз, умирают в колыбели, и у Иакова V в его лучшей поре все еще нет наследника короны, которая год от года все более его тяготит. В конце концов непокорные бароны вовлекают его в войну с могущественной Англией, чтобы в критическую минуту предательски покинуть. У Солвейского залива Шотландия узнала не только горечь, но и позор поражения. Войско, покинутое предводителями кланов, трусливо разбежалось, почти не оказав сопротивления, а король, мужественный рыцарь, в этот тяжкий час сражается не с чуждым врагом, а с собственной смертью. В Фокленде лежит он, измученный лихорадкой, утомленный постылой жизнью и бессмысленной борьбой.

В тот хмурый зимний день девятого декабря 1542 года, когда за окнами стоял непроницаемый туман, в ворота замка Фокленд постучал гонец. Он принес измученному, угасающему королю весть о том, что у него родилась дочь, наследница. Но в опустошенной душе Иакова V нет места радости и надежде. Почему не сын, не наследник?.. Обреченный смерти, видит он повсюду лишь несчастье, крушение и безысходное зло. «Женщина принесла нам корону, с женщиной мы ее утратим», — произносит он покорно. Это мрачное пророчество было его последним словом. Глубоко вздохнув, повернулся он к стене и больше ни на что не отзывался. Спустя несколько дней его предали земле, и Мария Стюарт, еще не научившись видеть мир, стала королевой.

Однако быть из рода Стюартов и притом шотландской королевой значило нести двойное проклятие, ибо ни одному из Стюартов не выпало на этом престоле счастливо и долго царствовать. Двое королей — Иаков I и Иаков III — были умерщвлены, двое — Иаков II и Иаков IV — пали на поле брани, а двум их потомкам — этой еще несмышленной крошке и ее кровному внуку Карлу I — судьба уготовила еще более страшную участь — эшафот. Никому из этого рода Атреева не было дано достичь преклонных лет, никому не благоприятствовала судьба и звезды. Вечно воюют они с врагами

внешними, врагами внутренними и с самими собой, вечно окружены смутой и носят смуту в себе. Их страна так же не знает мира, как не знают его они сами. Меньше всего могут они положиться на тех своих подданных, кто должен быть опорой трона,— на лордов и баронов, на все это мрачное и суровое, дикое и необузданное, алчное и воинственное, упрямое и своенравное племя рыцарей,— «un pays barbare et une gent brutelle»<sup>1</sup>, как жалуется Ронсар, поэт, заброшенный в эту страну туманов. Чувствуя себя в своих поместьях и замках маленькими королями, лорды и бароны гонят, точно убойный скот, подвластных им пахарей и пастухов в свои нескончаемые драки и разбойничьи набеги; неограниченные властители кланов, они не знают иной утехи, кроме войны. Их стихия — раздоры, их побуждение — зависть, все их помыслы о власти. «Золото и корысть — единственные сирены, чьих песен заслушиваются шотландские лорды,— пишет французский посол.— Учить их, что такое долг перед государем, честь, справедливость, благородные поступки,— значит лишь вызвать у них насмешку». Драчливые и хищные, как итальянские кондотьеры, но еще более необузданные и неотесанные в проявлении своих страстей, все эти древние могущественные кланы — Гордоны, Гамильтоны, Араны, Мэйтленды, Крофорды, Линдсеи, Леноксы и Аргайлы — вечно грызутся между собой из-за первенства. То они ополчаются друг на друга в бесконечных усобицах, то клятвенно скрепляют в торжественных «бондах»<sup>2</sup> свои недолговечные союзы, сговариваясь против кого-то третьего, вечно сбиваются в шайки и клики, но ничем не связаны меж собой и, будучи все родственниками и свойственниками, на самом деле завистливые и непримиримые враги. В душе это все те же язычники и варвары, как бы они себя ни именовали, протестантами или католиками,— смотря по тому, что им выгоднее,— все те же правнуки Макбета и Макдуфа, кровавые таны, столь блистательно запечатленные Шекспиром.

Только в одном едина неукротимая завистливая свора — в борьбе против своего государя, короля, ибо всем

---

<sup>1</sup> Варварская страна и жестокое племя (франц.).

<sup>2</sup> Договорах (англ.).

им одинаково несносно послушание и незнакома верность. И если эта «кучка негодяев» — «parcel of rascals», как заклеил их шотландец из шотландцев Бернс,— и терпит некое подобие власти над своими замками и прочим достоянием, то лишь из ревности одного клана к другому. Гордоны потому оставляют корону Стюартам, что боятся, как бы она не досталась Гамильтонам, а Гамильтоны — лишь из ревности к Гордонам. Но горе шотландскому королю, вздумай он в своей пылкой, юношеской самонадеянности стать королем на деле, насаждать в стране порядок и добрые нравы и противостоять алчности лордов! Весь этот враждующий между собой сброд тотчас же по-братски сплотится, чтобы свергнуть своего государя; и коль не сладится у них дело мечом, то к их услугам надежный кинжал убийцы.

Трагическая, раздираемая бурными страстями, сумрачная и романтическая, как баллада, эта маленькая, обособленная, омытая морями страна на северной окраине Европы — к тому же еще и нищая, ибо ее истощают нескончаемые войны. Несколько городов — впрочем, какие же это города, — просто сбившиеся под защиту крепости лачуги! — не могут разбогатеть или даже достичь благосостояния. Их вечно грабят и жгут. Замки же аристократов, сумрачные и величавые развалины коих высятся и по сей день, ничем не напоминают настоящих замков, кичащихся своим великолепием и придворным блеском; эти неприступные крепости предназначались для войны — не для мирного гостеприимства. Между немногочисленными разветвленными аристократическими родами и их холопами отсутствовала столь необходимая государству благотворная сила деятельного среднего сословия. Единственная густонаселенная область между реками Твид и Ферт лежит слишком близко к английской границе, и набеги то и дело разоряют ее и опустошают. На севере можно часами бродить вокруг одиноких озер, по пустынным пастбищам или дремучим лесам, не встречая ни селения, ни замка, ни города. Деревни здесь не лепятся друг к другу, как в перенаселенных краях Европы: здесь нет широких дорог, несущих в страну торговлю и деловое оживление, ни пестрящих вымпелами рейдов, как в Голландии, Испании и Англии, откуда отплывают корабли, спеша в далекие океаны за

золотом и пряностями; население еле-еле кормится, пробаваясь овцеводством, рыбной ловлей и охотой, как в дедовские времена; по своим обычаям и законам, по благосостоянию и культуре Шотландия той поры не меньше чем на столетие отстала от Англии и Европы. В то время как в портовых городах повсеместно возникают банки и биржи, здесь, словно в библейские дни, богатство измеряется количеством земли и овец. Все достояние Иакова V, отца Марии Стюарт, составляют десять тысяч овец. У него нет ни сокровищ короны, ни армии, ни лейб-гвардии для утверждения своей власти, ибо он не может их содержать, а парламент, где все решают лорды, никогда не предоставит королю действительных средств власти. Все, что есть у короля, помимо скудного пропитания, дарят ему богатые союзники — Франция и папа; каждый ковер, каждый гобелен, каждый подсвечник в его дворцовых покоях и замках достался ему ценой унижения.

Неизбывная нищета, подобно гнойной язве, истощает политические силы Шотландии, прекрасной, благородной страны. Нужда и алчность ее королей, солдат и лордов делают ее игрушкой в руках иноземных властителей. Кто борется против короля и за протестантизм, тому платит Лондон; кто борется за католицизм и Стюартов, тому платят Париж, Мадрид и Рим; иностранные державы охотно покупают шотландскую кровь. Спор двух великих наций о первенстве все еще не решен, поэтому Шотландия — ближайшая соседка Англии — незаменимый партнер Франции в игре. Каждый раз, как английские войска вторгаются в Нормандию, Франция нацеливает этот кинжал в спину Англии, и воинственные скотты немедленно переходят the border<sup>1</sup>, угрожая своим auld enemies<sup>2</sup>. Но и в мирное время шотландцы — вечная угроза Англии. Поэтому укрепление военных сил Шотландии — первейшая забота французских политиков; Англия же, стравливая лордов и разжигая в стране мятежи, стремится подорвать эти силы. Так несчастная страна становится кровавым полем столетней войны, и только трагическая судьба еще несмышленного младенца окончательно решит этот спор.

<sup>1</sup> Границу (англ.).

<sup>2</sup> Заклятым врагам (средневек. англ.).

Какой великолепный драматический символ: борьба начинается у самой колыбели Марии Стюарт! Младенец еще не говорит, не думает, не чувствует, он едва шевелит ручонками в своем конверте, а политика уже цепко хватает его нерасцветшее тельце, его невинную душу. Таков злой рок Марии Стюарт, вечно втянута она в эту азартную игру. Никогда не сможет она беззаботно отдаться влечениям своей натуры, постоянно ее впутывают в политические интриги, делают объектом дипломатических уловок, игрушкой чужих интересов, всегда она лишь королева или претендентка на престол, союзница или враг. Не успел гонец доставить в Лондон обе вести, что Иаков V скончался и что у него родилась дочь, наследная принцесса и королева Шотландии, как Генрих VIII Английский решает заручиться этой драгоценной невестой для своего малолетнего сына Эдуарда; еще несложившимся телом, еще дремлющей душой распоряжаются, как товаром. Но политика не считается с чувствами, она принимает в расчет только короны, государства и права наследования. Отдельный человек для нее не существует, он ничего не значит по сравнению с мнимыми и реальными целями всемирной игры. Правда, в этом конкретном случае намерение Генриха VIII обручить престолонаследницу Шотландии с престолонаследником Англии разумно и даже гуманно. Непрерывная война между двумя братскими странами давно утратила всякий смысл. Перед народами Англии и Шотландии, живущими на одном острове, под защитой и угрозой одного моря, родственными по происхождению и условиям жизни, несомненно, стоит одна задача: объединиться. Природа на сей раз недвусмысленно явила свою волю. И только соперничество обеих династий Тюдоров и Стюартов препятствует выполнению задачи. Если бы удалось благодаря этому браку превратить спор в союз, общие потомки Стюартов и Тюдоров стали бы одновременно править Англией, Шотландией и Ирландией, и объединенная Великобритания могла бы отдать свои силы более сложной борьбе — за мировое первенство.

Но такова ирония судьбы: едва лишь в политике в виде исключения блеснет ясная, разумная идея, как ее искажают неумным исполнением. Сначала все идет как по маслу: сговорчивые лорды, которым щедро заплаче-

но, охотно голосуют за брачный договор. Однако умудренный опытом Генрих VIII не удовлетворяется клочком пергамента. Ему слишком хорошо знакомы лицемерие и жадность этих благородных господ, и он понимает, что на них нельзя положиться и что за бóльшую сумму они тут же перепродадут малютку-королеву французскому дофину. А потому Генрих VIII требует от шотландских посредников в качестве первейшего условия немедленной выдачи ребенка. Но если Тюдоры не верят Стюартам, то Стюарты платят им тою же монетой; особенно противится договору королева-мать. Набожная католичка, дочь Гизов не хочет отдать свое дитя веротступникам и еретикам, а кроме того, не требуется большой пронизательности, чтобы обнаружить в договоре опасную ловушку. Особым, секретным пунктом посредники обязались в случае преждевременной смерти ребенка содействовать тому, чтобы «вся полнота власти и управление королевством» перешли к Генриху VIII. Тут есть над чем задуматься! От человека, который уже двух жен отправил на эшафот, всего можно ждать: в своем нетерпении завладеть желанным наследством он еще, пожалуй, постарается, чтобы ребенок умер поскорей — и не своею смертью; поэтому заботливая мать отклоняет требование о выдаче малютки Лондону. Сватовство едва не приводит к войне. Генрих VIII посылает войска, чтобы захватить драгоценный залог, и отданный по армии приказ красноречиво говорит об откровенной бесчеловечности века: «Его Величество повелевает все предать огню и мечу. Спалите Эдинбург дотла и сровняйте с землей, как только вынесете и разграбите все, что возможно... Разграбьте Холируд и столько городов и сел вокруг Эдинбурга, сколько встретите на пути; отдайте на поток и разграбление Лейт и другие города, а где наткнетесь на сопротивление, без жалости истребляйте мужчин, женщин и детей».

Как гуны, вторглись вооруженные орды Генриха VIII в Шотландию. Но мать и дитя своевременно укрылись в укрепленном замке Стирлинг, и Генриху VIII пришлось удовольствоваться договором, по которому Шотландия обязалась выдать Марию Стюарт Англии (вечно ее продают и покупают, как товар!) в день, когда ей исполнится десять лет.

Казалось бы, все уладилось к общему удовольствию. Но политика во все времена была наукой парадоксов. Ей чужды простые, разумные и естественные решения: создавать трудности — ее страсть, сеять вражду — ее призвание. Вскоре католическая партия пускается в интриги, выясняя исподтишка, не выгоднее ли сбить дитя — оно еще только лепечет и улыбается — французскому дофину, а после смерти Генриха VIII никто уже и не думает о выполнении договора. Но теперь выдачи малютки-невесты от имени малолетнего короля Эдуарда требует английский регент Соммерсет, и, так как Шотландия противится, он опять посылает войска, ибо с лордами можно говорить только на одном языке — языке силы. Десятого сентября 1547 года в битве, — вернее, бойне — при Пинки шотландская армия была разбита наголову, более десяти тысяч трупов усеяли поле брани. Марии Стюарт не исполнилось и пяти лет, а из-за нее уже рекой льется кровь.

Перед англичанами лежит беззащитная Шотландия. Но в разграбленной стране нечего взять; Тюдоров же интересуется единственное сокровище — ребенок, олицетворяющий корону и преемство трона. Однако, к великому огорчению английских шпионов, Мария Стюарт неожиданно и бесследно исчезла из замка Стирлинг; даже наиболее приближенные лица не знают, куда спрятала ее королева-мать. Новый надежный тайник выбран превосходно: ночью преданные слуги под строжайшим секретом отвозят ребенка в монастырь Инчмэхом, укрывшийся на небольшом островке среди озера Ментит — «dans les pays des sauvages»<sup>1</sup>, как сообщает французский посол. Ни одна тропка не ведет в заповедные места; драгоценный груз доставляют в лодке на остров и там поручают заботам благочестивых иноков, никогда не покидающих обитель. Здесь, в надежном убежище, вдали от беспокойного, взбаламученного мира, живет, ничего не ведая, невинное дитя, меж тем как дипломатия, раскинув свои сети над морями и странами, усердно занимается его судьбой. Ибо на арену, угрожая, выступает Франция, чтобы не дать Англии полностью подчинить себе Шотландию. Генрих II, сын Франциска I, посылает в Шотландию сильную эскадру, и генерал-лей-

<sup>1</sup> В краю дикарей (франц.).

тенант французского вспомогательного корпуса просит от его имени руки Марии Стюарт для малолетнего дофина Франциска. Политический ветер, резко и порывисто задувший из-за пролива, круто повернул судьбу ребенка: вместо того чтобы сделаться английской королевой, маленькая дочь Стюартов внезапно предназначена в королевы Франции. Едва лишь новое и более выгодное соглашение заключено, как седьмого августа драгоценный объект сделки, девочку Марию Стюарт пяти лет восьми месяцев от роду, сажают на корабль и отвозят во Францию, запродав другому, столь же незнакомому супругу. Вновь — и не в последний раз — чужая воля определяет и изменяет ее судьбу.

Неведение — великое преимущество детства. Что знает трехлетнее, четырехлетнее, пятилетнее дитя о войне и мире, о битвах и договорах? Что ему Франция или Англия, Эдуард или Франциск, что ему неистовое безумие, охватившее мир? Длинноногая девочка с развевающимися белокурыми локонами бегает и резвится в мрачных и светлых покоях замка вместе с четырьмя своими сверстницами-подружками. Ибо ей — чудесная идея в столь варварский век — отобрали среди лучших семейств Шотландии четырех подруг, ее однолеток: Мэри Флеминг, Мэри Битон, Мэри Ливингстон и Мэри Сетон. Дети, как и она, они сегодня весело играют с малюткой королевой, завтра они разделят ее одиночество на чужбине, чтобы чужбина не казалась ей совсем уж чуждой, позднее сделаются ее придворными дамами и однажды, в особенно задушевную минуту, поклянутся выйти замуж не раньше, чем их госпожа изберет себе супруга. И если три из них покинут королеву в несчастье, то одна последует за ней и в изгнание и пребудет ей верна до самого смертного часа; так отблеск блаженного детства озарит и ее последние, страшные минуты. Пока же пять девочек весело играют изо дня в день то в замке Холируд, то в замке Стирлинг, не задумываясь о таких вещах, как королевское достоинство и величие, ведущее к опасной гордыне. Но однажды вечером маленькую Марию поднимают с постели, в сумраке ночи на озере ждет лодка, чтобы отвезти ее на тихий,

благостный остров — Инчмэхом зовут его, что значит «мирная обитель». Какие-то незнакомые люди, одетые не так, как все, в черных широких развевающихся рясах, приветствуют ее. Добрые и кроткие, они чудесно поют в высоком зале с цветными окнами, и девочка быстро привыкает к ним. Но вскоре ее опять увозят вечером (и не однажды придется Марии Стюарт бежать под покровом ночи от одной судьбы к другой); и вот она на высоком корабле со скрипящими мачтами и белыми парусами; кругом чужие солдаты и бородатые матросы. Но маленькая Мария не боится. Все они добры и ласковы с ней; семнадцатилетний сводный брат Джеймс, один из многочисленных бастардов Иакова V, рожденных до его брака, гладит ее пушистые белокурые волосы, да и четыре Марии, ее любимые подружки, тоже с нею. Пять девочек, радуясь новым впечатлениям, как радуются дети всякой перемене, резвятся меж пушками французского военного судна и закованными в латы моряками. А высоко на марсе матрос опасливо вглядывается в даль; он знает: по проливу курсирует английский флот в надежде захватить невесту английского короля, пока она не стала нареченной французского дофина. Но ребенок видит только то, что рядом и что ему ново; он видит: море синее, люди добрые, и корабль, фыркая, как исполинский зверь, прокладывает себе в волнах дорогу.

Тринадцатого августа галеон входит в Росков, небольшой портовый город близ Бреста. Шлюпки пристали к берегу, и, по-детски радуясь чудесному приключению, беспечная, шаловливая шестилетняя королева Шотландская спрыгнула на французскую землю. На этом кончается ее детство, начинается пора обязанностей и испытаний.

## ЮНОСТЬ ВО ФРАНЦИИ

1548—1559



Французский двор — великий знаток благородных обычаев, ему до тонкости известны правила загадочной науки, именуемой этикетом. Кто-кто, а уж Генрих II Валуа доподлинно знает, с какими почестями должно встречать нареченную дофина. Еще до ее прибытия подписывает он указ о том, чтобы маленькую королеву Шотландскую — *la geinette* — приветствовали на ее пути по всем градам и весям так почтительно, как если бы то была его родная дочь. Уже в Нанте Марию Стюарт ждут восхитительные знаки внимания. Мало того, что на всех площадях воздвигнуты арки с классическими эмблемами, со статуями языческих богинь, нимф и сирен; придворной свите для пущего веселья не жалеют отменного вина. Щедро палят из пушек и жгут

фейерверки; впереди малытки-королевы выступает крошечное войско — сто пятьдесят мальчиков в белоснежной одежде, с трубами и барабанами, с миниатюрными пиками и алебардами — своего рода почетный эскорт. И так из города в город, нескончаемой вереницей празднеств следует она до Сен-Жерменского дворца. Здесь шестилетняя девочка впервые встречает своего нареченного, которому не исполнилось еще и пяти лет, и хилый, бледный, рахитичный мальчик — ему на роду написана хворость и ранняя могила, ибо в жилах у него течет отравленная кровь, — смущенно и робко приветствует свою «невесту». Тем радушнее принимают ее остальные члены королевской фамилии, очарованные ее детской прелестью, а восхищенный Генрих II называет ее в письме «la plus parfayt enfant que je vus jamés»<sup>1</sup>.

Французский двор в эти годы — один из самых блестящих и пышных в мире. Только что миновало мрачное средневековье, и последние романтические отблески умирающего рыцарства еще озаряют поколение переходной эпохи. По-прежнему сила и храбрость проявляют себя в стародавних суровых и мужественных потехах: охоте, игрищах, турнирах, приключениях, войне, но в высших кругах общества уже одерживает верх духовное начало; гуманизм завоевывает след за монастырями и университетами и королевские замки. Из Италии во Францию в победном шествии проникают излюбленный папами культ роскоши, характерное для Ренессанса тяготение к духовно-чувственным наслаждениям, увлечение изящными искусствами; в это историческое мгновение здесь возникает новый идеал, единственное в своем роде сочетание силы и красоты, беспечности и отваги — высокое искусство презирать смерть и в то же время страстно любить жизнь. Естественнее и свободнее чем где бы то ни было объединяются во французском характере горячий темперамент с беззаботной легкостью, галльская *chevalerie*<sup>2</sup> чудесным образом гармонирует с классической культурой Ренессанса. От дворянина наравне с умением, облачившись в тяжелые доспехи, стремительно атаковать противника на турнире, требуется и

---

<sup>1</sup> Самый прелестный ребенок, какого мне довелось видеть (франц.).

<sup>2</sup> Рыцарственность (франц.).

безукоризненное выполнение замысловатых танцевальных фигур, он должен постичь как суровую науку войны, так и галантные законы придворной куртуазии; одна и та же рука должна разить тяжелым двуручным мечом, чувствительно играть на лютне и писать сонеты даме сердца. Сочетать в себе полярные противоположности — силу и нежность, суровость и изысканность, быть равно оснащенным для боя и для духовного поединка — вот идеал того времени. Днем король и его дворяне на взмыленных скакунах носятся в погоне за оленями и вепрями и скрещивают мечи и копья на турнирах, а вечерами кавалеры и знатные дамы собираются в заново отделанных с небывалой роскошью дворцах — Лувре, Сен-Жермене, Блуа и Амбуазе — для изысканных развлечений. При дворе читают стихи, поют мадригалы, музицируют, возрождают в маскарадах дух античности. Множество красивых, нарядных женщин, творения таких поэтов и художников, как Ронсар, Дю Белле и Клуэ, сообщают двору невиданную красочность и жизнерадостность, с небывалой щедростью проявляющиеся во всех областях искусства и жизни. Как и вся Европа накануне злосчастных религиозных войн, Франция той поры стоит перед великим расцветом культуры.

Тот, кому предстоит жить при таком дворе, а тем более царить в нем, должен отвечать этим новым культурным запросам. Он должен стремиться овладеть всеми искусствами и знаниями, совершенствуя свой ум, равно как и свое тело. Навсегда послужит к чести гуманизма, что от тех, кто готовил себя к власти, он требовал знакомства со всеми видами искусств. Пожалуй, никогда еще не уделялось столько внимания безукоризненному воспитанию не только мужчин высшего сословия, но и женщин — этим открывалась новая эра. Как и Мария Английская и Елизавета, изучает Мария Стюарт классические языки — греческий и латынь, а также современные — итальянский, английский, испанский. Благодаря острому, живому уму и унаследованному predisposition к всему изящному одаренной девочке все дается шутя. Уже тринадцати лет, изучив латынь по «Беседам» Эразма, она в Лувре перед всем двором произносит речь собственного сочинения, и ее дядя,

кардинал Лотарингский, с гордостью сообщает матери, Марии де Гиз: «Душевное величие, красота и мудрость Вашей дочери столь возросли и возрастают с каждым днем, что она уже сейчас владеет в совершенстве всеми славными и благородными науками, и ни одна из дочерей дворянского или иного сословия в этом королевстве не может с ней сравниться. Я счастлив сообщить Вам, что король очень к ней привязан, иногда он более чем по часу беседует с ней одной, и она так умеет занять его разумными и здоровыми речами, как впору и двадцатипятилетней!».

И в самом деле, умственно Мария Стюарт развилась необычайно рано. Она в короткое время настолько овладела французским, что пробует свои силы и в стихах, достойно отвечая на хвалебные оды таких поэтов, как Ронсар и Дю Белле; и не только в придворной игре «на случай» тешит она муз, нет, в самые горькие минуты юная королева, полюбившая поэзию и полюбившаяся поэтам, изливает свои чувства в стихах. Впрочем, тонкий вкус проявляется у нее и в других искусствах: она очаровательно поет, аккомпанируя себе на лютне, и покоряет всех танцами; ее вышивки говорят не только об умении, но и одаренности; она и одевается с отменным вкусом, без той помпезной роскоши, какую чванится Елизавета, щеголяющая в своих широчайших робах,— Мария Стюарт одинаково мила и естественна и в пестрой шотландской юбочке и в торжественном одеянии. Такт и чувство прекрасного у нее природные, а свою величественную, ничуть не театральную осанку — источник поэтического очарования, прославившего ее в веках, — дочь Стюартов сохранит и в самые тяжкие минуты, как драгоценное наследие королевской крови и княжеского воспитания. Но и в телесных упражнениях — неутомимая наездница, страстная охотница, искусный игрок в мяч — она едва ли уступает самым закаленным атлетам этого рыцарственного двора; ее стройное тело отроковицы, при всей своей грации, не знает усталости. Самозабвенно и радостно, блаженно и беззаботно припадает она ко всем источникам романтической юности, не подозревая, что величайшее счастье своей жизни она уже исчерпала без остатка. Вряд ли в ком рыцарско-романтический идеал женщины французского Ренессанса нашел более со-

вершенное воплощение, чем в этой жизнерадостной и пылкой принцессе.

Но не только музы — и боги благословили ее колыбель. Душевные совершенства сочетаются у Марии Стюарт с необычайным телесным очарованием. Едва ребенок стал девушкой, женщиной, как поэты наперебой спешат воспеть ее красоту. «На пятнадцатом году красота ее воссияла, как свет яркого дня», — возглашает Брантом, и еще более пламенно — Дю Белле:

En vôtre esprit le ciel s'est surmonté  
Nature et art ont en vôtre beauté  
Mis tout le beau dont la beauté s'assemble.

Чтобы, как в зеркале, обворожая нас<sup>1</sup>,  
Явить нам в женщине величие богини,  
Жар сердца, блеск ума, вкус, прелесть форм и линий,  
Вас людям небеса послали в добрый час.

Природа, захотев очаровать наш глаз  
И лучшее затмить, что видел мир доныне,  
Так много совершенств собрав в одной картине,  
Все мастерство свое вложила щедро в вас.

Творя ваш светлый дух, бог превзошел себя.  
Искусства к вам пришли, гармонию любя,  
Ваш облик завершить, прекрасный от природы,

И музой дар певца мне дан лишь для того,  
Чтоб сразу в вас одной, на то не тратя годы,  
Воспел я небеса, природу, мастерство.

Лопе де Вега восторженно слагает ей гимны: «Звезды даровали ее глазам свой нежнейший блеск, а ланитам — краски, придающие ей столь удивительную прелесть». После смерти Франциска Ронсар вкладывает в уста его брата Карла IX следующие строки, исполненные почти завистливого восхищения:

Avoir joui d'une telle beauté  
Sein contre sein, valoit ta royauté.

Кто грудь ее ласкал, забыв на ложе сон,  
За эту красоту отдаст, не дрогнув, трон.

---

<sup>1</sup> Здесь и далее стихи даются в переводе В. Левика.

Дю Белле как бы суммирует все похвалы, расточаемые Марии Стюарт во многих описаниях и стихах, восторженно восклицая:

Contentez vous mes yeux,  
Vous ne verrez jamais une chose pareille.

Глядите на нее, мои глаза,—  
Нет больше в мире красоты подобной.

Но ведь поэты — заведомые льстецы, а особенно придворные пииты, когда они прославляют свою владительницу; с тем большим интересом вглядываемся мы в ее портреты той поры, зная, что залогом их достоверности служит мастерская кисть Клуэ, и хоть не испытываем разочарования, однако не разделяем и чрезмерных восторгов. Перед нами не блистательная, а скорее пикантная красота: милый нежный овал, которому чуть заостренный нос придает легкую неправильность, сообщающую женскому лицу какое-то особое очарование. Мягкие темные глаза с поволокой загадочно мерцают, безмятежные губы затаили еще неведомую тайну; поистине природа не пожалела для этой принцессы драгоценнейших своих материалов, подарив ей изумительно белую с матовым отливом кожу, густые пепельные волосы, прихотливо перевитые жемчужными нитями, длинные, тонкие, белоснежные пальцы, стройный, гибкий стан, «...dont le corsage laissait entrevoir la neige de sa poitrine et dont le collet relevé droit decouvrait le pur modelé de ses épaules»<sup>1</sup>.

В этом лице не найдешь изъяна, но именно холодная безупречная красота лишает его всякой характерности. Глядя на портрет этой прелестной девушки, вы ничего о ней не узнаете, да и сама она ничего толком о себе не знает. В ее лице еще не видна женщина — приветливо и ласково глядит на вас хорошенькая кроткая институтка.

Об этой незрелости, этой душевной спячке свидетельствуют, несмотря на велеречивые восторги, и устные отзывы. Превознося изысканные манеры, блестящее воспитание, примерное усердие и светский такт Марии Стюарт, все они характеризуют ее лишь как первую ученицу. Мы узнаем, что она прилежно учится и любезна в раз-

---

<sup>1</sup> «...корсаж приоткрывает ее белоснежную грудь, а высокий стоячий ворот подчеркивает безупречные линии плеч» (франц.).

говоре, что она почтительна и набожна и отличается во всех искусствах и играх, не выказывая особого расположения к чему-либо определенному, что она усердно и послушно овладевает всей разнообразной программой, предписанной невесте короля. Но все восхищаются лишь ее безличными, светскими качествами; о человеке, о характере никто ничего не сообщает, и это показывает, что все своеобразное, существенное в ней скрыто от постороннего глаза — просто потому, что ее душа еще не расцвела. И еще долгие годы блестящее воспитание и светский лоск принцессы будут скрывать силу страсти, на какую окажется способна женщина, когда все существо ее раскроется, всколыхнувшись до заветных глубин. От чистого лба веет холодом; приветливо и нежно улыбается рот; презят и ищут темные глаза, устремленные пока лишь во внешний мир, еще не заглянувшие в собственную душу; никто не знает — Мария Стюарт сама не знает о роковом наследии в своей крови и таящихся в нем опасностях. Только страсти дано сорвать покров с женской души, только через любовь и страдание вырастает женщина в полный свой рост.

Многообещающее развитие девочки, в которой видна уже будущая королева, приводит к тому, что со свадьбой торопят, назначая ее раньше срока; даже и тут стрелки на часах жизни Марии Стюарт бегут быстрее, чем у ее сверстниц. Нареченному едва минуло четырнадцать лет, к тому же бледный, тщедушный мальчик слаб здоровьем, но политика в этом случае нетерпеливее природы, она не хочет и не может ждать. Французский двор потому так подозрительно и спешит с завершением брачной сделки, что ему хорошо известна хилость и пагубная болезненность принца, о которой докладывают озабоченные врачи. Для Валуа главное в этом браке — обеспечить себе шотландскую корону; вот почему обоих детей с такой поспешностью тащат к алтарю. По брачному договору, составленному вместе с посланцем шотландского парламента, дофин получает «the matrimonial crown» — корону соправителя Шотландии; но одновременно Гизы, родственники Марии Стюарт, втихомолку вымогают у пятнадцатилетней Марии, которая

не ведает, что теорит, и другой документ, неизвестный шотландскому парламенту; Мария Стюарт обязуется в нем на случай преждевременной смерти или за отсутствием наследников отписать свою страну по духовной, словно это ее личное владение, а также и свои наследственные права на английский и ирландский престол — французской короне.

Разумеется, этот акт — недаром его подписывают так секретно — недобросовестный маневр. Мария Стюарт не вправе произвольно менять условия преемства, завещать свое отечество чужеземной династии, как плащ или другое личное имущество; но дядья понуждают беспечную руку подписать его. Трагический символ: первая подпись, выведенная Марией Стюарт на политическом документе под давлением своих родичей, становится вместе с тем и первой ложью этой глубоко искренней, доверчивой, открытой натуры. Чтобы стать королевой и пребыть королевой, ей уже нельзя будет держаться правды: человек, который закабалился политике, больше себе не принадлежит и подчиняется иным законам, нежели священные законы сердца.

Эти тайные махинации скрыты от мира великолепным зрелищем свадебных торжеств. Уже свыше двухсот лет ни один французский дофин не сочетался браком у себя на родине, и двор Валуа считает долгом потешить свой неизбалованный народ неслыханно пышным празднеством. У Екатерины из дома Медичи сохранились в памяти картины торжественных шествий Ренессанса, которые устраивались в Италии по эскизам известных художников: затмить эти красочные воспоминания детства торжественной свадьбой своего отпрыска — для нее дело чести. В этот день, двадцать четвертого апреля 1558 года, праздничный Париж становится столицей мира. Перед Нотр-Дам воздвигается открытый павильон с балдахинном голубого кипрского шелка, затканного золотыми лилиями, к нему ведет такой же расшитый лилиями ковер. Впереди процессии выступают музыканты в красной и желтой одежде, они играют на различных инструментах, а за ними под ликование восторженных толп следует, сверкая драгоценными уборами, коро-

левский кортеж. Венчание совершается всенародно, тысячи, десятки тысяч глаз устремлены на невесту бледного, чахлого мальчика, изнемогающего под тяжестью своего великолепия. Придворные пииты, конечно, и на сей раз не упускают случая воспеть в восторженных хвалах красоту невесты. «Она предстала перед нами,— в экстазе повествует Брантом, обычно охотнее рассказывающий свои галантные анекдоты,— во сто крат прекраснее, чем небесная богиня»,— и возможно, что в зените счастья эта до страсти честолюбивая женщина действительно излучала особое обаяние. В тот час юная, цветущая девушка, со счастливой улыбкой кивавшая толпе, вкушала, быть может, величайшее торжество своей жизни. Рядом с первым принцем Европы, в сопровождении блестящей свиты проезжает Мария Стюарт по улицам, до самых крыш гремящим приветственными кликами — никогда больше подобный прибой богато разодетых, восторженных и ликующих толп не будет кипеть у ее ног. Вечером во Дворце юстиции устраивается открытый банкет, и восхищенные парижане теснятся вокруг, пожирая глазами юную деву, принесшую Франции вторую корону. Знаменательный день завершается балом, для которого художники не пожалели хитрых выдумок. Шесть раззолоченных кораблей с парусами из серебряной парчи, влекомые невидимыми машинистами, словно покачиваясь на бурных волнах, вползают в зал. В каждом сидит разодетый в золото, скрывшийся под узорчатую маску принц и грациозным жестом приглашает к себе одну из дам королевской фамилии: Екатерину Медичи — королеву, Марию Стюарт — наследницу престола, королеву Наваррскую и принцесс — Елизавету, Маргариту и Клод. Это представление должно символизировать счастливое плавание по волнам жизни, полной роскоши и блеска. Но человеку не дано управлять судьбой: после этого единственно беззаботного дня, жизненный корабль Марии Стюарт поплывет к иным, опасным берегам.

Первая опасность подкралась неожиданно. Мария Стюарт — давно уже коронованная владычица Шотландии, к тому же *le Roi Dauphin*, французский наследник, возвел ее в сан своей супруги, и, значит, над ее головой незримо сверкает вторая, еще более драго-

ценная корона. Но тут судьба шлет ей пагубное искушение, поманив еще и третьей короной, и Мария Стюарт с детской непосредственностью, в ослеплении, не получив своевременного мудрого остережения, потянулась к ней, прельщенная ее коварным блеском. В тот самый 1558 год, когда она стала супругой французского наследника, скончалась Мария, королева Английская, и на престол вступила ее сводная сестра Елизавета. Но действительно ли Елизавета — законная наследница престола? У женолюбивого Генриха VIII — Синей бороды — было трое детей: сын Эдуард и две дочери, Мария — от брака с Екатериной Арагонской и Елизавета — от брака с Анной Болейн. После скоропостижной смерти Эдуарда Мария, как старшая и рожденная в неоспоримо законном браке, стала наследницей престола. Но она умирает бездетной; является ли теперь законной наследницей Елизавета? Да, утверждают юристы английской короны, ибо епископ скрепил брак Генриха VIII и Анны Болейн, а папа признал его. Нет, утверждают юристы французской короны, ибо Генрих VIII впоследствии объявил свой брак с Анной Болейн недействительным, а Елизавету — особым парламентским указом — незаконнорожденной. Если это так, а на том стоит весь католический мир, то, как бастард, Елизавета не может взойти на английский престол, и притязать на него вправе не кто иной, как правнучка Генриха VII — Мария Стюарт.

Итак, шестнадцатилетней неопытной девочке выпало принять решение всемирно-исторической важности. Перед Марией Стюарт два пути. Она может проявить уступчивость и политичность и признать свою кузину Елизавету правомочной королевой Англии, отказаться от своих притязаний, ибо защитить их можно лишь с оружием в руках. Или же она может смело и решительно обвинить Елизавету в захвате короны и призвать к оружию шотландскую и французскую армии для свержения узурпаторши. Роковым образом Мария Стюарт и ее советчики избирают третий, самый пагубный в политике, средний путь. Вместо сильного, решительного удара французский двор лишь хвастливо замахивается на Елизавету: по приказу Генриха II дофин и его супруга вносят в свой герб английскую корону, а Мария Стюарт

официально и в документах титулуется «Regina Franciae, Scotiae, Angliae et Hiberniae»<sup>1</sup>.

Таким образом, притязание заявлено, но никто его не отстаивает. С Елизаветой не воюют, ее лишь дразнят. Вместо решительных действий огнем и мечом бессильный жест: перед Елизаветой потрясают размалеванной деревяшкой и исписанным клочком бумаги. Создается нелепое положение: Мария Стюарт и претендует на английский престол и не претендует. О ее притязаниях то молчат, то вдруг извлекают их из-под спуда. Так, на требование Елизаветы воротить ей по договору Кале Генрих II отвечает: «В таком случае Кале следует передать супруге дофина, королеве Шотландской, которую все мы почитаем законной королевой Англии». Однако тот же Генрих II и пальцем не пошевелил, чтобы защитить притязания своей невестки; он и сейчас продолжает вести переговоры с так называемой узурпаторшей, как с равноправной монархиней.

Своим нелепым ребяческим жестом, своим тщеславно намалеванным гербом Мария Стюарт так ничего и не добилась, а погубила все. У каждого в жизни бывают ошибки, которые никогда и ничем не исправишь. Так случилось и с Марией Стюарт: политическая бестактность, совершенная в отрочестве, и скорее из упрямства и тщеславия, чем по обдуманному решению, приводит ее к гибели, ибо, нанеся подобное оскорбление могущественнейшей женщине Европы, она навивает в ней непримиримого врага. Истинная властительница может многое стерпеть и простить, но только не сомнение в своем праве на власть. Естественно, что с этой минуты Елизавета рассматривает Марию Стюарт как опаснейшую соперницу, как тень за своим тронном. Отныне, что бы ни говорили и ни писали друг другу обе королевы, все будет притворством и ложью, попыткой замаскировать тайную вражду; но эту трещину ничем уже не закроешь. В политике, как и в жизни, полумеры и виляние причиняют больше вреда, нежели энергичные и решительные действия. Всего лишь символически вписанная в герб Марии Стюарт английская корона будет стоять больше крови, чем пролилось бы ради настоящей короны в на-

<sup>1</sup> Королева Французская, Шотландская, Английская и Ирландская (лат.).

стоящей войне. Открытая борьба раз и навсегда внесла бы в дело полную ясность, тогда как подспудная, лукавая борьба постоянно возобновляется, отравляя обеим женщинам жизнь и власть.

Роковой герб с английскими регалиями фигурирует также на турнире по случаю мира, заключенного в Като-Камбрези: в июле 1559 года его горделиво несут для общего обозрения перед le Roi Dauphin и la Reine Dauphine. Рыцарственный король Генрих II не упускает случая преломить копье pour l'amour des dames<sup>1</sup>, и каждый понимает, какую даму он имеет в виду: красавицу Диану де Пуатье, горделиво взирающую из ложи на своего царственного возлюбленного. Но безобидная игра внезапно обращается в нечто крайне серьезное. Этому поединку суждено решить судьбу истории. Капитан шотландской лейб-гвардии Монтгомери, чье копье уже расколосось, так неловко хватил древком своего противника — короля, что ранил его в глаз, и король замертво упал с коня. Рану поначалу считают неопасной, но король так и не приходит в себя; охваченные ужасом, стоят у ложа умирающего члены его семьи. Несколько дней могучий организм храброго Валуа борется со смертью, и, наконец, десятого июля сердце его перестает биться.

Французский двор и в минуты глубокой скорби чтит обычай, как высшего своего властелина. Когда королевская фамилия покидала замок, Екатерина Медичи, супруга Генриха II, вдруг замедлила шаг у порога: с этого часа, сделавшего ее вдовой, первое место при дворе принадлежит женщине, которую этот же час возвел на трон Франции. Трепетным шагом, смущенная и растерянная, переступает Мария Стюарт порог — супруга нового французского короля проходит мимо вчерашней королевы. Этим единственным шагом семнадцатилетняя отроковица опередила всех своих сверстниц, достигнув высшей ступени власти.

---

<sup>1</sup> Ради любви прекрасных дам (франц.).

# ВДОВСТВУЮЩАЯ КОРОЛЕВА И ВСЕ ЖЕ КОРОЛЕВА

*С июля 1560 по август 1561 года*



**Н**и что так резко не повернуло линию жизни Марии Стюарт в сторону трагического, как та коварная легкость, с какою судьба вознесла ее на вершину земной власти. Ее стремительное восхождение напоминает взлет ракеты: шести дней — королева Шотландии, шести лет — нареченная одного из могущественнейших принцев Европы, семнадцати — королева Французская, она уже в зените власти, тогда как ее душевная жизнь еще, в сущности, и не начиналась. Кажется, будто все сыплется на нее из неисчерпаемого рога изобилия, ничто не приобретено собственными силами, не завоевано собственной энергией; здесь нет ни трудов, ни заслуг, а только наследие, дар, благодать. Как во сне, где все проносится в летучей многоцветной дымке, видит она себя то

в подвенечных, то в коронационных одеждах, и, раньше чем этот преждевременный расцвет может быть воспринят прозревшими чувствами, весна отцвела, развеялась, миновала, и королева просыпается ошеломленная, растерянная, обманутая, ограбленная. В возрасте, когда другие лишь начинают желать, надеяться, стремиться, она уже познала все радости триумфа, так и не успев душевно ими насладиться. Но в этой скороспелости судьбы кроется, как в зерне, и тайна гложущего ее беспокойства, ее неудовлетворенности; кто так рано был первым в стране, первым в мире, уже не сможет примириться с ничтожной долей. Только слабые натуры покоряются и забывают, сильные же мнутся и вызывают на неравный бой всесильную судьбу.

И в самом деле: промелькнет, как сон, короткая пора ее правления во Франции, как быстрый, беспокойный, тягостный и тревожный сон. Реймский собор, где архиепископ венчает на царство бледного больного мальчика и где прелестная юная королева, украшенная всеми драгоценностями короны, сияет среди придворных, как стройная грациозная полурасцветшая лилия, дарит ей один лишь сверкающий миг, в остальном летописцы не сообщают ни о каких празднествах и увеселениях. Судьба не дала Марии Стюарт времени создать грезившийся ей двор трубадуров, где процветала бы поэзия и все искусства, ни живописцам времени запечатлеть на полотне монарха и его прелестную супругу в царственных одеждах, ни летописцам—обрисовать ее характер, ни народу—познакомиться со своими властителями, а тем более их полюбить; словно две торопливые тени, гонимые суровым ветром, проносятся эти детские фигуры в длинной веренице французских королей.

Ибо Франциск II болен и с самого рождения обречен ранней смерти, как меченное лесником дерево. Робко смотрят усталые, с тяжелыми веками глаза, словно испуганно открывшиеся со сна на бледном одутловатом лице мальчика, чей внезапно начавшийся и потому неестественно быстрый рост еще больше подрывает его силы. Постоянно кружат над ним врачи и настойчиво советуют беречь себя. Но в душе этого полурепбенка живет

мальчишески честолюбивое стремление и в чем не отставать от стройной, крепкой своей подруги, страстно приверженной охоте и спорту. Чтобы казаться здоровым и мужественным, он принуждает себя к бешеной скачке и непосильным физическим упражнениям: но природу не обманешь. Его отравленная, неизлечимо вялая кровь — проклятое дедовское наследие — словно нехотя течет по жилам; подверженный приступам лихорадки, он осужден в ненастную погоду томиться в четырех стенах, изнывая от страха, нетерпения и усталости, жалкая тень, вечно окруженная заботой бесчисленных врачей. Такой незадачливый король внушает придворным скорее жалость, чем уважение, в народе же, напротив, ползут зловещие слухи, будто он болен проказой и, чтобы исцелиться, купается в крови свежезарезанных младенцев; угрюмо, исподлобья глядят крестьяне на хилого мальчика, с безжизненной миной проезжающего мимо них на рослом скакуне; что же до придворных, то, опережая события, они предпочитают толпиться вокруг королевы-матери Екатерины Медичи и престолонаследника Карла. Слабым, безжизненным рукам трудно удержать бразды правления; время от времени мальчик выводит корявым, нетвердым почерком свою подпись «François» под указами и актами, на деле же правят Гизы, родители Марии Стюарт, а он только борется за то, чтобы уберечь в себе гаснущее здоровье и жизнь.

Счастливым супружеством — если это было супружество — подобное вынужденное затворничество и вечные опасения и тревоги не назовешь. Но ничто не говорит и о том, что эти, в сущности, дети не ладили меж собой: даже злоязычный двор, давший Брантому материал для его «*Vie des dames galantes*»<sup>1</sup>, не находит оснований обвинять или заподозрить Марию Стюарт в чем-либо предосудительном; еще задолго до того, как соображения государственной пользы соединили их перед алтарем, Франциск и Мария Стюарт были товарищами детских игр, и вряд ли в отношениях юной четы эротическое играло заметную роль; пройдут годы, прежде чем в Марии Стюарт вспыхнет способность к самозабвенной любви, и уж во всяком случае не Франциску, изнуренному ли-

---

<sup>1</sup> «Жизнь легкомысленных дам» (франц.).

хорадкой юнцу, дано было пробудить эту сдержанную, замкнувшуюся в себе натуру. Конечно, Мария Стюарт с ее добрым, жалостливым сердцем и мягким, не злобивым характером заботливо ходила за больным супругом; ведь если не чувство, то разум подсказывал ей, что блеск и величие власти зависят для нее от дыхания и пульса бедного хилого мальчика и что, оберегая его жизнь, она защищает и свое счастье. Да, в сущности, недолгая пора их правления и не давала простора для безмятежного счастья; в стране назревает восстание гугенотов, и после Амбуазского заговора, угрожавшего самой королевской чете, Мария Стюарт платит печальную дань обязанности правительницы. Она должна присутствовать на казни мятежников, видеть — и это впечатление глубоко западет ей в душу, чтобы, точно в магическом зеркале, вспыхнуть в ее собственный час, — как живого человека со связанными руками толкают на колени перед плахой и как размахнувшийся топор с тупым гудящим скрежетанием вонзается в затылок, и голова, обливаясь кровью, катится на песок, — видение, достаточно страшное, чтобы погасить в ее памяти сверкающее зрелище венчания в Реймском соборе. А затем одна недобрая весть обгоняет другую: ее мать, Мария де Гиз, правящая вместо нее в Шотландии, умирает в июне 1560 года, в то время как страну раздирают жестокие религиозные распри, а на границе кипит война и англичане проникли далеко в глубь страны. И вот уже Мария Стюарт вынуждена облачиться в траурные одежды, она, бредившая, как девочка, праздничными нарядами. Столь любимая ее музыка должна замолкнуть, танец — замереть. И снова костлявою рукою стучится смерть в сердце и в дверь: Франциск II все более слабеет, отравленная кровь беспокойно ударяет в виски и звенит в ушах. Он уже не в силах ходить и сидеть в седле, в постели переносят его с места на место. Наконец воспаление прорывается в ухо гноем, все искусство врачей не в силах ему помочь, и 6 декабря 1560 года злосчастный мальчик упокоился.

Трагическим символом повторяется между обеими женщинами — Екатериной Медичи и Марией Стюарт — сцена у одра смерти. Не успел Франциск II испустить последний вздох, как Мария Стюарт, утратившая французский престол, пропускает вперед в дверях Екатерину

Медичи — молодая вдовствующая королева уступает дорогу старшей. Она уже не первая дама королевства, а вторая, как и раньше; только год прошел, а сон уже рассеялся; Мария Стюарт больше не французская королева, а всего лишь то, чем она была с первой минуты и пребудет до последней: королева Шотландская.

Сорок дней длится по французскому придворному этикету первый, глубокий траур для вдовствующей королевы. Во время этого сурового затворничества ей не дозволено ни на минуту покидать свои покои; в течение первых двух недель никто, кроме нового короля и его ближайших родственников, не должен навещать ее в искусственном склепе — затемненной комнате, освещенной слабым мерцанием свечей. Пусть женщины простонародья одеваются во все черное — всеми признанный траурный цвет: ей одной подобает *le deuil blanc* — белый траур. В белоснежном чепце, обрамляющем бледное лицо, в белом парчовом платье, белых башмаках и чулках и только в черном флере поверх этого призрачного сияния — такой выступает Мария Стюарт в те дни, такой предстает на знаменитом холсте Жана и такой же рисует ее Ронсар в своем стихотворении:

Un cresse long, subtil et délié  
Ply contre ply, retors et replié  
Habit de deuil, vous sert de couverture,  
Depuis le chef jusques à la ceinture,  
Qui s'enfle ainsi qu'un voile quand le vent  
Soufle la barque et la cingle en avant.  
De tel habit vous étiez accoutrée  
Partant, hélas! de la belle contrée  
Dont aviez eu le sceptre dans la main,  
Lorsque, pensive et baignant votre sein  
Du beau cristal de vos larmes coulées  
Triste marchiez par les longues allées  
Du grand jardin de ce royal château  
Qui prend son nom de la beauté des eaux.

В прозрачный креп одеты были вы,  
На бедра ниспадавший с головы  
В обдуманном и строгом беспорядке.  
Весь перевит, искусно собран в складки,

Вздучался он, как парус в бурный час,  
Покровом скорби облекая вас.  
В такой одежде вы двору предстали,  
Когда свой трон и царство покидали,  
И слезы орошали вашу грудь,  
Когда, пускаясь в незнакомый путь,  
На все глядели вы печальным взглядом,  
В последний раз любуясь дивным садом  
Того дворца, чье прозвище идет  
От синева кругом журчащих вод.

В самом деле, прелесть и обаяние юной королевы нигде не выступают так убедительно, как на портрете Жана; созерцательное выражение придает ее взору необычную ясность, а однотонная, ничем не нарушаемая белизна платья подчеркивает мраморную бледность кожи; в этой скорбной одежде ее царственное благородство проступает гораздо отчетливее, чем на ранних портретах, показывающих ее во всем блеске и великолепии высокого сана, осыпанную камнями и украшенную всеми знаками власти.

Благородная меланхолия звучит в строках, которые сама она посвящает памяти умершего супруга в виде надгробного плача — строках, достойных пера ее маэстро и учителя Ронсара. Даже написанная не рукой королевы, эта кроткая нения<sup>1</sup> трогала бы нас своей неподдельной искренностью. Ибо осиротевшая подруга говорит не о страстной любви — никогда Мария Стюарт не лгала в поэзии, как лгала в политике, — а лишь о чувстве утраты и одиночества:

Sans cesse mon cœur sent  
Le regret d'un absent  
Si parfois vers les cieux  
Viens à dresser ma veue  
Le doux traict de ses yeux  
Je vois dans une nue;  
Soudain je vois dans l'eau  
Comme dans un tombeau  
Si je suis en repos  
Sommeillant sur ma couche,  
Je le sens qu'il me touche:  
En labeur, en recoy  
Toujours est près de moy.

---

<sup>1</sup> Нения (лат.) — погребальная песнь.

Как тяжело ночью, днем  
Всегда грустить о нем!  
Когда на небеса  
Кидаю взгляд порою,  
Из туч его глаза  
Сияют предо мною.  
Гляжу в глубокий пруд —  
Они туда зовут.  
Одна в ночи тоскуя,  
Я ощущаю вдруг  
Прикосновеенье рук  
И трепет поцелуя.  
Во сне ли, наяву —  
Я только им живу.

Скорбь Марии Стюарт об ушедшем Франциске II, несомненно, нечто большее, чем поэтическая условность, в ней чувствуется подлинная, искренняя боль. Ведь она утратила не только доброго, покладистого товарища, не только нежного друга, но также и свое положение в Европе, свое могущество, свою безопасность. Вскоре девочка-вдова почувствует, какая разница, быть ли первой при дворе, королевой, или же отойти на второе место, стать нахлебницей у нового короля. Трудность ее положения усугубляется враждой, которую питает к ней Екатерина Медичи, ее свекровь, ныне снова первая дама французского двора; по-видимому, Мария Стюарт смертельно обидела чванливую, коварную дочь Медичи, как-то пренебрежительно отозвавшись о происхождении этой «купеческой дочки», не сравнимом с ее собственным, наследственным королевским достоинством. Подобные бестактные выходы — неукротимая шальная девчонка не раз позволит себе то же самое и в отношении Елизаветы — способны посеять между женщинами больше недобрых чувств, чем открытые оскорбления. И едва лишь Екатерина Медичи, двадцать долгих лет обуздывавшая свое честолюбие — сначала ради Дианы Пуатье, а потом ради Марии Стюарт, — едва лишь она становится правительницей, как с вызывающей властью дает почувствовать свою ненависть обоим павшим богиням.

Однако никогда Мария Стюарт — и тут ясно выступает на свет самая яркая черта ее характера: неукротимая, непреклонная, чисто мужская гордость, — нико-

гда она не останется там, где чувствует себя лишь второй, никогда ее гордое, горячее сердце не удовлетворится скромной долей и половинным рангом. Лучше ничто, лучше смерть. На мгновение ей приходит мысль удалиться в монастырь, отказаться от высокого сана, раз самый высокий сан в этой стране ей более недоступен. Но слишком велик еще соблазн жизни: отречься навсегда от ее усад значило бы для восемнадцатилетней пограть свою природу. А кроме того, не ушла еще возможность возместить утерянную корону другой, не менее драгоценной. Испанский король поручает своему послу сватать ее за дона Карлоса, будущего властителя двух миров; австрийский двор присылает к ней тайных посредников; короли шведский и датский предлагают руку и престол. К тому же есть у нее и своя наследственная шотландская корона, да и ее притязание на вторую, английскую корону покамест еще в полной силе. Неисчислимы возможности по-прежнему ждут юную вдовствующую королеву, эту женщину, едва достигшую полного расцвета. Правда, чудесные дары уже не сыплются на нее с неба и не преподносятся ей на блюде благосклонной судьбой, их приходится с великим искусством и терпением отвоевывать у сильных противников. Но с таким мужеством, с такой красотой, с такой юной душой в горячем, цветущем теле можно отважиться и на самую высшую ставку. Исполненная решимости, приступает Мария Стюарт к битве за свое наследие.

Разумеется, прощание с Францией дается ей нелегко. Двенадцать лет провела она при этом княжеском дворе, и прекрасная, изобильная, богатая чувственными радостями страна для нее в большей мере родина, чем Шотландия ее канувшего детства. Здесь ее опекают родичи по материнской линии, здесь стоят замки, где она была счастлива, здесь творят поэты, что славят и понимают ее, здесь вся легкая рыцарская прелесть жизни, столь близкая ее душе. С месяца на месяц откладывает она возвращение в родное королевство, хотя там давно ее ждут. Она навещает родственников в Жуанвилле и Нанси, присутствует на коронационных торжествах своего десятилетнего шурина Карла IX в Реймсе; словно охваченная таинственным предчувствием, ищет она все новых поводов, чтобы отложить отъезд. Кажется,

будто она ждет какого-то внезапного поворота судьбы, который избавил бы ее от возвращения на родину.

Ибо, каким бы новичком в заботах правления ни была эта восемнадцатилетняя королева, одно ей хорошо известно, что в Шотландии ее ждут тяжкие испытания. После смерти ее матери, управлявшей вместо нее страной в качестве регентши, взяли верх протестантские лорды, ее злейшие противники, и теперь они едва скрывают свое нежелание призвать в страну ревностную католичку, приверженную ненавистной мессе. Открыто заявляют они — английский посол с восторгом доносит об этом в Лондон, — что «лучше-де задержать приезд королевы еще на несколько месяцев, и что, кабы не долг послушания, они и вовсе рады бы никогда ее больше не видеть». Втайне они уже давно ведут нечестную игру; так, они предлагали английской королеве в мужья ближайшего претендента на престол, протестанта графа Аранского, чтобы незаконно подкинуть Елизавете корону, по праву принадлежащую Марии Стюарт. Столь же мало может она верить и сводному брату, Джеймсу Стюарту, графу Меррею, по поручению шотландского парламента приезжающему к ней во Францию: слишком он в хороших отношениях с Елизаветой. Уж не на платной ли он у нее службе? Только неотложное ее возвращение может своевременно подавить эти темные, глухие интриги; только опираясь на наследственную отвагу, отвагу королей Стюартов, может она утвердить свою власть. Итак, не рискуя потерять в один год вслед за первой еще и вторую корону, томимая мрачными предчувствиями, с тяжелой душой решается Мария Стюарт следовать зову, который исходит не от чистого сердца и которому сама она верит лишь наполовину.

Но еще до возвращения на родину Марии Стюарт дают почувствовать, что Шотландия граничит с Англией, где правит не она, а другая королева. Елизавета не видит ни малейшего основания и не чувствует никакой склонности идти в чем-либо навстречу своей сопернице и наследнице престола, да и английский государственный секретарь Сесил с нескрываемым цинизмом поддерживает каждый враждебный ее маневр: «Чем дольше дела шотландской королевы останутся неуст-

роенными, тем лучше для Вашего Величества». Вся беда в том, что нелепые бутафорские притязания Марии Стюарт на английский престол — предмет их распри — все еще не сняты с повестки дня. Правда, между шотландскими и английскими делегатами заключен в Эдинбурге договор, по которому первые от имени Марии Стюарт обязались признать Елизавету «for all times coming», ныне и присно, правомочной английской королевой. Но, когда договор был доставлен во Францию, Мария Стюарт и ее супруг Франциск II уклонились от дачи своей подписи; никогда у Марии Стюарт не поднимется рука скрепить подобное своей подписью, никогда она, выставившая на своем знамени притязание на английский престол и парадировавшая этим знаменем, никогда она его не опустит. Она, пожалуй, готова из политических соображений отложить свое требование до лучших времен, но ни за что открыто и честно не откажется от наследия предков.

Но такой двойной игры в этом вопросе Елизавета не потерпит. Представители шотландской королевы подписали от ее имени Эдинбургский договор, пусть же и она скрепит его своей подписью. Признанием *sub rosa*, негласным обещанием Елизавета не удовлетворится, для нее, протестантки и правительницы страны, на добрую половину оставшейся верной католицизму, католическая претендентка означает не только угрозу ее власти, но и самой ее жизни. Пока эта контрокоролева не откажется со всей прямотой от своих притязаний, Елизавета не будет чувствовать себя настоящей королевой.

В этом спорном вопросе Елизавета, конечно, права; но она тут же ставит свою правоту под сомнение, когда столь серьезный политический конфликт стремится решить мелкими, пошлыми средствами. В политической борьбе у женщин неизменно наблюдается опасная склонность ранить булавочными уколами, разжигать распри личной злобой; так и на сей раз дальновидная правительница впадает в неизбежную ошибку всех женщин-политиков. Мария Стюарт официально испросила для поездки в Шотландию так называемый *safe conduct* — транзитную визу, как сказали бы мы сейчас: с ее стороны это было скорее любезностью, данью чисто формальной официозной вежливости, поскольку прямой путь

в Шотландию морем ей не закрыт; предполагая ехать через Англию, она как бы молчаливо давала противнице возможность для дружеских переговоров. Елизавета, однако, тотчас же ухватилась за случай нанести противнице булавочный укол. На учтивость она отвечает сугубой неучтивостью, заявляя, что до тех пор не даст Марии Стюарт safe conduct, пока та не подпишет Эдинбургский договор. Желая уязвить королеву, она оскорбляет женщину; вместо открытой военной угрозы избирает бессильный и злобный личный выпад.

Итак, завеса, скрывающая конфликт между обеими женщинами, сорвана, с пылающими гневом глазами стала гордость против гордости. Сгоряча призывает к себе Мария Стюарт английского посланника и негодуяще набрасывается на него. «Я в крайней на себя досаде,— говорит она ему,— надо же мне было так забиться— просить вашу повелительницу об услуге, в которой я, в сущности, не нуждаюсь. Мне так же мало потребно ее разрешение для поездки, как и ей мое, куда б она ни вознамерилась ехать. Ничто не мешает мне вернуться в мое королевство и без ее охранной грамоты и соизволения. Покойный король пытался перехватить меня по дороге сюда, в эту страну, однако это не помешало мне, как вы знаете, господин посол, благополучно доехать, и точно так же найдутся у меня теперь средства и пути для возвращения, стоит лишь мне обратиться к друзьям... Вы говорите, что дружба между королевой и мною как нельзя более желательна и полезна для обеих сторон. Но у меня есть основание полагать, что ваша королева держится иного мнения, иначе она не отнеслась бы к моей просьбе столь недружественно. Похоже, что дружба моих непокорных подданных ей во сто крат милее моей, их повелительницы, равного с нею сана, пусть и уступающей ей в мудрости и опыте, однако все же ближайшей родственницы и соседки... Я же ищу одной только дружбы, я не тревожу мира в ее государстве, не вступаю в переговоры с ее подданными, хотя известно мне, что среди них немало нашлось бы таких, кто с радостью откликнулся бы на любое мое предложение».

Внушительная угроза, скорее внушительная, нежели мудрая. Мария Стюарт еще не успела ступить на берег

Шотландии, а уже выдает свое тайное намерение в случае надобности перенести борьбу с Елизаветой на английскую землю. Посол учтиво увиливает от ответа: все эти недоразумения, говорит он, проистекают оттого, что Мария Стюарт включила английский государственный герб в свой собственный. Мария Стюарт тотчас же отводит этот упрек: «В то время, господин посол, я находилась под влиянием короля Генриха, моего свекра, а также моего царственного господина и супруга, я только выполняла их пожелания и приказы. После же их смерти я, как вам известно, воздерживалась носить титул и герб английской королевы. Хотя, к слову сказать, я не вижу ничего оскорбительного для моей августейшей кузины в том, что, будучи такой же королевой, как она, ношу английский герб, ведь носят же его другие лица, и куда с меньшим правом, чем я. Не станете же вы отрицать, что одна из моих бабок была сестрой ее августейшего родителя и к тому же старшей сестрой».

Опять под личиной дружбы блеснуло зловещее напоминание: подчеркивая свое происхождение по старшей линии, Мария Стюарт вновь утверждает свои прерогативные права. И когда посол настоятельно просит ее, дабы рассеять это недоразумение, подписать в согласии с данным ей словом Эдинбургский договор, Мария Стюарт, как всегда, чуть речь зайдет об этом щекотливом пункте, находит тысячу причин, чтобы отложить дело в долгий ящик: нет, она ничего не может предпринять, не посоветовавшись с шотландским парламентом; но точно так же и посол избегает каких-либо обещаний от имени Елизаветы. Едва лишь переговоры доходят до этой критической точки, едва лишь одна из королев должна безусловно и непреложно поступиться кое-чем из своих прав, как начинаются увертки и ложь. Каждая придерживает свой козырь; так игра затягивается до бесконечности, клонясь к трагической развязке. Резко обрывает Мария Стюарт переговоры насчет охранной грамоты— вы словно слышите скрежет разрываемой ткани: «Когда б мои приготовления не подвинулись так далеко, быть может, недружественное поведение вашей августейшей госпожи и помешало б моей поездке. Однако теперь я полна решимости отважиться на задуманное, к чему бы это ни привело. Уповаю, что ветер

будет благоприятный и нам не придется приставать к английскому берегу. Если же это случится, ваша августейшая госпожа заполучит меня в свои руки. Пусть тогда делает со мной, что хочет, и если она столь жестокосерда, что жаждет моей смерти, пусть принесет меня в жертву своему произволу. Быть может, такой выход для меня и лучше, чем это земное странствие. Да сбудется же и здесь воля господня!»

И снова в ее словах прорывается все тот же опасный, самонадеянный, решительный тон. Скорее мягкая, беспечная и легкомысленная по натуре, более склонная искать утех жизни, чем борьбы, Мария Стюарт становится тверже стали, упрямой и смелой, едва дело коснется ее чести, ее королевских прав. Лучше погибнуть, чем склонить выю, лучше королевская блажь, чем малодушная слабость. В тревоге доносит посол в Лондон о своей неудаче, и Елизавета, как более мудрая и гибкая правительница, тотчас же идет на уступки. Сразу же выправляется охранная грамота и отсылается в Кале. Однако она приходит с двухдневным опозданием. Мария Стюарт тем временем отважилась пуститься в дорогу, хоть в Ламанше ей угрожает встреча с английскими каперами: лучше смело и независимо избрать опасный путь, чем ценою унижения — безопасный. Елизавета упустила единственную представившуюся ей возможность миром разрешить конфликт, обязав благодарностью ту, кого она страшится как соперницы. Но политика и разум редко следуют одним путем: быть может, именно такими упущенными возможностями и определяется драматическое развитие истории.

Словно обманчивое сияние вечернего солнца, одевающее ландшафт в пурпур и золото, предстает перед Марией Стюарт в прощальном спектакле, данном в ее честь, вся пышность и величие французского церемониала. Ибо не одинокой и всеми оставленной придется той, что царственной невестой ступила на эту землю, покинуть места своего былого владычества; да будет ведомо всем, что не бедной, сирой вдовой, не слабой, беспомощной женщиной возвращается на родину шотландская королева, но что меч и честь Франции на страже ее судь-

бы. От Сен-Жерменского дворца и до самого Кале провожает ее блестящая кавалькада. На конях под богатыми чепраками, щеголяя расточительной роскошью французского Ренессанса, бряцая оружием, в золоченых доспехах с богатой инкрустацией, провожает вдовствующую королеву весь цвет французской нации — впереди в парадной карете трое ее дядей, герцог де Гиз и кардиналы Лотарингский и Гиз. Марию Стюарт окружают четыре верные Марии, знатные дамы, служанки, пажы, поэты и музыканты; следом за пестрым поездом везут тяжелые сундуки с драгоценной утварью и в закрытом ковчежце — сокровища короны. Королевой, во всем блеске и славе, среди почестей и поклонения, такой же, какой она прибыла сюда, покидает Мария Стюарт отчизну своего сердца. Отлетела только радость, когда-то сиявшая в глазах ребенка. Проводы — это всегда лишь закатное сияние, последняя вспышка света на пороге ночи.

Большая часть княжеского поезда остается в Кале. Дворяне возвращаются домой. Завтра им предстоит в Лувре служить другой королеве, ведь для царедворца важен сан, а не человек, его носящий. Все они забудут Марию Стюарт; едва лишь ветер надует паруса галеонов, от нее отвернутся сердцем все те, кто сейчас, возведя горé восторженные очи и пав на колени, клянется ей в вечной преданности и на расстоянии. Проводы для этих всадников — всего лишь пышная церемония, подобная коронации или погребению. Искреннюю печаль, неподдельное горе ощущают при отъезде Марии Стюарт только поэты, чьей более чуткой душе дан вещей дар предвидеть и пророчить. Они знают: с отъездом этой молодой женщины, грезившей о дворе — прибежище радости и красоты, музы покинут Францию; наступает темная пора как для них, так и для других французов — пора политической борьбы, междоусобиц и распрей, пора гугенотских восстаний, Варфоломеевской ночи, фанатиков и изуверов. Уходит все рыцарское и романтическое, все светлое и беспечально прекрасное — вместе с этим юным видением уходит и расцвет искусств. Созвездие «Плеяды», поэтический семисвечник, скоро померкнет под омраченным войною небом. С Марией Стюарт, печалуются поэты, отлетают столь любезные нам радости духа:

Ce jour le même voile emporta loin de France  
Les Muses, qui songoient y faire demeurence.

В тот день корабль унес от наших берегов  
Всех муз, во Франции нашедших верный кров.

И снова Ронсар, чье сердце молодеет при виде юности и красоты, в своей элегии «Au départ»<sup>1</sup> прославляет очарование Марии Стюарт, словно хочет удержать в стихах то, что навек утрачено для его восхищенных взоров, и в искренней скорби создает поистине красноречивую жалобу:

Comment pourroient chanter les bouches des poètes,  
Quand, par vostre départ les Muses sont muettes?  
Tout ce qui est de beau ne se garde longtemps,  
Les roses et les lys ne règnent qu'un printemps.  
Ainsi votre beauté seulement apparue  
Quinze ans en notre France, est soudain disparue,  
Comme on voit d'un éclair s'évanouir le trait,  
Et d'elle n'a laissé sinon le regret,  
Sinno le déplaisir qui me remet sans cesse  
Au cœur le souvenir d'une telle princesse.

Как может петь поэт, когда, полны печаль,  
Узнав про ваш отъезд, и музы замолчали?  
Всему прекрасному приходит свой черед,  
Весна умчится прочь, и лилия умрет.  
Так ваша красота во Франции блистала  
Всего пятнадцать лет, и вдруг ее не стало,  
Подобно молнии, исчезнувшей из глаз,  
Лишь сожаление напечатлевшей в нас,  
Лишь неизбывный след, чтоб в этой жизни брэнной  
Я верность сохранил принцессе несравненной.

Двор, знать и благородное рыцарство забудут отсутствующую, одни лишь поэты останутся верны своей королеве; ибо в глазах поэтов несчастье — это истинное благородство, и та, чью гордую красоту они воспели, станет им вдвое дороже в своей печали. Верные провожатые, восславят они ее жизнь и смерть. Когда человек возвышенной души проживет свою жизнь, уподобив ее стихам, драме или балладе, всегда найдутся поэты, которые все снова и снова станут воссоздавать ее для новой жизни.

В гавани в Калé уже дожидается великолепно разукрашенный, сверкающий свежей белизной галеон; на

<sup>1</sup> «На прощание» (франц.).

этом адмиральском судне, на котором вместе с шотландским развевается и французский королевский штандарт, сопровождают Марию Стюарт ее вельможные дядья, избранные царедворцы и четыре Марии, верные подруги ее детских игр; два других корабля его эскортируют. Галеон еще не выбрался из внутренней гавани, еще не поставлены паруса, а первый же взгляд, обращенный Марией Стюарт в неведомую морскую даль, натывается на зловещее знамение: только что вошедший в гавань баркас терпит крушение у прибрежных скал, его пассажирам грозит смерть в волнах. Итак, первая картина, которую видит Мария Стюарт, оставляя Францию, чтобы принять бразды правления, становится мрачным символом: плохо управляемый корабль погружается в морскую пучину.

Внушает ли ей это знамение безотчетный трепет, гнетет ли ее тоска об утраченной отчизне или предчувствие, что прошлому нет возврата, но Мария Стюарт не в силах отвести затуманенных глаз от земли, где она была так молода и наивна, а следовательно, и счастлива. Проникновенно описывает Брантом захватывающую грусть этого прощания: «Как только судно вывели из гавани, задул бриз, и матросы развернули паруса. Сложив обе руки на корме у руля, она громко зарыдала, обращая взоры к тому месту на берегу, откуда мы отчалили, и повторяя все тот же грустный возглас: «Прощай, Франция!» — пока над нами не сгустилась тьма. Когда ей предложили сойти в каюту, чтобы отдохнуть, она решительно отказалась. Ей приготовили постель на фордеке. Отходя ко сну, она строго наказала помощнику рулевого, чтобы, едва рассветет, если французский берег будет еще в виду, он тотчас же ее разбудил, хотя бы ему пришлось кричать над самым ее ухом. И судьба благоговела ее горячее желание. Ибо ветер вскоре улегся, пришлось идти на веслах и за ночь судно ушло недалеко. При восходе солнца вдали еще виднелся французский берег. Как только рулевой выполнил ее просьбу, она вскочила с ложа и, не отрываясь, глядела вдаль, без конца повторяя все те же слова: «Прощай, Франция! Франция, прощай! Я чувствую, что больше тебя не увижу!»»

# ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШОТЛАНДИЮ

*Август 1561 года*



Неспроницаемо густой туман — редкое явление летом у этих северных берегов — окутывает все кругом, когда Мария Стюарт 19 августа 1561 года высаживается в Лейте. Но как же отличается ее прибытие в Шотландию от расставания с *la douce France*<sup>1</sup>. Там с нею в торжественных проводах прощался цвет французской знати: князья и графы, поэты и музыканты соперничали в изъявлении преданности и подобострастной почтительности. Здесь же никто ее не ждет; и только, когда суда пристают к берегу, собирается изумленная толпа — несколько рыбаков в своей грубой одежде, кучка слоняющихся без дела солдат, какие-то лавоч-

<sup>1</sup> Милой Францией (франц.).

ники да крестьяне, пригнавшие в город на продажу свой скот. Скорее робко, чем восторженно, следят они, как богато разодетые именитые дамы и кавалеры высаживаются на берег. Угрюмая встреча, мрачная и суровая, как душа этой северной страны! Чужие смотрят на чужих. С первого же часа стесненной душой познает Мария Стюарт ужасающую бедность своей родины: за пятидневный переход по морю она удалилась вспять на целое столетие — из обширной, богатой, благоденствующей, расточительной, упивающейся своей культурой страны попала в темный, тесный, трагический мир. В городе, десятки раз спаленном дотла, разграбленном англичанами и повстанцами, нет не только дворца, но даже господского дома, где ее могли бы достойно приютить; и королева, чтобы обрести кров, вынуждена заночевать у простого купца.

Первым впечатлениям присуща особая власть, неизгладимо запечатлеваются они в душе. Должно быть, молодая женщина не отдает себе отчета, что за неизъяснимая грусть сковала ей сердце, когда после тринадцатилетнего отсутствия она, как чужая, снова ступила на родную землю. Тоска ли об утраченном доме, бессознательное сожаление о той полной тепла и сладости жизни, которую научилась она любить на французской земле; давит ли ее это чужое серое небо или предчувствие грядущих бед? Кто знает — но только, оставшись одна, королева, по словам Брантома, залилась безутешными слезами. Не так, как Вильгельм Завоеватель, не с гордой самонадеянностью властителя ступила она уверенной и твердой стопой на британский берег, нет, первое ее ощущение — растерянность, недоброе предчувствие и страх перед событиями, таящимися во мгле.

На следующий день прискакал уведомленный о ее приезде регент, ее сводный брат Джеймс Стюарт, более известный как граф Меррей; он прибыл с несколькими дворянами, чтобы, спасая положение, хотя бы с какой-то видимостью почета проводить королеву в уже недалекий Эдинбург. Но парадного шествия не получилось. Англичане под неуклюжим предлогом, будто они отправляются на поиски пиратов, задержали корабль с ло-

шадьми ее двора, здесь же, в захолустном Лейте, удастся найти только одного пристойного коня в более или менее сносной сбруе, которого и подводят королеве, женщинам же и дворянам ее свиты приходится довольствоваться простыми деревенскими клячами, набранными по окрестным конюшням и стойлам. Со слезами глядит Мария Стюарт на это зрелище, и снова ей приходит на ум, сколь много утратила она со смертью своего супруга и какая скромная доля — оказаться всего лишь королевой Шотландской, после того как ты побывала королевой Франции. Гордость не позволяет ей явиться своим подданным с таким жалким обюзом, и вместо *joyeuse entrée*<sup>1</sup> по улицам Эдинбурга она сворачивает со своей свитой в замок Холируд, стоящий за городскими стенами. Дом, построенный ее отцом, тонет в вечерней мгле, выделяются только круглые башни и зубчатая линия крепостных стен; суровые очертания фасада, сложенного из массивного камня, производят при первом взгляде почти величественное впечатление.

Но с какой ледяной будничностью встречают свою хозяйку, избалованную французской роскошью, эти пустынные, угрюмые покои! Ни гобеленов, ни праздничного сияния огней, которые, отражаясь в венецианских зеркалах, отбрасывают свет от стены к стене, ни дорогих драпировок, ни мерцания золота и серебра. Здесь годами не держали двора, в покинутых покоях давно заглох беззаботный смех, никакая королевская рука после кончины ее отца не подновляла и не украшала этот дом; отовсюду ввалившимися очами глядит нищета, извечное проклятие ее королевства.

Однако едва в Эдинбурге услышали, что королева прибыла в Холируд, как жители, несмотря на поздний час, высыпали из домов и потянулись за городские ворота ее приветствовать. Не удивительно, что изысканным, изнеженным французским придворным эта встреча показалась грубоватой и неуклюжей: ведь у эдинбургских обывателей нет своих *musiciens de la cour*<sup>2</sup>, чтобы позабавить ученицу Ронсара сладостными мадригамами и искусно положенными на музыку канцонами. Толь-

---

<sup>1</sup> Ликующего шествия (франц.).

<sup>2</sup> Придворных музыкантов (франц.).

ко по стародавнему обычаю могут они восславить свою королеву. Натаскав валежника — единственное, чем богата эта негостеприимная местность, — они раскладывают на площадях костры, свои излюбленные bonfires, и жгут их до глубокой ночи. Толпами собираются они под ее окнами и на волынках, дудках и других нескладных инструментах исполняют нечто, что на их языке зовется музыкой, изошренному же слуху гостей представляется какой-то адской какофонией; грубыми мужскими голосами распевают они псалмы и духовные гимны — единственное, чем они могут приветствовать гостей, так как мирские песни строго-настрого заказаны им кальвинистскими пастырями. Но Мария Стюарт рада сердечному приему, во всяком случае, она смеется и благосклонно приветствует свой народ. Так, по крайней мере на первые часы прибытия, между государыней и ее подданными воцаряется единомыслие, какого здесь не знавали уже десятки лет.

В том, что неискушенную в политике правительницу ждут огромные трудности, отдавали себе отчет и сама королева и ее советники. Пророческими оказались слова умнейшего из шотландских вельмож Мэйтленда Летингтонского, писавшего по поводу приезда Марии Стюарт, что он послужит причиною многих удивительных трагедий («it could not fail to raise wonderful tragedies»). Даже энергичный, решительный мужчина, правящий железной рукой, не мог бы надолго умиротворить эту страну, а тем более девятнадцатилетняя, несведущая в делах правления женщина, ставшая чужой в собственной стране! Нищий край; развращенная знать, радующаяся любому поводу для смуты и войны; бесчисленные кланы, только и ждущие случая превратить свои усобицы и распри в гражданскую войну; католическое и протестантское духовенство, яростно оспаривающее друг у друга первенство; опасная и зоркая соседка, искусно разжигающая всякую искру недовольства в открытый мятеж, и ко всему этому враждебные происки мировых держав, бесстыдно втравливающих Шотландию в свою кровавую игру, — в таком положении застает страну Мария Стюарт.

В тот момент, когда она появляется в Шотландии, борьба достигла высшего накала. Вместо набитых деньгами сундуков ей досталось от матери пагубное наследие (поистине *damnosa hereditas*) — религиозная вражда, свирепствующая в этой стране с особенной силою. За те годы, что она, баловница счастья, беспечно жила во Франции, реформации удалось победоносным маршем войти в Шотландию. Через дома и усадьбы, через города и веси, через родство и свойство пролегла чудовищная трещина: дворяне — одни католики, другие протестанты; города прилежат к новой вере, деревни — к старой; клан восстал против клана, род против рода; вражда между обоими лагерями постоянно разжигается фанатичными священниками и поддерживается кознями иноземных государей. Особенную опасность для Марии Стюарт представляет то, что наиболее могущественная и влиятельная часть ее дворянства объединилась во враждебном ей кальвинистском лагере; возможность разжиться богатыми церковными землями вскружила головы властолюбивым мятежникам. Наконец-то представился им случай выступить против своей монархини в тоге добродетели, на положении «лордов конгрегации», заступников веры, тем более, что содействие Англии им обеспечено. Скуповатая Елизавета уже более двухсот фунтов пожертвовала на то, чтобы с помощью смут и вооруженных походов вырвать Шотландию из-под власти католиков Стюартов, и даже сейчас, после торжественно заключенного мира, большинство подданных соперницы тайно состоит у нее на службе. Мария Стюарт может одним ударом восстановить равновесие, стоит ей лишь перейти в протестантскую веру, и часть ее советников усиленно на этом настаивает. Но недаром Мария Стюарт из дома Гизов. По матери она в кровном родстве с самыми горячими поборниками католицизма, да и сама она, хоть и чужда фарисейскому благочестию, все же горячо и убежденно привержена вере отцов и предков. Никогда не откажется она от своего исповедания и даже в минуты величайшей опасности, по обычаю смелой природы, предпочтет неугасимую борьбу хотя бы одному трусливому шагу, противному ее совести и чести. Но тем самым между ней и ее дворянством пролегла непроходимая пропасть; когда властителя и его подданных раз-

деляют религиозные верования, это к добру не приводит; весы не могут вечно колебаться, та или другая чаша должна перевесить. В сущности, у Марии Стюарт один только выбор — возглавить в стране реформацию или пасть ее жертвой. Неудержимый раскол между Лютером, Кальвином и Римом неисповедимой волею судеб именно в ее участи получает свое драматическое разрешение; личный конфликт между Марией Стюарт и Елизаветой, между Англией и Шотландией призван решить — и в этом его огромное значение — также и конфликт между Англией и Испанией, между реформацией и контрреформацией.

Это положение, и само по себе пагубное, отягчено еще тем, что религиозный раскол проник в семью королевы, в ее замок, ее совещательную палату. Влиятельнейший шотландский вельможа, ее сводный брат Джеймс Стюарт, коему она вынуждена доверить все дела правления, — и сам убежденный протестант, оберегатель той «кирки», которую она, верующая католичка, считает погрязшей в ереси. Уже четыре года, как он первым поставил свою подпись под присягою заступников веры, так называемых «лордов конгрегации», присягою, коей они «отрекались от сатанинского учения и обязывались открыто противиться его суевеству и идолопоклонству». Сатанинское же учение, от которого они отреклись, и есть католическое, то самое, что исповедует Мария Стюарт. Между королевой и регентом с первой же минуты разверста непроходимая пропасть в наиболее важном, основоположном для них вопросе, а это не обещает мира. Ибо в глубине души королева лелеет одно заветное желание — искоренить реформацию в Шотландии, а у ее регента и брата одна цель — провозгласить протестантизм единственной господствующей религией в Шотландии. Такое резкое идейное расхождение неминуемо должно привести к открытому конфликту.

Означенный Джеймс Стюарт призван стать в драме «Мария Стюарт» одним из ведущих персонажей; судьба уготовала ему в ней важнейшую роль, и он мастерски ее проводит. Сын того же отца, рожденный им в многолетнем сожителестве с Маргаритою Эрскин из родовитейшей шотландской фамилии, он и по крови и по своей железной энергии как бы самой природою предназ-

начен стать достойнейшим наследником престола. Однако политическая зависимость вынудила Иакова V в свое время отказаться от мысли узаконить свою связь с горячо любимой леди Эркин; ради укрепления своей власти и своих финансов он женится на французской принцессе, ставшей впоследствии матерью Марии Стюарт. Над честолюбивым старшим сыном тяготеет проклятье незаконного рождения, навсегда преграждающее ему дорогу к престолу. Хоть папа по просьбе Иакова V и признал за старшим сыном, равно как и за другими его внебрачными детьми, все права королевского происхождения, все же Меррей остается бастардом без всяких прав на отцовский престол.

История и ее величайший подражатель Шекспир дали миру немало примеров душевной трагедии бастарда, этого и сына и несына, у которого закон государственный, церковный и человеческий безжалостно отнял те права, что сама природа запечатлела в его крови и обличье. Осужденные трибуналом предрассудков, самым страшным и непреклонным из судов человеческих, внебрачные дети, зачатые не на королевском ложе, обойдены в пользу других наследников, порою слабейших, так как последних произвела на свет не любовь, а политический расчет; вечно гонимые и изгоняемые, они обречены клянчить там, где им надлежало бы владеть и властвовать. Но если человека открыто заклеить как неполноценного, то вечно преследующее его чувство неполноценности должно либо совсем его согнуть, либо чудесным образом укрепить. Трусливые и вялые души становятся под ярмом унижения еще мельче, еще ничтожнее; попрошайки и лизоблюды, они клянчат подачек и милостей у тех, кто благоденствует под сенью закона. Когда же обделен человек волею, это высвобождает в нем связанные темные силы: если добром не подпустить его к власти, он постарается сам стать властью.

Меррей—волевая натура. Неистовая решимость Стюартов, его царственных предков, их гордость и властность неукротимо бродят в его крови; как человек, как личность он незаурядным умом и твердой волею на голову выше, чем разбойничье племя остальных графов и баронов. Его честолюбие метит высоко, его планы политиче-

ски обоснованы; умный, как и сестра, этот тридцатилетний искатель власти неизмеримо превосходит ее практической сметкой и мужским опытом. Словно на играющее дитя, смотрит он на нее сверху вниз и не мешает ей резвиться, доколе ее игра не путает его планов. Зрелый муж, он не подвержен, как она, страстным, нервическим, романтическим порывам; как правитель он лишен всего героического, но зато умеет терпеливо ждать и, следовательно, владеет подлинной тайной успеха, более надежным его залогом, чем внезапный жаркий порыв.

Мудрого политика всегда отличает умение заранее отказать от несбыточных мечтаний. Для незаконнорожденного такой мечтой является царская корона. Никогда Меррею — и он это прекрасно знает — не именоваться Иаковом Шестым. Трезвый политик, он наперед отказывается от притязаний на престол Шотландии, чтобы с тем большим основанием стать ее правителем — регентом (regent), поскольку ему нельзя быть королем (rex). Он отказывается от королевских регалий и внешнего блеска, но лишь для того, чтобы крепче удерживать в руках власть. С ранней молодости рвется он к богатству, как наиболее осязаемому воплощению могущества, выговаривает себе у отца огромное наследство, не брезгает богатыми дарами и на стороне, использует в своих интересах секуляризацию церковных владений и войну — словом, при каждом лове первым наполняет свою сеть. Без зазрения совести принимает он от Елизаветы щедрые субсидии, и вернувшись в Шотландию королевой Мария Стюарт находит в нем самого богатого и влиятельного вельможу, которого уже не спихнешь с дороги. Скорее по необходимости, чем по внутренней склонности, ищет она его дружбы и, радея о собственной выгоде, отдает сводному брату в его ненасытные руки все, что он ни попросит, всячески утоляя его жажду богатства и власти. По счастью для Марии Стюарт, руки у Меррея и впрямь надежные, они умеют натягивать вожжи, умеют и отпускать. Прирожденный государственный деятель, он держится золотой середины: он протестант, но не буйный иконоборец; шотландский патриот, но отлично ладит с Елизаветой; свой брат с лордами, но, когда нужно, умеет им пригрозить; короче говоря,

этот холодный, расчетливый человек с железными нервами не гонится за престижем власти, так как удовлетворить его может только подлинная власть.

Такой незаурядный человек — незаменимая опора для Марии Стюарт, доколе он ее союзник. И — величайшая опасность, когда он держит руку ее врагов. Как брат, связанный с ней узами крови, он и сам не прочь поддержать ее, ведь никакой Гордон или Гамильтон, оказавшись на ее месте, не предоставит ему такую неограниченную и бесконтрольную власть; охотно позволяет он ей парадировать и блистать, без тени зависти наблюдая, как она выступает на торжествах в предшествии скипетра и короны, лишь бы никто не вмешивался в дела правления. Но как только она попытается взять власть в свои руки и тем умалить его авторитет, гордость Стюартов неизбежно столкнется с гордостью Стюартов. Ибо нет вражды страшнее, чем та, когда сходное борется со сходным, движимое одинаковыми стремлениями и с одинаковой силой.

Мэйтленд Летингтонский, второй по значению придворный вельможа и статс-секретарь Марии Стюарт, тоже протестант. Но и он поначалу держит ее сторону. Мэйтленд, человек незаурядного ума, образованный, просвещенных взглядов, «the flower of wits»<sup>1</sup>, как называет его Елизавета, не отличается гордостью и честолюбием Меррея. Дипломат, он чувствует себя как рыба в воде в атмосфере политических происков и комбинаций; такие незыблемые принципы, как религия и отечество, королевская власть и государство, не его забота; его увлекает виртуозное искусство одновременно ставить на всех игорных столах, завязывать и развязывать по своей воле узелки интриг. На удивление преданный Марии Стюарт лично (одна из четырех Марий, Мэри Флеминг, становится его женой), он непоследователен как в верности, так и в неверности. Он будет служить королеве, пока ей сопутствует успех, и покинет ее в минуту опасности; как флюгер, он показывает ей, попутный или противный дует ветер. Как истинный политик, он служит не ей — королеве и другу, — а единственно ее счастью.

---

<sup>1</sup> Великий остроумец (англ.).

Итак, нигде, ни в городе, ни у себя дома — плохое предзнаменование! — не находит Мария Стюарт по приезде надежного друга. И тем не менее с помощью Меррея, с помощью Мэйтленда можно править, с ними можно как-то сговориться; зато непримиримо, неумолимо, обуянный беспощадной, кровожадной ненавистью, противостоит ей с первой же минуты могущественный выходец из низов Джон Нокс, популярнейший проповедник Эдинбурга, основоположник и глава шотландской «кирки», мастер религиозной демагогии. Между ним и Марией Стюарт завязывается смертельный поединок, борьба не на жизнь, а на смерть.

Ибо кальвинизм Джона Нокса представляет собой уже не просто реформатское обновление церкви, это закатенелая государственно-религиозная система, в известной мере *plus ultra*<sup>1</sup> протестантизма. Он выступает как повелитель, фанатически требуя даже от монархов рабского подчинения своим теократическим заповедям. С англиканской церковью, с лютеранством, с любой менее суровой разновидностью реформатского учения Мария Стюарт при своей мягкой, уступчивой натуре, возможно, и столкнулась бы. Но самовластные повадки кальвинизма исключают всякую возможность соглашения с истинным монархом, и даже Елизавета, охотно прибегающая к услугам Нокса, чтобы елико возможно пакостить Марии Стюарт, терпеть его не может за несносную спесь. Тем более это фанатическое рвение должно претить гуманной и гуманистически настроенной Марии Стюарт! Ей, жизнерадостной эпикурейке, наперснице муз, чужда и непонятна трезвая суровость пресловутого женеvского учения, его враждебность всем радостям жизни, его иконоборствующая ненависть к искусству, ей чуждо и непонятно надменное упрямство, казнящее смех, осуждающее красоту, как постыдный порок, нацеленное на разрушение всего, что ей мило, всех праздничных сторон общежития, музыки, поэзии, танцев, вносящее в сумрачный и без того уклад жизни дополнительную сугубо сумрачную ноту.

Именно такой угрюмый, ветхозаветный отпечаток накладывает на эдинбургскую «кирку» Джон Нокс, самый

---

<sup>1</sup> Высшая степень (лат.).

чугуноголовый, самый фанатично безжалостный из всех основателей церкви, неумолимостью и нетерпимостью превзошедший даже своего учителя Кальвина. В прошлом захудалый католический священник, он с неукротимой яростью истинного фанатика ринулся в волны реформации, оказавшись последователем того самого Джорджа Уишарта, который как еретик терпел гонения и был заживо сожжен на костре матерью Марии Стюарт. Пламя, пожравшее учителя, продолжает неугасимо гореть в душе ученика. Как один из вожаков восстания против правящей регентши, он попадает в плен к вспомогательным французским войскам, и во Франции его сажают на галеры. Хотя он и закован в цепи, воля его мужает, и вскоре она уже тверже его железных оков. Отпущенный на свободу, он бежит к Кальвину; там постигает он силу проповедуемого слова, заражается непоколебимой ненавистью пуританина к светлому эллинскому началу и по возвращении в Шотландию, взяв за горло со свойственной ему гениальной напористостью простонародье и дворянство, за несколько считанных лет насаждает в стране реформуацию.

Джон Нокс, быть может, самый законченный образец религиозного фанатика, какой знает история; он тверже Лютера, у которого были свои минуты душевной разрядки, суровее Савонаролы, ибо лишен блеска и мистических воспарений его красноречия. Безусловно честный в своей прямолинейности, он вследствие надетых на себя шор, стесняющих мысль, становится одним из тех ограниченных, суровых умов, кои признают только истину собственной марки, добродетель, христианство собственной марки, все же прочее почитают не истиной, не добродетелью, не христианством. Всякий инакомыслящий представляется ему злодеем; всякий, хоть на йоту отступающий от буквы его требований, — прислужником сатаны. Ноксу свойственна слепая неустрашимость маниака, страстность иступленного экстастика и омерзительная гордость фарисея; в его жестокости сквозит опасное любованье своим жестокосердием, в его нетерпимости — мрачное упоение своей непогрешимостью. Шотландский Игова с развевающейся бородой, он каждое воскресенье в Сент-Джайлском соборе мечет с амвона

громы и молнии на тех, кто не пришел его слушать; «убийца радости» (kill joy), он нещадно поносит «сатанинское отродье», беспечных, безрассудных людей, служащих богу не по его указке. Ибо этот старый фанатик не знает иной радости, как торжество собственной правоты, иной справедливости, как победа его дела. С наивностью дикаря предается он ликованию, узнав, что какой-то католик или иной его враг претерпел кару или поношение; если рукою убийц сражен враг «кирки», то, разумеется, убийство совершилось попушением или соизволением божьим. Он затягивает на своем амвоне благодарственный гимн, когда у малолетнего супруга Марии Стюарт, бедняжки Франциска II, гной прорвался в ухо, «не желавшее слышать слово господне»; когда же умирает Мария де Гиз, мать Марии Стюарт, он с увлечением проповедует: «Да избавит нас бог в своей великой милости и от других порождений той же крови, от всех потомков Валуа! Аминь! Аминь!» Не ищите ни кротости, ни евангельской доброты в его проповедях, коими он оглушает, как дубинкою; его бог — это бог мести, ревнивый, неумолимый; его библия — кровожаждущий, бесчеловечно жестокий Ветхий завет. О Моаве, Амалеке и других символических врагах Израиля, коих должно предать огню и мечу, неумолчно твердит он в остережение врагам истинной, иначе говоря, его веры. А когда он ожесточенно поносит библейскую королеву Иезавель, слушатели ни минуты не сомневаются в том, кто эта королева. Подобно тому как темные, величественные грозовые облака заволакивают небо и повергают душу в трепет немолчными громами и зигзагами молний, так кальвинизм навис над Шотландией, готовый ежеминутно разразиться опустошительной грозой.

С таким непреклонным, неподкупным фанатиком, который только повелевает и требует беспрекословного подчинения, невозможно столкнуться; любая попытка его раздумить или улестить лишь усиливает в нем жестокость, желчную насмешку и надменность. О каменную стену такого самодовольного упрямства разбивается всякая попытка взаимопонимания. И всегда эти вестники господни — самые неуживчивые люди на свете; уши их открыты для божественного глагола, поэтому они глухи к голосу человечности.

Мария Стюарт и недели не пробыла дома, а злое присутствие этого фанатика уже дает себя знать. Еще до того, как принять бразды правления, она не только даровала своим подданным свободу вероисповедания — что при терпимости ее натуры не представляло большой жертвы, — но и приняла к сведению закон, запрещающий открыто служить мессу в Шотландии, — мучительная уступка приверженцам Джона Нокса, которому, по его словам, «легче было бы услышать, что в Шотландии высадилось десяти тысячное вражеское войско, чем знать, что где-то служилась хотя бы одна-единственная месса». Но набожная католичка, племянница Гизов, разумеется, выговорила себе право совершать в своей домашней часовне все обряды и службы, предписываемые ее религией, и парламент охотно внял этому справедливому требованию. Тем не менее в первое же воскресенье, когда у нее дома, в Холирудской часовне, шли приготовления к службе, разъяренная толпа проникла чуть ли не в самый дворец; у ризничего вырывают из рук освященные свечи, которые он нес для алтаря, и ломают на куски. Толпа все громче ропщет, раздаются требования изгнать «попа-идолопоклонника» и даже предать его смерти, все явственнее слышны проклятия «сатанинской мессы», еще минута — и дворцовая часовня будет разнесена в щепы. К счастью, лорд Меррей, хоть он и приверженец «кирки», бросается навстречу толпе и задерживает ее у входа. По окончании службы, прошедшей в великом страхе, он уводит испуганного священника в его комнату целым и невредимым: несчастье предотвращено, авторитет королевы кое-как удалось спасти. Но веселые празднества в честь ее возвращения, «joyousities», как иронически называет их Джон Нокс, сразу же, к величайшему его удовольствию, обрываются: впервые чувствует романтическая королева сопротивление действительности в своей стране.

Мария Стюарт не на шутку разгневана, слезами и яростными выкриками дает она волю своему возмущению. И тут на ее все еще неясный характер снова проливается более яркий свет. Такая юная, с ранних лет избалованная счастьем, она, в сущности, нежная и ласковая натура, покладистая и обходительная: окружающие, от первых вельмож двора до камеристок и служа-

нок, не могут нахвалиться ее простотой и сердечностью. Своей доступной манерой обращения, без тени надменности, она покоряет всех, каждого заставляя забыть о своем высоком сане. Однако за этой сердечностью и приветливостью скрыто горделивое сознание собственного избранничества, незаметное до тех пор, пока никто ее не задевает, но прорывающееся со всей страстностью, едва кто-либо осмелится оскорбить ее послушанием или прекословием. Эта необычная женщина порой умела забывать личные обиды, но никогда не прощала она ни малейшего посягательства на свои королевские права.

Ни минуты не станет она терпеть это первое оскорбление. Таковую дерзость должно пресечь сразу же, подавить в корне. И она знает, к кому адресоваться, знает, что бородач из церкви еретиков натравливает народ на ее веру, это он подослал шайку богохульников к ней в дом. Отчитать его как следует — и сию же минуту! Ибо Мария Стюарт, вскормленная французскими традициями неограниченного абсолютизма, с детства привыкшая к безусловному повиновению, выросшая в понятиях неотъемлемой божественной благодати, и представить себе не может послушания со стороны одного из своих подданных, какого-то простого горожанина. Она чего угодно ждет, но только не того, что кто-либо осмелится открыто, а тем более грубо ей перечить. А Джону Ноксу только этого и нужно, он рвется в бой: «Мне ли убояться смазливому личику высокородной аристократки, мне, который и перед многими гневными мужами не опускал глаз и постыдно не робел!» С воодушевлением спешит он во дворец, ибо спорить — во имя божие, как он считает, — самое милое дело для фанатика. Если господь дает королям корону, то своим пастырям и посланцам он дарует слово огненное. Для Джона Нокса священнослужитель «кирки» выше короля, ибо он заступник прав господних. Его дело — защищать царство божие на земле; без колебаний избивает он непокорных увесистой дубинкой гнева своего, как во времена оны Самуил и судьи библейские. Так разыгрывается сцена совсем в духе Ветхого завета, сцена, где королевская гордыня и поповское высокомерие сшибаются лбами; не женщина борется здесь с мужчиной за верховенство, нет, две древ-

ние идеи уже который раз встречаются в яростном поединке. Мария Стюарт приступает к беседе со всей мягкостью. Она ищет взаимопонимания и подавляет в себе раздражение, так как хочет мира в своей стране; учтиво начинает она переговоры. Однако Джон Нокс заранее настроился на неучтивость, желая доказать этой «*idolatress*»<sup>1</sup>, что он не клонит головы перед сильными мира. Угрюмо и молчаливо, не как обвиняемый, но как обвинитель, выслушивает он королеву, которая обращается к нему с упреком по поводу его книги «*The first blast of trumpet against the monstrous regiment of women*»<sup>2</sup>, отрицающей право женщины на престол. Но тот же самый Нокс, который по поводу той же самой книги будет униженно вымаливать прощения у протестантки Елизаветы, здесь, перед своей государыней «паписткой», упрямо стоит на своем, приводя весьма двусмысленные доводы. Разгорается перепалка. Мария Стюарт в упор спрашивает Нокса: обязаны подданные повиноваться своему властелину или нет? Но вместо того, чтобы сказать: да, обязаны, на что и рассчитывает Мария Стюарт, сей искусный тактик ограничивает необходимость повиновения некоей притчей: когда отец, утратив разум, хочет убить своих детей, то дети вправе, связав ему руки, вырвать у него меч. Когда князья преследуют детей божиих, те вправе воспротивиться гонению. Королева сразу же чувствует за этой оговоркой восстание теократа против ее державных прав.

— Стало быть, мои подданные, — допытывается она, — должны повиноваться вам, а не мне? Стало быть, я подвластна вам, а не вы мне?

Собственно, именно таково мнение Джона Нокса. Но он остерегается в присутствии Меррея высказать его ясно.

— Нет, — отвечает он уклончиво, — и князь и его подданные должны повиноваться господу. Королям надлежит быть кормильцами церкви, а королевам — ее мамами.

— Но я не вашу церковь хочу кормить, — возражает королева, возмущенная двусмысленностью его ответа. —

<sup>1</sup> Язычнице (англ.).

<sup>2</sup> «Первый трубный сигнал в осуждение чудовищного правления женщин» (англ.).

Я хочу лелеять римско-католическую церковь, для меня она единственная церковь божия.

Итак, противники схватились грудь с грудью. Спор зашел в тупик, ибо не может быть понимания между верующей католичкой и фанатичным протестантом. Нокс идет в своей неучтивости еще дальше, он называет римско-католическую церковь блудницей, недостойной быть невестой божией. Когда же королева запрещает ему подобные выражения, как оскорбительные для ее совести, он отвечает с вызовом: «Совести потребно познание»,— он же боится, что королеве как раз не хватает познания. Так вместо примирения эта первая беседа только обострила взаимную вражду. Нокс знает теперь, что «сатана силен» и что юная властительница никогда ему не покорится. «При этом объяснении я натолкнулся на решимость, какой еще не встречал в возрасте, столь незрелом. С того дня у меня со двором все покончено, равно как и у них со мной»,— пишет он в раздражении. Но и молодая женщина впервые ощутила предел своей королевской власти. С гордо поднятой головой покидает Нокс дворец, довольный, что оказал сопротивление королеве; в растерянности смотрит ему вслед Мария Стюарт и, чувствуя свое бессилие, раздражается горькими слезами. И это не последние слезы. Вскоре она узнает, что власть не наследуют с кровью, а непрестанно завоевывают вновь и вновь в борьбе и унижениях.

## КАМЕНЬ ПОКАТИЛСЯ

1561—1563



Первые три года в Шотландии, проведенные Марией Стюарт на положении вдовствующей королевы, проходят при полном штиле, без сколько-нибудь заметных потрясений; такова уж особенность этой судьбы (недаром привлекающей драматургов), что все великие ее события как бы сжимаются в короткие эпизоды стихийной силы. В эту пору правят Меррей и Мэйтленд, а Мария Стюарт только представляет — удачное разделение власти для всего государства. Ибо как Меррей, так и Мэйтленд правят разумно и осмотрительно, а Мария Стюарт отлично справляется со своими обязанностями по части репрезентации. От природы красивая и обаятельная, искушенная во всех рыцарских забавах, мастерски играющая в мяч, не по-женски смелая наездница, страстная охотница, она уже внеш-

ними своими данными завоевывает сердца: с гордостью глядят эдинбургцы, как эта дочь Стюартов поутру, с соколом на высоко поднятом кулачке, выезжает во главе празднично пестреющей кавалькады, с ласковой готовностью отвечая на каждое приветствие. Что-то светлое и радостное, что-то трогательное и романтичное озарило суровую, темную страну с появлением этой королевы, словно солнце юности и красоты, а ведь красота и юность правителя всегда таинственно пленяют сердца подданных. Лордам, в свою очередь, внушает уважение ее мужественная отвага. Целыми днями способна эта молодая женщина в бешеной скачке мчаться без усталости впереди своей свиты. Как душа ее под чарующей приветливостью таит еще не раскрывшуюся железную гордость, так и гибкое, словно лоза, нежное, легкое, женственно-округлое тело скрывает необычайную силу. Никакие трудности не страшны ее жаркой отваге; однажды, наслаждаясь быстрой скачкой, она сказала своему спутнику, что хотела бы быть мужчиной, изведать, каково это — всю ночь провести в поле на коне. Когда регент Меррей выезжает в поход против мятежного клана Хантлей, она бесстрашно скачет с ним рядом с мечом на боку, с пистолетами за поясом: отважные приключения неотразимо манят ее неведомым очарованием чего-то дикого и опасного, ибо отдаваться чему-либо всеми силами своего существа, всем пылом своей любви, всей своей необузданной страстью — сокровеннейшее призвание этой энергичной природы. Но, неприхотливая и выносливая, точно воин, точно охотник, во всех этих скачках и похождениях, она умеет быть совсем другой в своем замке, повелительница во всеоружии искусства и культуры, самая веселая, самая очаровательная женщина в своем маленьком мире; поистине в этой короткой юности воплотился идеал века — мужество и нежность, сила и смирение, явленные нам рыцарской романтикой. Последним, предзакатным сиянием куртуазной *chevalerie*, воспетой трубадурами, светится это прекрасное видение в тумане холодного северного края, уже омраченного теньями реформации.

Но никогда романтический образ этой женщины-отроковицы, этой девочки-вдовы не сверкал так лучезарно, как на двадцатом, двадцать первом ее году, — и здесь торжество приходит к ней слишком рано, непонят-

ное и ненужное. Ибо все еще не пробудилась вполне ее внутренняя жизнь, еще женщина в ней не знает вельний крови, еще не развилась, не сложилась ее личность. Только в минуты волнений и опасностей раскрывается истинная Мария Стюарт, а эти первые годы в Шотландии для нее лишь время безразличного ожидания, и она коротает его в праздных забавах, как бы пребывая в постоянной готовности еще неизвестно к чему и для чего. Это словно вдох перед решающим усилием, бесцветный, мертвый интервал. Марию Стюарт, уже полуробенком владевшую всей Францией, не удовлетворяет убогое владычество в Шотландии. Не для того, чтобы править этой бедной, тесной, заштатной страной, возвратилась она на родину; с первых же шагов смотрит она на эту корону лишь как на ставку во всемирной игре, рассчитывая выиграть более блестящую. Сильно заблуждается, кто думает или утверждает, будто Мария Стюарт не желала ничего лучшего, как тихо и мирно управлять наследием своего отца в качестве примерной девочки, преемницы шотландской короны. Тот, кто приписывает ей столь утлое честолюбие, умаляет ее величие, ибо в этой женщине живет неукротимая, неудержимая воля к большой власти; никогда та, что пятнадцати лет венчалась в Нотр-Дам с французским наследным принцем, та, кого в Лувре чествовали с величайшей пышностью как повелительницу миллионов, никогда она не удовлетворится участью госпожи над двумя десятками непокорных мужланов, именуемых графами и баронами,— королевы каких-то двухсот тысяч пастухов и рыбаков. Искусственная, фальшивая натяжка—приписывать ей задним числом некое национально-патриотическое чувство, открытое веками позднее. Князьям пятнадцатого, шестнадцатого веков—всем, исключая ее великой антагонистки Елизаветы,—дела нет до их народов, а лишь до своей личной власти. Империи перекраиваются, как платья, государства создаются войнами и браками, а не пробуждением национального самосознания. Не надо впадать в сентиментальную ошибку: Мария Стюарт той поры готова променять Шотландию на испанский, французский, английский да, в сущности, на любой другой престол; вероятно, ни слезинки не проронила бы она, расставаясь с лесами, озерами

и романтическими замками своей отчизны; ее неумное честолюбие рассматривает это маленькое государство всего лишь как трамплин для более высокой цели. Она знает, что по своему рождению призвана к власти, знает, что красота и блестящее воспитание делают ее достойной любой европейской короны, и с той беспредметной мечтательностью, с какой ее сверстницы грезят о безграничной любви, грезит ее честолюбие лишь о безграничной власти.

Потому-то она вначале и бросает на Меррея и Мэйтленда все государственные дела — без малейшей ревности, без участия и интереса; ни капли не завидуя — что ей, так рано венчанной, так избалованной властью, эта бедная, тесная страна! — позволяет она им править и владеть по-своему. Никогда управление, приумножение своего достояния — это высшее политическое искусство — не было сильной стороной Марии Стюарт. Она может только защищать, но не сохранять. Лишь когда ущемляется ее право, когда задета ее гордость, когда чужая воля угрожает ее притязаниям, в ней пробуждается дикая, порывистая энергия; только в решительные мгновения становится эта женщина великой и деятельной; обыкновенные времена находят ее обыкновенной и безучастной.

В эту пору затишья стихают и козни ее великой противницы; ибо всегда, когда пылкое сердце Марии Стюарт осеняют мир и покой, успокаивается и Елизавета. Одним из величайших политических достоинств этой великой реалистки было умение считаться с фактами, умение не восставать своевольно против неизбежного. Всеми средствами пыталась она помешать возвращению Марии Стюарт в Шотландию, а потом делала все возможное, чтобы его отодвинуть; но теперь, когда оно стало непреложным фактом, Елизавета больше не борется, наоборот, она не жалеет стараний, чтобы завязать с соперницей, которую устранить бессильна, дружественные отношения. Елизавета — и это одна из самых положительных особенностей ее причудливого, своевольного нрава, — как и всякая умная женщина, не любит войны, всегда, чуть дело доходит до ответственных насиль-

ственных мер, она теряется и робеет; расчетливая натура; она предпочитает искать преимуществ в переговорах и договорах, добиваясь победы в искусном поединке умов. Едва лишь достоверно выяснилось, что Мария Стюарт приезжает, лорд Меррей обратился к Елизавете с проникновенными словами увещания, призывая ее заключить с шотландской королевой честную дружбу: «Обе вы молодые, преславные королевы, и уже ваш пол возбращает вам умножать ваше величие войной и кровопролитием. Каждая из вас знает, что послужило поводом для возникшей меж вами распри. Видит бог, больше всего я желал бы, чтобы моя державная госпожа никогда не заявляла претензий как на государство Вашего Величества, так и на титул. И все же вам должно пребыть и остаться друзьями. Однако, поскольку с ее стороны было изъявлено такое притязание, боюсь, как бы это недоразумение не стало меж вами, доколе причина его не устранена. Ваше Величество не можете пойти на уступки в этом вопросе, но и ей трудно стерпеть, что на нее, столь близкую Англии по крови, смотрят там, как на чужую. Нет ли здесь какого-то среднего пути?» Елизавета готова внять совету; в качестве всего лишь королевы Шотландской, да еще под контролем английского прихлебателя Меррея, Мария Стюарт не так уж ей страшна — прошли те времена, когда она носила двойную корону, монархини Французской и Шотландской. Так почему бы не выказать приязнь, хотя бы и чуждую ее сердцу? Вскоре между Елизаветой и Марией Стюарт завязывается переписка, обе *dear sisters*<sup>1</sup> доверяют многотерпеливой бумаге свои нежнейшие чувства. Мария Стюарт посылает Елизавете в знак любви бриллиантовое кольцо, а та шлет ей взамен перстень еще более драгоценный; обе успешно разыгрывают перед публикой и собой утешительное зрелище родственной привязанности. Мария Стюарт заверяет, что «самое заветное ее желание в этом мире — повидать свою добрую сестрицу», она готова разорвать союз с Францией, так как ценит благосклонность Елизаветы «*more than all uncles of the world*»<sup>2</sup>, тогда как Елизавета затейливым крупным

---

<sup>1</sup> Милые сестрицы (англ.).

<sup>2</sup> Превыше всех дядюшек на свете (англ.).

почерком, к коему она обращается лишь в самых торжественных случаях, выводит велеречивые изъяснения в преданности и дружбе. Но едва лишь дело доходит до того, чтобы договориться о личной встрече, как обе осторожно увиливают. Их старые переговоры так и завязли на мертвой точке: Мария Стюарт согласна подписать Эдинбургский договор о признании Елизаветы лишь при условии, что та подтвердит ее права преемства; для Елизаветы же это все равно, что подписать собственный смертный приговор. Ни одна из сторон ни на йоту не отступает от своих притязаний, цветистые фразы в конечном счете лишь прикрывают непроходимую пропасть. Завоеватель мира Чингис-хан сказал: «Не бывать двум солнцам в небе и двум ханам на земле». Одна из них должна уступить — Елизавета или Мария Стюарт. Обе в глубине души знают это, и каждая ждет своего часа. Но пока решительный час не настал, почему не воспользоваться короткой передышкой? Там, где недоверие неистребимо живет в душе, всегда отыщется повод раздуть подспудный огонь во всепожирающее пламя.

Нередко в эти годы юную королеву удручают мелкие заботы, утомляют докучные государственные дела, все чаще и чаще чувствует она себя чужой среди забияк дворян, ей не по себе от брани и лая воинствующих попов и от их тайных козней — в такие минуты бежит она во Францию, свою отчизну сердца. Разумеется, Шотландии ей не покинуть, но в своем Холирудском замке она создала себе маленькую Францию, крошечный мирок, где свободно и невозбранно отдается самым заветным своим влечениям, — собственный Трианон. В круглой Холирудской башне держит она романтический двор во французском вкусе; она привезла из Парижа гобелены и турецкие ковры, затейливые кровати, дорогую мебель и картины, а также любимые книги в роскошных переплетах, своего Эразма и Рабле, своего Ариосто и Ронсара. Здесь говорят и живут по-французски, здесь в трепетном сиянии свечей вечерами музицируют, затевают светские игры, читают стихи, поют мадригалы. При этом миниатюрном дворе впервые по сю сторону

Ламанша разыгрываются «маски», маленькие классические пьесы «на случай», впоследствии, уже на английских подмостках, увидевшие свой пышный расцвет. До глубокой ночи танцуют переодетые дамы и кавалеры, и во время одного из таких танцев в масках, «The rigorse»<sup>1</sup>, королева появляется даже в мужском костюме, в черных облегающих шелковых панталонах, а ее партнер, поэт Шателяр, переодет дамой — зрелище, которое повергло бы Джона Нокса в неопишуемый ужас.

Но пуритане, фарисеи и им подобные ворчуны на выстрел не подпускаются к этим увеселениям, и тщетно кипятится Джон Нокс, изобличая премерзостные «soupiris» и «dansaris», и мечет громы с высоты амвона в Сент-Джайлсе, так что борода его мотается, что твой маятник. «Князьям сподручнее слушать музыку и ублажать мамону, чем внимать священному слову божию или читать его. Музыканты и льстецы, погубители младости, угодней им, чем зрелые, умудренные мужи, — кого же имеет в виду сей самонадеянный муж? — те, что целительными увещаниями тщатся хоть отчасти истребить в них персозданный грех гордыни». Но юный, веселый кружок не ищет «целительных увещаний» этого «kill-joy», убийцы радости; четыре Марии и два-три кавалера, преданных всему французскому, счастливы забыть здесь, в ярко освещенном уютном зале — приюте дружбы, о сумраке неприветной, трагической страны, а Мария Стюарт прежде всего счастлива сбросить холодную личину величия и быть просто веселой молодой женщиной в кругу сверстников и единомышленников.

Такое желание естественно. Но поддаваться беспечности всегда опасно для Марии Стюарт. Притворство душит ее, осторожность скоро утомляет, однако похвальное, в сущности, качество — неумение скрывать свои чувства — «Je ne sais point déguiser mes sentiments», как она кому-то пишет, — приносит ей политически больше неприятностей, нежели другим самая бесчеловечная жестокость, самый злонамеренный обман. Известная не принужденность, которую королева разрешает себе в обществе молодых людей, с улыбкою принимая их поклонение и даже порой бессознательно поощряя его,

---

<sup>1</sup> «Тайное намерение» (англ.).

располагает сумасбродных юнцов к неподобающей фамильярности, а более пылким и вовсе кружит голову. Было, очевидно, в этой женщине, чье очарование так и не сумели передать писанные с нее портреты, нечто воспламенявшее чувства; быть может, по каким-то незаметным признакам иные мужчины уже тогда улавливали за мягкими, благосклонными и, казалось бы, вполне уверенными манерами женщины-девушки неудержимую страстность,— так иной раз за улыбчивым ландшафтом скрывается вулкан; быть может, задолго до того, как Марии Стюарт самой открылась ее тайна, угадывали они мужским чутьем ее неукротимый темперамент, ибо от нее исходили чары, склонявшие мужчин скорее к чувственному влечению, нежели к романтической любви. Вполне вероятно, что в слепоте еще не пробудившихся инстинктов она легче допускала чувственные вольности — ласковое прикосновение, поцелуй, манящий взгляд,— нежели это сделала бы умудренная опытом женщина, понимающая, сколько опасного соблазна в таких невинных шалостях; иной раз она позволяет окружающим молодым людям забывать, что женщина в ней, как королеве, должна оставаться недоступной для чересчур смелых мыслей. Был такой случай: молодой шотландец, капитан Хепберн, позволил себе по отношению к ней какую-то дурацки неуклюжую выходку, и только бегство спасло его от грозной кары. Но как-то слишком небрежно проходит Мария Стюарт мимо этого досадного инцидента, легкомысленно расценивая дерзкую фривольность как простительную шалость, и тем придает храбрости другому дворянину из тесного кружка своих друзей.

Это приключение носит уже и вовсе романтический характер; как почти все, что случается на шотландской земле, становится оно сумрачной балладой. Первый почитатель Марии Стюарт при французском дворе, господин Данвилль, сделал своего юного спутника и друга, поэта Шателяра, наперсником своих восторженных чувств. Но вот господину Данвиллю, вместе с другими французскими дворянами сопровождавшему Марию Стюарт в ее путешествии, пора вернуться домой, к жене, к своим обязанностям; и трубадур Шателяр остается в Шотландии своего рода наместником чужого поклонения. Однако не столь уж безопасно сочинять все но-

вые и новые нежные стихи — игра легко превращается в действительность. Мария Стюарт бездумно принимает поэтические излияния юного гугенота, в совершенстве владеющего всеми рыцарскими искусствами, и даже отвечает на его мадригалы стихами своего сочинения; да и какой молодой, знающейся с музами женщине, заброшенной в грубую, отсталую страну, не было бы лестно слышать такие прославляющие ее строфы:

Oh Déesse immortelle  
Escoute donc ma voix  
Toy qui tiens en tutelle  
Mon pouvoir sous tes loix  
Afin que si ma vie  
Se voie en bref ravie,  
Ta cruauté  
La confesse périe  
Par ta seule beauté.

К тебе, моей богине,  
К тебе моя мольба,  
К тебе, чья воля ныне —  
Закон мой и судьба.  
Верь, если б в дни расцвета  
Пресекла путь мой Лета,  
Виновна только ты,  
Сразившая поэта  
Оружьем красоты!

тем более, что она не знает за собой никакой вины? Ибо разделенным чувством Шателяр похвалиться не может — его страсть остается безответной. Уныло вынужден он признать:

Et néansmoins la flâme  
Qui me brûle et enflâme  
De passion  
N'émeut jamais ton âme  
D'aucune affection.

Ничто не уничтожит  
Огня, который гложет  
Мне грудь,  
Но он любовь не может  
В тебя вдохнуть.

Вероятно, лишь как поэтическую хвалу на фоне других придворных и подобострастных ласкательств, с улыбкой приемлет Мария Стюарт — она и сама поэтесса и

знает, сколь условны эти лирические воспарения,— чувственные строфы своего пригожего Селадона, и, конечно же, только терпит она галантные любезности, не представляющие собой ничего неуместного при романтическом дворе женщины. С обычной непосредственностью шутит и забавляется она с Шателеаром, как и с четырьмя Мариями. Она отличает его невинными знаками внимания, избирает того, кто по правилам этикета должен созерцать ее из почтительного отдаления, своим партнером в танцах и как-то в фигуре фокингданса слишком близко склоняется к его плечу; она позволяет ему более вольные речи, чем допустимо в Шотландии в трех кварталах от амбона Джона Нокса, неустанно обличающего «such fashions more lyke to the bordell than to the comeliness of honest women»<sup>1</sup>, она, быть может, даже дарит Шателеару мимолетный поцелуй, танцуя с ним в «маске» или играя в фанты. Но, пусть и безобидное, кокетство приводит к фатальной развязке: подобно Торквато Тассо, юный поэт склонен преступить границы, отделяющие королеву от слуги, почтение от фамильярности, галантность от учтивости, шутку от чего-то серьезного, и безрассудно отдаться своему чувству. Неожиданно происходит следующий досадный эпизод: как-то вечером молодые девушки, прислуживающие Марии Стюарт, находят в ее опочивальне поэта, спрятавшегося за складками занавеси. Сперва они судят его не слишком строго, усмотрев в непристойности скорее мальчишескую проделку. Браня озорника больше для виду, они выпроваживают его из спальни. Да и сама Мария Стюарт принимает эту выходку скорее с благодушной снисходительностью, чем с непритворным возмущением. Случай этот тщательно скрывают от брата королевы, и о какой-либо серьезной каре за столь чудовищное нарушение всякого благоприличия вскоре никто уже и не помышляет. Однако потворство не пошло безумцу на пользу. То ли он усмотрел поощрение в снисходительности молодых женщин, то ли страсть превозмогла доводы рассудка, но вскоре он отваживается на новую дерзость. Во время поездки Марии Стюарт в Файф он сле-

---

<sup>1</sup> «подобные нравы, более приличные блудницам, чем пригожим честным женщинам» (англ.).

дует за ней тайно от придворных, и снова его обнаруживают в спальне королевы, раздевающейся перед отходом ко сну. В испуге оскорбленная женщина поднимает крик, переполошив весь дом; из смежного покоя выскакивает ее сводный брат Меррей, и теперь уже ни о прощении, ни об умолчании не может быть и речи. По официальной версии, Мария Стюарт даже потребовала (хоть это и маловероятно), чтобы Меррей заколол дерзкого кинжалом. Однако Меррею, который в противоположность сестре умеет рассчитывать каждый свой шаг, взвешивая его последствия, слишком хорошо известно, что, убив молодого человека в спальне государыни, он рискует запятнать кровью не только ковер, но и ее честь. Нет, такое преступление должно быть оглашено всенародно, и воздастся за него тоже всенародно — на городской площади; только этим и можно доказать невиновность властительницы — как ее подданным, так и всему миру.

Несколько дней спустя Шателяра ведут на плаху. В его дерзновенной отваге судьи усмотрели преступление, в его легкомыслии — черную злонамеренность. Единогласно присуждают они его к самой лютой каре — к смерти под топором палача. Мария Стюарт, пожелай она даже, не могла бы помиловать безумца: послы донесли об этом случае своим дворам, в Лондоне и Париже, затаив дыхание, следят за поведением шотландской королевы. Малейшее слово в защиту виновного было бы равносильно признанию в соучастии. И наперсника, делившего с ней немало приятных, радостных часов, оставляет она в самый тяжкий его час без малейшей надежды и утешения.

Шателяр умирает безупречной смертью, как и подобает рыцарю романтической королевы. Он отказывается от духовного напутствия, единственно в поэзии ищет он утешения, а также в сознании, что:

Mon malheur déplorable  
Soit sur moy immortel.

Я жалок, но мое  
Страдание бессмертно.

С высоко поднятой головой восходит мужественный трубадур на эшафот, вместо псалмов и молитв громко

декламируя знаменитое «Послание к смерти» своего друга Ронсара:

Je te salue, heureuse et profitable Mort  
Des extrêmes douleurs médecin et confort.

О смерть, я жду тебя, прекрасный, добрый друг,  
Освобождающий от непосильных мук.

Перед плахой он снова поднимает голову, чтобы воскликнуть — и это скорее вздох, чем жалоба: «O cruelle dame!»<sup>1</sup>, а затем с полным самообладанием склоняется под смертоносное лезвие. Романтик, он и умирает в духе баллады, в духе романтической поэмы.

Но злополучный Шателляр — лишь случайно выхваченный образ в смутной веренице теней, он лишь первым умирает за Марию Стюарт, лишь предшествует другим. С него начинается призрачная пляска смерти, хоровод всех тех, кто за эту женщину взошел на эшафот, возлеченный в темную пучину ее судьбы, увлекая ее за собой. Из всех стран стекаются они, безвольно влачась, словно на гравюре Гольбейна, за черным костяным барабаном — шаг за шагом, год за годом, князья и правители, графы и бароны, священники и солдаты, юноши и старцы, жертвуя собой во имя ее, принесенные в жертву во имя ее — той, что безвинно виновата в их мрачном шествии и во искупление своей вины сама его завершает. Не часто бывает, чтобы судьба воплотила в женщине столько смертной магии: словно таинственный магнит, вовлекает она окружающих ее мужчин в орбиту своей пагубной судьбы. Кто бы ни оказался на ее пути, все равно в милости или немилости, обречен несчастьем и насильственной смертью. Никому не принесла счастья ненависть к Марии Стюарт. Но еще горше платились за свою смелость державшие ее любить.

А потому гибель Шателляра лишь на поверхностный взгляд кажется нам случайностью, ничего не говорящим эпизодом: впервые раскрывается здесь еще неясный закон ее судьбы, гласящий, что никогда не будет ей дано безнаказанно предаваться беспечности, жить легко и безмятежно. Так сложилась ее жизнь, что с первого же часа должна изображать она величие, быть коро-

<sup>1</sup> О жестокая дама! (франц.)

левой, всегда и только королевой, репрезентативной фигурой, игрушкой в мировой игре, и то, что на первых порах казалось благословением неба — раннее коронавание, высокое рождение, — обернулось на деле проклятием. Всякий раз как она пытается быть верной себе, отдаться своему чувству, своим настроениям, своим истинным склонностям, судьба жестоко наказывает ее за нерадивость. Шателяр лишь первое предостережение. После детства, лишенного всего детского, она, пользуясь короткой передышкой до того, как во второй, как в третий раз ее тело, ее жизнь отдадут чужому мужчине, выменяют на какую-нибудь корону, — пытается хотя бы несколько месяцев быть только молодой и беспечной, только дышать, только жить и бездумно радоваться жизни; и тотчас жестокие руки отрывают ее от беспечных игр. Встревоженные этим происшествием, торопят регент, парламент и лорды с заключением нового брака. Пусть Мария Стюарт изберет себе супруга; разумеется, не того, кто придется ей по вкусу, но такого, кто укрепит могущество и безопасность страны. Давно уже ведутся переговоры, но теперь их возобновляют с новой энергией; дядьки и опекуны трепещут, как бы эта ветреница какой-нибудь новой глупостью не загубила свою честь и свой престиж. Снова закипел торг на брачном аукционе: опять Мария Стюарт оттесняется в заклятый круг политики, которая с первого до последнего часа держит ее в своей власти. И каждый раз, как она стремится теплым живым телом прорвать ледяное кольцо ради глотка воздуха, неизменно губит она чужую и свою собственную участь.

# ОЖИВЛЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОМ АУКЦИОНЕ НЕВЕСТ

1563—1565



**Д**ве молодые женщины в ту пору — самые желанные невесты в мире: Елизавета Английская и Мария Шотландская. Во всей Европе едва ли сыщется обладатель королевских прав, еще не обладающий супругою, который не засылал бы к ним сватов — будь то Габсбург или Бурбон, Филипп II Испанский или сын его дон Карлос, эрцгерцог Австрийский, короли Шведский и Датский, почтенные старцы и совсем еще мальчики, юноши и зрелые мужи; давно уже на политическом аукционе невест не было такого оживления. Ведь женитьба на государыне — по-прежнему незаменимое средство для расширения монаршей власти. Не войнами, а матримониальными союзами создавались во времена абсолютизма обширные наследственные права; так возник-

ла объединенная Франция, Испанская мировая держава и могущество дома Габсбургов. А тут неожиданно засверкали и последние драгоценности европейской короны. Елизавета или Мария Стюарт, Англия или Шотландия — тот, кто женитьбой приберет к рукам ту или другую страну, выиграет мировое первенство; но здесь идет не только состязание наций, но и война духовная, война за человеческие души. Ибо, случись, что британские острова вместе с одной из владычиц достались бы соправителю-католику, это означало бы, что стрелка весов в борьбе католицизма и протестантизма окончательно склонилась в сторону Рима и *ecclesia universalis*<sup>1</sup> вновь восторжествовала в мире. А потому азартная погоня за невестами означает здесь нечто большее, нежели простое семейное событие: в ней заключено решение мировой важности.

Решение мировой важности... Но для обеих женщин, для обеих королев здесь решается также и спор всей их жизни. Нерасторжимо переплелись их судьбы. Если одна из соперниц возвысится благодаря браку, то неудержимо зашатается престол другой; если одна чаша весов поднимется, неминуемо упадет другая. Равновесие лжедружбы между Елизаветой и Марией Стюарт может сохраняться, пока обе не замужем и одна — лишь королева Английская, а другая — лишь королева Шотландская. Стоит одной чаше перевесить, и кто-то из них станет сильнее — победит. Но неустрашимо противостоит гордость гордости, ни одна не хочет уступить и не уступит. Только борьба не на жизнь, а на смерть может разрешить этот безысходный спор.

Для блистательно развивающегося зрелища этого поединка сестер история избрала двух артисток величайшего масштаба. Обе, и Мария Стюарт и Елизавета, — редкостные, несравненные дарования. Рядом с их колоритными фигурами остальные монархи того времени — аскетически заостренный Филипп II Испанский, по-мальчишески вздорный Карл IX Французский, незначительный Фердинанд Австрийский — кажутся актерами на

---

<sup>1</sup> Вселенская церковь (лат.).

вторые роли; ни один из них и отдаленно не достигает того духовного уровня, на котором противостоят друг другу обе женщины. Обе они умны, но при всем своем уме подвержены чисто женским страстям и капризам, обе бешено честолюбивы, обе с юного возраста тщательно готовились к своей высокой роли. Обе держатся с добавляющим их сану величием, обе блистают утонченной культурой, делающей честь гуманистическому веку. Каждая наряду с родным языком свободно изъясняется по-латыни, по-французски и итальянски — Елизавета знает и по-гречески, а письма обеих образным и метким слогом выгодно отличаются от бесцветных писаний их первых министров — письма Елизаветы несравненно красочнее и живее докладных записок ее умного статс-секретаря Сесила, а слог Марии Стюарт, отточенный и своеобразный, несколько не похож на бесцветные дипломатические послания Мэйтленда и Меррея. Незаурядный ум обеих женщин, их понимание искусства, вся их царственная повадка способны удовлетворить самых придирчивых судей, и если Елизавета внушает уважение Шекспиру и Бену Джонсону, то Марией Стюарт восхищаются Ронсар и Дю Белле. Но на утонченной личной культуре сходство между обеими женщинами и кончается: тем ярче выступает их внутренняя противоположность, которую писатели с давних времен воспринимали и изображали как типично драматическую.

Противоположность эта такая полная, что даже линии их жизни выражают ее с графической наглядностью. Основное различие: Елизавета терпит трудности в начале пути, Мария Стюарт — в конце. Счастье и могущество Марии Стюарт возносятся легко, светло и мгновенно, как встает в небе утренняя звезда; рожденная королевой, она еще ребенком принимает второе помазание. Но так же круто и внезапно свершается ее падение. Ее судьба как бы сгустилась в три-четыре катастрофы и, следовательно, сложилась как драма — недаром Марию Стюарт столь охотно избирали героиней трагедии, — в то время как восхождение Елизаветы свершается медленно, но верно (почему здесь уместно только плавное повествование). Ей ничто не давалось даром и не падало в руки с неба. Объявленная в детстве бастардом и заточенная родной сестрой в Тауэр в ожидании

смертного приговора, эта скороспелая дипломатка вынуждена поначалу хитростью отстаивать свое право на самое существование, на жизнь из милости. У Марии Стюарт, прямой наследницы королей, на роду написано величие; Елизавета добилась его своими силами, своим горбом.

Две столь различные линии жизни, естественно, стремятся разойтись в разные стороны. Если порой они скрещиваются и пересекаются, то переплестись не могут. Глубоко, в каждой извилине, в каждом оттенке характера неминуемо сказывается изначальное различие, заключающееся в том, что одна родилась в короне, как иные дети рождаются с густыми волосами, тогда как другая с трудом добилась, хитростью достигла своего положения; одна с первой же минуты — законная королева, вторая — королева под вопросом. У каждой из этих женщин в силу особенностей ее судьбы развились свои, только ей присущие качества. У Марии Стюарт незаслуженная легкость, с какою — увы, слишком рано! — ей все доставалось, порождает необычайную беспечность, самоуверенность и, как высший дар, ту дерзновенную отвагу, которая и возвеличила ее и погубила. Всякая власть от бога и лишь богу ответ дает. Ее дело — повелевать, а других — повиноваться, и если бы даже весь мир усомнился в ее царственном призвании, она чувствует его в себе, в жарком кипении своей крови. Легко и не рассуждая одушевляется она; бездумно, сгоряча, словно хватаясь за рукоять шпаги, принимает решения; отчаянная наездница, одним рывком повода, с маху берущая любой барьер, любую изгородь, она и в политике надеется единственно на крыльях мужества перемахнуть через любое препятствие, любую преграду. Если для Елизаветы искусство правления — это партия в шахматы, головоломная задача, то для Марии Стюарт это одна из самых острых услад, повышенная радость бытия, рыцарское ристание. У нее, как однажды сказал папа, «сердце мужа в теле женщины», и именно эта бездумная смелость, этот державный эгоизм, которые так привлекают к ней стихотворцев, балладников и трагиков, послужили причиной ее безвременной гибели.

Ибо Елизавета, натура насквозь реалистическая с близким к гениальности чувством действительности, до-

бывается победы исключительно тем, что использует промахи и безумства своей по-рыцарски отважной противницы. Зоркими, пронизательными, птичьими глазами она — взгляните на ее портрет — недоверчиво взирает на мир, опасности которого так рано узнала. Уже ребенком постигла она, как произвольно, то взад, то вперед, катится шар Фортуны: всего лишь шаг отделяет престол от эшафота, и опять-таки только шаг отделяет Тауэр, это преддверие смерти, от Вестминстера. Всегда поэтому будет она воспринимать власть как нечто текучее, повсюду будет ей чудиться угроза; осторожно и боязливо, словно они из стекла и ежеминутно могут выскользнуть из рук, держит Елизавета корону и скипетр; вся ее жизнь, в сущности, сплошные тревоги и колебания. Портреты убедительно дополняют известные нам описания ее характера: ни на одном не глядит она ясно, независимо и гордо, истинной повелительницей: на каждом в ее нервных чертах сквозят настороженность и робость, словно она к чему-то прислушивается, словно ждет чего-то, и никогда улыбка уверенности не оживляет ее губ. Бледная, она держится очень прямо, неуверенно и вместе с тем тщеславно вознося голову над помпезной роскошью осыпанной камнями робы и словно коченея под ее грузным великолепием. Чувствуется: стоит ей остаться одной, сбросить парадную одежду с костлявых плеч, стереть румяна с узких щек — и все ее величие спадет, останется бедная, растерянная, рано постаревшая женщина, одинокая душа, не способная справиться с собственными трудностями — где уж ей править миром! Такая робость в королеве, конечно, далека от героики, а ее вечная медлительность, неуверенность и нерешительность не способствуют впечатлению королевского могущества; но величие Елизаветы как правительницы лежит в иной, неромантической области. Не в смелых планах и решениях проявлялась ее сила, а в упорной, неустанной заботе об умножении и сохранении, о сбережении и стяжании, иначе говоря, в чисто бюргерских, чисто хозяйственных добродетелях: как раз ее недостатки — боязливость, осторожность — оказались особенно плодотворны на ниве государственной деятельности. Если Мария Стюарт живет для себя, то Елизавета живет для своей страны; реалистка с сильно развитым чувством ответственности,

она видит во власти призвание, тогда как Мария Стюарт воспринимает свой сан как ни к чему не обязывающее звание. У каждой свои отличительные достоинства и свои недостатки. И если безрассудно-геройская отвага Марии Стюарт становится ее роком, то медлительность и неуверенность Елизаветы в конечном счете идут ей на пользу. В политике неторопливое упорство всегда берет верх над неукротимой силой, тщательно разработанный план торжествует над импульсивным порывом, реализм — над романтикой.

Но в этом споре различие сестер идет гораздо глубже. Не только как королевы, но и как женщины Елизавета и Мария Стюарт — полярные противоположности, как будто природе заблагорассудилось воплотить в двух великих образах всемирно-историческую антитезу, проведя ее во всем с контрапунктической последовательностью.

Как женщина Мария Стюарт — женщина до конца, женщина в полном смысле слова; наиболее ответственные ее решения всегда диктовались импульсами, исходящими из глубочайших родников ее женского естества. И не то чтобы она была ненасытно страстной натурой, послушной велениям инстинкта, напротив, что особенно ее характеризует, — это чрезвычайно затянувшаяся женская сдержанность. Проходят годы, прежде чем ее чувства дают о себе знать. Долго видим мы в ней (и такова она на портретах) милую, приветливую, кроткую, ко всему безучастную женщину с чуть томным взглядом, с почти детской улыбкой на устах, нерешительное, пассивное создание, женщину-ребенка. Как и всякая истинно женственная натура, она легко возбуждима и подвержена вспышкам волнения, краснеет и бледнеет по любому поводу, глаза ее то и дело увлажняются. Но это мгновенное, поверхностное волнение крови долгие годы не тревожит глубин ее существа; и как раз потому, что она нормальная, настоящая, подлинная женщина, Мария Стюарт находит себя как сильный характер именно в страстной любви — единственной на всю жизнь. Только тогда чувствуется, как сильна в ней женщина, как она подвластна инстинктам и страстям, как скована

цепями пола. Ибо в великий миг экстаза исчезает, словно сорванная налетевшей бурей, ее наружная культурная оснастка; в этой до сих пор спокойной и сдержанной натуре рушатся плотины воспитания, морали, достоинства, и, поставленная перед выбором между честью и страстью, Мария Стюарт, как истинная женщина, избирает не королевское, а женское свое призвание. Царственная мантия ниспадает к ее ногам, и в своей наготе, пылая, она чувствует себя сестрой бесчисленных женщин, что томятся желанием давать и брать любовь; и больше всего возвышает ее в наших глазах то, что ради немногих сполна пережитых мгновений она с презрением отшвырнула от себя власть, достоинство и сан.

Елизавета, напротив, никогда не была способна так беззаветно отдаваться любви — и это по особой, интимной причине. Как выражается Мария Стюарт в своем знаменитом обличительном письме, она физически «не такая, как все женщины». Елизавете было отказано не только в материнстве; очевидно, и тот естественный акт любви, в котором женщина отдается на волю мужчины, был ей недоступен. Не так уж добровольно, как ей хочется представить, осталась она вековой virgin Queen, королевой-девственницей, и хотя некоторые сообщения современников (вроде приписываемого Бену Джонсону) относительно физического уродства Елизаветы и вызывают сомнения, все же известно, что какое-то физиологическое или душевное торможение нарушало ее интимную женскую жизнь. Подобная ненормальность должна весьма серьезно сказаться на всем существе женщины; и в самом деле, в этой тайне заключены, как в зерне, и другие тайны ее души. Все нервически неустойчивое, переливчатое, изменчивое в ее натуре, эта мигающая истерическая светотень, какая-то неуравновешенность и безотчетность в поступках, внезапное переключение с холода на жар, с «да» на «нет», все комедиантское, утонченное, затаенно хитрое, а также в немалой степени свойственное ей кокетство, не раз подводящее ее королевское достоинство, порождалось внутренней неуверенностью. Просто и естественно чувствовать, мыслить и действовать было недоступно этой женщине с глубокой трещиной в душе; никто не мог ни в чем на нее рассчитывать, и меньше всего она сама. Но, будучи

даже калекой в самой интимной области, игрушкой собственных издерганных нервов, будучи опасной интриганкой, Елизавета все же никогда не была жестокой, бесчеловечной, холодной и черствой. Ничто не может быть лживее, поверхностнее и банальнее, чем получившее широкое хождение понятие о ней (воспринятое Шиллером в его трагедии), будто бы коварная кошка Елизавета играла кроткой, безоружной Марией Стюарт как беспомощной мышкой. Кто глядит глубже, тот в этой одинокой женщине, зябнувшей под броней своего могущества и только изводящей себя своими псевдолюбовниками, ибо ни одному из них она не способна отдаться, видит скрытую лукавую теплоту, а за ее капризными и грубыми выходками — честное желание быть доброй и великодушной. Ее робкой натуре претило насилие, и она предпочитала ему пряную дипломатическую игру «по маленькой» и безответственность закулисных махинаций; каждое объявление войны повергало ее в дрожь и трепет, каждый смертный приговор камнем ложился на совесть, всеми силами старалась она сохранить в стране мир. Если она боролась с Марией Стюарт, то лишь потому, что чувствовала (и не без основания) с ее стороны угрозу, да и то она охотнее уклонилась бы от открытой борьбы, ибо была по натуре игроком, шулером, но только не борцом. Обе они — Мария Стюарт по своей беспечности и Елизавета по робости характера — предпочли бы жить в мире, пусть даже это был худой, ложный мир. Но конфигурация звезд на небе в тот исторический момент не допускала половинчатости, неопределенности. Равнодушная к заветным желаниям отдельной личности, сильнейшая воля истории часто втрачивает людей и стоящие за ними силы в свою смертоносную игру.

Ибо за антагонистическими чертами исторических личностей повелительно, исполинскими тенями встают великие противоречия эпохи. И не случайность, что Мария Стюарт была поборницей старой, католической, а Елизавета — защитницей новой, реформатской церкви; в том, что каждая из них берет сторону одной из борющихся партий, как бы символически отражен тот факт, что обе королевы воплощают различные мировоззрения:

Мария Стюарт — умирающий мир рыцарского средневековья, Елизавета — мир новый, нарождающийся. В их борьбе как бы изживает себя эпоха перелома.

Мария Стюарт, как последний отважный паладин, борется и умирает за то, что кануло без возврата, — за обреченное, гиблое дело, и это придает ее фигуре такое романтическое очарование. Она лишь повинуется творящей воле истории, когда, обращенная в прошлое, политически связывает свою судьбу с силами, уже перешагнувшими через зенит, с Испанией и Ватиканом, — тогда как Елизавета прозорливо шлет посольства в самые отдаленные страны, Россию и Персию, и с безошибочным чутьем обращает энергию своего народа к океанам, как бы в предвидении того, что столбы, поддерживающие будущую мировую империю, должны быть воздвигнуты на новых континентах. Мария Стюарт косно привержена традиции, она не возвышается над чисто династическим пониманием королевской власти. По ее мнению, страна принадлежит властителю, а не властитель стране; все эти годы Мария Стюарт была лишь королевой Шотландской, и никогда не была она королевой шотландского народа. Сотни написанных ею писем трактуют об утверждении, расширении ее личных прав, и нет ни одного, где шла бы речь о народном благе, о развитии торговли, мореплавании или военной мощи. Как языком ее в поэтических опытах и повседневном обиходе всегда оставался французский язык, так и в помыслах ее и чувствах нет ничего национального, шотландского; не ради Шотландии жила она и приняла смерть, а единственно, чтобы оставаться королевою Шотландской. В итоге Мария Стюарт не дала своей стране ничего творчески вдохновляющего, кроме легенды о своей жизни.

Но, поставив себя над всеми, Мария Стюарт обрекла себя на одиночество. Пусть мужеством и решимостью она неизмеримо превосходила Елизавету, зато Елизавета не в одиночестве боролась против нее. Чувство неуверенности рано заставило ее укрепить свои позиции, и она сумела окружить себя помощниками — надежными людьми с ясным, трезвым разумом; в этой войне она опиралась на целый генеральный штаб, обучавший ее тактике и практике и в решительные минуты защищав-

ший ее от порывов и срывов ее нервного темперамента. Елизавета умудрилась создать вокруг себя такую превосходную организацию, что и поныне, спустя столетия, ее личные заслуги почти неотделимы от коллективных заслуг Елизаветинской эпохи в целом, так что озаряющая ее имя бессмертная слава обнимает и достижения ее выдающихся советников. В то время как Мария Стюарт — это Мария Стюарт и только, Елизавета — это всегда Елизавета плюс Сесил, плюс Лестер, плюс Уолсингем, плюс энергия всего народа; не разберешь, кто же, собственно, был гением того, шекспировского, века — Англия или Елизавета, настолько они слились в некое замечательное единство. Своим выдающимся положением среди монархов своего времени Елизавета обязана как раз тому, что она не стремилась быть госпожой Англии, а лишь исполнительницей воли англичан, свершительницей национальной миссии. Она угадала веяние времени, от автократии устремленное к конституционному строю. Добровольно признает она новые силы, возникающие из преобразования сословий, из расширения мирового пространства благодаря выдающимся открытиям века; она поощряет все новое — сословные гильдии, купцов-толстосумов и даже пиратов, ибо Англии, ее Англии, они прокладывают путь к преобладанию на море. Тысячи раз жертвует она (чего Мария Стюарт никогда не делает) своими личными желаниями ради общенационального блага. Наилучший выход из душевных затруднений — выход в деятельную жизнь; потерпев крах как женщина, Елизавета ищет счастья в благоденствии своего народа. Весь свой эгоизм, всю жажду власти эта бездетная, безмужняя женщина переключила на общенациональные интересы: быть великой величию Англии в глазах потомства было самым благородным из ее тщеславных помыслов, и жила она лишь во имя будущего величия Англии. Никакая другая корона не могла бы ее прельстить (тогда как Мария Стюарт с восторгом сменяла бы свою на любую лучшую), и в то время как та сгорела в свой час, вспыхнув ослепительным метеором, скупая, дальновидная Елизавета отдала все силы будущему своей нации.

А потому не случайность, что борьба между Марией Стюарт и Елизаветой решилась в пользу той, что оли-

цетворяла прогрессивное, жизнеспособное начало, а не той, что была обращена назад, в рыцарское прошлое; с Елизаветой победила воля истории, которая торопится вперед, отбрасывая отжившие формы, как пустую шелуху, творчески испытывая себя на новых путях. В ее жизни воплощена энергия нации, которая хочет завоевать свое место в мире, тогда как в смерти Марии Стюарт героически и эффектно отмирает рыцарское прошлое. И все же каждая из них выполняет в этой борьбе свое назначение: Елизавета, как трезвая реалистка, побеждает в истории, романтическая Мария Стюарт — в поэзии и предании.

Блистательна эта борьба, предстающая нам сквозь призму времени и пространства и в столь эффектном исполнении; жаль только, что презренны и мелки те средства, какими она ведется. Ибо хоть фигуры и незаурядные, обе женщины остаются женщинами, они бессильны превозмочь свойственную их полу слабость — враждовать не в открытую, а изводя противника лукавыми происками, булавочными уколами. Будь на месте Марии Стюарт и Елизаветы двое мужчин, двое королей, не миновать бы им кровавого столкновения, войны. Тут притязание непримиримо встало бы против притязания, мужество против мужества. Конфликт между Марией Стюарт и Елизаветой лишен честной мужской ясности; это драка двух кошек, которые, спрятав когти, бродят вокруг да около и сторожат друг друга, — коварная и во всех отношениях нечестная игра. В течение четверти века эти женщины только и делали, что лгали друг другу (причем ни одна ни на секунду не дала себя обмануть). Ни разу не поглядят они в глаза друг другу, ни разу их ненависть не выступит с поднятым забралом; льстиво и лицемерно улыбаясь, приветствуют они, и поздравляют, и улещают, и одаривают одна другую, и каждая держит за спиной отточенный кинжал. Нет, хроника войны между Елизаветой и Марией Стюарт не знает ни битв, ни прославленных эпизодов в духе Илиады, это не героическая эпопея, а скорее глава из Макиавелли, пусть и увлекательная для психолога, но отталкивающая для моралиста, ибо это всего лишь затянувшаяся

ся на двадцатилетие интрига, но только не открытый, бряцающий бой.

Бесчестная игра начинается со сватовства Марии Стюарт и появления на сцене августейших женихов. Мария Стюарт согласна на любого из них, женщина в ней еще дремлет и не участвует в выборе. Она охотно пошла бы за пятнадцатилетнего дон Карлоса, хотя молва рисует его злобным мальчишкой, страдающим припадками ярости, но так же легко согласилась бы и на малолетнего Карла IX. Молод или стар, красив или уродлив,— безразлично ее честолюбию, лишь бы этот союз возвысил ее над ненавистной соперницей. Не проявляя большого интереса, она поручает все переговоры своему сводному брату Меррею, и тот ведет их с корыстным рвением, ибо стоит его сестре заполучить корону в Париже, Вене или Мадриде, как он избавится от нее и снова станет некоронованным королем Шотландии. Елизавета мигом узнает — ведь ее шпионы не дремлют — об этих чужеземных сватовствах и тотчас же накладывает на них свое грозное вето. Без околичностей заявляет она шотландскому посланнику, что, коль скоро Мария Стюарт примет королевское предложение из Австрии, Франции или Испании, она, Елизавета, сочтет это враждебным актом, но это не мешает ей в то же самое время обратиться к своей дорогой кузине с нежным увещанием, умоляя довериться ей одной, «какие бы горы блаженства и земного великолепия ей ни сулили другие». О, она нисколько не возражала бы против принца протестантской веры, против короля Датского или герцога Феррары — понимай: против недостойных, безопасных претендентов,— но больше всего желала бы, чтобы Мария Стюарт нашла себе супруга «дома» — какого-нибудь шотландского или английского дворянина. В этом случае ей навеки обеспечена ее сестринская любовь и помощь.

Позиция Елизаветы — это, конечно, беззастенчивая *foul play*<sup>1</sup>, и ее скрытое намерение очевидно: королева-девственница поневоле, она старается лишить соперницу ее крупного шанса. Столь же искусным приемом отбивает Мария Стюарт брошенный ей мяч. Она, разумеется, ни минуты не думает о том, чтобы признать за

---

<sup>1</sup> Нечестная игра, надувательство (англ.).

Елизаветой *overlordship* — право решающего голоса в ее матримониальных прожектах. Но великая сделка повисла в воздухе, главный кандидат, дон Карлос, все еще медлит с решением. И Мария Стюарт лицемерно благодарит Елизавету за материнскую заботу. «For all uncles of the world»<sup>1</sup> не стала бы она рисковать драгоценной дружбой английской королевы, оскорбив ее самовольным решением — о нет, боже сохрани! — она готова следовать любому ее совету, пусть только Елизавета вразумит ее, которые женихи дозволены («allowed»), а которые нет. Поистине трогательная покорность, но словно между строк вставляет Мария Стюарт невинный вопрос: каким образом намерена Елизавета вознаградить ее покорность? Она как бы говорит: «Изволь, я исполню твое желание и не выйду за человека, знатностью и могуществом превосходящего тебя, о возлюбленная сестра. Но и ты соблаговоли дать мне гарантию и не откажи разъяснить: как обстоит дело с моими правами преемства?»

Тем самым конфликт по-прежнему благополучно застрял на мертвой точке. Как только Елизавете надо сказать что-то членораздельное на тему о преемстве, она прячется в свою скорлупу, и клещами не вырвешь у нее ясного слова. Кружа и петляя, лепечет она что-то сугубо косноязычное: «она-де сердечно предана интересам своей сестрицы» и намерена позаботиться о ней, как о родной дочери; потоком сладчайших слов исписываются целые страницы, но нет среди них искомого, решительного, обзывающего слова: точно два левантинских купца, хотят они сварганить дельце, так сказать, из рук в руки — ни одна не рискует разжечь горсть первой. Избери того, кого я тебе прикажу, говорит Елизавета, и я объявлю тебя своей преемницей. Назови меня своей преемницей, и я выберу, кого ты мне велишь, отвечает ей Мария Стюарт. И ни одна не верит другой, потому что каждая намерена обмануть соперницу.

Целых два года тянутся переговоры о замужестве, женихах и преемстве. Но, как ни странно, оба шулера, сами того не желая, подыгрывают друг другу. Елизавете только и нужно, что водить Марию Стюарт за нос, а Марии Стюарт, к ее несчастью, приходится иметь дело с

---

<sup>1</sup> «Ни для каких дядюшек» (англ.).

самым медлительным из монархов, Филиппом II. И лишь когда переговоры с Испанией окончательно заходят в тупик и надо уже думать о других предложениях, Мария Стюарт решает покончить с намеками и экивоками и безоговорочно приставляет своей милой сестрице к груди пистолет. Она приказывает ясно и недвусмысленно спросить, кого же предлагает Елизавета как достойного претендента.

Елизавете очень уж неповадно отвечать на вопросы, заданные в столь категорической форме, а тем более на этот вопрос. Ибо давно уже обиняками дала она понять, кого имеет в виду для Марии Стюарт. В одном из писем она многозначительно промямлила: она-де «намерена предложить ей такого жениха, что никто и не подумал бы, что она может на это решиться». Однако шотландский двор делает вид, будто не понимает намеков, и требует позитивного предложения — назовите имя! Припертая к стене, Елизавета уже не может ограничиться намеками. С усилием выдавливая она из себя имя избранника: Роберт Дадлей.

И тут дипломатическая комедия рискует на минуту превратиться в фарс. Предложение Елизаветы можно понять либо как чудовищное надругательство, либо как чудовищный блеф. Уже одно предположение, что королева Шотландская, вдовствующая королева Французская, может удостоить своей руки какого-то ничтожного подданного, subject, своей сестры-королевы, захудалого дворянчика без единой капли королевской крови, по понятиям того времени, близко к оскорблению. Однако наглость предложения усугубляется особым обстоятельством: всей Европе известно, что Роберт Дадлей уже многие годы состоит у Елизаветы в потешных любовниках, в партнерах ее эротических игр, и, стало быть, королева Английская, словно свой обносок, дарит королеве Шотландской как раз того человека, с которым сама она погнушалась вступить в брак. Впрочем, всего лишь несколько лет назад тяжелодумная Елизавета играла этой мыслью (именно играла: для нее это всегда игра). И только когда Эйми Робсарт, жена Дадлея, была найдена убитой при загадочных обстоятельствах, она по-

спешила отказаться от этого плана, дабы не извлечь на себя подозрения в соучастии. Сватать дважды скомпрометированного человека — во-первых, той темной историей, а также некими интимными отношениями с ней, Елизаветой, — предложить его в мужа Марии Стюарт было из многих грубых и бестактных выходов, ознаменовавших ее правление, пожалуй, наиболее бестактной.

Чего Елизавета, собственно, добивалась этим непонятным сватовством — вряд ли когда-либо станет ясно. Кто возьмется перевести на язык логики взбалмошную прихоть истерической натуры? Мечтала ли она как преданная любовница наградить любовника, которого не осмеливалась взять в мужа, отписав ему по духовной, вместе с правами преемства, самое ценное, чем она располагала, — свое королевство? Хотела ли просто избавиться от прискучившего ей *cicisbeo*<sup>1</sup>? Надеялась ли через преданного человека вернее держать соперницу в узде? А может быть, она лишь испытывала любовь Дадлея? Мечтала ли она о *partie à trois*<sup>2</sup> — объединенном любовном хозяйстве? Или же это просто фортель, рассчитанный на то, что Мария Стюарт своим отказом проявит себя неблагодарной? Каждое из этих предположений законно, но скорее всего причудница и сама не знала, чего она, собственно, хочет: по-видимому, то была опять лишь игра воображения, ведь ей так свойственно играть решениями и людьми. Трудно себе представить, что произошло бы, отнесись Мария Стюарт серьезно к предложению выйти замуж за оставного любовника английской королевы. Быть может, Елизавета, внезапно одумавшись, запретила бы Дадлею этот брак и, унизив соперницу оскорбительным сватовством, осрамила бы ее вдобавок позорным отказом.

Для Марии Стюарт предложение выйти замуж за претендента некоролевской крови — это нечто вроде дерзостного богохульства. Неужто его госпожа серьезно думает, что она, помазанница божия, позарится на какого-то «лорда Роберта», спрашивает она посланца под впечатлением свежей обиды. Но она сдерживает недо-

---

<sup>1</sup> Любовник (итал.).

<sup>2</sup> Любовь втроем (франц.).

вольство и мило улыбается: такую опасную противницу, как Елизавета, не стоит преждевременно гневить столь резким отказом. Надо сперва выйти за испанского или французского престолонаследника, а там она сполна расценивается за оскорбление. В этом поединке сестер один нечестный поступок неизменно вызывает ответный — на коварное предложение Елизаветы следует лживое заверение Марии Стюарт в дружбе и признательности. Итак, Дадлея не отвергают в Эдинбурге как претендента, боже сохрани, королева делает вид, будто клюнула на эту удочку, что позволяет ей разыграть презабавный второй акт. Сэр Джеймс Мелвил откомандировывается с официальным поручением в Лондон, якобы для того, чтобы начать переговоры о кандидатуре Дадлея, а на самом деле — чтобы еще больше запутать этот клубок лжи и притворства.

Мелвил, самый преданный из дворян Марии Стюарт, — искусный дипломат, но еще более искусное перо: он умеет не просто писать, но и живописать, за что мы ему особенно благодарны. Его поездка к английскому двору подарила миру самое живое и яркое изображение Елизаветы в приватной обстановке, а также одну из самых блестящих исторических комедий. Елизавете хорошо известно, что этот светский человек провел долгие годы при французском и германском дворах, и она пускается во все тяжкие, чтобы блеснуть перед ним именно своими женскими достоинствами, не подозревая, что его беспощадная память удержит и увековечит для истории все ее кокетливые благоглупости и ужимки. Женское тщеславие частенько подводит Елизавету; так и сейчас неисправимая кокетка, вместо того чтобы убеждать посла шотландской королевы доводами политической мудрости, старается прежде всего очаровать мужчину своими личными совершенствами. Она показывает ему во всем блеске. В необъятном своем гардеробе — три тысячи платьев насчитали после ее смерти — она выбирает самые дорогие туалеты и появляется одетая то по английской, то по французской, то по итальянской моде, в щедром декольте, открывающем обширные перспективы, щеголяет своей латынью, своим французским и итальянским и с ненасытной жадностью вбирает в себя безграничное, по-видимому, восхищение по-

сла. А все же его комплименты, хоть и выраженные в превосходной степени,— она-де чудо как хороша и умна и образована — ее не удовлетворяют, ей непременно хочется — «Скажи, зеркальце на стене, кто красивее во всей стране» — именно от посла шотландской королевы услышать, что он восхищен ею как женщиной больше, чем своей госпожой. Пусть скажет, что она либо красивее, либо умнее, либо образованнее, нежели Мария Стюарт. И она распускает перед ним свои необычайно густые волнистые волосы, рыжие с красноватым отливом, и спрашивает, лучше ли волосы у Марии Стюарт,— каверзный вопрос для посланца королевы! Мелвил с честью выходит из затруднения, отвечая с соломоновой мудростью, что в Англии ни одна женщина не сравнится с Елизаветой, а в Шотландии ни одна не превосходит красотой Марию Стюарт. Но такое «и нашим и вашим» не удовлетворяет тщеславную кокетку: снова и снова расточает она перед ним свои чары — садится за клавесин и даже поет под лютню. Волей-неволей Мелвил, памятуя поручение обвести Елизавету вокруг пальца, снисходит до признания, что лицо у нее белее, что она искуснее играет на клавесине и в танцах держится лучше, чем Мария Стюарт. Увлеченная самовосхвалением, Елизавета забывает о настоящей цели их свидания, когда же Мелвил сворачивает на эту щекотливую тему, Елизавета уже опять играет роль: прежде всего она достает из ящика миниатюру Марии Стюарт и нежно ее целует. Со слезой в голосе принимается она рассказывать, как мечтает лично встретиться с Марией Стюарт, своей возлюбленной сестрицей (на самом деле она всю свою жизнь не жалела усилий, чтобы так или иначе расстроить все предстоящие им свидания); если верить словам этой отпетой актрисы, то дороже всего для нее знать, что ее соседка королева счастлива. Но у Мелвила трезвая голова и ясный взгляд. Разученной декламацией его не обманешь; подытоживая все виденное и слышанное, он сообщит в Эдинбург, что Елизавета всеми своими речами и поступками лишь увивалась от правды, проявляя великое притворство, смятение и страх. Когда же Елизавета отважилась на вопрос, что думает Мария Стюарт о браке с Дадлеем, опытный дипломат воздержался как от решительного «нет», так и от ясного «да».

Уклончиво заявляет он, что Мария Стюарт еще недостаточно обдумала это предложение. Но чем больше он уклоняется, тем резче настаивает Елизавета. «Лорд Роберт,— говорит она,— мой лучший друг. Я люблю его как брата и никогда бы не искала себе другого мужа, если бы решилась выйти замуж. Но так как я не чувствую к сему склонности и бессильна себя побороть, то я желала бы, чтобы по крайней мере сестра моя избрала его, ибо я не знаю никого более достойного делить с ней мое наследие. А для того, чтобы моя сестра не ценила его слишком низко, я намереваюсь через несколько дней возвести его в сан графа Лестерского и барона Денбийского».

И действительно, по прошествии нескольких дней — третий акт комедии — совершается со всей пышностью и блеском означенная церемония. Лорд Роберт Дадлей преклоняет колена перед своей государыней и возлюбленной, чтобы встать с колен уже графом Лестером. Но даже в эту патетическую минуту женщина в Елизавете сыграла с королевою недобрую шутку. Возлагая на верного слугу графскую корону, любовница не может удержаться, чтобы не потрепать по головке милого дружка; так торжественная церемония оборачивается фарсом, и Мелвил лукаво усмеяется в бороду: он уже предвидит, какой забавный доклад пошлет своей госпоже в Эдинбург.

Но Мелвил прибыл в Лондон не только для того, чтобы как летописец наслаждаться комедией, разыгрываемой коронованною особою: у него тоже своя роль в этом *quid pro quo*<sup>1</sup>. В его дипломатическом портфеле имеются потайные карманы, которых он ни за что не откроет Елизавете; лживая болтовня о графе Лестере — лишь дымовая завеса, скрывающая поручение, с которым он, собственно, и приехал в Лондон. Прежде всего ему надлежит энергично постучаться к испанскому послу и выяснить, каковы наконец намерения дон Карлоса, — Мария Стюарт не согласна больше ждать. Кроме того, ему поручено со всей осторожностью позондировать почву

---

<sup>1</sup> Недоразумении (лат.).

насчет возможных переговоров с еще одним второсортным кандидатом — Генри Дарнлеем.

Означенный Генри Дарнлей пока еще стоит на запасном пути, Мария Стюарт придерживает его в резерве на тот случай, если провалятся все ее многообещающие планы. Ибо Генри Дарнлей никакой не король и даже не князь; отец его, граф Ленокс, как исконный враг Стюартов, был изгнан из Шотландии и лишен всех поместий. Зато с материнской стороны в жилах восемнадцатилетнего юноши течет истинно королевская кровь Тюдоров; правнук Генриха VII, он — первый *prince of blood*<sup>1</sup> при английском королевском дворе и потому вполне приемлемая партия для любой государыни; кроме того, у него еще то преимущество, что он католик. В качестве третьего, четвертого или пятого претендента Дарнлей вполне возможен, и Мелвил ведет туманные, ни к чему не обязывающие разговоры с Маргаритой Ленокс, честолюбивой матушкой этого кандидата на всякий случай.

Но таково условие любой удачной комедии: хотя все ее персонажи обманывают друг друга, а все же кое-кому случается и запустить глаза в карты соседа. Елизавета не так уж наивна, чтобы думать, будто Мелвил лишь с тем приехал в Лондон, чтобы отпускать ей комплименты насчет ее волос и искусной игры на клавишине. Она знает, что предложение сдать с рук на руки Марии Стюарт ее, Елизаветы, отставленного дружка не слишком восхищает шотландскую королеву; ей также хорошо известны честолюбие и практическая сноровка леди Ленокс. Кое-что, надо думать, пронюхали и ее шпионы. И как-то, во время обряда посвящения в рыцари, когда Генри Дарнлей в качестве первого принца двора несет перед ней королевский меч, Елизавета в приливе искренности обращается к Мелвилу и говорит ему, не сморгнув: «Мне очень хорошо известно, что вам больше приглянулся сей молодой повеса». Однако Мелвил при такой попытке бесцеремонно залезть к нему в потайной карман не теряет обычного хладнокровия. Плох тот дипломат, который не способен в трудную минуту соврать, не краснея. Сморщив умное лицо в презрительную гри-

---

<sup>1</sup> Принц крови (англ.).

масу и с пренебрежением глядя на того самого Дарнлея, ради которого он еще только вчера хлопотал, Мелвил замечает спокойно: «Ни одна умная женщина не изберет в мужья повесу с такой стройной талией и таким пригожим безбородым лицом, более подобающим женщине, чем зрелому мужу».

Сдалась ли Елизавета на искусный маневр опытного дипломата? Поверила ли его притворному пренебрежению? Или же она ведет в этой комедии еще более непроницаемую двойную игру? Но только вот что удивительно: сначала лорду Леноксу, отцу Дарнлея, дозволено вернуться в Шотландию, а в январе 1565 года разрешение получает и сам Дарнлей. Елизавета не то из каприза, не то из коварства посылает ко двору противницы как раз самого опасного кандидата. Забавно, что ходатаем по этому делу выступает не кто иной, как граф Лестер — он тоже ведет двойную игру, чтобы незаметно выскользнуть из брачных силков, расставленных его госпожой. Четвертый акт этого фарса тем самым переносится в Шотландию, но тут искусно нарастающая путаница обрывается, и комедия сватовства приходит к внезапному концу, неожиданному для всех участников.

Ибо политика, эта земная, искусственная сила, сталкивается в тот зимний день с некоей извечной, изначальной силой: жених, явившийся к Марии Стюарт с визитом, неожиданно находит в королеве женщину. После долгих лет терпеливого, безучастного ожидания она наконец пробудилась к жизни. До сей поры она была лишь королевской дочерью, королевской невестой, просто королевой и вдовствующей королевой — игрушка чужой воли, послушный объект дипломатических торгов. Впервые в ней просыпается чувство, одним рывком сбрасывает она с себя коросту честолюбия, словно тяготящее ее платье, чтобы свободно распорядиться своим юным телом, своей жизнью. Впервые слушается она не чужих советов, а лишь голоса крови — требований и подсказки своих чувств. Так начинается история ее внутренней жизни.

## ВТОРОЕ ЗАМУЖЕСТВО

1565



**Т**о неожиданное, что произошло, в сущности, самая обыкновенная вещь на свете: молодая женщина влюбляется в молодого человека. Нельзя надолго подавить природу: Мария Стюарт, женщина с нормальными чувствами и горячей кровью, в этот поворотный миг стоит на пороге своей двадцать третьей весны. Четыре года вдовства протекли для нее в строгом воздержании, без единого сколько-нибудь серьезного любовного эпизода. Но страсти можно лишь до поры до времени держать в узде: даже в королеве женщина в конце концов предьявляет самое священное свое право — любить и быть любимой.

Предметом первого увлечения Марии Стюарт стал — редкий в мировой истории случай — не кто иной, как

политический искатель невест, Дарнлей, в 1565 году, по поручению своей матушки объявившийся в Шотландии. Мария Стюарт не впервые встречает этого юношу: четыре года назад, пятнадцатилетним подростком, он прибыл во Францию, чтобы принести в затененный покой вдовы de deuil blanc соболезнования своей матушки. И как же вытянулся с тех пор этот долговязый, широкоплечий юнец с соломенно-желтыми волосами, с девически гладким, безбородым, но и девически красивым лицом, на котором большие круглые мальчишеские глаза с каким-то недоумением смотрят на мир. «Il n'est possible de voir un plus beau prince»<sup>1</sup>, — сообщает о нем Мовисьер, да и на взгляд юной королевы Дарнлей — «на редкость пригожий и статный верзила» — «the lustiest and bestproportioned long man». Марии Стюарт, с ее пылкой, нетерпеливой душой, свойственно обольщаться иллюзиями. Романтические натуры ее склада редко видят людей и жизнь в истинном свете; мир обычно представляется им таким, каким они хотят его видеть. Непрестанно бросаемые от чрезмерного увлечения к разочарованию, эти неисправимые мечтательницы никогда не отрываются полностью. Освободившись от одних иллюзий, они тут же поддаются другим, ибо в иллюзиях, а не в действительности для них настоящая жизнь. Так и Мария Стюарт в скороспелом увлечении этим гладким юношей не замечает вначале, что его красивая внешность не скрывает большой глубины, что тугие мускулы не говорят о подлинной силе, а придворный лоск не знаменует душевной утонченности. Мало избалованная своим пуританским окружением, она видит лишь, что этот юный принц мастерски сидит в седле, что он грациозно танцует, любит музыку и прочие тонкие развлечения и при случае может накропать премилый мадригал. Малейший намек на артистичность в человеке всегда много для нее значит; она от души радуется, что нашла в молодом принце доброго товарища по танцам и охоте, по всевозможным играм и упражнениям в искусствах, которыми увлекаются при дворе. Его присутствие вносит разнообразие и свежее дыхание юности в затхлость и скуку придворной жизни. Но не только королеву пленил Дарн-

---

<sup>1</sup> «Трудно вособразить более красивого принца» (франц.).

лей — недаром, следуя наставлениям сметливой матушки, он ведет себя с примерной скромностью: повсюду в Эдинбурге он вскоре желанный гость, «well liked for his personage»<sup>1</sup>, как доносит Елизавете ее недалевидный соглядатай Рандольф. С поразительной ловкостью добивается он успеха не только у Марии Стюарт, но и у всех вокруг.

Так, он завязывает дружбу с Давидом Риччо, новым доверенным секретарем королевы, агентом контрреформации: днем они вместе играют в мяч, ночью делят ложе. Но, заискивая у католической партии, он ластится и к протестантам. По воскресеньям сопровождает регента Меррея в реформатскую «кирку», где с хорошо разыгранным волнением слушает проповедь Джона Нокса; днем, для отвода глаз, обедает с английским посланником и славит доброе сердце Елизаветы, а вечером танцует с четырьмя Мариями. Короче говоря, долговязый, недалекий, но хорошо вышколенный юноша отлично справляется со своей задачей; и, будучи круглым ничтожеством, ни в ком не возбуждает преждевременных подозрений.

Но вот искра перекинулась, и занялся пожар — Мария Стюарт, чьей благосклонности ищут государи и князья, сама теперь ищет любви глупого девятнадцатилетнего мальчика. Долго сдерживаемая, нетерпеливая страсть пробивается с вулканической силой, как это бывает с цельными характерами, не растратившими и не промотавшими своих чувств в пустых интрижках и легкомысленных увлечениях; благодаря Дарнлею впервые в Марии Стюарт заговорило женское естество — ведь ее супружество с Франциском II так и осталось ничем не разрешившейся детской дружбой, и все эти годы женщина в королеве прозябала в каких-то сумерках чувств. Наконец-то перед ней человек, мужчина, на которого оттаявший, запруженный преизбыток ее страстности может излиться кипящей стремниной. Не размышляя, не рассуждая, она, как это часто бывает с женщинами, видит в первом попавшемся шалопае единственного возлюбленного, посланного ей судьбой. Конечно, умнее было бы повременить, проверить человека, узнать ему на-

---

<sup>1</sup> «Ценимый за свои приятные качества» (англ.).

стоящую цену. Но требовать логики от страстно влюбленной молодой женщины — все равно, что искать солнце в глухую полночь. Тем-то и отличается истинная страсть, что к ней неприменим скальпель анализа и рассудка. Ее не вычислишь наперед, не сбалансируешь задним числом. Выбор, сделанный Марией Стюарт, лежит, без сомнения, за гранью ее обычно столь трезвого разума. Ничто в этом незрелом, тщеславном и разве что красивом мальчике не объясняет такого бурного разлива чувств. Как и у многих мужчин, которых не по заслугам любят превосходящие их духовно женщины, единственная заслуга Дарнлея, его приворотный корень в том, что ему посчастливилось в критическую минуту, исполненную величайшего напряжения, подвернуться этой женщине, в которой еще только дремала воля к любви.

Итак, понадобилось немало времени, чтобы кровь гордой дочери Стюартов взыграла. Зато теперь она бурлит и клокочет в нетерпении. Уж если Мария Стюарт что задумала, долго тянуть и откладывать она не станет. Что ей Англия, что Франция, что Испания, что все ее будущее по сравнению со счастьем этой минуты! Довольно с нее скучной игры в дурачки с Елизаветой, довольно полусонного сватовства из Мадрида, хотя бы и сулящего ей корону двух миров: ведь рядом он, этот светлый, юный и такой податливый, сластолюбивый мальчик с алым чувственным ртом, глупыми ребячьими глазами и еще только пробующей себя нежностью! Поскорее связать себя, принадлежать ему — вот единственная мысль, владеющая королевой в этом блаженно-чувственном ослеплении. Из придворных знает на первых порах о ее склонности, о ее сладостных тревогах лишь новый доверенный ее секретарь Давид Риччо, не жалеющий сил, чтобы искусно направить ладью влюбленных в гавань Цитеры. Тайный агент папы видит в супружестве королевы с католиком верный залог владычества вселенской церкви в Шотландии и с усердием сводника хлопочет не столько о счастье юной пары, сколько о политических интересах контрреформации. В то время как оба хранителя печати, Меррей и Мэйтленд, еще и не подозревают о намерениях королевы, он сносится с папой, испрашивая разрешения на брак, по-

скольку Мария Стюарт состоит с Дарнлеем в четвертой степени родства. В предвидении неизбежных осложнений он зондирует почву в Мадриде, может ли королева рассчитывать на помощь Филиппа II, если Елизавета захочет помешать этому браку,— словом, исполнительный агент трудится не покладая рук в надежде, что успех послужит к его собственной славе и к славе католического дела. Но как он ни трудится, как ни роет землю, расчищая дорогу к заветной цели, королеве не терпится— ей противна эта медлительность, эта осторожность и оглядка. Ведь пройдут бесконечные недели, пока письма со скоростью черепахи доползут туда и обратно через моря и океаны. Она более чем уверена в разрешении святого отца, так стоит ли ждать, чтобы клочок пергамента подтвердил то, что ей необходимо сейчас, сию минуту. В решениях Марии Стюарт всегда чувствуется эта слепая безоглядность, этот великолепный безрассудный задор. Но и эту волю королевы, как и всякую другую, сумеет выполнить расторопный Риччо; он призывает к себе католического священника, и хотя у нас нет доказательств того, что был совершен некий предварительный обряд — в истории Марии Стюарт нельзя полагаться на свидетельства отдельных лиц,— какое-то обручение состоялось, союз между влюбленными был как-то скреплен. «Laudato sia Dio,— восклицает их бравный приспешник Риччо,— теперь уже никому не удастся disturbare le nozze»<sup>1</sup>. При дворе и не догадываются о матримониальных планах Дарнлея, а он уже поистине стал господином ее судьбы, а может быть, и тела.

Matrimonio segreto<sup>2</sup> держится в строгой тайне; не считая священника, обязанного молчать, посвящены только эти трое. Но как дымок выдает невидимое пламя, так нежность обличает скрытые чувства; прошло немного времени, и весь двор уже глаз не сводит с влюбленной пары. Каждому бросилось в глаза, с каким рвением и какой тревогой ухаживала Мария Стюарт за своим родичем, когда бедный юноша — как ни смешно это

---

<sup>1</sup> Хвала богу... расстроить этот брак (итал.).

<sup>2</sup> Тайный брак (итал.).

звучит для жениха — заболел корью. Все дни просиживает она у постели больного, и он, поправившись, ни на шаг от нее не отходит. Первым насупил брови Меррей. До сего времени он от души поощрял (радея главным образом о себе) все матримониальные проекты своей сестрицы; будучи правоверным протестантом, он даже не возражал против того, чтобы породниться с испанским отпрыском Габсбургов, этим оплотом и щитом католицизма, не видя для себя в том большой помехи, — от Холируда не ближний свет до Мадрида. Но кандидатура Дарнлея для него зарез. Проницательному Меррею не надо объяснять, что едва лишь тщеславный слабохарактерный юнец станет принцем-консортом, как он захочет самовластия, будто настоящий король; Меррей к тому же достаточно политик, чтобы чутя, куда ведут тайные происки секретаря итальянца, агента папы: к восстановлению католического суверенитета, к искоренению реформации в Шотландии. В этой непреклонной душе властолюбивые планы перемешаны с религиозными верованиями, жажда власти — с тревогой о судьбах отечества; Меррей ясно видит, что с Дарнлеем в Шотландии установится чужеземная власть, а его собственной придет конец. И он обращается к сестре со словами увещания, предостерегая ее против брака, который вовлечет еще не замиренную страну в неисчислимы конфликты. И когда убеждается, что предостережениям его не внимают, в гневе покидает двор.

Да и Мэйтленд, второй испытанный советник королевы, сдается не сразу. И он понимает, что его высокое положение и мир в Шотландии под угрозой, и он, как министр-протестант, восстает против принца-консорта католика; постепенно вокруг обоих вельмож собирается вся протестантская знать. Открылись глаза и у английского посла Рандольфа. В смущении, оттого, что оплошал и время упущено, ссылается он в своих донесениях на witchcraft — смазливый юноша якобы околдовал королеву — и бьет в набат, прося помощи. Но что значат недовольство и ропот всех этих мелких людишек по сравнению с неистовым, яростным и бессильным гневом Елизаветы, когда она узнает о выборе, сделанном противницей! Дорого же она поплатилась за свою двойную игру; во всей этой комедии сватовства ее попросту оду-

рачили, сделали общим посмешищем. Под видом переговоров о Лестере выманили у нее истинного претендента и контрабандой увезли в Шотландию. Она же со всей своей архидипломатией села в лужу и может теперь пенять только на себя. В приступе ярости она велит заточить в Тауэр леди Ленокс, мать Дарнлея, зачинщицу сватовства, она грозно приказывает своему «подданному» Дарнлею немедленно вернуться в Англию, она страшит его отца конфискацией всех поместий, она созывает коронный совет, и он, по ее требованию, объявляет этот брак опасным для дружбы между обоими государствами, иначе говоря, угрожает войной. Но обманутая обманщица так растерялась в душе и так напугана, что тут же начинает клянчить и торговаться; спасаясь от позора, она торопится бросить на стол свой последний козырь, заветную карту, которую до сих пор прятала в рукаве. Впервые в открытой и обязывающей форме предлагает она Марии Стюарт (теперь, раз уж игра все равно проиграна) подтвердить ее право на английский престол, она даже отрывает в Эдинбург (так ей не терпится) нарочного с торжественным обещанием: «if the Queen of Scots would accept Leicester, she would be accounted and allowed next heir to the crown as though she were her own born daughter»<sup>1</sup>. Это ли не образчик извечной бессмыслицы всяких дипломатических торгов и ухищрений: то, чего Мария Стюарт долгие годы добивалась от своего недруга всеми силами ума, всей настойчивостью и хитростью, а именно признания ее наследственных прав, само теперь плывет ей в руки и как раз благодаря величайшей глупости, какую она сотворила в жизни.

Но такова судьба всех политических уступок: они всегда запаздывают. Не далее как вчера Мария Стюарт была политиком, сегодня она только женщина, только возлюбленная. Стать признанной наследницей английского престола было лишь недавно ее заветной мечтой; сегодня это честолюбивое стремление оттеснено куда бо-

---

<sup>1</sup> «если королева Шотландии согласится на брак с Лестером, она будет признана и провозглашена ближайшей наследницей короны, словно ее, Елизаветы, родная дочь» (англ.).

лее легковесным, но и более пламенным желанием женщины— поскорее завладеть этим статным красавцем, этим мальчиком. Запоздали угрозы и прельстительные посулы Елизаветы, запоздали и увещания честных друзей, таких, как герцог Лотарингский, ее дядя, который советует ей отказаться от этого «*joli hutaudeau*» — «смазливого шалопаю». Ни доводам разума, ни соображениям государственной важности уже не совладать с ее пылким нетерпением. Иронически звучит ее ответ разъяренной Елизавете, запутавшейся в собственных сетях: «Мне поистине странно, что я не угодила моей доброй сестрице: ведь выбор, который она порицает, ни в чем не расходится с ее волей. Разве не отвергла я всех чужеземных искателей и не предпочла им англичанина, в жилах которого течет кровь обоих наших правящих домов, первого принца Англии?» Против этого Елизавете трудно возразить, ведь Мария Стюарт чуть не буквально— но только по-своему — выполнила ее волю. Она установила свой выбор на английском дворянине, том самом, которого Елизавета прислала к ней с двусмысленными намерениями. Но, так как соперница, не владея собой, засыпает ее все новыми предложениями и угрозами, Мария Стюарт высказывается уже грубо и откровенно. Слишком долго ее кормили обещаниями и обманывали в лучших надеждах: наскучив этим, она, с одобрения всей страны, сама сделала выбор. Невзирая на то, что из Англии шлют то кислые, то сладкие письма, в Эдинбурге на всех парах готовятся к свадьбе, Дарнлею наспех жалуют еще титул герцога Русского; английский посланник, который в последнюю минуту прискакал из Англии с кипой протестов и нот, еще не вылезая из кареты, слышит, что Генри Дарнлею отныне надлежит именоваться и титуловаться (*namit and stylith*) не иначе, как королем.

Двадцать девятого июля колокола возвещают о венчании. В маленькой домашней капелле Холируда священник благословляет молодых. Мария Стюарт, неистощимо изобретательная в устройстве торжественных церемоний, приводит всех в изумление, появившись в траурном одеянии, том самом, в котором она провела гроб своего усопшего супруга, короля Франции,— этим она как бы подчеркивает, что не по легкомыслию идет

она вторично к алтарю, не потому, что забыла первого супруга, а единственно выполняя волю своего народа. И только прослушав мессу и вернувшись к себе в опочивальню, она — вся эта сцена мастерски задумана, и пышные уборы лежат наготове, — уступая нежным мольбам Дарнлея, соглашается снять траур и сменить его на цвета радости и веселья. Внизу осаждает замок ликующая толпа, в которую щедрыми горстями кидают деньги, и с легким сердцем королева и ее народ спешат упиться праздничным весельем. К великой досаде Джона Нокса, кстати лишь недавно, на пятьдесят седьмом году жизни, вторично вступившего в брак и взявшего девицу восемнадцати лет — но радости он признает только для себя, — четыре дня и четыре ночи кипит веселье, и пиршества сменяют друг друга, как будто все темное, гнетущее ушло навек и отныне начинается блаженное царство юности.

Отчаянию Елизаветы нет границ, когда она, незамужняя и неспособная к замужеству, слышит, что Мария Стюарт вновь взошла на брачное ложе. Сама же она своими хитроумными маневрами только осрамила себя на весь мир: сватала королеве Шотландской своего сердечного дружка, а его оконфузили всенародно; возражала против кандидатуры Дарнлея, а ее советами пренебрегли; послала нарочного с последним предупреждением, а ее посланца продержали у запертых дверей, пока не кончился обряд. Необходимо было что-то предпринять для спасения своего престижа. Порвать дипломатические отношения и объявить войну? Но под каким предлогом? Ведь Мария Стюарт абсолютно и неоспоримо права, она достаточно посчиталась с волею Елизаветы, не отдав своей руки чужеземцу, к тому же Дарнлей и безупречная партия: ближайший кандидат на английский престол, правнук Генриха VII — чем не достойный супруг? Нет, всякая попытка протестовать, ввиду полного ее бессилия, только изобличит перед миром личную досаду Елизаветы.

Однако двойная игра всегда была и пребудет душой всех поступков Елизаветы. Только что потерпев жестокую неудачу, она все же остается верна себе. Она, конечно,

воздержится от объявления войны, не отзовет и своего посланника, но втихомолку постарается, елико возможно, пакостить счастливой паре. Слишком нерешительная и осторожная, чтобы открыто выступить против своих лютых врагов, Дарнлея и Марии Стюарт, она действует с помощью интриг и подкопов. В Шотландии всегда найдутся недовольные, восстающие против наследственной власти, а на сей раз с ними заодно человек, головой выше прочей мелюзги, выделяющийся своей незаурядной энергией и открыто заявивший протест. Меррей демонстративно не явился на свадьбу сестры, и посвященные сочли это недобрый знаком. Ибо Меррею — что немало способствует притягательности и загадочности этой фигуры — в удивительной мере присуще умение предугадывать внезапные изменения политической погоды; какой-то верный инстинкт предупреждает его о назревшей опасности, и в этих случаях он делает самое умное, что может сделать умудренный политик, — исчезает. Он выпускает из рук кормило власти и становится невидим и неуловим. Подобно тому как внезапное высыхание рек и иссыкание источников предвещает в природе стихийные бедствия, так исчезновение Меррея неизменно предвещает — история Марии Стюарт тому наглядное доказательство — политическую непогоду. На первых порах Меррей ведет себя скорее пассивно. Он запирается в своем замке, он упрямо избегает двора, показывая, что, как регент и оберегатель протестантизма, решительно осуждает возведение Дарнлея на шотландский престол. Но Елизавете мало одного протеста. Ей нужен бунт; в Меррее и в столь же, как и он, недовольных Гамильтонах ищет она союзников и помощников. Со строжайшим наказом ни в коем случае ее не скомпрометировать, «in the most secret way», поручает она агенту поддержать лордов деньгами и людьми «as if from himself», якобы по его личному почину, ей же, Елизавете, будто ничего о том не известно. Деньги, как благодатная роса на жухнувшие луга, падают в жадные руки лордов, сердца их снова загораются мужеством, и обещанная военная помощь способствует назреванию мятежа, которого с таким нетерпением ждут в Англии.

Пожалуй, единственная ошибка Меррея, этого умного и дальновидного политика, в том, что он и в самом

деле понадеялся на ненадежнейшую из правительниц и стал во главе мятежа. Разумеется, осторожный заговорщик не спешит ударить и лишь тайно вербует сообщников; он не прочь повременить, пусть Елизавета открыто выскажется за возмущившихся лордов, и тогда не как мятежник, но как оберегатель веры станет он против сестры. Однако Мария Стюарт, встревоженная двусмысленным поведением брата и по праву не желая терпеть его враждебной безучастности, торжественно призывает его к ответу, требуя, чтоб он оправдался перед парламентом. Меррей, гордостью не уступающий сестре, не признает себя обвиняемым и надменно отказывается покориться; и тогда на него и его приверженцев налагается опала (*put to the horn*), глашатай возвещает об этом на рыночной площади. Так снова призвано решать оружие, а не разум.

И тут, как всегда в минуты ответственных решений, проявляется с неотразимой ясностью различие обоих темпераментов — Марии Стюарт и Елизаветы. Мария Стюарт не знает колебаний, ее мужество нетерпеливо, у него жаркое дыхание и быстрая поступь. Елизавета же, скованная робостью, медлит и тянет с решением; она еще только размышляет, не вмешаться ли открыто, не повелеть ли государственному казначею снарядить войско в помощь бунтовщикам, как Мария Стюарт уже нанесла удар. Всенародно оглашает она грамоту, в которой начисто изобличает бунтовщиков. «Мало того, что они без счета захватили почестей и богатств, они бы и Нас, и все Наше Королевство рады прибрать к рукам, чтобы владеть им по своей воле, а Нам бы слушаться во всем их указки,— словом, они не прочь завладеть престолом, а Нам разве что оставить титул, исправлять же все дела в государстве предерзостно берутся сами».

Не теряя ни минуты, вскакивает отважная амазонка в седло. Сунув пистолеты за пояс, в сопровождении закованного в золоченые латы молодого супруга и верных присяге дворян, торопится она во главе наспех собранного войска навстречу бунтовщикам. Не успели веселые гости отрезвиться, как свадебный поезд превратился в

военный поход. И эта безоглядная решимость приносит свои плоды. Кое-кого из мятежных баронов оторопь берет перед этой новоявленной энергией, тем более что подкреплений из Англии не видно, Елизавета вместо обещанной помощи отделяется смущенными отговорками. Один за другим возвращаются они с повинной к своей законной государыне, и только Меррей не хочет покориться; всеми покинутый, он не успевает сколотить мало-мальски годное войско, как уже разбит наголову и вынужден скрыться. До самой границы преследует его в безумной, бешеной скачке победоносная королевская чета. Меррей едва уносит ноги и в середине октября находит убежище на английской земле.

Полная победа— все бароны и лорды ее владений тесно сомкнулись вокруг Марии Стюарт, впервые за долгое время Шотландия вновь припала к ногам своего государя и государыни. На какой-то миг уверенность в своих силах так захлестывает Марию Стюарт, что она подумывает, не перейти ли в наступление, не вторгнуться ли в Англию, где, как она знает, католическое меньшинство с ликованием встретит освободительницу; трезвые советчики с трудом сдерживают ее разгулявшуюся удаль. Зато учтивостям конец — с тех пор как она выбила из рук противницы все ее карты, в том числе и ту, что Елизавета прятала в рукаве. Брак по собственному выбору был первой победой Марии Стюарт, разгром мятежников — второй; открыто, уверенно может она теперь смотреть в глаза своей «доброй сестрице» за кордоном.

Если положение Елизаветы и раньше было незавидным, то после разгрома ею выпестованных и обнадеженных бунтовщиков ей приходится и вовсе туго. Разумеется, всегда существовал и существует у правителей обычай — в случае поражения тайно на вербованных в соседней стране повстанцев открыто их дезавуировать, предоставив собственной участи. Но уж если кому не повезет, так не везет до конца. Надо же случиться, чтобы какие-то деньги Елизаветы, предназначенные для лордов, — явная улика — благодаря смелому нападению попали в руки Босуэлу, заклятому недругу Меррея. А тут

еще и вторая неприятность: спасаясь от преследования, Меррей, естественно, бежал в страну, где его открыто и тайно ласкали, — в Англию. Мало того, у побежденного хватило смелости пожаловать в Лондон. Какой конфуз — попасться в двойной игре, когда до сих пор ей все сходило с рук! Ведь допустить ко двору опального Меррея — значит задним числом благословить мятеж. Если же она отвернется от тайного союзника и тем нанесет ему открытую обиду, чего только оскорбленный не способен наклепать на свою милостивицу, о чем при иностранных дворах и знать не должно. Никогда еще Елизавета не попадала в такую ловушку из-за своей двойной игры. Но недаром это век прославленных комедий, и не случайно Елизавета дышит тем же пряным, пьянящим воздухом, что Шекспир и Бен Джонсон. Природная актриса, она, как ни одна королева, знает толк в театре и эффектных сценах. Хэмптон-корт и Вестминстер того времени могли смело поспорить с «Глобусом» и «Фортуной» по части эффектных сцен. Едва лишь становится известно о прибытии неудобного союзника, как его в тот же вечер призывает к себе Сесил, чтобы прорепетировать с ним роль, которую тому завтра предстоит исполнить для реабилитации Елизаветы.

Трудно выдумать что-либо более наглое, чем эта разыгранная наутро комедия. У королевы сидит французский посланник, разговор идет — ведь ему и невдомек, что он зван на веселый фарс, — о политических делах. Вошедший слуга докладывает о прибытии графа Меррея. Королева высоко вздергивает брови. Что такое? Не ослышалась ли она? Неужто и вправду лорд Меррей? Да как же он осмелился, презренный мятежник, обманувший ее «добрую сестрицу», явиться в Лондон? И что за неслыханная наглость показаться на глаза ей, которая — весь мир это знает — телом и душой предана своей милой кузине. Бедная Елизавета! Она не может опомниться от удивления и негодования. И лишь после долгих колебаний решается принять этого «наглеца», но только не с глазу на глаз. Нет, боже упаси! И она не отпускает французского посланника, чтобы заручиться свидетелем своего «искреннего» возмущения.

Выход Меррея. Серьезно и добросовестно ведет он свою роль. Уже самое его появление говорит о том, что

человек пришел с повинной головой. Смиренно и нерешительно, отнюдь не обычной своей горделивой и смелой походкой, облаченный во все черное, приближается он, склоняет колено, как проситель, и обращается к королеве на своем родном шотландском языке. Елизавета обрывает его и приказывает говорить по-французски, дабы посланник мог следить за их беседой,— пусть никто не посмеет сказать, что у королевы какие-то секреты с отъявленным бунтовщиком. Меррей что-то смущенно бормочет, но Елизавета сразу же переходит в наступление: она-де не понимает, как он, беглец и бунтовщик, восставший против ее лучшего друга, отважился без зова явиться во дворец. Правда, у нее с Марией Стюарт бывали разногласия, но ничего серьезного. Она всегда видела в шотландской королеве родную сестру и надеется, что так будет и впредь. И если Меррей не докажет, что лишь по недоразумению или защищая свою жизнь восстал он против своей госпожи, она повелит бросить его в тюрьму и будет судить как изменника. Пусть же Меррей перед ней оправдается.

Натасканный Сесилом, Меррей прекрасно понимает, что волен говорить решительно все, кроме правды. Он знает: всю вину ему должно принять на себя, чтобы обелить Елизавету в глазах посланника, доказать ее полную непричастность к ею же инспирированному заговору. Он должен подтвердить ее алиби. И вместо того, чтобы жаловаться на сводную сестру, он превозносит ее до небес. Она свыше меры наградила его землями, осыпала почестями и щедрыми дарами, да и он служил ей не за страх, а за совесть, и только опасение, что против него злоумышляют, боязнь за свою жизнь затуманили его разум. К Елизавете же он явился лишь затем, чтобы она, по милости своей, помогла ему исклоптать прощение у его повелительницы, королевы шотландской.

Уже эти слова ласкают слух тайной подстрекательницы. Но Елизавете все еще мало. Не для того она инсценировала комедию, чтобы Меррей в присутствии посланника принял всю вину на себя, а для того, чтобы, как главный свидетель, он удостоверил, что Елизавета ничего не знала о заговоре. Прожженный политик солжет — недорого возьмет, и Меррей клятвенно заверяет

посланника, что Елизавета «ни сном, ни духом не ведала о заговоре, никогда она не науцала ни его, Меррея, ни его друзей нарушить свой верноподданныческий долг, возмутиться против Ее Величества королевы».

Елизавета добилась своего алиби. Она полностью обелена. С чисто актерским пафосом напускается она на своего сценического партнера: «Вот когда ты сказал правду! Ибо ни я, ни кто другой от моего имени не подстрекал вас против вашей королевы. Такое предательство могло бы дурно кончиться и для меня. Ведь, наученные дурным примером, и мои подданные могли бы восстать против меня. А теперь с глаз долой, бунтовщик!»

Меррей низко склонил голову — уж не для того ли, чтобы скрыть мелькнувшую на губах улыбку? Он хорошо помнит, сколько десятков тысяч фунтов были всучены ему и другим лордам через их жен от имени королевы Английской, помнит письма и заверения Рандольфа и обещания государственной канцелярии. Но он знает: если он возьмет на себя роль козла отпущения, Елизавета не изгонит его в пустыню. Да и французский посол с выражением почтительности на лице хранит учтивое молчание; человек светский и образованный, он умеет ценить хорошую комедию. Лишь дома, у себя в кабинете, восседая за конторкой и строча донесение в Париж, позволит он себе лукавую усмешку. Не совсем легко на душе в эту минуту, пожалуй, только у Елизаветы; должно быть, ей не верится, что кто-то ей поверил. Но по крайней мере ни одна душа не решится открыто высказать сомнение — видимость соблюдена, а кому нужна правда! Исполненная величия, шурша пышными юбками, покидает она в молчании зал.

То, что Елизавета вынуждена прибегнуть к таким жалким уверткам, чтобы, потерпев поражение, обеспечить себе хотя бы моральное отступление, — вернейшее свидетельство сегодняшнего могущества Марии Стюарт. Горделиво поднимает она голову — все устроилось по желанию ее сердца. Ее избранник носит корону. Восставшие бароны либо вернулись, либо преданы опале и

блуждают на чужбине. Звезды благоприятствуют ей, а если от нового союза родится наследник, сбудется ее заветная, великая мечта: Стюарт станет преемником объединенного престола Шотландии и Англии.

Звезды благоприятствуют ей, благословенная тишина воцарилась наконец в стране. Мария Стюарт могла бы теперь вздохнуть, вкусить завоеванное счастье. Но жить в вечной тревоге и порождать тревогу — закон ее неукротимой природы. Тот, у кого своенравное сердце, не знает счастья и мира, идущих извне. Ибо в своем буйстве оно неустанно порождает все новые беды и неотвратимые опасности.

## РОКОВАЯ НОЧЬ В ХОЛИРУДЕ

*9 марта 1566 года*

**Е**сли чувство в самой поре, то такова уж его природа, что оно не рассчитывает и не скаредничает, не колеблется и не сомневается; когда любит царственно щедрая натура, это — полное самоотречение и саморасточение. Первые недели замужества у Марии Стюарт только и заботы, как излить на молодого супруга свое благоволение. Каждый день приносит Дарнлею новую нечаянную радость — то лошадь, то богатый наряд, — сотни маленьких нежных даров любви, после того как она отдала ему самый большой — королевский титул и свое неумное сердце. «Чем только может женщина возвеличить мужчину, — сообщает английский посол в Лондон, — он взыскан в полной мере... Вся хвала, все награды и почести, какими она располагает, — все сложено к его ногам. На каждого она смотрит его глазами, да что

говорить — даже волю свою она отдала ему». Верная своей неистовой натуре, Мария Стюарт ничего не умеет делать наполовину, всему отдается она безоговорочно, целиком. Когда она дарит свою любовь, то уж без робости, без оглядки, очертя голову, в неудержимом порыве давать и давать без конца и меры. «Она во всем покорна его воле, — пишет дальше Рандольф, — он вертит ею, как хочет». Страстная любовница, она вся растворяется в послушании, в смирении, переходящем в экстаз. Только безграничная гордость может в душе любящей женщины обратиться в столь безграничное смирение.

Однако великие дары лишь тому во благо, кто их достоин, для недостойного они опасны. Сильные характеры крепнут благодаря возросшей власти (поскольку власть — их естественная стихия), слабые же гибнут под бременем незаслуженного счастья. Успех пробуждает в них не скромность, а заносчивость; в каждом свалившемся с неба подарке видят они по детской наивности собственную заслугу. Как вскоре выясняется, опрометчивая и безудержная щедрость Марии Стюарт фатально растрачена на ограниченного, тщеславного мальчишку, которому приличнее бы иметь гувернера, чем повелевать королевой с большой душой и большим сердцем. Ибо стоило Дарнлею заметить, какую силу он приобрел, и он становится нагл и заносчив. Он принимает милости Марии Стюарт, словно причитающуюся ему дань, а великий дар ее царственной любви — как неотъемлемую привилегию мужчины. Став ее господином, он считает, что вправе ее третировать. Ничтожная душонка, «heart of wax»<sup>1</sup>, как с презрением скажет о нем сама Мария Стюарт, избалованный мальчишка, ни в чем не знающий меры, он напускает на себя важность и бесцеремонно вмешивается в государственные дела. Побоку стишки и приятные манеры, они ему больше не нужны, он пытается командовать в коронном совете, кричит и сквернословит, он бражничает в компании забулдыг, а когда королева как-то захотела увести его из этого недостойного общества, он грубо выругался, и, оскорбленная публично, она не могла сдержать слезы. Мария Стюарт даровала ему королевский титул — только

---

<sup>1</sup> Восковое сердце (англ.).

титул, а он и вправду возомнил себя королем и настойчиво требует равной с ней власти — the matrimonial crown; безбородый девятнадцатилетний мальчишка притязает на то, чтобы править Шотландией, точно своей вотчиной. При этом каждому ясно: за вызывающей грубостью не кроется и тени мужества, за похвальбой — ни намек на твердую волю. Марии Стюарт не уйти от постыдного сознания, что свое первое, прекраснейшее чувство она растратила зря, на неблагодарного балбеса. Слишком поздно, как это часто бывает, пожалела она, что не послушалась добрых советов.

А между тем нет для женщины большего унижения, нежели сознание, что она чересчур поспешно отдалась человеку, не достойному ее любви; никогда настоящая женщина не простит этой вины ни себе, ни виновному. Но столь великая страсть, связывающая двух любовников, не может сразу смениться простой холодностью и бездушной учтивостью: раз воспламенившись, чувство продолжает тлеть и только меняет окраску; вместо того, чтобы пылать любовью и страстью, оно распространяет чад ненависти и презрения. Едва осознав ничтожество этого шалопая, Мария Стюарт, всегда неукротимая в своих порывах, сразу же лишает его своих милостей, делая это, быть может, резче и внезапнее, чем позволила бы себе женщина более осмотрительная и расчетливая. Из одной крайности она впадает в противоположную. Одну за другой отнимает она у Дарнлея все привилегии, какие в первом увлечении страсти, не размышляя, без счета дарила ему. О подлинном совместном правлении, о matrimonial crown, которую она когда-то принесла шестнадцатилетнему Франциску II, теперь уже и речи нет. Дарнлей вскоре с гневом замечает, что его больше не зовут на заседания государственного совета; ему запрещают включить в свой герб королевские регалии. Низведенный на ампула принца-консорта, он уже играет при дворе не первую роль, о какой мечтал, а в лучшем случае роль оскорбленного резонера. Вскоре пренебрежительное отношение передается и придворным: его друг Давид Риччо больше не показывает ему важных государственных бумаг и, не спросив его, скрепляет письма железной печатью (iron stamp) с росчерком королевы; английский посол уже не титулет его «величеством» и

не далее как в сочельник, всего лишь полгода спустя после медового месяца, сообщает о «strange alterations»<sup>1</sup> при шотландском дворе. «Еще недавно здесь только и слышно было, что «король и королева», а теперь его именуют «супругом королевы». Дарнлей уже привык к тому, что в королевских рескриптах его имя стоит первым, а теперь ему приходится довольствоваться вторым местом. Были вычеканены монеты с двойным изображением: «Henricus et Maria», — но их тут же изъяли из обращения и заменили новыми. Между супругами чувствуется какое-то охлаждение, но поколе это лишь *amantium irae*<sup>2</sup>, или, как говорят в народе, *household words*<sup>3</sup>, этому не надо придавать значения, лишь бы дело не пошло дальше».

Но оно пошло дальше! К тем горьким обидам, какие картонный король вынужден терпеть при собственном дворе, присоединяется тайная и наиболее чувствительная — обида оскорбленного мужа. Что в политике не обойдешься без лжи, к этому Мария Стюарт притерпелась за долгие годы. Не то в сфере чувства: ее глубоко честной натуре не свойственно притворство. Едва лишь ей становится ясно, как она продешевила свое чувство, свою страсть, едва лишь из-за вымышленного Дарнлея поры жениховства выступает недалекий, тщеславный, наглый и неблагодарный юнец, как физическое тяготение сменяется гадливостью. Охладев к этому человеку, она не выносит больше его близости.

Едва королева замечает, что беременна, она под всевозможными предлогами уклоняется от супружеских объятий. То она больна, то устала, вечно у нее находят отговорки, чтобы отделаться от него. И если в первые месяцы их супружества (разгневанный Дарнлей сам разоблачает эти интимные подробности) именно она была требовательна в своей страсти, то теперь она оскорбляет его частыми отказами. Так что и в самой интимной сфере, в которой ему сперва удалось завоевать эту женщину, Дарнлей чувствует себя — и это наиболее глубокая, потому что наиболее болезненная обида, — обездоленным и отвергнутым.

<sup>1</sup> Удивительных перемен (англ.).

<sup>2</sup> Ссоры влюбленных (лат.).

<sup>3</sup> Семейные дрязги (англ.).

У Дарнлея не хватает душевной выдержки, чтобы скрыть свое поражение. Глупо и тупо плачется он всем и каждому на свою отставку, он ропщет, вопит, бьет себя в грудь и клянется, что месть его будет ужасна. Но чем громогласнее трубит он о своей обиде, тем нелепее звучат его угрозы; проходит несколько месяцев, и, невзирая на королевский титул, недавний кумир низведен в глазах придворных на роль скучного, озлобленного приживальщика, от которого каждый норовит отвернуться. Никто уже не гнет перед ним спину—какое там, все смеются, когда этот *Henricus, Rex Scotiae*<sup>1</sup> чего-нибудь желает, или просит, или требует. Но даже ненависть не так страшна для властителя, как всеобщее презрение.

Жестокое разочарование, постигшее Марию Стюарт в ее втором браке, помимо человеческой, имеет еще и политическую сторону. Она надеялась, что, опираясь на молодого, преданного ей душой и телом супруга, избавится наконец от опеки Меррея, Мэйтленда и баронов. Но вместе с медовым месяцем миновали и эти иллюзии. Ради Дарнлея оттолкнула она Меррея и Мэйтленда и теперь более чем когда-либо чувствует себя одинокой. Как бы ни было велико постигшее ее разочарование, Мария Стюарт с ее открытой душой должна кому-то верить; неустанно ищет она помощника не за страх, а за совесть, на которого можно было бы целиком положиться. Лучше уж приблизить к себе человека низкого происхождения, пусть у него не будет представительности Меррея или Мэйтленда, лишь бы он обладал достоинствами куда более необходимыми при шотландском дворе, неотъемлемыми достоинствами всякого доброго слуги — безусловной преданностью и надежностью.

Случай привел к ней такого человека. Маркиз Моретта, савойский посол, привез в Шотландию среди своей многочисленной свиты молодого смуглого пьемонтца (*in visage very black*) Давида Риччо, лет двадцати восьми, черноглазого, с румяными губами, весьма искусного певца (*particolarmente era buon musico*). Как известно, поэты и музыканты — самые желанные гости при роман-

---

<sup>1</sup> Генрих, король Шотландский (лат.).

тическом дворе Марии Стюарт. От матери и отца унаследовала она горячую любовь к изящным искусствам, и ничто так не утешает и не радует молодую королеву в ее сумрачном окружении, как возможность послушать прекрасное пение, насладиться звуками скрипки или лютни. В то время придворной капелле как раз требовался бас, и, поскольку сеньор Дейви (как именовали итальянца в кругу друзей) не только хорошо пел, но и умел перекладывать стихи на музыку, королева попросила посла отдать ей своего «*buon musicò*» в личное услужение. Моретта не возражал, да и Риччо улыбалось место, обещавшее шестьдесят пять фунтов в год. То, что его провели по книгам как «*David le chantre*»<sup>1</sup> и зачислили камердинером по штату придворной челяди, несколько его не принижает — вплоть до времен Бетховена музыканты, будь то даже полубоги, занимают при княжеских дворах положение челядинцев. Еще Вольфганг Амадей Моцарт и седовласый Гайдн, хоть слава их гремит по всей Европе, едят не за князьим столом вместе с дворянством и высшей знатью, а на голых досках, с конюшими и камеристками.

Однако у Риччо не только сладкозвучный голос, но и прекрасная голова, ясный, живой ум и тонкий вкус. Латынь он знает не хуже, чем английский и французский, к тому же у него пребойкое перо — один из сохранившихся его сонетов свидетельствует о подлинном поэтическом даровании и чувстве формы. Вскоре Риччо представляется случай покинуть лакейскую. Доверенный секретарь королевы Роле не проявил должной стойкости в отношении свирепствующей при шотландском дворе эпидемии — английского подкупа. Пришлось весьма поспешно с ним расстаться. И вот на опустевшее место в кабинете королевы пролезает расторопный Риччо; с этой минуты он быстро поднимается по чиновной лестнице. Из обыкновенного писца он становится доверенным лицом королевы. Мария Стюарт уже не диктует пьемонтцу-секретарю свои письма, он набрасывает их сам, по своему усмотрению. Спустя несколько недель его влияние дает себя знать в шотландских делах. Скоропалительный союз с католиком Дарнлеем — в значительной мере

---

<sup>1</sup> Певца Давида (франц.).

его детище, а ту необычайную твердость, с какой королева отказывается помиловать Меррея и других бунтовщиков, опальные вельможи не зря относят за счет его интриг. Был ли Риччо агентом папы при шотландском дворе, сказать трудно, возможно, это только подозрение; но, ярый приверженец католичества и папы, он все же с большей преданностью служит Марии Стюарт, чем ей когда-либо служили в Шотландии. А настоящую преданность Мария Стюарт умеет ценить. Тот, на чью верность она может рассчитывать, вправе рассчитывать на ее милости. Открыто, слишком открыто поощряет она Риччо, дарит ему дорогое платье, доверяет королевскую печать и государственные тайны. Оглянуться не успели, а Давид Риччо уже один из первых вельмож; нимало не смущаясь, садится он за стол вместе с королевой и ее подругами; как в свое время Шателяр (зловещее родство судеб!), он в качестве доброхотного *maître de plaisir*, министра пиров и увеселений, помогает устраивать при дворе концерты и другие изящные развлечения, из слуги все больше превращаясь в друга. На зависть придворной челяди, низкородивший иноземец засиживается в покоях королевы до глубокой ночи, беседуя с нею с глазу на глаз; одетый по-княжески, недоступно надменный, он поставлен очень высоко, а давно ли нищим проходившим в потертой лакейской ливрее явился ко двору — только что песни петь горазд! Теперь же ни одно дело в Шотландии не делается без его ведома и спроса. Но и вознесенный над всеми, Риччо остается преданнейшим слугою своей госпожи.

Есть у нее и второй надежный столп ее самостоятельности — не только политическая, но и военная власть отдана ею в верные руки. Опорою ей и на этот раз становится новое лицо — лорд Босуэл; протестант, он уже в юности отстаивал интересы ее матери, Марии де Гиз, против протестантской конгрегации и от гнева Меррея бежал из Шотландии. После падения своего смертельного врага он вернулся и отдал себя и своих приверженцев в распоряжение королевы, а это нешуточная сила. Безоглядно смелый, готовый на любое приключение рубака, железный воин, равно горячий в ненависти и любви, Босуэл ведет за собою своих *borderers* — пограничников. Да он и сам по себе представляет несо-

крушимую армию. Благодарная Мария Стюарт дает ему звание генерал-адмирала, зная, что он схватится с любимым врагом, чтобы защитить ее и ее право на престол.

Опираясь на этих верных паладинов, двадцатитрехлетняя Мария Стюарт может крепко натянуть поводья власти — политической и военной. Наконец-то она рискует править одна против всех — нет такого риска, на который не отважилась бы эта безрассудная душа.

Но всякий раз, как монарх в Шотландии вздумает править самовластно, лорды встают на дыбы. Ничто так не поперек души этим послушникам, как королева, которая не заискивает и не трепещет перед ними. Из Англии рвутся домой Меррей и другие опальные вельможи. Они ведут подкупы и подкладывают мины, в том числе серебряные и золотые, но Мария Стюарт проявляет неожиданную твердость, и гнев дворян обрушивается в первую голову на временщика Риччо: тайный ропот и возмущение распространяются по замкам. С негодованием чувствуют протестанты, что в Холируде плетется тончайшая сеть дипломатических интриг макиавеллиевской чеканки. Они не столько знают, сколько догадываются, что Шотландия включилась в обширный тайный заговор контрреформации; быть может, Мария Стюарт в сговоре с католическим союзом и связала себя какими-то обязательствами. Первым в ответе за это чужак Риччо, проходимец, которого так жалует королева, а между тем при дворе у него не найдется ни одного доброжелателя. Поистине удивительно, как умных людей всегда подводит собственное неразумие. Вместо того, чтобы скрыть свою силу, Риччо — вечная ошибка всякого выскочки — тщеславно выставляет ее напоказ. Но едва ли не больше всего страдает самолюбие у гордых вельмож, когда они видят, как прощелыга лакей, приبلудный шарманщик без роду и племени проводит долгие часы в покоях государыни рядом с ее опочивальней, услаждая сердце задушевной беседой. Все больше терзает их подозрение, что эти тайные беседы клонятся к тому, чтобы с корнем вырвать реформацию и утвердить в стране католицизм. И дабы своевременно расстроить эти

гнусные замыслы, несколько протестантских лордов вступают в тайный заговор.

Веками повелось, что шотландское дворянство знает одно только средство для расправы с неудобным противником — убийство. Лишь когда паук, ткущий невидимую паутину, будет раздавлен, когда увертливый, неуязвимый итальянский искатель приключений будет убран с дороги, только тогда удастся им вновь захватить власть и Мария Стюарт станет сговорчивей. План извести Риччо, видимо, довольно давно засел в голове у шотландской знати; за много месяцев до убийства английский посол сообщает в Лондон: «Либо господь приберет его до времени, либо им уготовит ад на земле». Но заговорщики долго не решаются выступить открыто. У них еще поджилки трясутся при воспоминании, как быстро и решительно пресекла Мария Стюарт их недавний бунт, им вовсе не улыбается разделить участь Меррея и прочих эмигрантов. Не меньше страшатся они железной руки Босуэла, зная, как он скор на расправу, и понимая, что надменный временщик не унижится до того, чтобы вступить с ними в тайный сговор. Поэтому они только ворчат да стискивают кулаки в карманах, пока у кого-то не возникает план — поистине дьявольская выдумка — изобразить убийство Риччо не актом крамолы, а, наоборот, вполне законным и истинно патриотическим деянием, для чего воспользоваться Дарнлеем как прикрытием, поставив его во главе заговора. На первый взгляд нелепая затея! Властитель королевства вступает в заговор против собственной супруги, король против королевы! Но психологически она вполне оправдана, ибо сильнейшим стимулом у Дарнлея, как у всякого слабого человека, является неудовлетворенное тщеславие. Да и Риччо слишком вознесся, чтобы отвергнутый Дарнлей не кипел злобой и ненавистью на своего бывшего приятеля. Приблудный бродяга ведет дипломатические переговоры, о которых он, *Henricus, Rex Scotiae*, даже не ставится в известность; до часу, до двух ночи просиживает у королевы, отнимая у супруга его законные часы, и власть фаворита прибывает со дня на день, в то время, как его собственная власть на глазах у всего двора с каждым днем идет на убыль. Нежелание Марии Стюарт сделать его соправителем, передать ему *matrimonial crown*,

Дарнлей, быть может, и справедливо приписывает влиянию Риччо, а ведь одного этого достаточно, чтобы разжечь ненависть в обиженном человеке, не отличающемся особым душевным благородством. Но бароны подливают еще злейшего яду в отверстия раны его тщеславия, они растрavляют в Дарнлее самое чувствительное место — его оскорбленную мужскую честь. Они пробуждают в нем ревность, всячески давая понять, что королева делит с Риччо не только трапезы, но и ложе. И хотя доказательств у них нет, Дарнлей тем легче клюет на эту наживку, что Мария Стюарт в последнее время то и дело уклоняется от выполнения супружеского долга. Неужто — жестокая мысль! — она предпочла ему этого чумазого музыканта? Ущемленное честолюбие, у которого не хватает мужества для открытых, членораздельных обвинений, легко склонить к подозрительности: человек, который сам себе не верит, не станет верить и другим. Лордам не приходится долго подзуживать Дарнлея, чтобы довести его до иступления и безумия. Вскоре Дарнлей уже не сомневается, что «ему причинена злейшая обида, какую можно нанести мужчине». Так невозможное становится фактом: король соглашается возглавить заговор, обращенный против королевы, его супруги.

Был ли черномазый музыкант Риччо действительно любовником королевы, так и осталось неразрешимой загадкой. То открытое благоволение, которым Мария Стюарт дарит своего доверенного писца на глазах у всего двора, скорее красноречиво опровергает это подозрение. Если даже допустить, что духовная близость женщины и мужчины отделена от физической лишь незаметной чертой, которую иная взволнованная минута или неосторожное движение могут легко стереть, то все же Мария Стюарт, уже носящая под сердцем ребенка, так уверенно и беззаботно отдается дружбе с Риччо, что трудно счесть это искусной личиной неверной жены. Находясь со своим секретарем в предосудительной связи, для нее было бы естественно избегать всего, что наводит на подозрение: не засиживаться с итальянцем до утра за музыкой или за картами, не запира́ться с ним в своем ра-

бочем кабинете для составления дипломатических депеш. Но и здесь, как в случае с Шателяром, Марию Стюарт подводят как раз наиболее располагающие ее черты — презрение к пересудам, поистине царственное нежелание считаться с наговорами и сплетнями, искренняя непосредственность. Опрометчивость и мужество обычно соединены в одном характере, подобно добродетели и наивности, являя две стороны одной медали; только трусы и сомневающиеся в себе страшатся даже подобия вины и действуют с оглядкой и расчетом.

Но стоит кому-либо пустить молву о женщине, хотя бы самую нелепую и вздорную, как ее уже не остановишь. Переносясь из уст в уста, она ширится и растет, раздуваемая ветром любопытства. Целых полвека спустя клевету эту подхватит Генрих IV; в насмешку над Иаковом VI, сыном Марии Стюарт, которого она тогда носила во чреве, он скажет: «Ему правильнее было бы называться Соломоном, ведь он тоже «Давидов сын». Так репутация Марии Стюарт вторично терпит тяжкий ущерб, и опять не по ее вине, а исключительно по опрометчивости.

Заговорщики, натравливавшие Дарнлея, сами не верили в свою выдумку—это явствует уже из того, что два года спустя они торжественно провозгласят мнимого бастарда королем. Вряд ли стали бы надменные лорды присягать на верность незаконному отпрыску заезжего музыканта. Ослепленные ненавистью, обманщики и тогда уже знали правду, и клеветают они лишь затем, чтобы пуще растравить в Дарнлее обиду. А он уже и без того не владеет собой; у него уже и без того какой-то ералаш в голове из-за вечно грызущего чувства неполноценности— и вспыхнувшее подозрение его ослепляет: огненной волной накатила ярость, как бык, устремился он на красный лоскут, которым размахивали у него перед носом, и, унося его на себе, ринулся в расставленную западню. Не задумываясь, дает он себя вовлечь в заговор против собственной жены. Проходит день-другой, и Дарнлей больше всех жаждет крови Риччо, своего бывшего друга, с которым он делил хлеб и постель, да и короной он в немалой степени обязан приبلудному итальянскому музыкантишке.

Политическое убийство готовится шотландской знатью обстоятельно, как некое долгожданное торжество. Никакой спешки и горячности под впечатлением минуты: партнеры заранее обмениваются письменными обязательствами — на честь и совесть здесь надежды плохи, для этого они слишком хорошо знают друг друга, — скрепляя их по всей форме подписью и печатью, словно это не рыцарское дело, а нотариальный акт. При всех таких злодейских начинаниях, словно при торговой сделке, пишется на пергаменте контракт, так называемый «covenant» или «bond», в котором вельможные бандиты клянутся в верности друг другу до гробовой доски, ибо только скопом, только как банда или клан дерзают они подняться на своих властителей. На сей раз, впервые в истории Шотландии, заговорщики удостоились невиданной чести: на их «бондах» стоит подпись короля. Между Дарнлеем и лордами заключены два честных, добропорядочных контракта, в коих отставленный король и обойденные бароны пункт за пунктом обязуются отнять у Марии Стюарт власть. В первом «бонде» Дарнлей при любом исходе гарантирует заговорщикам полную безнаказанность (shaitless), обещая лично ходатайствовать за них и защищать их перед самой королевой. Далее, он изъявляет согласие на возвращение изгнанных лордов и на отпущение им всех провинностей (faults), как только он получит королевскую власть, ту самую matrimonial crown, в которой Мария Стюарт так упорно ему отказывала; кроме того, он обязуется оберегать «кирку» от малейших посягательств. В свою очередь, заговорщики обещают во втором «бонде», или, как выражаются коммерсанты, во взаимном обязательстве, признать за Дарнлеем всю полноту власти, более того, в случае смерти королевы (из дальнейшего видно, что не наобум предусмотрели они эту возможность) сохранить за ним власть. Но за ясными, казалось бы, словами сквозит нечто, что не доходит до ушей Дарнлея, а вот английский посол слышит то, что в тексте и за текстом, — намерение вообще избавиться от Марии Стюарт и с помощью «несчастливого случая» обезвредить королеву заодно с ее итальянцем.

Еще не просохли все подписи под позорной сделкой, а в Англию уже скачут гонцы оповестить Меррея, чтоб





«МАРИЯ СТЮАРТ»

он готовился к возвращению. Да и английский посол, играющий в заговоре не последнюю роль, торопится предупредить Елизавету о кровавом сюрпризе, ожидающем соседнюю королеву. «Мне доподлинно известно, — писал он уже тринадцатого февраля, и значит, задолго до убийства, — что королева сожалеет о своем замужестве и ненавидит как его, так и все их племя. Известно мне также, что он подозревает, будто кто-то охотится в его владениях (*partaker in play and game*), и у них с отцом со-стряпан некий комплот — они намерены захватить власть против ее воли. Известно мне, что, ежели все у них сой-дет успешно, Давиду с согласия короля не далее как на той неделе перережут глотку». Но соглядатай Елизаветы, по всему видно, посвящен и в более сокровенные помыслы заговорщиков: «Дошли до меня слухи и о делах более страшных, будто покушение готовится и против ее особы». Письмо показывает со всей достоверностью, что заговор ставил себе куда более обширные цели, чем сочли нужным рассказать дурачку Дарнлею его сообщ-ники, что меч, занесенный якобы над одним только Рич-чо, метит и в Марию Стюарт, и жизни ее угрожает, по-жалуй, не меньшая опасность, чем жизни ее секретаря. Бесноватый Дарнлей — ибо никто не превзойдет люто-стью труса, почувствовавшего за собой какую-то силу, — жаждет особенно изощренной мести человеку, похитив-шему у него государственную печать и доверие его су-пруги. Для посрамления непокорной он требует, чтобы убийство свершилось у нее на глазах — бредовая идея труса, который надеется «примерным наказанием» сло-мить строптивый дух ослушницы и зрелищем зверского насилия усмирить женщину, его презирающую. По лич-ному желанию короля решено и в самом деле произвести расправу в покоях беременной королевы, назначив 9 мар-та как наиболее подходящий день: гнусность исполне-ния должна превзойти даже низость замысла.

В то время как Елизавета и ее министры уже мно-го недель как посвящены во все подробности заговора (она, однако, забывает остеречь «сестрицу»), в то время как Меррей держит на границе оседланных лошадей, а Джон Нокс готовит проповедь, где прославляет свер-

9. Стефан Цвейг. Т. 4. 129

шившееся убийство как деяние, «заслуживающее всяческой хвалы» («most worthy of all praise»), всеми преданная Мария Стюарт и не подозревает о готовящемся покушении. Как раз за последние дни Дарнлей (предательство вдвойне презренно своим притворством) на удивление кроток, и ничто не предвещает ей ночи ужасов и роковых предопределений на долгие, долгие годы — ночи, что наступит вслед за гаснущим вечером 9 марта. Риччо, правда, получил остережение, писанное незнакомой рукой, но не обратил на него внимания, так как, желая усыпить его недоверие, Дарнлей после обеда предлагает ему партию в мяч; весело и беспечно откликается итальянец на зов своего бывшего доброго друга.

Тем временем спустился вечер. Мария Стюарт, как всегда, распорядилась сервировать ужин в малой башенной комнате, смежной с ее опочивальней, во втором этаже; это — небольшое помещение, где собираются только самые близкие. Вот они расположились в тесной привычной компании, несколько дворян и сводная сестра Марии Стюарт, окружая тяжелый дубовый стол, освещенный свечами в серебряных жирандолях. Против королевы, богато разодетый, словно знатный вельможа, сидит Давид Риччо, в шляпе *à la mode de France*<sup>1</sup>, в узорчатом кафтане с меховой опушкой; он острит и развлекает общество, а после ужина они немного помузицируют или еще как-нибудь с приятностью проведут время. Поначалу никого не удивляет, что занавес, скрывающий вход в королевскую опочивальню, отдергивается и входит Дарнлей, король и муж; все встают, редкому гостю освобождают место за тесным столом, рядом с его супругой, он осторожно обнимает ее и запечатлевает на ее губах иудин поцелуй. Оживленная беседа не смолкла, ласково, радушно бренчат тарелки, позванивают стаканы.

И тут снова поднимается занавес. Но на этот раз все вскакивают в удивлении, в досаде, испуге: на пороге, словно черный ангел, в полном вооружении стоит с обнаженным мечом в руке один из заговорщиков, лорд Патрик Рутвен, которого все боятся и считают чернокнижником.

---

<sup>1</sup> По французской моде (франц.).

Сегодня его бледное лицо кажется восковым; хворый, в горячке, встал он с одра болезни, чтобы не упустить столь славного дела. Неумолимо оглядывают всех его налитые кровью глаза. Охваченная недобрым предчувствием, королева — ибо никому, кроме ее мужа, не разрешено пользоваться потайной витой лесенкой, что ведет в опочивальню,— грозно спрашивает, кто позволил ему войти без доклада. Хладнокровно и сдержанно возражает Рутвен, что ни ей, ни кому другому нечего опасаться. Он явился сюда только ради «yonder poltroon David»<sup>1</sup>.

Риччо бледнеет под своей роскошной шляпой и конвульсивно хватается за стол. Он понял, что его ждет. Только его госпожа, только Мария Стюарт может его спасти, король не делает и попытки указать нагледу на дверь, а сидит, безучастный и смущенный, как будто это его не касается. И Мария Стюарт действительно заступает за него. Она спрашивает, в чем обвиняют Риччо, какое он совершил преступление.

Рутвен только презрительно пожимает плечами.

— Спросите у вашего мужа. «Ask your husband».

Мария Стюарт невольно поворачивается к Дарнлею. Но в решительную минуту это ничтожество, которое уже неделями только и делает, что призывает к убийству, сразу съезжается. Он не решается открыто и прямо присоединиться к своим сотоварищам.

— Ничего я не знаю,— мямлит он смущенно и прячет глаза.

Но из-за занавеса снова доносятся гулкие шаги и бряцание оружия. Заговорщики гуськом поднялись по тесной лестнице, и теперь их латы железной стеной преграждают Риччо выход. Бежать невозможно. И Мария Стюарт пускается в переговоры, чтобы выручить верного слугу. Если Давид в чем виноват, она сама привлечет его к суду, и он ответит перед дворянами в парламенте, а сейчас, приказывает она, пусть Рутвен и прочие очистят ее покои. Но бунтовщики не внимают. Рутвен двинулся к помертвевшему Риччо, чтобы схватить его, но тут кто-то накинул на итальянца петлю и потащил его к выходу. В начавшейся суматохе перевернулся стол и погасли свечи. Слабосильный, безоружный Риччо, никакой не герой

---

<sup>1</sup> Того труса — Давида (англ.).

и не воин, вцелился в платье королевы, пронзительно звучит в общей свалке его истошный, дикий вопль:

— Madonna, io sono morto, giustizia, giustizia!<sup>1</sup>

Кто-то из заговорщиков поднимает пистолет и наводит на королеву, и он, конечно, спустил бы курок, как предусмотрено заговором, если бы его не толкнул под руку сосед, а Дарнлей, обхватив руками отяжелевшее тело беременной женщины, держит ее, пока остальные тащат из комнаты дико визжащую и отчаянно сопротивляющуюся жертву. Последний раз, когда его волокут через спальню королевы, делает Риччо попытку схватиться за ножку кровати, и бессильная Мария Стюарт слышит его крики о помощи; но тут ему безжалостно обрубают пальцы и тащат в соседнюю парадную палату. Там они, озверев, наваливаются на него. Предполагалось будто бы только взять секретаря под стражу и на следующий день всенародно повесить на рыночной площади. Но заговорщики обезумели от возбуждения. Взапуски набрасываются они на беззащитного итальянца, снова и снова колют его кинжалами; пролитая кровь ударила им в голову; не помня себя от ярости, они и друг другу наносят раны. Весь пол в крови, а они все не унимаются. И только когда судорожно бьющееся тело, истекающее кровью из пятидесяти с лишним ран, совсем затихает и последнее дыхание жизни уходит из него, они отваливаются от своей жертвы. Истерзанной жуткой грудой мяса выбрасывают они из окна во двор труп того, кто был верным другом Марии Стюарт.

В неистовстве ловит Мария Стюарт каждый предсмертный вопль преданного слуги. Она не в состоянии оторваться неповоротливым телом от ненавистного мужа, держащего ее в железных тисках, но всеми силами неукротимой души восстает она против неслыханного унижения, которое собственные подданные нанесли ей в ее доме. Дарнлей может стиснуть ей руки, но не зажать рот. Задыхаясь, в безрассудной ярости, она выплевывает ему в лицо всю свою смертельную ненависть. Изменником называет она его и сыном изменника и казнит

---

<sup>1</sup> Мадонна, я умираю, справедливости, справедливости! (итал.)

себя за то, что такое ничтожество возвела на трон: если до сих пор в этой женской душе жила только смутная антипатия к мужу, то теперь это чувство крепнет и кристаллизуется в непреходящее, неугасимое презрение. Тщетно старается Дарнлей перед ней оправдаться. Он осыпает ее упреками: сколько раз за эти месяцы она не подпускала его к себе, да она этому чужаку Риччо уделяла куда больше времени, чем ему, своему супругу. Но и Рутвена, который входит в комнату и, обессиленный кровавой работой, в изнеможении падает на стул, не щадит Мария Стюарт, она угрожает ему великими опалами! Будь Дарнлей способен читать в ее взоре, он ужаснулся бы убийственной ненависти, которая неприкрыто в нем пылает. Да, будь он хоть немного прозорливее и умнее, он должен был бы почуять всю опасность ее клятвы, что она больше не считает его своим мужем и не даст себе ни сна, ни покоя, пока он не узнает таких же страданий, какие рвут ее сердце на части. Но нет, Дарнлей способен лишь на мизерные, плоские чувства и побуждения, он не в силах понять, как смертельно ранена ее гордость, он и не подозревает, что она в этот миг произнесла ему приговор. Дряблая душонка, мелкий изменник, позволяющий каждому водить себя за нос, он воображает, что теперь, когда эта обессиленная женщина умолкла и как будто безвольно дает увести себя в опочивальню, ее гордый дух окончательно сломлен и она снова ему покорится. Но скоро он узнает, что ненависть, умеющая молчать, во сто крат опаснее, чем самые неистовые речи, и что тот, кто смертельно оскорбит эту неукротимую женщину, сам себя обречет смерти.

Крики итальянца о помощи, звон оружия в королевских покоях всполошили весь замок: с обнаженными мечами выскакивают из своих спален верные слуги королевы — Босуэл и Хантлей. Но заговорщики и это предусмотрели: Холируд со всех сторон окружили их вооруженные слуги, они сторожат подступы к замку, чтобы никто из города не подоспел на выручку королевы. Босуэлу и Хантлею ничего не остается — столько же для спасения своей жизни, сколько и для того, чтобы вызвать подмогу, — как выскочить в окно. Когда они прискакали

с тревожной вестью, что жизнь королевы в опасности, городской профос приказал бить набат, и встревоженные обыватели поспешили за городские ворота, стремясь увидеть свою королеву и говорить с ней. Но вместо королевы к ним выходит Дарнлей и облыжно заверяет, будто ничего не случилось: просто в замке пойман иностранный шпион, намеревавшийся ввести в страну испанские войска, но с ним удалось расправиться. Профос, конечно, не смеет усомниться в королевском слове: притихнув, расходятся честные горожане по домам, а между тем Мария Стюарт, которая тщетно рвалась передать восточку своим верным, надежно заперта у себя в опочивальне. Ни придворным дамам, ни горничным и камеристкам нет доступа к королеве, у всех дверей и ворот замка выставлен тройной караул: впервые в жизни в эту ночь Мария Стюарт превращается из королевы в пленницу. Заговор удался на славу. Во дворе замка валяется в луже крови истерзанный труп ее лучшего слуги, шайку ее врагов возглавляет король Шотландии в чаянии завладеть обещанной короной, тогда как сама она не вправе переступить порог своей опочивальни. В мгновение ока сброшена она с головокружительной высоты, бесильная, всеми покинутая, без помощников и друзей, окруженная ненавистью и насмешкой. Казалось, все рухнуло для нее в эту страшную ночь. Но под молотом судьбы только крепнет и закаляется пламенное сердце. Всегда и неизменно, когда на карту поставлена ее свобода, ее честь и корона, Мария Стюарт обретает в себе больше сил, чем найдется у всех ее помощников и слуг, вместе взятых.

## ПРЕДАННЫЕ ПРЕДАТЕЛИ

*С марта по июнь 1566 года*

**О**пасность всегда благотворна для Марии Стюарт как личности. Лишь в самые трудные минуты, требующие величайшей внутренней собранности, становится ясно, какие незаурядные дарования кроются в этой женщине: нерассуждающая железная решимость, быстрый, живой ум, схватывающий все на лету, неукротимая, можно сказать, геройская отвага. Но для того, чтобы эти силы взыграли, должны быть потревожены глубинные залежи, таящиеся в этой богатой натуре. Только тогда ее способности, рассыпанные с детской беспечностью, сгустятся в несокрушимую энергию. Кто хочет согнуть эту женщину, лишь помогает ей выпрямиться во весь рост. Любой удар судьбы, если смотреть вглубь, ей на пользу, как нечаянное богатство, как бесценный подарок.

Эта ночь ее первого унижения меняет в корне характер Марии Стюарт, меняет навсегда. В горниле жестоких испытаний, когда ее слишком беспечная доверчивость была обманута одновременно мужем, братом, друзьями и подданными, эта женственная, мягкая натура приобретает твердость стали и вместе с тем упругую податливость хорошо откованного на огне металла. Но как добрый меч двуостр, так душа ее двулика с той страшной ночи, положившей начало всем ее невзгодам. Великая кровавая трагедия началась.

Только мысль о возмездии владеет королевой, когда, запертая в своей спальне, узница вероломных подданных, она мечется из угла в угол, перебирая и взвешивая в уме все одно и то же: как ей прорвать кольцо своих врагов, как отомстить за кровь верного слуги, которая еще теплыми каплями стекает в щели пола, как обуздать, поставить на колени или перед плахой тех, кто святотатственно поднял руку на нее, помазанницу божью? Рыцарственная воительница, жестоко потерпев от людской неправды, она считает, что против врагов все средства дозволены и хороши. С ней происходит превращение: неосторожная, она становится осторожной, скрытной; слишком честная по натуре, чтобы сказать неправду, она учится притворяться и хитрить; всегда справедливая и прямая с людьми, она теперь приложит все свои незаурядные способности, чтобы обратить против врагов их собственные козни. Бывает, что за день человек выучится тому, чему его не научили месяцы и годы; именно такой суровый урок преподан Марии Стюарт на всю жизнь; кинжалы заговорщиков прикончили на ее глазах не только верного слугу Риччо, они убили беззаботную доверчивость и непосредственность ее души. Какая ошибка — довериться предателям, быть честной с лжецами, какая непростительная глупость — открыть свое сердце тем, кто вовсе лишен сердца! Нет, притворяться, скрывать свои чувства, хоронить злобу, уверять в любви тех, кого навеки возненавидел, и, затаив ненависть, ждать часа, когда удастся отомстить за убитого друга, — часа возмездия! Все силы приложить к тому, чтобы скрыть собственные помыслы и усыпить подозрения врагов, пока еще опьяненных победой; лучше на день, на два притворно смириться перед негодя-

ями, чтобы потом окончательно их усмирить! За такое чудовищное предательство можно отплатить лишь предательством, но только еще более смелым, дерзостным, циничным.

Во внезапном озарении, какое ввиду смертельной опасности подчас нисходит даже на беззаботные и вялые души, составляет Мария Стюарт свой план. Доколе Дарнлей держит руку заговорщиков, ее положение безвыходно, это ясно ей с первого взгляда. Только одно может ее спасти: пока еще не поздно, расколоть блок заговорщиков, вбить в него клин. Если цепь, стягивающую ей шею, нельзя разорвать махом, значит, надо исхитриться перепилить ее в самом слабом звене: пусть один из предателей предаст остальных. А кто среди жестокыйных мятежников самый малодушный, ей слишком хорошо известно: конечно же, Дарнлей, heart of wax, восковое сердце, которое любая сильная рука лепит по своему произволу.

Первый же ход Марии Стюарт мастерски задуман и психологически верен. Она объявляет, что чувствует приближение схваток. Волнение прошедшей ночи, зверское убийство, совершенное на глазах у женщины на пятом месяце беременности, с полным основанием подсказывали возможность преждевременных родов. Мария Стюарт делает вид, будто ей очень плохо, и ложится в постель—никто не посмеет навлечь на себя обвинение в чудовищном бессердечии, отказав страждущей в уходе ее камеристок и врача. А это, собственно, все, что ей покамест нужно, ее строгое заключение нарушено. Наконец-то у нее появляется возможность послать с надежной служанкой весточку Босуэлу и Хантлею и все подготовить к задуманному побегу. Более того, угроза преждевременных родов поставила заговорщиков, и в особенности Дарнлея, в крайне затруднительное положение. Ведь дитя, что она носит под сердцем,—наследный принц Шотландии, наследный принц Англии; какая ответственность падет на голову отца-садиста, который для удовлетворения своей личной мести повелел злодеянию совершиться на глазах у беременной женщины, тем самым убив младенца в ее чреве! Теряя голову от страха, спешит Дарнлей в опочивальню королевы.

И тут разыгрывается совершенно шекспировская по

масштабам сцена, своей блистательной смелостью идущая в сравнение разве лишь с той, где Ричард III перед гробом убитого им супруга домогается любви его вдовы — и в том преуспевает. И здесь непогребенное тело все еще валяется на земле, и здесь убийца и соучастник убийц стоит перед жертвой, которую он подло, бесчеловечно предал, и здесь искусное притворство извергает каскады дьявольского красноречия. Никто не присутствовал при этой сцене; известны лишь ее начало и исход. Дарнлей спешит к жене, которую лишь вчера нещадно унизил и которая в первом неподдельном гневе поклялась ему в такой же беспощадной мести. Как Кримгильда над трупом Зигфрида, она еще вчера потрясала стиснутыми кулаками, грозя врагам расправой, но, так же как Кримгильда, за одну эту ночь научилась скрывать свой гнев. Сегодня Дарнлей не находит вчерашней Марии Стюарт, этой гордо восстающей противницы и мстительницы; перед ним лишь бедная, сломленная женщина, смертельно усталая, больная, с робкой нежностью взирающая на него, своего неумолимого тирана-мужа, который показал ей, чего он стоит. Тщеславный глупец уже мнит себя победителем, ведь он достиг всего, о чем только смел мечтать: наконец-то Мария Стюарт снова у его ног. Едва почувствовав его железную руку, она, гордая, надменная, покорилась. Стоило ему убрать этого итальянского проходимца, как она вновь готова служить своему истинному господину и повелителю.

Человека умного и рассудительного такое внезапное превращение, верно, заставило б насторожиться. У него бы не отзвучал еще в ушах пронзительный крик этой женщины, которая только вчера, сверкая глазами, как смертоносной сталью, называла его предателем и сыном предателя. Он вспомнил бы, что гордая дочь Стюартов не прощает оскорблений и не забывает обид. Но, как все тщеславные люди, упивающиеся лестью, Дарнлей легковерен, и, как у всякого глупца, у него короткая память. К тому же — о, каверзная судьба! — из всех мужчин, когда-либо любивших Марию Стюарт, он, этот пылкий мальчик, особенно к ней вожделеет; с какой-то собачьей преданностью льнет чувственный юноша к ее телу: ничто так не раздражало и не оскорбляло его все

это время, как пренебрежение, с каким она столь явно уклонялась от его объятий. И вдруг — о, неслыханное чудо! — желанная любовница снова в его власти. Пусть не уходит, пусть останется с ней этой ночью, молит строптивца, — и вмиг он растаял, он снова нежен и покорен, ее слуга, ее верный холоп. Никто не знает, какой прельстительной ложью свершила Мария Стюарт это чудесное превращение. Не прошло и двадцати четырех часов после убийства, а Дарнлей, обманувший ее вместе с лордами, смиренно готов на все и будет из кожи лезть, стремясь обмануть вчерашних сообщников; с еще большей легкостью, чем те сманили его на свою сторону, возвращает королева к себе своего раба. Он выдает ей имена всех участников, он готов содействовать ее побегу, малодушно идет он и на то, чтобы стать орудием мести, которая в конце концов сразит и его самого, архипредателя и коновода. Послушным орудием покидает эту спальню тот, кто вошел в нее, казалось, господином и повелителем. Одним усилием разорвала Мария Стюарт душившую ее цепь — и это лишь несколько часов спустя после жестокого унижения: глава заговора неведомо для заговорщиков стал их заклятым врагом, гениальное притворство победило притворство низменное.

Итак, поддела сделано для освобождения Марии Стюарт, а между тем в Эдинбург прискакали Меррей и другие опальные лорды; великий тактик и дипломат, Меррей не был здесь во время убийства — попробуй, докажи, что он к нему причастен; этот пройдоха всегда выйдет сухим из воды. Но как только с грязной работой покончено, он тут как тут, спокойный, величавый, самоуверенный, руки у него чисты, и он готов пожать плоды чужих трудов. Как раз на этот день — одиннадцатое марта — назначено в парламенте по высочайшей воле всенародное оглашение его изменником, и — о, чудо! — его плененная сестра вдруг позабыла старые счеты. Талантливая актриса — актриса поневоле, — она бросается к нему на шею с таким же иудиным лобзанием, каким не далее как вчера приветствовал ее муж. Нежно и проникновенно спрашивает она у опального бунтовщика братского совета и помощи.

Меррей, и сам неплохой знаток человеческого сердца, правильно оценивает положение. Он, без сомнения, призывал и благословлял убийство Риччо в надежде расстроить тайные шашни Марии Стюарт с папизмом; для него черномазый интриган был врагом протестантских, шотландских интересов и к тому же помехой для его собственных властолюбивых планов. Но теперь, когда с Риччо благополучно покончено, Меррей готов зачеркнуть былое, пойти на мировую: пусть ослушники-лорды тотчас же снимут стражу, оскорбительную для королевского достоинства Марии Стюарт, и вернут ей все прерогативы неограниченной королевской власти. Она же должна забыть прошлые обиды и отпустить патриотическим убийцам все их вины.

Мария Стюарт, у которой при пособничестве изменника-мужа готов и разработан в мельчайших подробностях план побега, и не думает прощать убийц. Но, чтобы усыпить бдительность бунтовщиков, она готова на великодушные уступки. Спустя сорок восемь часов после убийства весь эпизод, вместе с растерзанным телом Риччо, по-видимому, погребен и предан забвению: все притворяются, будто ничего не случилось. Прикончили какого-то музыкантишку — велика важность! Скоро ни одна душа не вспомнит о безвестном бродяге и в Шотландии водворится мир.

Устный пакт заключен. И все же заговорщики не решаются снять караул перед покоями королевы. Какое-то смутное беспокойство гложет их. Наиболее догадливым из них слишком знакома гордость Стюартов, чтобы поддаться на заманчивые уверения, будто Мария Стюарт от чистого сердца готова простить и забыть подлое убийство своего слуги. Им кажется, что куда вернее держать неукротимую женщину под замком, отнять у нее всякую возможность мести; на свободе, чувствуют они, она станет для них постоянной угрозой. Им также не нравится, что Дарнлей то и дело бегаёт на ее половину и о чем-то подолгу шушукается с мнимобольной. Они по опыту знают, как мало нужно, чтобы вертеть этим мозгляком, как вздумается. Открыто говорят они о том, что Мария Стюарт хочет перетянуть его на свою

сторону. Они убеждают Дарнлея не верить ни одному ее слову и заклинают не предавать их, в противном случае — справедливое пророчество! — и ему и ей придется худо. И хотя лгунишка клянется, что все прощено и забыто, они отказываются снять охрану, прежде чем королева письменно не гарантирует им полную безнаказанность. Как для убийства, так и для отпущения убийства домогаются эти друзья законности одного: писаной грамоты — «бонда».

Очевидно, многоопытным, матерым клятвопреступникам мало сказанного слова — им ли не знать, сколь оно эфемерно и легковесно! — подавайте им отпускную грамоту! Однако Мария Стюарт не намерена официально обязываться перед убийцами — для этого она слишком осторожна и самолюбива. Никто из этих негодяев не сможет похвалиться «бондом» за ее подписью! Но, решив не давать заговорщикам отпускной, она с тем большей готовностью изъявляет согласие: все, что ей нужно, — это как-нибудь дотянуть до вечера. Дарнлею — он опять, как воск, в ее руках — дается унижительное поручение удерживать в узде своих вчерашних сообщников мнимой приятностью и обещаниями высочайшей подписи. Словно преданная нянька, вертится он среди мятежников и вместе с ними вырабатывает текст отпущения; остановка единственно за подписью Марии Стюарт. К сожалению, время позднее, заверяет их Дарнлей: королева утомилась и почивает. Но он клянется — что стоит лжецу солгать лишний раз! — завтра же утром вручить им грамоту за высочайшей подписью. Раз король дает такое обещание, не верить ему — значит оскорбить его. В доказательство своей доброй воли заговорщики снимают стражу у покоев королевы. Марии Стюарт только того и нужно. Путь к побегу ей открыт.

Как только караульные ушли, Мария Стюарт вскакивает с мнимого одра болезни и энергично готовится к отъезду. Босуэл, Хантлей и прочие друзья за стенами замка давно предупреждены; в полночь оседланные лошади будут ждать у погоста в тени ограды. Главное теперь — обмануть бдительность заговорщиков, и постыдное поручение оглушить и одурманить их вином и знаками своей милости снова, подобно другим неблагоприятным делишкам, выпадает на долю Дарнлея. По при-

казу королевы он зовет своих вчерашних сообщников на веселый пир, гости бражничают, и праздник примирения затягивается до глубокой ночи; когда же собутыльники, нагрузившись, отправляются на боковую, обуянный усердием Дарнлей даже не решается из осторожности вернуться в покои королевы. Но лорды слишком уверены в своем триумфе, чтоб быть начеку. Королева обещала их помиловать, сам король в том порукой, Риччо покоится в земле, а Меррей вернулся в Шотландию — зачем же раздумывать и оглядываться? Опьяненные вином и победой, заваливаются лорды на отдых, чтобы отоспаться после тревожного дня.

Полночь, тишина стоит в коридорах спящего замка, как вдруг где-то наверху осторожно приотворяется дверь. Ощупью крадется Мария Стюарт через помещения для слуг и по лестнице — вниз, в подвал, откуда подземный ход ведет в кладбищенские катакомбы. Ледяным холодом веет в мрачном подземелье, вечная сырость каплет со сводов и стропил. Зажженный факел отбрасывает пляшущие тени на черные, как ночь, стены, на прогнившие гробы и сваленные в кучи человеческие кости. Но вот повеяло свежим, чистым воздухом, они у выхода! А теперь только пересечь кладбище и добежать до ограды, за которой ждут друзья с оседланными конями! Но тут Дарнлей обо что-то спотыкается и едва не падает, королева подбегает, и оба с содроганием видят, что стоят перед свеженасыпанным холмом — могилой Давида Риччо.

Последний удар молота — он еще больше закалит броню, в которую одето сердце оскорбленной женщины. Она знает: перед ней теперь две задачи — восстановить побегом свою королевскую честь и даровать миру сына, наследника престола. А там отмщение всем, кто так ее унизил! Отмщение и тому, кто сейчас по глупости старается ей услужить! Не колеблясь ни секунды, вскакивает беременная на пятом месяце женщина в мужское седло к Артуру Эрскину, верному начальнику ее лейб-гвардии; под защитой чужого она чувствует себя в большей безопасности, чем с мужем; кстати, тот, не дожидаясь, шпорит коня, торопясь унести ноги.

Так Эрскин и цепляющаяся за него Мария Стюарт мчатся галопом на одном коне все двадцать с лишним миль до замка лорда Сетона. Там ей наконец дают коня и стражу в две сотни всадников. Новый день беглянка встречает уже повелительницей. К обеду она доскакала до своего замка Данбар. Но вместо того, чтобы отдохнуть, дать себе покой, сразу же берется за дела: мало называться королевой, в такие минуты должно бороться, чтобы и в самом деле ею быть. Она диктует и пишет письма во все концы: надо кликнуть клич верным присяге дворянам, надо собрать войско против засевших в Холируде бунтовщиков. Жизнь спасена, но дело идет о короне, о чести! Неизменно, когда настает час мщениия, когда страсти пожаром бушуют в ее крови, эта женщина не знает ни слабости, ни усталости; только в такие великие, решающие мгновения открывается, какие силы таит в себе это сердце.

Недоброе пробуждение ждет наутро холирудских заговорщиков: замок опустел, королева бежала, их побратим и покровитель Дарнлей исчез вместе с ней. Но не сразу доходит до них вся полнота поражения: слишком велика их надежда на королевское слово Дарнлея, на то, что генеральное отпущение грехов, составленное накануне при его участии, остается в силе. Да и в самом деле, трудно представить себе подобное предательство. Они все еще не верят обману. Смиренно шлют они в Данбар своего посланца, лорда Семпила, просить у государыни обещанную грамоту. Три дня заставляет Мария Стюарт вестника мира томиться у запертых ворот, словно перед новой Каноссой; нет, она не унижится до переговоров с бунтовщиками, тем более, что Босуэл уже собрал войска.

Только теперь страх ледяной струей пробегает по спине у заговорщиков, быстро редуят их ряды. Один за другим пробираются они черным ходом к королеве вымаливать прощение; их коноводы, такие, как Рутвен, первым схвативший итальянца, или Фодонсайд, дерзнувший навести на королеву пистолет, разумеется, понимают, что не дождутся милости. Поспешно покидают они Шотландию, и вместе с ними бежит на сей раз и Джон Нокс,

слишком рано и слишком громко восславивший убийство итальянца как богоугодное дело.

Если бы королева вольна была слушаться обуревающей ее жажды мести, она бы примерно покарала бунтовщиков, внушила бы неугомонной банде знатных смутьянов, что нельзя безнаказанно бунтовать против нее. Но опасность была слишком велика, и в будущем придется ей действовать с большим умом и коварством. Меррей, ее сводный брат, конечно, был осведомлен о заговоре — то-то он подоспел так вовремя, — но сам в измене не участвовал; и Мария Стюарт понимает, что этого сильного человека лучше не трогать. Для того, чтобы не слишком многих восстановить против себя, она предпочитает кое на что закрыть глаза. Ибо вздумай она всерьез судить мятежников, разве не пришлось бы ей в первую очередь призвать к ответу Дарнлея, собственного супруга, — ведь это он ввел к ней заговорщиков, а во время убийства держал ее за руки. Но, памятуя о скандале с Шателаром, так невыгодно сказавшемся на ее репутации, она не может допустить, чтобы муж ее выступил в роли рогоносца, защищающего свою честь. *Semper aliquid haeret*<sup>1</sup>. Лучше представить дело так, будто он, главный подстрекатель и зачинщик, не имел к убийству отношения. Правда, трудно выгородить того, кто собственноручно подписал два «бонда», кто заключил по всей форме контракт, где наперед гарантировал заговорщикам полную безнаказанность, кто свой собственный кинжал — его нашли потом торчащим в истерзанном трупе итальянца — сунул кому-то из убийц. Но не ищите у марионетки ни воли, ни чести: стоило Марии Стюарт прибрать его к рукам, как Дарнлей послушно пляшет под ее дудку. Торжественно возглашает герольд на главной площади Эдинбурга самую беззастенчивую ложь века, скрепленную «словом и честью принца», о том, что он непричастен к «изменническому заговору», «*treasonable conspīrasy*», и что сущая ложь и клевета, будто заговорщики действовали «с его ведома, совета, приказа и согласия», тогда как король не только «*counseled, commanded, consented, assisted*», что известно каждому встречному и поперечному, но и официально «аррго-

---

<sup>1</sup> Всегда что-нибудь мешает (лат.).

ved» — благословил бунтовщиков на измену. Кажется, трудно вообразить более жалкую роль, чем та, какую этот слабовольный человек играл во время убийства, но на сей раз Дарнлей превосходит самого себя: лжеприсягой, данной на эдинбургской площади перед лицом всей страны и народа, он сам себе подписал приговор. Из всех, кому Мария Стюарт поклялась отомстить, никого она не покарала так жестоко, как Дарнлея, выставив своего втайне презираемого супруга на открытое поругание всего света.

Итак, на убийство брошен белоснежный саван лжи. С громко возвещаемым торжеством, под звуки фанфар возвращается в Эдинбург королевская чета во вновь обретенном согласии. Все как будто улажено и умиротворено. Чтобы соблюсти некую видимость правосудия и вместе с тем никого не испугать, вешают каких-то случайных горемык, ничего не ведающих солдат и холопов: пока господа повелители кланов орудовали наверху кинжалами, слуги, выполняя приказ, стояли на часах у ворот. Знатным же господам все сходит с рук. Итальянцу — слабое утешение для мертвеца — отводят почетное место упокоения на королевском кладбище, а в должность усопшего вступает его родной брат; на этом трагический эпизод исчерпан и предан забвению.

После всех этих передраг и волнений королеве остается еще одно немаловажное дело, которое больше чем что-либо может укрепить ее сильно пошатнувшееся положение: благополучно произвести на свет престолонаследника. Только как мать короля будет она неприкосновенна, не как супруга этого ничтожества, этого короля-марионетки. С тревогой ждет она своего трудного часа. Странное уныние и подавленность овладевают ею, особенно в последние недели. Гнетет ли ее неотвязной тенью воспоминание о смерти Риччо? Предвидит ли она обостренными чувствами наступление неминуемых бед? Во всяком случае, она пишет свою последнюю волю. Дарнлею завещает она перстень, тот самый, что он надел ей на палец в день их свадьбы, но и Джузеппе Риччо, Босуэл и четыре Марии не забыты; впервые беспечная, отважная женщина страшится смерти или какой-то еще неведомой угрозы. Она покидает Холируд, где после

той трагической ночи не чувствует себя больше в безопасности, и переезжает в куда менее удобный, но высоко расположенный и хорошо укрепленный Эдинбургский замок, чтобы там ценою жизни, если придется, даровать жизнь наследнику шотландской и английской короны.

Утром 9 июня грохот пушек в замке возвещает городу счастливую весть. Родился наследник, отпрыск Стюартов, король Шотландский, отныне пагубному женскому правлению конец. Заветная мечта матери, единоконное желание всей страны, ждущей мужского потомства Стюартов, наконец-то сбылись. Но едва даровав сыну жизнь, Мария Стюарт уже чувствует себя обязанной утвердить его положение. Ей, вероятно, слишком хорошо известно, что ядовитые сплетни, которые нашептали Дарнлею заговорщики, слухи, будто она нарушила супружеский долг с Риччо, просочились и за стены замка. Она знает, с какой радостью в Лондоне ухватятся за любой повод подвергнуть сомнению законное происхождение ее наследника, а там, возможно, и его право на престол. И она хочет заранее, перед всем миром, раз навсегда пресечь эту наглую ложь. Она зовет Дарнлея к себе в спальню и при всех показывает ему ребенка со словами:

— Бог даровал нам с тобой сына, зачатого тобой и только тобой.

Дарнлей смущен, ведь никто как он сам, обуреваемый болтливостью ревнивца, помог распространить позорную клевету. Что может он ответить на такое торжественное заявление? Скрывая замешательство, он наклоняется к новорожденному и целует его.

Но Мария Стюарт, взяв младенца на руки, снова громко повторяет:

— Перед богом свидетельствую, как на страшном суде, что это твой сын и нет у него другого отца, кроме тебя! И всех присутствующих здесь мужчин и женщин призываю в свидетели, что это в такой мере твое дитя, что я боюсь, как бы ему не пришлось когда-нибудь пожалеть об этом.

Великая клятва — и более чем странное опасение: даже в столь торжественную минуту оскорбленная мать не в силах скрыть свое недоверие к Дарнлею; даже сейчас

не может она забыть, как жестоко этот человек обманул и ранил ее. После этих достаточно знаменательных слов она протянула ребенка сэру Уильяму Стандону, одному из своих лордов.

— Вот принц, который, я надеюсь, впервые объединит оба королевства — Шотландию и Англию.

— Но почему же, мадам? — слегка оторопев, спрашивает Стандон. — Как может он опередить ваше величество и своего отца?

И снова с упреком отвечает Мария Стюарт:

— Потому что его отец расстроил наш союз.

Пристыженный Дарнлей старается урезонить разгневанную супругу.

— Разве это не противно твоему обещанию все забыть и простить? — спрашивает он в огорчении.

— Простить я все прощу, — отзывается королева. — Но забыть не в силах. Если бы Фодонсайд тогда спустил курок, что случилось бы с ним и со мной? Один бог ведает, что бы они с тобой сделали.

— Madame, — останавливает ее Дарнлей, — не будем вспоминать прошлое.

— Хорошо, — отвечает королева, — не будем вспоминать.

На том и кончился разговор, насыщенный громами и предвещавший грозу. Однако Мария Стюарт даже в свой трудный час сказала полуправду, заявив, что ничего не забыла, но все готова простить; ибо никогда ни в этом замке, ни в этой стране не будет больше мира, пока кровь не прольется за кровь и насилием не воздастся за насилие.

Не успела мать разрешиться от бремени, а ребенок увидеть свет, как ровно в полдень сэр Джеймс Мелвил, испытанный и надежный посланец, садится на коня. Вечером он уже на границе, ночью отдыхает в Берике, а наутро снова мчит во весь опор. Двенадцатого июня вечером — блестящий спортивный рекорд — въезжает он на взмыленном коне в Лондон. Там ему сообщают, что Елизавета дает бал в своем Гринвичском дворце; презрев усталость, пересаживается гонец на свежего коня и

летит дальше, чтобы еще этой ночью передать свою весть.

Елизавета соизволила даже протанцевать на этом пышном празднестве — после продолжительной и тяжелой болезни она радуется вновь обретенному здоровью. Веселая, оживленная, густо нарумяненная и напудренная, в своей помпезной пышной робе напоминая экзотический тюльпан, она, как всегда, окружена верными паладинами. Но тут к ней, раздвигая ряды танцующих, протискивается ее государственный секретарь Сесил, за которым следует Джеймс Мелвил. Сесил подходит и шепотом сообщает королеве, что у Марии Стюарт родился наследник, сын.

Елизавета как правительница — великая дипломатка, в совершенстве владеющая собой и понаторевшая в искусстве скрывать свои истинные чувства. Но эта весть поражает в ней женщину, кинжал вонзился в живое тело. А как женщина Елизавета болезненно чувствительна и не всегда владеет своими нервами. Она так ошеломлена, что ее гневные взгляды, ее стиснутые губы забывают лгать. Лицо ее застыло, кровь отлила от щек, судорожно сжаты руки. Она приказывает музыкантам замолчать, танец внезапно обрывается, и королева поспешно покидает зал, чувствуя, что нервы ее не выдержат. И только добравшись до своей опочивальни, среди обступивших ее в испуге прислужниц, дает она себе волю. Со стоном, под тяжестью горя, рухнула она на стул и разразилась рыданиями:

— У королевы Шотландской родился сын, а я, я иссохший мертвый сук!

Ни разу за семьдесят лет жизни глубокая трагедия этой обреченной девственницы не раскрывалась с такой очевидностью, как в ту секунду; ни разу так отчетливо не промелькнула ревниво оберегаемая тайна — сколь тяжело этой женщине, зачавшей от неспособности любить и от сознания своего бесплодия, нести свой крест, — как именно в этом возгласе, вырвавшемся из самых женских, самых сокровенных, самых незамутненных родников ее существа, подобно внезапно хлынувшему потоку крови. Чувствуется, что все царства мира отдала бы она за обычное, ясное, естественное счастье — быть просто женщиной, просто возлюбленной, просто матерью. Лю-

бое другое преимущество, любую удачу она при всей своей ревности, быть может, и простила бы Марии Стюарт. Но эта будит в ней смертельную зависть, ибо в ней возмущено самое заветное чувство и желание — быть матерью.

Но уже на следующее утро Елизавета опять только королева, только женщина-политик и дипломат. В совершенстве владеет она своим испытанным искусством скрывать злобу, недовольство, а порой и жгучее страдание под завесою холодных величавых слов. Наведя на лицо милостивую улыбку, принимает она Мелвила с положенными почестями: если верить ее словам, более приятной вести ей не приходилось слышать. Она велит посланцу передать Марии Стюарт самые сердечные пожелания, она повторяет свое обещание быть восприимчивей новорожденного и даже готова, если представится возможность, приехать на крестины. Именно потому, что она завидует счастью данной ей роком сестры, она, вечная лицедейка собственного величия, хочет выступить перед миром в роли доброй феи.

Итак, снова мужественной сопернице выпала счастливая карта, все опасности как будто миновали, все трудности словно чудом преодолены. Еще раз отступили тучи, с первой же минуты трагически нависшие над судьбой Марии Стюарт; но того, кто отважен духом, ничему не научат минувшие испытания, а разве лишь раззадорят. Мария Стюарт родилась не для спокойствия и счастья, какие-то необоримые силы управляют ею изнутри. Никогда события и случайности внешней жизни не придают человеческой судьбе ее окончательного смысла и формы. Только врожденные, только изначальные законы формируют жизнь — или разрушают ее.

## В НЕПРОХОДИМЫХ ДЕБРЯХ

*С июля по рождество 1566 года*

**Р**ождение ребенка знаменует в трагедии Марии Стюарт как бы завершение первого, вступительного акта. Ситуация внезапно драматически заостряется, все трепещет, все до предела напряжено внутренними неразрешимыми конфликтами. Новые характеры и персонажи вступают в строй, меняется место действия, трагедия из политической становится личной. До сего времени Мария Стюарт боролась с мятежниками в собственной стране и с враждебными силами за рубежом, теперь же на нее обрушивается новый враг, беспощаднее всех ее лордов и баронов: ее собственные чувства поднимают мятеж, женщина в Марии Стюарт объявляет войну королеве. Властолюбие впервые отступает перед властью крови. Одержимая страстью, лег-

комысленно разрушает пробудившаяся женщина то, что рачительная монархиня с трудом сберегала; как в омут, бросается она с поистине великолепной безоглядностью в еще невиданную историей экзальтацию страсти, все забывая, все увлекая в своем падении — честь, закон и мораль, свою корону, свою страну, — новоявленная трагическая героиня, которую трудно было предугадать в прилежной добронравной принцессе или в бездумно чего-то ждущей кокетливой вдовствующей королеве. За один-единственный год преобразила Мария Стюарт всю свою жизнь, тысячекратно повысив ее драматизм, и за этот единственный год она разрушила свою жизнь.

В начале этого, второго акта опять на сцену выступает Дарнлей, но и в нем чувствуется перемена, какая-то новая, трагическая нотка. Он выходит один, никто не дарит отступника своим доверием, ни даже сказанным от сердца словом. Глубокое озлобление, бессильная ярость терзают душу честолюбивого юноши. Он сделал больше, чем может сделать для женщины мужчина, и ждал хоть немного благодарности, покорности, сочувствия, а может быть, и любви! И что же, едва он стал ненужен, Дарнлей встречает в Марии Стюарт одно лишь усилившееся отвращение. Королева неумолима. Бежавшие лорды, чтобы поквитаться с предателем, подбрасывают ей через тайных агентов подписанную Дарнлеем грамоту, которой им отпускалось убийство Риччо, — пусть знает, что муж ее был с ними заодно. Подметное письмо не открывает Марии Стюарт ничего нового, но чем больше презирает она этого предателя, эту тряпку, тем меньше гордая женщина прощает себе, что полюбила такое смазливое ничтожество. В Дарнлее ей претит ко всему прочему и собственное заблуждение; как мужчина, как муж он ей отвратителен, точно что-то скользкое, липкое, змея или слизняк, до чего боишься дотронуться пальцем, а тем более коснуться живым, теплым телом. Его присутствие, самое его существование гнетет ее кошмаром. И одна лишь мысль владеет ею днем и ночью: как отделаться от него, как освободиться?

В этих мыслях нет еще и намека на предстоящее убийство, ни тени намека, даже в виде туманных мечта-

ний. То, что случилось с Марией Стюарт, не такая уж редкость. Как тысячи других женщин, она вскоре после замужества испытывает разочарование, столь острое, что объятия и близость человека, ставшего для нее чужим, ей просто нестерпимы. Наиболее разумный и естественный выход в таких случаях — развод, и Мария Стюарт обсуждает эту возможность Мерреем и Мэйтлендом. Но развестись чуть ли не назавтра после рождения ребенка — значит дать пищу опасным сплетням насчет ее якобы предосудительных отношений с Риччо: ребенка немедленно ославят бастардом. И чтобы не нанести ущерба имени Иакова VI, который может притязать на корону лишь как отпрыск безупречного брака, королеве приходится — страшная жертва! — отказаться от этого естественного решения.

Казалось бы, существует и другой выход: келейная договоренность между супругами о том, чтобы сохранить для виду брачный союз, а на деле вернуть друг другу свободу. Это избавило бы Марию Стюарт от любовных домогательств мужа, а в глазах света сохранило бы видимость брака. Что Мария Стюарт искала и этой возможности, свидетельствует дошедший до нас ее разговор с Дарнлеем: она намекнула, что не худо бы ему завести любовницу, и даже подсказала, кого — супругу Меррея, его заклятого врага; так, под видом шутки, она дает ему понять, что несколько не огорчилась бы, вздумай он искать утешения в другом месте. Но вот незадача: для Дарнлея не существует другой женщины, он хочет ее и никого другого. С какой-то непонятной рабской преданностью и жадностью льнет злосчастный юноша к этой сильной, гордой женщине. Он и мысли не допускает о другой любовнице, он не прикаснется ни к одной, ему нужна единственно эта, которая знает его не хочет. Только это тело будит в нем желание, сводит его с ума, и он неотступно кланяется и требует, чтобы его супружеские права уважались; но чем жарче и настойчивее домогается он ее, тем нетерпеливее она ему отказывает. И — такова насмешка судьбы! — чем нетерпеливее она его отталкивает, тем коварнее и злее его желание и тем смиреннее возвращается он вновь и вновь, чтобы вымолить подачку; страшным разочарованием расплачивается бедная женщина за свою злополучную опро-

метчивость, за то, что мальчишке без сердца и ума предоставила она супружескую власть, ибо как ни противится она всем существом, а все же они связаны безысходно.

В этом трудном душевном положении Мария Стюарт делает то, что обычно делают люди, попавшие в тупик. Она уходит от решения, она уклоняется от открытой борьбы, обращаясь в бегство. Как ни странно, биографы все как один в недоумении от того, что Мария Стюарт после родов не дает себе естественного роздыха и, никого не предупредив, уже месяц спустя покидает замок и ребенка, чтобы отправиться в увеселительную прогулку — в Аллоа, поместье графа Марского. Вполне понятное бегство: прошел месяц, и, стало быть, исчезли уважительные причины, позволявшие ей без особых уверток держать на расстоянии постылого мужа; но теперь он снова станет предприимчив, ежедневно, еженощно будет он ее преследовать, а между тем тело ее отказывается, а душа не в силах выносить любовника, которого она больше не любит. Вполне естественно, что Мария Стюарт бежит от него, что она ставит преградой между ним и собой разлуку и даль, что она хотя бы внешне от него освобождается, чтобы внутренне расправить крылья. И так все последующие недели, месяцы, все лето до глубокой осени спасается она бегством, переезжая из замка в замок, с одной охоты на другую. А что при этом она ищет развлечений, что и в Аллоа и в других местах еще даже не двадцатичетырехлетняя Мария Стюарт веселится до упаду, что излюбленные ею маски, танцы и пестрая череда празднеств снова помогают неисправимой ветренице убить время, как во времена Шателюра и Риччо, — все это лишь показывает, как легко эта беззаботная головка забывает прошлые испытания. Только однажды пытается Дарнлей робко предъявить свои супружеские права. Он отправляется верхом в Аллоа, но его очень быстро выпроваживают и даже не просят переночевать в замке. Внутренне Мария Стюарт с ним покончила. Пламя ее любви взвилось вверх мимолетной вспышкой и так же быстро сникло. Ошибка, о которой стараешься не думать, досадное воспоминание, которое хочется изгнать из памяти, — вот чем стал

для нее Генри Дарнлей, тот, кого безрассудство влюбленной сделало повелителем Шотландии и господином ее тела.

Дарнлей больше для нее не существует, но и Меррею, невзирая на добрый мир между ними, она не слишком доверяет; к прощенному после долгих колебаний Мэйтленду она уже всегда будет относиться с холодком, а между тем ей нужен человек, которому можно было бы довериться всецело, так как всякая осторожность и половинчатость, всякие оглядки и колебания чужды и противны этой горячей натуре. Она безоговорочно любит и безоговорочно ненавидит; безоговорочно верит и безоговорочно не верит. Как королева и как женщина Мария Стюарт всю свою жизнь сознательно или бессознательно ищет некую полярную противоположность своей беспокойной душе в лице сильного, сурового, преданного и стойкого мужчины.

И вот после Риччо у нее остается только Босуэл, единственный, на кого она может положиться. Судьба нещадно преследовала этого неустрашимого человека. Свора лордов изгоняет его из страны совсем еще юнцом за то, что он отказался с ней спеться; верный до конца, защищал он Марию де Гиз, мать Марии Стюарт, против «лордов конгрегации» и не сложил оружия и тогда, когда дело католицизма в Шотландии, которое отстаивали Стюарты, было окончательно проиграно. Но силы врага были несокрушимы, и Босуэлу пришлось бежать. Во Франции изгнанник сразу же стал начальником шотландской лейб-гвардии, и это почетное положение при дворе выгодно сказалось на его обхождении, внешне обтесав его, однако не смягчило первозданной грубости и неумерной силы его натуры. Но Босуэл слишком солдат, чтобы удовлетвориться теплым местечком, и, как только его заклятый враг Меррей восстает против королевы, он под парусом переплывает Ламанш, чтобы вступить за дочь Стюартов. Когда бы Марии Стюарт ни понадобилась помощь против ее злокозненных подданных, он с готовностью протягивает ей свою закованную в броню руку. В ночь убийства Риччо он бесстрашно выскочил из окна второго этажа, чтобы прийти ей на

выручку; это его предусмотрительность способствовала отважному побегу королевы, а его воинственная энергия внушает заговорщикам такой страх, что они даже не берутся за оружие. Никто в Шотландии еще не служил Марии Стюарт так преданно, как этот тридцатилетний беззаветно храбрый солдат.

Босуэл — фигура, словно высеченная из черной мраморной глыбы. Подобно своему итальянскому собрату кондотьеру Коллеоне, стоит он в горделиво вызывающей позе, и смелый взор его устремлен в века — мужчина из мужчин в апофеозе суровой и жестокой мужественности. Он носит имя Хепбернов, древнего шотландского рода, но невольно думается, что в жилах его течет еще не укрощенная кровь древних викингов и норманских завоевателей, суровых воинов и разбойников. Несмотря на благоприобретенную культуру (он безукоризненно говорит по-французски, любит и собирает книги), в Босуэле еще живет дикарский задор прирожденного бунтаря против благонамеренной обывательщины, необузданная жажда приключений *тех hors la loi*<sup>1</sup>, романтических корсаров, которыми так восхищался Байрон. Высокий, широкоплечий, необычайно сильный и выносливый, он орудует двуручным мечом, как легкой шпагой, управляет парусом в шторм и бурю, и эта уверенность в своих силах порождает у него неподобную моральную, вернее, аморальную, бесшабашность. Этот забияка ничего не боится, для него существует только мораль сильных — без зазрения совести хватать, не выпускать и отстаивать захваченное. Но в этой природной забиячливости нет ничего общего с низменной жадностью и расчетливым интриганством других баронов, которых он, отчаянный храбрец, презирает, так как они вечно сбиваются в кучу для своих грабительских походов и обделяют свои подлые делишки под покровом ночи. Босуэл не заключает союзов, всякие сделки ему глубоко противны: надменный, одинокий, с гордо поднятой головой, идет он своим путем, плюя на мораль и закон. Стань только у него на дороге — и он расшибет тебе физиономию бронированным кулаком. Беззаботно делает он все, что захочет, дозволенное и недозволенное, не таясь, средь бела дня.

---

<sup>1</sup> Отщепенцев, стоящих вне закона (франц.).

Но, хищник и насильник худшего разбора, закованный в латы циник, Босуэл все же выгодно отличается от своего окружения прямою характером. Рядом с двоедушными, двуличными лордами и баронами он напоминает кровожадного, но благородного зверя, леопарда или льва среди вороватых волков и гиен — отнюдь не высоко нравственная, не обаятельная по-человечески фигура и все же доподлинный мужчина, цельный характер, воитель стародавних времен.

Потому-то так боятся и ненавидят Босуэла его собратья мужчины, но зато его неприкрытая, ясная, жестокая сила магически действует на женщин. Неизвестно, был ли этот похититель сердец хорош собой, не сохранилось ни одного сколько-нибудь удачного его портрета (невольно представляешь себе полотно Франца Хальса, одного из его удалых воинов с заливчатски нахлобученной на лоб шляпой, с вызывающе и смело устремленным вперед взглядом). По некоторым отзывам, он был отталкивающе некрасив. Но, чтобы пользоваться успехом у женщин, и не нужно быть красавцем: уже терпкое дыхание мужественности, исходящее от таких сильных натур, какое-то неистовое своеобразие, безоглядная жестокость, самая атмосфера войны и победы дурманят их чувства. Ничто так не будит в женщине страсть, как трепет страха и восхищения — легкое сладостное чувство жути и опасности только усиливает наслаждение, придает ему неизъяснимую остроту. Если такой насильник при этом не просто mâle, неукротимый быкоподобный самец, если у него, как мы это видим у Босуэла, все грубоплотоядное завуалировано кое-какой личной и придворной культурой, если он к тому же умен и находчив, обаянию его невозможно противостоять. И действительно, весь путь этого искателя приключений усеян любовными эпизодами, по-видимому, не стойвшими ему больших хлопот. При французском дворе о его победах рассказывали легенды, да и в кругу Марии Стюарт перед ним не устояло несколько придворных дам; в Дании некая красавица принесла ему в жертву мужа, деньги и все свое состояние. Но, несмотря на эти лавры, Босуэла не назовешь обольстителем, донжуаном, юбочником, женщины у него всегда на втором плане. Такие победы слишком легки и безопасны для его воинственной нату-

ры. Подобно разбойникам-викингам, Босуэл берет женщин лишь как случайную добычу, он берет их походя, как пьет вино, играет в кости или скачет верхом, для него это та же проба сил, повышающая жизненную энергию,— наиболее мужская из мужских забав; он берет женщин, но сам им не отдается, не теряет себя в них. Он берет их потому, что брать, а особенно брать насильно,—естественное проявление его властолюбия.

Этого мужчину в Босуэле сперва не замечает Мария Стюарт в преданном своем вассале. Да и Босуэл не видит в королеве юной желанной женщины; когда-то он с обычной беспечностью позволил себе дерзко отозваться о ее особе: «Им с Елизаветой даже вдвоем не составить одной настоящей бабы». Ему и в голову не приходит помыслить о королеве как о возможной любовнице, да и она не проявляет к нему ни малейшей склонности. Она даже собиралась запретить ему въезд в Шотландию, так как во Франции он не очень-то стеснялся в разговорах о ней, но стоило ей узнать ему цену как солдату, и она уже не может без него обойтись. Она не скупится на благодарность, одно отличие следует за другим: Босуэл назначается командующим Северных графств, потом верховным адмиралом Шотландии и главнокомандующим вооруженных сил на случай войны или мятежа. Мария Стюарт жалует Босуэлу поместья опальных баронов и в знак дружеского попечения сама подыскивает ему — это ли не доказывает, как нейтральны поначалу их отношения? — молодую супругу из богатого рода Хантлеев.

Прирожденного повелителя стоит лишь подпустить к власти, как он захватывает ее целиком. Вскоре Босуэл — уже первый советчик королевы по всем вопросам, он, собственно, правит страной как наместник; английский посол с раздражением доносит, что «королева отличает Босуэла больше, нежели других». Но на этот раз Мария Стюарт сделала верный выбор, наконец-то нашла она правителя по сердцу, человека с чувством собственного достоинства — он не польстится на подарки и посулы Елизаветы, не стакнется с лордами ради пустяковой корысти. Опираясь на этого бесстрашного солдата, она впервые получает перевес в собственной стране. Ее неурядливые лорды скоро восчувствовали, какую короле-

ва забрала силу благодаря военной диктатуре Босуэла. Они жалуются, что Босуэл «слишком занесся, что даже Риччо не так ненавидели, как его», и мечтают от него избавиться. Но Босуэл не Риччо, он не даст себя покорно прирезать, да и в угол его не задвинешь, как Дарнлея. Он слишком хорошо знает повадки своих знатных братьев и никуда не выезжает без сильной охраны, а его *borderers* по первому знаку готовы взяться за оружие. Ему безразлично, любят или ненавидят его придворные интриганы; достаточно того, что они его трепещут. Доколе меч не выпадет из его рук, эта буйная банда грабителей, пусть и со скрежетом зубовым, будет повиноваться королеве. По настоятельной просьбе Марии Стюарт между ним и его заядлым врагом Мерреем заключен мир; таким образом, круг власти замкнулся, все силы строго уравновешены. Мария Стюарт, под надежным заслоном Босуэла, ни во что не вмешивается и ограничивается представительством; Меррей, как и раньше, ведает внутренними делами, Мэйтленд — дипломатической службой, а преданный Босуэл у нее *all in all*<sup>1</sup>. Благодаря его железной руке в Шотландии восстановлен мир и порядок; и это чудо сотворил один-единственный человек — настоящий мужчина.

Но чем больше власти забирает Босуэл в свои могучие руки, тем меньше ее остается на долю того, кому она принадлежит по праву, — на долю короля. А постепенно усыхает и это немногое, и остается только воспоминание, звук пустой. Прошел всего лишь год, а как далеко то время, когда юная властительница по страстному влечению избрала Дарнлея, когда герольды всенародно возглашали его королем и, закованный в золоченые доспехи, он скакал в погоне за мятежниками! Теперь, после рождения ребенка, после того, как выполнено его прямое назначение, несчастного все больше отесняют на задний план. Все поворачиваются к нему спиной; пусть себе что-то болтает — никто его не слушает; пусть идет, куда вздумает, — никто его знать не хочет. Дарнлея больше не зовут на заседания совета, не при-

---

<sup>1</sup> Все и вся (англ.).

глашают на торжества и увеселения; вечно бродит он в одиночестве, и холодная пустота одиночества следует за ним тенью. Где бы он ни находился, повсюду его со спины прохватывает сквозняком насмешки и презрения. Чужой, враг, он чувствует себя среди врагов в своей отчизне, в своем доме.

Это полное пренебрежение, это внезапное переключение с горячего на холодное, очевидно, объясняется родившимся в женской душе отвращением. Но, как он ей ни опостылел, афишировать свое презрение было государственно-политическим просчетом королевы. Тщеславного честолюбца нельзя было так безжалостно выставлять на поругание лордов, разум повелевал сохранить ему хотя бы видимость почета. Оскорбление обычно приводит к обратным результатам, оно и у слабейшего выжимает каплю твердости: даже бесхарактерный Дарнлей постепенно становится злобным и опасным. И он дает волю своему ожесточению. Когда, окружив себя вооруженной стражей — убийство Риччо и ему послужило уроком, — он целые дни пропадает на охоте, спутники нередко слышат от него угрозы по адресу Меррея и других лордов. Он сам себя уполномочивает писать письма иностранным дворам, обвиняя Марию Стюарт в том, что она «не стойка в вере» и предлагая себя Филиппу II в «истинные оберегатели» католицизма. Правнук Генриха VII, он домогается участия во власти и права голоса; как ни мягка, как ни мелка душа этого мальчика, где-то на дне ее теплится неугасимое чувство чести. Дарнлея можно назвать безвольным, но уж никак не бесчестным; даже наиболее сомнительные свои поступки он совершает, по-видимому, из ложного честолюбия, из повышенной тяги к самоутверждению. И вот наконец — должно быть, палку перегнули — отверженный принимает отчаянное решение. В последних числах сентября он уезжает в Глазго, не скрывая своего намерения вскоре оставить Шотландию и отправиться в чужие края. Я с вами больше не играю, заявляет Дарнлей. Раз вы отказываете мне в королевских полномочиях, на что он мне сдался, ваш титул! Раз не даете подобающего положения ни в государстве, ни у домашнего очага, на что мне ваш дворец, да и вся Шотландия! По его приказу в гавани ждет оснащенный, готовый к отплытию корабль.

Чего же добивается Дарнлей этой внезапной угрозой? Получил ли он своевременное предостережение, дошла ли до него молва о готовящемся заговоре и хочет ли он, зная, что не в силах противостоять этой своре, бежать, пока не поздно, туда, где никакой яд и кинжал его не достанут? Гложет ли его подозрение, гонит ли страх? Или же вся эта похвальба — пустое фанфаронство, чистейшая дипломатия, чтобы запугать Марию Стюарт? Каждое из этих предположений заключает в себе долю истины, а тем более все они, вместе взятые, — ведь в одном решении всегда соединяется много чувств и ни одно не должно быть предпочтено или отринуто. Там, где тропа спускается в сумеречные катакомбы сердца, огни истории горят уже неясно: в этом лабиринте можно только осторожно, наугад нащупывать дорогу.

Однако Мария Стюарт серьезно напугана предполагаемым отъездом Дарнлея. Злонамеренное бегство отца из страны чуть ли не накануне торжественных крестин — каким бы это было ударом для ее репутации! А особенно теперь, когда у всех еще свежа в памяти расправа с Риччо! Что, если этот недалекий мальчик с досады начнет трезвонить при дворе Екатерины Медичи или Елизаветы о том, что не служит ей к чести! Как будут торжествовать обе ее соперницы, как станет издеваться весь мир над тем, что возлюбленный супруг так быстро сбежал из ее дома и постели! Мария Стюарт спешно сзывает государственный совет, и впопыхах, чтобы предупредить Дарнлея, лорды строчат большое дипломатическое послание Екатерине Медичи, в котором все беззакония валят на Дарнлея, как на козла отпущения.

Переполох, однако, оказался преждевременным. Никуда Дарнлей не уехал. Этот слабый мальчик находит в себе силы разве лишь для мужественных жестов — не для мужественных поступков. Двадцать девятого сентября — лорды только что отправили в Париж свой навет — Дарнлей вдруг появляется в Эдинбурге, под окнами дворца; правда, войти он отказывается, пока не разошлись лорды; снова странное, необъяснимое поведение! Подозревает ли Дарнлей, что ему готовят участь Риччо, опасается ли войти во дворец, зная, что там засели его



«МАРИЯ СТЮАРТ»



смертельные враги? Или, оскорбленный супруг, он хочет, чтобы Мария Стюарт низко ему поклонилась, моля о возвращении? А может быть, он явился проверить, какое действие произвела его угроза? Снова загадка, как и многие другие загадки, которыми овеян образ Дарнлея!

Мария Стюарт не долго думает. У нее выработалось безошибочное умение справляться со своим мозгляком-мужем, когда он вздумает разыгрывать из себя бунтаря или господина. Она знает: нужно возможно скорее, как в ночь после убийства Риччо, лишить его последнего остатка воли, пока он в своем детском упрямстве не натворил худших бед. Итак, нечего с ним церемониться! Снова изображает она кроткую овечку и, чтобы сломить его непокорство, идет на крайние меры: тотчас же отпускает лордов, а сама спешит к упряму, ждущему в воротах, и с великими почестями уводит — не только во дворец, но, надо полагать, и на остров Цирцеи — в свою опочивальню. И средство действует безотказно; такова ее власть над этим юношей, прикованным к ней всеми чувственными помыслами: наутро он уже послушен, как ребенок, и Мария Стюарт водит его на помочах.

Но нет пощады: беднягу снова ждет расплата, как и за ночь, подаренную ему после убийства Риччо. Дарнлей, опять вообразивший себя господином и повелителем, вдруг наталкивается в аудиенц-зале на французского посланника и на лордов. Как Елизавета в комедии с Мерреем, Мария Стюарт запаслась свидетелями. В их присутствии она громко и настойчиво допрашивает Дарнлея, пусть скажет «for god's sake»<sup>1</sup>, почему он задумал уехать из Шотландии, не дала ли она ему повод для такого бегства. Какое убийственное разочарование! Дарнлей еще мнит себя счастливым мужем и любовником и вдруг предстать перед послом и лордами в роли обвиняемого! Сумрачно стоит он среди зала, долговязый малый с бледным безбородым, мальчишеским лицом. Будь он настоящим мужчиной, вытесанным из более крепкого материала, ему бы самое время выступить со всей твердостью, властно изложить свои претензии и не обви-

---

<sup>1</sup> Ради создателя (англ.).

няемым, а судьбою предстать перед этой женщиной и своими подданными. Но где уж восковому сердцу оказать сопротивление! Словно пойманный шалун, словно школьник, боящийся, как бы у него не брызнули слезы бессильной ярости, стоит Дарнлей один среди большого зала, стиснул зубы и молчит — молчит. Он попросту не отвечает на вопросы. Он не обвиняет, но и не извиняется. Встревоженные этим молчанием, лорды почтительно его уговаривают, как мог он помыслить оставить «so beautiful a queen and so noble a realm?»<sup>1</sup> Но тщетно: Дарнлей не удостоивает их ответом. Это молчание, исполненное упорства и тайной угрозы, все больше гнетет собравшихся, каждый чувствует, что несчастный лишь с трудом владеет собой — вот-вот случится непоправимое; для Марии Стюарт было бы величайшим поражением, если бы у Дарнлея достало силы выдержать это убийственное, красноречивое молчание. Но Дарнлей сдается. По мере того, как посланник и лорды все снова и снова нажимают на него «avec beaucoup de propos»<sup>2</sup>, он уступает и чуть слышным голосом, угрюмо подтверждает то, что от него хотят услышать: нет, его супруга не давала ему повода к отъезду. Марии Стюарт только того и нужно: ведь этим заявлением несчастный себя осудил. Ее добрая репутация восстановлена в присутствии французского посланника. Она облегченно вздыхает и заключительным движением руки дает понять, что вполне удовлетворена ответом Дарнлея.

Но Дарнлей недоволен, Дарнлея душит стыд: снова покорился он этой Далиле, дал себя выманить из твердыни своего молчания. Невыразимые муки, должно быть, терпел обманутый и одураченный юнец, когда королева величественным жестом как бы «простила» его, хотя ему больше пристало бы выступить здесь в роли обвинителя. Слишком поздно обретает он утерянное достоинство. Не поклонившись лордам, не обняв супруги, холодный, как герольд, вручающий объявление войны, выходит он из зала. Его прощальные слова обращены к королеве: «Madame, вы меня не скоро увидите». Но лорды и Мария Стюарт обмениваются довольной улыбкой;

---

<sup>1</sup> Такую прекрасную королеву и благородную страну (англ.).

<sup>2</sup> Убедительно (франц.).

какое облегчение: пусть этот фанфаронщик, «that proud fool», явившийся сюда с наглыми претензиями, уползает в свою нору, его угрозы уже никому не страшны. Чем дальше он уберется, тем лучше для него и для всех!

Однако уж на что никудышный, а ведь вот же понадобился! Казалось бы, только помеха в доме, и вдруг его настоятельно требуют обратно. Шестнадцатого декабря, с большим запозданием, в замке Стирлинг назначены торжественные крестины малютки принца. Идут великие приготовления. Елизавета, восприемница младенца, разумеется, не явилась собственной персоной — всю жизнь уклонялась она от встреч с Марией Стюарт, — но зато, преодолев в виде исключения свою пресловутую скарденность, она шлет с графом Бедфордским бесценный дар — тяжелую, чистого золота купель тончайшей работы, изукрашенную по краю драгоценными камнями. Явились послы Франции, Испании, Савойи, приглашена вся знать; всякий, кто претендует на громкое имя или звание, присутствует на торжестве. По случаю столь пышной церемонии нельзя при всем желании исключить из списка гостей такое, пусть само по себе и незначительное лицо, как Генри Дарнлей, отец наследника, правящий государь. Но Дарнлей понимает, что это последний раз о нем вспомнили, и он начеку. Хватит с него всенародного сраму, он знает, что английскому послу велено не титуловать его «Ваше Величество»; французский же посол, которого он хочет навестить в его покое, с предерзостной надменностью велит передать Дарнлею, что как только тот войдет к нему в одну дверь, он тут же выйдет в другую. Наконец-то в растоптанном юнце вскипает гордость — правда, его хватает лишь на детский каприз, на злобную выходку. Но на сей раз выходка достигает цели. Дарнлей хоть и не покидает замок Стирлинг, но и не показывается гостям. Он угрожает своим отсутствием. Демонстративно заперся он в своей комнате, не участвует ни в крестинах сына, ни тем более в балах, празднествах и масках; вместо него — ропот возмущения проходит по рядам приглашенных — гостей принимает Босуэл, все тот же ненавистный фаворит в новом богатом наряде, и Мария Стюарт из себя выхо-

дит, изображая веселую и приветливую хозяйку, чтобы никто не думал о покойнике в доме, о государе, отце и супруге, который замкнулся в своей спальне выше этажом и которому удалось-таки испортить жене и ее друзьям радостный праздник. Еще раз доказал он им, что он здесь, все еще здесь: именно своим отсутствием напоминает Дарнлей в последний раз о своем существовании.

Но, чтобы наказать ослушного мальчишку, тотчас же срезается розга. Уже через несколько дней, в сочельник, она со зловещим свистом рассекает воздух. Кто бы мог ожидать: Мария Стюарт, обычно такая несговорчивая, решается, по совету Меррея и Босуэла, помиловать убийцу Риччо. Тем самым лютые враги Дарнлея, которых он в свое время обманул и предал, снова призываются на родину. Дарнлей, сколь он ни прост, сразу же смекает, какая ему грозит опасность. Стоит всей своре — Меррею, Мэйтленду, Босуэлу, Мортону — собраться, как начнется облава и его затравят насмерть. Недаром его супруга стакнулась с самыми лютыми его врагами; есть в этом немалый смысл и немалый расчет, который ему дорого обойдется.

Дарнлей чувствует опасность. Он знает: на карту поставлена его жизнь. Точно дичь, выслеженная легавыми, бежит он из замка, торопясь укрыться у отца в Глазго. И года не прошло, как Риччо зарыли в землю, а убийцы уже снова собрались в братский кружок, все ближе и ближе надвигается что-то жуткое, неведомое. Мертвецам скучно лежать одиноко в сырой земле, вот они и требуют к себе тех, кто их туда столкнул, засылая вперед, как своих герольдов, страх и смятение.

И в самом деле, что-то темное, тяжелое, словно туча в дни, когда задувает фен, что-то гнетущее и знобкое уже два месяца как нависло над Холирудским замком. В вечер королевских крестин в залитом огнями замке Стирлинг — ибо надо было удивить приезжих великопием двора, а друзей дружбой — Мария Стюарт, всегда умеющая на короткий срок взять себя в руки, призвала на помощь все свои силы. Глаза ее излучали притворное счастье, она очаровывала гостей беспечной веселостью и

подкупающей приветливостью; но едва погасли огни, гаснет и ее наиприветливое оживление, тишина воцаряется в Холируде, жуткая, странная тишина закрадывается и в душу королевы; какая-то загадочная печаль, какая-то непонятная растерянность владеют ею. Впервые глубокая меланхолия угрюмой тенью омрачает ее лицо, и кажется, будто неизъяснимая тревога гложет ее душу. Она больше не танцует, не требует музыки, да и здоровье ее после знаменитой скачки в Джедборо, когда ее за смертью сняли с седла, как будто сильно пошатнулось. Она жалуется на боли в боку, целыми днями лежит в постели, избегает увеселений. Ей не сидится в Холируде; на долгие недели забирается она в отдаленные усадьбы и уединенные замки, нигде, впрочем, не задерживаясь; неотвязная тревога гонит ее все дальше и дальше. Можно подумать, что в ней действует какая-то разрушительная сила; с мучительным, напряженным любопытством прислушивается Мария Стюарт к боли, что гложет ее изнутри: что-то новое, чуждое происходит в ней, что-то враждебное и злое овладело ее доселе такой светлой душою. Как-то французский посол застал ее врасплох: она лежала в постели и рыдала. Умудренный житейским опытом, старик не поверил королеве, когда она в смущении что-то залепетала о болях в левом боку, терзающих ее до слез. Он тотчас же замечает, что здесь терлит муки не тело, а душа, что несчастлива не королева, а женщина. «Королева занемогла,— отписывает он в Париж,— но, думаюется мне, истинная причина ее болезни в глубоком горе, для которого нет забвения. То и дело она твердит: «Хоть бы мне умереть!»

От Меррея, Мэйтленда и прочих лордов также не укрывается тяжелое состояние духа их госпожи. Но, опытные в восждении полков, они неопытны в разгадывании сердца; им ясна лишь грубая, очевидная причина, лежащая на поверхности, а именно — ее неудачный брак. «Ей невыносимо сознавать, что он ее супруг,— пишет Мэйтленд,— и что нет никакой возможности от него избавиться». Однако многоопытный Дю Крок увидел больше, когда говорил о «глубоком горе, для которого нет забвения». Иная, скрытая, невидимая рана из-

пуряет несчастную женщину. Горе, для которого нет забвения, заключается в том, что королева забылась, что великая страсть внезапно, подобно хищному зверю, набросилась на нее из темноты, истерзала ее тело когтями, разворотила до самых внутренностей — безмерная, неуголимая, неугасимая страсть, начавшаяся с преступления и требующая все новых и новых преступлений. И теперь она борется, сама себя пугаясь, сама себя стыдясь, мучается, стараясь скрыть эту страшную тайну и в то же время зная и чувствуя, что ее не скроешь, не замолчишь. Ею владеет воля сильнее ее разумной воли; она уже не принадлежит себе: беспомощная и потерянная, она отдана на волю этой всемогущей безрассудной страсти.

ГЛАВА XI  
ТРАГЕДИЯ ЛЮБВИ

1566, 1567



**Л**юбовь Марии Стюарт к Босуэлу — одна из самых примечательных в истории; дошедшие до нас предания об античных и иных прославленных любовниках едва ли превосходят ее в силе и неистовстве. Огненным языком взмывает она до пурпурных высот экстаза, до сумрачных зон преступления, растекаясь мятущейся лавой. Но когда чувства так раскалены, наивно было бы подводить к ним мерку логики и разума — ведь таким безудержным влечениям свойственно и проявляться неразумно. Страсть, как болезнь, нельзя осуждать, нельзя и оправдывать; можно только описывать ее с все новым изумлением и невольной дрожью пред извечным могуществом стихий, которые как в природе, так и в человеке внезапно разражаются вспышками грозы. Ибо страсть подобного

наивысшего напряжения неподвластна тому, кого она поражает: всеми своими проявлениями и последствиями она выходит за пределы его сознательной жизни и как бы бушует над его головой, ускользая от чувства ответственности. Подходить с меркой морали к одержимому страстью столь же нелепо, как если бы мы вздумали привлечь к ответу вулкан или наложить взыскание на грозу. Но точно так же и Мария Стюарт в пору ее душевно-чувственной поработанности не несет вины за свои деяния — безрассудные поступки отнюдь не вяжутся с ее обычным, нормальным, скорее уравновешенным поведением; все, что она ни делает, происходит словно в дурмане чувств и даже против ее воли. С закрытыми глазами, пораженная глухотой, бредет она, точно сомнамбула, влекомая магнетической силой по предначертанному пути преступления и гибели. Недоступная увещанию, недосыгаемая зову, она очнется лишь тогда, когда пламя, клокочущее в ее крови, пожрет себя, — очнется вся выгоревшая, опустошенная. Кто однажды прошел через это горнило, в том испепелено все живое.

Ибо никогда страсть столь чрезмерная не повторяется у одного человека. Как взрыв уничтожает всю взрывчатку, так подобное извержение страсти — всегда и навсегда — сжигает весь наличный запас чувств. Не более полугода длится у Марии Стюарт белый накал экстаза. Но за столь короткий срок душа ее в своем неустанном порывании и напряжении проходит через такие огненные бури, что становится лишь тенью этого безмерного сияния. Как иные поэты (Рембо), иные музыканты (Масканыи) исчерпывают себя в одном гениальном творении и понижают, бессильные, ошеломленные, так иные женщины в едином взрыве страсти расточают весь свой любовный потенциал, вместо того, чтобы, как свойственно более уравновешенным, обывательским натурам, растянуть его на годы и годы. Словно в вытяжке, вкушают они любовь целой жизни; безоглядно бросаются такие женщины — эти гении саморасточительства — в пучину страсти, откуда нет спасения, нет возврата. Для такой любви — а ее поистине можно назвать героической, поскольку она презирает страх и смерть, — Мария Стюарт может слу-

жить истинным образцом, она, изведавшая одну только страсть, но исчерпавшая ее до конца — до саморастворения и саморазрушения.

С первого взгляда может показаться странным, что стихийная страсть, внушенная Марии Стюарт Босуэлом, следует чуть ли не по пятам за ее увлечением Генри Дарнлеем. А между тем ничто не может быть естественнее и закономернее. Как всякое великое искусство, любовь требует изучения, испытания и проверки. Всегда или почти всегда, как мы это видим и в искусстве, первый опыт далек от совершенства; непреходящий закон науки о душе гласит, что большая страсть почти неизменно предполагает малую в качестве предшествующей ступеньки. Гениальный сердцевед Шекспир блистательно раскрыл это в своих творениях. Быть может, самый мастерский мотив его бессмертной трагедии любви состоит в том, что начинается она не внезапным пробуждением чувства у Ромео к Джульетте (как начал бы менее талантливый художник и психолог), а с его будто бы не идущей к делу влюбленности в некую Розалинду. Заблуждение сердца здесь нарочито предпослано жгучей правде, как некое предстояние, как полусознательное ученичество на пути к высокому мастерству; Шекспир на этом ярком примере показывает, что нет познания без его предвосхищения, нет страсти без предвкушения страсти и что прежде, чем вознести свое сияние в бесконечность, чувство должно было уже однажды воспламениться и вспыхнуть. Только потому, что все в душе у Ромео напряжено до крайности, что его сильная и страстная натура настроена на страсть, дремлющая воля к любви — сначала беспомощно и слепо — хватается за первый попавшийся повод, за случайно подвернувшуюся Розалинду, чтобы потом, когда он прозреет глазами и душой, сменить полую любовь на любовь полную, Розалинду на Джульетту. Так и Мария Стюарт еще незрячею душой устремлена к Дарнлею, потому что, молодой и красивый, он попался ей в нужную минуту. Но вялое его дыхание бессильно раздуть жар в ее крови. Этим слабым искоркам не дано вымахнуть в небо экстаза, ни выгореть, ни даже вспыхнуть ярко. Они лишь тлеют под пеплом и дымом, воз-

буждая чувства и обманывая душу,— мучительное состояние подспудного горения при заглушенном огне. Когда же появился настоящий объект, тот, кому предстояло избавить ее от этой пытки, кто дал воздух и пищу полужадушенному огню, багряный сноп взвился ввысь так, что небу стало жарко. Как сердечная склонность к Розалинде бесследно растворяется в подлинной страсти Ромео к Джульетте, так и чувственное увлечение Дарнлеем сменяется у Марии Стюарт пламенной, всеокрушающей любовью к Босуэлу. Ибо смысл и назначение всякой последующей любви в том, что она питается и усиливается своими предшественницами. Все то, что человек лишь предугадывал в любви, становится действительностью в настоящей страсти.

Историю любви Марии Стюарт к Босуэлу раскрывают нам источники двоякого рода: во-первых, записки современников, хроники и официальные документы; во-вторых, серия дошедших до нас писем и стихов, по преданию, написанных самой королевой; и то и другое, как отклики внешнего мира, так и исповедь души, сходитя точь-в-точь. И все же те, кто считает, будто память Марии Стюарт во имя последующих соображений морали надо всячески защищать от обвинений в страсти, от которой сама она, к стати, никогда не отпиралась, отказываются признать подлинность писем и стихов. Они начисто перечеркивают их, как якобы подложные, отрицая за ними всякое историческое значение. С точки зрения процессуального права, у них есть для этого основание. Дело в том, что письма и сонеты Марии Стюарт дошли до нас только в переводах, с возможными искажениями. Подлинники исчезли, и нет никакой надежды когда-нибудь их найти, так как автографы, иначе говоря, конечное, неопровержимое доказательство, были в свое время уничтожены, и даже известно кем. Едва взойдя на престол, Иаков I предал огню все эти бумаги, порочащие с обывательской точки зрения женскую честь его матери. С той поры насчет подлинности так называемых «писем из ларца» идет ожесточенный спор, в полной мере отражающий ту предвзятость суждений, которою отчасти из религиозных, отчасти из националистических побуж-

дений проникнута вся известная нам литература о Марии Стюарт; непредвзятому биографу тем более важно взвесить все доводы и контрдоводы в этом споре. Однако его заключения осуждены оставаться личными, субъективными, так как единственное научно и юридически правомочное доказательство, заключающееся в предъявлении автографов, отсутствует и о подлинности писем, как в положительном, так и в отрицательном смысле, можно говорить лишь на основании логических и психологических домыслов.

И все же тот, кто захочет составить себе верное представление о Марии Стюарт, а также заглянуть в ее внутренний мир, должен решить для себя, считает он эти стихи, эти письма подлинными или не считает. Он не может с равнодушным «*forse che si, forse che no*», с трусливым «либо да, либо нет» пройти мимо, ибо здесь — основной узел, определяющий всю линию душевного развития; с полной ответственностью должен он взвесить все «за» и «против» и уж если решит в пользу подлинности стихов и станет опираться на их свидетельство, то свое убеждение он обязан открыто и ясно обосновать.

«Письмами из ларца» называются эти письма и сонеты потому, что после поспешного бегства Босуэла они были найдены в запертом серебряном ларце. Что ларец этот, полученный в дар от Франциска II, первого ее мужа, Мария Стюарт отдала Босуэлу, как и многое другое, — факт установленный, равно как и то, что Босуэл прятал в этом надежно запирающемся сейфе все свои секретные бумаги: в первую очередь, разумеется, письма Марии Стюарт. Точно так же несомненно, что послания Марии Стюарт к возлюбленному были неосторожного и компрометирующего свойства, ибо, во-первых, Мария Стюарт была всю свою жизнь отважной женщиной, склонной к безоглядным, опрометчивым поступкам, и никогда не умела скрывать свои чувства. Во-вторых, противники ее не радовались бы так безмерно своей находке, если бы письма в известной мере не порочили и не позорили королеву. Но сторонники гипотезы о фальсификации уже всерьез и не оспаривают факта существования писем и только утверждают, будто в короткий срок между коллективным их прочтением лор-

дами и предъявлением парламенту оригиналы были похищены и заменены злонамеренными подделками и что, следовательно, опубликованные письма не имеют ничего общего с теми, что были найдены в запечатом ларце.

Но тут возникает вопрос: кто из современников Марии Стюарт выдвигал это обвинение? Ответ звучит не в пользу обвинения: да, собственно, никто. Как только ларец попал в руки к Мортону, его на другой же день вскрыли лорды и клятвенно засвидетельствовали, что письма подлинные, после чего тексты снова рассматривались членами собравшегося парламента (в том числе и ближайшими друзьями Марии Стюарт) и также не вызвали сомнений; в третий и четвертый раз они были предъявлены в Йоркском и Хэмптонском судах, где их сравнили с другими автографами Марии Стюарт и спять признали подлинными. Однако самым веским аргументом служит здесь то, что Елизавета разослала отпечатанные оттиски всем иностранным дворам — как ни мало она стеснялась в средствах для достижения своих целей, а все же не стала бы английская королева покрывать заведомую и наглую подделку, которую любой участник подлога мог бы разоблачить; Елизавета была чересчур осторожным политиком, чтобы позволить поймать себя на мелком мошенничестве. Единственное же лицо, которое, спасая свою честь, должно было бы воззвать ко всему миру, прося защиты ввиду столь явного обмана, — сама Мария Стюарт, лицо наиболее заинтересованное и якобы невинно страдающее, если и протестовала, то очень, очень робко и, на удивление, неубедительно. Сначала она окольными путями хлопочет, чтобы письма не были предъявлены в Йорке — хотя, кажется, почему бы и нет, ведь доказательство их подделки только укрепило бы ее позицию, а когда она в конце концов поручает своим представителям в суде отрицать *en bloc*<sup>1</sup> все предъявленные ей обвинения, то это мало о чем говорит: в вопросах политики Мария Стюарт не придерживалась правды, требуя, чтобы с ее *parol de prince*<sup>2</sup> считались больше, чем с любыми доказательствами. Но, даже когда

---

<sup>1</sup> Огулом (франц.).

<sup>2</sup> Слово государя (франц.).

письма были обнаружены в пасквиле Бьюкенена и хула была рассеяна по свету, когда ею упивались при всех королевских дворах, Мария Стюарт протестует весьма умеренно; она не жалуется, что письма подделаны и только весьма общо отзывается о Бьюкенене как об «окаянном безбожнике». Ни единым словом не обмолвилась она о подлоге в своих письмах к папе, французскому королю и даже к ближайшим родным, да и французский двор, чуть ли не с первой минуты располагавший оттисками писем и стихов, ни разу по поводу этого сенсационного дела не высказался в пользу Марии Стюарт. Итак, никто из современников ни на миг не усомнился в подлинности писем, никто из друзей королевы того времени не поднял голоса против такой возмутительной несправедливости, как заведомый подлог. И лишь сто, лишь двести лет спустя после того, как подлинники были уничтожены сыном, прокладывает себе дорожку гипотеза о фальсификации, как результат стараний представить смелую, неукротимую женщину невинной и непорочной жертвой подлого заговора.

Итак, отношение современников, иначе говоря, довод исторический безусловно говорит за подлинность писем, но о том же и столь же ясно, на мой взгляд, свидетельствуют доводы филологический и психологический. Обращаясь сначала к стихам, — кто в тогдашней Шотландии мог бы в столь короткий срок и к тому же на чужом, французском языке, настроить целый цикл сонетов, представляющих интимнейшее знание сугубо частных событий из жизни Марии Стюарт? Правда, истории известно немало случаев подделки документов и писем, да и в литературе время от времени появлялись загадочные апокрифические сочинения, но в таких случаях, как Макферсоновы «Песни Оссиана» или «Краледворская рукопись», мы встречаемся с филологическими реконструкциями далекой старины. Никто еще не пытался приписать целый цикл стихотворений живому современнику. Да и трудно себе представить, чтобы шотландские сельские дворяне, и слыхом не слыхавшие ни о какой поэзии, злонамеренно, с целью оклеветать свою королеву накропали наспех одиннадцать сонетов да еще на французском языке. Так кто же был тот неведомый волшебник — кстати, ни один из паладинов Марии Стюарт

не ответил на этот вопрос, — который на чуждом ему языке с непогрешимым чувством формы сочинил за королеву цикл сонетов, где каждое слово и каждое чувство созвучно тому, что происходило в ее святая святых? Никакой Ронсар, никакой Дю Белле не могли бы сделать этого так быстро и с такой человеческой правдивостью, не говоря уж о Мортонгах, Аргайлах, Гамильтонах и Гордонах, неплохо владевших мечом, но вряд ли достаточно знавших по-французски, чтобы кое-как поддерживать на этом языке застольную беседу.

Но если подлинность стихов бесспорна (а сегодня этого уже никто не отрицает), то бесспорна и подлинность писем. Вполне вероятно, что при обратном переводе на латинский и шотландский (только два письма сохранились на языке оригинала) отдельные места и подверглись искажению, не исключена возможность и последующих вставок. Но в целом те же доводы говорят о подлинности писем, а особенно последний аргумент — психологический. Ибо если бы некая злодейская камарилья захотела из мести сфабриковать пасквильные письма, она бы наверняка изготовила прямолинейные признания, рисующие Марию Стюарт в самом неприглядном свете, как похотливую, коварную, злобную фурию. Было бы совершеннейшим абсурдом, ставя себе злопыхательские цели, приписать Марии Стюарт дошедшие до нас письма, которые скорее оправдывают, чем обвиняют ее, ибо в них с потрясающей искренностью говорится о том, как ужасно для нее сознание своей роли пособницы и укрывательницы преступления. Эти письма говорят не о вожделениях страсти, это крик истрадавшей души, полужадушенные стоны человека, заживо горящего и сгорающего на костре. И то, что они звучат так безыскусно, набросаны в таком смятении мыслей и чувств, с такой лихорадочной поспешностью — рукой, трясущейся — вы это чувствуете — от еле сдерживаемого волнения, как раз это и свидетельствует о душевной растерзанности, столь характерной для всех ее поступков этих дней; только гениальный сердцевед мог бы с таким совершенством сочинить психологическую подмалевку к общеизвестным обстоятельствам и фактам. Но Меррей, Мэйтленд и Бьюкенен, которым попеременно и наудачу присяжные защитники Марии Стюарт приписывают этот подлог, не

были ни Шекспирами, ни Бальзаками, ни Достоевскими, а всего лишь плюгавыми душонками, правда, гораздыми на мелкое мошенничество, но уж, конечно, неспособными создавать в стенах канцелярий такие потрясающие своей правдивостью признания, какими письма Марии Стюарт предстают всем векам и народам; тот гений, что будто бы изобрел эти письма, еще ждет своего изобретателя. А потому каждый непредубежденный судья может с чистой совестью считать Марию Стюарт, которую лишь безысходное горе и глубокое душевное смятение побуждали к стихотворству, единственно возможным автором пресловутых писем и стихов и достовернейшим свидетелем ее собственных горестных чувств и дум.

Одно из стихотворений выдает ее с головой: только оно и приоткрывает нам начало злополучной страсти. Только благодаря этим пламенным строкам известно, что, не постепенно нарастая и кристаллизуясь, созрела эта любовь, нет, она броском ринулась на беспечную женщину и навсегда ее поработила. Непосредственным поводом послужил грубый физиологический акт, внезапное нападение Босуэла, насилие или почти насилие. Подобно молнии, озаряют эти строчки сонета непроницаемую тьму:

Pour luy aussi j'ay jette mainte larme,  
Premier qu'il fust de ce corps possesseur,  
Duquel alors il n'avoit pas le coeur.

...я столько слез лила из-за него!  
Он первый мной владел, но взял он только тело,  
А сердце перед ним раскрыться не хотело.

И сразу же вырисовывается вся ситуация. Мария Стюарт эти последние недели все чаще бывала в обществе Босуэла: как первый ее советник и командующий войсками, он сопровождал королеву во время ее увеселительных прогулок из замка в замок. Но ни на минуту королева, сама устроившая счастье этого человека, выбравшая ему красавицу жену в высшем обществе и танцевавшая на его свадьбе, не подозревает в молодожене каких-либо поползновений на свой счет; благодаря этому браку она чувствует себя вдвойне непри-

косновенной, вдвойне застрахованной от всяких посягательств со стороны верного вассала. Она без опаски с ним путешествует, проводит в его обществе много времени. И, как всегда, эта опрометчивая доверчивость, эта уверенность в себе — драгоценная, в сущности, черта — становится для нее роковой. Должно быть — это словно видишь воочию — она иной раз позволяет себе с ним некоторую вольность обращения, ту кокетливую короткость, которая уже сыграла пагубную роль в судьбе Шателера и Риччо. Она, возможно, подолгу сидит с ним с глазу на глаз в четырех стенах, беседует интимнее, чем дозволяет осторожность, шутит, играет, забавляется. Но Босуэл не Шателер, романтический трубадур, аккомпанирующий себе на лютне, и не льстивый выскочка Риччо. Босуэл — мужчина, человек грубых страстей и железной мускулатуры, властных инстинктов и внезапных побуждений, его смелость не знает границ. Такого человека нельзя легкомысленно дразнить и вызывать на фамильярность. Он, не задумываясь, переходит к действиям, с налета хватая женщину, уже давно находящуюся в неуравновешенном, возбужденном состоянии, женщину, чьи чувства были разбужены первой, наивной влюбленностью, но так и остались неудовлетворенными. «Il se fait de ce corps possesseur», он нападает на нее врасплох или овладевает ею силою. (Как определить разницу в минуты, когда попытка самозащиты и желание мешаются в каком-то опьянении чувств?) Похоже, что и для Босуэла это нападение не было чем-то предумышленным, не увенчанием давно сдерживаемой страсти, а импульсивным удовлетворением похоти, в которой нет ничего душевного, — чисто плотским, чисто физическим актом насилия.

Однако на Марию Стюарт это нападение оказывает молниеносное, ошеломляющее действие. Что-то новое, неизведанное бурей врывается в ее спокойную жизнь: не только телом ее овладел Босуэл, но и чувствами. В обоих своих супругах, пятнадцатилетнем отроке Франциске II и безбородом Дарнлее, она встретилась с еще не созревшей мужественностью — то были неженки, маменькины сынки. Ей уже казалось, что иначе и быть не может: всегда она должна дарить, великодушно расточать счастье; оставаясь госпожой и повелительницей даже в самой интимной сфере, никогда она еще не бывала в

положении более слабого существа, которое увлекают, похищают, берут силою. В этих же насильственных объятиях она внезапно — и все ее существо оглушено этой неожиданностью — встретила настоящего мужчину, наконец-то такого мужчину, который смёл, развеял по ветру все ее женские доблести: стыд, гордость, уверенность в себе, — человека, который в ней самой открыл ей новый, еще неизвестный, вулканический мир страсти и наслаждения. Она еще не учуяла опасности, она еще не успела дать отпор, как уже покорена, целомудренный сосуд разбит, и всепожирающий, палящий вихрь вырвался наружу. Должно быть, первым ее чувством был только гнев, только возмущение, только яростная, смертельная ненависть к любострастному убийце ее женской гордости. Но таков неисповедимый закон природы, что полярные ощущения где-то на высшем пределе сходятся. Как кожа не отличает сильного жара от сильного холода, как мороз обжигает щеки огнем, так и противоречивые чувства иногда сливаются воедино. В одну секунду ненависть в душе женщины может скачком перейти в любовь, а оскорбленная гордость — в безудержное смирение, и тело ее способно с неистовой алчностью призывать того, кого оно еще за секунду с неистовым отвержением отвергало. С этого часа разумная, в сущности, женщина объята пламенем, она горит и сгорает на невидимом огне. Все устои, на которых до сих пор зиждилась ее жизнь, — честь, достоинство, порядочность, гордость, уверенность в себе и разум — рушатся: сбита однажды с ног, грубо поваленная, она хочет падать все ниже и ниже, хочет низвергнуться в бездну, затеряться в ней. Новое, внезапно налетевшее сладострастие заполонило ее, и она пьет его, пьет жадно, в каком-то опьянении чувств; смиренно целует она руку человека, растоптавшего венец ее женственности, но зато научившего ее новому восторгу — саморастворения в другом существе.

Эта новая, беспредельная страсть несоизмерима с ее прежней влюбленностью в Дарнлея. Тогда она впервые открыла для себя чувство самозабвенной жертвенности и только испробовала его — теперь она полностью живет им; с Дарнлеем ей хотелось всем делиться — короной, могуществом, жизнью. Для Босуэла же она не может ограничиться отдельными дарами, — все, все жаждет она

ему отдать, чем только владеет на земле, самой стать нищей, чтобы сделать его богатым, с упоением принизить себя, чтобы его возвысить. В каком-то непонятном экстазе отбрасывает она все, что стесняет и связывает ее, лишь бы удержать и не отпускать его, единственного. Она знает: друзья от нее отвернутся, весь мир ее покинет и станет презирать, но именно это наполняет ее новой гордостью взамен старой, растоптанной; вдохновенно возвещает она:

Pour luy depuis j'ay mesprise l'honneur,  
Ce qui nous peust seul pourvoir de bonheur.  
Pour luy j'ay hazarde grandeur & conscience,  
Pour luy tous mes parens j'ay quitte & amis,  
Et tous autres respectz sont a part mis.

Pour luy tous mes amis, j'estime moins que rien,  
Et de mes ennemis je veux esperer bien.  
J'ay hazardé pour luy nom & conscience,  
Je veux pour luy au monde renoncer,  
Je veux mourir pour le faire avancer,

Я для него забыла честь мою —  
Единственное счастье нашей жизни,  
Ему я власть и совесть отдаю,  
Я для него отринула семью,  
Презренной стала в собственной отчизне.

Я для него отвергла всех друзей,  
Прошу поддержки вражеского стана,  
Пожертвовала совестью своей,  
Презрела гордость имени и сана  
И, чтобы он возвысился, умру...

Отныне ничего больше для себя, все только для него, кому она впервые отдала себя без остатка.

Pour luy je veux rechercher la grandeur,  
Et feray tant que de vray congnoistra  
Que je n'ay bien, heur, ne contentement,  
Qu'a l'obeir & servir loyaument.

Pour luy j'attendz toute bonne fortune,  
Pour luy je veux garder sante & vie,  
Pour luy tout vertu de sulvre j'ay envie,  
Et sans changer me trouvera tout' une.

Лишь для него и трон мой и венец!  
И, может быть, поймет он наконец,  
Что я однс преследую упорно:  
Жить для него, служить ему лскорно.

Лишь для него все блага обрести.  
Стремиться к долголетию, к здоровью  
И для него с незыблемой любовью  
К вершинам добродетели идти!

Все, чем она владеет, всю себя — свою корону, свое достоинство, свое тело, свою душу — швыряет она в бездну страсти и в глубине своего падения наслаждается при избытком своей любви.

Такое бешеное напряжение и перенапряжение всех чувств в корне преобразует душу. Неведомые и невиданные силы исторгает безмерная страсть у беспечной и дотоле сдержанной женщины. Удесятеренной жизнью живет в эти недели ее тело, ее душа, наружу пробиваются способности и дарования, которых она не знала раньше и не будет знать потом. В эти недели Мария Стюарт способна, восемнадцать часов проскакав на коне, всю ночь бодрствовать и неумоимо писать письма. Она, до сих пор сочинявшая разве лишь короткие эпиграммы да незначительные стишки на случай, в порыве пламенного вдохновения пишет те одиннадцать сонетов, где изливает свои страдания и свою страсть с неведомой ей дотоле — да и впоследствии — силою красноречия. Всегда беспечная и неосторожная, она так мастерски притворяется, что в течение долгих месяцев никто не замечает ее изменившихся отношений с Босуэлом. В присутствии других у нее хватает духу повелительно и холодно, как с подчиненным, разговаривать с человеком, от чьего прикосновения ее бросает в дрожь, или же казаться веселой и беспечной, в то время как нервы ее напряжены до крайности, а душа исходит слезами и отчаянием. В ней вдруг как бы пробудилось некое демоническое «сверх-я», и оно увлекает ее за собой, заставляя превзойти себя, превысить свои возможности и силы.

Однако за эти порывы чувства, насильно исторгнутые у воли, приходится платить периодами тяжелого душевного упадка. И тогда она целыми днями в изнеможении валяется в постели, часами блуждает по комнате в каком-то бесчувственном забытии, рыдая, взывает простертая на своем ложе: «Хоть бы мне умереть!» — требуя, чтобы ей дали кинжал — она хочет лишиться себя жизни. Как эта сила таинственно снизошла на нее,

так временами она бесследно ее покидает. Ибо плоть не в состоянии долго переносить такое яростное перенапряжение всех своих ресурсов, такое иступленное стремление подняться над собой; она бунтует, восстает, каждый нерв горит огнем и трепещет. Как ее организм потрясен безмерной экзальтацией страсти, ярко показывает знаменитый джедборосский эпизод. Седьмого октября Босуэл был тяжело ранен в схватке с контрабандистом. Эта весть застает Марию Стюарт в Джедборо, где она присутствует на сессии суда. Чтобы не привлечь внимания, она не позволяет себе в ту же минуту вскочить в седло и вихрем понестись за двадцать пять миль от Джедборо в замок Эрмитаж. Но, видимо, недобрая весть совершенно ее перевернула; находившийся при ней сторонний наблюдатель, посланник Дю Крок, в то время и не подозревавший о ее близких отношениях с Босуэлом, сообщает в Париж: «*Se ne luy eust esté peu de perte de le perdre*»<sup>1</sup>. Да и от Мэйтленда не укрылась необычайная рассеянность и озабоченность королевы, и, не зная настоящей причины, он высказывает предположение, что «эти мрачные настроения, эти тяжелые мысли у нее из-за неладов с королем». Лишь два-три дня спустя королева в сопровождении Меррея и других приближенных скачет во весь опор проведать Босуэла. Два часа проводит она у постели раненого, а потом так же бешено мчится назад, словно желая яростной скачкой подавить мучительную тревогу. Но подорванный жгучей страстью организм внезапно сдает. Едва ее снимают с седла, она падает замертво и два часа лежит в беспамятстве. Вечером у нее открылась горячка, типичная нервная горячка, она мечется в бреду. И вдруг члены ее цепенеют, она ничего не чувствует, никого не узнает; в растерянности окружили приближенные во главе с врачом свою королеву, заболевшую столь загадочной болезнью. Во все концы мчатся нарочные за королем, а также за епископом, чтобы королева не отошла без соборования. Восемь дней витала она между жизнью и смертью. Можно подумать, что скрытое желание уйти из жизни, налетевшее ураганом, истощило ее нервы, исчерпало силы. А все же — и это с клиниче-

---

<sup>1</sup> «Для нее, видно, немалая потеря потерять его» (франц.).

ской достоверностью показывает, что болезнь была скорее душевная, что это был типичный случай истерии, — как только на крестьянском возу привезли выздоравливающего Босуэла, королева ожила, и — новое чудо! — спустя две недели восставшая покойница уже опять сидит в седле. Ибо опасность возникла в ней самой, и она справилась с ней собственными силами.

Но и окрепнув физически, Мария Стюарт никак не придет в себя, все ближайшие недели она подавлена, угнетена. Даже посторонние замечают, что королева «на себя не похожа». Что-то в ее чертах, во всем ее существе сникло, привычной беспечности и уверенности как не бывало. Она ходит, живет, действует, как человек, на которого свалились тяжкие невзгоды. Она запирается у себя, и прислужницы слышат за дверью, как она стонет и рыдает. Всегда откровенная и общительная, она никому не доверяет свое горе. Уста ее скованы молчанием, и никто не подозревает страшной тайны, которая преследует ее днем и ночью и гнетет душу.

Ибо есть нечто грозное в этой страсти, от чего веет одновременно жутью и величием, нечто невыразимо грозное: королева с первой же минуты знает, что любовь ее преступна и обречена на безысходность. Ужасным было, верно, уже пробуждение после первого объятия — поистине тристановское мгновение. — когда отравленная любовным питьем королева приходит в себя и оба вспоминают, что они не одни в беспредельности своего счастья, что их держит в плену этот мир, долг и закон. Ужасное пробуждение, когда она наконец очнулась, и громом поражает ее мысль о том, в какое безумие они впали. Ибо она, отдавшая ему себя, принадлежит другому, и он, отдавший ей себя, принадлежит другой. Прелюбодеяние, двойное прелюбодеяние — вот куда увлекло их неистовство чувств, а ведь совсем недавно, две три недели или месяц назад, Мария Стюарт как шотландская королева торжественно подписала и издала указ о том, что нарушение супружеской верности, как и всякое другое оскорбление нравственности, карается смертью. С первой же минуты эта страсть заклеймена как преступная, и утверждать себя и развиваться она

может лишь за счет все новых и новых преступлений. Чтобы соединиться навек, оба они должны сперва насильственно избавиться — она от мужа, он от жены. Только ядовитые плоды может принести эта греховная страсть, и Мария Стюарт с первого же часа с непреложной ясностью отдает себе отчет в том, что отныне ей нет покоя и спасения. Но именно в такие трудные минуты просыпается у Марии Стюарт мужество отчаяния, и она готова бросить вызов судьбе — вопреки всякой надежде и смыслу готова спасать то, что непоправимо обречено. Не станет она трусливо отступать, прятаться и укрываться, нет, с гордо поднятой головой пройдет она до конца путь, ведущий в бездну. Пусть все потеряно — среди тяжчайших испытаний находит она счастье в том, что ради него принесла все эти жертвы.

Entre ses mains, & en son plain pouïvoir,  
Je mets mon fils, mon honneur, & ma vie,  
Mon pais, mes subjects, mon ame assubjettie  
Est tout à luy, & n'ay autre vouloir  
Pour mon objet, que sans le decevoir  
Suivre je veux, malgré toute l'envie  
Qu'issir en peut.

Ему во власть я сына отдаю,  
И честь, и совесть, и страну мою,  
И подданных, и трон, и жизнь, и душу.  
Все для него! И мысли нет иной,  
Как быть его женой, его рабой,  
Я верности до гроба не нарушу!  
С ним каждое мгновенье, каждый час,  
А там — пусть зависть осуждает нас!

Что бы потом ни было, она отважится на этот путь в безнадежность. После того как она всем — телом, душой, всей своей жизнью — пожертвовала ради него, несказанно любимого, эта иступленная любовница боится лишь одного на свете — потерять его.

Но самое ужасное в этом ужасе, самое мучительное в этой муке ей еще только предстоит. При всем своем ослеплении Мария Стюарт достаточно проныцательна — скоро она увидит, что и на этот раз попусту себя расточает: человек, к которому устремлены ее чувства, в сущ-

ности, ее не любит. Босуэл овладел ею, как это не раз с ним бывало, в пылу животной страсти, необдуманно, жестоко. И так же равнодушно готов он ее покинуть, едва чувства его остыли. Для него это лишь жаркий миг обладания, мимолетное приключение, и несчастной скоро приходится сказать себе, что господин ее мыслей и чувств не очень-то ее почитает:

Vous m'estimez legiere, que je voy,  
Et si n'avez en moy nulle assurance,  
Et soupconnez mon cœur sans apparence,  
Vous meffiant a trop grand tort de moy.  
Vous ignorez l'amour que je vous porte.  
Vous soupconnez qu'autre amour me transporte.  
Vous despeignez de cire mon las cœur.  
Vous me pensez femme sans jugement;  
Et tout cela augmente mon ardeur.

Вы верите наветам злой молвы,  
Вам кажется, что я пуста и лжива,  
Мою любовь — о, как несправедливо! —  
Готовы счесть игрой нечестной вы.  
И, моего не уважая слова,  
Решили вы, что я люблю другого,  
Что я коварство низкое таю,  
Что нравственных устоев не имею, —  
Но и самой враждебностью своею  
Вы жажду распалете мою.

И вместо того, чтобы гордо отвернуться от неблагодарного, вместо того, чтобы взять себя в руки, обуздать, опьяненная страстью женщина бросается на колени перед равнодушным любовником, стараясь удержать его. Ее бывшее высокомерие словно каким-то чудом превращается в неистовое самоунижение. Она молит, клянчит и тут же превозносит себя, выхваляет, как товар, накучившему ею любовнику. Утратив чувство собственного достоинства, готовая на последнее унижение, она, гордая царица, словно торговка на рынке, высчитывает ему, чем только она для него не пожертвовала, и настойчиво, чуть ли не назойливо, уверяет в своем рабском смирении.

Car c'est le seul desir de vostre chere amie,  
De vous servir, & loyaument aimer,  
Et tous malheus moins que rien estimer,  
Et vostre volonte de la mienne suivre  
Vous cognoistrez aveques obeissance,  
De mon loyal devoir n'obmettant la science,  
A quoy j'estudiray pour tousjours vous complaire.

Sans aimer rien que vous, sous la subjection  
De qui je veux sans nulle fiction,  
Vivre & mourir.

Единственная цель подруги вашей —  
Служить вам, угождать и подчиняться,  
Вас обожать, пред вами преклоняться  
И, презирая все несчастья впредь,  
Свой видеть высший долг в повиновенье,  
Чтобы отдать вам каждое мгновенье,  
Под вашей властью жить и умереть.

С дрожью ужаса и сострадания наблюдаем мы, как эта прямая и смелая женщина, никогда не отступавшая ни перед какой земной опасностью, ни перед каким земным властителем, утратив бывшее достоинство, унижается до постыдных уловок завистливой и злобной ревности. По каким-то признакам Мария Стюарт, верно, заметила, что Босуэл куда более предан молодой жене, которую королева сама для него избрала, и что он отнюдь не собирается ее покинуть ради своей новой возлюбленной. И она силится — не правда ли, ужасно, что именно большое чувство способно так умалить женщину, — очернить его супругу, не останавливаясь перед самой низкой и бесчестной, перед самой злобной клеветой. Играя на мужском тщеславии Босуэла, она напоминает ему (очевидно, исходя из его интимных признаний), что жена недостаточно отзывается на его ласки, что вместо того, чтобы отвечать со всем пылом страсти, она лишь нехотя ему уступает. В прошлом сама сдержанность и высокомерие, она с жалким самохвальством перечисляет, на какие жертвы, на какое самозаклание во имя любви приходится идти ей, нарушительнице супружеской верности, тогда как его жена пользуется всеми благами и преимуществами его высокого положения. Так нет же, пусть останется с ней, пусть принадлежит ей одной и не поддается на обманчивые письма, слезы и заверения этой «лжесупруги»!

Et maintenant elle commence à voir,  
Qu'elle estoit bien de mauvais jugement,  
De n'estimer l'amour d'un tel amant,  
Et voudroit bien mon amy decevoir,  
Par les escrits tous fardez de scavoir...  
Et toutes fois ses paroles fardeez,  
Ses pleurs, ses plaincts remplis de fictions,

Et ses hautz cris & lamentations  
Ont tant gaigné, que par vous sont gardez  
Ses lettres, escrites, ausquels vous donnez foy,  
Et si l'aimez, & croiez plus que moy.

Она лишь поняла (даю вам слово!),  
Что надо быть бездушной и слепой,  
Чтоб не ценить любовника такого,  
И хочет лицемерною мольбой  
Вас обмануть, мой друг, опутать снова...  
Но ложью слез, наигранной тоски,  
Упреков, просьб, рассчитанных умело,  
Она вас так заворожить сумела,  
Что мертвые фальшивые листки  
Читаете вы, бережно храните,  
А мне, живой, и верить не хотите!

Все большим отчаянием звучат ее вопли. Неужели он ее, единственно достойную, может сменять на недостойную? Пусть прогонит ту и соединится с ней, ведь она готова бороться за него не на жизнь, а на смерть. Пусть требует от нее, молит она на коленях, всего, что только хочет, любого доказательства ее верности и нерушимой преданности, она все ради него кинет: дом, семью, корону, все свое достояние, свою честь и сына. Пусть все отнимет, лишь бы не отталкивал ее, все отдавшую ему, единственно любимому.

И тут впервые приоткрывается глубина всей этой трагической ситуации. Благодаря чрезмерности признаний Марии Стюарт на сцену проливается яркий свет. Босуэл лишь случайно увлекся ею, как и многими другими женщинами, и этим, собственно, для него эпизод исчерпан. Однако Мария Стюарт, предавшаяся ему всей душой и всеми чувствами, вся огонь и экстаз, стремится удержать его, удержать навсегда. Но сама по себе любовная связь нисколько не привлекает счастливого в семейной жизни, честолюбивого человека. В лучшем случае ради тех преимуществ и выгод, какие дает ему любовь женщины, держащей в своих руках все почести и милости шотландской короны, Босуэл тянул бы еще какое-то время, он терпел бы Марию Стюарт в качестве наложницы рядом с женой. Но этого недостаточно королеве с душою королевы, недостаточно женщине, которая не хочет делиться, которая в своей неистовой стра-

сти хочет одного — владеть им всецело. Но как им завладеть? Как привязать навек своевольного, необузданного искателя приключений? Клятвы в безграничной верности и покорности лишь наскучат такому мужчине, он немало слышал их от других женщин. Нет, одна только приманка может увлечь ненасытного честолюбца, единственный приз, ради которого грешили и блудили столь многие, — корона. Как бы мало Босуэл ни стремился сохранить отношения с женщиной, к которой он, в сущности, равнодушен, великий соблазн исходит от мысли, что эта женщина — королева и что она может сделать его королем Шотландии.

Правда, мысль эта на первый взгляд кажется безрассудной. Ведь жив законный супруг Марии Стюарт — Генри Дарнлей, и ни о каком другом короле не может быть и речи. А все же эта безрассудная мысль, и только она, отныне приковывает Босуэла к Марии Стюарт нерасторжимой цепью, ибо нет у несчастной другой приманки, которая могла бы удержать этого неукротимого человека. Ничто не заставит вольного, независимого кондотьера продаться своей рабыне и терпеть ее любовь, как только корона. И нет такой цены, какой эта опьяненная женщина, давно забывшая честь, порядочность, достоинство, закон, не была бы готова уплатить за его любовь. И если придется добыть корону для Босуэла ценой преступления, она, ослепленная страстью, не отступит и перед преступлением.

Ибо так же, как Макбет, выполняя демоническое предсказание ведьм, не может стать королем иначе, как ценою крови, ценою полного уничтожения целого королевского рода, так и Босуэлу прегражден честный, законный путь к шотландскому престолу. Дорога к нему ведет через труп Дарнлея. Для того, чтобы кровь соединилась с кровью, должна неизбежно пролиться кровь.

В том, что Мария Стюарт не станет серьезно противиться, когда, освободив ее от Дарнлея, он потребует у нее руки и короны, Босуэл, разумеется, ни минуты не сомневался. И если бы даже ясно сформулированное письменное обязательство, якобы найденное в пресловутом серебряном ларце, обязательство, в коем она обе-

щает сочетаться с ним браком, «невзирая на любые препятствия, какие стали бы чинить ей родичи, а равно и другие лица», если бы даже оно было чистейшим мифом или фальшивкой, он и без ее обещания, скрепленного подписью и печатью, был бы уверен в ее покорности. Как часто жаловалась она ему — да и не только ему, — до чего тяжела ей мысль, что Дарнлей — ее супруг, как пылко (пожалуй, слишком пылко) уверяла в своих сонетах, а тем более, надо думать, с глазу на глаз, в часы любовных свиданий, сколь страстно она мечтает навек соединиться с ним, Босуэлом! Да, с этой стороны ему ничто не угрожало, он мог отважиться на любую крайность, на любое безрассудство.

Но Босуэл, разумеется, заручился и одобрением лордов, хотя бы молчаливым. Он знает, все они единодушны в своей ненависти к настырному, несносному мальчишке, их предавшему, и нельзя оказать им большей услуги, как любыми средствами и по возможности скорее убрать его из Шотландии. Босуэл и сам присутствовал на том знаменательном сборище в замке Крэгмиллер, на котором, при участии Марии Стюарт, игра, пусть и в завуалированной форме, велась на голову Дарнлея. Первые сановники страны — Меррей, Мэйтленд, Аргайл, Хантлей и Босуэл — сговорились предложить королеве своеобразную сделку: пусть вернет на родину опальных вельмож, убийц Риччо — Мортонна, Линдсея и Рутвена, а они берутся избавить ее от Дарнлея. Перед королевой речь идет сначала о легальном освобождении, под словами «to make her quit of him»<sup>1</sup> разумеется официальный развод. Однако Мария Стюарт ставит условием, чтобы расторжение брака было законным и вместе с тем не угрожало правам ее сына, на что Мэйтленд весьма загадочно отвечает: насчет того, как и что, пусть королева положится на них, они так поведут это дело, что сын ее не потерпит ни малейшего ущерба, и даже Меррей, уж на что он придира (scrupulous), на многое «закроет глаза» — ведь, как протестант, он проще смотрит на эти вещи.

Странное заявление, и именно таким оно кажется Марии Стюарт. Не надо делать ничего, возражает она Мэйт-

---

<sup>1</sup> Избавить от него (англ.).

ленду, что «легло бы бременем на ее честь и совесть». За этими темными речами сквозит — и уж от Босуэла это, во всяком случае, не укрылось — некий темный смысл. Ясно лишь одно, что уже тогда все они — Мария Стюарт, Меррей, Мэйтленд, Босуэл, — все главные актеры этой трагедии согласились в том, что Дарнлея надо устранить; неясным осталось только, как это сделать — добром, хитростью или силой.

Босуэл, самый нетерпеливый и отчаянный из вельмож, стоит за силу. Он не хочет и не может ждать, как другие, — ведь для него речь идет не только о том, чтоб убрать с глаз долой ненавистного мальчишку, а о том, чтобы унаследовать после него корону и власть. Пока другие только тянут и выжидают, он вынужден действовать, и действовать решительно; по-видимому, он благовременно нащупывает почву, подыскивая себе среди лордов помощников и пособников. Но здесь огни истории снова горят приглушенно, ведь преступление всегда готовится в темноте или в неверном, сумеречном свете. Никогда уже не станет известным, кого из лордов и скольких посвятил в свои планы Босуэл, а также чьей помощью или молчаливым согласием он и в самом деле заручился. Меррей, должно быть, знал, но от участия воздержался; Мэйтленд как будто отважился на большее. Положиться можно лишь на признание Мортонна, сделанное на смертном одре. Мортон как раз возвращался из изгнания, затаив смертельную ненависть к предателю Дарнлею, когда Босуэл, поскакавший ему навстречу, открыто, без околичностей предложил ему вместе с ним, Босуэлом, убить Дарнлея. Но Мортон с некоторых пор стал осторожен, у него еще свежо в памяти недавнее предприятие, когда соучастники оставили его одного и умыли руки. Он медлит с ответом и, требуя гарантий, спрашивает, согласна ли королева на убийство. Да, она согласна, не задумываясь, отвечает Босуэл, которому важно заручиться его поддержкой. Но, наученный горьким опытом, Мортон знает, как быстро *post festum*<sup>1</sup> забываются устные договоры, и прежде чем связать себя обещанием, требует письменного согласия королевы черным по белому. По доброму шотландско-

---

<sup>1</sup> После праздника (лат.)

му обычаю он хочет запастись «бондом», дабы в случае неприятностей ему было на что сослаться. Босуэл и это ему обещает. На самом деле ни о каком «бонде» не может быть и речи, возжеленная свадьба состоится лишь при условии, что королева останется в стороне и в критическую минуту события «застигнут ее врасплох».

Итак, Босуэлу не на кого опереться, задуманное дело падает на него, самого нетерпеливого, самого отчаянного, и у него, конечно, достанет решимости привести его в исполнение. Но уже та двусмысленная уклончивость, с какой выслушали его Мортон, Меррей и Мэйтленд, показала, что открыто противиться лорды не будут. Если они и не благословили его намерения тайным письмом, то поддержали сочувственным молчанием и дружеским невмешательством. А с того дня, как выясняется, что Мария Стюарт, Босуэл и лорды—все в этом вопросе мыслят одинаково, можно сказать, что дни Дарнлея сочтены.

Собственно, все уже готово. Босуэл призвал на помощь своих головорезов. О том, где и как произойдет убийство, договорились на секретных совещаниях. Но для жертвенного заклания не хватает главного—самой жертвы. Как Дарнлей ни наивен, а все же он учуял опасность. Уже за много недель до этого он отказался переступить порог Холируда, зная, что еще не разошлись собравшиеся там вооруженные лорды; но и в замке Стирлинг он больше не чувствует себя в безопасности, с тех пор как преданные им убийцы Риччо по знаменательной амнистии королевы снова вернулись в Шотландию. Непокоримо, не поддаваясь ни на какие приманки и посулы, засел он в Глазго. Там живет граф Леннокс, его отец, там все их друзья, это крепкий, надежный дом, а на случай, если враг вторгнется силой, в порту день и ночь стоит судно, в любую минуту готовое принять его на борт. А тут, словно чтобы охранить в опасную минуту, судьба посылает ему в первых числах января оспу—удобный предлог для того, чтобы еще много недель безвыездно просидеть в Глазго, в надежном убежище у самого моря.

Болезнь Дарнлея путает созревшие планы Босуэла, с нетерпением поджидающего свою жертву в Эдинбурге.

По каким-то причинам, о которых мы можем только гадать, Босуэл, видимо, не хотел терять время: то ли ему не терпелось поскорей добраться до престола; то ли он вполне основательно боялся опасных проволок, так как слишком много ненадежных людей знало о заговоре; то ли его интимные отношения с Марией Стюарт не остались без последствий—трудно сказать, во всяком случае, ждать он больше не намеревался. Но как заманить больного, заподозрившего недоброе юношу под топор? Как вытащить его из постели, из твердыни родительского дома? Официальное приглашение заставило бы Дарнлея насторожиться, а ведь ни Меррей, ни Мэйтленд, ни кто другой при дворе не настолько близок всем ненавистному всеми презируемому экс-королю, чтобы убедить его вернуться по доброй воле. И только одна-единственная сохранила над ним власть. Уже дважды заставляла она несчастного юношу, преданного ей раба, покориться. Только Мария Стюарт, она единственная, надев личину любви к тому, кто жаждет ее любви, может заманить притаившуюся жертву в расставленную ловушку. Из всех людей на свете ей одной дано совершить этот чудовищный обман. А так как и сама она больше себе не госпожа, а лишь послушная марионетка в руках тирана, то достаточно Босуэлу повелеть, и невероятное или, лучше сказать, то, чему наше чувство отказывается верить, свершилось: двадцать второго января Мария Стюарт, уже много недель избегавшая встречи с Дарнлеем, отправляется верхом в Глазго, будто бы для того, чтобы навестить больного супруга, на самом же деле чтобы по приказанию Босуэла заманить его домой, в город Эдинбург, где его ждет не дождется с отточенным кинжалом — смерть.

## ДОРОГА К УБИЙСТВУ

С 22 января по 9 февраля 1567 года



**И** вот начинается самая зловещая строфа баллады о Марии Стюарт. Поездка в Глазго, из которой она привезла еще больного супруга прямо в логово заговорщиков, — один из наиболее сомнительных ее поступков. Снова и снова напрашивается вопрос: была ли Мария Стюарт и вправду под стать древним Атридам — Клитемнестре, с лицемерной заботливостью готовящей вернувшемуся домой супругу Агамемнону теплую ванну, меж тем как ее возлюбленный убийца Эгисф затаился в тени с отточенным топором? Или же она сродни леди Макбет, кроткими и льстивыми словами провожающей ко сну короля Дункана, которого Макбет потом зарежет во сне, — одна из тех демонических преступниц, какими ве-

ликакая страсть порой делает самых отважных и любящих женщин? А может быть, правильнее мыслить ее безвольной рабой жестокого сутенера Босуэла, движущейся в каком-то трансе исполнительницей чужой непрекаемой воли, наивно послушной марионеткой и не подозревающей о страшных приготовлениях за ее спиной? Чувство отказывается верить такому злодейству, обвинить в сокрытии и соучастии женщину, которая до сих пор была преисполнена человечности. Вновь и вновь ищешь другого, более гуманного и незлобивого истолкования ее поездки в Глазго. Опять и опять откладываешь в сторону, как пристрастные, показания и документы, обличающие Марию Стюарт, и с чистосердечной готовностью и желанием дать себя убедить проверяешь те оправдательные доводы, которые ее защитникам удалось найти или изобрести. Увы, при всем желании отнестись к ним с доверием, эти адвокатские доводы никого убедить не могут: звено совершенного злодеяния без швов включается в цепь событий, в то время как домыслы защитников при ближайшем рассмотрении рассыпаются в руках трухой.

Ибо как предположить, что нежная забота погнала Марию Стюарт к постели больного Дарнлея и что она забрала его из безопасного убежища в надежде создать ему дома лучший уход? Ведь уже несколько месяцев супруги живут врозь, как чужие. Присутствие Дарнлея ей несносно; как ни молит он, чтобы Мария Стюарт делила с ним супружеское ложе, его законные права попираются. Испанский, английский и французский послы в своих донесениях давно говорят о наступившем охлаждении как о чем-то бесспорном и само собой разумеющемся. Лорды официально начали дело о разводе, а про себя помышляют и о менее безобидной развязке. Недавние любовники так равнодушны друг к другу, что, даже услышав, что Мария Стюарт заболела в Джедборо и находится при смерти, преданный супруг отнюдь не спешит проститься с той, которую уже готовят к принятию святых даров. С помощью самой сильной лупы не обнаружите вы в этом союзе и ниточки любви и атома нежности; а значит, предположение, будто горячая забота подвинула Марию Стюарт на эту поездку, отпадает как несостоятельное.

Однако — и это последний довод ее защитников à-tout-prix<sup>1</sup> — быть может, Мария Стюарт, отправляясь в Глазго, хотела покончить с злополучной ссорой? Разве не могла она ехать к больному искать примирения? К сожалению, и этот наипоследний благоприятный довод опровергается документом за собственноручной ее подписью. Всего за день до отъезда в Глазго в своем письме к архиепископу Битону — неосторожная и не думала, когда писала письма, что они будут свидетельствовать против нее, — Мария Стюарт дала волю своему гневу и раздражению против Дарнлея. «Что до короля, нашего супруга, то одному богу известно, как мы всегда к нему относились, но и богу и всему свету известны его происки и козни против нашей особы; все наши поданные были тому свидетелями, и я несколько не сомневаюсь, что в душе они осуждают его». Слышен ли здесь кроткий голос миролюбия? Это ли настроение преданной жены, которая в смятении и тревоге спешит к больному мужу? И второе неопровержимое обстоятельство, явно не говорящее в ее пользу, — Мария Стюарт предпринимает эту поездку не просто с тем, чтобы проведать Дарнлея и вернуться домой, а с твердым намерением тут же увести его в Эдинбург: опять чрезмерная забота, которой, пожалуй, не веришь. Ибо не противно ли всем законам медицины и здравого смысла вытащить оспенного больного, в горячке, с еще не опавшим лицом, из постели и везти его зимой, в январе, целых два дня в открытом экипаже, по лютому морозу. А ведь Мария Стюарт даже телегу прихватила с собой, чтобы Дарнлею некуда было податься, так не терпелось ей со всею поспешностью отвезти его в Эдинбург, где заговор против него был уже в полном ходу.

А может быть, Мария Стюарт — лучше лишний раз прислушаться к доводам ее защитников, шутка ли: несправедливо обвинить человека в убийстве! — может быть, она не знала о готовящемся покушении? Волею судеб и это сомнение отпадает благодаря дошедшему до нас письму Арчибалда Дугласа на имя Марии Стюарт. Один из главных заговорщиков, Арчибалд

---

<sup>1</sup> Во что бы то ни стало (франц.).

Дуглас, лично посетил королеву во время ее поездки в Глазго, чтобы добиться от нее открытого одобрения готовящегося заговору убийц. И хоть он не вырвал у нее ни согласия, ни каких-либо гарантий или обещаний, как могла супруга, узнав, что за крамола куется, утаить этот разговор от короля? Как было не предупредить Дарнлея? Более того, как можно было, убедившись в полной мере, что против него что-то затевается, настаивать на его возвращении в это осиное гнездо? В подобных случаях умолчание — больше, чем укрывательство, это — пассивное, скрытое пособничество, ибо тому, кто знает о готовящемся преступлении и не стремится его предотвратить, зачтется в вину самое его равнодушие. В лучшем случае о Марии Стюарт можно сказать, что она не знала о готовящемся преступлении потому, что не хотела знать, что она отворачивалась и закрывала глаза, дабы иметь возможность заявить под присягой: мое дело сторона.

Итак, чувство, что Мария Стюарт в какой-то мере виновна в устранении своего мужа, не покидает беспристрастного исследователя; известным оправданием ей могла бы послужить разве что поработенная воля, но никак не полное неведение. Ибо не с легкой душой выполняет свою миссию эта раба, не дерзко, не в трезвом рассудке и по собственной воле, а повинувшись чужой воле, чужому приказу. Не с холодным, коварным, циничным расчетом отправилась Мария Стюарт в Глазго, чтобы выманить Дарнлея из его убежища, — в решительную минуту, как свидетельствуют письма из ларца, ею овладели ужас и отвращение перед навязанной ей ролью. Разумеется, они с Босуэлом заранее обсудили, как забрать Дарнлея домой, но письмо с непреложной ясностью показывает, что стоило Марии Стюарт очутиться на расстоянии дня пути от ее господина и в какой-то мере избавиться от гипноза его присутствия, как в этой magna rescatrix<sup>1</sup> внезапно заговорила усыпленная совесть. Всегда бывает так, что человека, которого толкает на преступление таинственная сила, сразу же отличишь от

---

<sup>1</sup> Великой грешнице (лат.).

подлинного преступника — преступника из внутренних побуждений, преступление по злому и преднамеренному умыслу — от *crime passionel*<sup>1</sup>, и деяние Марии Стюарт, — быть может, один из самых ярких случаев преступления, совершенного не по личному почину, а под давлением чужой, более сильной воли. В ту минуту, когда Мария Стюарт должна уже привести в исполнение обужденный и принятый план, когда она оказывается лицом к лицу с жертвою, которую ей велено завлечь на бойню, в ней вдруг умолкает чувство ненависти и мести, и в душе ее исконно человеческое вступает в борьбу с бесчеловечностью приказа. Запоздалая и тщетная борьба! Ведь Мария Стюарт в этом злодеянии не только коварно подкрадывающийся охотник, но и затравленная дичь. Все время чувствует она за спиной бич, который безжалостно гонит ее вперед. Она трепещет перед гневом жестокого сутенера, зная, что он не простит ей, если она не приведет ему намеченной жертвы, но и трепещет потерять послушанием его любовь. И только то, что безвольная тяготится в душе своим злодейством, что беззащитная восстает против навязанного ей поручения, — только это позволяет если не простить ее поступок по справедливости, то хотя бы понять его по человечеству.

В этом, более простительном свете ужасное злодеяние предстает нам в знаменитом письме, которое она пишет любовнику из дома больного Дарнлея; близорукные защитники Марии Стюарт напрасно чураются этого письма, так как только оно проливает на ее омерзительный поступок умиротворяющий отблеск человечности. Письмо, словно пробойна в стене, приоткрывает нам страшные часы глазговской трагедии. Время за полночь, Мария Стюарт в ночном одеянии сидит у столика в чужой комнате. Ярко пылает огонь в камине, причудливые тени пляшут по высоким холодным стенам. Но пламя не согревает пустынной комнаты, не дает оно тепла и зябнущей душе. Снова и снова мелкая дрожь пробегает по спине полуодетой женщины: так холодно, и она устала, уснуть бы, но ей не спится, она слишком взволнована и возбуждена. Столько страшного и тяжелого пережила за последние недели, за последние часы, все нервы

---

<sup>1</sup> Преступление, совершенное в состоянии аффекта (франц.).

горят и трепещут до болезненно чувствительных кончиков. Содрогаюсь от ужаса перед тем, что ей предстоит, но безропотно послушная господину своей воли, духовная пленница Босуэла предприняла эту недобрую поездку, чтобы выманить своего супруга из верного убежища на еще более верную смерть. Немало трудностей встретилось ей. Уже перед городскими воротами остановил ее гонец Ленокса, отца Дарнлея. Старику подозрительно, что женщина, уже многие месяцы с лютой ненавистью избегающая его сына, вдруг заботливо спешит к ложу больного. Старые люди чувствуют приближение несчастья, а может быть, Ленокс вспомнил, что всякий раз, как Мария Стюарт искала расположения его сына, она таила в душе какую-то корыстную цель. С трудом отразив испытующие вопросы посланца, счастливо добирается она до постели больного, чтобы и здесь — неизбежное следствие двойной игры — наткнуться на недоверие. Зачем она привезла с собой телегу, первым делом допытывается Дарнлей, и в глазах его мнутся искорки тревоги. И ей приходится крепко зажать сердце в кулак, чтобы под градом его вопросов не выдать себя ни единой запинкой, не побледнеть и не покраснеть. Но страх перед Босуэлом научил ее притворству. Ласковыми руками и льстивыми речами убаюкивает она недоверие Дарнлея, постепенно, по ниточке выматывает у него последнюю волю и всучает взамен свою, сильнейшую. Уже к вечеру первого дня половина дела сделана.

И вот она сидит ночью одна, в полутемной комнате, пустой и холодной, свечи проливают призрачный свет, а кругом такая немая тишина, что слышно бормотание самых сокровенных ее мыслей и вздохи растоптанной совести. Нет ей ни сна, ни покоя, безмерно томит ее желание разделить с кем-нибудь тяжесть, что гнетет душу, перемолвиться словом в этот час неизбежной тоски и муки. И так как его нет рядом, единственного на земле, с кем она может говорить о несказанном, чего никто знать не должен, кроме него, — о том страшном злодействе, в котором она боится признаться себе самой, то она берет подвернувшиеся ей листки бумаги и садится писать. Письму нет конца. Она не закончит его ни в эту ночь, ни на следующий день, а только на вторую ночь:

здесь человек, совершая преступление, единоборствует со своей совестью. В глубокой усталости, в страшном смятении написаны эти строки, где все путается и мешается в каком-то отупении и изнеможении чувств — глупость и глубокомыслие, вопль души, пустая болтовня и стон отчаяния, а черные мысли, как летучие мыши, шныряют вокруг, вычерчивая сумасшедшие зигзаги. То это лепет о незначащих мелочах, то страшным воплем прорывается стон истерзанной совести, вспыхивает ненависть, но сострадание заглушает ее, и неизменно поверх всего, широко разливаясь и пламенея, катится бурлящий поток любви к тому единственному, чья воля тяготеет над ней, чья рука столкнула ее в эту бездну. Внезапно она замечает, что кончилась бумага. Тогда она продолжает писать на каком-то начатом счете, лишь бы дальше, дальше, все дальше, только бы этот ужас не задущил ее, не удавила тишина, цепляться за него хотя бы словами, за того, к кому она неразрывно прикована, — кандалник к кандалнику, кровь к крови. Но в то время, как перо в ее трясущейся руке, словно своей волею, летит по бумаге, она замечает, что все в письме сказано не так, как надо было сказать, что нет у нее сил укротить свои мысли, привести их в порядок. Она улавливает это будто другой половиной сознания и закликает Босуэла — пусть дважды прочтет ее письмо. Но именно потому, что в письме, насчитывающем три тысячи слов, отсутствует путеводная нить дневного сознания и разума, что мысли в нем путаются и кружат в каком-то смутном мелькании, — именно поэтому оно становится своеобразным, единственным в своем роде документом человеческой души. Ибо здесь говорит не разумное существо, нет, в трансе усталости и лихорадки здесь приоткрывается обычно недоступное взору подсознание, нагое чувство, сбросившее последний покров скромности и стыда. Явственные голоса и смутные подголоски, трезвые мысли и такие, которые она не отважилась бы высказать в полном разуме, сменяют друг друга в этой сумятице чувств. То она повторяется, то противоречит себе, все хаотически волнуется и клоочет в кипении и бурлении страсти. Ни разу или, быть может, только считанные разы доходило до нас признание, в котором духовное и душевное перевозбуждение в момент соверша-

емого преступления было бы раскрыто с такой полнотой,— нет, никакой Бьюкенен, никакой Мэйтленд, никто из этих архиумников не мог бы с таким знанием дела, с такой пронизательностью, с такой магической точностью измыслить горячечный монолог смятенного сердца, ужасающее положение женщины, которая, совершая тяжкое преступление, не знает иного средства спастись от терзаний совести, как писать и писать своему возлюбленному, стараясь потеряться, забыться, оправдаться и все объяснить, которая убегает в это письмо, чтобы в окружающей тишине не слышать, как бешено колотится в груди ее сердце. И снова невольно вспоминается леди Макбет: так же в развевающихся ночных одеждах блуждает та по темному замку, преследуемая и теснимая страшными мыслями, и, подобно сомнамбуле, выдает свое преступление в потрясающем монологе. Только Шекспиры, только Достоевские способны создавать такие образы, а также их величайшая наставница — Действительность.

Как великолепно уже самое вступление, трогательное сердце до глубины, уже этот начальный затакт: «Я устала, меня клонит в сон, но я не могу не писать, пока есть бумага... Прости мне эти каракули, если чего не разберешь, пусть сердце тебе подскажет... И все же я рада, что могу писать тебе, пока все кругом спят, мне же все равно не уснуть, так рвется все мое существо к тебе, в твои объятия, жизнь моя, мой ненаглядный». С неотразимой проникновенностью рассказывает она, как бедняга Дарнлей обрадовался ее неожиданному приезду: кажется, видишь его перед собой, бедного юношу с еще воспаленным от сильного жара, еще не очистившимся от струпьев лицом. Все эти ночи и дни он лежал один-одинешенек и терзался мыслью, что она, которой он предался душой и телом, так жестоко оттолкнула его и прогнала от себя. И вот она здесь, его прекрасная, юная возлюбленная, эта ласковая женщина снова у его ложа. Бедный глупец так счастлив, что не верит себе — «а вдруг это сон», он так рад ее видеть, «что боится умереть от счастья». Минутами в нем, правда, вскипает старое недоверие, свербят незажившие раны. Все произо-

шло так внезапно, что кажется просто невозможным,— и все же это мелкотравчатое сердце, как часто оно ни бывало обмануто, бессильно заподозрить столь грандиозный обман. Слабому человеку сладко надеяться и верить, тщеславному — легко вообразить, что он любим. Понадобилась самая малость, чтобы Дарнлей растрогался и размяк: он снова ее раб и снова просит, как в ночь после убийства Риччо, прощения за все обиды, что он ей причинил. «Мало ли твоих подданных против тебя согрешило, и ты всех простила, а ведь я еще так молод. Ты скажешь, что не раз меня прощала, а я снова впадаю во все те же ошибки. Но разве не бывает, что человек в мои годы, послушавшись дурного совета, и второй и третий раз впадает во все те же ошибки, нарушает данное слово, но зато уж потом, наученный горьким опытом, окончательно берется за ум? Если ты простишь меня, клянусь, я не заставлю тебя жалеть об этом. И мне ничего от тебя не нужно, только чтобы мы, как верные супруги, делили кров и ложе, а если ты не захочешь меня простить, лучше мне никогда не встать с этой постели... Бог видит, как жестоко я наказан за то, что сотворил себе кумира, и ни о чем не могу думать, кроме тебя одной...»

И снова письмо приоткрывает нам далекую комнату, погруженную в полумрак. Мария Стюарт сидит у изголовья больного и внемлет этому взрыву признаний, этим смиренным клятвам. Пришло ее время торжествовать, план удался на славу, опять она обвела вокруг пальца этого недалекого мальчика. Но ей слишком стыдно своего обмана, чтобы радоваться, в самый разгар вероломных хлопот душит ее отвращение к совершаемой низости. Помрачневшая, пряча глаза, со смятенной душой, сидит она у постели больного, и даже Дарнлей замечает, что его милую гнетет какая-то темная тайна. Бедный, околпаченный дурачок старается — не правда ли, гениальная ситуация! — утешить обманщицу, предательницу, он хочет вселить в нее бодрость, веселье, надежду. Он молит ее остаться с ним эту ночь; злосчастный глупец, он снова бредит любовью и нежностью. Страшно чувствовать через письмо, как слабый мальчик опять доверчиво льнет к ней, как он уже в ней уверен. Нет, он не может не глядеть на нее, безгранично наслаждается он возобнов-

ленной близостью, которой так долго был лишен. Он просит ее своими руками нарезать ему мясо и говорит, говорит и выбалтывает по наивности все свои секреты, называет поименно своих дружков и соглядатаев и, ничего не ведая о ее отношениях с Босуэлом, признается в лютой ненависти к Мэйтленду и Босуэлу. И — да это и вполне естественно — чем доверчивее, чем самозабвеннее он выдает себя, тем больше затрудняет он этой женщине ее задачу предать его, беспомощного, наивного несмышлениша. Против желания, она растрогана; смущена легковерием, бессилием жертвы. Лишь величайшим напряжением воли продолжает она играть эту презренную комедию. «Никогда я от него не слыхала более разумных и кротких речей, и кабы я не знала, что сердце у него из воска, а мое не было бы тверже алмаза, ничей приказ, исключая полученного из твоих рук, не приневолит бы меня побороть сострадание». Видно, что она уже не чувствует ненависти к бедняге, который тянется к ней воспаленным лицом, пожирает ее голодными, нежными глазами; начисто забыла она все зло, которое глупый лгунишка ей причинил, ей от души хотелось бы спасти его. В порыве возмущения она всю вину возлагает на Босуэла: «Никогда бы я не пошла на это, чтобы отомстить за себя». Только во имя любви и ничего другого совершит она столь мерзостный обман, употребив во зло детское доверие. Великолепно звучит вырвавшийся у нее вопль протеста: «Ты вынуждаешь меня к притворству, которое внушает мне ужас и отвращение, ты навязываешь мне роль предательницы. Но помни, если бы не то, что я хочу слушаться тебя во всем, я предпочла бы умереть. Сердце у меня обливается кровью».

Однако раб не может бороться. Он может только стенать, когда свирепый бич гонит его вперед. С покорной жалобой клонит она голову перед своим господином: «Горе мне! Никогда и никого я не обманывала, а теперь во всем покорна твоей воле. Намекни хоть словом, чего ты от меня хочешь, и, что бы со мной ни стряслось, я покорюсь. Подумай также, не надежнее ли было бы прибегнуть к какому-либо снадобью, он собирается в Крэгмиллер, на тамошние воды и купания». Очевидно, ей хотелось бы измыслить для несчастного более

легкую кончину, избежать грубого, грязного насилия; если бы она хоть в какой-то мере принадлежала себе и не была всецело предана Босуэлу, останься в ней хоть капля душевных сил, хоть искра моральной самостоятельности, она бы непременно — это чувствуется — спасла Дарнлея. Но она не отваживается на послушание, так как страшится потерять Босуэла и вместе с тем — гениальный психологический штрих, какого не придумать ни одному писателю, — страшится, как бы Босуэл не стал ее презирать за то, что она согласилась на такую низость. С мольбой простирает она руки, умоляя, чтобы он за это «не стал меньше уважать ее, так как он всему причина». На коленях взывает она: пусть вознаградит любовью ее нынешние муки. «Всем жертвую я — честью, совестью, счастьем и величием, помни же это и не поддавайся на уговоры своего лживого шурина, ополчающего тебя против самой верной возлюбленной, какая у тебя когда-либо была или будет. И не гляди, что она (жена Босуэла) обливается живыми слезами, а воззри на меня и на то деяние, на которое я иду против воли, единственно, чтобы заслужить ее место, ради которого я готова погрять собственную природу. И да простит мне бог и да ниспошлет он тебе, бесценный друг, всякого счастья и без счета милостей, каких тебе желает твоя всеподданнейшая и преданнейшая возлюбленная, та, что надеется вскоре стать для тебя чем-то большим в награду за свои муки». Тот, кто непредвзятой душой слышит в этих словах голос измученного, исстрадавшегося сердца, не назовет несчастную убийцей, хотя все, что она делает в эти ночи и дни, ведет к убийству. Ибо чувствуется: в тысячу раз сильнее ее воли ее неволя, ее отвращение и протест. Быть может, в иные часы эта женщина ближе к самоубийству, чем к убийству. Но такова судьба того, кто отдал себя в кабалу: раз отказавшись от своей воли, он уже не волен сам избрать свой путь. Он может лишь служить и повиноваться. И так, спотыкаясь, оступаясь, бредет она все вперед, невольница своей страсти, бессознательная и в то же время до ужаса сознательная сомнамбула своего чувства, увлекаемая в бездну злодеяния.

Уже на следующий день Мария Стюарт выполнила целиком и полностью все, что ей надлежало сделать; наи-

более деликатная, наиболее рискованная часть задачи ей счастливо удалась. Королева усыпила подозрения Дарнлея — бедного недалекого малого не узнать, он заметно повеселел, приободрился, у него уверенный и даже счастливый вид. Еще не оправившийся, ослабевший, с изрытым спинами лицом, он даже пытается с ней нежничать. Ему бы только обниматься и целоваться, и Мар и Стюарт стоит величайших усилий, поборов гадливость, сдерживать его нетерпение. Послушный ее желаниям — так же, как она послушна желаниям Босуэла, — невольник невольницы, он объявляет, что согласен вернуться с ней в Эдинбург.

Еще больной, закрыв лицо тонким суконным покрывалом, чтобы никто не видел, как оно обезображено, он доверчиво разрешает перенести себя из надежного родительского замка в ожидающую его телегу. И вот наконец жертва на пути к мяснику. Грубой, кровавой частью работы займется Босуэл, этому отъявленному цинику она дастся неизмеримо легче, чем далось Марии Стюарт ее предательство.

Медленно катится телега под эскортом верховых по зимней морозной дороге: во вновь обретенном согласии после долгих месяцев непримиримой вражды возвращается в Эдинбург королевская чета. В Эдинбург, но куда же именно? Разумеется, в Холирудский замок, скажете вы, в королевскую резиденцию, в уютные княжеские палаты. Но нет, Босуэл, всемогущий, распорядился иначе. Король не вернется к себе в замок — якобы потому, что не прошла еще опасность заразы. Ну, тогда, значит, в Стирлинг или в Эдинбургский замок, эту гордую, неприступную крепость? В крайнем случае он заедет погостить в какой-нибудь другой княжеский дом, хотя бы во дворец епископа. Опять-таки нет! В силу каких-то сугубо подозрительных обстоятельств выбор падает на весьма невзрачный, одиноко стоящий дом, о котором до сей поры не могло быть и речи, — отнюдь не господские хоромы, к тому же и расположенный в подозрительной местности, за городскими стенами, среди садов и пустырей, — дом, полуразрушенный и годами пустовавший, дом, который трудно охранять и защищать, — странный и знаменательный выбор! Поневоле спросишь, кому взбрело

в голову отвести для короля это подозрительно уединенное жилье в Керк о'Филде, по соседству с пользующейся дурной славой Воровской слободой (Thieves Row). Иопять-таки здесь замешан Босуэл, ведь он нынче все и вся в Шотландии (all in all). Повсюду и везде натываемся мы в таинственном лабиринте на все ту же красную нить. Повсюду и везде — в письмах, документах, дознаниях — неизменно к нему ведет кровавый след.

Этот невзрачный, недостойный короля, затерянный среди пустырей домик, к которому прилегает только одна усадьба, принадлежащая кому-то из приспешников Босуэла, состоит всего лишь из прихожей и четырех комнат. Внизу помещается импровизированная спальня королевы, которой вдруг пришла охота ходить за больным супругом, хотя еще недавно она и слышать о нем не хотела; вторая комната отведена ее ближним женщинам. Комната побольше наверху предназначена королю, а рядом помещение для его челядинцев. Для этих приземистых комнатусек в подозрительном доме не жалуют убранства, из Холируда доставлены ковры и богатые шпалеры, специально для короля переправляется одна из великолепных кроватей, вывезенных Марией де Гиз из Франции, вторая ставится внизу для королевы. А уж Мария Стюарт прямо разрывается от усердия — всемерно подчеркивает она свою нежную заботу о Дарнлее. По несколько раз на дню навещает она его со всей свитой, не давая скучать, это она-то, которая — не мешает лишний раз напомнить — уже много месяцев как бежит его, точно зачумленного. Три ночи — с четвертого по седьмое февраля — она, покинув свой удобный дворец, ночует в этом уединенном доме. Пусть каждый в Эдинбурге убедится, что король и королева снова живут душа в душу. Нарочито и даже, можно сказать, навязчиво афишируется это благоденствие, это задушевное согласие перед всем городом. Легко себе представить, как неожиданный поворот в расположении королевы был воспринят всеми, а особенно лордами, с которыми Мария Стюарт еще недавно обсуждала, как бы ей вернее отделаться от мужа. И вдруг эта внезапная, бурная и чересчур уж подчеркиваемая супружеская любовь! Самый догадливый из лордов, Меррей, по-видимому,

делает свои выводы — об этом явствует его дальнейшее поведение: он ни на секунду не сомневается, что в этом на диво уединенном домике ведется сомнительная игра, и, как истый дипломат, принимает меры.

И, может быть, только один человек во всем городе, во всей стране свято верит в изменившееся расположение королевы — Дарнлей, незадачливый супруг. Его тщеславию льстит ее забота; с гордостью видит он, что лорды, еще недавно с презрением от него отворачивавшиеся, спешат к его постели с поклонами, с участливыми минами. Исполненный признательности, докладывает он седьмого февраля отцу в письме, как поправилось его здоровье благодаря тщательному уходу королевы, которая выказала себя на этот раз истинно любящей женой. Врачи предвещают ему скорое выздоровление, лицо его почти очистилось, ему разрешено переехать во дворец — на понедельник утром заказаны лошади. Еще один день, и он вернется в Холируд, где снова будет делить с королевой «bed and board»<sup>1</sup>, и наконец-то опять воцарится в своем государстве и в ее сердце.

Но понедельнику — десятому февраля — предшествует воскресенье — девятое февраля, — на вечер которого в Холирудском замке назначено веселое празднество. Двое самых верных слуг Марии Стюарт справляют свадьбу: по этому случаю состоится пышный банкет и бал, на котором обещала быть сама королева. Но в программе дня не только это общеизвестное событие — есть и другое, все значение которого выяснится только впоследствии. Девятого утром Меррей внезапно спрашивает у сестры дозволения ненадолго отлучиться, он уезжает денюшка на два, на три в один из своих замков навестить заболевшую жену. А это недобрый знак. Ибо, когда Меррей исчезает с политической арены, у него имеются на то серьезные основания. Что бы здесь ни случилось — переворот или какое-либо трагическое происшествие, — он

---

<sup>1</sup> Постель и стол (англ.).

всегда может потом сказать, что его при этом не было. Тот, кто чувствителен к приближению грозы, должен был бы забеспокоиться, увидев, как этот расчетливый, дальновидный человек спешит ретироваться, пока не ударил гром. И года не прошло, как он с таким же невинным видом въехал в Эдинбург наутро после убийства Риччо; и вот он уже снова уезжает как ни в чем не бывало — в утро того самого дня, когда должно свершиться еще большее злодеяние, предоставляя другим расхлебывать кашу, а всю честь и корысть приберегая для себя.

И еще один симптом, наводящий на размышление. По-видимому, королева уже сейчас приказывает переправить из Керк о'Филда в Холируд свое пышное ложе с меховыми одеялами. Само по себе это распоряжение вполне уместно: ближайшую ночь, ночь долгожданного бала, она все равно проведет в замке, а не в Керк о'Филде, а там — и конец разлуке. Но это нетерпеливое желание скорее переправить на место драгоценное ложе в дальнейшем, по ходу разбирательства, послужит пищей для всяких толков и кривотолков. Правда, и после обеда и вечером ничто не предвещает трагических событий, да и поведение Марии Стюарт ни капли не отличается от обычного. Днем она в обществе друзей посещает выздоравливающего супруга, вечером, вместе с Босуэлом, Хантлеем и Аргайлом, весело пирует на свадьбе своих челядинцев. А главное, ну до чего трогательно: опять — в самом деле, до чего же трогательно! — опять спешит она, хоть Дарнлей вот-вот вернется в Холируд, спешит морозной зимней ночью туда, в уединенный домик Керк о'Филда. Безо всякого прерывает оживленную застольную беседу, чтобы еще полчаса посидеть у изголовья мужа и поболтать с ним. До одиннадцати вечера — не мешает поточнее заметить время — засиживается Мария Стюарт в Керк о'Филде и только тогда возвращается к себе, в Холируд; в темноте ночи далеко заметна сверкающая шумливая кавалькада, полыхают факелы, мелькают фонари, доносятся взрывы веселого смеха. Раскрываются ворота — весь Эдинбург сможет потом засвидетельствовать, что королева, как нежная жена, наведав больного мужа, вернулась в Холируд, где под пение скрипок и наигрыш вольноок вихрем кружатся тан-

цующие пары. Еще раз смешивается веселая, словоохотливая королева с толпою свадебных гостей и только за полночь удаляется в свои покои, чтобы отойти ко сну.

В два часа ночи от грома содрогнулась земля. Страшный взрыв, «будто выпалили из двадцати пяти пушек», сотряс воздух. И сразу же стало видно, как со стороны Керк о'Филда побежали сломя голову какие-то подозрительные фигуры: что-то ужасное, должно быть, стряслось в уединенном домике у короля. Весь город, объятый страхом и волнением, проснулся и уже на ногах. Распахиваются городские ворота, и в Холируд устремляются гонцы с ужасной вестью, что одинокий домик в Керк о'Филде вместе с королем и его челядью взлетел на воздух. Босуэла, пировавшего на свадьбе,— очевидно, чтобы обеспечить себе алиби, меж тем как его молодцы готовили взрыв,— сонного поднимают с постели, вернее, он делает вид, будто крепко спал. Он второпях одевается и вместе с вооруженной стражей спешит на место преступления. Трупы Дарнлея и слуги, спавшего в его комнате, находят в саду, в одних рубашках. Дом полностью разрушен пороховым взрывом. Установлением этого, весьма для него, по-видимому, неожиданного и прискорбного факта Босуэл и ограничивается. Так как существо дела известно ему лучше, чем кому-либо, он не дает себе труда расследовать, что здесь произошло. Он приказывает подобрать трупы и уже через каких-нибудь полчаса возвращается в замок. И здесь он может доложить ничего не подозревающей королеве, так же, как и он, разбуженной среди крепкого сна, один только голый факт: ее супруг, Генрих, король Шотландский, убит неведомыми злодеями, скрывшимися неведомо куда.

ГЛАВА XIII  
QUOS DEUS PERDÈRE VULT..

*С февраля по апрель 1567 года*



**С**трать способна на многое. Она может пробудить в человеке небывалую, сверхчеловеческую энергию. Она может своим неослабным давлением выжать даже из самой уравновешенной души поистине титанические силы и, ломая все нормы и формы узаконенной нравственности, отважиться и на преступление. Но так же неотъемлемо для нее другое: после стихийного взрыва пароксизм страсти, как бы истощив себя, никнет, спадает. И этим, по существу, отличается преступник по страсти, действующий в состоянии аффекта, от подлинного, прирожденного, закоренелого преступника. У случайного преступника, преступника по страсти, обычно хва-

тает сил лишь на самое деяние, и очень редко на его последствия. Действуя по первому побуждению, слепо устремленный на задуманное, он все свои душевные силы отдает одной-единственной цели; но едва она достигнута, едва деяние совершено, как вся его энергия словно отливает, уходит решимость, изменяет разум, отказывает мудрость, и это в то самое время, как трезвый, расчетливый преступник вступает со следователями и судьями в изворотливый поединок. Не для самого деяния, как мы видим у преступника по страсти, а для последующей самозащиты прибегает он максимум своих душевных сил.

Марии Стюарт— и это не умаляет, а возвышает ее в глазах потомства — не хватило мужества для той преступной ситуации, в которую поставила ее зависимость от Босуэла, ибо если она и сделалась преступницей, то лишь по безрассудству страсти, не своей, а чужой волею. В свое время у нее не достало сил предотвратить катастрофу, а теперь, когда дело сделано, она и вовсе растерялась. Ей остается одно из двух: или решительно, с чувством омерзения порвать с Босуэлом, который, в сущности, зашел дальше, чем она внутренне допускала, отмежеваться от его деяния, или же, наоборот, помочь ему замести следы, а следовательно, лицемерить, надеть личину страдания, чтобы отвести подозрение от него и от себя. Но вместо этого Мария Стюарт делает самое безрассудное, самое нелепое, что только можно сделать в ее положении,— то есть ровно ничего. Она остается нема и недвижима и этой полной растерянностью выдает себя с головой. Как заводная игрушка, автоматически выполняющая несколько предписанных движений, она в каком-то трансе покорности подчинилась всем приказам Босуэла: поехала в Глазго, успокоила Дарнлея и завлекла его обратно домой. Но завод кончился, и механизм бездействует. Именно сейчас, когда ей надо разыграть безутешную скорбь и потрясти патетической игрой весь мир, чтобы он безоговорочно поверил в ее невиновность, именно сейчас она устало роняет маску; какое-то окаменение чувств, жестокий душевный столбняк, какое-то необъяснимое равнодушие находит на нее; безвольная, она и не пытается защищаться, когда над ней дамочковым мечом нависает подозрение.

Этот странный душевный столбняк, поражающий человека в минуты опасности и словно замораживающий его, обрекая на полное бездействие и безучастие в минуты, когда ему особенно необходимы притворство, самозащита и внутренняя собранность, сам по себе не представляет ничего необычного. Подобное окаменение души — лишь естественная реакция на чрезмерное напряжение, коварная месть природы тому, кто нарушает ее границы. У Наполеона в канун Ватерлоо исчезает вся его дьявольская сила воли; молча, как истукан, сидит он и не отдает распоряжений, хотя именно сейчас, в минуту катастрофы, они особенно необходимы; куда-то внезапно утекли его силы, как утекает вино из продырявленной бочки. Подобное же оцепенение находит на Оскара Уайльда перед арестом; друзья вовремя предупредили его, у него довольно времени и денег, он может сесть в поезд и бежать через Ламанш. Но и на него нашел столбняк, он сидит у себя в номере и ждет — ждет неизвестно чего — то ли чуда, то ли гибели. Только подобные аналогии — а история знает их тысячи — помогают нам уяснить поведение Марии Стюарт, ее нелепое, бессмысленное, предательски пассивное поведение тех недель, которое, собственно, и навлекло на нее подозрение. До самой катастрофы ничто не указывало на ее договоренность с Босуэлом, ее поездка к Дарнлею могла и вправду означать попытку примирения. Но после смерти Дарнлея его вдова сразу же оказывается в фокусе общего внимания, и теперь либо ее невинность должна со всей очевидностью открыться миру, либо притворство должно поистине стать гениальным. Но судорожное отвращение к притворству и лжи, видимо, владеет несчастной. Вместо того, чтобы рассеять законное подозрение, она полным безучастием еще усугубляет свою вину в глазах мира, представляясь более виновной, чем даже, возможно, была. Подобно самоубийце, бросающемуся в бездну, закрывает она глаза, чтобы ничего не видеть, ничего не чувствовать, она словно жаждет погрузиться в небытие, где нет места мучительному раздумью и сомнению, а только конец, гибель. Вряд ли история криминалистики когда-либо являла миру другой такой патологически законченный образец преступника по страсти, который в своем

деянии истощает все силы и гибнет. Quos deus perdere vult... Кого боги замыслили погубить, у того они отнимают разум.

Ибо как повела бы себя невинная, честная, любящая жена-королева, когда бы посланный принес ей среди ночи ужасную весть, что супруг ее только что убит неведомыми злодеями? Она вскочила бы, точно ужаленная, как если б крыша пылала у нее над головой. Она кричала бы, бесновалась, требовала бы, чтобы виновных тотчас схватили. Она бросила бы в тюрьму всякого, на кого пала хоть тень подозрения. Она воззвала бы к сочувствию народа, она просила бы чужеземных государей задерживать на своих рубежах всех беглых из ее страны. Так же как после кончины Франциска II, заперлась бы она в своей опочивальне и, не выходя ни днем, ни ночью, изгнала бы на долгие недели и месяцы всякое помышление о мирских радостях, развлечениях и веселье в кругу друзей, а главное, не знала бы ни отдыха, ни покоя, пока не был бы схвачен и казнен каждый соучастник злодеяния, каждый виновный в преступном укрывательстве.

Вот как, казалось бы, должна была проявить себя честная, истинно любящая жена, на которую неожиданно-негаданно обрушилось такое известие. И каким это ни звучит парадоксом, примерно эти же чувства, по законам логики, должна была бы симулировать соучастница преступления, ибо ничто так не страшит преступника от подозрений, как вовремя надетая личина невинности и неведения. А между тем Мария Стюарт выказывает после катастрофы такое чудовищное равнодушие, что это бросилось бы в глаза даже самому наивному человеку. Ни следа того возмущения, той мрачной ярости, в которую ввергло ее убийство Риччо, или меланхолической отрешенности, которая овладела ею после смерти Франциска II. Она не посвящает памяти Дарнлея прочувствованной элегии, вроде той, какую написала на смерть первого мужа, но с полным самообладанием спустя лишь несколько часов после получения страшной вести подписывает увертливые послания ко всем иноземным дворам, чтобы хоть как-то объяснить убийство, а главное, выгородить себя. В этой более чем странной ре-

ляции все поставлено на голову, и дело рисуется так, будто убийцы покушались на жизнь не столько Дарнлея, сколько самой Марии Стюарт. По этой, официальной, версии заговорщики якобы находились в заблуждении, полагая, что королевская чета ночует в Керк о'Филде, и только чистая случайность, а именно то, что королева вернулась на свадебное пиршество, помешала ей погибнуть вместе с королем. Бестрепетной рукой подписывает Мария Стюарт заведомую ложь: королеве-де пока еще неизвестно, кто истинные виновники злодеяния, но она полагается на рвение и усердие своего коронного совета, которому поручено учинить розыск; она же намерена так покарать злодеев, чтобы это стало острасткой и примером на все времена.

Такая подтасовка фактов слишком бросается в глаза, чтобы обмануть кого-либо. Весь Эдинбург видел, как королева в одиннадцатом часу вечера во главе большой кавалькады, далеко озарившей ночь факелами, возвращалась в Холируд из уединенной усадьбы Керк о'Филда. Весь город знал, что она не ночует у мужа, и, значит, сторожившие в темноте убийцы заведомо не покушались на ее жизнь, когда три часа спустя взорвали дом. Да и взрыв был произведен лишь для отвода глаз, скорее всего Дарнлея придушили злодеи, заранее проникшие в дом,—очевидная несуразность официального сообщения лишь усиливает чувство, что дело не чисто.

Но, как ни странно, Шотландия молчит; не только безучастность Марии Стюарт в эти дни настораживает мир, настораживает и безучастность страны. Вы подумайте: случилось нечто невероятное, неслыханное даже в анналах этой кровью писанной истории. Король Шотландский убит в своей столице, мало того, пал жертвою взрыва. И что же происходит? Содрогнулся ли весь город от ужаса и негодования? Стекаются ли из своих замков дворяне и бароны, чтобы защитить королеву, чья жизнь будто бы в опасности? Взывают ли проповедники со своих кафедр о возмездии? Предпринимают ли власти необходимые меры для разоблачения убийц? Запирают ли городские ворота, берут ли сотнями под стражу подозрительных лиц и пытаются ли их на дыбе? Закрывают ли границы, проносят ли тело убиенного по улицам в траурном шествии всей шотландской знати?

Воздвигают ли катафалк на площади, освещая его свечами и факелами? Созывают ли парламент, чтобы заслушать донесение о неслыханном злодеянии и вынести приговор? Собираются ли лорды, защитники трона, на крестное целование, чтобы клятвенно подтвердить свою готовность преследовать убийцу? Ничего этого нет и в помине. Странная, зловеющая тишина следует за ударом грома. Королева, вместо того чтобы воззвать к народу, заперлась во дворце. Хранят молчание лорды. Ни Меррей, ни Мэйтленд не подают признаков жизни, притаились все те, кто преклонял перед королем колена. Они не осуждают убийство и не славят его, настороженно затаились они в тени и ждут, как развернутся события; чувствуется, что гласное обсуждение цареубийства им пока не по нутру, ведь так или иначе они были во все посвящены. Да и горожане запираются в четырех стенах и только с глазу на глаз обмениваются догадками. Они знают: маленькому человеку лучше не соваться в дела больших господ, того гляди притянут за чужие грехи. Словом, на первых порах все идет так, как и рассчитывали убийцы: будто произошло пусть и досадное, но не слишком значительное происшествие. В истории Европы, пожалуй, не было случая, чтобы весь королевский двор, вся знать, весь город с такой постыдной трусостью старались прошмыгнуть мимо цареубийства; всем на удивление, забывают о самых элементарных мерах для прояснения обстоятельств убийства. Ни полицейские, ни судебные власти не осматривают места преступления, не снимаются показания, нет ни сколько-нибудь вразумительного сообщения о происшедшем, ни обращения к народу, проливающего свет на загадочное происшествие, — словом, дело всячески заминают. Труп убитого так и не подвергается медицинскому и судебному освидетельствованию; и поныне неизвестно, был ли Дарнлей задушен, заколот или (труп был найден в саду с почерневшим лицом) отравлен еще до того, как убийцы взорвали дом, поистине не пожалев порошу. А чтобы не было лишних разговоров и чтобы не слишком много людей видело труп, Босуэл самым непристойным образом торопит с похоронами. Лишь бы скорее упрятать в землю Генри Дарнлея, похоронить всю эту грязную историю, чтобы не била в нос!

И что каждому бросается в глаза, каждому показывает, какие высокие лица замешаны в убийстве,— Генри Дарнлея, короля Шотландии, даже не удосужились похоронить, как подобает. Тело не только не выставляют на катафалке для торжественного прощания, не только не провозят по городу в пышном погребальном кортеже, предшествуемом безутешной вдовой, всеми лордами и баронами. Никто не палит из пушек, никто не звонит в колокола; тайком, в ночи, выносят гроб в часовню. Без всякой помпы, без почестей, в трусливой спешке тело Генри Дарнлея, короля Шотландии, опускают в склеп, как будто он был убийцей, а не жертвой чужой ненависти и неукротимой алчности. А там... отслужили мессу — и по домам! Пусть бесталанная душа не тревожит больше мира в Шотландии! Quos deus perdere vult...

Мария Стюарт, Босуэл и лорды рады бы гробовой крышкой прихлопнуть всю эту темную аферу. Но во избежание лишних вопросов, а также дабы Елизавета не вздумала жаловаться, что ничего не предпринято для раскрытия преступления, решено сделать вид, будто что-то делается. Спасаясь от настоящего следствия, Босуэл снаряжает следствие мнимое: этой маленькой уступкой он хочет откупиться от общественного мнения, пусть думают, что «неведомых убийц» усердно ищут. Правда, всему городу известны их имена: слишком много понадобилось соучастников, чтобы следить за усадьбой, закупить всю эту уйму пороху и перетаскать его мешками в дом. Не мудрено, что кого-то и заприметили, да и караульные у городских ворот прекрасно помнят, кого они ночью вскоре после взрыва впускали в город. Но поскольку коронный совет Марии Стюарт, в сущности, состоит теперь из одного только Босуэла да Мэйтленда — из соучастника и укрывателя,— а им довольно поглядеться в зеркало, чтобы увидеть истинных зачинщиков, то версия о «неведомых злодеях» остается в силе и даже обнародуется грамота: две тысячи шотландских фунтов обещано тому, кто назовет имена виновных. Две тысячи шотландских фунтов — заманчивая сумма для бедняка-горожанина, но каждый понимает, что стоит сказать лишнее слово,

и вместо двух тысяч фунтов заработаешь нож в бок. Босуэл же учреждает нечто вроде военной диктатуры, и его верные приспешники, the borderers, грозно скачут по улицам города. Оружие, которым они потрясают, достаточно внушительно, чтобы у всякого отпала охота молоть языком.

Но когда правду хотят подавить силой, она отстаивает себя хитростью. Закройте ей рот днем, и она заговорит ночью. Уже наутро после оглашения грамоты о награде находят на рыночной площади афишки с именами убийц, а одну такую афишку кто-то даже умудрился прибить к воротам Холируда, королевского замка. В листках открыто называются Босуэл и Джеймс Балфур, его пособник, а также слуги королевы — Бастьен и Джузеппе Риччо; на других афишках стоят и другие имена. Но в каждой неизменно повторяются все те же два имени: Босуэл и Балфур, Балфур и Босуэл.

Если бы чувствами Марии Стюарт не владел демон, если бы ее разум и соображение не были затоплены грозной страстью, если бы ее воля не была в подчинении, ей, раз уж голос народа прозвучал так явственно, оставалось одно — отречься от Босуэла. Ей надо было, сохранись в ее затуманенной душе хоть искра благоразумия, решительно от него отмежеваться. Надо было прекратить с ним всякое общение, доколе с помощью искусных маневров его невиновность не будет удостоверена «официально», после чего под благовидным предлогом удалить его от двора. И только одного не следовало ей делать: допускать, чтобы человек, которого чуть ли не вся улица открыто и про себя называет убийцею короля, ее супруга, чтобы этот человек заправляя в шотландском королевском доме, и уж, во всяком случае, не следовало допускать, чтобы тот, кого общественное мнение заклеймило как вожака преступной шайки, возглавил следствие против «неведомых злодеев». Но что того хуже и нелеспе: на афишках рядом с именами Босуэла и Балфура в качестве их пособников назывались двое слуг Марии Стюарт — Бастьен и Джузеппе Риччо, братья Давида. Что же должна была сделать Мария Стюарт в первую голову? Разумеется, предать суду людей, обви-

няемых народной молвой. А вместо этого — и тут недалёковидность граничит с безумием и самособвинением — она тайно отпускает обоих со своей службы, их снабжают паспортами и срочно, контрабандою переправляют за границу. Словом, она поступает не так, как диктуют закон и честь, а наоборот: чем выдать суду заподозренных, содействует их побегу и, как укрывательница, сама себя сажает на скамью подсудимых. Но этим не исчерпывается ее самоубийственное безумие! Достаточно сказать, что ни одна душа в эти дни не видела на её глазах ни слезинки; не уединяется она и в свою опочивальню — на сорок дней в одежде скорби (*de deuil blanc*), хотя на этот раз у нее во сто крат больше оснований облечься в траур, а, едва выждав неделю, покидает Холируд и отправляется гостить в замок лорда Сетона. Даже простую видимость придворного траура не соблюдает эта вдова, а главное, верх провокации — это ли не вызов, брошенный всему свету! — в Сетоне она принимает посетителя — и кого же? Да все того же Джеймса Босуэла, чье изображение с подписью «Цареубийца» раздают в эти дни на улицах Эдинбурга.

Но Шотландия не весь мир, и если лорды, у которых совесть нечиста, если запуганные обыватели помалкивают с опаской, делая вид, будто вместе с прахом короля погребен и всякий интерес к преступлению, то при дворах Лондона, Парижа и Мадрида не так равнодушно взирают на ужасное убийство. Для Шотландии Дарнлей был чужак, и когда он всем опостылел, его обычным способом убрали с дороги; иначе смотрят на Дарнлея при европейских дворах: для них он король, помазанник божий, один из их августейшей семьи, одного с ними неприкосновенного сана, а потому его дело — их кровное дело. Разумеется, никто здесь не верит лживому сообщению: вся Европа с первой же минуты считает Босуэла зачинщиком убийства, а Марию Стюарт — его поверенной; даже папа и его легат в гневе обличают ослепленную женщину. Но не самый факт убийства занимает и волнует иноземных государей. В тот век не слишком считались с моралью и не так уж щепетильно оберегали человеческую жизнь. Со времен Макиавелли

на политическое убийство в любом европейском государстве смотрят сквозь пальцы, подобные примеры найдутся чуть ли не у каждой правящей династии. Генрих VIII не стеснялся в средствах, когда ему нужно было избавиться от своих жен; Филиппу II было бы крайне неприятно отвечать на вопросы по поводу убийства его собственного сына, дон Карлоса; семейство Борджа не в последнюю очередь обязано своей темной славой знаменитым ядам. Вся разница в том, что каждый государь, кто бы он ни был, страшится навлечь на себя хотя бы малейшее подозрение в соучастии: преступления совершают другие, их же руки остаются чисты. Единственное, чего ждут от Марии Стюарт, это хотя бы видимости самооправдания, и, что хуже всего досаждало всем, — это ее нелепая безучастность! С удивлением, а затем и с досадою взирают иноземные государи на свою неразумную, ослепленную сестру, которая и пальцем не шевельнет, чтобы снять с себя подозрение: чем, как это обычно делается, распорядиться повесить или четвертовать одного-двух мелких людишек, она забавляется игрой в мяч, избирая товарищем своих развлечений все того же архипреступника Босуэла. С искренним волнением докладывает Марии Стюарт ее верный посланник в Париже о неблагоприятном впечатлении, какое производит ее пассивность: «Здесь на Вас клеветают, изображая Вас первопричиною преступления; говорят даже, будто оно совершено по Вашему приказу». И с прямою, которая на все времена делает ему честь, отважный служитель церкви заявляет своей королеве, что если она решительно и бесповоротно не искупит свой грех, «то лучше было бы для Вас лишиться жизни и всего, чем Вы владеете».

Таковы ясные слова друга. Когда бы эта потерянная душа сохранила хоть крупицу разума, хоть искру воли, она воспрянула бы и взяла себя в руки. Еще настоятельнее звучит соболезнующее письмо Елизаветы. Удивительное стечение обстоятельств: ни одна женщина, ни один человек на земле не могли бы так понять Марию Стюарт в этот страшный час, после ужаснейшего свершения всей ее жизни, как та, что искони была ее злейшей противницей. Елизавета, должно быть, видела себя в этом деянии, как в зеркале; ведь и она была когда-

то в таком положении, и на нее пало ужасное и, по-видимому, столь же оправданное подозрение в пору самого пламенного увлечения ее Дадлеем-Лестером. Как здесь—супруг, так там на пути любовников стояла супруга, которую нужно было устранить, чтобы открыть им дорогу к венцу; с ведома Елизаветы или нет свершилось ужасное—мир никогда не узнает, но только однажды утром Эйми Робсарт, жену Роберта Дадлея, нашли убитой так же, как в случае Дарнлея, «неведомыми убийцами». И тотчас же все взгляды, обвиняя, обратились на Елизавету, как теперь — на Марию Стюарт; да и сама Мария Стюарт, в то время еще королева Французская, легкомысленно иронизировала над своей кузиной, говоря, что та намерена «выйти за своего шталмейстера (master of the horses), который к тому и женоубийца». Так же, как сейчас в Босуэле, весь мир видел тогда в Лестере убийцу, а в королеве его пособницу. Воспоминания о пережитых потрясениях и сделали Елизавету в этом случае лучшей и подлинно искренней советчицей данной ей роком сестры. Ибо мудро и мужественно поступила тогда Елизавета, спасая свою честь: она назначила расследование, безуспешное, конечно, но все же расследование. А главное, она обрезала крылья молве, отказавшись от заветного своего желания — брака с Лестером, который так очевидно для всех запутался. Убийство, таким образом, потеряло всякую связь с ее особой; и этой же тактике советует Елизавета придерживаться Марии Стюарт.

Письмо от 24 февраля 1567 года замечательно еще и тем, что это поистине письмо Елизаветы, письмо женщины, письмо человека. «Madame, — восклицает она в своем прочувствованном послании, — я так встревожена, подавлена, так ошеломлена ужасным сообщением о гнусном убийстве Вашего покойного супруга, а моего безвременно погибшего кузена, что еще не в силах писать об этом; но как ни побуждают меня мои чувства оплакать смерть столь близкого родича, скажу по совести, больше, чем о нем, скорблю я о Вас. О Madame, я не выполнила бы долга Вашей преданной кузины и верного друга, когда бы постаралась сказать Вам нечто приятное, вместо того чтобы стать на стражу Вашей чести; а потому не стану таить слухов, какие повсюду о Вас распространяют, буд-

то Вы расследование дела намерены вести спустя рукава и остерегаетесь взять под стражу тех, кому обязаны этой услугой, давая повод думать, что убийцы действовали с Вашего согласия. Поверьте, ни за какие богатства мира не вскормила бы я в своем сердце мысли столь чудовищной. Никогда бы я не приютила в нем гостя столь зловещего, никогда бы не решилась так дурно помыслить о государыне, особливо же о той, которой желаю всего наилучшего, что только может подсказать мне сердце или чего сами Вы себе желаете. А потому призываю Вас, заклинаю и молю: послушайтесь моего совета, не бойтесь задеть и того, кто Вам всех ближе, раз он виновен, и пусть никакие уговоры не воспрепятствуют Вам показать всему миру, что Вы такая же благородная государыня, как и добропорядочная женщина».

Более честного и человеческого письма эта лицемерка, пожалуй, никогда не писала; выстрелом из пистолета должно было оно прозвучать в ушах оглушенной женщины и наконец пробудить ее к действительности. Слова ей перстом указуют на Босуэла, снова неопровержимо убеждают, что малейшее снисхождение обличит ее самое как соучастницу. Но состояние Марии Стюарт в эти недели — приходится еще и еще раз подчеркнуть это — состояние полной поработченности. Она так «shamefully enamoured», постыдно влюблена в Босуэла, что, как доносит в Лондон один из соглядатаев Елизаветы, «по ее же словам, готова все бросить и в одной сорочке последовать за ним на край света». Она глуха к увещаниям, ее разум уже не волен над бурлением крови. И поскольку сама она себя забывает, ей кажется, что и мир забудет ее и ее деяние.

Некоторое время — весь март месяц — пассивность Марии Стюарт как будто бы себя оправдывает. Вся Шотландия молчит, ее вершители суда как бы ослепли и оглохли, а Босуэл — поистине беспримерный случай — при всем желании бессилен найти «неведомых злодеев», хотя в каждом доме и на каждом перекрестке горожане шепотом сообщают друг другу их имена. Все знают и называют их, и никто не рискует ценою собственной

жизни добиваться обещанной награды. Но вот раздается голос. Отцу убитого, графу Леноксу, одному из влиятельнейших вельмож в стране, нельзя же отказать в ответе, когда он справедливо ропщет, что по истечении стольких дней никаких серьезных мер не принято для поимки и наказания убийц его сына. Мария Стюарт, которая делит ложе с убийцей и чьей рукой водит укрыватель Мэйтленд, отвечает, разумеется, уклончиво: она, конечно, сделает все от нее зависящее и поручит расследование парламенту. Но Ленокс прекрасно знает цену такому ответу и повторяет свое требование. Пусть для начала, заявляет он, арестуют тех, чьи имена были названы в афишках, расклеенных по всему Эдинбургу. На требование, так ясно сформулированное, ответить уже труднее. Мария Стюарт снова увильчивает: она охотно бы так и сделала, но в афишках указывались столь многие и столь различные имена, никак друг с другом не связанные,— пусть Ленокс сам скажет, на кого он держит подозрение. Очевидно, она надеется, что из страха перед всемогущим диктатором, учредившим в стране террор, Ленокс не решится произнести опасное имя Босуэла. Но Ленокс тем временем заручился поддержкой и укрепился духом: он снесся с Елизаветой и поставил себя под ее защиту. Ясно и недвусмысленно, недогнувшей рукой выписывает он, к всеобщему замешательству, имена всех тех, против кого требует учредить следствие. Первым в списке стоит Босуэл, за ним Балфур, Дэйвид Чармерс и кое-кто помельче из людей Марии Стюарт и Босуэла — господа давно постарались сплавить их за границу, чтобы они на дыбе не сболтали лишнего. И тут обескураженной Марии Стюарт наконец становится ясно, что играть комедию, вести следствие «спустя рукава» ей больше не удастся. За упорством Ленокса она угадывает Елизавету со всей присущей той энергией и авторитетом. Тем временем и Екатерина Медичи в весьма резком тоне уведомляет Марию Стюарт, что отныне считает ее обесчещенной (*dishonoured*) и что Шотландии нечего рассчитывать на дружбу Франции, доколе убийство не будет искуплено добросовестным и беспристрастным судебным следствием. Единственное, что остается Марии Стюарт,— это круто повернуть и заменить комедию «тщетных» розысков другой комедией —

гласного судопроизводства. Она вынуждена дать согласие на то, чтобы Джеймс Босуэл — мелкими людишками можно будет заняться позднее — предстал перед судом дворян. Двадцать восьмого марта граф Ленокс получает официальное приглашение в Эдинбург с тем, чтобы двенадцатого апреля он предъявил Босуэлу свои обвинения.

Однако Босуэл не из тех, кто в покаянной одежде, смиренно и робко спешит предстать перед судьями. И если он не отказывается явиться на вызов, то лишь потому, что намерен всеми средствами добиваться не осуждения, а оправдательного приговора — *cleansing*. Энергично берется он за приготовления. В первую очередь он побуждает королеву передать под его команду все крепости страны. Все наличное оружие и боевые припасы теперь в его непосредственном ведении. Он знает: сильный всегда и прав; к тому же он созвал в Эдинбург всю банду своих *borderers* и снарядил их словно для битвы. Не ведая стыда и сраму, с присущей ему бесцеремонностью и цинизмом, этот повадливый на все дурное человек устанавливает в Эдинбурге самый настоящий режим террора. «Дайте мне только дознаться, — заявляет он во всеуслышание, — чьи людишки разбросали по городу подметные грамоты, и я омою руки в их крови», — серьезнейшее предупреждение Леноксу. Он так и ходит, держа руку на кинжале, и точно так же, угрожая кинжалами, шатаются по городу его люди, недвусмысленно заявляя, что они не позволят, чтобы предводителя их клана, словно преступника, таскали по судам. Пусть только Ленокс посмеет сунуться сюда и оговорить его! Пусть только судьи попробуют осудить его, диктатора Шотландии!

Эти приготовления так афишируются, что у Ленокса не остается сомнений насчет того, что его ждет. Никто не возбращает ему приехать в Эдинбург и предъявить Босуэлу свои обвинения, но уж после этого Босуэл не выпустит его из города живым. И снова обращается он к своей заступнице Елизавете, и та без колебаний шлет Марии Стюарт весьма энергичное письмо, предупреждая ее, пока не поздно, не мирволить столь явному беззаконию, дабы не навлечь на себя подозрения в соучастии.

«Madame, я не позволила б себе беспокоить Вас этим письмом,— пишет она в крайнем раздражении,— когда б меня не приневолила к тому заповедь, предписывающая нам возлюбить ближнего, не приневолили слезные мольбы несчастных. Мне известно, Madame, Ваше распоряжение, коим разбирательство по делу лиц, подозреваемых в убийстве Вашего супруга, а моего почившего кузена, назначено на 12-е сего месяца. Чрезвычайно важно, чтобы событию этому не помешали тайные козни и коварные происки, что вполне возможно. Отец и друзья покойного смиренно молят меня воззвать к Вам, чтобы Вы отложили судебное заседание, так как известно стало, что некие бессовестные люди стараются силою добиться того, чего им не удастся достичь честным путем. Поэтому я и вынуждена вмешаться, как из любви к Вам, которой это касается ближе всего, так и для успокоения тех, кто неповинен в столь неслыханных злодеяниях, ибо даже если б Вы не ведали за собой вины, одного такого попустительства было бы достаточно, чтобы Вас лишили королевского сана и отдали на поругание черни. Но чем быть подвергнутой такому бесчестию, я бы пожелала Вам честно умереть».

Такой повторный выстрел в упор по нечистой совести должен был бы пробудить к жизни даже онемевшие, окаменелые чувства. Но нет никакой уверенности в том, что это предостережение, сделанное буквально в последнюю минуту, было своевременно получено Марией Стюарт. Ведь Босуэл начеку, этому сумасбродно смелому, неукротимому малому не страшен ни бог, ни черт, а уж на английскую королеву ему и вовсе наплевать. Чрезвычайного посланца Елизаветы, прибывшего с ее письмом, задерживают у ворот клеветы Босуэла и не пропускают во дворец: королева-де почивает и не может его принять. В полном недоумении бродит гонец, привезший одной королеве письмо от другой, по улицам города, не зная, как быть. Наконец он попадает к Босуэлу и вручает ему письмо, и временщик тут же нагло вскрывает его, прочитывает на глазах у посланца и равнодушно сует в карман. Передал ли он письмо Марии Стюарт, неизвестно, а, впрочем, это и неважно. Порабощенная

женщина давно уже ни в чем не перечит своему господину. Она даже, как потом говорили, позволила себе помахать Босуэлу из окна, когда тот в сопровождении своих конных головорезов отправился в Толбут, словно хотела пожелать заведомому убийце успеха в предстоящей комедии правосудия.

Но даже если Марию Стюарт миновало последнее предостережение Елизаветы, то отсюда не следует, что никто другой ее не остерег. За три дня до суда к ней наведалься ее сводный брат Меррей; уезжая в длительное путешествие, он пришел проститься. У Меррея явилось внезапное желание проехаться во Францию и Италию, «to see Venice and Milan»<sup>1</sup>. Мария Стюарт должна бы знать по неоднократному опыту, что столь поспешное исчезновение Меррея с политической арены предвещает перемену погоды, что он хочет своим демонстративным отсутствием заранее опротестовать позорную пародию на суд. Впрочем, Меррей и не скрывает истинной причины своего отъезда. Он рассказывает направо и налево, что пытался задержать Джеймса Балфура, как одного из главных участников убийства, но ему помешал Босуэл, всячески выгораживающий своих сообщников. А неделю спустя он открыто заявит в Лондоне испанскому послу де Сильва, что «считал оскорбительным для своей чести дальнейшее пребывание в стране, где подобные чудовищные злодеяния остаются безнаказанными». Кто говорит об этом так широко, тот, верно, не станет таиться от сестры. И действительно, когда Мария Стюарт прощалась с братом, многие видели на ее глазах слезы. Однако она не находит в себе сил удержать Меррея. Она больше ни на что не находит в себе сил, с тех пор как телом и душой предалась Босуэлу. Она может только плыть по течению, безвольная игрушка в его руках, ибо королева в ней отдалась во власть пылающей и покоренной женщины.

Наглым вызовом начинается двенадцатого апреля судебная комедия, и таким же наглым вызовом кончается она. Босуэл отправляется в Толбут, в здание суда,

---

<sup>1</sup> Повидать Венецию и Милан (англ.).

словно в атаку — с мечом на боку, с кинжалом за поясом, окруженный своими присными — около четырех тысяч числом, по явно преувеличенному, впрочем, подсчету; Леноксу же на основании указа, давно уже сданного в архив, разрешено взять с собой при въезде в город не более шести провожатых. Уже в этом сказалась пристрастность королевы. Однако явиться в суд и сразу же наткнуться на ошетинившиеся клинки Ленокс не решается; зная, что Елизавета послала Марии Стюарт письмо с требованием отложить процесс, и чувствуя за собой такую опору, он ограничивается тем, что посылает в Толбут одного из своих ленников для зачтения протеста. Отчасти запуганные, отчасти подкупленные землями, золотом и почестями, судьи с великим облегчением усматривают в неявке жалобщика удобный повод избавиться от неудобного судебного разбирательства. После якобы обстоятельного совещания (на самом деле все предрешено заранее) Босуэлу единодушно выносятся оправдательный приговор — он де непричастен «in any art and part of the said slaughter of the king»<sup>1</sup> — с постыдной, впрочем, ссылкой на «отсутствие обвинения». И этот шаткий приговор, которым ни один честный человек не удовлетворился бы, Босуэл превращает в свой триумф. Бряцая оружием, то и дело выхватывая меч из ножен и потрясая им в воздухе, разъезжает он по городу, громко вызывая на единоборство всякого, кто и теперь осмелится бросить ему обвинение в убийстве короля или хотя бы в пособничестве убийству.

И вот уже колесо с головокружительной быстротой мчится под уклон — в бездну. Смущенные обыватели потихоньку ропщут и сетуют на беспримерное попрание правосудия, а друзья Марии Стюарт только переглядываются с сокрушением (*with sore hearts*) и бессильно разводят руками. Эту безумную и остеречь нельзя. «Больно было видеть, — пишет лучший ее друг Мелвил, — как эта добрая государыня очертя голову несется навстречу гибели, и никто не может ни остеречь ее от опасности, ни удержать». Нет, Мария Стюарт никого не хочет

---

<sup>1</sup> Ни делом, ни помышлением к указанному убийству короля (англ.).

слушать, ей не нужны никакие предостережения; охваченная темным соблазном, подмывающим на любое безрассудство, стремится она все вперед и вперед; не оглядываясь, не спрашивая, не слушая, мчится все дальше и дальше на свою погибель эта одержимая страстью менада. Вскоре после того достопамятного дня, когда Босуэл бросил вызов городу, она наносит оскорбление всей стране, предоставив этому закоренелому злодею высшую почесть, какую располагает Шотландия,— совершая свой торжественный выход в день открытия парламентской сессии, она поручает Босуэлу нести впереди нее национальные святыни—корону и скипетр. Теперь уже никто не сомневается, что тот самый Босуэл, который сегодня держит корону в своих руках, завтра возложит ее себе на голову. И в самом деле, Босуэл — и это каждый раз особенно восхищает нас в неукротимом кондотьере — не из тех, кто долго таится. Нагло, напористо и открыто добивается он заветной награды. Презрев стыд и совесть, заставляет он парламент «за выдающиеся заслуги», «for his great and manifold gud service» преподнести ему самый укрепленный замок страны — Данбар, и, благо лорды собрались все вместе и послушны его воле, он, взяв их за горло, вырывает у них и последнее: согласие на его брак с Марией Стюарт. Вечером, по окончании парламентских занятий, Босуэл, как великий вельможа и военный диктатор, приглашает всю братию отужинать в таверне Эйнслея. После дружных возлияний, когда большинство перепилось — вспоминается знаменитая сцена из «Валленштейна», — он предлагает лордам подписать бонд, по которому те обязуются не только защищать Босуэла от любого клеветника, но также рекомендовать он-го благородного могущественного лорда, «noble puissant lord», в супруги королеве. Поскольку Босуэл признан невиновным всеми пэрами страны, а рука ее величества свободна, говорится в пресловутой грамоте, то ей, «ревнуя к общему благу, следовало бы снизить до брака с одним из ее подданных, а именно с названным лордом». Они же «как перед богом клянутся» поддерживать указанного лорда и защитить его против всех, кто захочет помешать или воспрепятствовать этому браку, не щадя для этого ни крови своей, ни достояния.

Один-единственный из присутствующих пользуется наступившим после чтения замешательством, чтобы незаметно покинуть таверну; другие потому ли, что дом окружен вооруженными приспешниками Босуэла, или потому, что про себя они решили при первом же удобном случае отступить от подневольной присяги, подмахнули грамоту. Они знают: что написано пером, прекрасно смывается кровью. А потому никто особенно не задумывается: что значит для этой братии какой-то росчерк пера! Все подписываются и продолжают пировать и бражничать, а пуще всех веселится Босуэл. Наконец-то желанный приз у него в руках и он у цели. Еще несколько недель — и то, что кажется нам в «Гамлете» небывальщиной, поэтической гиперболой, становится здесь действительностью: королева, «еще и башмаков не износив, в которых прах сопровождала мужа», идет к алтарю с его убийцей. Quos deus perdere vult...

## ПУТЬ БЕЗЫСХОДНЫЙ

*С апреля по июнь 1567 года*

Нсвольно, по мере того как трагедия «Босуэл», нарастая, стремится к своей высшей точке, нам, словно по какому-то внутреннему принуждению, все снова и снова вспоминается Шекспир. Уже внешнее сюжетное сходство этой трагедии с «Гамлетом» неоспоримо. И тут и там — король, вероломно убранный с дороги любовником жены, и тут и там — вдова, с бесстыдной поспешностью устремляющаяся к венцу с убийцею мужа, и тут и там — неугасающее действие сил, рожденных убийством, которое труднее скрыть и от которого труднее скрыться, чем было совершить его. Уже одно это сходство поражает. Однако еще сильнее, еще неодолимее воздействует на чувство поразительная аналогия многих сцен шекспировской шотландской траге-

дии с исторической. Шекспировский «Макбет», сознательно или бессознательно, сотворен из атмосферы драмы «Мария Стюарт»; то, что волею поэта произошло в Дунсинанском замке, на самом деле не так давно происходило в Холируде. И тут и там то же одиночество после содеянного, тот же тяжкий душевный мрак, те же овечьные жутью пиршества, на которых гости не смеют отдаться веселью и откуда они втихомолку бегут один за другим, между тем как черные вороны несчастья, зловеще каркая, кружат над домом. Порой не скажешь: Мария ли Стюарт ночами блуждает по дому в помрачении разума, не ведая сна, смертельно терзаемая совестью, или же то леди Макбет, пытающаяся смыть невидимые пятна с обгаренных кровью рук? То ли Босуэл перед нами, то ли Макбет, все решительнее и непримиримее, все дерзновеннее и отважнее противостоящий ненависти всей страны и в то же время знающий, что все его мужество бесплодно и что смертному не одолеть бессмертных духов. И здесь и там — страсть женщины как движущее начало и мужчина как исполнитель, но особенно здесь и там схожа атмосфера, гнетущая тяжесть, нависшая над заблудшими, замученными душами, женщиной и женщиной, что прикованы друг к другу одним и тем же преступлением и увлекают один другого в пагубную бездну. Никогда в мировой истории и мировой литературе психология преступления и таинственно тяготеющая над убийцей власть убиенного не проявлялись так блистательно, как в обеих шотландских трагедиях, из коих одна была сочинена, а другая реально пережитая.

Это сходство, эта поразительная аналогия только ли случайны? Или же должно признать, что в шекспировском творении реально пережитая трагедия Марии Стюарт нашла свое поэтическое и философское истолкование? Впечатления детства неугасимо властвуют над душой поэта, и таинственно преобразует гений ранние впечатления в вечную, непреходящую действительность. Одно несомненно: Шекспиру были известны события, происшедшие в Холирудском замке. Все его детство в английском захолустье было овечно рассказами и легендами о романтической королеве, которой безрассудная страсть стоила страны и престола, и теперь, в наказание, ее постоянно перевозят из одного английского

замка в другой: Он, верно, совсем недавно прибыл в Лондон, этот юноша — лишь наполовину мужчина, но уже вполне поэт, — когда по всему городу трезвонили колокола, ликуя оттого, что великая противница Елизаветы наконец-то сложила голову на плахе и что Дарнлей увлек за собой в могилу неверную жену. Когда же впоследствии в Голиншедовой хронике он натолкнулся на повесть о сумрачном короле Шотландском, быть может, вспыхнувшее воспоминание о трагической гибели Марии Стюарт таинственным образом связало обе эти темы в творческой лаборатории поэта? Никто не может утверждать с уверенностью, но никто не может и отрицать, что трагедия Шекспира была обусловлена той, реально пережитой трагедией. Но лишь тот, кто прочитал и прочувствовал «Макбета», сможет полностью понять Марию Стюарт тех, холирудских дней, невыразимые муки сильной души, которой самое дерзновенное ее деяние оказалось не под силу.

Но что особенно поражает нас в обеих трагедиях, как вымышленной, так и реально пережитой, это полная аналогия в том, как меняются под влиянием содеянного обе героини — Мария Стюарт и леди Макбет. Леди Макбет вначале — преданная, пылкая, энергичная натура, с сильной волей и пламенным честолюбием. Она презит о величии своего супруга, и эта строка из памятного сонета Марии Стюарт могла быть написана ее рукой: «Pour luy je veux rechercher la grandeur...»

Основной стимул преступления — в ее честолюбии, и она действует хитро и решительно, пока дело — лишь тень ее желания, лишь замысел и план, пока алая горячая кровь не обагрила ей руки, не запятнала душу. Льстивыми речами, как и Мария Стюарт, завлекшая Дарнлея в Керк о'Филд, зазывает она Дункана в опочивальню, где его ждет отточенный клинок. Но сразу же после содеянного она уже другая, ее силы исчерпаны, мужество сломлено. Огнем сжигает совесть ее живую плоть, с остановившимся взором, безумная, бродит она по замку, внушая друзьям ужас, а себе — отвращение. Неуголимая жажда разведает ее измученный мозг — жажда все забыть, ни о чем не думать, ничего не знать,

жажда небытия. Но такова же и Мария Стюарт после убийства Дарнлея. С ней происходит перемена, внезапное превращение, даже черты ее лица так несхожи с прежними, что Друри, соглядатай Елизаветы, доносит в Лондон: «Никогда еще не было видно, чтобы за такой короткий срок и не будучи больной женщина так изменилась внешне, как изменилась королева». Ничто больше не напоминает в ней ту жизнерадостную, разумную, общительную, уверенную в себе женщину, какой все знали ее лишь за несколько недель. Она уединяется, прячется, замыкается в себе. Быть может, подобно Макбету и леди Макбет, она все еще надеется, что мир промолчит, если молчать будет она, и что черная волна милосердно пронесется над ее головой. Но по мере того, как все настойчивее звучат голоса и требуют ответа; по мере того, как ночами на улицах Эдинбурга, под самыми ее окнами, все громче выкликают имена убийц; по мере того, как Ленокс, отец убитого, ее недруг Елизавета, ее друг Битон, как весь мир восстает против нее, требуя суда и справедливости,— рассудок ее мутится. Она знает: нужно что-то сделать, чтобы скрыть содеянное, оправдаться. Но не находит сил для убедительного ответа, не находит умного обманного слова. Точно в глубоком гипнотическом сне, слышит она голоса из Лондона, Парижа, Мадрида, Рима, они обращаются к ней, увещают, остерегают, но она не в силах воспрянуть, она слышит эти зовы лишь как заживо погребенный, слышит шаги идущих по земле,—бессильно, беспомощно, из глубины отчаяния. Она знает: надо разыграть безутешную вдову, отчаявшуюся супругу, надо иступленно рыдать и вопить, чтобы мир поверил ее невиновности. Но в горле у нее пересохло, она не в силах заговорить, не в силах больше притворяться. Неделя тянется за неделей, и наконец она чувствует: больше ей этого не вынести. Подобно тому, как загнанная лань с мужеством отчаяния поворачивается и бросается на преследователей, подобно тому, как Макбет, стремясь защитить себя, громоздит все новые убийства на убийства, взывающие о мщении, так и Мария Стюарт вырывается наконец из сковавшего ее оцепенения. Ей уже все равно, что подумает мир, все равно — разумно или безрассудно она поступает. Лишь бы не эта онемелость, лишь бы что-то делать, двигаться

все вперед и вперед, все быстрее и быстрее, бежать от этих голосов, убеждающих и угрожающих. Лишь бы вперед и вперед, не задерживаться на месте и не думать, а то как бы не пришлось сознаться себе самой, что никакая мудрость ее уже не спасет. Одна из тайн нашей души заключена в том, что на короткий срок быстрое движение заглушает в нас страх; словно возница, который, слыша, что мост под ним гнется и трещит, все шибче нахлестывает лошадей, ибо знает, что лишь сумасшедшая езда может его спасти, так и Мария Стюарт во всю мочь гонит вороного коня своей судьбы, чтобы задавить последние сомнения, растоптать любое прекословие. Только бы не думать, только бы не знать, не видеть — все дальше и дальше в дебри безумия! Лучше страшный конец, чем бесконечный страх! Таков непреложный закон: как камень падает тем быстрее, чем глубже скатывается в бездну, так и заблудшая душа без памяти торопится вперед, зная, что кругом безысходность.

Ни один из поступков Марии Стюарт в недели, следующие за убийством, не поддается объяснению доводами разума, а единственно лишь душевным затмением на почве безмерного страха. Даже в своем неистовстве не могла она не понимать, что честь ее навеки загублена и утрачена, что вся Шотландия, вся Европа увидит в браке, заключенном спустя лишь несколько недель после убийства, да еще с убийцею ее супруга, надругательство над законом и добрыми нравами. Достаточно было бы любовникам затаиться и выждать год-другой, и все эти обстоятельства, возможно, позабылись бы. При искусной дипломатической подготовке можно было бы тысячу объяснений придумать, почему именно Босуэла избрала она в супруги. И только одно неизбежно грозило столкнуть Марию Стюарт в бездну гибели — решишь она кощунственно нарушить траур и бросить вызов всему миру, с преступной торопливостью возложив корону убитого на голову убийцы. Но именно к этому стремится Мария Стюарт в своем постыдном нетерпении.

Для столь необъяснимого поведения обычно разумной и тактичной женщины существует одно лишь объяс-

нение: у Марии Стюарт нет выхода. По-видимому, ей нельзя ждать, что-то мешает ей ждать, так как всякое ожидание, всякая проволочка грозит разоблачить перед миром то, чего ни одна душа еще не подозревает. И нет иного объяснения для такого безоглядного бегства в брак с Босуэлом, как то — последующие события подтвердят эту догадку, — что несчастная уже знала о своей беременности. Но ведь не сына Генри Дарнлея, не королевского отпрыска носит она под сердцем, а плод запретной, преступной любви. Однако королеве Шотландской не подобает произвести на свет внебрачного младенца, да еще при обстоятельствах, что огненными письменами вещают на всех стенах о ее вине или соучастии. Ибо с непреложной ясностью вышло бы наружу, каким забавам предавалась она со своим возлюбленным в дни траура; ведь каждый может сосчитать, вступила ли Мария Стюарт — и то и другое одинаково зазорно! — в предосудительную связь с Босуэлом до убийства Дарнлея или сразу же после него. Только поторопившись узаконить рождение ребенка, может она спасти его честь, а отчасти и собственную. Ведь если его появление на свет застанет ее супругой Босуэла, слишком ранние роды не так бросятся в глаза, да и рядом будет человек, который даст ребенку свое имя и отстоит его права. А потому каждый месяц, каждая неделя проволочки — непоправимо упущенное время. Быть может, ей кажется — ужасная альтернатива! — что чудовищное решение взять в мужья убийцу своего мужа все же менее позорно, чем родить внебрачного ребенка и этим открыто признать свой грех. Только допустив как некую вероятность такое неумолимое вмешательство природы, ее элементарных законов, можно как-то понять противоестественное поведение Марии Стюарт в течение этих недель — все прочие домыслы искусственны и лишь затемняют картину ее душевного состояния. Только приняв в соображение этот страх — страх, который миллионы женщин всех времен узнали на собственном опыте, который и самых честных и смелых не раз приводил к превратным и преступным решениям, — мучительный страх перед тем, как бы непрошенная беременность не раскрыла тайны, — можно уяснить себе, что заставляло потрясенную женщину так торопиться. Только это, единственно это соображение при-

дает какой-то смысл бессмысленной спешке, одновременно открывая взгляду всю глубину трагедии этой несчастной.

Страшная, убийственная ситуация, сам дьявол не выдумал бы более ужасной. Время не ждет, время, поскольку королева знает, что беременна, вынуждает ее торопиться, а с другой стороны, именно торопливость навлекает на нее подозрение. Как королева Шотландии, как вдова, как женщина, дорожащая своей честью и доброй славой и знающая, что вся страна, весь европейский мир глаз с нее не сводят, Мария Стюарт и думать не должна о супруге с такой сомнительной, ужасной репутацией, как у Босуэла. Но беспомощная женщина, попавшая в безвыходное положение, она в нем одном видит спасителя. Она и не должна выходить за него замуж и должна непременно. А чтобы мир не угадал истинной причины ее поступка, надо было изобрести другую, от нее не зависящую причину в объяснение этой безумной горячки. Надо было изобрести такой предлог, который сообщил бы смысл невысказанному с точки зрения морали и закона поступку,— предлог, который сделал бы брак Марии Стюарт печальной необходимостью.

Однако что может заставить королеву заключить столь неравный брак, снизить до человека столь скромного ранга? Кодекс чести того времени лишь в одном случае допускал такую уступку: если женщина насильственно обесчещена, виновник обязан был женитьбою восстановить ее честь. Только как оскорбленная женщина могла бы Мария Стюарт с некоторым правом отважиться на этот союз, только тогда можно было бы внушить народу, что она подчинилась неизбежности.

Единственно лишь безысходное отчаяние могло породить такой фантастический план. Только полнейший сумбур в голове мог привести к такому сумбурному решению. Даже Мария Стюарт, столь отважная и решительная в критические минуты, отступает в ужасе, когда Босуэл предлагает ей разыграть этот трагический фарс. «Лучше мне умереть, я чувствую, все кончится ужасно»,— пишет эта мученица. Но что бы ни говорили о Босуэле моралисты, он верен себе в своей великолепной отваге отчаянного сорвиголовы. То, что ему предстоит

разыграть перед всей Европой роль отпетого негодяя, насильника, посягнувшего на честь своей королевы, разбойника с большой дороги, цинично презирующего доброту и закон, нисколько его не смущает. Да хоть бы перед ним распахнулись врата ада, не такой он человек, чтобы остановиться на полдороге, когда на карту поставлена корона! Нет опасности, перед которой он отступил бы,—невольно вспомнишь моцартова Дон Жуана, его дерзновенную выходку, когда он приглашает каменного командора откушать с ним. Рядом с Босуэлом трясется Лепорелло — его шурин Хантлей, согласившийся за взятку в виде кое-каких церковных владений благословить развод Босуэла со своей сестрой. При мысли о столь рискованной комедии душа у трусоватого рыцаря уходит в пятки, и он бросается к королеве, пытается ее отговорить. Но Босуэла не тревожит отпадение еще одного союзника, после того, как он бросил вызов всему миру: не пугает его и то, что план увоза, по-видимому, кем-то выдан — соглядатай Елизаветы доносит о нем в Лондон накануне назначенного срока; ему безразлично, будет похищение принято за чистую монету или нет, лишь бы оно привело его к цели — стать королем. Он делает все, что ни вздумает, не боится ничего на свете, и у него еще хватает силы увлечь за собой свою противящуюся жертву.

Ибо, как опять-таки показывают письма из ларца, судорожно восстает какое-то внутреннее чутье Марии Стюарт против железной воли ее господина. Явственно говорит ей предчувствие, что напрасен и этот новый обман, что им не удастся никого обмануть, кроме самих себя. Но, послушная раба, она и на этот раз безропотно подчиняется Босуэлу. Так же покорно, как недавно она помогала ему увести Дарнлея из Глазго, так и теперь с тяжелым сердцем помогает она «увести» самое себя, и вся комедия согласованного «похищения» разыгрывается как по нотам.

Двадцать первого апреля, спустя несколько дней после вынужденного оправдания Босуэла на суде дворян и «награждения» его парламентом, — двадцать первого апреля, еще и двух суток не прошло, как Босуэл в харчев-

не Эйнслея выманил у лордов согласие на свой брак с королевой, и ровно девять лет минуло, как она полу-ребенком была обвенчана с французским дофином,— Мария Стюарт, доселе не слишком заботливая мамаша, вдруг изъявляет горячее желание проведать своего сыночка в замке Стирлинг. Недоверчиво встречает ее граф Мар, официальный опекун наследника,— до него, видимо, дошли темные слухи. Только в присутствии других женщин дозволено Марии Стюарт встретиться с сыном— верно, лорды страшатся, как бы она не завладела младенцем и не выдала его Босуэлу: всем уже ясно, что эта женщина готова выполнить любое, хотя бы и преступное приказание своего тирана. В сопровождении нескольких всадников, в том числе Мэйтленда и Хантлея, конечно, во все посвященных, возвращается королева в Эдинбург. Но в шести милях от города из засады выскакивает большой конный отряд во главе с Босуэлом и «нападает» на королевский кортеж. Дело, разумеется, обходится миром; «во избежание кровопролития» Мария Стюарт запрещает своим спутникам оказать сопротивление. Достаточно Босуэлу схватить за повод ее коня, как королева добровольно «сдается в плен»—позволяет увезти себя в сладостное заточение в замке Данбар. Какому-то переусердствовавшему капитану, который, собрав подмогу, разлетелся было освободить ее, дают понять, что в его услугах не нуждаются, а взятых в плен Мэйтленда и Хантлея наилучшим образом отпускают по домам. Никто не пострадал, все с миром отправляются восвояси, и только королева остается в плену у возлюбленного «насилыника». Больше недели «жертва» делит ложе похитителя, а между тем в Эдинбурге с величайшей поспешностью и не щадя затрат обстрипывают дело о разводе Босуэла с его законной супругой— сначала в протестантском суде под весьма шатким предлогом, будто Босуэл нарушил супружескую верность, согрешив со служанкою, а затем и в католическом,— судьи с запозданием спохватились, что Босуэл состоит со своей женой Джейн Гордон в каком-то отдаленном родстве. Но вот благополучно завершена и эта темная сделка. Пришло время объявить миру, что Босуэл, как дерзкий разбойник с большой дороги, напал на бедную королеву и в своей необузданной похоти надругался над ней, и те-

перь только брак с человеком, овладевшим ею против воли, может восстановить поруганную честь королевы Шотландской.

Однако «похищение» сработано чересчур уж топорно: никто всерьез не верит, что над королевой Шотландии «учинено насилие», и даже испанский посланник, наиболее из всех благожелательный, доносит в Мадрид, что все это чистейшая уловка.

Но как ни странно, именно те, кому обман особенно ясен, притворяются, будто они убеждены в факте насилия. Лорды, тем временем подписавшие новый «бонд» на предмет полного свержения Босуэла, отваживаются почти на остроумную каверзу: они принимают версию о похищении королевы со всей подобающей серьезностью. Внезапно преисполнясь трогательной верности, они заявляют с великим возмущением, что государыня их страны «насильственно содержится в заточении, сие же есть величайшее надругательство над честью Шотландии». С необычным единомыслием договариваются они вырвать беззащитную овечку из пасти злого волка Босуэла. Наконец-то они обрели желанный повод напасть на грозного диктатора из-за угла под флагом ультрапатриотизма. Наспех сговариваются они «избавить» Марию Стюарт от Босуэла и этим помешать свадьбе, которую сами еще неделю назад поощряли.

Разумеется, для Марии Стюарт не может быть худшей услуги, чем это внезапное и назойливое попечение лордов, вознамерившихся вырвать ее из когтей «насильника». Тем самым у нее выбиты из рук карты, которые она смешала с таким хитрым расчетом. И так как она отнюдь не хочет быть «избавленной» от Босуэла, а, наоборот, хочет навек с ним соединиться, то ей приходится по возможности свести на нет выдумку, будто он ее обесчестил. Если еще вчера она усиленно чернила Босуэла, то сегодня не знает, как его обелить. Весь фарс теряет, таким образом, всякий смысл. Чтобы уберечь своего обольстителя от суда и расправы, она выгораживает его со всеми увертками заправского адвоката. «Поначалу с ней, правда, обошлись несколько странно, зато уж потом— как нельзя лучше, и у нее нет оснований жаловаться». А так как не было рядом никого, кто бы

мог прийти ей на помощь, то она «была вынуждена умерить свое первоначальное неудовольствие и здраво поразмыслить над сделанным предложением». Все постыднее становится положение женщины, запутавшейся в дебрях страсти. Последняя прикрывавшая ее пелена стыдливости разодрана в клочья, и, вырвавшись из чащи, стоит она обнаженная перед насмешкою всего мира.

Глубокое замешательство охватывает друзей Марии Стюарт, когда в первых числах мая они встречают свою высокочтимую королеву при ее возвращении в Эдинбург: Босуэл ведет коня под уздцы, а его солдаты в знак того, что она следует за ним по доброй воле, бросают свои копья наземь. Напрасно пытаются истинные доброжелатели Марии Стюарт и Шотландии предостеречь ослепленную. Французский посланник Дю Крок заявляет ей, что брак с Босуэлом — это конец дружбы с Францией; один из ее верных, лорд Херрис, бросается к ее ногам, а испытанному Мелвилу, который еще в последнюю минуту старается помешать этому браку, приходится бежать от гнева Босуэла. С сокрушенным сердцем взирают они на то, как эта отважная, независимая женщина отдается на волю оголтелого авантюриста, и с тревогой предвидят, что в сумасбродном нетерпении соединиться с убийцей своего мужа она неминуемо утратит престол и честь. Зато враги ее торжествуют. Сбылись во всем своем страшном значении мрачные пророчества Джона Нокса. Его преемник Джон Крэг отказывается вывесить в храме греховное оглашение; не обинуясь называет он этот брак «*odious and slanderous before the world*»<sup>1</sup> и только тогда вступает в переговоры, когда Босуэл грозитя отправить его на виселицу. Марии Стюарт приходится все ниже и ниже клонить голову. Теперь, когда все знают, как она спешит со свадьбой, каждый бесстыдный вымогатель старается сорвать с нее побольше. Хантлей за хлопоты о разводе Босуэла получает доставшиеся короне церковные земли; католического епископа умамливают высокими титулами и назначениями; но самую тяжкую мзду налагает на нее протестантское духовенство. Суровым судьей, а не подданным выступает перед королевою и Босуэлом пастор, требующий от нее

---

<sup>1</sup> «Презренным и позорным перед всем миром» (англ.).

публичного самоуничужения: пусть она, католическая государыня, племянница Гизов, обвенчается и по реформатскому, еретическому, чину. Решившись на эту позорную уступку, Мария Стюарт теряет последнюю опору, единственный козырь, какой у нее оставался: лишается поддержки католической Европы, утрачивает благоволение папы, симпатии Испании и Франции. Теперь она одна против всех. Сбылись слова одного из ее сонетов:

Pour luy depuis j'ay mesprise l'honneur,  
Ce qui nous peult seul pourvoir de bonheur.  
Pour luy j'ay hazardè grandeur & conscience,  
Pour luy tous mes parens j'ay quitte & amis.

Я для него забыла честь мою —  
Единственное счастье нашей жизни,  
Ему я власть и совесть отдаю,  
Я для него покинула семью,  
Презренной стала в собственной отчизне.

Но нет средства помочь тому, кто сам себя отдал на закляние: бессмысленных жертв не принимают боги.

История не помнит за многие столетия такой трагической свадьбы, как та, что имела место 15 мая 1567 года: все унижение Марии Стюарт, как в зеркале, отразилось в этой мрачной картине. Первый ее брак с французским дофином был заключен среди бела дня; то был день блистательного торжества. Десятки тысяч зрителей приветствовали юную королеву, вся знать стеклась из городов и весей; послы всех государств прибыли полюбоваться на то, как окруженная королевской фамилией и цветом рыцарства дофина торжественно шествует в Нотр-Дам. Мимо ликующих трибун, мимо восторженно машущих окон проследовала она в пышной процессии, и весь народ благоговейно и радостно взирал на нее. Уже вторая свадьба была куда скромнее. Не среди бела дня, а в сумерках рассвета, в шесть часов утра, соединил ее священник с правнуком Генриха VII. Однако же на торжество явилась вся знать, присутствовали послы, целые дни напролет шло пирувание, Эдинбург веселился напропалую. Эта же, третья свадьба — с Босуэлом (его еще второпях жалуют титулом герцога Оркнейского) — совершается тайком, словно преступление. В четыре часа

утра — город еще спит, ночь нависла над крышами — несколько робких фигур незаметно прокрадываются в замковую часовню, ту самую — не прошло еще и трех месяцев, и королева еще не сняла свой траурный наряд, — где отпевали ее убитого супруга. Пусто на сей раз в часовне. Приглашено много гостей, но явилось оскорбительно мало, никому не хочется быть свидетелем того, как королева Шотландии наденет кольцо на руку, злодейски прикончившую Генри Дарнлея. Почти никто из лордов королевства не счел нужным прийти и даже не удосужился извиниться, Меррей и Ленокс покинули страну, Мэйтленд и Хантлей — даже эти полуверные держатся поодаль, а единственный человек, которому она, истовая католичка, поверяла до сих пор свои тайные мысли, ее духовник, навсегда ее покинул: печально возвещает страж ее совести, что отныне считает ее своей утерянной овечкой. Ни один человек, дорожащий честью, не хочет видеть, как убийца Дарнлея берет в супружество жену убиенного и как служитель божий благословляет кощунственный союз. Напрасно умоляет Мария Стюарт французского посланника быть на свадьбе, чтобы придать торжеству хотя бы видимость блеска. Всегда столь обязательный друг, он наотрез отказывается прийти. Ведь его присутствие могут истолковать как соизволение Франции. «Еще подумают, — возражает он в свое оправдание, — что мой король как-то в этом замешан»; к тому же он не хочет признать в Босуэле супруга Марии Стюарт. Священник не служит обедни, молчит орган, обряд совершается с неприличной поспешностью. Вечеру слуги не осветили свечами зал, готовя его к танцам, не снарядили пиршественных столов. Никто с криками «*Largesse, largesse!*»<sup>1</sup> не швырял денег в народ, как это было на ее предыдущей свадьбе; холодная, пустая и сумрачная часовня напоминает гроб; угрюмо, словно плакальщики на похоронах, выстроились свидетели странного празднества. Свадебный кортеж не шествует через весь город по ликующим улицам; издрогнув в пустынной часовне, удаляются новобрачные во внутренние покои и прячутся за крепкие затворы.

Именно теперь, когда она у цели, к которой не-

---

<sup>1</sup> Щедрость, щедрость! (франц.).

слась, бросив поводья, не разбирая дороги, именно теперь в душе у Марии Стюарт происходит какой-то надлом. Исступленная ее мечта завладеть Босуэлом и удержать его — сбылась; лихорадочно ждала она, вперив глаза в одну точку, желанного часа соединения в обманчивой надежде, что его близость, его любовь победят страх. Но теперь, когда ее воспаленный взор не устремлен к одной цели, глаза ее прозревают; она оглядывается и видит вокруг себя пустоту, ничто. Даже между ним, безрассудно любимым, и ею сразу же после женитьбы пошли нелады: всегда, когда двое вовлекают друг друга в гибель, начинаются упреки и взаимные обвинения. Уже в трагический день свадьбы французский посол находит королеву, обезумевшую, убитую горем. Еще не спустился вечер, а между супругами уже пролегла холодная тень. «Началось похмелье,— сообщает Дю Крок в Париж.— Когда в четверг Ее Величество приехала за мной, я сразу почувствовал, что между ними не все ладно. Чтобы отвести мне глаза, она сказала: если я нахожу ее печальной, то лишь потому, что она ничего уже не ждет от жизни и жаждет одной лишь смерти. Вчера из-за запертой двери, где они были одни с графом Босуэлом, вдруг раздались ее крики: пусть ей дадут нож, она хочет покончить с собой. Люди в соседней комнате, слышавшие эти вопли, выражали опасения, как бы она чего над собой не сотворила,— один только бог в силах ей помочь». Ходят все новые слухи о раздорах между супругами. Босуэл, очевидно, смотрит на развод со своей юной красавицей женой как на пустую формальность и все ночи проводит с ней, а не с Марией Стюарт. «Со дня злополучной свадьбы,— сообщает посол в Париж несколько позднее,— Мария Стюарт не перестает стелать и лить слезы». Итак, не успела ослепленная женщина достигнуть того, чего так пламенно добивалась, как она уже знает, что все для нее потеряно и что даже смерть была бы избавлением от той пытки, на которую она себя обрекла.

Три недели длится этот горький медовый месяц — три недели неизбежного страха и агонии. Все старания норовчатых как-нибудь удержаться, спастись идут прахом.

Босуэл на людях сугубо почтителен и нежен с королевой, он сама преданность и уважение, но никакие слова и позы уже ничего не могут изменить; в сумрачном молчании взирает город на преступную чету. Тщетно старается диктатор снискать любовь народа: он разыгрывает простодушного, доброго, благочестивого правителя; он посещает проповеди реформатских священников, однако протестантское духовенство держится так же враждебно, как и католическое. Он пишет смиренные письма Елизавете — она не внемлет. Он обращается в Париж — его не замечают. Мария Стюарт зовет своих лордов — те шагу не делают из Стирлинга. Она требует, чтобы ей вернули сына, — никакого ответа. Все затаилось, все зловеще немотствует вокруг обреченной пары. Босуэл для поднятия духа еще устраивает напоследок маскарад и водные игрища; он сам участвует в них, и королева с трибуны улыбается ему бледной улыбкой. В зеваках, как всегда, недостатка нет, но ликования не слышно. Какое-то оцепенение страха, какая-то мертвая неподвижность объяла страну, одно неосторожное движение — и грянет буря возмущения и гнева.

Однако Босуэл не из тех, кто обольщается сентиментальными иллюзиями. Опытный моряк, он чувствует в этой зловещей тишине предвестие бури. Как всегда решительный, он берется за приготовления. Он знает: в закладе его голова, и последнее слово в близком споре скажет оружие. Лихорадочно набирает он отовсюду конных и пеших ратников, чтобы достойно встретить нападение. С готовностью жертвует Мария Стюарт для его наемников все, чем она еще может пожертвовать: продает драгоценности, занимает где только можно и даже — позор для шотландской, оскорбление для английской королевы — отдает перелить недавно привезенную золотую купель — дар Елизаветы крестнику, — чтобы получить лишний десяток золотых монет и хоть немного продлить агонию. Но от молчания лордов все больше веет грозой, свинцовые тучи обложили королевский замок, вот-вот ударит молния. Босуэлу слишком знакомо коварство его сотоварищей, чтобы доверять этому спокойствию; он знает: на него готовится вероломное нападение. И чем ждать приступа в незащищенном Холируде, он седьмого июня, без малого три недели спустя

после бракосочетания, бежит в неприступную Бортуикскую крепость, поближе к своим верным. Туда же созывает Мария Стюарт на двенадцатое июня, очевидно, в последней попытке обратиться к народу, своих «*subjects, poblemen, knights, esquires, gentlemen and yeomen*»<sup>1</sup>, предлагая им явиться в полном вооружении, с шестидневным запасом довольствия; видимо, Босуэл замыслил молниеносным ударом разбить всю шайку своих врагов, прежде чем они соберутся с силами.

Но как раз это бегство из Холируда и придает лордам храбрости. С великой поспешностью подступают они к Эдинбургу и захватывают его, не встречая сопротивления. Подручный Босуэла, убийца Джеймс Балфур, торопясь отречься от своего сообщника, сдает врагу неприступный замок. Обеспечив себе таким образом тыл, две-три тысячи всадников могут спокойно ударить на Бортуик, чтобы захватить Босуэла еще до того, как он приведет войско в боевую готовность. Но Босуэл не дает взять себя голыми руками. Недолго думая, выскакивает он в окно и очертя голову мчится прочь, оставив королеву одну в Бортуикском замке. Лорды все еще не отваживаются обнажить оружие против своей монархини и только уговаривают ее порвать с ее погубителем Босуэлом. Однако злосчастная женщина по-прежнему телом и душой предана своему тирану; ночью, переодетая в мужское платье, она смело садится в седло и одна, без провожатых, кинув все на произвол судьбы, скачет в Данбар, чтобы с ним жить или умереть.

Некий многозначительный сигнал должен был бы подсказать королеве, что дело ее безнадежно потеряно. В день их бегства в Бортуикский замок внезапно исчезает «*without leave-taking*»<sup>2</sup> ее последний советник Мэйтленд Летингтонский, единственный, кто и в дни ослепления Марии Стюарт относился к ней с известной благожелательностью. Сравнительно большой отрезок рокового пути пройден Мэйтлендом вместе с его госпожой; быть может, никто так усердно, как он, не помогал спле-

---

<sup>1</sup> «Подданных, дворян, рыцарей, эсквайров, джентльменов и йоменов» (англ.).

<sup>2</sup> Не простясь (англ.).

сти удавку для Дарнлея. Но теперь и он учуял задувший противный ветер и, как истый дипломат, всегда поворачивающий свой парус в сторону сильнеешего, а не бессильного, не хочет больше отстаивать безнадежное дело. Воспользовавшись суетой при переезде в Бортуик, он поворачивает коня и, незаметно отстав от королевского поезда, направляется в стан лордов. Последняя крыса бежит с тонущего корабля.

Но ничто уже не может испугать или остеречь неисправимую Марию Стюарт. Опасность, как всегда, лишь разжигает в этой изумительной женщине неукротимую отвагу, которая и самым сумасбродным ее выходкам сообщает какое-то романтическое очарование. Прискакав в Данбар в мужском платье, она не находит здесь ни королевского убора, ни лат, ни оружия. Неважно! Что ей теперь жеманство и придворный этикет! На войне как на войне! И Мария Стюарт, не задумываясь, занимает у бедной женщины одежду, какую носит просто-народе: короткую клетчатую юбочку, kilt, красную блузу и бархатную шляпу; пусть у нее в этом одеянии неподобающий, не королевский вид — только бы скакать бок о бок с тем, кто для нее весь мир, с тех пор как она всего лишилась. Босуэл второпях строит свое разношерстное войско. Никто из рыцарей, дворян и лордов не явился на зов, страна уже не повинуетя своей королеве, и только двести наемных аркебузирова в качестве ударного отряда движутся на Эдинбург, а за ними тянется плохо вооруженная орда пограничных крестьян и горцев — в общем, человек тысяча с небольшим. Единственно неколебимая воля Босуэла, стремящегося опередить лордов, гонит их вперед. Босуэл знает: лишь безрассудная храбрость способна иной раз спасти то, что кажется рассудку полной безысходностью.

У Карберри-хилла, в шести милях от Эдинбурга, сходятся два полчища (полками их не назовешь). Численное превосходство на стороне королевского войска. Но ни один из лордов, ни один из этих великолепно снаряженных благородных всадников не становится под вызывающе развернутое знамя с королевским львом: кроме наемных аркебузирова, за Босуэлом следуют лишь кое-как

вооруженные и не слишком воинственно настроенные люди его клана. А напротив, на расстоянии не более полумили, так близко, что Мария Стюарт различает знакомые лица своих противников, сверкающими шеренгами на чудо-конях выстроились воинственные лорды, радуясь предстоящему делу. Под странным они собрались знаменем, водрузив его как раз насупротив королевского штандарта. На белом поле, распростертое под деревом, лежит тело убитого. Рядом на коленях дитя, плача, простирает ручонки к небу со словами: «Господи, к тебе взываю о суде и мести!» Тем самым лорды, еще недавно наушавшие Босуэла расправиться с Дарнлеем, хотят представить себя благородными мстителями, а также дать понять, что только против убийцы Дарнлея выступили они вооружась, а отнюдь не восстали против своей королевы.

Ярко и многоцветно полощутся на ветру оба знамени. Но ни там, ни здесь не чувствуется настоящего подъема. Ни одно из полчищ не делает попыток перейти в наступление через разделяющий их ручей; и те и другие будто чего-то ждут и только издали наблюдают друг за другом. Собранные впопыхах мужичье Босуэла не выказывает большого желанья лечь костями за дело, ему чуждое и темное. Лорды все еще скованы нерешительностью. Не так это просто — с копьем и мечом открыто ударить на свою законную государыню. Одно дело — сострять добрый заговор и убрать неугодного короля, ибо всегда найдутся два-три бедняка, которых можно будет потом вздернуть, а самим торжественно умыть руки; подобные темные махинации никогда не тревожили совести лордов; но с поднятым забралом, средь бела дня ринуться на свою монархиню — слишком это противоречило идее феодальной верности, все еще нерушимо владевшей умами.

От французского посланника Дю Крока — он появляется на поле брани в качестве нейтрального наблюдателя — не укрылось настроение обеих станов: не теряя времени, предлагает он повести переговоры. В лагере лордов выкидывают парламентарский флаг, и, радуясь лучезарному летнему дню, оба полчища располагаются бивуаком, каждое по свою сторону ручья. Всадники спешиваются, ратники сбрасывают с себя тяжелые доспехи,

и все с удовольствием закусывают, а между тем Дю Крок с небольшим конным эскортом переправляется через ручей и поднимается на холм — в ставку королевы.

Поистине невиданная аудиенция! Королева, никогда не принимавшая французского посла иначе, как в драгоценной робе, под тронным балдахинном, сидит на камне в пестром «килте», короткая юбочка не прикрывает колен. Но достоинство и неукротимая гордость у нее те же, что и в придворном наряде. Возбужденная, бледная, невыспавшаяся, она дает волю своему гневу. Словно чувствуя себя по-прежнему повелительницей страны, госпожой положения, она требует, чтобы лорды беспрекословно ей покорились. Сами же они вынесли Босуэлу оправдательный приговор, зачем же теперь обвиняют его в убийстве? Сами настаивали на этом браке, а ныне объявляют его преступным! Негодование Марии Стюарт законно, но не время ссылаться на закон, когда поднят меч войны. Пока посол ведет переговоры, подъезжает Босуэл. Посол приветствует его, однако руки не подает. Слово берет Босуэл. Он говорит ясно, без колебаний, в его смелом, открытом взоре ни тени страха; даже Дю Крок вынужден отдать должное безупречной выдержке этого головореза. «Признаться, — пишет он в своем сообщении, — он показался мне настоящим полководцем, так как говорил со мной с полным сознанием своего достоинства, как искусный и смелый воин-тень, умеющий вести полки в бой. Я не мог не восхищаться им, ибо он видел, что его противники настроены решительно, сам же он едва ли мог рассчитывать и на половину своих людей. И все же он непоколебим». Босуэл предлагает решить дело поединком с любым из лордов равного ему ранга. Его дело правое, бог, конечно, не оставит его. Даже в столь отчаянном положении сохраняет он свой обычный задор, предлагая Дю Кроку наблюдать поединок с одного из холмов: увлекательное будет зрелище! Но королева и слышать не хочет о поединке. Она все еще надеется, что лорды придут к ней с повинной, — неисправимый романтик, она, как всегда, лишена чувства действительности. Вскоре Дю Кроку становится ясна бесполезность его миссии; старый вельможа видит слезы на глазах у Марии Стюарт, он и рад бы ей помочь, но, пока она не откажется от Босуэла, ей нет

спасения, а она не желает от него отказаться. Итак, до свидания! Откланявшись с отменной любезностью, он неспешно возвращается в стан лордов.

Время слов миновало, пора дать бой. Но солдаты мудрее своих полководцев. Они видят, что господа чинно беседуют, зачем же им, бедным горемыкам, убивать друг друга в такой погожий летний день? Все разбрелись кто куда; напрасно Мария Стюарт командует в атаку, видя в том единственное спасение,— люди больше ей не повинуются. Вся эта орда с бору да с сосенки, уже шесть-семь часов пребывающая в праздности, постепенно рассыпается, и как только лорды замечают это, они посылают двести человек всадников отрезать Босуэлу и королеве отступление. Только теперь понимает Мария Стюарт, что им грозит, и, как истинно любящая женщина, думает не о себе, а только о своем возлюбленном Босуэле. Она знает: ни у одного из ее подданных не поднимется рука на нее, зато его они не пощадят, хотя бы уж затем, чтобы он не рассказал чего лишнего, что им, запоздалым мстителем за смерть Дарнлея, может пригодиться не по вкусу. Впервые за все эти годы ломает она свою гордость. Она посылает в лагерь лордов парламентаря с белым флагом просить начальника конного отряда Керколди Грейнджского, чтобы он прибыл к ней один, без проводящих.

Священный приказ королевского величества еще исполнен магической, чудодейственной силы. Керколди Грейнджский останавливает своих всадников. Один, он переправляется на ту сторону и, прежде чем сказать что-либо, верноподданнически преклоняет колено. Он ставит последнее условие: пусть королева откажется от Босуэла и вместе с ними вернется в Эдинбург. Тогда Босуэла не станут преследовать — скатертью дорога!

Босуэл — изумительная сцена, изумительный актер! — стоит в молчании. Ни слова не говорит он Керколди, ни слова королеве, чтобы не повлиять на ее решение. Чувствуется, что он готов и один скакать навстречу двумстам всадникам, которые, стоя у подошвы холма и не выпуская поводьев из рук, только и ждут сигнала Керколди, его поднятого меча, чтобы ринуться на неприятельские линии. И лишь услышав, что королева дала со-

гласие на предложение Керколди, Босуэл подходит и обнимает ее — в последний раз, но они еще этого не знают. Затем садится на коня и стремительно скачет прочь, сопровождаемый двумя слугами. Горячий сон кончился. Наступает окончательное, жестокое пробуждение.

Страшное, беспощадное пробуждение! Лорды обещали Марии Стюарт отвезти ее в Эдинбург с подобающими почестями, и таково было, по-видимому, их первоначальное намерение. Но едва униженная женщина в своей жалкой, запыленной одежде приближается к толпе наемников, как огненной змейкой вспыхивает насмешка. Пока железный кулак Босуэла защищал королеву, народный гнев не смел ее коснуться. Но теперь она беззащитна, и ненависть дерзко и бесцеремонно поднимает голову. Королева, сдавшаяся на капитуляцию, не внушает уважения мятежным солдатам. Все сильнее напирают они, сначала движимые любопытством, а затем и возмущением. «На костер шлюху!», «В огонь мужеубийцу!..» — раздаются иступленные крики. Тщетно Керколди колошматит их мечом: едва рассеявшись, озлобленные толпы собираются с новым ожесточением, и вот уж они, будто в триумфальном шествии, выступают впереди своей пленницы, неся в руках знамя с изображением убитого супруга и молящего о мести дитяти. Так с шести до десяти вечера, от Лангсайда до Эдинбурга, гонят они ее сквозь строй. Из каждого дома, из окружающих деревень прибывают все новые охотники посмотреть небывалое зрелище — полоненную королеву, и порой натиск любопытствующих так велик, что они прорывают цепи охраны, и солдаты вынуждены прокладывать себе дорогу в толпе; ни разу не издала Мария Стюарт такого унижения, как в тот памятный день.

Однако эту гордую женщину можно унижить, но нельзя соннуть. Как рана начинает гореть лишь тогда, когда ее загрязнят, так Мария Стюарт чувствует свое унижение, лишь когда оно сдобрено насмешкой. Ее горячая кровь — кровь Стюартов, кровь Гизов — вскипает, и вместо того, чтобы мудро притвориться равнодушной, она вымещает свою обиду на лордах, призывая их к ответу за народную хулу. словно разъяренная львица, набра-

сывается она на них, грозя, что прикажет их вздернуть, распять; схватив за руку лорда Линдсея, едущего рядом, она грозитя: «Клянусь этой рукой, не сносить тебе головы!» Как всегда в минуты опасности, ее раздраженная отвага переходит в безумие. Открыто изливает она на лордов свою ненависть, свое презрение, вместо того чтобы мудро промолчать или трусливо заискивать в них.

Быть может, именно ее озлобление вызывает ответное озлобление лордов, быть может, их первоначальные намерения и не заходили так далеко. Ибо теперь, увидев, что им нечего надеяться на прощение, они делают все, чтобы эта строптивница почувствовала свою беззащитность. Вместо того чтобы доставить королеву в Холирудский замок, за стенами города, ее везут — и путь ее лежит через Керк о'Филд, достопамятное место злодеяния, — по главной городской улице, наводненной толпами зевак. Здесь, на Хай-стрит, ее приводят в дом профессора, словно затем, чтобы выставить к позорному столбу. Доступ туда закрыт, ни одна из ее дам или служанок не может к ней проникнуть. И вот начинается ночь безысходного отчаяния. Королева уже много дней не раздевалась, с самого утра у нее маковой росинки во рту не было; то, что эта женщина перенесла с восхода до захода солнца, не поддается описанию; она потеряла королевство и возлюбленного. Под ее окнами, словно перед клеткой в зверинце, собирается гнусный городской сброд, из толпы доносятся непристойные выкрики и площадная ругань. И только теперь, когда, по мнению лордов, она достаточно унижена, вступают с ней в переговоры. В сущности, от нее хотят немногого: лорды требуют, чтобы Мария Стюарт окончательно порвала с Босуэлом. Но за безнадежное дело эта своенравная женщина борется еще ожесточеннее, чем за то, что сулило бы ей самые радужные надежды. С презрением отвергает она это условие, и один из ее противников вынужден потом признать: «Никогда не доводилось мне видеть женщины более мужественной и неустрашимой, чем королева в эти минуты».

Но угрозы не помогают, и умнейший из лордов пытается действовать хитростью. Мэйтленд, ее испытанный и еще недавно преданный советник, обращается к

более изощренным средствам. Играя на женской ревности и гордости, он рассказывает Марии Стюарт, — кто знает, где тут правда, а где ложь, разве поймешь у дипломата! — что Босуэл ее обманывает: он даже в дни их бракосочетания поддерживал нежные отношения с отставной женой и будто бы клялся ей, что она его настоящая супруга, а королева только наложница. Но Мария Стюарт давно уже не верит никому из этих обманщиков. Наветы Мэйтленда лишь усиливают ее раздражение, и Эдинбург становится свидетелем жестокого зрелища; он видит свою королеву за оконной решеткой: в изодранном платье, с обнаженной грудью и распущенными по плечам волосами, она, как безумная, вскочила на подоконник и, истерически рыдая, призывает народ спасти ее, так как вельможи заточили ее в тюрьму; и, невзирая на свою ненависть, народ потрясен ее страданиями.

Положение час от часу становится невыносимее. Лорды готовы бить отбой. Но они понимают, что чересчур далеко зашли и что путь к отступлению им отрезан. Отвезти Марию Стюарт в Холируд на правах королевы им уже кажется невозможным; но и оставить ее в доме профоса, среди возбужденной толпы, значило бы рисковать слишком многим: навлечь на себя гнев Елизаветы и чужеземных монархов. Единственного человека, у которого достало бы мужества и авторитета, чтобы принять какое-то решение, — Меррея — нет в стране, а без него лорды не в силах на что-либо отважиться. А потому решено на первых порах отвезти королеву в безопасное место, и в качестве такого избран замок Лохливен. Этот замок стоит посреди озера и со всех сторон отрезан от суши, а владеет им Маргарита Дуглас, мать Меррея, — вряд ли станет она мирволить дочери Марии де Гиз, женщины, отнявшей у нее Иакова V. Осторожности ради лорды избегают в выданной ими грамоте опасного слова «заточение»; королеву, гласит текст, подвергли домашнему аресту, чтобы помешать ей снестись с помянутым графом Босуэлом или же стакнуться с людьми, кои желали бы защитить его от справедливого возмездия. Это лишь полумера, паллиатив, рожденный страхом и нечистой совестью: восстание еще не решается объявить себя смутой, всю вину лорды валят на бежавшего

Босуэла и свое тайное намерение — свергнуть Марию Стюарт с престола — прячут под общими рассуждениями и уклончивыми фразами. Чтобы обмануть народ, с нетерпением ждущий суда над «девкою» (whore) и казни, Марию Стюарт семнадцатого июня вечером увозят в Холируд; триста человек стражи охраняют королеву. Но едва лишь обыватели улеглись спать, как во дворе замка строится небольшой отряд, которому поручают отвезти ее в Лохливен, и до утренней зари длится печальная, одинокая скачка. В первом мерцании рассвета видит Мария Стюарт сверкающую гладь озера, а посреди него — сильно укрепленный, одинокий, неприступный замок, ее место заточения — кто знает, на сколько долгих лет! В лодке перевозят ее на остров, и окованные железом ворота с лязгом захлопываются. Исполненная страсти и мрака баллада о Дарнлее и Босуэле приходит к концу: начинается скорбная и унылая песня причитальная о вечном заточении.

## НИЗЛОЖЕНИЕ

*Лето 1567 года*

С этого дня, с поворотного в ее судьбе семнадцатого июня, когда лорды засадили свою королеву в замок Лохливен за крепкие засовы и затворы, Мария Стюарт становится причиной непрекращающейся смуты и смятения в Европе. Ведь в ее лице встал перед веком новый, можно сказать, революционный вопрос неоглядного значения — о том, какие меры следует принять в отношении монарха, впавшего в непримиримый конфликт со своим народом и оказавшегося недостойным королевского венца. Вина здесь неоспоримо лежит на повелительнице: отдавшись на произвол легкомысленной страсти, Мария Стюарт создала невозможное, нетерпимое положение. Вопреки воле своего дворянства, народа и духовенства она избрала супругом человека, который не только был связан брачными узами,

но и единодушно заклеямен общественным мнением как убийца шотландского короля. Презрев закон и добрые нравы, она и теперь отказывается признать этот безрасудный союз недействительным. Даже самые преданные ее друзья согласны между собой в том, что рядом с этим убийцей она не может дольше править Шотландией.

Но какие существуют средства принудить королеву либо расстаться с Босуэлом, либо отречься от престола в пользу сына? Ответ звучит ошеломляюще: да никаких. Государственные правомочия по отношению к монарху в то время равны нулю; народу еще не дозволено подвергать сомнению или порицанию действия своего властителя, всякая юрисдикция кончается у ступеней трона. Гражданское право не простирается на особу короля, он за пределами и выше этого права. Как и священник, он рукоположен самим господом богом и ни передать, ни подарить свой сан никому не властен. Никто не вправе лишить помазанника божия его высокого достоинства. С точки зрения абсолютизма, позволительнее отнять у монарха жизнь, нежели корону. Можно умертвить венценосца, но не свести его с престола, ибо применить к нему какие-то меры принуждения значило бы посягнуть на иерархический строй мироздания в целом. Мария Стюарт своим преступным браком поставила мир перед совершенно новой задачей. От того, как решится ее судьба, зависел не только единичный конфликт, но и умозрительный принцип, основа целого мировоззрения.

Потому-то так судорожно ищут лорды — в меру доступной им учтивости, конечно, — ищут путей уладить дело полюбовно. Даже сейчас, из далей столетий, ясно чувствуется трепет, какой внушал им собственное деяние, — шутка ли, посадить свою повелительницу под замок! — и на первых порах для Марии Стюарт не отрезана возможность возвращения, стоит ей лишь объявить свой брак с Босуэлом незаконным и тем признать свою ошибку. Правда, ее популярность и авторитет изрядно пошатнулись, а все же она могла бы на более или менее почетных условиях вернуться в Холируд и со временем избрать себе достойного супруга. Но у Марии Стюарт еще не открылись глаза. По-прежнему слепо веря в свою непогрешимость, она не хочет понять, что все эти непрерывные скандалы — Шателляр, Риччо, Дарнлей,

Босуэл — навлекли на нее обвинение в пагубном легкомыслии. Даже самую ничтожную уступку отвергает она, как недостойную. Против всей страны, против всего света защищает она Босуэла, заявляя, что не может от него отказаться, так как иначе дитя, которое она носит, родится бастардом. Она все еще парит в облаках — неистправимый романтик, она не хочет считаться с действительностью. Но это своеволие, которое можно при желании назвать и нелепым и великолепным, с необходимостью вызывает к жизни насильственные меры, какие и были к ней применены, вплоть до той, значение которой еще скажется в веках: ибо не только она, а и кровный ее внук Карл I головой заплатит за свое притязание на неограниченный княжеский произвол.

Но на первых порах, во всяком случае, она еще может рассчитывать на некоторую помощь. Ведь такой конфликт между государыней и народом виден издалека, и ее собратьям и единомышленникам, европейским монархам, он не безразличен; особенно решительно на сторону своей давней противницы становится Елизавета. Многие усматривают непоследовательность и недобросовестность в том, что Елизавета вдруг так энергично вступает за соперницу. А между тем поведение Елизаветы и последовательно, и логично, и ясно. Став на сторону Марии Стюарт, она отнюдь не хочет выгородить—и эту разницу нужно всячески подчеркнуть—ни лично Марию Стюарт, ни женщину, ни все ее неблагоприятное и более чем сомнительное поведение. Лишь за королеву вступается она как королева, за чисто умозрительную идею неприкосновенности царственных прав, тем самым отстаивая и собственное дело. Елизавета далеко не уверена в лояльности своего дворянства и потому не может потерпеть, чтобы в соседней стране был безнаказанно подан пример крамолы, когда мятежные подданные поднимают оружие против законной государыни, хватают ее и сажают под замок. В противоположность Сесилу, который охотно выручил бы протестантских лордов, она полна решимости вновь привести к послушанию этих мятежников, посягнувших на королевский суверенитет,—

в лице Марии Стюарт она защищает собственные позиции. И мы, в порядке исключения, склонны ей верить, когда она заявляет, что преисполнена глубокого участия к узнице. Нимало не медля, обещает она свергнутой королеве поддержать ее по-родственному, хоть и не отказывает себе в удовольствии язвительно поставить на вид оступившейся женщине ее вину. С нарочитой ясностью отделяет она свою личную точку зрения от государственной. «Madame,— пишет она,— относительно дружбы всегда существовало мнение, что счастье приносит друзей, а несчастье их проверяет; и так как приспело время на деле доказать нашу дружбу, мы, исходя из наших собственных интересов, а также из участия к Вам, сочли за должное засвидетельствовать в этих кратких словах нашу дружбу... Madame, скажу, не обинуясь, Вы немало огорчили нас, выказав Вашим замужеством столь прискорбный недостаток сдержанности, и нам пришлось убедиться, что никто из Ваших друзей в мире не одобряет Ваших поступков; утаить это значило бы просто солгать Вам. Вы не могли бы ужаснее замарать свою честь, чем выйдя с такой поспешностью за человека, не только известного всем с самой худшей стороны, но к тому же обвиняемого молвой в убийстве Вашего супруга; не мудрено, что Вы навлекли на себя обвинение в соучастии, хотя мы всемерно уповаем, что оно не соответствует истине. И каким же опасностям Вы подвергли себя, сочетавшись с ним при живой жене,— ведь ни по божеским, ни по человеческим законам Вы не можете почитаться его настоящей женой, и дети Ваши не будут почитаться рожденными в законе! Таким образом, Вы ясно видите, как мы мыслим о Вашем браке и, к великому сожалению, иначе мыслить не можем, какие бы убедительные доводы ни приводил Ваш посланец, склоняя нас на Вашу сторону. Мы предпочли бы, чтобы после смерти мужа первой Вашей заботой было схватить и казнить убийц. Если б это было сделано — что в случае столь ясном не представляло никакой трудности,— мы на многие стороны Вашего брака закрыли бы глаза. Но, поскольку этого не произошло, мы можем лишь, во имя дружбы к Вам и уз крови, связывающих нас как с Вами, так и с Вашим почившим супругом, заверить, что мы готовы приложить все наши силы и стара-

ния, чтобы достойно воздать за убийство, кто бы из Ваших подданных ни совершил его и сколь бы он ни был Вам близок».

Это ясные слова, острые и отточенные, как бритва, тут не приходится ни мудрить, ни гадать. Слова эти показывают, что Елизавета, через своих соглядатаев, а также, по устным донесениям Меррея, лучше осведомленная о происшествии в Керк о'Филде, нежели пламенные апологеты Марии Стюарт много веков спустя, не питает никаких иллюзий насчет соучастия Марии Стюарт. Обвиняющим перстом указывает она на Босуэла как на убийцу. Характерно, что в своем дипломатическом послании она пользуется намеренно церемонным оборотом: она-де «всемерно уповаает», а не глубоко убеждена, что Мария Стюарт не замешана в убийстве. «Всемерно уповаю» — чересчур осторожное выражение, когда речь идет о столь страшном злодеянии, и при достаточно изощренном слухе вы улавливаете, что Елизавета ни в коем случае не поручилась бы за то, что Мария Стюарт невиновна, и только из солидарности хочет она как можно скорее потушить скандал. Однако чем сильнее порицает Елизавета поведение Марии Стюарт, тем упрямее отстаивает она — *sua res agitur*<sup>1</sup> — ее достоинство властительницы. «Но чтобы утешить Вас в Вашем несчастье, о котором мы слышаны, — продолжает она в том же многозначительном письме, — мы спешим заверить Вас, что сделаем все, что в наших силах и что по-чем нужным, чтобы защитить Вашу честь и безопасность».

И Елизавета сдержала обещание. Она поручает своему посланнику самым энергичным образом протестовать все меры, предпринятые бунтовщиками против Марии Стюарт; ясно дает она понять лордам, что, если они прибегнут к насилию, она не остановится и перед объявлением войны. В чрезвычайно резком по тону письме она предупреждает, чтобы они не осмелились предать суду помазанницу божию. «Найдите мне в Священном писании, — пишет она, — место, позволяющее подданным

---

<sup>1</sup> Заботясь о своей выгоде (лат.).

свести с престола своего государя. Где, в какой христианской монархии сыщется писанный закон, разрешающий подданным прикасаться к особе своего государя, лишать его свободы или вершить над ним суд?.. Мы не меньше лордов осуждаем убийство нашего августейшего кузена, а брак нашей сестры с Босуэлом несравненно больше огорчил нас, нежели любого из вас. Но вашего последующего обращения с королевой Шотландской мы не можем ни одобрить, ни стерпеть. Велением Божиим вы — подданные, а она — ваша госпожа, и вы не вправе приневоливать ее к ответу на ваши обвинения, ибо противно законам естества, чтобы ноги начальствовали над головой».

Однако Елизавета впервые наталкивается на открытое сопротивление лордов, как ни трудно было его ждать от тех, кто в большинстве своем уже годами тайно состоит у нее на жаловании. Убийство Риччи научило их, чего им ждать, если Мария Стюарт снова вернется к власти: никакие угрозы, никакие посулы не побудили ее до сих пор отказаться от Босуэла, а ее истощные проклятья во время обратной скачки в Эдинбург, когда в своем унижении она грозила им великими опалами, все еще зловецом звенят у них в ушах. Не для того убрали они с дороги сначала Риччо, потом Дарнлея, потом Босуэла, чтобы снова отдаться на милость безрассудной женщины; для них было бы куда удобнее возвести на престол ее сына — годовалое дитя: ребенок не станет ими помыкать, и на два десятилетия, пока несовершеннолетний король не войдет в возраст, они были бы неоспоримыми господами страны.

И все же лорды вряд ли нашли бы в себе мужество открыто восстать против своего денежного мешка — Елизаветы, если бы случай не дал им в руки поистине страшное, смертоносное оружие против Марии Стюарт. Спустя шесть дней после битвы при Карберри-хилле низкое предательство спешит преподнести им чрезвычайно радостную для них весть. Джеймс Балфур, правая рука Босуэла в убийстве Дарнлея, чувствует себя не по себе с тех пор, как задул противный ветер, и он видит

одну лишь возможность спасти свою шкуру — совершить новую подлость. Стремясь заручиться дружбой всемогущих лордов, он предает опального друга. Тайно приносит он лордам радостную весть, что бежавший Босуэл прислал в Эдинбург слугу с поручением незаметно выкрасть из замка оставленный им ларец с важными бумагами. Слугу, по имени Далглиш, тут же хватают, и на дыбе, под страшными пытками, несчастный в смертном страхе выдает, где тайник. По его указаниям в замке, под одной из кроватей, находят драгоценный серебряный ларец — Франциск II во время оно подарил его своей супруге Марии Стюарт, а она, ничего не жалевавшая для своего возлюбленного Босуэла, отдала ему вместе со всем остальным и заветный ларец. В этом накрепко запирающемся хитроумными замками сундучке ремесленник хранил свои личные бумаги, в том числе, очевидно, и обещание королевы выйти за него замуж, а также ее письма, наряду с другими документами, в частности и теми, что компрометировали лордов. Очевидно — ничего не может быть естественнее, — Босуэл побоялся захватить с собой столь важные бумаги, отправляясь в Бортуик, на бой с лордами. Он предпочел спрятать их в надежном месте, рассчитывая при удобном случае послать за ними верного слугу. Ведь и «бонд», которым он обменялся с лордами, и обещание Марии Стюарт стать его женой, и ее конфиденциальные письма могли в трудную минуту очень и очень ему пригодиться как для шантажа, так и для самозащиты: заручившись письменными уликами, он мог крепко держать в руках королеву, если бы эта ветреница пожелала от него отпасть, а также и лордов, вздумай они обвинить его в убийстве. Едва почувствовав себя в безопасности, изгнанник должен был прежде всего подумать о том, как бы снова завладеть драгоценными уликами. Лордам, таким образом, вдвойне повезло с их счастливой находкой: теперь они могли втихомолку уничтожить все письменные доказательства собственной виновности и в то же время без всякого снисхождения использовать документы, свидетельствующие против королевы.

Одну лишь ночь главарь шайки граф Мортон хранит запретный ларец у себя, а уж на следующий

день он сзывает остальных лордов, среди них — факт, заслуживающий особого упоминания, — также и католиков и друзей Марии Стюарт, и в их присутствии шкапулка вскрывается. Тут-то и обнаруживают знаменитые письма и сонеты, писанные ее рукой. Оставив даже в стороне вопрос о том, насколько ли отличались найденные оригиналы от напечатанных впоследствии текстов, мы можем утверждать с уверенностью, что содержание писем оказалось крайне неблагоприятным для Марии Стюарт; с этого часа поведение лордов меняется, они становятся увереннее, смелее, настойчивее. В минуту первого ликования, даже не дав себе времени снять копии с писем, не говоря уже о том, чтобы их подделать, они спешат раструбить радостную весть — шлют гонца к Меррею во Францию сообщить ему хотя бы общее содержание наиболее компрометирующего королеву письма. Они сносятся с французским послом, допрашивают с пристрастием слуг Босуэла, попавших к ним в руки, и записывают их показания; такое напористое, целеустремленное поведение было бы невозможным, если бы найденные бумаги не содержали достаточно убедительных улик преступного соучастия Марии Стюарт в убийстве. Положение королевы сразу же резко ухудшается.

Ибо найденные в столь критическую минуту письма неизмеримо укрепили позиции мятежников. Наконец-то они обрели для своего ослушания моральное оправдание, которого им так недоставало. До сих пор они царевича валили на одного Босуэла, в то же время остерегаясь слишком допекать беглеца из опасения, как бы он в ответ не разоблачил их как соучастников. Марии Стюарт вменялось в вину лишь то, что она вышла замуж за убийцу. Теперь же благодаря найденным письмам невинные агнцы внезапно «открывают», что королева и сама замешана в убийстве: ее неосторожные письменные признания дают этим завзятым циничным вымогателям верное средство привести ее к повиновению. Наконец-то в руках у них орудие, с помощью которого они вынудят ее «добровольно» отречься от престола в пользу сына, а станет отпираться — что ж, можно будет выдвинуть против нее гласное обвинение в прелюбодеянии и соучастии в убийстве.

Именно выдвинуть из-за чужого плеча, а не открыто с ним выступить. Ибо лорды прекрасно знают, что Елизавета не позволит им судить свою королеву. А потому они благоразумно ретируются на задний план и требуют открытого процесса предоставляют третьим лицам. Эту миссию — натравить против Марии Стюарт общественное мнение — с великой охотой берет на себя обуюанный жестоким злорадством Джон Нокс. После убийства Риччо фанатический проповедник из осторожности покинул страну. Теперь же, когда его мрачные пророчества насчет «кровавой Иезавели» и того, каких бед она натворит своим легкомыслием, не только сбылись, но даже превзошли все ожидания, он, облаченный в ризы пророка, возвращается в Эдинбург. И вот с амвона громко и отчетливо зазвучали призывы возбудить дело против грешной папистки; библический проповедник требует суда над королевой-прелюбодейкой. От воскресенья к воскресенью тон реформатских проповедников становится все наглее. Королеве так же мало простительно нарушение супружеской верности и убийство, кричат они ликующим толпам, как и последней простодушине. Ясно и недвусмысленно добиваются они казни Марии Стюарт, и это неустанное науськивание делает свое дело. Ненависть, брызжущая с церковных кафедр, вскоре изливается на улицу. Увлекаемое надеждой увидеть, как женщину, на которую оно взирало с робостью, волокут в покаянной одежде на эшафот, то самое простонародье, которое никогда еще в Шотландии не получало ни слова, ни голоса, требует гласного процесса, и особенно беснуется женщины, распаленные яростью против королевы. «The women were most furious and impudent against her, yet the men were bad enough»<sup>1</sup>. Каждая нищенка в Шотландии знает, что позорный столб и костер были бы ее уделом, если бы она так же безбоязненно отдалась преступной похоти, — так неужто позволить этой женщине, потому что она королева, безнаказанно блудить и убивать и уйти от огненной смерти! Все истовее звучит в стране клич: «На костер шлюху!» — «Burn the whore!». И, порядком струсив, докладывает

---

<sup>1</sup> «Особенно ярились и бесчинствовали женщины, но и мужчины от них не отставали» (англ.).

английский посланник в Лондон: «Как бы эта трагедия не кончилась для королевы тем, чем началась она для итальянца Давида и для супруга королевы».

А лордам только того и нужно. Тяжелое орудие подкатили, и оно стоит наготове, чтобы вдребезги разнести всякое дальнейшее сопротивление Марии Стюарт «добровольному отречению». По требованию Джона Нокса уже готов обвинительный акт для публичного процесса: Марии Стюарт вменяется в вину «нарушение законов», а также — и тут с осторожностью подбирают слова — «предосудительное поведение в отношении Босуэла и других («incontineuce with Bothwell and others»). Если королева и сейчас не отречется от престола, можно будет огласить на суде найденные в ларце письма, прямо говорящие о сокрытии убийства, и тем довершить ее позор. Это вполне оправдало бы смуту перед всем миром. Изобличенную своей собственной рукой соучастницу убийства и распутницу не поддержит ни Елизавета, ни другие монархи.

Вооружась угрозой гласного трибунала, Мелвил и Линдсей едут двадцать пятого июля в Лохливен. Они везут с собой три изготовленных на пергаменте акта, кои Марии Стюарт надлежит подписать, если она хочет избежать позора публичного обвинения. Первый акт гласит, что, наскучив властью, она «рада» избавиться от тягот правления и что у нее нет ни склонности, ни сил их больше нести. Во втором она изъявляет согласие на коронование сына; в третьем не возражает против того, чтобы возложить регентство на ее сводного брата Меррея или другое достойное лицо.

Переговоры ведет Мелвил, из всех лордов по человечеству самый ей близкий. Он уже дважды приезжал в надежде уговорить ее расстаться с Босуэлом, кончить свару миром, но она отказалась внять ему под тем предлогом, что дитя, которое она носит под сердцем, не должно родиться на свет бастардом. Однако сейчас, когда найдены письма, борьба идет не на жизнь, а на смерть. Сначала королева горячо противится. Она раздражается слезами, она клянется, что с жизнью простится скорее, чем с короной, и этой своей клятве она пребудет верна до последнего вздоха. Но Мелвил беспощаден; в

самых черных красках живописует он то, что ей предстоит: оглашение писем, очная ставка с изловленными слугами Босуэла и, наконец, гласный суд — допрос и приговор. С содроганием видит Мария Стюарт, в какую трясиину позора завела ее собственная опрометчивость. Постепенно страх перед публичным унижением лишает ее мужества. После долгих колебаний, после неистовых взрывов гнева и отчаяния она сдается и подписывает все три документа.

Итак, полная договоренность. Но, как и всегда бывало с шотландскими «бондами», ни одна из сторон не считает себя связанной данным словом и присягой. Невзирая на обещание, лорды не преминут огласить в парламенте письма Марии Стюарт и растрезвонят о ее причастности к убийству всему миру, чтобы отрезать ей возможность отступления. Со своей стороны, и Мария Стюарт отнюдь не считает себя низложенной каким-то росчерком пера на клочке мертвого пергамента. Все, что придает нашему существованию смысл и цену — честь, верность, долг, — никогда не шло для нее в счет по сравнению с ее державными правами, неотъемлемыми для нее, как жизнь, как кровь, горячо струящаяся в ее жилах.

Несколькими днями позже совершается коронация малолетнего короля; народ вынужден довольствоваться более скромным зрелищем, чем оживленное аутодафе на городской площади. Церемония происходит в Стирлинге, лорд Этол несет корону, Мортон — скипетр, Гленкертн — меч, а за ними выступает Мар, держа на руках младенца, который отныне будет именоваться Иаковом VI Шотландским. И то, что обряд помазания совершает Джон Нокс, свидетельствует перед всем миром, что это дитя, этот вновь коронуемый король навсегда избавлен от тенет римского лжеучения. За воротами замка ликует народ, празднично звонят колокола, по всей стране зажигают костры. На какое-то мгновение — увы! всегда лишь на мгновение — в Шотландии вновь воцаряется радость и мир.

А теперь, когда с трудной и неприятной работой покончено, ничто не мешает Меррею, этому актеру на

выигрышные роли, вернуться домой триумфатором. Снова блестяще оправдала себя его коварная тактика — в минуту опасных поворотов отступить в тень. Он отсутствовал при убийстве Риччо, отсутствовал при убийстве Дарилея, не замешан он и в мятеже против сестры; его верность не запятнана, на его руках нет крови. Все для мудро исчезнувшего со сцены сделало время. Так как он сумел расчетливо выждать, то теперь ему с почетом и без малейшего труда само падает в руки то, чего он втайне алкал. Единогласно предлагают ему, как самому разумному из лордов, взять на себя регентство.

Но Меррей, рожденный властвовать, поскольку он умеет властвовать собой, отнюдь не хватается за предложенную честь. Он слишком умен, чтобы принять ее как милость от людей, которыми ему должно повелевать. К тому же да никто не подумает, будто он, любящий и покорный брат, притязает на право, насильственно отнятое у его сестры. Нет, пусть она сама — психологически мастерский штрих — навяжет ему регентство: он жаждет полномочий и просьб от обеих сторон — как от восставших лордов, так и от низложенной королевы.

Сцена его приезда в Лохливен достойна пера великого драматурга. При виде сводного брата страдальца неудержимо бросается в его объятия. Наконец-то она обретет утешение, поддержку, дружбу, а главное — недостающий ей добрый совет. Но Меррей с нарочитым равнодушием взирает на ее волнение. Он уводит ее в спальню и сурово пробирает за все, что она натворила, ни единым словом не подавая надежды на снисхождение. Ошеломленная его холодностью, королева раздражается слезами, оправдывается, защищается. Но прокурор Меррей молчит, молчит и молчит с насупленным челом. Чтобы поддержать в отчаявшейся женщине страх, он делает вид, будто в его молчании скрыта еще неведомая угроза.

На всю ночь оставляет Меррей сестру в этом чистилище страха; пагубный яд неуверенности, который он по капле влил в нее, должен сперва глубоко просочиться ей в душу. Беременная женщина, оторванная от мира — иноземным послан доступ к ней закрыт, — не знает, что ее ждет: гласное обвинение или суд, позор или смерть. Всю ночь не смыкает она глаз, и к утру силы ее

сломлены. И тут Меррей начинает понемногу применять снисхождение. Осторожно намекает он, что, если она откажется от попыток к бегству и всяких сношений с иностранными дворами, а главное — порвет с Босуэлом, быть может, еще удастся — он говорит это неуверенным тоном — спасти в глазах мира ее честь. Даже это мерцание надежды вливает жизнь в несчастную, отчаявшуюся женщину. Она бросается в объятия брата, просит, молит, пусть он возьмет на себя тяготы регентства. Тогда ее сын будет в полной сохранности, государство — в руках мудрого правителя, а сама она — в безопасности. Она молит и молит, и Меррей заставляет себя долго просить при свидетелях, пока великодушно не соглашается принять из ее рук то, за чем он, собственно, явился. Он уходит довольный, оставляя успокоенную Марию Стюарт; теперь, когда она знает, что власть в руках ее брата, она тешит себя надеждой, что пресловутые письма останутся тайной и что честь ее спасена.

Но нет милости для бессильного. Как только Меррей берет бразды в свои жесткие руки, он прежде всего старается сделать возвращение сестры невозможным: как регент, он хочет морально прикончить неудобную конкурентку. Уже и речи нет о ее освобождении, напротив, все делается для того, чтобы задержать пленницу в ее узилище. Несмотря на данное Мерреем Елизавете, а также сестре обещание защитить ее честь, с его ведома и попущения пятнадцатого декабря в шотландском парламенте позорящие Марию Стюарт письма и сонеты извлекаются из серебряного ларца, зачитываются вслух, сравниваются с другими документами и признаются подлинными. Четыре епископа, четырнадцать аббатов, двадцать графов, пятнадцать лордов и более тридцати мелкопоместных дворян, среди них немало близких друзей королевы, удостоверяют честью и присягой подлинность писем и сонетов, и ни один голос, даже из лагеря друзей — немаловажный факт, — не выражает ни малейшего сомнения. Так парламентское заседание превращается в трибунал, незримо стоит королева перед судом своих подданных. Все беззакония последних месяцев — смута, заточение, — едва лишь письма прочтены, узакониваются, и со всей ясностью заявляется, что королева за-

служила свою кару, так как убийство ее супруга произошло с ее ведома и соизволения (art and part), «что доказано письмами, писанными ее рукой как до, так и после убийства и обращенными к Босуэлу, главному зачинщику и коноводу, а также позорным браком, в который она вступила вскоре после убийства». А чтобы весь мир узнал вину Марии Стюарт и дабы всем стало ведомо, что честные, добропорядочные лорды лишь из чисто моральных побуждений восстали против нее, иностранным дворам рассылаются копии писем; так Марию Стюарт перед всем миром объявляют отверженной и выжигают у нее на лбу клеймо позора. С алым знаком поношения на челе она уже не осмелится — так полагают Меррей и лорды — требовать себе корону.

Но Мария Стюарт столь прочно замурована в сознание своего королевского величия, что ни поношение, ни поругание не в силах ее смирить. Нет клейма, чувствует она, которое изуродовало бы лоб, носивший царственный обруч и помазанный елеем избранничества. Ни пред чьим приговором или приказом не склонит она головы, и чем больше заталкивают ее под ярмо бесславного прозябания, тем решительнее она противится. Таковую волю не удержишь взаперти; она взрывает самые крепкие стены, сносит плотины. А если заковать ее в цепи, она будет потрясать ими так, что содрогнутся камни и сердца.

## ПРОЩАНИЕ СО СВОБОДОЙ

*С лета 1567 по лето 1568 года*

**Е**сли сумрачные сцены трагедии о Босуэле потребовали бы для своей поэтической разработки гениальности Шекспира, то более мягкие, романтически взволнованные сцены эпилога, разыгравшегося в замке Лохливен, выпало воссоздать писателю, куда менее значительному,—Вальтеру Скотту. И все же душе того, кто прочел эту книгу в детстве, мальчиком, она говорит несравненно больше, нежели любая историческая правда,—ведь в иных редких, избранных случаях прекрасная легенда одерживает верх над действительностью. Как все мы юными, пылкими подростками любили эти сцены, как живо они запали нам в душу, как трогали наши сердца! Уже в самом материале заложены все элементы волнующей романтики; тут и суровые стражи,

стерегущие невинную принцессу, и подлые клеветники, ее бесчестящие, и сама она, юная, сердечная, прекрасная, чудесно обращающая суровость врагов в добрые чувства, вдохновляющая мужские сердца на рыцарское служение. Но не только сюжет, романтично и сценическое оформление — угрюмый замок посреди живописного озера.

Принцесса может затуманенным взором любоваться с башни своей прекрасной Шотландией, нежным очарованием этого чудесного края с его лесами и горами, а где-то там, вдали, бушует Северное море. Все поэтические силы, скрытые в сердцах шотландцев, как бы кристаллизуются вокруг романтического эпизода из жизни их возлюбленной королевы, а когда такая легенда находит себе и совершенное воплощение, она глубоко и неотъемлемо проникает в кровь народа. В каждом поколении ее вновь пересказывают и вновь утверждают; точно невывдающее дерево, дает она что ни год все новые ростки; рядом с этой высокой истиной лежит в небрежении бумажная труха исторических фактов, ибо то, что однажды нашло прекрасное воплощение, живет и сохраняется в веках по праву всего прекрасного. И когда с годами к нам вместе с зрелостью приходит недоверие и мы пытаемся за трогательной легендой нащупать истину, она представляется нам кощунственно трезвой, как стихотворение, пересказанное холодной, черствой прозой.

Но опасность легенды в том, что об истинно трагическом она умалчивает в угоду трогательному. Так и романтическая баллада о лохливленском заточении Марии Стюарт замалчивает истинное, сокровенное, подлинно человеческое ее горе. Вальтер Скотт упорно забывает рассказать, что его романтическая принцесса была в ту пору в тягости от убийцы своего мужа, а ведь в этом, в сущности, и заключалась величайшая ее душевная драма в те страшные месяцы унижения. Ведь если ребенок, которого она носит во чреве, как и следует ожидать, родится до срока, любой хулигатель сможет безжалостно вычислить по непреложному календарю природы, когда она стала физически принадлежать Босуэлу. Пусть день и час нам неизвестны, но произошло это в непопозволенное с точки зрения права и морали время, когда любовь была равносильна супружеской измене или распут-

ству—быть может, в дни траура по умершему супругу,— в Сетоне или во время ее прихотливых кочеваний из замка в замок, а может быть, и даже вернее, еще до этого, при жизни мужа,—и то и другое равно зазорно. Мы лишь в том случае до конца постигнем душевные терзания отчаявшейся женщины, когда вспомним, что предстоящее ей рождение ребенка открыло бы миру с календарной точностью начало ее преступной страсти.

Однако покров так и не был сорван с этой тайны. Мы не знаем, как далеко зашла беременность Марии Стюарт к моменту ее появления в Лохлиvene, не знаем, когда она избавилась от снедавших ее страхов, ни того, родился ребенок живым или мертвым, ни сколько недель или месяцев было детищу недозволенной любви, когда его у нее забрали. Здесь все темно и зыбко, все свидетельства противоречат друг другу, ясно лишь, что у Марии Стюарт были достаточно веские основания скрывать даты своего материнства. Ни в одном письме, ни единым словом — уже это подозрительно — не обмолвилась она никому о ребенке Босуэла. По официальному сообщению, составленному ее секретарем Нау при ее личном участии, она преждевременно произвела на свет нежизнеспособных близнецов — преждевременно: остается лишь предположить, что в этой преждевременности не было ничего случайного, недаром она взяла с собой в заточение своего аптекаря. По другой, столь же мало достоверной версии, ребенок — девочка — родилась живой, была тайно увезена во Францию и там скончалась в женском монастыре, не зная о своем королевском происхождении. Но всякие догадки и предположения бессильны в этой недоступной исследованию области, действительные события на веки вечные сокрыты непроницаемой тьмой. Ключ к последней тайне Марии Стюарт заброшен на дно Лохливенского озера.

Уже то обстоятельство, что стражи Марии Стюарт помогли ей скрыть опасную тайну рождения — или преждевременных родов — незаконного ребенка, доказывает, что они отнюдь не были теми извергами, какими их — черным по черному — рисует романтическая легенда. Госпожа Лохливена, леди Дуглас, которой лорды до-

верили надзор за Марией Стюарт, тридцать лет назад была возлюбленной ее отца; шестерых детей родила она Иакову V — старшим был граф Меррей, — прежде чем вышла замуж за Дугласа Лохливенского, которому также родила семерых. Женщина, тринадцать раз познавшая муки деторождения и сама терзавшаяся тем, что первые ее дети рождены бастардами, могла больше, чем кто-либо, понять тревогу Марии Стюарт. Жестокость, в которой ее упрекают, по-видимому, ложь и напраслина; узницу, надо думать, приняли в Лохливне как почетную гостью. В ее распоряжении была целая анфилада комнат, привезенные из Холируда повар и аптекарь, а также четыре или пять приближенных женщин. Она пользовалась полной свободой в замке и как будто выезжала даже на охоту. Если смотреть на вещи здраво, без романтического пристрастия, обращение с ней надо прямо назвать снисходительным. В самом деле — романтика заставляет нас забывать об этом, — женщина, решившаяся выйти замуж за убийцу своего мужа спустя три месяца после убийства, виновата по меньшей мере в преступном легкомыслии, и даже в наши дни суд помиловал бы соучастницу, разве лишь приняв во внимание такие смягчающие вину обстоятельства, как временное душевное расстройство или подчинение чужой воле. Словом, если королеву, своим скандальным поведением нарушившую мир в стране и восставившую против себя всю Европу, на некоторое время принудили уйти на покой, то это было благом не только для страны, но и для самой королевы. В эти недели затворничества она наконец-то получает возможность успокоить взбудораженные, взвинченные нервы, восстановить нарушенное равновесие, укрепить подорванную Босуэлом волю; лохливенское заточение, в сущности, хотя бы на несколько месяцев избавило безрассудную женщину от самой большой опасности — от снедающей ее тревоги и нетерпения.

Поистине снисходительной карой за столько содеянных безумств должно назвать это романтическое заточение по сравнению с тем, что выпало на долю ее соучастника и возлюбленного. Не так мягко обошлась судьба с

Босуэлом! На море и на суше, невзирая на обещание, преследует изгнанника разъяренная свора, голова его оценена в тысячу шотландских крон, и Босуэл знает — самый надежный друг в Шотландии выдаст и продаст его за эту награду. Но не так-то легко захватить удалца: он пытается собрать своих верных для последнего сопротивления, а потом бежит на Оркнейские острова, чтобы оттуда развязать войну с лордами. Меррей с флотилией из четырех кораблей высаживается на островах, и лишь с трудом ускользает гонимый от своих преследователей, отважившись в утлой скорлупке выйти в открытое море. Он попадает в шторм. С изодранными парусами держит курс суденышко, предназначенное для каботажного плавания, к берегам Норвегии, где его захватывает датский военный корабль. Опасаясь выдачи, Босуэл хочет остаться неузнанным. Он берет у матроса платье — уж лучше сойти за пирата, чем за разыскиваемого короля Шотландии. Однако вскоре дознаются, кто он. Босуэла пересылают с места на место и в Дании даже отпускают на свободу; он уже радуется счастливому избавлению. Но тут лихо сердцеда настигает Немезида: положение его резко ухудшается, оттого что какая-то датчанка, которую он в свое время обольстил, пообещав на ней жениться, подала на него жалобу. Между тем в Копенгагене дознались, какие ему вменяются преступления, и с этой минуты над его головой занесен топор. Дипломатические курьеры мчатся взад и вперед. Меррей требует его выдачи, особенно неистовствует Елизавета, которой важно заручиться свидетелем против Марии Стюарт. В свою очередь, французские родичи Марии Стюарт тайно хлопочут, чтобы датский король не выдал опасного свидетеля. Заточение Босуэла становится все более строгим, однако только тюрьма и защищает его от возмездия. Человек, который на поле брани не дрогнул бы и перед сотнею врагов, должен каждый день со страхом ждать, что его в цепях пошлют на родину и после страшных пыток казнят как цареубийцу. Одна темница сменяется другой, все суровее и теснее его заключение, точно опасного зверя держат узника за стенами и решетками, и вскоре он уже знает, что только смерть освободит его от оков. В ужасающем одиночестве и бездействии проводит неделю за неделей, ме-

сяц за месяцем, год за годом этот сильный, брызжущий энергией человек, гроза врагов, кумир женщин; живьем гниет и разлагается исполинский сгусток жизненной энергии. Хуже пытки, хуже смерти для бесшабашного удалца, который только в преизбытке сил и в безбрежности свободы дышал полной грудью, который вихрем носился по полям во главе охоты, вел своих верных навстречу врагу, дарил любовь женщинам всех стран и познал все радости духа,— хуже пытки и смерти для него это жуткое праздное одиночество среди холодных, немых, угрюмых стен, эта пустота уходящего времени, сокрушающая жизненную энергию. По рассказам, которым охотно веришь, он как бесноватый бился о железные прутья своей клетки и жалким безумцем кончил жизнь. Из всех многочисленных спутников, претерпевших ради Марии Стюарт пытку и смерть, на долю этого горячо любимого выпало самое долгое и страшное покаяние.

Но помнит ли еще Мария Стюарт о Босуэле? Действует ли и на расстоянии заклятие его воли или медленно и постепенно расступается огненный круг? Никто не знает. Как и многое другое в ее жизни, это осталось тайной. И только одному удивляешься. Едва встав после родов, едва сбросив с себя иго материнства, она уже вновь исполнена женского очарования, опять источает соблазн и тревогу. Опять — в третий раз — увлекает она юное существо в орбиту своей судьбы.

Приходится все снова и снова с прискорбием повторять это: дошедшие до нас портреты Марии Стюарт, написанные большей частью посредственными мазилами, не позволяют нам заглянуть в ее душу. Со всех полотен глядит на нас с будничным безразличием милое, спокойное, приветливое лицо, но ни одно из них не передает того чувственного очарования, которое, несомненно, исходило от этой удивительной женщины. Надо полагать, она излучала какое-то особое обаяние женственности, ибо всюду, и даже среди врагов, приобретает она друзей. И невестою, и вдовой, на каждом троне и в каждом узилище умела она создать вокруг себя эту атмосферу сочувствия, так что самый воздух вокруг нее как бы пронизан теплом и ласкою. Едва появившись в Лохлиvene, она сра-

зу покорила молодого лорда Рутвена, одного из своих стражей; лорды вынуждены были убрать его. Но не успел Рутвен покинуть замок, как ею покорен другой юный лорд, Джордж Дуглас Лохливенский. Понадобилось лишь несколько недель, и сын ее тюремщицы готов на любые жертвы — во время ее побега он самый ревностный и преданный ее помощник.

Был ли он только помощником? Не был ли юный Дуглас для нее чем-то большим в эти месяцы заточения? Осталась ли эта склонность рыцарственной и платонической? Ignorabimus<sup>1</sup>. Во всяком случае, Мария Стюарт, не стесняясь, использует чувства молодого человека и не скупится на хитрость и обман. Кроме личного очарования, у королевы имеется еще и другая приманка: соблазн добиться вместе с ее рукой и власти магнетически действует на всех, кого она ни встречает на своем пути. Похоже, что Мария Стюарт — но тут можно отважиться лишь на догадку — поманила польщенную мать юного Дугласа возможностью брака, чтобы купить ее снисходительность, ибо постепенно охрана становится все более нерадивой и Мария Стюарт может наконец приступить к делу, к которому устремлены все ее помыслы: к своему освобождению.

Первая попытка (25 марта), хоть и искусно подготовлена, терпит неудачу. Каждую неделю одна из прачек замка вместе с другими служанками переправляется в лодке на берег и обратно. Дуглас взялся уломать прачку, и она согласилась обменяться с королевой платьем. В грубой одежде служанки, под густым покрывалом, скрывающим ее черты, Мария Стюарт благополучно минует охрану у замковых ворот. Она садится в лодку, отплывающую к берегу, где ее поджидает с лошадьми Джордж Дуглас. Но тут одному из гребцов вздумалось пошутить со стройной прачкой, накинувшей на голову вуаль. Под предлогом, что он хочет поглядеть, какова она лицом, он пытается сорвать с нее покрывало, и Мария Стюарт в страхе хватается за нее своими узкими, белыми, нежными руками. И эта тонкая аристократическая рука с холеными пальчиками, какие трудно пред-

---

<sup>1</sup> Мы никогда не узнаем (лат.).

положить у прачки, выдает ее. Гребцы всполошились и, хоть разгневанная королева приказывает им грести к противоположному берегу, поворачивают и отвозят ее обратно в тюрьму.

О случае этом немедленно доносят властям, и охрану узницы усиливают. Джорджу Дугласу запрещено появляться в замке. Но это не мешает ему поселиться поблизости и держать с королевой постоянную связь; как преданный гонец, он несет почтовую службу между ней и ее сторонниками. Ибо, сколь это ни странно, у королевы-узницы, объявленной вне закона и уличенной в убийстве, после года правления Меррея опять появились сторонники. Кое-кто из лордов, Сетоны и Хантлен в первую голову, отчасти из ненависти к Меррею все время хранили верность Марии Стюарт. Но что особенно удивительно, самых рьяных приверженцев находит она в Гамильтонах, своих заклятых противниках. Дома Гамильтонов и Стюартов искони враждовали между собой. Гамильтоны — самый могущественный род после Стюартов — ревниво оспаривали у Стюартов корону для своего клана; теперь им представляется удобный случай, женив одного из своих сынов на Марии Стюарт, возвести его на шотландский престол. Эти соображения заставляют их — ибо что политике до морали! — стать на сторону женщины, чьей казни за мужеубийство они домогались всего лишь несколько месяцев назад. Трудно предположить, что Мария Стюарт серьезно (или Босуэл уже забыт?) подумывала о том, чтобы выйти замуж за одного из Гамильтонов. Очевидно, она изъявила согласие из расчета, надеясь этим купить себе свободу. Джордж Дуглас, которому она тоже обещала свою руку — двойная игра отчаявшейся женщины, — служит ей посредником в этих переговорах, кроме того, он руководит всей операцией в целом. Второго мая приготовления закончены; и, как всегда в тех случаях, когда отвага призвана заменить осмотрительность, Мария Стюарт беспрепятственно встречает неизвестность.

Побег этот необычайно романтичен, как и подобает романтической королеве. Мария Стюарт или Джордж Дуглас заручились в замке помощью мальчика Уильяма

Дугласа, который служит здесь пажом, и сметливый, проворный подросток с честью выполнил свою задачу. По заведенному строгому порядку все ключи от Лохли-венских ворот на время общего ужина кладутся для верности рядом с прибором коменданта, а после ужина он уносит их с собой и прячет под изголовье. Даже за трапезой хочет он их иметь перед глазами. Так и сейчас тяжелая связка лежит перед ним, поблескивая металлом. Разнося блюда, смысленный пострел неприметно бросает на ключи салфетку, и, пользуясь тем, что общество за столом, изрядно приложившись к бутылкам, беззаботно беседует, он, убирая со стола, прихватывает с салфеткой и ключи. А потом все идет как пописаному. Мария Стюарт переодевается в платье одной из служанок, мальчик спешит вперед и, открывая дверь за дверью, тщательно запирает их снаружи, чтобы затруднить преследователям выход, а потом всю связку бросает в озеро. Он уже заранее сцепил все имеющиеся на острове лодки и выводит их за своей на середину озера: этим он отрезает дорогу погоне. После чего ему остается одно: в сумерках теплого майского вечера быстрыми ударами весел править к берегу, где их ждут Джордж Дуглас и лорд Сетон с пятьюдесятью всадниками. Королева немедленно садится в седло и скачет всю ночь напролет к замку Гамильтонов. Едва она почувствовала себя на свободе, как в ней снова пробудилась ее обычная отвага.

Такова знаменитая баллада о побеге Марии Стюарт из омываемого волнами замка, побега, который стал возможен благодаря преданности любящего юноши и самопожертвованию отрока; обо всем этом при случае можно прочесть у Вальтера Скотта, запечатлевшего этот эпизод во всей его романтичности. Летописцы смотрят на дело трезвее. По их мнению, суровая тюремщица леди Дуглас якобы больше была осведомлена о побеге, чем считала нужным показать и чем это вообще показывают, и всю эту прекрасную повесть она сочинила потом, чтобы объяснить, почему стража так кстати ослепла и проявила такую нерадивость. Но не стоит разрушать легенду, когда она так прекрасна. К чему гасить эту последнюю романтическую зорю в жизни Марии Стюарт? Ибо на горизонте уже сгущаются тени. Пора при-

ключений приходит к концу. В последний раз эта молодая смелая женщина пробудила и познала любовь.

Спустя неделю у Марии Стюарт уже шеститысячное войско. Еще раз как будто готовы рассеяться тучи, снова воссияли на какое-то мгновение благосклонные звезды над ее головой. Не только Сетоны и Хантлеи — вернулись все старые ее сподвижники, не только клан Гамильтонов перешел под ее знамена, но и, как это ни удивительно, большая часть шотландской знати, восемь графов, девять епископов, восемнадцать дворян и более сотни баронов. Поистине странно — а впрочем, ничуть не странно, если вспомнить, что никто в Шотландии не может править самовластно, не восстановив против себя всю знать. Жесткая рука Меррея пришлась лордам не по нраву. Лучше присмирившая, хоть и стократ виновная королева, нежели суровый регент. Да и за границей спешат поддержать освобожденную королеву. Французский посол явился к Марии Стюарт, чтобы засвидетельствовать ей, правомерной властительнице, свою лояльность. Елизавета послала нарочного выразить радость по поводу «счастливого избавления». Положение Марии Стюарт за год неволи значительно окрепло и прояснилось, опять ей выпала счастливая карта. Но, словно охваченная недобрым предчувствием, уклоняется шотландская королева, доселе такая мужественная и воинственная, от вооруженной схватки — она предпочла бы кончить дело миром; когда бы брат оставил ей хоть робкий глянec королевского величия, она, так много пережившая, охотно отдала б ему всю власть. Какая-то часть той энергии, которую крепила в ней железная воля Босуэла, надломилась — ближайшие дни это покажут; после пережитых тревог, забот и треволнений, после всей этой неистовой вражды она мечтает лишь об одном — о свободе, умиротворенности и покое. Но Меррей и не думает хотя бы частично поступиться властью. Его честолюбие и честолюбие Марии Стюарт — дети одного отца, а тут нашлись и советчики, старающиеся закалить его решимость. В то время как Елизавета посылает Марии Стюарт поздравления, английский государственный канцлер Сесил, со своей стороны, всячески нажи-

мает на Меррея, требуя, чтобы он разделался наконец с Марией Стюарт и католической партией в Шотландии. И Меррей недолго раздумывает. Он знает: пока Мария Стюарт на свободе, в Шотландии не быть миру. Перед ним великий соблазн раз навсегда поквитаться с лордами-смутьянами и преподать им памятный урок. С обычной своей энергией он быстро собирает войско, уступающее, правда, по численности противнику, но зато лучше управляемое и более дисциплинированное. Не выжидая подмоги, выступает он в направлении Глазго. И тринадцатого мая под Лангсайдом настает час окончательно расчета между королевой и регентом, между братом и сестрой, между одним Стюартом и другим.

Битва при Лангсайде была короткой, но решающей. Ни долгих колебаний, ни переговоров, как это было в битве при Карберри; в стремительной атаке налетает конница Марии Стюарт на неприятельские линии. Но Меррей хорошо выбрал позицию; еще до того, как вражеской кавалерии удастся штурмовать холм, она рассеяна жарким огнем, а потом смята и разгромлена в контратаке. Все кончено в каких-нибудь три четверти часа. Бросив все орудия и триста человек убитыми, последняя армия королевы обращается в беспорядочное бегство.

Мария Стюарт наблюдала сражение с высокого холма; увидев, что все потеряно, она сбегает вниз, садится на коня и с небольшим отрядом провожатых гонит во весь опор. Она больше не думает о сопротивлении, панический ужас охватил ее. Сломая голову, не разбирая дороги, несется она через пастбища и болота, по полям и лесам — и так без отдыха весь этот первый день, с одной мыслью: только бы спастись! «Я изведала все,— напишет она позднее кардиналу Лотарингскому,— хулу и поношение, плен, голод, холод и палящий зной, бежала неведомо куда, проскакав девятьюстами две мили по бездорожью без отдыха и пищи. Спала на голой земле, пила прокисшее молоко, утоляла голод овсянкой, не видя куска хлеба. Три ночи провела я в глуши, одна, как сова, без женской помощи». Такой, в освещении этих последних дней, отважной амазонкой, романтической

героиней и осталась она в памяти народа. В Шотландии ныне забыты все ее слабости и безрассудства, прощены и оправданы все ее преступления, внушенные страстью. Живет лишь эта картина — кроткая пленница в уединенном замке и вторая — отважная всадница, которая, спасая свою свободу, скачет ночью на взмыленном коне, предпочитая тысячу раз умереть, чем трусливо и бесславно сдаться врагам. Уже трижды бежала она под покровом ночи — первый раз с Дарнлеем из Холируда, второй раз в мужской одежде к Босуэлу из замка Бортуик, в третий раз с Дугласом из Лохливена. Трижды в отчаянной, бешеной скачке спасала она свою корону и свободу. Теперь она спасает только свою жизнь.

На третий день после битвы при Лангсайде достигает Мария Стюарт Дандреннанского аббатства у самого моря. Здесь граница ее государства. До последнего рубежа своих владений бежала она, как затравленная лань. Для вчерашней королевы не найдется сегодня надежного прибежища во всей Шотландии; все пути назад ей отрезаны; в Эдинбурге ее ждет неумолимый Джон Нокс и снова — поношение черни, снова — ненависть духовенства, а возможно, позорный столб и костер. Ее последняя армия разбита, прахом пошли ее последние надежды. Настал трудный час выбора. Позади лежит утраченная страна, куда не ведет ни одна дорога, впереди — безбрежное море, ведущее во все страны мира. Она может уехать во Францию, может уехать в Англию, в Испанию. Во Франции она выросла, там у нее друзья и родичи и много еще тех, кто ей предан, — поэты, посвящавшие ей стихи, дворяне, провожавшие ее к французским берегам; эта страна уже однажды дарила ее гостеприимством, венчала пышностью и великолепием. Но именно потому, что ее знали там королевой во всем блеске земной славы, взнесенную превыше всякого величия, ей претит вернуться туда нищенкой, просительницей в жалких лохмотьях, с замаранной честью. Она не хочет видеть язвительную усмешку ненавистной итальянки Екатерины Медичи, не хочет жить подачками или быть запертой в монастыре. Но и бежать к замороженному Филиппу в Испанию кажется ей унижительным; нико-

гда этот ханжеский двор не простит ей, что с Босуэлом соединил ее протестантский пастор, что она стала под благословение еретика. Итак, остается один лишь выбор, вернее, не выбор, а неизбежность: направиться в Англию. Разве в самые беспросветные дни ее пленения не дошел до нее подбадривающий голос Елизаветы, заверявший, что она «в любое время найдет в английской королеве верную подругу»? Разве Елизавета не дала торжественную клятву восстановить ее на престоле? Разве не послала ей перстень — верный залог, с помощью которого она в любой час может воззвать к ее сестринским чувствам?

Но тот, чьей руки хоть однажды коснулось несчастье, всегда вытягивает неверный жребий. Впопыхах, как обычно при ответственных решениях, принимает Мария Стюарт это самое ответственное; не требуя никаких гарантий, она еще из Дандреннанского монастыря пишет Елизавете: «Разумеется, дорогая сестра, тебе известна большая часть моих злоключений. Но то, что сегодня заставляет меня писать тебе, произошло так недавно, что вряд ли успело коснуться твоего слуха. А потому я должна со всей краткостью сообщить, что те мои подданные, которым я особенно доверяла и которых облекла высшими почестями, подняли против меня оружие и недостойно со мной поступили. Всемогущему вершителю судеб угодно было освободить меня из жестокого заточения, в кое я была ввергнута. С тех пор, однако, я проиграла сражение и большинство моих верных погибло у меня на глазах. Ныне я изгнана из моего королевства и обретаюсь в столь тяжких бедствиях, что, кроме вседержителя, уповаю лишь на твое доброе сердце. А потому прошу тебя, милая сестрица, позволь мне предстать перед тобой, чтобы я могла рассказать тебе о моих злоключениях.

Я также молю бога, да ниспошлет тебе благословение неба, а мне — кротость и утешение, которое я больше всего надеюсь и молю получить из твоих рук. А в напоминание того, что позволяет мне довериться Англии, я посылаю ее королеве этот перстень, знак обещанной дружбы и помощи. Твоя любящая сестра Maria R<sup>1</sup>».

---

<sup>1</sup> Maria Regina (лат.) — королева Мария.

Второпях, словно не давая себе опомниться, набрасывает Мария Стюарт эти строки, от которых зависит все ее будущее. Потом она запечатывает в письмо перстень и передает то и другое верховому. Однако в письме не только перстень, но и ее судьба.

Итак, жребий брошен. Шестнадцатого мая Мария Стюарт садится в рыбацкий челн, пересекает Солуэйский залив и высаживается на английском берегу возле небольшого портового городка Карлайла. В этот роковой день ей нет еще двадцати пяти, а между тем жизнь для нее, в сущности, кончена. Все, чем судьба может в преизбытке одарить человека, она пережила и перестрадала, все вершины земные ею достигнуты, все глубины измерены. В столь ничтожный отрезок времени ценой величайшего душевного напряжения познала она все крайности жизни: двух мужей схоронила и утратила два королевства, побывала в тюрьме, запуталась на черных путях преступления и все вновь всходила на ступени трона, на ступени алтаря, обуянная новой гордыней. Все эти недели, все эти годы она жила в огне, в таком ярком, полыхающем, всепожирающем пламени, что отблеск его светит нам и через столетия. И вот уже рассыпается и гаснет костер, все, что было в ней лучшего, в нем перегорело; от некогда ослепительного сияния остался лишь пепел и шлак. Тенью бывлой Марии Стюарт вступает она в сумерки своего существования.

## БЕГЛЯНКЕ СВИВАЮТ ПЕТЛЮ

*С 16 мая по 28 июня 1568 года*

**И**звестие, что Мария Стюарт высадилась в Англии, конечно, не на шутку встревожило Елизавету. Нечего и говорить, что непрошенная гостья ставила ее в крайне трудное положение. Правда, весь последний год она, как монархиня монархиню, из солидарности защищала Марию Стюарт от ее мятежных подданных. В прочувствованных посланиях — ведь бумага недорога, а изъяснения в дружбе легко стекают с дипломатического пера — заверяла она ее в своем участии, в своей преданности, своей любви. С пламенным — увы, чересчур пламенным — красноречием убеждала она шотландскую королеву рассчитывать на нее при любых обстоятельствах, как на преданную сестру. Но ни разу Елизавета не позвала Марию Стюарт в Англию, напро-

тив, все эти годы она парировала всякую возможность личной встречи. И вдруг, как снег на голову, эта назойливая особа объявилась в Англии, в той самой Англии, на которую она еще недавно притязала в качестве единственной законной престолонаследницы. Прибыла самовольно, непрощеная и незванная, и с первого же слова ссылается на то самое обещание поддержки и дружбы, которое, как всякому ясно, имело чисто метафорический смысл. Во втором письме Мария Стюарт, даже не спрашивая, хочет того Елизавета или нет, требует свидания как своего неоспоримого права: «Прошу Вас возможно скорее вызволить меня отсюда, ибо я обретаюсь в состоянии, недостойном не только королевы, но даже простой дворянки. Единственное, что я спасла,— это свою жизнь: ведь первый день мне пришлось шестьдесят миль скакать напрямик через поля. Вы сами убедитесь в этом, когда, как я твердо верю, проникнетесь участием к моим безмерным невзгодам».

И участие действительно первое чувство Елизаветы. Разумеется, ее гордость находит величайшее удовлетворение в том, что женщина, замышлявшая свергнуть ее с престола, сама себя свергла — ей, Елизавете, и пальцем шевельнуть не пришлось. Пусть весь мир видит, как она поднимает гордючку с колен и с высоты своего величия раскрывает ей объятия! Поэтому первое, правильное ее побуждение — великодушно призвать к себе беглянку. «Мне донесли,— пишет французский посланник,— что королева в коронном совете горячо заступилась за королеву Шотландскую и дала ясно понять, что намерена принять и почитать ее сообразно ее былому достоинству и величию, а не нынешнему положению». Со свойственным ей чувством ответственности перед историей Елизавета хочет остаться верна своему слову. Послушайся она этого непосредственного побуждения, не только жизнь Марии Стюарт, но и ее собственная честь была бы спасена.

Но Елизавета не одна. Рядом с ней стоит Сесил, человек с холодными, отливающими сталью глазами, политик, бесстрастно делающий ход за ходом на шахматной доске. Нервическая натура, болезненно отзывающаяся на малейшее дуновение ветра, Елизавета недаром избрала себе в советчики этого жестокого, трезвого,

расчетливого дельца; недоступный поэзии и романтике, пуританин по характеру и темпераменту, он презирает в Марии Стюарт ее порывистость и страстность, убежденный протестант, он ненавидит католичку; а кроме того, судя по его личным записям, он с полным убеждением смотрит на нее как на соучастницу и пособницу в убийстве Дарнлея. Не успела Елизавета расчувствоваться, как он останавливает ее участливо протянутую руку. Дальновидный политик, он понимает, в какие трудности вовлечет английское правительство возня с этой неугомонной особой, с этой интриганкой, которая уже много лет сеет смятение повсюду, где ни появится. Принять Марию Стюарт в Лондоне, оказав ей королевские почести, значит признать ее права на Шотландию, а это наложит на Англию обязанность с оружием в руках и с полным кошельком выступить против лордов и Меррея. Но к этому у Сесила нет ни малейшей склонности, ведь сам же он подстрекал лордов к смуте. Для него Мария Стюарт — смертельный враг протестантизма, главная опасность, угрожающая Англии, и ему нетрудно убедить в этом Елизавету; с неудовольствием внемлет английская королева его рассказам о том, как почтительно ее дворяне встретили шотландскую королеву на ее земле. Нортумберленд, наиболее могущественный из католических лордов, пригласил беглянку в свой замок; самый влиятельный из протестантских лордов, Норфолк, явился к ней с визитом. Все они явно очарованы пленницей, и, недоверчивая и до глупости тщеславная, как женщина, Елизавета вскоре оставляет великодушную мысль призвать ко двору государыню, которая затмит ее своими личными качествами и будет для недовольных в ее стране желанной претенденткой.

Итак, прошло всего несколько дней, а Елизавета уже избавилась от своих человеколюбивых побуждений и твердо решила не допускать Марию Стюарт ко двору, но в то же время не выпускать ее из страны. Елизавета, однако, не была бы Елизаветой, если бы она хоть в каком-нибудь вопросе выражалась ясно и действовала прямо. А между тем как в человеческих отношениях, так и в политике двусмысленность — величайшее зло, ибо она морочит людей и вносит в мир смятение. Но тут-то и берет свое начало великая и бесспорная вина Елиза-

веты перед Марией Стюарт. Сама судьба даровала ей победу, о которой она мечтала годами: ее соперница, слышшая зеркалом рыцарских доблестей, совершенно независимо от ее, Елизаветы, стараний выставлена к позорному столбу; королева, притязавшая на ее венец, потеряла свой собственный; женщина, в горделивом сознании своих наследных прав надменно ей противостоявшая, униженно просит у нее помощи. Когда б Елизавета хотела поступить как должно, у нее было бы две возможности. Она могла бы предоставить Марии Стюарт, как просительнице, право убежища, в котором Англия великодушно не отказывает изгнанникам, и этим морально поставила бы ее на колени. Или она могла бы из политических соображений запретить ей пребывание в стране. И то и другое было бы равно освящено законом. И только одно противоречит всем законам земли и неба: привлечь к себе просящего, а потом насильственно задержать. Нет оправдания, нет снисхождения бессердечному коварству Елизаветы, тому, что, несмотря на ясно выраженное желание своей жертвы, она не позволила ей покинуть Англию, но всячески ее удерживала — хитростью и обманом, вероломными обещаниями и тайным насилием — и загнала этим коварным лишением свободы униженную, побежденную женщину гораздо дальше, чем сама намеревалась, — в гибельные дебри отчаяния и вины.

Это заведомое попрание прав в самой подлой, замаскированной форме навсегда останется темным пятном в личной биографии Елизаветы, его, пожалуй, даже труднее простить, чем последующий смертный приговор и казнь. Ведь для насильственного лишения свободы еще нет ни малейшего повода или основания. В самом деле, когда Наполеон — к этому доказательству от противного не раз обращались — бежал на борт «Беллерофонта» и там апеллировал к английскому праву убежища, Англия с полным основанием отвергла это притязание как патетический фарс. Оба государства, Франция и Англия, находились в состоянии открытой войны, и сам Наполеон командовал вражеской армией, не говоря уже о том, что он в течение четверти века только и ждал, как бы вцепиться Англии в горло. Но Шотландия отнюдь не воюет с Англией, у них самые добросо-

седские отношения, Елизавета и Мария Стюарт искини именуют себя задушевными подругами и сестрами, и когда Мария Стюарт бежит к Елизавете, она может предъявить ей перстень, пресловутый «token», знак ее дружеского расположения, может сослаться на заявление Елизаветы, что «ни один человек на свете не выслушает ее с таким сочувственным вниманием». Она может также сослаться на то, что Елизавета предоставляла право убежища всем шотландским беглецам, что Меррей и Мортон, убийцы Риччо и убийцы Дарнлея, несмотря на свои преступления, находили в Англии приют. И, наконец, Мария Стюарт явилась не с притязаниями на английский трон, а лишь со скромной просьбой дозволить ей тихо и мирно жить на английской земле, если же Елизавете это не угодно, не препятствовать ей отправиться дальше, во Францию. И Елизавета, разумеется, прекрасно знает, что она не вправе задержать Марию Стюарт, знает это и Сесил, о чем свидетельствует его собственноручная запись на памятном листке (Pgo Regina Scotorum<sup>1</sup>). «Придется помочь ей,— пишет он,— ведь она явилась в Англию по доброй воле и доверяясь королеве». Оба в глубине души отлично сознают, что нет у них и ниточки права, из которой можно было бы свить эту грубую веревку беззакония. Но зачем же существуют политики, если не для того, чтобы в самых трудных положениях находить увертки и лазейки, превращать «ничто» в «нечто» и «нечто» в «ничто»? Если нет оснований задержать беглянку, значит, надо их выдумать; если Мария Стюарт ничем не провинилась перед Елизаветой, значит, надо взвести на нее напраслину. Но все должно быть сделано шито-крыто, ведь мир не дремлет, и он следит. Надо втихомолку, крадучись, накинуть на птичку силок и затягивать все туже и туже, пока жертва не успела опомниться. Когда же она наконец (слишком поздно) начнет рваться на свободу, каждое резкое движение послужит ей к гибели.

Это запутывание и оплетание начинается со сплошных учтивостей. Двое самых видных вельмож Елизаветы — лорд Скруп и лорд Ноллис — со всей поспешностью (какое нежное внимание!) откомандировываются в

---

<sup>1</sup> Касательно королевы Шотландской (лат.).

Карлайл к Марии Стюарт в качестве почетных кавалеров. Однако подлинная их миссия столь же темна, сколь многообразна. Им доверено от лица Елизаветы приветствовать знатную гостью, изъявить свергнутой государыне сочувствие в ее невзгодах; им также поручено успокоить и утихомирить взволнованную женщину, чтобы она не слишком рано встревожилась и не воззвала о помощи к иностранным дворам. Но самое главное и существенное поручение дано им тайно, а оно предписывает строго охранять ту, что, по сути говоря, уже пленница, прекратить всякие посещения, конфисковать письма — недаром в тот же день в Карлайл направлены полсотни алебардиров. Кроме того, оным Скруппу и Ноллису велено каждое слово Марии Стюарт немедленно сообщать в Лондон. Там только и ждут малейшей ее оплошности, чтобы задним числом сфабриковать для уже состоявшегося пленения благовидный предлог.

Лорд Ноллис образцово справился со своей миссией тайного соглядатая, его искусному перу обязаны мы, пожалуй, самыми выразительными и живыми зарисовками характера Марии Стюарт. Знакомисься с ними, и убеждаешься, что эта женщина в те редкие минуты, когда все ее душевные силы мобилизованы, вызывает поклонение и восхищение даже у очень умных мужчин. Сэр Фрэнсис Ноллис пишет Сесилу: «Что и говорить, это замечательная женщина, она не поддается на лесть, с ней можно обо всем говорить прямо, и она нимало не рассердится, лишь бы она была уверена в вашей порядочности». Он восхищается ее разумом и красноречием, отдает должное ее «редкому мужеству», ее «liberal heart» — сердечному обхождению. Не укрылась от него и ее неистовая гордость: «Более всего жаждет она победы, и по сравнению с этим высшим благом богатство и другие земные приманки кажутся ей презренными и мелкими». Нетрудно себе представить, с какими чувствами подозрительная Елизавета читала эти описания своей соперницы и как быстро отвердевали ее рука и сердце.

Но и у Марии Стюарт тонкий слух. Очень скоро она замечает, что ласковое участие и учтивые расшаркивания служат обоим эmissарам ширмой и они потому рас-

сыпаются перед ней мелким бесом, что хотят что-то скрыть. Исподволь, словно подавая ей горькое лекарство в приторном сиропе комплиментов, ей сообщают, что Елизавета не склонна ее принять, пока она не очистится от всех обвинений. Эту пустую отговорку изобрели тем временем в Лондоне, бессердечное, наглое намерение держать Марию Стюарт как можно дальше и взаперти прикрывают для приличия фиговым листком морали. Но либо Мария Стюарт не замечает, либо притворяется, что не замечает, сколь вероломна эта проволочка. С горячностью заявляет она, что готова оправдаться — «но, разумеется, перед особой, которую я считаю равной себе по рождению, лишь перед королевой Английской». Чем скорее, тем лучше, нет, сию же минуту хочет она увидеть Елизавету, «доверчиво броситься в ее объятия». Настоятельно просит она, «не теряя времени, отвезти ее в Лондон, дабы она могла принести жалобу и защитить свою честь от клеветнических наветов». С радостью готова она предстать на суд Елизаветы, но, разумеется, только на ее суд.

Это как раз те слова, которые Елизавете хотелось услышать. Принципиальное согласие Марии Стюарт оправдаться дает Елизавете в руки первую зацепку для того, чтобы постепенно втянуть женщину, ищущую в ее стране гостеприимства, в судебное разбирательство. Конечно, необходима осторожность, этого нельзя сделать внезапным наскоком, чтобы и без того встревоженная жертва не переполошила до времени весь мир; перед решительной операцией по лишению Марии Стюарт чести надо сперва усыпить ее обещаниями, чтобы спокойно, не сопротивляясь, легла она под нож. Итак, Елизавета пишет письмо, которое могло бы обмануть нас своим взволнованным тоном, если бы мы не знали, что советом министров давно принято решение о задержании беглянки. Отказ ее лично встретиться с Марией Стюарт словно обернут в вату. «Madame,— пишет она со змеиным лукавством,— лорд Херрис сообщил мне о Вашем желании оправдаться лично передо мной в тяготеющих на Вас обвинениях. О, Madame, нет на земле человека, который радовался бы Вашему оправданию больше, чем я. Никто охотнее меня не преклонит ухо к каждому ответу, помогающему восстановить Вашу честь. Но я не могу ра-

ди Вашего дела riskовать собственным престижем. Не стану скрывать от Вас, меня и так упрекают, будто я более склонна отстаивать Вашу невиновность, нежели раскрыть глаза на те деяния, в коих Ваши подданные Вас обвиняют». За этим коварным отказом следует, однако, еще более изощренная приманка. Торжественно ручается Елизавета «своим королевским словом» — надо особенно подчеркнуть эти строки — в том, что «ни Ваши подданные, ни увещания моих советников не заставят меня требовать от Вас того, что могло бы причинить Вам зло или бесчестие». Все настойчивее, все красноречивее звучит письмо. «Вам кажется странным, что я уклоняюсь от встречи с Вами, но прошу Вас, поставьте себя на мое место. Если Вы очиститесь от обвинений, я приму Вас с подобающим почетом, до тех же пор это невозможно. Зато потом, клянусь создателем, Вы не найдете человека, более к Вам расположенного, встреча с Вами — самая большая для меня радость».

Утешительные, теплые, мягкие, расслабляющие душу слова, но они прикрывают сухую, жесткую правду. Ибо посланцу, привезшему письмо, поручено наконец разъяснить Марии Стюарт, что ни о каком оправдании перед Елизаветой не может быть и речи, что имеется в виду настоящее судебное расследование шотландских событий, пусть пока еще под стыдливым названием «конференция».

Но от таких слов, как дознание, судебное расследование, приговор, гордость Марии Стюарт взбивается на дыбы, как от прикосновения раскаленным железом. «Нет у меня иного судьи, кроме предвечного, — вырывается у нее с гневными рыданиями, — и никто не вправе меня судить. Я знаю, кто я, и знаю все преимущества, принадлежащие моему сану. Я и в самом деле по собственному почину и со всем доверием предложила королеве, моей сестре, выступить судьей в моих делах. Однако как же это возможно, раз она отказывается меня принять?» С угрозой предрекает она (и дальнейшее подтвердит ее слова), что Елизавете не будет проку от того, что она задержала ее в своей стране. И тут она берется за пе-

ро. «Hélas Madame! <sup>1</sup>—воскликает она в волнении.— Где же это слыхано, чтобы кто-нибудь укорил государя за то, что он преклонил свой слух к словам жалобщика, сетующего на бесчестное обвинение!.. Оставьте мысль, будто я прибыла в эту страну, спасая свою жизнь. Ни Шотландия, ни весь прочий мир от меня не отвернулись, а прибыла я сюда, чтобы отстоять свою честь и найти управу на ложных обвинителей моих, а не для того, чтобы отвечать им, как равным. Среди всех друзей избрала я Вас, ближайшую родственницу и лучшего друга (*perfecte Amie*), чтобы бить Вам челом на моих хулителей, в надежде, что Вы честью для себя почтете восстановить добрую славу королевы». Не чаяла она, убегая из одной тюрьмы, быть задержанной «*quasi en un autre*» <sup>2</sup>. И запальчиво требует она того, чего ни один человек еще не мог добиться от Елизаветы, а именно — ясных, недвусмысленных поступков, либо помощи, либо свободы. Она готова *de bonne voglia* <sup>3</sup> оправдаться перед Елизаветой, но только не перед своими подданными на суде, разве что их приведут к ней со связанными руками. С полным сознанием лежащей на ней неотъемлемой благодати отказывается она быть поставленной на одну доску со своими подданными: лучше ей умереть.

Юридически под точку зрения Марии Стюарт не подкапaeшьeя. У королевы Английской нет суверенных прав в отношении королевы Шотландской; не ее дело — расследовать убийство, происшедшее в другой стране, вмешиваться в тяжбу чужеземной государыни с ее подданными. И Елизавета это прекрасно знает, потому-то она и удваивает льстивые старания выманить Марию Стюарт с ее укрепленных, неприступных позиций на зыбкую почву процесса. Нет, не как судья, а как сестра и подруга хочет она разобраться в злополучной тяжбе — ведь это единственное препятствие на пути к ее заветному желанию наконец-то встретиться со своей кузиной и вернуть ей престол. Чтобы оттеснить Марию Стюарт с ее

<sup>1</sup> Увы, мадам! (*франц.*)

<sup>2</sup> В некоем подобии другой (*франц.*).

<sup>3</sup> По доброй воле (*итал.*).

безопасной позиции, Елизавета не жалеет обещаний, делая вид, будто ни на минуту не сомневается в невинности той, кого так злобно оклеветали; разбирательству якобы подлежат не поступки Марии Стюарт, а крамола Меррея и прочих смутьянов. Ложь ложью погоняет: Елизавета клянется, что на дознании и речи не будет о том, что может коснуться чести Марии Стюарт («against her honour»), — дальнейшее покажет, как было выполнено это обещание. А главное, она заверяет посредников, что, чем бы дело ни кончилось, Мария Стюарт так или иначе останется королевой Шотландии. Но пока Елизавета дает эти клятвенные обещания, ее канцлер Сесил гнет свою линию. Желая успокоить Меррея и расположить его в пользу процесса, он клянется, что ни о каком восстании на троне его сводной сестры не может быть и речи, из чего следует, что чемодан с двойным дном не является политическим изобретением нашего века.

От Марии Стюарт не укрылись все эти закулисные плутни и подвохи. Если Елизавета не верит ей, то и у Марии Стюарт не осталось никаких иллюзий насчет истинных намерений ее любимой кузины. Она обороняется и противится, пишет то льстивые, то возмущенные письма, но в Лондоне уже не отпускают захлестнутую петлю, наоборот, ее стягивают все туже и туже. Для усиления психического воздействия принимаются меры, долженствующие показать, что в случае сопротивления, спора или отказа там не остановятся и перед насилием. Мало-помалу ее лишают привычных удобств, не допускают к ней посетителей из Шотландии, разрешают выезжать не иначе как под эскортом из сотни всадников, пока однажды не огорошивает ее приказ оставить Карлайл, стоящий у открытого моря, где хотя бы взор ее свободно теряется вдаль и откуда однажды ее может увезти спасительное судно, и переехать в Йоркширское графство, в укрепленный Болтонский замок — «a very strong, very fair and very stately house»<sup>1</sup>. Разумеется, и эту горькую пилюлю густо обмазывают патокой, острые когти все еще трусливо прячутся в бархатных рукавичках: Марию Стюарт уверяют, что лишь из нежного попечения, из желания иметь ее поближе и ускорить об-

---

<sup>1</sup> Надежный, красивый, величественный дом (англ.).

мен письмами распорядилась Елизавета о переезде. В Болтоне у нее будет «больше радостей и свободы, там ее не достигнут происки врагов». Мария Стюарт не так наивна, чтобы поверить в эту горячую любовь, она все еще барахтается и борется, хоть и знает, что игра проиграна. Но что ей остается делать? В Шотландию нет возврата, во Францию путь ей заказан, а между тем положение ее день ото дня становится все более постыдным: она ест чужой хлеб, и даже платье Елизавета дарит ей со своего плеча. Совсем одна, оторванная от друзей, окруженная только подданными противницы, Мария Стюарт не в силах устоять: сопротивление ее становится все неувереннее.

И, наконец, как правильно рассчитал Сесил, она совершает величайшую ошибку, которую с таким нетерпением подкарауливала Елизавета: в минуту душевной слабости она соглашается на судебное расследование. Изменив своей исходной точке зрения, заключающейся в том, что Елизавета не вправе ни судить ее, ни лишать свободы, что, как королева и гостья, она неподсудна чужеземному третейскому суду, Мария Стюарт совершает самую грубую, самую непростительную ошибку в своей жизни. Но Мария Стюарт способна лишь на короткие бурные вспышки мужества, вечно ей не хватает стойкости и выдержки, необходимых государыне. Чувствуя, что теряет почву под ногами, она все еще силится что-то спасти, ставит задним числом какие-то условия и, позволив выманить у себя согласие, хватается за руку, сталкивающую ее в бездну. «Нет ничего такого,— пишет она двадцать восьмого июня,— чего бы я не сделала по одному слову Вашему, так твердо уповаю я на Вашу честь и Вашу королевскую справедливость».

Но кто отдался на милость противника, тому не помогут ни просьбы, ни уговоры. У победителя свои права, и всегда они оборачиваются бесправием для побежденного. *Vae victis!*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Горе побежденным! (лат.)

## ПЕТЛЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ

*С июля 1568 по январь 1569 года*

**К**ак только Мария Стюарт неосмотрительно дала исторгнуть у себя согласие на «нелицеприятное дознание», английское правительство пустило в ход все имеющиеся у него средства власти, чтобы сделать дознание лицеприятным. Если лордам разрешено явиться лично, во всеоружии обвинительного материала, то Марии Стюарт дозволено прислать лишь двух доверенных представителей; только на расстоянии и через посредников может она предъявить свои обвинения мятежным лордам, тогда как тем не возбраняется вопить во всеуслышание и втихомолку сговариваться —этим подвохом ее сразу же вынуждают от нападения перейти к обороне. Все обещания одно за другим летят под стол. Та самая Елизавета, которой совесть не позволяла встретиться с Марией Стюарт до окончания процесса,

без колебаний принимает у себя мятежника Меррея. Никто и не думает о том, чтобы щадить «честь» шотландской королевы. Правда, намерение посадить ее на скамью подсудимых пока хранится в тайне — что скажут за границей! — и официально поддерживается версия, будто лордам надлежит «оправдаться» в поднятой смуте. Но лицемерно призывая к ответу лордов, английская королева, в сущности, ждет от них одного объяснения: почему они подняли оружие против своей королевы? А это значит, что им придется перевернуть всю историю убийства и тем самым обратить острие процесса против Марии Стюарт. Если обвинения будут веские, в Лондоне не замедлят подвести под арест Марии Стюарт юридическую базу, и необоснованное лишение свободы предстанет перед миром как обоснованное.

Однако псевдоразбирательство, именуемое конференцией — только с риском оскорбить правосудие можно назвать это судом, — превращается в комедию совсем иного сорта, чем желали бы Сесил и Елизавета. Хотя противников посадили за круглый стол, чтобы они предъявили друг другу свои обвинения, ни та, ни другая сторона не обнаруживает большого желания побивать друг друга актами и фактами, и это, конечно, неспроста. Ибо обвинители и обвиняемые здесь — такова курьезная особенность этого процесса, — по сути дела, соучастники одного преступления: и тем и другим было бы приятнее молчаливо обойти неприглядные обстоятельства убийства Дарнлея, в котором равно замешана и та и другая сторона. Если Мортон, Мэйтленд и Меррей могут предъявить ларец с письмами и с полным правом обвинить Марию Стюарт в пособничестве или по меньшей мере в укрывательстве, то и Мария Стюарт может с таким же правом изобличить лордов: ведь они были во все посвящены и своим молчанием потакали убийству. Буде лорды вздумают положить на стол неблагоприятные письма, как бы это не заставило Марию Стюарт, конечно же, знающую от Босуэла, кто из лордов обменялся с ним бондом, а может быть, имеющую в руках и самый бонд, сорвать маску с этих запоздалых воителей за своего короля. Отсюда естественное опасение наступить противнику на горло, отсюда и общий интерес — покончить грязное дело миром и не тревожить прах бедняги Дарн-

лея в его гробу. «Requiescat in pasc!»<sup>1</sup> — благочестивый клич обеих сторон.

Так становится возможным нечто странное и весьма для Елизаветы неожиданное: при открытии судебного разбирательства Меррей ограничился обвинением Босуэла — он знает: опасный человек где-то за тридевять земель и не выдаст своих сообщников; но с редким тактом щадит он сестру. У шотландских баронов точно выскочило из памяти, что всего лишь год назад сами они на открытой парламентской сессии обвинили ее в пособничестве убийству. В общем, благородные рыцари не выезжают на арену с тем лихим молодечеством, на какое рассчитывал Сесил, не швыряют на судейский стол предосудительные письма, и — вторая, но не последняя особенность этой изобретательной комедии — английские комиссары тоже на редкость молчаливы и предпочитают меньше спрашивать. Лорду Нортумберленду, как католику, Мария Стюарт, пожалуй, ближе, чем его королева, Елизавета; что же касается лорда Норфолка, то по личным мотивам, о которых мы еще услышим, он тоже клонит к мировой. Вырисовываются уже и контуры намечаемого соглашения: Марии Стюарт будут возвращены титул и свобода, зато Меррей сохранит единственно для него важное — подлинную власть. Итак, вместо громов и молний, должных, по расчетам Елизаветы, морально уничтожить Марию Стюарт, — сплошное благорастворение воздуха. Идет задушевный разговор при закрытых дверях. Там, где предполагалось бурное обсуждение всяких актов и фактов, царит теплое, дружественное согласие. Проходит несколько дней, и — поистине странное разбирательство! — обвинители и обвиняемые, комиссары и судьи, забыв о полученных предписаниях и неожиданно найдя общий язык, готовы уже похоронить по первому разряду процесс, задуманный Елизаветой в качестве важнейшей государственной акции против Марии Стюарт.

Незаменимым посредником, идеальной свахой, которая, ног под собой не чуя, носится взад-вперед и улаживает дело, служит все тот же шотландский статс-сек-

---

<sup>1</sup> Да почиет в мире! (лат.)

ретарь Мэйтленд Летингтонский. В темной заварухе с Дарнлеем он выполнял самую темную роль, притом, как и подобает прирожденному дипломату, роль двуличную. Когда в Крэгмилере к Марии Стюарт явились лорды и стали предлагать, чтобы она развелась с Дарнлеем либо еще как-нибудь развязалась с ним, от общего их имени выступил Мэйтленд, и это он уронил туманное замечание о том, что Меррей «не станет придирааться». С другой стороны, это он налаживал ее брачный союз с Босуэлом, это он «случайно» оказался свидетелем пресловутого похищения и только в последнюю минуту перебежал к лордам. Если бы дошло до перестрелки между Марией Стюарт и лордами, не миновать бы ему очутиться в самом пекле. Потому-то он и готов идти напролом и не остановится и перед самыми недозволенными средствами, лишь бы добиться полюбовного соглашения.

Для начала он страшает Марию Стюарт, внушая ей, что, если она заартачится, лорды на все пойдут для своей защиты, а тогда не избыть ей сраму. И чтобы доказать ей, каким убийственным для ее чести орудием располагают лорды, он потихоньку поручает своей жене Мэри Флеминг снять копию с главной улики обвинения—с любовных писем и сонетов из ларца—и передать эту копию Марии Стюарт.

Тайная выдача Марии Стюарт еще неизвестного ей обвинительного материала,— конечно же, шахматный ход Мэйтленда против его коллег, не говоря уже о грубом нарушении процессуального права. Но и лорды не остаются в долгу и так же противно всем правилам передают «письма из ларца», так сказать, под судейским столом, Норфолку и другим английским комиссарам. Для Марии Стюарт это тяжелый афронт, ведь судьбы, только что склонявшиеся к примирению сторон, теперь будут против нее восстановлены. В особенности Норфолк сражен удушливой вонью, которой неожиданно понесло из этого ящика Пандоры. Тотчас же сообщает он в Лондон — опять-таки в нарушение правил, но в этой удивительной тяжбе все идет шиворот-навыворот,— что «необузданная и грязная страсть, привязывавшая королеву к Босуэлу, ее отвращение к убитому супругу и участие в заговоре против его жизни

так очевидны, что всякий порядочный и благо- нравный человек содрогнется и с отвращением от- прянет от этого ужаса».

Недобрая весть для Марии Стюарт, зато чрезвычай- но радостная для Елизаветы. Теперь она знает, какой убийственный для чести ее соперницы обвинительный материал может в любую минуту быть положен на стол, и не успокоится до тех пор, пока он не будет пре- дан огласке. Чем больше Мария Стюарт склоняется к мировой, тем решительнее Елизавета требует пуб- личного шельмования. Враждебная позиция Норфолка, непритворное возмущение, вызванное в нем письма- ми из пресловутого ларца, по-видимому, обрекают игру Марии Стюарт на полную безнадежность.

Но как за игорным столом, так и в политике партия не считается безнадежной, покуда на руках у против- ников сохранилась хоть одна карта. В критическую ми- нуту Мэйтленд выкидывает совсем уже головоломный номер. Он направляется к Норфолку, продолжительно беседует с ним один на один и — о диво! — вы ошелом- лены, вы глазам своим не верите, читая источники: свер- шилось чудо, Савл обратился в Павла, возмущенный, не- годующий Норфолк, судья, заранее восстановленный против подсудимой, стал ревностным ее защитником и доброжелателем. В ущерб своей повелительнице, доби- вающейся открытого разбирательства, он хлопочет об интересах шотландской королевы: он уговаривает ее не отказываться ни от своей короны, ни от прав на англий- ский престол, он крепит ее волю, поднимает в ней дух. В то же время он отговаривает Меррея предъявлять пись- ма, и — о диво! — у Меррея после укромной беседы с Норфолком тоже меняется настроение. Он стал кроток и покладист, в полном единодушии с Норфолком готов он валить все на Босуэла и всячески выгораживать Марию Стюарт; похоже, что за одну ночь погода изменилась, подул живительный теплый ветер, лед тронулся: еще денек-другой, и над этим странным судилищем воссияют весна и дружба.

Естественно, возникает вопрос: что же заставило Норфолка повернуть на сто восемьдесят градусов, что вы-

кудило судью Елизаветы презреть ее волю и из противника Марии Стюарт сделаться ей лучшим другом? Первое, что приходит в голову,—это что Мэйтленд подкупил Норфолка. Но стоит взглянуться поближе, и это предположение отпадает. Норфолк — самый богатый вельможа Англии, его род лишь немногим уступает Тюдорам. Денег, потребных на его подкуп, нет не только у Мэйтленда, их не наскрести во всей нищей Шотландии. И все же, как обычно, первое чувство самое правильное, Мэйтленду действительно удалось подкупить Норфолка. Он посулил молодому вдовцу то, чем можно прельстить и самого могущественного человека, а именно — еще большее могущество. Мэйтленд предложил герцогу руку королевы и, стало быть, наследственные права на английскую корону. От королевского же венца по-прежнему исходит магическая сила, которая и в труса вливает мужество и самого равнодушного делает честолюбцем, а самого рассудительного — глупцом. Теперь понятно, почему Норфолк, только вчера убеждавший Марию Стюарт отречься от своих королевских прав, сегодня так настойчиво советует ей их отстаивать. Он не прочь жениться на Марии Стюарт — единственно ради притязания, которое сразу ставит его на место тех самых Тюдоров, что приговорили к казни его отца и деда, обвинив их в предательстве. И можно ли вменить в вину сыну и внуку его измену королевской фамилии, которая расправилась с его собственной фамилией топором палача!

Разумеется, нам, людям с современными чувствами, кажется чудовищным, что тот самый человек, который только вчера приходил в ужас от Марии Стюарт, убийцы и прелюбодейки, и возмущался ее «грязными» любовными похождениями, вдруг вознамерился взять ее в супруги. И, конечно же, апологеты Марии Стюарт сюда-то и толкаются со своей гипотезой: Мэйтленд будто бы в том разговоре с глазу на глаз убедил Норфолка в невиновности королевы, доказав ему, что письма подложные. Однако источники об этом умалчивают, да и Норфолк, спустя несколько недель, защищаясь перед Елизаветой, опять назовет Марию Стюарт убийцей. Было бы заведомым анахронизмом переносить наши моральные взгляды назад, в эпоху четырехсотлетней давности: ведь стои-

мость человеческой жизни на протяжении различных времен и широт — понятие далеко не безусловное; каждая эпоха оценивает ее по-разному; мораль всегда относительна. Наш век гораздо терпимее к политическому убийству, чем девятнадцатый, но и шестнадцатый был не слишком щепетилен в этом вопросе. Моральная разборчивость и вообще-то была чужда эпохе, которая черпала свои нравственные устои не в священном писании, а в учении Макиавелли: тот, кто в те времена рвался к трону, не слишком затруднял себя сентиментальными оглядками и не старался рассмотреть сквозь лупу, обогрены ли ступени трона пролитой кровью. В конце концов сцена в «Ричарде III», где королева отдает свою руку заведомому убийце ее мужа, написана современником, и зрители не находили ее маловероятной. Чтобы стать королем, убивали отца, изводили ядом брата, тысячи безвинных жертв ввергали в войну, людей, не задумываясь, устраняли, убирали с дороги; в Европе того времени вряд ли нашелся бы царствующий дом, который не знал бы за собой подобных преступлений. Ради королевского венца четырнадцатилетние мальчишки женились на пятидесятилетних матронах, а незрелые отроковицы выходили за дряхлых дедушек; никто не спрашивал добродетели, красоты, достоинства и благонравия— женились на слабоумных, увечных и параличных, на сифилитиках, калеках и преступниках,— зачем же ждать какой-то особой щепетильности от тщеславного честолюбца Норфолка, когда молодая, красивая, пылкая государыня не прочь назвать его своим супругом? Слепленный честолюбием, Норфолк не оглядывается на то, что сделала Мария Стюарт в прошлом, он больше занят тем, что она может для него сделать в будущем; этот болезненный недалекий человек мысленно уже видит себя в Вестминстере, на месте Елизаветы. Итак, дело внезапно приняло новый оборот: ловкие руки Мэйтленда ослабили петлю, в которой запуталась Мария Стюарт, и вместо ожидаемого сурового судьи она вдруг находит жениха и помощника.

Но недаром у Елизаветы чуткие наушники и неусыпный, склонный к подозрительности ум. «Les princes ont

des oreilles grandes, qui oyent loин et près»<sup>1</sup>, — похвалилась она как-то французскому послу. По сотне незаметных признаков чувствует она, что в Йорке варятся какие-то подозрительные снадобья — не будет ей от них проку. Первым делом призывает она к себе Норфолка и спрашивает с усмешкой, уж не затеял ли он жениться. Норфолк никакой не герой. Громко и отчетливо пропел евангельский петух: растерявшись, как уличенный в шалости мальчишка, новоявленный Петр — Норфолк тут же отрекается от Марии Стюарт, чьей руки он лишь вчера домогался. Все это ложь и клевета, никогда бы он не женился на распутнице и убийце. «Ложась спать, — говорит он с наигранным пафосом, — я хочу быть уверен, что под подушкой меня не ждет отравленный кинжал».

Елизавета себе на уме — что она знает, то знает: с гордостью скажет она потом: «Ils m'ont cru si sottе, que je n'en sentirais rien»<sup>2</sup>. Когда эта женщина в неудержимом гневе хватается за шиворот кого-либо из своих лизоблюдов, тот сразу же вытряхивает из рукава все свои секреты. Теперь она сама наведет порядок. По ее приказу сессия двадцать пятого ноября переносится из Йорка в Вестминстер, в Camera Depicta<sup>3</sup>. Здесь, в двух шагах от ее двери, под ее сверлящим взглядом, Мэйтленду труднее извернуться, чем в Йоркшире, в двух днях езды от Лондона, вдали от ее стражи и шпионов. К тому же Елизавета в подкрепление комиссарам, не оправдавшим ее надежд, назначает других, более надежных людей, в первую очередь своего любимца Лестера. Теперь, когда вожжи прибраны к ее крепким рукам, процесс идет в быстром темпе, не отклоняясь от указанной цели. Старому ее нахлебнику Меррею дан ясный и недвусмысленный наказ «защищаться» и к этому опасное напутствие — не отступать и перед «extremity of odious accusation»<sup>4</sup>, иначе говоря, не стесняясь, предъявить «письма из ларца» в доказательство того, что Мария Стюарт находилась с Босуэлом в прелюбодействен-

<sup>1</sup> У государей большие уши, они слышат все и вблизи и вдали (франц.).

<sup>2</sup> Они меня душой считали, думали, я ни о чем не догадаюсь (франц.).

<sup>3</sup> Картинная галерея (лат.).

<sup>4</sup> Самыми щекотливыми обвинениями (англ.).

ных отношениях. О торжественной клятве своей милой кузине, что на процессе не будет произнесено ничего «against her honour», Елизавета и думать забыла. Лордам, однако, все еще не по себе. Они медлят и колеблются и вместо того, чтобы прямо предъявить письма, ограничиваются общими намеками. И так как открыто приказать им Елизавета не может, не рискуя выдать свою пристрастность, она пускается на еще большее лицемерие. Притворяясь, будто она свято уверена в невинности Марии Стюарт и видит одну лишь возможность восстановить ее честь — выяснить все до конца, она с нетерпением любящей сестры требует, чтобы ей были предъявлены все улики, дающие основание для «клеветы». Она домогается, чтобы письма и любовные сонеты были положены на судейский стол.

Под таким давлением лорды наконец уступают. Меррей еще в последнюю минуту разыгрывает комедию; симулируя сопротивление, он не сам кладет письма на стол, а, помахав ими, поспешно прячет, предоставляя секретарю «насилно» вырвать у него всю пачку. И вот, к вьшему торжеству Елизаветы, письма на столе, их зачитывают вслух — сперва один раз, а назавтра, перед расширенной комиссией, и другой. Лорды, правда, в свое время клятвенно засвидетельствовали их подлинность, но Елизавете этого мало. Словно предвидя возражения защитников Марии Стюарт, которые спустя столетия провозгласят, что письма подложные, она приказывает в присутствии всей комиссии сравнить их самым тщательным образом с теми, которые шотландская королева писала ей своей рукой. Во время этого расследования представители Марии Стюарт покидают зал — еще один важный аргумент в пользу подлинности писем, — вполне резонно заявляя, что Елизавета не сдержала своего обещания, что не будет допущено ничего порочащего Марию Стюарт — «against her honour».

Но какая может быть речь о законности в этом самом незаконном из судебных разбирательств, на котором не позволено быть главной обвиняемой, тогда как обвинителям, таким, как Ленокс, никто не завязывает рта. Не успели представители Марии Стюарт хлопнуть дверью, как комиссары единогласно выносят «предварительное постановление» о том, что Елизавете не по-

добает допускать к себе Марию Стюарт, пока та не очистится от всех обвинений. Елизавета добилась своего. Наконец-то сфабрикован предлог, который был ей до смерти нужен, чтобы с полным правом отвернуться от беглянки; теперь уже нетрудно измыслить основание, которое позволило бы и впредь содержать узницу «in honourable custody»<sup>1</sup> — более благоприличный, иносказательный оборот для одиозного слова «заточение». С торжеством воскликнет один из верных Елизаветы, архиепископ Паркер: «Наконец-то наша добрая королева держит волка за уши!»

«Предварительное» ошельмование «сделало свое дело: опозоренной Марии Стюарт остается только, склонив голову и заголив шею, ждать приговора, словно удара топором. Можно уже официально заклеить ее именем убийцы и выдать Шотландии, а там Джон Нокс не знает пощады. Но в этот миг Елизавета подымлет руку, предупреждая смертельный удар. Неизменно, когда нужно принять последнее решение, доброе или злое, этой непостижимой женщине изменяет мужество. Великодушный ли то порыв человечности, отнюдь ей не чуждой, или же запоздалое раскаяние в том, что она нарушила свое королевское обещание пощадить честь Марии Стюарт? Дипломатический ли расчет, или — нередкое у таких загадочных натур — хаотическое смешение самых противоречивых чувств — трудно сказать, но Елизавета снова отступает перед возможностью окончательно расправиться с противницей. Вместо того, чтобы дать суду вынести суровый приговор, она откладывает решение и вступает с Марией Стюарт в переговоры. В душе Елизавета жаждет одного — чтобы эта упрямая, строптивая, неугомонная женщина оставила ее в покое, она хочет только принизить ее и усмирить; поэтому она подает Марии Стюарт мысль — еще до произнесения приговора опротестовать подлинность документов; кроме того, подсудимой через третьих лиц сообщают, что в случае ее добровольного отречения ей будет вынесен оправдательный приговор и дозволено свободно проживать

---

<sup>1</sup> В почетном затворе (англ.).

в Англии, где ей назначат государственный пенсион. В то же самое время ее стращают публичной казнью — все те же методы кнута и пряника, — и Ноллис, доверенный английского двора, доносит, что сделал все от него зависящее, дабы до смерти запугать узницу. Итак, опять угрозы и приманки — излюбленный метод Елизаветы.

Но ни угрозы, ни приманки уже не действуют на Марию Стюарт. Как всегда, обжигающее дыхание опасности только прищипывает ее мужество, а вместе с ним растет и ее самообладание. Она не хочет требовать пересмотра вопроса о подлинности документов. Пусть с запозданием, она поняла, в какую попалась ловушку, и, возвращаясь к своей исходной позиции, отказывается вести переговоры со своими подданными на равной ноге. Довольно ее королевского слова, оно одно должно перевесить все показания и документальные свидетельства врагов. Наотрез отказывается Мария Стюарт от предложенной сделки — ценой отречения купить себе милость судей, чьих полномочий она не признает. И, полная решимости, бросает она посредникам слова, верность которых докажет потом всей своей жизнью и смертью: «Ни слова о том, чтобы мне отказаться от моей короны! Чем согласиться, я предпочитаю умереть, но и последние слова мои будут словами королевы Шотландской».

Итак, запугать ее не удалось: половинчатым решением Елизаветы противопоставила Мария Стюарт свое непреклонное решение. Опять Елизавета колеблется и, невзирая на позицию, занятую подсудимой, суд не отваживается на гласный приговор. Елизавета, как всегда и как мы не раз еще увидим, отступает перед последствиями своих желаний. В результате приговор звучит не так сокрушительно, как предполагалось вначале, но со всей предательской двусмысленностью и низостью, свойственной процессу в целом. Десятого января торжественно выносятся хромающее на обе ноги определение, гласящее, что в действиях Меррея и его сторонников не усмотрено ничего противного чести и долгу. Это — полное оправдание мятежа, поднятого лордами.

Куда двусмысленнее звучит реабилитация Марии Стюарт: лордам якобы не удалось привести достаточно убедительных улик, чтобы изменить доброе мнение королевы о ее сестре. На первый взгляд это можно принять за реабилитацию подсудимой и за признание обвинения несостоятельным. Но отравленный наконечник стрелы засел в словах «bene sufficiently». Этим как бы намекается, что улики были тяжкие и многообразные, но им не хватало той «полноты», какая единственно могла бы убедить столь добросердечную королеву, как Елизавета. А больше Сесилу для его планов ничего и не нужно: над Марией Стюарт по-прежнему висит подозрение, найден достаточный предлог, чтобы держать беззащитную женщину под замком. На данное время победила Елизавета.

Но это пиррова победа. Ибо, пока Елизавета держит Марию Стюарт в заточении, в Англии существуют как бы две королевы, и доколе одна не умрет, в стране не будет мира. Беззаконие всегда рождает беспокойство, и нет проку в том, что добыто хитростью. В тот день, когда Елизавета отняла у Марии Стюарт свободу, она и себя лишила свободы. Обращаясь с ней, как с врагом, она и ей открывает дорогу для враждебных действий, преступив клятву, и ее благословляет на любое клятвопреступление, своей ложью оправдывает ее ложь. Годами будет Елизавета расплачиваться за то, что ослушалась первого, естественного своего побуждения. Слишком поздно придет к ней признание, что великодушие в этом случае было бы и мудростью. Незаметно заглохла бы в песках жизнь Марии Стюарт, если бы Елизавета после дешевой церемонии прохладного приема отпустила ее из Англии! В самом деле, куда девалась бы та, что с презрением отпущена на все четыре стороны? Ни один судья, ни один поэт никогда бы уж за нее не заступился; с печатью зачумленной на лбу после всех происшедших с ней скандалов, униженная великодушием Елизаветы, она бесцельно кочевала бы от двора ко двору; путь в Шотландию ей преграждал Меррей, во Франции и Испании не слишком обрадовались бы приезду беспокойной гостьи. Быть может, по пылкости нрава она запуталась бы в новых любовных приключениях, быть может, последовала бы за Босуэлом в Данию. Имя ее

затерялось бы в веках или в лучшем случае называлось бы без большого уважения, как имя королевы, сочетавшейся браком с убийцею своего мужа. И от этой-то неизвестной, жалкой доли спасла ее историческая несправедливость Елизаветы. Это Елизавета позаботилась о том, чтобы звезда Марии Стюарт воссияла в прежней славе, и, стараясь ее унижить, лишь возвысила, украсила низвергнутую мученическим венцом. Ни одно из ее собственных дел не превратило Марию Стюарт в такую легендарную фигуру, как причиненная ей несправедливость, и ничто не умалило в такой мере моральный престиж английской королевы, как то, что в решающий миг она упустила возможность проявить истинное великодушие.

ГЛАВА XIX  
ГОДЫ В ТЕНИ

1569—1584



**Б**езнадежное занятие — рисовать пустоту, беспешный труд — живописать однообразие. Заточение Марии Стюарт — это именно такое прозябание, унылая, беззвездная ночь. После того, как ей вынесли приговор, горячий, размашистый ритм ее жизни надломился. Год за годом уходят, как в море волна за волной. То они всплещут чуть оживленнее, то снова ползут медлительно и вяло, но никогда уже не вскипит заветная глубина — ни полное счастье, ни страдание не даны одинокой. Лишенная событий и потому вдвойне бессмысленная, дремлет в полузабытьи эта когда-то столь жаркая судьба, мертвенным, медленным шагом проходят, уходят двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый год этой жадной до жизни женщины. А там

потянулся и новый десяток, такой же унылый и пустой. Тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый год — устаешь выписывать эти числа. Между тем их должно называть год за годом, чтобы восчувствовать всю томительность, всю изнуряющую, разъедающую томительность этой душевной агонии, ибо каждый год — сотни дней, а каждый день — энное количество часов, и ни один не оживлен подлинным волнением и радостью. А потом ей минуло сорок, и та, для которой наступил этот поворотный год, уже не молодая, а усталая и больная женщина; медленно крадутся сорок первый, сорок второй и сорок третий, и наконец, если не люди, то жалилась смерть и увела усталую душу из плена. Кое-что меняется за эти годы, но лишь по мелочам, по пустякам. То Мария Стюарт здорова, то больна, иногда ее посетит надежда — одна на сотню разочарований, то с ней обращаются хуже, то лучше, от Елизаветы приходят то гневные, то ласковые письма, но в целом это все то же томительно корректное однообразие, все те же стертые четки бесцветных часов, попусту скользящие меж пальцев. Внешне меняются тюрьмы, королеву содержат под стражей то в Болтоне, то в Четсуорте, в Шеффилде, Татбери, Уингфилде и Фотерингее, однако разнятся лишь названия, разнятся камни и стены, все эти замки для нее как один, ибо все они скрывают от нее свободу. Со злобным постоянством вращаются вокруг этого тесного кружка по обширным, причудливым своим орбитам звезды, солнце и луна; ночь сменяется днем, тянутся месяцы и годы; рушатся империи и восстают из праха, короли приходят и уходят, женщины созревают, рожают детей и отцветают, за морями, за горами непрерывно меняется мир. И только эта жизнь безнадежно глохнет в тени; отрезанная от корней и стебля, она больше не цветет и не плодоносит. Медленно иссушаемая ядом бесильной тоски, увядает молодость Марии Стюарт, проходит жизнь.

Однако, как ни странно это звучит, самым тяжелым в ее нескончаемом плену было то, что никогда он внешне не был особенно тяжел. Ибо грубому насилию проти-

востоят гордый разум, из унижения он высекает ожесточение, душа растет в яростном протесте. И только перед пустотой она отступает, перед ее обескровливающим, разрушительным действием. Резиновую камеру, в стены которой нельзя барабанить кулаками, труднее вынести, чем каменное подземелье. Никакой бич, никакая брань так не жгут благородное сердце, как попрание свободы под низкие поклоны и подобострастное титулование. Нет насмешки, которая жалила бы сильнее, чем насмешка официальной учтивости. Но именно такое лживое уважение, не к страждущему человеку, а к его сану, становится мучительным уделом Марии Стюарт, именно эта подобострастная опека, прикрытый надзор, почетная стража (*honourable custody*), которая со шляпой в руке и раболепно опущенным взором следует за нею по пятам. Все эти годы тюремщики ни на минуту не забывают, что Мария Стюарт — королева, ей предоставляется всевозможный комфорт, всевозможные маленькие свободы, только не одно, священное, наиболее важное жизненное благо — Свобода с большой буквы. Елизавета, ревниво оберегающая свой престиж гуманной властительницы, достаточно умна, чтобы не вымещать на сопернице былые обиды. О, она заботится о милой сестрице! Стоит Марии Стюарт заболеть, как из Лондона беспрепятственно осведомляются о ее здоровье. Елизавета предлагает своего врача, она требует, чтобы пищу готовил кто-нибудь из личного штата Марии Стюарт: пусть хулители не ропщут под сурдинку, будто Елизавета пытается извести соперницу ядом, пусть не скажут, что она держит в заточении помазанницу божию: она только настойчиво — с неотразимой настойчивостью — упросила шотландскую сестрицу погостить подольше в чудесных английских поместьях! Разумеется, и проще и вернее было бы для Елизаветы запереть упрямыцу в Тауэр, чем устраивать ей роскошную и расточительную жизнь по замкам. Но более искушенная в тонкой политике, чем ее министры, которые снова и снова рекомендуют ей эту грубую меру, Елизавета боится снискать одиозную славу ненавистницы. Она настаивает на своем: надо содержать Марию Стюарт, как королеву, но опутав ее шлейфом почтительности, сковав золотыми цепями. Скрепя сердце, фанатически скаредная Елизавета готова в этом

единственном случае на расходы: со вздохом и скрежетом зубным выбрасывает она пятьдесят два фунта в неделю на свое непрощеное гостеприимство — и так все долгие двадцать лет. А поскольку Мария Стюарт вдобавок получает из Франции изрядный пенсioen в тысячу двести фунтов ежегодно, то ей поистине голодать не приходится. Она может жить в английских замках вполне на княжескую ногу. Ей не возбраняется водрузить в своем приемном зале балдахин с королевской короной: каждый посетитель видит с первого взгляда, что здесь живет королева, пусть и пленная. Ест она только на серебре, во всех покоях горят дорогие восковые свечи в серебряных канделябрах, полы устланы турецкими коврами — драгоценность по тому времени. У нее такая богатая утварь, что каждый раз, чтобы перевезти ее добро из одного замка в другой, требуются десятки возов четверней. Для личных услуг к Марии Стюарт приставлен целый рой статс-дам, горничных и камеристок: в лучшие времена ее окружает не менее пятидесяти человек, целый придворный штат в миниатюре — гофмейстеры, священники, врачи, секретари, казначеи, камердинеры, гардеробмейстеры, портные, обойщики, повара — штат, который скаредная хозяйка страны с отчаянной настойчивостью стремится сократить и за который ее пленница держится зубами.

Что никто не собирался гноить свергнутую монархию в сумрачно романтическом подземелье, доказывает уже выбор человека, который должен был стать ее постоянным стражем. Джордж Толбот, граф Шрусбери, мог по праву называться дворянином и джентльменом. А до июня 1569 года, когда Елизавета остановила на нем свой выбор, его можно было считать и благополучным человеком. У него обширные владения в северных и средних графствах и девять собственных замков; как удельный князек, пребывает он в своих поместьях, вдали от шума истории, вдали от чинов и отличий. Чуждый политическому честолюбию, богатый вельможа, он живет своими интересами, довольный миром и собой. Борода его тронута серебром, он уже считает, что пора и на покой, как вдруг Елизавета взваливает на него пренеприятное поручение — охранять ее честолюбивую и ожесточенную многими неправдами соперницу. Его предшественник

Ноллис вздохнул с облегчением, узнав, что Шрусбери должен сменить его на этом незавидном посту: «Как бог свят, лучше любое наказание, чем возиться с таким каверзным делом». Ибо почетное заточение, пресловутая «honourable custody» представляет крайне неблагоприятную задачу с весьма неясно обозначенными границами и правами; неизбежная двойственность такого поручения обязывает к исключительному такту. С одной стороны, Мария Стюарт как будто королева, с другой стороны, как будто и нет; формально она гостья, а по сути узница. А отсюда следует, что Шрусбери, как внимательный и учтивый хозяин дома, должен всячески ей угождать и в то же время, в качестве доверенного лица Елизаветы, во всем ее ограничивать. Он поставлен над королевой, но разговаривать с ней может, лишь преклонив колено; он должен быть суров, но под личиной покорности, должен ублажать свою гостью и в то же время неусыпно ее сторожить. Трудность этой задачи еще усугубляется его женой, которая свела в могилу трех мужей и теперь досаждаёт четвертому вечными сплетнями и наговорами — ибо она интригует то за, то против Елизаветы, то за, то против Марии Стюарт. Нелегко этому славному человеку лавировать между тремя разъяренными фуриями, из которых одной он подвластен, с другой связан узами брака, а к третьей прикован незримыми, но нерасторжимыми цепями: в сущности, бедняга Шрусбери все эти пятнадцать лет не столько тюремщик Марии Стюарт, сколько собрат по несчастью, такой же узник, как она; над ним так же тяготеет таинственное проклятие, заключающееся в том, что эта женщина принесит зло каждому, кого встречает на своем тернистом пути.

Как же проводит Мария Стюарт эти пустые, бессмысленные годы? Очень тихо и беззаботно на первый взгляд. Со стороны глядя, круг ее дневных занятий ничем не отличается от обихода других знатных дам, годами безвыездно проживающих в своих феодальных поместьях. Будучи здорова, она часто выезжает на свою любимую охоту, разумеется, в сопровождении все той же зловещей «почетной стражи», или старается игрою в

мяч и другими физическими упражнениями восстановить бодрость и свежесть своего уже несколько утомленного тела. У нее нет недостатка в обществе, то и дело наезжают соседи из окрестных замков почтить интересную узницу, ибо — нельзя ни на минуту упускать это из виду — эта женщина, хоть и лишенная власти, все же по праву ближайшая наследница престола и, буде с Елизаветой — все мы в руке божьей — завтра что-нибудь случится, ее преемницей может оказаться Мария Стюарт. А потому все, кто поумней и подальновидней, и прежде всего ее постоянный страж Шрусбери, всячески стараются с ней ладить. Даже сердечные дружки Елизаветы, фавориты Хэтон и Лестер, предпочитают не сжигать кораблей и за спиной у своей покровительницы шлют письма и приветы ее яркой ненавистнице и сопернице: кто знает, не придется ли уже завтра, преклонив колени, выпрашивать у нее королевских милостей. Хоть и запертая в своем сельском захолустье, Мария Стюарт знает все, что происходит как при дворе, так и во всем большом мире. А уж леди Шрусбери рассказывает ей и то, о чем бы ей лучше не знать, о многих интимных сторонах жизни Елизаветы. И отовсюду подземными путями приходят к узнице слова участия и одобрения. Словом, не как тесную, темную тюремную камеру надо себе представлять заточение Марии Стюарт, не как полное одиночество и оторванность от мира. Зимними вечерами в замке музицируют; правда, юные поэты не слагают ей больше нежных мадригалов, как во времена Шателаяра, забыты и галантные «маски», которыми когда-то увлекались в Холируде; это нетерпеливое сердце уже не вмещает любви и страсти: вместе с юностью отходит пора увлечений. Из всех экзальтированных друзей она сохранила только маленького пажу Уильяма Дугласа, своего лохливленского спасителя, из всех приближенных мужчин — увы, среди них нет больше Босуэлов и Риччо — она чаще всего видится с врачом. Мария Стюарт теперь то и дело хворает, у нее ревматизм и какие-то странные боли в боку. Ноги у нее иногда так распухают, что это надолго пригвождает ее к креслу, и она ищет исцеления на горячих водах; из-за недостатка живительных прогулок ее когда-то нежное, стройное тело постепенно становится дебылым и дряблым. Очень редко находит

она в себе силы для смелых эскапад в привычном ей когда-то духе; безвозвратно миновали времена бешеной скачки по шотландским полям и лугам, времена увеселительных поездок из замка в замок. Чем дольше тянется ее заточение, тем охотнее ищет узница утешения в домашних занятиях. Одетая в черное, как монахиня, она долгие часы просиживает за пядьцами и своими точеными, все еще красивыми белыми руками вышивает те чудесные златотканые узоры, образцами которых мы еще и сегодня любуемся, или же углубляется в свои любимые книги. Не сохранилось преданий ни об одном ее увлечении за без малого двадцать лет. С тех пор, как скрытый жар ее души не может излиться на любимого человека — на Босуэла, он ищет выхода в более умеренной и ровной привязанности к существам, никогда не обманывающим, — к животным. По просьбе Марии Стюарт ей доставляют из Франции самых умных и ласковых собак — спаниелей и легавых; она держит в комнате певчих птиц и возится с голубями, поливает цветы в саду и заботится о приближенных женщинах. Тот, кто знает ее лишь поверхностно, видит ее лишь наездами и не вникает глубоко, может и в самом деле вообразить, будто ее неукротимое честолюбие, когда-то сотрясавшее мир, угасло, будто в ней утихли земные желания. Ибо часто — и с каждым годом все чаще — ходит эта понемногу стареющая женщина, окутанная реющим вдовьим покрывалом, к обедне, все чаще склоняется перед аналоем в своей часовне и только очень редко заносит стихи в свой молитвенник или на чистый листок бумаги. И это уже не пламенные сонеты, а слова благочестивого смирения и меланхолической отрешенности.

Que suis je hélas et quoy sert ma vie  
Jen suis fors qun corps prive de cœur  
Un ombre vayn un object de malheur  
Qui na plus rien que de mourir en vie..

Чем стала я, зачем еще дышу?  
Я тело без души, я тень былого.  
Носимая по воле вихря злого,  
У жизни только смерти я прощу.

Все больше укрепляется в таком наблюдателе впечатление, что многострадальная душа оставила попечение

о мирской власти, что благочестиво и бестревожно ждет она одного — всепримирающей смерти.

Но не будем обманываться: все это — лишь притворство и маска. На самом деле это пламенное сердце, эта гордая королева живет одной лишь мечтой — вновь вернуть себе свободу и власть. Ни на минуту не склоняется она к мысли покорно принять свой жребий. Все это посиживание за пяльцами, за книгами, мирные беседы и ленивые грезы наяву — лишь ширма для каждодневной кипучей деятельности — заговорщицкой. Неустанно, с первого дня своего заточения до последнего, плетет она заговоры и интриги, повсюду ее кабинет превращается в тайную политическую канцелярию, здесь день и ночь кипит работа. За запертыми дверьми в обществе двух секретарей Мария Стюарт собственноручно набрасывает секретные обращения к послам — французскому, испанскому, папскому, а также к своим приверженцам в Шотландии и Нидерландах, в то же время, осторожности ради, забрасывая Елизавету умоляющими, успокаивающими, кроткими и возмущенными письмами, на которые та уже давно не отвечает. Неустанно под сотнею личин спешат ее посланцы в Париж, Мадрид и обратно, постоянно придумываются пароли, изобретаются шифровальные коды — ежемесячно новые, — регулярно работает настоящая международная почта, связывая ее с врагами Елизаветы. Все ее домочадцы — о чем Сесил прекрасно осведомлен, почему он и тшится сократить число ее оруженосцев, — представляют собой генеральный штаб, неустанно разрабатывающий все ту же операцию ее освобождения; все пять десятков ее слуг постоянно сносятся с окружающими деревнями, сами ходят в гости и принимают гостей, чтобы передавать и получать известия; все окружающее население под видом благостыни регулярно подкупается, и благодаря этой изощренной организации дипломатическая эстафетная почта безотказно работает до самого Парижа и Рима. Письма провозятся контрабандой в белье, книгах, выдолбленных тростях, в крышках футляров с драгоценностями и даже за амальгамой зеркал. Для того, чтобы перехитрить Шрусбери, изобретаются все новые уловки, расширяются подошвы

и в них закладываются послания, писанные симпатическими чернилами, или же изготавливаются парики и в букли завертываются бумажные папильотки. В книгах, которые Мария Стюарт выписывает из Парижа, подчеркиваются по известной системе буквы, так что в целом получается связный текст, а бумаги первостепенного значения проносит в подоле сутаны ее духовник. Мария Стюарт, с юности возившаяся с тайнописью, искусно шифровавшая и расшифровывавшая письма, руководит всеми операциями, и эта увлекательная, азартная игра, путающая Елизавете карты, напрягает все душевные силы узницы, возмещая недостаток физических упражнений и других утех. Со свойственным ей пылким безрассудством отдается она заговорам и дипломатическим интригам, и в иные часы, когда новые посулы и предложения из Мадрида, Парижа или Рима все новыми окольными путями достигают ее кельи, эта униженная монархиня может и вправду вообразить себя силой, чуть ли не средоточием всеевропейских интересов. И то, что Елизавета знает об этой угрозе и бессильна против такого упорства, то, что она, ее пленница, через головы надзирателей и стражей может руководить этой кампанией в тиши своей кельи и участвовать в решении судеб мира, пожалуй, единственная отрада, чудесно поддерживающая дух Марии Стюарт все эти долгие, беспробудные годы.

Удивления достойна эта непоколебимая энергия, эта скованная сила, и в то же время она потрясает нас своей тщетностью, ибо все, что бы Мария Стюарт ни придумала и ни предприняла, обречено на неудачу. Все эти многочисленные заговоры и комплоты, которые она плетет неустанно, заранее осуждены на поражение. Слишком неравны силы противников. Всегда слабее тот, кто борется в одиночку против целой организации. Мария Стюарт действует одна, в то время как за Елизаветой стоит все государство — канцлеры, советники, полицеймейстеры, солдаты и шпионы, — не говоря уже о том, что из государственной канцелярии легче бороться, чем из тюремной камеры. У Сесила сколько угодно золота, сколько угодно средств обороны, он ничем не ограничен

в своих действиях, тысячи глаз его тайных соглядатаев следят за одинокой неопытной женщиной. Полиция в те времена знала до мелочей чуть ли не все о каждом из трех миллионов граждан, составляющих население Англии; каждый чужеземец, высаживавшийся на английской земле, брался под надзор; в харчевни, тюрьмы, на прибывающие суда направлялись лазутчики, ко всем подозрительным лицам подсылались шпионы, а там, где эти полумеры оказывались недействительными, применялась самая действенная мера — пытка. И превосходство коллективной силы немедленно дает себя знать. Самоотверженные друзья Марии Стюарт один за другим попадают в темные казематы Тауэра, а там на дыбе у них исторгают полное признание и имена соучастников — и так, клещами палачей, в порошок размалывается заговор за заговором. А если Марии Стюарт порой удастся переслать свои письма и предложения через одно из иностранных посольств, то сколько нужно бесконечных недель, чтобы письмо доползло до Рима или Мадрида, сколько недель, чтобы в государственных канцеляриях собрались ответить, и опять-таки сколько недель, чтобы ответ дошел по назначению! И как ничтожна в результате эта помощь, как оскорбительно холодна для горячего, нетерпеливого сердца, которое ждет армад и армий, спешащих на выручку! Да и разве не естественно одинокому пленнику, все дни и ночи занятому мыслями о своей судьбе, воображать, что все его друзья в далеком деятельном мире только и заняты его особой? Но тщетно старается Мария Стюарт представить свое освобождение неотложным делом всей контрреформации, первой и важнейшей спасательной акцией католической церкви: ее друзья только считают и жмутся и никак не могут между собой договориться. Армада не снаряжается в поход. Филипп II, главная опора Марии Стюарт, щедр на молитвы, но скуп на решения. Ему не улыбается вступить из-за пленницы в войну с сомнительным исходом, и он и папа отделяются тем, что посылают немного денег, чтобы было на что подкупить двух-трех искателей приключений для организации покушения или мятежа. Но как жалки эти попытки заговорщиков и как легко берут их на мушку неусыпные шпионы Уолсингема! Только несколько изувеченных, истерзанных

трупов на лобном месте Тауэрхилла время от времени напоминают народу, что в уединенном замке все еще томится в заточении женщина, упрямо притязаящая на то, что она единственная правомочная королева Англии, и все еще находятся глупцы или герои, готовые за нее пострадать.

Что все эти заговоры и интриги в конце концов приведут Марию Стюарт к гибели, что она, как всегда, опрометчивая, затеяла безнадежную игру, одна, из стен узилища, объявив войну могущественнейшей властительнице мира,— давно ясно каждому современнику. Уже в 1572 году, после крушения заговора Ридольфи, ее шурин Карл IX заявил с досадой: «Эта дура несчастная до тех пор не успокоится, пока не свихнет себе шею. Она дождетя, что ее казнят. А все по собственной глупости, я просто не вижу, чем тут помочь». Таково жестокое суждение человека, который в Варфоломеевскую ночь отважился лишь на то, чтобы из защищенного окна подстреливать безоружных беглецов, человека, который понятия не имел ни о каком героизме. И, конечно же, с точки зрения расчетливой осторожности Мария Стюарт поступила неразумно, избрав не более удобный, хоть и трусливый путь капитуляции, а очевидную безнадежность. Быть может, своевременно отказавшись от своих династических прав, она купила бы себе этим свободу, быть может, все эти годы ключ от тюрьмы находился у нее в руках. Надо было лишь покориться, лишь торжественно и добровольно отказаться от всяких притязаний на шотландский, на английский престол, и Англия, облегченно вздохнув, отпустила бы ее на свободу. Не раз пыталась Елизавета — не из великодушия, разумеется, а из страха, так как обличающее присутствие опасной узницы преследовало ее кошмаром,— перебросить ей мостик для отступления; переговоры то и дело возобновлялись и на достаточно справедливых условиях. Но Мария Стюарт считала, что лучше быть коронованной узницей, чем отставной королевой, и в первые же дни заточения Ноллис правильно оценил ее, сказав, что у нее достаточно мужества, чтобы бороться, пока есть хоть капля надежды. Чувство истинного величия подсказывало

ей, как презренна была бы куцая свобода отставной королевы где-нибудь в захолустье и что только унижение возвеличит ее в истории. В тысячу раз сильнее, чем неволя, связывало ее данное слово, что никогда она не отречется и что самые последние ее слова будут словами королевы Шотландской.

Нелегко установить границу, отделяющую безрассудную храбрость от безрассудства, ведь героизму всегда присуще безумие. Санчо Пансо превосходит Дон Кихота житейской мудростью, а Терсит с точки зрения *ratio*<sup>1</sup> головой выше Ахилла; но слова Гамлета о том, что стоит бороться и за былинку, когда задета честь, на все времена останутся мерилom истинно героической натуры. Конечно, сопротивление Марии Стюарт при неизмеримом превосходстве сил противника вряд ли к чему-либо могло привести, а все же неверно называть его бессмысленным только потому, что оно оказалось безуспешным. Ибо все эти годы — и даже что ни год, то больше — эта, по-видимому, бессильная одинокая женщина именно благодаря своему неукротимому задору представляет огромную силу, и только потому, что она потрясает цепями, порой сотрясается вся Англия и сердце у Елизаветы уходит в пятки. Мы искажаем историческую перспективу, когда с удобной позиции потомков оцениваем события, принимая в расчет и результаты. Легче легкого задним числом осуждать побежденного, отважившегося на бессмысленную борьбу. На самом деле окончательное решение в единоборстве обеих женщин все эти двадцать лет колеблется на чаше весов. Некоторые из заговоров, ставивших себе целью вернуть Марии Стюарт корону, при известной удаче могли стоить Елизавете жизни, а два-три раза меч просвистел над самой ее головой. Сначала выступает Нортумберленд, собравший вокруг себя католическое дворянство; весь Север в огне, и лишь с трудом удается Елизавете овладеть положением. Затем следует еще более опасная интрига Норфолка. Лучшие представители английской знати, среди них ближайшие друзья Елизаветы, такие, как Лестер, поддерживают проект женитьбы Норфолка на шотландской королеве, которая, чтобы придать ему мужества — чего

---

<sup>1</sup> Рассудок (лат.).

только не сделает она для победы! — пишет ему нежнейшие письма. Благодаря посредничеству флорентийца Ридольфи готовится высадка испанских и французских войск, и если бы Норфолк, уже раньше своим трусливым отречением показавший, чего он стоит, не был тряпкой и если бы к тому же не помешали случайности фортуны — ветер, непогода, море и предательство, — дело приняло бы другой оборот, роли переменялись бы и в Вестминстере восседала бы Мария Стюарт, а Елизавета томилась бы в подземелье Тауэра или лежала бы в гробу. Но и кровь Норфолка и жребий Нортумберленда, равно как и многих других, кто в эти годы сложил голову на плахе, не отпугивают последнего претендента: это дон Хуан Австрийский, внебрачный сын Карла V, сводный брат Филиппа II, победитель при Лепанто, идеальный рыцарь, первый воин христианского мира. Рожденный вне брака, он не может притязать на испанскую корону и стремится создать себе королевство в Тунисе, как вдруг ему представляется случай завладеть другой короной, шотландской, а вместе с ней и рукой державной узницы. Он вербует армию в Нидерландах, и освобождение, спасение уже близко, как вдруг — не везет Марии Стюарт с ее помощниками! — коварная болезнь настигает его и уносит в безвременную могилу. Никому из тех, кто домогался руки Марии Стюарт или бескорыстно служил ей, никогда не сопутствовало счастье.

Ибо, говоря непредвзято и честно, к этому в конце концов и сводится спор между Елизаветой и Марией Стюарт: Елизавете все эти годы не изменяло счастье, а Марии Стюарт — несчастье. Если мерить их сила с силою, характер с характером, то они почти равны. Но у каждой своя звезда. Все, что бы Мария Стюарт, потерпевшая поражение, преданная счастьем, ни предпринимала из своего заточения, терпит крах. Флотилии, посылаемые против Англии, разносит в щепки буря, ее посланцы теряются в пути, искатели ее руки умирают, друзьям в решительную минуту изменяет мужество, каждый, кто стремится ей помочь, сам роет себе могилу.

Поражают справедливостью слова Норфолка, сказанные им на эшафоте: «Что бы она ни затевала и что

бы для нее ни затевали другие, заранее обречено на неудачу». С самой встречи с Босуэлом ей изменило счастье. Тот, кто ее любит, обречен смерти, тот, кого любит она, пожнет одну горечь. Кто желает ей добра, приносит ей зло, кто ей служит, служит собственной гибели. Как черная магнитная гора в сказке притягивает корабли, так и ее судьба на пагубу людям притягивает чужие судьбы; вокруг Марии Стюарт постепенно складывается зловещая легенда — от нее будто бы исходит магия смерти. Но чем безнадежнее ее дело, тем неукротимее дух. Вместо того, чтобы сломить, долгое сумрачное заточение лишь закалило ее сердце. И сама, по собственному почину, хоть и зная, что все напрасно, призывает она на свою голову неизбежную развязку.

## ПОСЛЕДНИЙ КРУГ

1584—1585



**А** годы идут и идут, недели, месяцы, годы, как облака, проносятся над этой неприкаянной головой, словно и не затрагивая ее. Но как ни незаметно, а время меняет человека и окружающий мир. Марии Стюарт пошел сороковой год — критический возраст для женщины, а она все еще узница, все еще томится в неволе. Незаметно подкрадывается старость, в волосах уже мелькает серебро, стройное тело расплывается, тяжелеет, черты успокоились, в них сквозит зрелость матроны, на всем существе лежит печать уныния, которое охотно ищет выхода в религии. Скоро — женщина глубоко чувствует это — время любви, время жизни уйдет без возврата; что не сбылось до сих пор, не сбудется вовек, наступил вечер, близка темная ночь. Давно не появлялось новых искателей ее руки, должно быть,

никто уж и не явится: еще немного — и жизнь навсегда миновала. Так стоит ли ждать и ждать чуда освобождения, помощи равнодушного, колеблющегося мира? Все сильней и сильней в эти закатные годы чувствуем мы, что страдальца пресытилась борьбой и склоняется к отречению и примирению. Все чаще выпадают минуты, когда она спрашивает себя: а не глупо ли зачехнуть без пользы, без любви, как выросший в тени цветок, не лучше ли дорогой ценой купить себе свободу, добровольно сняв корону с седеющей головы? На сороковом году все больше утомляет Марию Стюарт эта гнетущая, беспробудная жизнь, неукротимое властолюбие постепенно отпускает ее, уступая место кроткой, мистической воле к смерти. Должно быть, в один из таких часов она пишет на листке бумаги прочувствованные латинские строки — полужалобу, полумолитву:

O Domine Deus! speravi in Te  
O care mi Jesu! nunc libera me.  
In dura catena, in misera poena, desidero Te;  
Languendo, gemendo et genu flectendo  
Adoro, imploro, ut liberet me.

Мое упование, господь всеблагой!  
Даруй мне свободу, будь кроток со мной.  
Терзаясь в неволе, слабея от боли,  
Я в мыслях с тобой.  
Упав на колени, сквозь слезы и пени  
Тебя о свободе молю, всеблагой<sup>1</sup>.

Поскольку избавители мешкают и колеблются, взор ее обращается к спасителю. Лучше умереть — лишь бы не эта пустота, эта неопределенность, это вечное ожидание, и надежда, и тоска, и неизбежное разочарование! Лишь бы конец — на радость или на горе, с победой или поражением! Борьба неудержимо близится к концу, потому что Мария Стюарт всем жаром своей души этот конец призывает.

Чем дольше тянется эта отчаянная, эта коварная и жестокая, эта величественная и упорная борьба, тем непримиримее стоят друг против друга обе застарелые

---

<sup>1</sup> Перевод С. К. Апта.

противницы — Мария Стюарт и Елизавета. Политика Елизаветы приносит ей успех за успехом. С Францией у нее заключен мир. Испания все еще не отваживается на войну, над всеми недовольными одержала она верх. И только один враг, смертельно опасный враг, все еще живет безнаказанно у нее в стране, одна эта побежденная женщина. Лишь устранив последнего недруга, может она почувствовать себя подлинной победительницей. Да и у Марии Стюарт не осталось для ненависти иного объекта, нежели Елизавета. Снова в минуту предельного отчаяния обращается она к своей родственнице, к данной ей роком сестре, с неодолимой страстностью взывая к ее человечности. «Нет у меня больше сил страдать, — воплем вырывается у нее в этом благородном послании, — и, умирая, я не могу не назвать тех, кто замыслил меня извести. Самых закоренелых злодеев в Ваших тюрьмах выслушивают, им называют имена их наветников и клеветников. Так почему же в этом отказывают мне, королеве, Вашей кузине и законной наследнице престола? Мне думается, что именно последнее обстоятельство и было до сей поры причиной лютой вражды... Но увы! У них нет больше необходимости меня мучить, ибо, честью клянусь, не нужно мне теперь иного царства, кроме царства небесного, в кое чувствую я себя готовою войти, ибо лишь в нем обрету конец тяготам моим и мучениям». В последний раз со всем жаром неподдельной искренности закликает она Елизавету даровать ей все же свободу: «Честью и смертными муками спасателя и избавителя нашего закликаю, смилосердитесь, дозвоьте мне оставить это государство и удалиться на покой куда-нибудь в укромное место; там усталое тело, изнуренное неизбывной печалью, обретет отдых, и ничто не помешает мне спокойно готовиться предстать всевышнему, каждодневно призывающему меня к себе... Окажите мне эту милость еще до моей кончины, и душа моя, раз что эта распря меж нами улажена, не будет вынуждена, освободившись от земных уз, принести свои жалобы творцу, указав на Вас, как на виновницу зла, причиненного мне здесь, на земле». Но душераздирающий зов не тронул сердце Елизаветы, она остается нема, ни одного подбадривающего слова не находится у нее для страдальцы. И тогда Мария Стюарт стискивает

зубы и кулаки. Отныне она знает одно только чувство — ледяную и пламенную, упорную и испепеляющую ненависть к этой женщине, и эта ненависть тем зорче и непримиримее нацелена именно на нее, единственную, что все ее другие враги и противники кончили земное существование, сами порешив друг друга. Как будто для того, чтобы таинственная магия смерти, исходящая от Марии Стюарт и поражающая всех, кто ее ненавидел или любил, проявилась со всей очевидностью, каждый, кто служил ей или враждовал с ней, кто боролся за или против нее, опередил ее в смерти. Все те, кто свидетельствовал против нее в Йорке—Меррей и Мейтленд,— умерли насильственной смертью, все, кто призван был ее судить — Нортумберленд и Норфолк,— сложили голову на плахе; все, кто сначала умышлял против Дарнлея, а потом против Босуэла, убрали друг друга с дороги; предатели Керк о'Филда, Карбери и Лангсайда предали сами себя. Все эти своенравные шотландские бароны и графы — неистовая, опасная, честолюбивая свора — истребили друг друга. Поле битвы опустело. Не осталось никого на земле, кого бы ей должно было ненавидеть, кроме нее, Елизаветы. Великая борьба народов, ознаменовавшая два десятилетия, ныне свелась к единоборству. И в этом поединке женщины с женщиной не осталось места ни для каких переговоров. Это бой не на жизнь, а на смерть.

Для этого последнего боя, боя насмерть, Марии Стюарт нужно сделать последнее напряжение. Еще одной, последней надежды должна она лишиться. Еще один удар должна принять в самое больное место, чтобы потом собраться с силами для последнего рывка. Ибо всегда к Марии Стюарт ее великодушное мужество, ее неукротимая отвага приходят в ту минуту, когда все потеряно или кажется потерянным. Всегда безвыходность пробуждает в ней героизм.

Последняя надежда, которую ей предстоит утратить,— надежда договориться с сыном. Ибо за гнетущие пустые годы, когда решительно ничего не происходило, когда она только и делала, что ждала и слушала, как безостановочно бегут часы, словно песок, осыпавшийся с полуразрушенной башни, за это нескончаемое время, которое так измотало и состарило ее, подросло дитя, ее

кровный сын. Младенцем оставила она Иакова VI, уезжая из Стирлинга, когда Босуэл со своими всадниками захватил ее перед Эдинбургскими воротами и увлек навстречу гибели; за эти десять, пятнадцать, семнадцать лет бессознательное существо успело стать ребенком, мальчиком, юношей, почти мужчиной. Иаков VI унаследовал немало черт своих родителей, хотя и в смешанной, стертой форме. Этот странноватый мальчик с неловким, неповоротливым языком, неуклюжим, тяжеловесным телом и нерешительной, робкой душой на первый взгляд производит впечатление не вполне нормального. Он избегает общества, трепещет при виде ножа, боится собак, груб и неловок в обращении. В нем не заметно ни изысканной грации, ни природного обаяния его матери, не выказывает он и артистических склонностей, ни музыка, ни танцы его не увлекают, не заметно в нем и таланта к легкой, непринужденной беседе. Зато у него способности к языкам и превосходная память, а там, где дело касается его личных интересов, он обнаруживает и ум и упорство. Роковым образом сказалась на его характере мелочная, низменная натура отца. Он унаследовал от Дарнлея его нетвердую волю, его нечестность и ненадежность. «Чего ждать от такого двуречивого малого!»—как-то в сердцах сказала о нем Елизавета; подобно Дарнлею, он поддается любому влиянию. Сердцу этого черствого эгоиста неведомо благородство, все его поступки диктуются чисто внешним честолюбием, а его бесчувственное отношение к матери можно понять, только если отвлечься от представлений о сыновнем долге, сыновней преданности. Воспитанный заядлыми врагами Марии Стюарт, имея преподавателем латыни Джорджа Бьюкенена, человека, написавшего на нее пресловутый пасквиль «Detectio»<sup>1</sup>, он, должно быть, только и слышал о пленнице, томящейся в заточении в соседней стране, что она помогла лишить жизни его отца, а теперь оспаривает право на престол у него самого, коронованного монарха. С раннего детства вдалбливают мальчику, что его мать, в сущности, чужая ему женщина, досадная помеха на пути его честолюбивых устремлений. И если в душе ребенка когда-либо жила мечта

---

<sup>1</sup> Обличение (лат.).



«МАРИЯ СТЮАРТ»



«МАРИЯ СТЮАРТ»

увидеть женщину, даровавшую ему жизнь, то английские и шотландские тюремщики зорко следили за тем, чтобы помешать малейшему сближению обоих пленников—Марии Стюарт, пленницы Елизаветы, и Иакова VI, пленника лордов и регента. Время от времени, всего несколько раз за много-много лет, обмениваются они письмами: Мария Стюарт посылает подарки, игрушки, а как-то раз даже забавную обезьянку, но и дары и письма обычно отвергаются, так как она упорно не признает за сыном прав на королевский титул, а лорды возвращают, как оскорбительные, письма, где Иаков именуется просто принцем. Мать и сын так и не выходят за пределы чисто официальных, холодных отношений, у обоих властолюбие заглушает голос крови, ибо она хочет быть единодержавной королевой Шотландии, а он—единодержавным королем.

Какое-то сближение становится возможным, когда Мария Стюарт отказывается от своего непримиримого отношения к факту коронования ее сына лордами и выражает готовность признать за ним некоторые права на корону. Разумеется, она и теперь не намерена отречься от королевского титула, и жить и умереть она хочет миропомазанницей с венцом на челе, но, чтобы купить себе свободу, готова делить его с сыном. Впервые мелькает у нее мысль о компромиссе. Пусть сын правит и зовется королем, лишь бы и ей позволили именоваться королевой, лишь бы на ее отречение был наведен стыдливый глянец сусальной позолоты! Постепенно завязываются тайные переговоры. Однако Иаков VI, на которого давят лорды, ведет их как расчетливый игрок. Без зазрения совести торгуется он одновременно с обеими сторонами, ходит Марией Стюарт под Елизавету, а Елизаветой под Марию Стюарт и ставит попеременно на обе религии, готовый отдать предпочтение той стороне, которая дороже заплатит, ибо для него это не вопрос чести: ему важно остаться королем Шотландии и в то же время обеспечить себе право на английский престол; он хочет наследовать не одной, а обеим женщинам. Он не прочь остаться протестантом, поскольку это ему выгодно, но склоняется и к католицизму, буде там лучше заплатят; мало того, семнадцатилетний юноша, чтобы обеспечить себе английскую корону, не отступает и перед во-

все уж неблагоприятной сделкой: он готов жениться на изрядно побитой молью Елизавете, даром что та на девять лет старше его матери и к тому же ее испытанная противница и соперница. Для Дарнлея-младшего эти переговоры — вопрос простого расчета, тогда как Мария Стюарт, все еще живущая иллюзиями и чуждая реальной жизни, пылает и трепещет, воодушевленная последней надеждой — путем соглашения с сыном вырваться на свободу и в то же время остаться королевой.

Но Елизавета сразу же бьет тревогу. Она боится, как бы мать с сыном не договорились. Не теряя ни минуты, вторгается она в еще не окрепшую пряжу переговоров. Циническое знание людей подсказывает ей, чем взять неустойчивого юношу: игрой на его человеческих слабостях. Она посылает молодому королю, помешанному на охоте, отборных лошадей и собак. Она подкупает его советников и предлагает ему самому ежегодный пенсион в пять тысяч фунтов, что при вечных недостатках у шотландского двора само по себе является решающим доводом; кроме того, она пускает в ход испытанную приманку — английское престолонаследие. Как и обычно, дело решают деньги. В то время как ничего не подзревающая Мария Стюарт продолжает дипломатическую игру на пустом месте, вкупе с папою и испанским королем строит воздушные замки насчет католической Шотландии, Иаков VI тишком подписывает договор с Елизаветой, где подробно изложено, что эта сделка принесет ему как в деньгах, так и в других благах, но где ни словом не упомянут, казалось бы, более чем уместный здесь пункт об освобождении его матери. Ни единой строчки о пленнице, совершенно ему безразличной, раз с нее больше ничего не возьмешь. Через голову матери, как будто ее и нет на свете, договаривается сын со злейшим ее врагом. Пусть женщина, даровавшая ему жизнь, теперь, когда от нее больше нечего ждать, оставит его в покое! Как только договор подписан и милый сынок разжился деньгами и собаками, он сразу же обрывает переговоры с матерью. Стоит ли церемониться с бесильной женщиной! По поручению его величества короля составляется строжайший рескрипт, где в грубо канцелярском тоне сообщается, что Мария Стюарт навсегда лишена титула и всех прав королевы Шотландской. От-

няв у противницы державу, корону, власть и свободу, бездетная соперница отнимает у нее еще и последнее — сына. Наконец-то она окончательно отомщена.

Победа Елизаветы означает полный крах последних иллюзий Марии Стюарт. Вслед за мужем, вслед за братом, вслед за подданными от нее отвернулся сын, ее кровное дитя, и теперь она одна в целом мире. Ее разочарованию, ее возмущению нет границ. Отныне ей ни до кого дела нет. Ни с кем она больше считаться не будет! Раз сын от нее отрекся, что ж, и она отречется от сына. Раз он продал ее права на престол, она продаст его права. И она называет Иакова VI выродком, послушником, неблагодарным, испорченным мальчишкой, она проклинает его и грозит, что по завещательному распоряжению лишит его не только шотландской короны, но и английских преемственных прав. Чем такому изменнику и еретику, пусть лучше престол Стюартов достанется чужому государю! С этим твердым решением она предлагает Филиппу II шотландские и английские преемственные права, если тот обещает бороться за ее освобождение и смирить Елизавету, убийцу всех ее надежд. Что ей теперь ее страна, ее сын! Лишь бы жить подольше, лишь бы вырваться на свободу и победить! Отныне она ничего не боится, и самые отчаянные решения ей не страшны. Кто все потерял, тому больше нечего терять.

Годами в измученной, униженной женщине накапливались гнев и озлобление. Годами надеялась она, торговалась, интриговала, злоумышляла и искала возможностей договориться. Ныне мера ее терпения исполнилась. Точно вырвавшееся на волю пламя, вспыхнула подавленная ненависть к мучительнице, узурпаторше, палачихе. Уже не только как королева на королеву — как женщина на женщину бросается Мария Стюарт на Елизавету, словно норовя выцарапать ей глаза. Поводом служит ничтожный инцидент: графиня Шрусбери, злобная истеричка и интриганка, под горячую руку обвинила Марию Стюарт в том, что у той амуры с ее супругом. Глупая бабья сплетня, разумеется, и сама графиня ей не верила, но Елизавета, не пропускавшая случая повредить доброй славе своей соперницы, постаралась,

чтобы эта скандальная история дошла до иностранных дворов, так же как в свое время она разослала всем иностранным государям пасквиль Бьюкенена вместе с «письмами из ларца». И тут Мария Стюарт взвилась на дыбы. Мало того, что у нее отняли власть, свободу, последнюю надежду и сына, надо еще коварно запятнать ее честь! Ее, которая живет в затворничестве монахиней, не зная ни радости, ни утех любви, хотят выставить на поругание как блудодейку, покушающуюся на святость семейного очага! Ее раненая гордость восстает и требует удовлетворения, и графиня Шрусбери на коленях отрекается от своей бесчестной лжи. Однако Марии Стюарт совершенно точно известно, кто воспользовался этой ложью, чтобы смешать ее с грязью; она почувяла предательскую руку противницы и на удар, из-за угла нанесенный ее чести, отвечает открытым ударом. Давно уже грызет ее злобное нетерпение, давно хочется ей как женщине женщине высказать этой якобы девственной королеве, которая тщится слыть зеркалом добродетели, всю неприкрытую правду. И она пишет Елизавете письмо, будто бы затем, чтобы уведомить ее по дружбе, какую клевету и небывальщину распространяет графиня Шрусбери насчет ее частной жизни, на самом же деле, чтобы бросить в лицо «милой сестрице», что уж ей-то никак не пристало разыгрывать непорочную и порочить других. В письме, дышащем лютой ненавистью, удар следует за ударом. Все слова жестокой правды, какие одна женщина может высказать другой, здесь высказываются вслух, все дурные черты Елизаветы высмеиваются ей в глаза, все ее женские секреты безжалостно выволакиваются на свет. Мария Стюарт сообщает Елизавете якобы «по дружбе», а на самом деле чтобы смертельно ее уязвить, что графиня Шрусбери говорит про нее, будто она так тщеславна и так высоко мнит о своей красоте, словно она сама царица небесная. Она, мол, ненасытно жадна до лести и требует от своих потакателей, чтобы те постоянно ей кадили и превозносили ее до небес, сама же в припадке раздражения истязает своих придворных дам и горничных. Одной она будто бы сломала палец, другую, которая ей не угодила, прислуживая за столом, ударила ножом по руке. Но все это лишь скромные нападки по сравнению с ужасны-

ми разоблачениями из интимной жизни Елизаветы. Графиня Шрусбери, по словам Марии Стюарт, уверяет, будто на ляжке у Елизаветы гнойная язва — намек на сифилитическое наследие ее отца; она, мол, уже старуха и кончает носить крови, а все еще падка до мужчин. И не то чтобы она довольствовалась одним (графом Лестером), с которым спала несчетное число раз — «*infinies foys*», — она не пропускает ни одного случая потешить свою плоть и ни за что не откажется от своей свободы забавляться и получать удовольствие со все новыми и новыми любовниками — «*jamajs perdre la liberté de vous faire l'amour et avoir vostre plésir toujours aveques nouveaulx amoureuulx*». Среди ночи пробирается она в спальни мужчин в одной рубашке и накидке, и эти приключения обходятся ей недешево. Мария Стюарт называет имена и приводит подробности. И, не щадя ненавистную, наносит ей жестокий удар в самое больное место. С насмешкой ставит она ей на вид (кстати, и Бен Джонсон открыто рассказывал об этом собутыльникам), что она, несомненно, не похожа на всех женщин, а потому глупости болтают все те, что притворно ждут ее предполагаемой свадьбы с герцогом Анжуйским, потому что этого быть не может. «*Undubitablement vous n'estiez pas comme les autres femmes, et pour ce respect c'estoit follie á tous ceulx qu'affectoient vostre mariage avec le duc d'Anjou, d'aautant qu'il ne se pouroit accomplir*». Да, пусть Елизавета знает, что ее ревниво оберегаемая тайна стала общим достоянием — тайна ее женского убожества, дозволяющего любострастие, но не подлинную страсть, извращенную игру, но не полное обладание, тайна, навсегда лишающая ее радостей королевского союза и материнства. Ни одна женщина на свете не говорила этой всесветной властительнице всю неприкрытую правду, как сказала эта узница из своего заточения: замороженная на двадцать лет ненависть, удушенный гнев и скованные силы вдруг берут свое — они вздыбливаются в яростном порыве, и удар разъяренной тигрицы метит в самое сердце мучительницы.

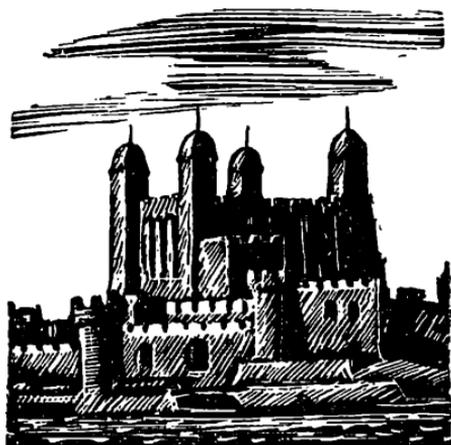
После такого неистового, дерзкого письма нечего и думать о примирении. Женщина, написавшая это письмо, и женщина, это письмо получившая, не могут больше ды-

шать одним воздухом, жить в одной стране. Hasta al cuchillo, как говорят испанцы, война не на жизнь, а на смерть, бой на ножах — единственное, что им остается. После двадцатилетних неустанных упорных козней и вражды всемирно-историческая борьба Марии Стюарт и Елизаветы наконец достигла высшего накала, поистине можно сказать, что дело дошло до ножа. Контрреформация исчерпала все свои дипломатические средства, а до военных еще не добралась. В Испании по-прежнему кропотливо и прилежно строят Армаду — несмотря на сокровища Индии, у этого злополучного двора всегда не хватает денег, не хватает решимости. Почему бы, думает Филипп Благодетельный, — как и Джон Нокс, он видит в физическом уничтожении неверного дело, угодное небу, — почему бы не избрать более дешевый способ — подкупить двух-трех убийц, которые без долгих сборов уберут с дороги Елизавету, опору еретиков? Век Макиавелли и его последователей не страдает излишней шепетильностью, когда дело идет о власти, а ведь здесь противостоят решения неоглядной важности — вера против веры, Юг против Севера: один-единственный удар кинжалом, нацеленный в сердце Елизаветы, может освободить мир от ереси.

Стоит политическим страстям накалиться добела, как рушатся все моральные и правовые преграды, исчезает последняя оглядка на порядочность и честь, и даже убийство из-за угла выдается за жертвенное деяние. После отлучения Елизаветы в 1570 году, а в 1580 — Вильгельма Оранского оба архисупостата католического мира объявлены вне закона, а с тех пор, как папа одобрил избивание шести тысяч человек, восславив Варфоломеевскую ночь как некое достохвальное деяние, каждому католику известно, что, устранив одного из этих заклятых врагов истинной веры, он совершит благородный подвиг. Достаточно смелого, верного удара кинжалом или меткого выстрела, как, выйдя из своего узилища, Мария Стюарт поднимется по ступенькам трона, и Англия с Шотландией объединятся в правой вере. Когда так много поставлено на карту, недопустимо медлить и колебаться; без всякого зазрения испанское правительство ставит на повестку дня в качестве важнейшей своей политической задачи вероломное убийство Елизаветы; Мендоса, испан-

ский посол, называет в депешах «убийство королевы» (killing the Queen) весьма желательной мерой; наместник Нидерландов герцог Альба полностью присоединяется к этому мнению, а властитель обоих миров Филипп II на докладной записке о предполагаемом убийстве Елизаветы пишет: «С нами бог!» Уже не на дипломатические комбинации и военные действия возлагаются надежды, а на клинок убийцы. И тут и там не стесняются в средствах: в Мадриде убийство Елизаветы одобрено Тайным советом и на него получено согласие короля; в Лондоне Сесил, Уолсингем и Лестер тоже единомышленны в том, что с Марией Стюарт надо покончить насильственным образом. Никакие обходы и лазейки больше невозможны, давно просроченный счет можно погасить только кровью. Вопрос лишь в том, кто поспеет первым — реформация или контрреформация, Лондон или Мадрид, Мария ли Стюарт устранил Елизавету, Елизавета ли Марию Стюарт.

## ДЕЛО ИДЕТ К КОНЦУ

*С сентября 1585 по август 1586 года*

«**П**ора кончать!» — «The matter must come to an end!» — этой железной формулой, вырвавшейся в горячую минуту, министр Елизаветы выразил чувства всей страны. Ничто так не тяготит народ или человека, как долгая неуверенность. Убийство изувером-католиком второго вождя Реформации принца Оранского (в июне 1584 года) ясно показало Англии, кому предназначен следующий удар; заговор следует за заговором — пора наконец взяться за узницу, за эту опасную поджигательницу, которая сеет смуту и беспокойство! Пора «вырвать зло с корнем!» В сентябре 1584 года протестантские лорды и чиновная знать собираются чуть ли не поголовно и на торжественной «ассоциации» (association) «честью и присягой обязуются перед

всечным богом предать смерти всякого, кто примет участие в заговоре против Елизаветы», причем отвечать будет и «любой претендент, в чью пользу замышлялась измена». После чего парламент в «Акте о личной безопасности Ее Величества королевы» — «Act for the security of the Queens Royal Person» — облакает это соборное определение в форму закона. Над всяким, кто примет участие в покушении на королеву или же — сугубо важный пункт — хотя бы в принципе с ним согласится, отныне занесен топор палача. Кроме того, постановлено, что «лица, обвиняемые в соучастии в заговоре против королевы, подлежат суду двадцати четырех заседателей по назначению короны».

Итак, Марии Стюарт сделано двойное предупреждение. Во-первых, в том, что на будущее королевский сан уже не помешает привлечь ее к публичному суду; во-вторых, что даже в случае успеха покушение на Елизавету ничего ей не даст, а только неминуемо приведет ее на плаху. Это звучит как последний сигнал фанфары, призывающий непокорную крепость к сдаче. В случае дальнейших колебаний пощады не будет. Отныне всякой недоговоренности и лицемерию между Елизаветой и Марией Стюарт конец, повеяло резким, суровым ветром. Наступила полная ясность.

О том, что время льстивых писем и льстивого притворства миновало и что борьба, растянувшаяся на десятилетия, вступает — *hasta al cuchillo* — в свой последний круг, когда никакие поблажки уже невозможны, Мария Стюарт и сама может судить по крутым мерам, которые против нее принимаются. Настороженный участвовавшими покушениями, английский двор решил прибрать Марию Стюарт к рукам, окончательно пресечь ее интриги и крамолу. Шрусбери, который в своем качестве джентльмена и большого вельможи был слишкомнисходительным тюремщиком, «освобождается от должности»; слово «освобождается» — «released» — звучит здесь в прямом смысле, он и в самом деле на коленях благодарит Елизавету за то, что она после пятнадцатилетних мытарств дает ему вольную. Место его заступает фанатик-протестант Эмиас Паулет. Только теперь Мария

Стюарт может с полным основанием говорить о «servitudo» — рабской неволе, ибо вместо прежнего доброго стража ей назначили жестокого тюремщика.

Эмиас Паулет, твердокаменный пуританин, один из тех праведников, каких взыскует библия, но бог не приемлет, отнюдь не скрывает своих намерений превратить жизнь Марии Стюарт в сущий ад. С полным сознанием своего долга и даже с горделивой радостью берется он содержать свою узницу в строгости, лишить ее малейших послаблений. «Я не стану испрашивать снижения,— пишет он Елизавете,— если она тайными кознями вырвется из моих рук, ибо сие может произойти лишь при моем преступном попустительстве». С холодной и трезвой методичностью, как человек долга, берется он охранять и полностью обезвредить свою узницу, как будто это— дело его жизни, завещанное ему господом богом. Отныне в его непреклонной душе живет одно честолюбивое стремление — стать тюремщиком не за страх, а за совесть; никакой соблазн не смутит этого Катона; ни разу у него не дрогнет сердце и набежавшая волна теплой человечности ни на миг не растопит его постную, ледяную мину. Для него бедная, усталая женщина не государыня, чьи несчастья внушают уважение, но единственно черный ворог его королевы, за которым нужен глаз да глаз, ибо от него, как от антихриста правой веры, всего можно ожидать. В том, что здоровье ее расшатано и разбитые ревматизмом ноги делают ее тяжелой на подъем, он цинически усматривает «преимущество для стражей, ибо нечего бояться, что она от них сбежит». Методически, пункт за пунктом, сам не нарадуясь на свою добросовестность, выполняет он обязанности надзирателя и с аккуратностью чиновника ежевечерне заносит свои наблюдения в особую книгу. И если всемирной истории и знакомы более жестокие, более злобные и несправедливые тюремщики, чем этот архиправедник, то вряд ли найдется среди них другой такой, кто умел бы с подобным сладострастием превращать свои обязанности в источник чиновничьего восторга. Первым делом безжалостно засыпаются подземные каналы, которые все еще время от времени связывали узницу с внешним миром. Пятьдесят солдат день и ночь караулят подходы к замку; люди из ее свиты, до

сих пор невозбранно навещавшие соседние деревушки и передававшие по цепочке письменные и устные весточки, тоже лишены свободы передвижения. Только с особого разрешения и под конвоем дозволено им оставлять замок; раздача милостыни окрестным беднякам, которой регулярно занималась сама Мария Стюарт, объявлена под запретом: пронизательный Паулет с полным основанием заподозрил в этой благотворительности средство склонить бедных людей к выполнению крамольных поручений. Одна суровая мера следует за другой. Белье, книги, любые посылки тщательно просматриваются, все усиливающийся надзор удушает переписку. Оба секретаря Марии Стюарт, Нау и Керль, вынуждены сидеть по своим комнатам сложа руки. Им больше не приходится писать и расшифровывать письма; ни из Лондона, ни из Шотландии, ни из Мадрида или Рима не просачивается ни одна весточка; ни капли надежды не проникает в одиночество всеми покинутой женщины. А вскоре Паулет отнимет у нее и последнюю радость: ее шестнадцать лошадей оставлены в Шеффилде—прошло время выездов на охоту и прогулок верхом. В этот последний год ее жизненное пространство совсем сузилось; при Эмиасе Паулете заточение Марии Стюарт все больше напоминает (темное предчувствие!) одиночную камеру, гроб.

Радея о чести Елизаветы, мы должны были бы пожелать ей более снисходительного стража для ее сестры-королевы. Но, заботясь о своей безопасности — как нам ни досадно признать это,— она не могла сыскать более надежного стража, чем этот холодный кальвинист. Образцово выполняет Паулет возложенную на него задачу отрезать Марию Стюарт от всего мира. Проходит месяц, и она герметически закупорена, живет словно под стеклянным колпаком, ни одна весть, ни одно слово снаружи не проникает под своды ее тюрьмы. Елизавета может быть спокойна и радоваться на своего доброго служаку, и она в самом деле прочувственно благодарит Эмиаса Паулета за его рвение: «Если бы Вы знали, мой добрый Эмиас, как я признательна Вам за Ваше неослабное усердие и безошибочные действия, за Ваши разумные распоряжения и надежные меры при выполнении столь

опасной и трудной задачи, это, наверно, облегчило бы Ваши заботы и порадовало Ваше сердце».

Однако, как ни странно, Сесил и Уолсингем, министры Елизаветы, не слишком благодарны дотошному Эмиасу Паулету («precise fellow») за его чрезмерное усердие. Полная изоляция пленницы вопреки всем ожиданиям путает их тайные планы. Много ли проку в том, что Мария Стюарт лишена возможности заниматься конспирацией? Паулет своим строгим режимом, в сущности, оберегает ее от ее собственной опрометчивости. Сесилу же и Уолсингему нужна не праведная Мария Стюарт, а неправедная. Им нужно, чтобы узница, в которой они склонны видеть источник постоянных волнений и заговоров в Англии, продолжала свою тайную игру и окончательно запуталась. Они считают, что «пора кончать», им нужен гласный суд над Марией Стюарт, нужен смертный приговор, нужна казнь. Им уже мало заточения. Для них не существует иной меры безопасности, как физическое уничтожение королевы Шотландской, а чтобы добиться этого, им нужно приложить не меньше усилий, стараясь заманить ее в инсценированный заговор, чем те, какие прилагает Паулет, стараясь оградить ее от всякой крамолы. Что им для этой цели требуется,— так это комплот против Елизаветы и явное, доказанное содействие Марии Стюарт преступному заговору.

Такой заговор против жизни Елизаветы сам по себе уже существует. Можно сказать, что он работает постоянно. Стараниями Филиппа II организован на континенте самый настоящий антиянглийский заговорщический центр. В Париже сидит Морган, тайный агент и доверенный Марии Стюарт, и на испанские деньги неустанно интригует, затевая всякие рискованные махинации против Англии и Елизаветы. Здесь постоянно вербуются молодежь и через посредство французских и испанских послов завязываются тайные сношения между недовольным католическим дворянством в Англии и государственными канцеляриями контрреформации. Одного только Морган не знает, что Уолсингем, один из самых способных и ничем не брезгающих министров полиции всех времен, подослал к нему под видом фанатичных католиков нескольких своих шпионов и что как раз те

курьеры, которые у Моргана на особо хорошем счету, подкуплены Уолсингемом и состоят у него на жалованье. Что бы ни предпринималось для Марии Стюарт, неизменно становится известным в Англии еще до того, как задуманные планы приводятся в исполнение. Так и в конце 1585 года английскому государственному кабинету становится известным — кровь последних заговорщиков еще обгаряет эшафот; — что на жизнь Елизаветы снова готовится покушение. Уолсингем знает наперечет, знает поименно всех католических дворян в Англии, с которыми Морган ведет переговоры и кого он завербовал на сторону Марии Стюарт. Стоит ему взяться — и с помощью дыбы и пытки огнем он может своевременно раскрыть готовящийся заговор.

Однако методы этого рафинированного министра полиции куда изощреннее и глядит он куда дальше. Разумеется, он мог бы уже сейчас задушить заговор мановением руки. Но четвертовать нескольких зарвавшихся дворян или случайных авантюристов — какое это имеет политическое значение! Стоит ли срубить у гидры незатихающей крамолы пять-шесть голов, чтобы назавтра их выросло вдвое больше? *Carthaginem esse delendam*<sup>1</sup> — вот девиз Сесила и Уолсингема, они хотят «покончить» с самой Марией Стюарт, а поводом для этого должна послужить не наивная попытка освободить узницу, а разветвленный заговор в ее пользу, ставящий себе явно преступные цели. И вот вместо того, чтобы преждевременно, еще в зародыше раздавить так называемый заговор Бабингтона, Уолсингем прилагает все усилия, чтобы искусственно его укрепить: он удобряет его своей благосклонностью, подкармливает деньгами, поощряет мнимым небрежением. И только благодаря его искусству провокатора дилетантский комплот кучки зачехленных дворян, направленный против Елизаветы, превращается в знаменитый заговор Уолсингема, ставящий себе целью устранение Марии Стюарт.

Но для законного убийства Марии Стюарт с помощью парламентского параграфа надо было соблюсти три условия. Во-первых, добиться от заговорщиков, чтобы они решили убить Елизавету и чтобы это их решение бы-

---

<sup>1</sup> Карфаген должен быть разрушен (лат.).

ло вполне доказуемо. Во-вторых, подвинуть их на то, чтобы они прямо и недвусмысленно сообщили его Марии Стюарт. В-третьих — и это самое трудное, — выманить у Марии Стюарт прямое и недвусмысленное одобрение преступного плана, и притом в письменной форме. Зачем убивать невинную без достаточных улик? Это было бы не к чести Елизаветы. Лучше сделать ее виновной, лучше коварно сунуть ей в руку кинжал, которым она сама пронзит себе сердце.

Комлот английской государственной полиции против Марии Стюарт начинается с подлости: неожиданно меняется к лучшему ее тюремный режим. Уолсингему, конечно, не стоило труда убедить благочестивого пуританина Эмиаса Паулета, что куда целесообразнее вовлечь Марию Стюарт в заговор, чем оберегать ее от возможных соблазнов. Ибо Паулет внезапно меняет тактику в духе плана, придуманного главным штабом английской полиции. В один прекрасный день сей дотоле непреклонный цесбер является к Марии Стюарт и самым обязательным образом докладывает ей, что из Татбери ее решено перевести в Чартли. Мария Стюарт, неспособная проникнуть в интриги своих врагов, не в силах скрыть свою искреннюю радость. Татбери — мрачная крепость, более напоминающая тюрьму, чем замок. Чартли же лежит не только в открытой, живописной местности, но и в ближайшем соседстве — и сердце у Марии Стюарт бьется жарче при этой мысли — с поместьями дворян-католиков, с которыми она дружна и от которых может ждать помощи. Там ей вольнее будет выезжать на охоту и совершать прогулки верхом, там, может быть, удастся ей получить весточку из-за моря и хитростью и мужеством завоевать то, в чем теперь единственная ее цель, — свободу.

А как-то утром Марию Стюарт ждет необычайный сюрприз. Она глазам своим не верит. Словно по маговению волшебной палочки, распалась темная власть Эмиаса Паулета. Пришло письмо, секретное, зашифрованное письмо, первое после всех этих месяцев блокады. Какие же молодцы ее друзья, какие они сообразительные, расторопные, нашли-таки возможность обойти ее не-

усыпного стража! Она уже и не чаяла такой радости: не быть отрезанной от мира, снова чувствовать дружеский интерес, поддержку и участие, снова узнавать о планах и приготовлениях, которые предпринимаются для ее освобождения! Какой-то тайный инстинкт все же заставляет ее остерегаться, и она отвечает на письмо своего агента Моргана настойчивым предупреждением: «Смотрите не впутайтесь во что-нибудь такое, что Вам могут потом поставить в вину. Вы и без того на подозрении, не усугубляйте же его». Но ее настороженность рассеивается, когда она узнает, какой ее друзья — на самом деле ее убийцы — изобрели остроумный способ беспрепятственно переправлять ей письма. Еженедельно из окрестной пивоварни доставляется на кухню королевы бочонок пива для слуг; по-видимому, ее друзьям удалось договориться с возницей, чтобы он опускал в наполненный бочонок закупоренную деревянную фляжку. В этот выдолбленный сосуд и прячут секретные письма, предназначенные для королевы. Связь работает безукоризненно, письма приходят и уходят с регулярностью почтовых отправок. Отныне «славный малый» («the honest man»), как явствует из писем, еженедельно доставляет в замок бочонок с драгоценным содержимым, дворецкий Марии Стюарт выуживает флягу, а потом с новым вложением опять опускает в бочку. Бравый возница смеется в кулак, ему эта контрабанда приносит двойной барыш: там его щедро награждают иноземные друзья Марии Стюарт, а здесь дворецкий платит ему за пиво вдвое против обычной цены.

Одного только Мария Стюарт не подозревает, что бравый возница за свои темные услуги предьявляет счет еще и в третьем месте, ибо ему, помимо прочих работодателей, платит и английская полиция. И Эмиас Паулет, разумеется, посвящен во все махинации. Дело в том, что пивную почту изобрели не друзья Марии Стюарт, а некий Гиффорд, шпион Уолсингема, выдавший себя Моргану и французскому посланнику за доверенное лицо Марии Стюарт; у министра полиции, таким образом, огромное преимущество: регулярная крамольная переписка Марии Стюарт осуществляется под наблюдением ее политических врагов. Каждое письмо, адресованное Марии Стюарт или написанное ею, перехватывается Гиффор-

дом, которого Морган считает своим надежнейшим агентом; Томас Фелиппес, секретарь Уолсингема, сразу же расшифровывает письмо, снимает копию и, даже не дав ей просохнуть, тут же запечатывает и отправляет в Лондон. И только после этого письмо со всей поспешностью доставляется Марии Стюарт или во французское посольство, так что ни у кого из адресатов не возникает подозрения, и они продолжают переписываться.

Поистине чудовищная ситуация. Обе стороны радуются, что противник обманут. Мария Стюарт вздохнула всей грудью. Наконец-то она взяла верх над холодным, неприступным пуританином, который позволяет себе рыться в ее белье, кромсать подошвы ее башмаков, который сторожит каждый ее шаг и держит ее на привязи, как преступницу. Знал бы он, думает она с торжеством, что, невзирая на часовых, на все его крепкие затворы и хитрые выдумки, к ней еженедельно из Рима и Мадрида приходят важные письма, что ее агенты трудятся не покладая рук, что ей на выручку готовятся войска, флотилии, кинжалы! Порой она даже не дает себе труда скрыть радость, которая так и брызжет из ее глаз: Эмиас Паулет иронически отмечает в своих записях, что здоровье и настроение его пленницы заметно улучшилось, с тех пор как душа ее вновь вкусила яд надежды. Да, смеяться пристало больше честному Эмиасу, и нетрудно представить себе саркастическую улыбку на его холодных устах, когда он еженедельно наблюдает прибытие бравого возницы со свежей партией пива и следит, с каким проворством хлопотун дворецкий скатывает бочонок в темный подвал, чтобы там, вдали от посторонних глаз, выловить драгоценную флягу. Ибо то, что сейчас будет читать Мария Стюарт, давно уже прочитано английскими полицейскими. В Лондоне Уолсингем и Сесил, посиживая в канцелярских креслах, изучают корреспонденцию Марии Стюарт, которая лежит перед ними в точных списках. Они убеждаются из этих писем, что Мария Стюарт предлагает завещать Филиппу II Испанскому свои царственные права на шотландскую корону и на английское престолонаследие, если он будет бороться за ее освобождение,— такое письмо, ду

мают они с довольной ухмылкой, не худо будет показать Иакову VI, чтобы не слишком горячился, когда за его матушку возьмутся. Они видят, что Мария Стюарт в письме, адресованном в Париж и писанном ее собственной нетерпеливой рукой, добивается высадки испанских войск. Что ж, и этот документик пригодится на процессе! Но самого важного, самого необходимого, чего они ждут и без чего никакой суд невозможен, они, увы, в письмах не находят, а именно, что Мария Стюарт изъявляет согласие на готовящееся покушение на жизнь Елизаветы. Вождеденного параграфа она еще не нарушила — для того, чтобы смертоносная машина процесса заработала, все еще не хватает крошечного винтика, каким явился бы «consent» — ясно выраженное согласие Марии Стюарт на убийство Елизаветы. И чтобы добыть этот необходимый винтик, несравненный мастер своего дела Уолсингем, засучив рукава, берется за работу. Так возникает одна из самых невероятных, пусть и документально удостоверенных провокаций в мировой истории — мошеннический трюк Уолсингема, инсценировка, рассчитанная на то, чтобы запутать Марию Стюарт в сфабрикованное полицией преступление, так называемый заговор Бабингтона, на деле — заговор Уолсингема.

План Уолсингема был, по-видимому, мастерский план, за это говорит его успех. Но что в нем омерзительно донельзя и от чего даже сейчас, спустя столетия, нас пробирает дрожь гадливости, — это что Уолсингем для своих жульнических целей воспользовался самым святым человеческим чувством — доверчивостью юных романтических душ. Энтони Бабингтон, которого в Лондоне избрали орудием расправы над Марией Стюарт, достоин нашего восхищения и сочувствия, ибо лишь из самых благородных побуждений пожертвовал он жизнью и честью. Мелкопоместный дворянин из хорошей семьи, человек с достатком, он счастливо жил с женой и ребенком в своем поместье Личфилд близ Чартли — теперь мы понимаем, что заставило Уолсингема избрать замок Чартли для нового местожительства Марии Стюарт. Осведомители давно уже донесли своему шефу, что Бабингтон, ревностный католик, самоотверженный сто-

ронник Марии Стюарт, не однажды помогал тайно переправлять ее письма,— ибо разве не священное право благородной юности проникаться жалостью и участием к трагической судьбе ближнего? Такой чистый сердцем идеалист, блаженный дурачок куда больше устраивает Уолсингема, нежели наемный шпион: ведь королева скорее такому поверит. Она знает: не из корысти этот честный и, может быть, слегка чудаковатый дворянин готов служить ей — и не по сердечной склонности. Предание, будто Бабингтон еще юным пажем увидел Марию Стюарт в доме графа Шрусбери и в нее влюбился, надо отнести за счет романтического воображения биографов; очевидно, он никогда с Марией Стюарт не встречался и служил ей как бескорыстный рыцарь, как набожный католик, как энтузиаст, восхищенный опасными приключениями женщины, в которой он видел законную английскую королеву. Беззаботно, безрассудно и многословно, как это свойственно экспансивной юности, вербует он союзников среди друзей, и несколько дворян-католиков присоединяются к нему. В этом кругу энтузиастов, собирающихся для пылких бесед, выделяются фанатически настроенный священник Боллард и некий Сэвидж, бесстрашный головорез; в остальном это безобидные, желторотые дворянчики, начитавшиеся Плутарха и смутно грезящие о героических подвигах. Однако вскоре среди этих честных мечтателей появляются новые фигуры, куда более решительные, чем Бабингтон и его друзья, по крайней мере они кажутся такими; в первую голову тот самый Гиффорд, которого Елизавета за его услуги награждает впоследствии ежегодным пенсионом в сто фунтов. Этим молодцам представляется недостаточным освободить королеву-узницу. Очертя голову, с необыкновенной горячностью настаивают они на куда более опасном деянии — на убийстве Елизаветы, на устранении «узурпаторши».

Эти мужественные и безоглядно решительные друзья, конечно же, не кто иные, как полицейские наемники, агенты Уолсингема; бессовестный министр вкрапил их в кружок молодых идеалистов не только, чтобы своевременно разузнавать их планы, но прежде всего, чтобы побудить фантазера Бабингтона зайти гораздо дальше, чем тот, в сущности, предполагал. Сам

Бабингтон (все документы сходятся на этом) вначале замышлял только смелую вылазку — вместе с друзьями решительным ударом из Личфилда освободить Марию Стюарт из плена, воспользовавшись ее выездом на охоту или на прогулку; меньше всего эти политически экзальтированные, но гуманные по натуре люди помышляли о таком бесчеловечном поступке, как убийство.

Уолсингему, однако, мало похищения Марии Стюарт, оно еще не дает ему основания для приведения в действие нового параграфа. Ему для его темных целей нужно нечто большее — нужен заговор, настоящий заговор цареубийц. И он заставляет своих ловкачей, своих *agents provocateurs*<sup>1</sup> бить и бить в одну точку, покуда Бабингтон с друзьями не сдаются на их науськивания: они готовы подумать и о столь необходимом Уолсингему убийстве Елизаветы. Испанский посол, тесно связанный с заговорщиками, двенадцатого мая докладывает Филиппу II радостную весть: четыре дворянина-католика из лучших семейств, имеющих доступ ко двору, поклялись на распятии извести государыню ядом или кинжалом. Из чего можно заключить, что *agents provocateurs* поработали на славу. Наконец-то инсценированный Уолсингемом заговор полностью пущен в ход.

Но этим решена лишь первая часть задачи, которую ставил себе Уолсингем. Удавка укреплена только с одного конца, надо закрепить ее и с другого. Заговор против жизни Елизаветы составлен, но на очереди еще более сложная задача — втянуть в него Марию Стюарт, выманить у пленницы, ничего не знающей о зароевшейся вокруг нее интриге, согласие по всей форме, «*consent*». И Уолсингем снова свистит своих ищеек. Он отправляет нарочных в Париж к Моргану, генеральному уполномоченному Филиппа II и Марии Стюарт, в постоянно действующий католический конспиративный центр — жаловаться на Бабингтона и компанию, будто бы те недостаточно рьяно берутся за дело. Они-де не спешат с убийством, таких ротозеев и слюняев свет не видывал. Не мешало бы пришпорить этих нерадивых и малодушных, подвигнуть их на выполнение священной задачи. Сделать это могла бы только Мария Стюарт, обратив-

---

<sup>1</sup> Провокаторов (франц.).

шись к ним с воодушевляющим словом. Достаточно Бабингтону увериться, что его высокочтимая королева одобряет убийство, как он от слов перейдет к делу. Для успешного выполнения великого замысла, по уверениям ищеек, нужно, чтобы Морган склонил Марию Стюарт написать Бабингтону несколько воспламеняющих слов.

Морган колеблется. Можно подумать, что в минуту внезапного просветления он разгадал игру Уолсингема. Однако ищейки твердят свое: речь будто бы идет лишь о ничем не значащем обращении. Наконец Морган уступает, но, чтобы обеспечить себя от случайностей, он сам набрасывает для Марии Стюарт текст ее письма Бабингтону. И королева, всецело доверяющая своему агенту, слово в слово переписывает этот текст.

Итак, необходимая Уолсингему связь между Марией Стюарт и заговорщиками установлена. Некоторое время еще соблюдается осторожность, к которой призывал Морган,— первое письмо Марии Стюарт к юным прозелитам написано с большой теплотой, однако в самой общей и ни к чему не обязывающей форме. Уолсингему, однако, нужна неосторожность, нужны ясные признания и неприкрытое согласие, «consent», на задуманное убийство. И по его знаку агенты опять берутся за заговорщиков. Гиффорд внушает злосчастному Бабингтону, что, поскольку Мария Стюарт так великодушно им доверилась, его прямой долг — с таким же доверием посвятить ее в свои планы. В столь опасном начинании, как покушение на Елизавету, нельзя действовать без согласия Марии Стюарт: ведь у них есть полная возможность без всякого риска через того же бравого возницу снести с узицей, условиться с ней обо всем и получить указания. Блаженный дурачок Бабингтон, более отважный, чем рассудительный, очертя голову ринулся в эту ловушку. Он отправляет своей *très chère souveraine*<sup>1</sup> пространное послание, где во всех подробностях рассказывает о своих планах. Пусть бедняжка порадует, пусть узнает наперед, что час ее освобождения близок. С таким доверием, как будто ангелы незримыми путями перенесут его слова Марии Стюарт, и не подозревая, что сыщики и шпионы кровожадно сто-

---

<sup>1</sup> Дорогой государыне (франц.).

рожат каждое его слово, излагает несчастный глупец в пространным письме весь план готовящейся операции. Он сообщает, что сам с десятком молодых дворян и сотней подручных предпримет смелый набег на Чартли и увезет ее, а в то же время шестеро дворян, все надежные и верные друзья, преданные делу католицизма, совершат в Лондоне покушение на «узурпаторшу». Написанное с безрассудной прямоотой послание говорит о пламенной решимости и о полном понимании угрожающей заговорщикам опасности — его нельзя читать без глубокого волнения. Только холодное сердце, только зачерствелая душа могла бы оставить такое признание без ответа и одобрения во имя трусливой осторожности.

Но именно на горячности сердца, на не раз испытанной опрометчивости Марии Стюарт и строит свои расчеты Уолсингем. Если кровавый замысел Бабингтона не вызовет у нее возражений, значит, он у цели, значит, Мария Стюарт избавила его от лишних хлопот: не придется подсылать к ней тайных убийц. Она сама себе надела петлю на шею.

Роковое письмо отослано, шпион Гиффорд срочно доставил его в государственную канцелярию, где его тщательно расшифровали и сняли копию. По-видимому, никем не тронутое, оно затем проделывает свой обычный путь в пивной бочке. Десятого июля оно уже в руках у Марии Стюарт — и с не меньшим, чем она, волнением, два человека в Лондоне ждут, ответит ли она и что ответит, — Сесил и Уолсингем, вдохновители и коноводы этого заговора тайных убийц. Наступил момент наивысшего напряжения, та трепетная секунда, когда рыбка уже дергает за наживку. Проглотит она ее? Или ускользнет? Минута и в самом деле жестокая, а все же: мы можем порицать или, наоборот, хвалить политические методы Сесила и Уолсингема — неважно. Сколь ни гнусны средства, к которым прибегает Сесил, чтобы погубить Марию Стюарт, он государственный деятель и, так или иначе, служит идее: для него устранение заклятого врага протестантизма — насущная политическая необходимость. Что касается Уолсингема, то трудно требовать от министра полиции, чтобы он отказался от шпионажа и

придерживался исключительно добропорядочных методов работы.

Ну, а Елизавета? Знает ли та, что всю жизнь, при любом своем решении со страхом оглядывалась на суд потомства, что здесь, за кулисами, сооружена такая адская машина, которая во сто крат коварнее и опаснее всякого эшафота? Совершают ли ее ближайшие советники свои подлые махинации с ее ведома и одобрения? Какую роль — неизбежный вопрос — играла английская королева в подлом заговоре против своей соперницы?

Ответ напрашивается сам собой: двойную роль. У нас, правда, имеются все доказательства того, что Елизавета была в курсе происков Уолсингема, что с первой же минуты и до самого конца она шаг за шагом, пункт за пунктом терпела, одобряла, а возможно, и поощряла провокаторские махинации Сесиля и Уолсингема; никогда суд истории не простит ей, что она видела все это и даже помогала коварно завлечь в ловушку доверенную ей узницу. И все же — приходится снова и снова повторять это — Елизавета не была бы Елизаветой, если бы ее поступки всегда были однозначны и прямолинейны. Способная на любую ложь, на любое предательство, эта самая примечательная из женщин отнюдь не была лишена совести, и никогда она прямолинейно не чуждалась благородных побуждений. Неизменно в критические минуты находит на нее великодушный стих. Вот и на сей раз ее мучит совесть, что она прибегает к таким грязным методам, и в то самое время, как ее помощники оплетают Марию Стюарт своими сетями, она делает неожиданный ход в пользу обреченной жертвы. Она призывает к себе французского посланника, который руководит пересылкой писем из Чартли и обратно, не подозревая, что пользуется услугами платных клеветов Уолсингема. «Господин посланник, — заявляет она ему без экивоков. — Вы очень часто сноситеся с королевой Шотландской. Но, поверьте, я знаю все, что происходит в моем государстве. Я сама была узницей в то время, когда моя сестра уже сидела на троне, и мне хорошо известно, на какие хитрости пускаются узники, чтобы подкупать слуг и входить в тайные сношения с внешним миром». Этими словами Елизавета как бы успокоила свою совесть. Ясно и вразумительно остерегла она французского посла и Марию

Стюарт. Она сказала столько, сколько могла сказать, не выдавая своих слуг. И если Мария Стюарт и теперь не прекратит своих тайных сношений, то она, во всяком случае, может спокойно умыть руки: я остерегала ее еще и в последнюю минуту.

Однако и Мария Стюарт не была бы Марией Стюарт, если бы она слушалась добрых советов, если бы она хоть когда-либо действовала осторожно и расчетливо. Правда, получение письма Бабингтона она поначалу подтверждает всего одной строчкой; по словам глубоко разочарованного посланца Сесила, она еще не открыла своего истинного отношения, «her very heart», к плану убийства. Она медлит, колеблется, не смея довериться незнакомым людям, а тут еще ее секретарь Нау настойчиво советует ей воздержаться от письменных сообщений на столь опасную тему. Но этот план так много обещает, этот зов так соблазнителен, что Мария Стюарт не в силах отказаться от своей роковой страсти к дипломатической игре и интригам. «Elle s'est laissée aller à l'assenter»<sup>1</sup>,— пишет Нау в тревоге. Три дня подряд сидит она, запершись с обоими секретарями, Нау и Керлем, в своем кабинете и подробно, по пунктам отвечает на каждое предложение. Семнадцатого июня, вскоре по получении письма Бабингтона, ее ответ готов и отсылается, как всегда, в пивном бочонке.

Но на сей раз злосчастное письмо далеко не уходит. Оно даже не следует обычным путем в Лондон, в государственную канцелярию, где расшифровывается тайная переписка Марии Стюарт. В своем нетерпении узнать результаты Сесил и Уолсингем откомандировали Фелиппеса, своего шифровальщика, прямехонько в Чартли, чтобы он тут же, на месте, так сказать, по горячим следам, познакомился с ответом. Волею судеб Мария Стюарт, выехав на прогулку в своей коляске, неожиданно встречает этого вестника смерти. Ей сразу же бросается в глаза незнакомец. Но, поскольку этот безобразный, конопатый малый (таким она описывает его в одном письме) с тихой улыбочкой ей поклонился — ему, как видно, не удастся скрыть свое злорадство,— отуманенной надеж-

<sup>1</sup> «Она готова дать согласие» (франц.).

дами Марии Стюарт приходит в голову, что человек этот пробрался сюда, чтобы по поручению ее друзей произвести рекогносцировку местности для предстоящего побега. На самом деле Фелиппес здесь для более зловещей рекогносцировки. Как только письмо вынута из бочонка, он жадно на него набрасывается. Рыбка поймана, надо поскорее ее выпотрошить. Усердно разбирает он слово за словом. Сначала идут вступительные общие фразы. Мария Стюарт благодарит Бабингтона и, касаясь предполагаемого набега на Чартли, выдвигает три встречных предложения. Собственно, неплохая пожива для шпиона, но не это главное, решающее. И тут сердце Фелиппеса замирает от злобной радости: он дошел до места, где черным по белому стоит «consent» — то самое согласие, за которым Уолсингем охотится и которого домогается уже много месяцев, — согласие Марии Стюарт на убийство Елизаветы. Ибо на сообщение Бабингтона, что шесть молодых дворян берутся заколоть Елизавету в ее дворце, Мария Стюарт спокойно и деловито отвечает следующим указанием: «Пусть тех шестерых дворян пошлют на это дело и позаботятся, чтобы, как только оно будет сделано, меня отсюда вызволили... еще до того, как весть о случившемся дойдет до моего стража». Больше ничего и не требовалось. Этим Мария Стюарт выдала «her very heart» — свое истинное отношение, она одобрила царубийство, и, стало быть, полицейский заговор Уолсингема достиг своей цели. Главари и их подручные, господа и слуги в восторге жмут друг другу грязные руки, которые вскоре обогрятся кровью. «Теперь у Вас довольно ее бумаг», — с торжеством пишет своему хозяину Уолсингему его креатура Фелиппес. Да и Эмиас Паулет в предвидении, что казнь жертвы вскоре освободит его от должности тюремщика, молитвенно воздевает руки. «Бог благословил мои труды, — пишет он, — я радуюсь, что он так наградил мою верную службу».

Теперь, когда райскую птицу загнали в силос, Уолсингему, казалось бы, нечего мешкать. Его план удался, свое подлое дельце он обстряпал; но он так уверен в победе, что может себе позволить гнусную радость денек другой поипрать своими жертвами. Он не препятствует Бабингтону получить письмо Марии Стюарт (кстати, ко-

пию с него сняли); не вредно бы, думает Уолсингем, перехватить и ответ, это пополнит мое досье. А между тем Бабингтон по какому-то признаку догадался, что чей-то недобрый глаз проник в его тайну. Внезапно отчаянный страх овладевает храбрецом, ибо даже у самого мужественного человека сдают нервы, когда он чувствует себя во власти темной, непостижимой силы. Точно затравленная крыса, мечется он туда-сюда. Нанимает лошадь и уезжает в провинцию, намереваясь бежать. Потом вдруг возвращается в Лондон и является — невольно вспомнишь Достоевского — как раз к тому человеку, который играет его судьбой, к Уолсингему, — необъяснимое и все же вполне объяснимое бегство обезумевшего человека в объятия злейшего врага. Очевидно, он хочет выведать, имеются ли на его счет какие-нибудь подозрения. Холодный, равнодушный министр полиции ничем себя не выдает, спокойно отпускает он беглеца: пусть дурак еще в чем-нибудь попадетсЯ. Однако Бабингтон уже чувствует протянутые к нему в темноте руки. Второпях пишет он другу записку и находит, чтобы придать себе мужества, подлинно героические слова: «Уже готова огненная печь, где нашу веру подвергнут испытанию». Одновременно в прощальном письме он успокаивает Марию Стюарт, просит ее не терять мужества. Но у министра уже довольно улик, и он решительно захлопывает ловушку. Схвачен один из заговорщиков, и Бабингтон, узнав это, понимает, что все потеряно. Он предлагает своему другу Сэведжу последний, безумный шаг — не медля идти во дворец и заколоть Елизавету. Но уже поздно, сыщики Уолсингема преследуют их по пятам, и только благодаря отчаянной решимости беглецам удается ускользнуть в ту самую минуту, когда их пришли арестовать. Бежать, но куда? На всех дорогах стоят заставы, во всех портах усиленный дозор, а у них ни денег, ни еды. Десять дней прячутся они в роще Сент-Джона — теперь она в сердце Лондона, а в то время была его окраиной, — десять дней ужаса и безысходного отчаяния. Немилосердно терзает их голод; наконец полное изнеможение гонит их к дому друга, и здесь им не отказывают в хлебе — последнем причастии, — но подоспевшие полицейские забирают их и в оковах ведут через весь город. В темном каземате

Тауэра дожидаются пыток и приговора отважные юные энтузиасты, а над их головами по всему Лондону уже трезвонят колокола, торжествуя победу. Потешными огнями, пальбой и праздничными шествиями ознаменовывают лондонцы спасение Елизаветы, раскрытие заговора и гибель Марии Стюарт.

А между тем ничего не подозревающая узница замка Чартли после многих лет неизбывной тоски снова познает часы радостного возбуждения. Каждый нерв у нее напряжен. В любую минуту может примчаться всадник с вестью, что тот «desseing effectué»<sup>1</sup> — не нынче-завтра ее, узницу, повезут в Лондон, в величественный замок; ей уже представляется в мечтах, как вся знать и горожане в пышных одеждах ждут ее у городских ворот, как ликующе звонят колокола. (Несчастной и невдомек, что на лондонских колокольнях и в самом деле звонят и гудят колокола, славя спасение Елизаветы.) Еще день-другой — и все будет завершено. Англия и Шотландия объединятся под ее скипетром, и католическая вера будет возвращена всему миру.

Ни один врач не знает такого живительного снадобья для усталого тела, для поникшей души, как надежда. С тех пор как Мария Стюарт, по-прежнему увлекающаяся, по-прежнему легковерная, мнит себя на пороге победы, она совершенно преобразилась. Какая-то новая бодрость, какая-то вторая молодость вдруг вселились в нее, и та, что последние годы постоянно изнывала от слабости, та, что после полчасовой прогулки жаловалась на колотья в боку, на утомление и ревматические боли, снова с легкостью вскакивает в седло. Сама дивясь этому неожиданному обновлению, она пишет Моргану (в то время как над заговором уже занесена коса): «Благодарение богу, он еще не слишком меня обездолил, я и сейчас достаточно владею арбалетом, чтобы сразить оленя, и поспеваю на коне за гончими».

Поэтому как радостную неожиданность воспринимает она приглашение всегда такого неприветливого Эмиаса Паулета — этот олук-пуританин и не подозревает, думает она, как близок конец его палаческой карьеры, —

<sup>1</sup> План приведен в исполнение (франц.).

отправиться восьмого августа на охоту в соседний замок, Тиксолл. Выезжают целой кавалькадой: ее гофмаршал, оба секретаря, ее врач — все сели на коней, а тут и Эмиас Паулет с несколькими офицерами стражи (сегодня он не в пример обычному доступен и общителен) присоединяются к веселой компании. Утро чудесное, теплое и сияющее, поля зеленеют ранними сочными всходами. Мария Стюарт шпорит коня, эта скачка и свист ветра в ушах рождают у нее благодатное ощущение жизни и свободы. Уже много недель, много месяцев не была она так молода, ни разу за все угрюмые годы не чувствовала себя такой веселой и бодрой, как в это чудесное утро. Все кажется ей прекрасным и легким; блажен тот, чье сердце открыто надеждой.

Перед воротами Тиксоллского парка бешеный аллюр меняется, лошади переходят на размеренную рысь. И вдруг у Марии Стюарт горячо забилось сердце. Перед калиткой замка ждет большая группа всадников. Неужели — о благодатное утро! — это и в самом деле Бабингтон с товарищами? Неужто тайные обетования письма сбудутся до срока? Но странно: только один из ожидающих всадников отделяется от остальных, медленно и с необычайной торжественностью подъезжает он, снимает шляпу и кланяется: сэр Томас Джордж. И в следующую секунду Мария Стюарт чувствует, как сердце, только что бившееся у самого горла, проваливается куда-то в пустоту. Ибо сэр Томас Джордж сообщает ей в немногих словах, что заговор Бабингтона открыт и ему поручено арестовать обоих ее секретарей.

Мария Стюарт не в силах ничего ответить. Любое «да», любое «нет», любой вопрос, любая жалоба могут ее выдать. Она еще, пожалуй, не угадывает всей опасности, но страшное подозрение охватывает ее, когда она видит, что Эмиас Паулет отнюдь не собирается везти ее обратно в Чартли. Только теперь понимает она, что означало это приглашение на охоту: ее решили выманить из дому, чтобы беспрепятственно произвести у нее обыск. Конечно же, у нее перерыли и пересмотрели все бумаги, конфисковали всю дипломатическую канцелярию, которой она руководила так открыто, с таким чувством суверенной безопасности, как если бы она все еще была властительницей, а не узницей в чужой стране. А впрочем, у

нее будет достаточно, сверхдостаточно времени продумать все свои ошибки и упущения, ибо на семнадцать дней ее задерживают в Тиксолле, где она не может ни написать, ни получить ни единой строчки. Все ее тайны, она это знает, выданы, все надежды растоптаны. Опять она спустилась на ступеньку ниже — она уже не в плену, а на скамье подсудимых.

Мария Стюарт неузнаваема, когда семнадцать дней спустя возвращается в Чартли. Это уже не та женщина, которая с дротиком в руке во главе своих верных мчалась во весь опор на взмыленном коне; медленно, в молчании, окруженная суровой стражей и врагами, въезжает она в ворота замка, усталая, обескураженная, постаревшая, отринув всякую надежду. Действительно ли она встревожилась, увидев, что все ее сундуки и шкафы вскрыты, а бумаги и письма исчезли без следа? Удивлена ли, что поредевшая кучка слуг встречает ее слезами отчаяния? Нет, она знает: все миновало, все прошло. И вдруг маленький эпизод скрашивает ей первые часы тупой безнадежности. Внизу, в людской, стонет женщина в родовых муках: это супруга Керля, ее преданного секретаря, которого уволокли в Лондон, чтобы он свидетельствовал против своей госпожи на ее погибель. Бедная женщина лежит одна, без помощи врача и священника. И королева из братского сочувствия женщине и несчастной спешит вниз, чтобы оказать помощь лежащей в муках, и, за отсутствием священника, сама совершает над ребенком обряд крещения, даруя ему первое христианское напутствие при вступлении в мир.

Еще несколько дней проводит Мария Стюарт в ненавистном ей замке, а там приходит распоряжение перевести ее в другой, где ее ждет еще более надежное, еще более глухое затворничество. Фотерингей зовется тот замок. Из многих замков, где Мария Стюарт побывала как гостя и как узница, в королевском величии и в рабском унижении, этот замок последний. Странствие ее приходит к концу, скоро беспокойная узнает покой.

А между тем эта безысходная трагедия кажется нам лишь благостным страданием по сравнению с жестоки-

ми муками, на которые обречены в те дни злосчастные молодые дворяне, положившие жизнь за Марию Стюарт. Но так уж повелось, что мировая история пишется с несправедливых, асоциальных позиций, ибо почти всегда она показывает горести властителей, торжество и падение сильных мира. Равнодушно проходит она мимо тех, кто прозябает во мраке, как будто пытки и истязания не так же терзают одно живое тело, как и другое. Бабингтон и его девять товарищей — кто вспомнит, кто назовет сегодня их имена, меж тем как судьба королевы Шотландской увековечена на бесчисленных подмостках, в книгах и картинах! — испытывают в течение трех часов страшной пытки больше физических страданий, чем Мария Стюарт извела за все двадцать лет своих несчастий. По закону им, правда, полагалась лишь смерть на виселице, но зачинщики заговора считают это недостаточным для тех, кто поддался их науськиваниям. Вкупе с Сесилом и Уолсингемом сама Елизавета решает — еще одно темное пятно на ее совести, — что казнь Бабингтона и его товарищей должна с помощью особенно изощренной пытки превратиться в тысячекратную смерть. Шестерых из этих юных, глубоко верующих энтузиастов — и среди них двух подростков, виноватых лишь в том, что они вынесли своему другу Бабингтону два-три ломтя хлеба, когда он, находясь в бегах, постучался, точно нищий, у их ворот, — сперва для вящей законности вешают на минутку и тут же еще живьем вынимают из петли, чтобы вся дьявольская жестокость этого варварского века могла излиться на их трепетную, несказанно страдающую плоть. С чудовищной методичностью приступают палачи к своей омерзительной работе. И так неспешно, так жестоко кромсают эти мясники тела своих трепетных жертв, что даже у подонков лондонской черни сдают нервы, и власти на другой день вынуждены сократить программу мучительств. Еще раз волны ужаса и крови захлестывает эшафот — а все ради этой женщины, которой дана была магическая, роковая власть, погибая, вовлекать в свою гибель все новые молодые жизни. Еще раз — но уже в последний! Великая пляска смерти, начавшаяся с Шателяра, приходит к концу. Никто больше не явится, чтобы положить жизнь за ее мечту о власти и величии. Она сама теперь падет жертвой.

# ЕЛИЗАВЕТА ПРОТИВ ЕЛИЗАВЕТЫ

*С августа 1586 по февраль 1587 года*



**И**так, цель достигнута: Марию Стюарт загнали в ловушку, она дала «согласие», она преступила закон. Елизавете, в сущности, не о чем больше хлопотать — за нее решает, за нее действует правосудие. Борьба, растянувшаяся на четверть столетия, пришла к концу. Елизавета победила, она могла бы торжествовать вместе с народом, который с радостными кликами валит по улицам, празднуя избавление своей монархини от смертельной опасности и победу протестантизма. Но неизменно к чаше ликования примешивается таинственная горечь. Именно теперь, когда Елизавете остается довершить начатое, у нее дрожит рука. В тысячу раз легче было заманивать неосторожную жертву в западню, чем убить ее вконец запутавшуюся, беспомощную. Пожелай Елизаве-

та насильственно избавиться от неудобной пленницы, ей сотни раз представлялся случай сделать это незаметно. Тому уже пятнадцать лет, как парламент потребовал, чтобы Марии Стюарт топором было сделано последнее внушение, а Джон Нокс на смертном одре заклинал Елизавету: «Если не срубить дерево под самый корень, оно опять пустит ростки, и притом скорее, чем можно предположить». И неизменно она отвечала, что «не может убить птицу, прилетевшую к ней искать защиты от коршуна». Но теперь у нее нет иного выбора, как между помилованием и смертью; постоянно отодвигаемое, но неизбежное решение подступило к ней вплотную. Елизавете страшно, она знает, какими неизмеримо важными последствиями чреват произнесенный ею смертный приговор. Нам сегодня, пожалуй, невозможно представить себе революционную значимость этого решения, которое должно было потрясти до основания по-прежнему незыблемую в то время иерархию мира. Отправить на эшафот помазанницу божью значило показать все еще покорствующим народам Европы, что и монарх подлежит суду и казни, развеять миф о неприкосновенности его особы. От решения Елизаветы зависела не столько судьба смертного, сколько судьба идеи. На сотни лет вперед создан здесь прецедент — остережение всем земным царям о том, что венчанная на царство голова уже однажды скатилась с плеч на эшафоте. Казнь Карла I, правнука Стюартов, была бы невозможна без ссылки на этот прецедент, как невозможна была бы участь Людовика XVI и Марии Антуанетты без казни Карла I. Своим ясным взглядом, своим глубоким чувством ответственности в делах человеческих Елизавета угадывает всю бесповоротность своего решения, она колеблется, она трепещет, она уклоняется, она медлит и откладывает со дня на день. Снова — и куда ожесточеннее, чем раньше, — спорят в ней разум и чувство, Елизавета спорит с Елизаветой. А зрелище человека, борющегося со своей совестью, всегда особенно нас потрясает.

Угнетенная этой дилеммой, в разладе с собой, Елизавета пытается в последний раз уклониться от неизбежного. Она уже не раз отталкивала от себя решение, а

оно все вновь возвращалось к ней в руки. И в этот последний час она опять пытается снять с себя ответственность, взвалить ее на плечи противницы. Она пишет узнице письмо (до нас не дошедшее), где предлагает ей принести чистосердечную повинную, как королева королеве, открыто сознаться в своем участии в заговоре, отдаться на ее личную волю, а не на приговор гласного суда.

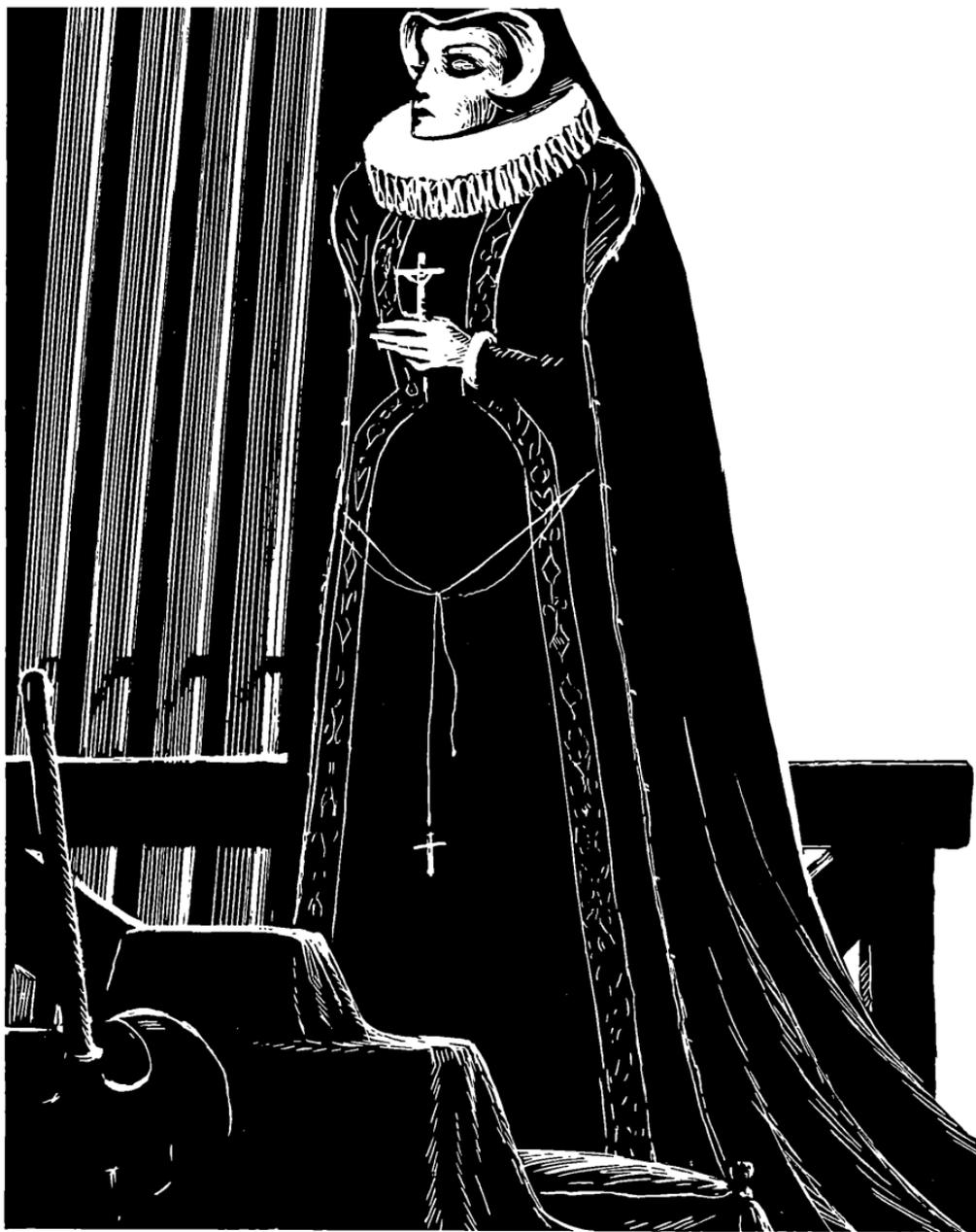
Предложение Елизаветы — и в самом деле единственный возможный выход. Только оно могло бы еще избавить Марию Стюарт от унижительного публичного допроса, от судебного приговора и казни. Для Елизаветы же это вернейшая гарантия, какую она могла бы пожелать; заполучив в свои руки признание противницы, написанное ею самой, она могла бы держать неудобную претендентку в своего рода моральном плену. Марии Стюарт оставалось бы только мирно доживать где-нибудь в безвестности, обезоруженной своим признанием, меж тем как Елизавета пребывала бы в зените и сиянии нерушимой славы. Роли были бы тем самым окончательно распределены, Елизавета и Мария Стюарт стояли бы в истории не рядом и не одна против другой — нет, виновная лежала бы во прахе перед своей милостивицей, спасенная от смерти — перед своей избавительницей.

Но Марии Стюарт уже не нужно спасение. Гордость всегда была ее вернейшей опорой, скорее она преклонит колени перед плахой, чем перед благодетельницей, лучше будет лгать, чем повинится, лучше погибнет, чем унизится. И Мария Стюарт гордо молчит на это предложение, которым ее хотят одновременно спасти и унижить. Она знает, что как повелительница она проиграла; только одно на земле еще в ее власти — доказать неправоту своей противницы Елизаветы. И так как при жизни она уже бессильна ей чем-нибудь досадить, то она хватается за последнюю возможность — представить Елизавету перед всем миром жестокосердной тиранкой, посрамить ее своей славной кончиной.

Мария Стюарт оттолкнула протянутую руку; Елизавета, на которую насаждают Сесил и Уолсингем, вынуж-



«МАРИЯ СТЮАРТ»



«МАРИЯ СТЮАРТ»

дена стать на путь, который, в сущности, ей ненавистен. Чтобы придать предстоящему суду видимость законности, сначала созываются юристы короны, а юристы короны почти всегда выносят решение, угодное предержавшему венценосцу. Усердно ищут они в истории прецедентов — бывали ли когда случаи, чтобы королей судили обычным судом, дабы обвинительный акт не слишком явно противоречил традиции, не представлял собой некоего новшества. С трудом удается наскрести несколько жалких примеров: тут и Кайетан, незначительный тетрарх времен Цезаря, и столь же мало кому известный Лициний, деверь Константина, и, наконец, Конрадин фон Гогенштауфен, а также Иоанна Неаполитанская — вот и весь перечень князей, которых, по сохранившимся сведениям, когда-либо казнили по приговору суда. В своем низкопоклонническом усердии юристы идут еще дальше: не к чему, говорят они, беспокоить для Марии Стюарт высший дворянский суд; поскольку «преступление» шотландской королевы совершено в Стаффордшире, по их авторитетному суждению, достаточно, чтобы подсудимая предстала перед обычным гражданским жюри графства. Но судопроизводство на столь демократической основе отнюдь не устраивает Елизавету. Ей важна форма, она хочет, чтобы внука Тюдоров и дочь Стюартов была казнена, как подобает особе королевского ранга, со всеми регалиями и почестями, с надлежащею пышностью и помпой, со всем благолепием и благоговением, положенным государыне, а не по приговору каких-то мужланов и лавочников. В гневе напускается она на перестаравшихся судейских: «Поистине хорош был бы суд для принцессы! Нет, чтобы пресечь подобные нелепые разговоры (как вынесение вердикта королеве двенадцатью горожанами), я считаю нужным передать столь важное дело на рассмотрение достаточного числа знатнейших дворян и судей нашего королевства. Ибо мы, государыни, подвигаемся на подмостках мира, на виду у всего мира». Она требует для Марии Стюарт королевского суда, королевской казни и королевского погребения и сзывает высокий суд из самых прославленных и знатных мужей нации.

Но Мария Стюарт не выказывает ни малейшей склонности явиться на допрос или на суд подданных своей

сестры-королевы, хотя бы в их жилах текла самая голубая кровь Англии. «Что такое? — набрасывается она на эмиссара, которого допустила в свою комнату, не сделав, однако, ни шага к нему навстречу.— Или ваша госпожа не знает, что я рождена королевой? Неужто она думает, что я посрамлю свой сан, свое государство, славный род, от коего происхожу, сына, который мне наследует, всех королей и иноземных властителей, чьи права будут унижены в моем лице, согласившись на такое предложение? Нет! Никогда! Пусть горе согнуло меня — сердце у меня не гнется, оно не потерпит унижения».

Но таков закон: ни в счастье, ни в несчастье не меняется существенно характер человека. Мария Стюарт, как всегда, верна своим достоинствам, верна и своим ошибкам. Неизменно в критические минуты она проявляет душевное величие, но слишком беспечна, чтобы сохранить первоначальную твердость и не поддаться упорному нажиму. Как и в Йоркском процессе, она в конце концов под давлением отступает от позиций державного суверенитета и выпускает из рук единственное оружие, которого страшится ее противница. После долгой, упорной борьбы она соглашается дать объяснения посланцам Елизаветы.

Четырнадцатого августа парадный зал в замке Фотерингей являет торжественное зрелище. В глубине зала возвышается тронный балдахин над пышным креслом, которое в течение всех этих трагических часов должно оставаться пустым. Пустое кресло, немой свидетель, как бы символизирует, что здесь, на этом суде, невидимо председательствует Елизавета, королева Английская, и что приговор будет вынесен сообразно ее воле и от ее имени. Направо и налево от возвышения расселись соответственно своему рангу все многочисленные члены суда; посреди помещения стоит стол для генерального прокурора, следственного судьи, судейских чиновников и писцов.

В зал, опираясь на руку гофмейстера, входит Мария Стюарт, как и всегда в эти годы, одетая во все черное. Войдя, она окидывает взглядом собрание и бросает пре-

зрительно: «Столько сведущих законников, и ни одного для меня!» После чего направляется к указанному ей креслу, стоящему шагах в пяти от балдахина, на несколько ступенек ниже пустого кресла. Этой тактической деталью намеренно подчеркнуто так называемое *overlordship*, сюзеренное превосходство Англии, неизменно оспариваемое Шотландией. Но и на краю могилы протестует Мария Стюарт против подобного умаления своих прав. «Я королева,— заявляет она так, чтобы все слышали и восчувствовали,— я была супругой французского короля, и мне надлежит сидеть выше».

Начинается суд. Так же, как в Йорке и Вестминстере, это инсценировка процесса, на которой попираются самые элементарные понятия законности. Снова главных свидетелей — тогда это были слуги Босуэла, теперь Бабингтон с товарищами — с более чем странной поспешностью казнят еще до процесса, и только их письменные показания, исторгнутые пыткой, лежат на судейском столе. И опять-таки, в нарушение процессуального права, даже те документальные улики, которые должны послужить основанием для обвинения, почему-то представлены не в оригиналах, а в списках. С полным правом набрасывается Мария Стюарт на Уолсингема: «Как могу я быть уверена, что мои письма не подделаны для того, чтобы было основание меня казнить?» Юридически здесь слабое место обвинения, и будь у Марии Стюарт защитник, ему ничего бы не стоило опротестовать столь явное попрание ее прав. Но Мария Стюарт борется в одиночку, и, не зная английских законов, незнакомая с материалами обвинения, она роковым образом совершает ту же ошибку, которую в свое время совершила в Йорке и Вестминстере. Она не довольствуется тем, что оспаривает отдельные и вправду сомнительные пункты, нет, она отрицает все *en bloc*, оспаривает даже самое бесспорное. Сначала она заявляет, будто и не слыхала ни о каком Бабингтоне, но уже на следующий день под тяжестью улик вынуждена признать то, что раньше оспаривала. Этим она подрывает свой моральный престиж, и когда в последнюю минуту она возвращается к своему исходному положению, заявляя, что как королева вправе требовать, чтобы верили ее королев-

скому слову, это уже никого не убеждает. Напрасно она взывает: «Я прибыла в эту страну, доверившись дружбе и слову королевы Английской, и вот, милорды,— сняв с руки перстень, она показывает его судьям,— вот знак благоволения и защиты, полученный мной от вашей королевы». Однако судьи и не тщатся отстаивать вечное и безусловное право, а лишь свою повелительницу; они хотят мира в своей стране. Приговор давно предрешен, и когда двадцать восьмого октября судьи собираются в вестминстерской Звездной палате, только у одного из них— лорда Зуча — хватает мужества заявить, что его отнюдь не убедили в том, что Мария Стюарт злоумышляла против королевы Английской. Этим он лишает приговор его лучшего украшения — единодушия, но зато все остальные покорно признают вину подсудимой. И тогда садится писец и старательной вязью выводит на клочке пергамента, что «названная Мария Стюарт, притязаящая на корону сего, английского государства, неоднократно измышляла сама и одобряла измышленные другими планы, ставящие себе целью извести или убить священную особу нашей владычицы, королевы Английской». Карой же за такое преступление— парламент заранее позаботился об этом — является смерть.

Отправить правосудие и вынести приговор было делом собравшихся дворян. Они признали вину обвиняемой и потребовали ее смерти. Но Елизавете, как королеве, присвоено еще и другое право, возвышающееся над всеобщим,— высокое и священное, человеческое и великодушное право помилования, невзирая на признанную вину. Единственно от ее воли зависит отменить смертный приговор; итак, ненавистное решение снова возвращается к ней, к ней одной. От него не скроешься, не убежишь. Снова Елизавета противостоит Елизавете. И подобно тому, как в античной трагедии справа и слева от терзаемого совестью человека хоры сменяют друг друга в строфе и антистрофе, так в ушах ее звучат голоса, доносящиеся извне и изнутри, призывая одни — к жестокости, другие — к милосердию. Над ними же стоит судья наших земных деяний — история, неизменно храня-

щая молчанье о живых и только по завершении их земного пути взвешивающая перед потомками дела умерших.

Голоса справа, безжалостные и явственные, неизменно твердят: смерть, смерть, смерть. Государственный канцлер, коронный совет, близкие друзья, лорды и горожане, весь народ видят одну только возможность добиться мира в стране и спокойствия для королевы — обезглавить Марию Стюарт. Парламент подает торжественную петицию: «Во имя религии, нами исповедуемой, во имя безопасности священной особы королевы и блага государства всеподданнейше просим скорейшего распоряжения Вашего Величества о том, чтобы огласили приговор, вынесенный королеве Шотландской, а также требуем, поелику это единственное известное нам средство обеспечить безопасность Вашего Величества, справедливой неотложной казни названной королевы».

Елизавете только на руку эти домогательства. Ведь она рвется доказать миру, что не она преследует Марию Стюарт, а что английский народ настаивает на приведении в исполнение смертного приговора. И чем громче, чем слышнее на расстоянии, чем очевиднее поднявшийся гомон, тем для нее лучше. Ей представляется возможность исполнить «на подмостках мира» выигрышную арию добра и человечности, и, как опытная и умелая актриса, она использует эту возможность сполна. С волнением выслушала она красноречивое увещание парламента; смиренно благодарит она бога, ниспославшего ей спасение; после чего она возвышает голос и, словно обращаясь куда-то в пространство, ко всему миру и к истории, снимает с себя всякую вину в участи, постигшей Марию Стюарт. «Хоть жизнь моя и подверглась жестокой опасности, больше всего, признаюсь, меня огорчило, что особа моего пола, равная мне по сану и рождению, к тому же близкая мне родственница, виновна в столь тяжких преступлениях. И так далека была от меня всякая злоба, что я сразу же, как раскрылись преступные против меня замыслы, тайно ей написала, что, если она доверится мне в письме и принесет чистосердечную повинную, все будет улажено келейно, без шума. Я писала это отнюдь не с тем, чтобы заманить ее в

ловушку,— в то время мне было уже известно все, в чем она могла бы предо мной повиниться. Но даже и теперь, когда дело зашло так далеко, я охотно простила бы ее, если б она принесла полную повинную и никто бы от ее имени не стал больше предъявлять ко мне никаких претензий; от этого зависит не только моя жизнь, но и безопасность и благополучие моего государства. Ибо только ради вас и ради моего народа дорожу я еще жизнью». Открыто признается она, что немало колебаний вселяет в нее страх перед судом истории. «Ведь мы, государи, стоим как бы на подмостках, не защищенные от взглядов и любопытства всего мира. Малейшее пятнышко на нашем одеянии бросается в глаза, малейший изъян в наших делах сразу же заметен, и нам должно особенно пристально следить за тем, чтобы наши поступки всегда были честны и справедливы». Поэтому она просит парламент запастись терпением, если она еще помедлит с ответом, «ибо таков уж мой нрав — долго обдумывать дела даже куда менее важные, прежде чем прийти наконец к окончательному решению».

Честное это заявление или нет? И то и другое вместе; в Елизавете борются два желания: она и рада бы избавиться от своей противницы и в то же время хотела бы предстать перед миром в ореоле великодушия и всепрощения. Спустя двенадцать дней она снова обращается к лорду-канцлеру с запросом, нет ли возможности сохранить жизнь Марии Стюарт и вместе с тем гарантировать ее, Елизаветы, личную безопасность. И снова заверяет Коронный совет, заверяет парламент, что иного выхода нет, по-прежнему стоят они на своем. И тогда слово опять берет Елизавета. Какая-то нотка правдивости и внутренней убежденности звучит на этот раз в ее признаниях. Чем-то настоящим, проникновенным веет от ее слов: «Я ссегодня в большем затруднении, чем когда-либо, так как не знаю, говорить или молчать. Говорить и жаловаться было бы с моей стороны лицемерием, молчать — значило бы не отдать должного вашему рвению. Вас, разумеется, удивит мое недовольство, но, признаться, я лелеяла надежду, что будет найден какой-то иной

выход для того, чтобы обеспечить вашу безопасность и мое благополучие... Поскольку же установлено, что мою безопасность нельзя обеспечить иначе, как ценой ее жизни, мне бесконечно грустно, ибо я, оказавшая милость стольким мятежникам, молчаливо прошедшая мимо стольких предательств, должна выказать жестокость в отношении столь великой государыни...» Чувствуется, что она уже склонна дать себя уговорить, если на нее будут насаждать и дальше. Но с присущими ей умом и двусмысленностью она не связывает себя никакими «да» или «нет», а заключает свою речь следующими словами: «Прошу вас, удовольствуйтесь на сей раз этим ответом без ответа. Я не оспариваю вашего мнения, мне понятны ваши доводы, я только прошу вас: примите мою благодарность, простите мне мои тайные сомнения и не обижайтесь на этот мой ответ без ответа».

Голоса справа прозвучали. Громко и явственно произнесли они: смерть, смерть, смерть. Но и голоса слева, голоса с той стороны, где сердце, становятся все красноречивее. Французский король шлет за море чрезвычайное посольство с увещанием помнить об общих интересах всех королей. Он напоминает Елизавете, что, оберегая неприкосновенность Марии Стюарт, она ограждает и свою неприкосновенность, что высший завет мудрого и благополучного правления в том, чтобы не проливать крови. Он напоминает о священном для каждого народа долге гостеприимства — пусть же Елизавета не погрешит против господя, подняв руку на его помазанницу. И так как Елизавета с обычным лукавством отделяется полуобещаниями и туманными отговорками, тон иноземных послов становится все резче. То, что раньше было просьбой, перерастает во властное предостережение, в открытую угрозу. Но, умудренная знанием света, понаторевшая за двадцать пять лет правления во всех уловках политики, Елизавета обладает безошибочным слухом. Во всей этой патетической словесности она старается уловить одно: принесли ли послы в складках своей тоги полномочия прервать дипломатические отношения и объявить войну? И очень скоро убеждается, что за

громогласными, крикливыми речами не слышно звона железа и что ни Генрих III, ни Филипп II серьезно не намерены обнажить меч, если топор палача снесет голову Марии Стюарт.

Равнодушным пожатием плеч отвечает она на дипломатические громы Франции и Испании. Куда больше искусства, разумеется, нужно, чтобы отвести другие упреки — упреки Шотландии. Кто-кто, а Иаков VI должен бы воспрепятствовать казни королевы Шотландской в чужой стране, это его священная обязанность: ведь кровь, которая прольется, — его собственная кровь, а женщина, которая будет предана смерти, — мать, даровавшая ему жизнь. Однако сыновняя привязанность занимает не слишком много места в сердце Иакова VI. С тех пор как он стал нахлебником и союзником Елизаветы, мать, отказавшая ему в королевском титуле, торжественно от него отрекшаяся и даже пытавшаяся передать его наследные права чужеземным королям, — эта мать только стоит у него на дороге. Едва услышав о раскрытии Бабингтонова заговора, он спешит поздравить Елизавету, а французскому послу, который докучает ему на любимой охоте требованиями пустить в ход все свое влияние в пользу матери, говорит с досадою: «Заварила кашу, пусть сама теперь расхлебывает» (*qu'il fallait qu'elle but la boisson qu'elle avait brassé*). Со всей прямоотой заявляет он, что ему совершенно безразлично, «куда б ее ни засадили и сколько бы ни перевешали ее подлых слуг», ей-де «давно пора на покой, замалить грехи». Нет, все это нисколько его не касается; поначалу чуждый сентиментов сынок отказывается даже отправить посольство в Англию. И только по вынесении приговора, оскорбившего национальные чувства шотландцев, когда по всей стране прокатилась волна возмущения, оттого что чужеземка осмелилась посягнуть на жизнь шотландской королевы, Иаков спохватывается, что роль, которую он играет, слишком уж неблагоприятна, что дальше отмалчиваться неприлично и надо хотя бы для проформы что-то предпринять. Разумеется, он не заходит так далеко, как его парламент, требующий в случае казни немедленного денонсирования договора о союзе и даже объявления войны. Но все же садится за конторку, пишет резкие, возмущенные

и угрожающие письма Уолсингему и снаряжает в Лондон посольство.

Елизавета, конечно, предвидела этот взрыв. Но она и тут прислушивается больше к полутонам. Депутация Иакова VI делится на две части. Одна, официальная, громко и внятно требует отмены смертного приговора. Она угрожает расторгжением союза, она бряцает оружием, и шотландской знати, произносящей эти суровые речи в Лондоне, нельзя отказать в пафосе искренней убежденности. Но им и невдомек, что, пока они громко и грозно разговаривают в приемном зале, другой агент, личный представитель Иакова VI, прокравшись в приватные апартаменты Елизаветы с черного хода, ставит там втихомолку другое требование, куда более близкое сердцу шотландского короля, нежели жизнь его матери, а именно требование признать его преемственные права на английский престол. По словам хорошо информированного французского посланника, тайному посреднику поручено заверить Елизавету, что если Иаков VI так неистово ей угрожает, то это делается лишь для поддержания его чести, а также приличия ради («for his honour and reputation»), и он просит ее не принимать эту демонстрацию в обиду («in ill part»), не рассматривать как недружественную акцию. Для Елизаветы это лишь подтверждение того, что она, разумеется, и раньше знала, а именно, что Иаков VI готов молча проглотить («to digest») казнь своей матери за одно лишь обещание—или полуобещание—английской короны. И вот за кулисами начинается гнусный торг. Сын Марии Стюарт и ее противница, подсев друг к другу, доверительно шепчутся, впервые найдя общий язык, объединенные общими темными интересами—в душе оба хотят одного и того же, и оба прячут это от света. У обоих Мария Стюарт стоит на дороге, но обоим приходится делать вид, будто самая важная, самая священная, кровная их задача—спасти и оградить бедную узницу. Елизавета отнюдь не борется за жизнь данной ей роком сестры, а Иаков VI не борется за жизнь родившей его; обоим важно лишь соблюсти благопристойность «на подмостках мира». De facto<sup>1</sup> Иаков VI давно уже прозрачно

---

<sup>1</sup> Фактически (лат.).

намекнул, что даже в самом прискорбном случае он никаких претекзий предъявлять не станет, и этим заранее отпустил Елизавете казнь своей матери. Еще до того, как чужеземка-противница послала узницу на смерть, сын узницы отдал ее на заклатие.

Итак, ни Франция, ни Испания, ни Шотландия—Елизавета окончательно в этом уверилась — не станут вмешиваться, когда она решит подвести черту. И только один человек мог бы, пожалуй, еще спасти Марию Стюарт: сама Мария Стюарт. Попроси она о помиловании, Елизавета, возможно, этим бы удовлетворилась. В душе она только и ждет такого обращения, которое избавило бы ее от укоров совести. Все меры принимаются в эти дни для того, чтобы сломить гордость шотландской королевы. Едва приговор вынесен, Елизавета посылает узнице полный его текст, а черствый, рассудительный и особенно внушающий омерзение своей въедливой добропорядочностью Эмиас Паулет пользуется этим для того, чтобы оскорбить осужденную на смерть, — для него она уже «бесславный труп» — «une femme morte sans nulle dignité». Впервые в ее присутствии забывает он снять шляпу — низкая, подленькая выходка лакея, в котором зрелище чужого несчастья рождает заносчивость, а не смирение; он велит ее челядинцам вынести тронный балдахин с шотландским гербом. Но верные слуги не повинуются тюремщику, а когда Паулет приказывает своим подчиненным сорвать балдахин, Мария Стюарт вешает распятие на том месте, где был укреплен шотландский герб, чтобы показать, что ее охраняет сила более могущественная, нежели Шотландия. На каждое мелкое оскорбление врагов у нее находится величественный жест. «Они угрозами хотят вырвать у меня мольбу о пощаде, — пишет она друзьям, — но я говорю им, что, уж если она обрекла меня смерти, пусть будет верна своей неправде до конца». Если Елизавета убьет ее, тем хуже для Елизаветы! Лучше смертью своей унижить противницу перед судом истории, чем позволить ей надеть маску кротости, увенчаться лаврами великодушия. Вместо того, чтобы протестовать против приговора или просить о помиловании, Мария Стюарт с христианской кро-

тостью благодарит творца за его попечение. Елизавете же отвечает с надменностью королевы:

«Madame, я от всего сердца благодарю Создателя за то, что он с помощью Ваших происков соблаговолил избавить меня от тягот томительного странствия, каким стала для меня жизнь. А потому я и не молю Вас продлить ее, достаточно я вкусила ее горечь. Я только прошу (Вас, а не кого иного, так как знаю что от Ваших министров, людей, занимающих самые высокие посты в Англии, мне нечего ждать милости) исполнить следующие мои просьбы: прежде всего я прошу, чтобы это тело, когда враги вдосталь упьются моей невинной кровью, было доставлено преданными слугами куда-нибудь на клочок освященной земли и там погребено — лучше всего во Францию, где покоятся останки возлюбленной моей матери, королевы; там это бедное тело, нигде не знавшее покоя, доколе нерасторжимые узы связывали его с душой, освободившись, найдет, наконец, успокоение. Далее, я прошу Ваше Величество ввиду опасений, какие внушает мне неистовство тех, на чей произвол Вы меня отдали, назначить казнь не где-нибудь в укромном месте, но на глазах у моих слуг и других очевидцев, дабы они могли потом свидетельствовать, что я осталась верна истинной церкви, и тем защитить мою кончину, мой последний вздох от лживых наветов, какие стали бы распространять мои недруги. И, наконец, прошу, чтобы слугам, верой и правдой служившим мне среди стольких испытаний и невзгод, было дозволено удалиться куда им вздумается и там беспрепятственно существовать на те крохи, какими сможет вознаградить их моя бедность.

Заклинаю Вас, Madame, памятью Генриха VII, нашего общего предка, а также королевским титулом, который я сохраню и в смерти, не оставить втуне эти справедливые пожелания и поручиться мне в том Вашим собственноручно написанным словом. Ваша неизменно расположенная к Вам сестра и пленница Мария, королева».

Мы видим: сколь это ни странно и невероятно, в последние дни затянувшейся на десятилетия борьбы роли

переменились: с тех пор как Марии Стюарт вручен смертный приговор, в ней чувствуется новая уверенность и сила. Сердце ее не так трепещет, когда она читает свой смертный приговор, как трепещет рука у Елизаветы, когда ей предлагают этот приговор подписать. Мария Стюарт не так страшится умереть, как Елизавета убить ее.

Быть может, она уверена в душе, что у Елизаветы не хватит мужества приказать палачу поднять руку на венчанную королеву, а быть может, это спокойствие — лишь маска; но даже такой пронырливый наблюдатель, как Эмиас Паулет, не улавливает в ней ни тени тревоги. Она ни о чем не спрашивает, ни на что не жалуется, не просит у стражей ни малейших поблажек. Не пытается она и вступить в тайные сношения с чужеземными друзьями; ее сопротивление, ее самозащита и самоутверждение кончились; сознательно препоручает она свою волю судьбе, творцу: пусть он решает.

Теперь она занята серьезными приготовлениями. Она составляет духовную и все свое земное достояние заранее раздает слугам; пишет королям и князьям мира, но уже не с тем, чтобы подвигнуть их на посылку армий и снаряжение войн, а дабы уверить, что она готова неколебимо принять смерть, умереть в католической вере и за католическую веру. Наконец-то на это беспокойное сердце сошел великий покой: страх и надежда, эти, по словам Гете, «злейшие враги рода человеческого», уже не властны над окрепшей душой. Так же как ее сестра по несчастью Мария Антуанетта, лишь перед лицом смерти осознает она свою истинную задачу. Понимание своей ответственности перед историей блистательно перевешивает в ней обычную беспечность; не мысль о помиловании поддерживает ее, а некое окрыляющее стремление, надежда, что последняя минута станет ее торжеством. Она знает, что только драматизм героической кончины может искупить в глазах мира ее трагическую вину и что в этой жизни у нее осталась одна только возможная победа — достойная смерть.

И как антитеза уверенному, возвышенному спокойствию осужденной узницы замка Фотерингей — неуверен-

ность, бешеная нервозность и гневная растерянность Елизаветы в Лондоне. Мария Стюарт уже решила, а Елизавета только борется за решение. Никогда еще соперница не причиняла ей таких страданий, как теперь, когда она всецело у нее в руках. В эти недели Елизавета теряет сон, целыми днями хранит она угрюмое молчание; чувствуется, что ее гвоздит неотступная, ненавистная мысль — подписать ли смертный приговор, приказать ли, чтобы его привели в исполнение? Она бьется над этим вопросом, как Сизиф над своим камнем, а он снова всей тяжестью скатывается ей на грудь. Напрасно уговаривают ее министры — голос совести сильнее. Она отвергает все их предложения и требует новых. Сесил находит, что она «изменчива, как погода»: то хочет казни, то помилования, постоянно добивается от своих советников «какого-нибудь другого выхода», хоть и знает, что другого нет и быть не может. Ах, если бы все было совершенно помимо нее, само собой, без ее ведома, без ясно отданного приказа — не *ею*, а *для нее!* Все неудержимее гнетет ее страх перед ответственностью, неустанно взвешивает она плюсы и минусы столь неслыханного деяния и, к огорчению своих министров, откладывает решение со дня на день, прячась за двусмысленными, злобными, раздраженными и неясными отговорками, отодвигая его куда-то в неопределенность. «With weariness to talk, her Majesty left off all till a time I know not when»<sup>1</sup>, — жалуется Сесил, чей холодный, расчетливый ум не в силах понять эту потрясенную душу. Ибо, хоть Елизавета и приставила к Марии Стюарт жестокого тюремщика, сама она день и ночь во власти еще более неподкупного и жестокого стража — своей совести.

Три месяца, четыре месяца, пять месяцев, чуть ли не полгода тянется негласный спор Елизаветы с Елизаветой о том, чего слушаться — голоса разума или голоса человечности. При таком перенапряжении нервов есте-

---

<sup>1</sup> «Устав от этого разговора, Ее Величество отложила вопрос на неопределенное время» (англ.).

ственно, что разрядка приходит внезапно, с неожиданностью взрыва.

В среду 1 февраля 1587 года второго государственно-го секретаря Девисона (Уолсингем то ли заболел, то ли сказался больным) отыскивает в Гринвичском парке адмирал Хоуард и приказывает ему не медля идти к королеве, отнести ей на подпись смертный приговор Марии Стюарт. Девисон достает собственноручно заготовленную Сесилом бумагу и вместе с другими бумагами несет на подпись королеве. Но странно, великой актрисе Елизавете, видимо, уже опять не к спеху. Она притворяется безразличной, она болтает с Девисоном о посторонних предметах, она выглядывает в окно, любясь ослепительным зимним пейзажем. И только потом, будто невзначай, спрашивает Девисона — неужто она уже не помнит, для чего велела ему явиться? — с чем он, собственно, к ней пришел. Девисон говорит, что принес на подпись бумаги, между прочим, и ту, про которую ему особо наказывал лорд Хоуард. Елизавета берет бумаги, но, боже упаси, в них не заглядывает. Быстро подписывает она одну за другой — разумеется, и приговор Марии Стюарт. Должно быть, она намеревалась сделать вид, будто среди прочих бумаг невзначай подмахнула и ту, смертоносную. Но тут настроение у этой непостоянной, как погода, женщины меняется, и уже в следующую минуту видно, что все предыдущее было чистейшим кривлянием, игрой: без всяких околичностей признается она Девисону, что лишь для того так долго оттягивала решение, чтобы все видели, с каким трудом оно ей дается. Ну, а теперь пусть снесет подписанный приговор канцлеру и там скрепит большой государственной печатью — но только ни с кем ни слова лишнего, — после чего пусть вручит приказ лицу, назначенному для его исполнения. Поручение настолько ясное, что у Девисона нет ни малейшего основания усомниться в твердых намерениях его королевы. Видно, что Елизавета уже свыклась с неприятной мыслью, так обстоятельно и хладнокровно входит она во все детали. Казнь лучше назначить в большом зале Фотерингейского замка. Ни парадный двор, ни внутренний дворик для этого не подойдут. Она снова и снова напоминает Девисону, что

приказ надо держать в секрете. Когда после долгих колебаний человек, наконец, принимает решение, у него становится легче на душе. Так и у Елизаветы обретенная уверенность заметно поднимает настроение. Она явно повеселела и даже изволит шутить, говоря, что боится, как бы эта грустная весть не прикончила беднягу Уолсингема.

Девисон считает — да и всякий счел бы на его месте, — что вопрос исчерпан. Он откланивается и ретируется к двери. Но Елизавета ни на что не способна решиться и ничего не может довести до конца. Только Девисон дошел до порога, как она зовет его обратно; от ее веселого настроения, от настоящей или наигранной решимости не осталось и следа. Беспокойно мерит она шагами комнату. Нет ли все же какого-нибудь другого выхода? Ведь члены Ассоциации (members of the Association) поклялись предать смерти всякого, кто так или иначе примет участие в готовящемся на нее покушении. О чем же думает в Фотерингее этот болван Эмиас Паулет и его помощник, ведь они тоже члены Ассоциации, разве не прямая их обязанность — взять все на себя и тем избавить ее, королеву, от марающей ее публичной казни? Пусть Уолсингем на всякий случай напишет этой паре и вручит ее.

Бедняге Девисону становится не по себе. Безошибочное чутье подсказывает ему, что королева, едва сделав дело, спешит от него отмежеваться. Он уже, конечно, сожалеет, что такой важный разговор происходит без свидетелей. Но поделать ничего не может. Ему дано ясное поручение. Поэтому он прежде всего идет в государственную канцелярию и просит скрепить приговор печатью, а затем направляется к Уолсингему, который тут же составляет на имя Эмиаса Паулета письмо в духе высказанных Елизаветой пожеланий. Королева, пишет Уолсингем, к сожалению, усматривает в службе своего испытанного слуги прискорбный недостаток рвения: ввиду угрожающей ее величеству опасности со стороны Марии Стюарт ему следовало бы давно подумать, как бы «самому и без нарочитых приказаний», своими средствами устранить узницу. Он может с чистой совестью взять это на себя, ведь он дал клятву Ассоциа-

ции, а этим он снимет с королевы тяжелое бремя, ведь всем известно, как ей неприятно проливать кровь.

Письмо вряд ли успело добраться по назначению и, уж, конечно, на него еще не поступало ответа, как в Гринвиче снова переменился ветер. На следующее утро, в четверг, посланец королевы приносит Девисону записку: если он еще не передал приговор канцлеру для скрепления печатью, пусть покамест воздержится до личной с ней беседы. Девисон со всех ног бросается к королеве и поясняет, что вчера тут же выполнил ее поручение и что смертный приговор скреплен печатью. Елизавета, по видимому, недовольна. Но она молчит и не упрекает Девисона. А главное, двоедушная ни словом не заикается о том, что хотела бы вернуть злосчастный документ с печатью. Она только жалуется Девисону, что это бремя снова и снова валится ей на плечи. Беспokoйно шагает она из угла в угол. Девисон ждет и ждет какого-то решения, приказа, ясного и недвусмысленного пожелания. Но Елизавета внезапно покидает комнату, так ни о чем и не распорядившись.

И снова перед нами сцена шекспировского звучания, только Елизавета разыгрывает ее на глазах у одного-единственного зрителя; снова вспоминаем мы Ричарда III, как он жалуется Букингему, что противник еще жив, и вместе с тем воздерживается от членораздельного приказа убить его. Тот же обиженный взгляд, что и у Ричарда III, недовольного тем, что его вассал и понимает и не хочет его понять, испепеляет злосчастного Девисона. Бедный писец чувствует, что почва под ним колеблется, и судорожно хватается за других: только бы одному не отвечать в этом деле всемирно-исторической важности. Он бросается к Хэтону, фавориту королевы, и рисует ему свое отчаянное положение: Елизавета повелела дать приговору законный ход, но видно по всему, что она потом отречется от своего двусмысленно отданного распоряжения. Хэтон слишком хорошо знает Елизавету, чтобы не разгадать ее двойную игру, но и он не склонен ответить Девисону ясным «да» или «нет». Все они, словно перебрасывая друг другу мяч, стараются свалить

с себя ответственность: Елизавета — на Девисона, Девисон — на Хэтона, Хэтон, в свою очередь, спешит информировать государственного канцлера Сесила. Но и тот не хочет взять все на себя и созывает на следующий день нечто вроде тайного государственного совета. Приглашены только ближайшие друзья и доверенные советники королевы — Лестер, Хэтон и семеро других дворян; каждый из них по личному опыту знает, что на Елизавету нельзя положиться. Впервые вопрос здесь ставится с полной ясностью: все они согласны в том, что Елизавета, спасая свой моральный престиж, намерена остаться в стороне, чтобы обеспечить себе «алиби»; она хочет представить дело так, будто сообщение о свершившейся казни «застигло ее врасплох». И, стало быть, на обязанности ее верных — подыгрывать ей в этой комедии и словно бы против ее воли привести в исполнение то, чего она, в сущности, добивается. Само собой разумеется, такое кажущееся, а втайне призываемое ею превышение власти чревато величайшей ответственностью, а потому вся тяжесть подлинного или притворного гнева Елизаветы не должна пасть на кого-нибудь одного. Сесил и предлагает, чтобы все они сообща распорядились о казни и взяли на себя сообща всю ответственность. Лорду Кенту и лорду Шрусбери поручается проследить за исполнением приговора, а секретарь Бийл откомандировывается в Фотерингей с соответствующими полномочиями. Таким образом, мнимая вина раскладывается на десятых членов государственного совета, который своим мнимым «превышением власти» наконец-то снимет «бремя» с плеч королевы.

Обычно Елизавета до крайности любопытна, это едва ли не основная ее черта. Вечно ей нужно знать — и притом немедленно — все, что происходит в орбите ее замка да и во всем королевстве. Но не странно ли: на сей раз ни у Девисона, ни у Сесила и ни у кого другого не спрашивает она, как обстоит дело с подписанным ею смертным приговором. В течение трех дней она ни разу не вспомнила об этом немаловажном обстоятельстве, оно как бы улетучилось из ее памяти, хотя уже многие месяцы она только им и занята. Кажется, будто

она испила вод Леты, так бесследно выпало это дело из ее памяти. И даже на другое утро, в воскресенье, когда ей передают ответ Эмиаса Паулета на письмо Уолсингема, она не вспоминает о подписанном приговоре.

Ответ Эмиаса Паулета не слишком радует королеву. Верный страж сразу же раскусил, что за неблагодарную роль ему готовят. Он почуял, какая награда его ждет, если он возьмется устранить Марию Стюарт: королева публично объявит его убийцей и предаст суду. Нет, Эмиас Паулет не полагается на благодарность дома Тюдоров и не хочет быть козлом отпущения. Но, не осмеливаясь прямо послушаться своей королевы, умный пуританин предпочитает спрятаться за более высокую инстанцию — за бога. Свой отказ он облакает в тогу напыщенной морали. «Сердце мое преисполнено горечи, — отвечает он с пафосом, — ибо, к великому моему сокрушению, я увидел день, когда мне, по желанию моей доброй повелительницы, предлагают свершить деяние, противное богу и закону. Все мое земное достояние, моя служба и жизнь в руках Ее Величества, и я готов завтра же от них отказаться, если на то будет ее воля, так как обязан всем только ее доброте и снисхождению. Но сохрани меня бог пасть так низко, покрыть несмываемым позором весь мой род, согласившись пролить кровь без благословения закона и официального приказа. Надеюсь, что Ваше Величество в своей неизменной милости примет мой всеподданнейший ответ с дружеским расположением».

Но Елизавета отнюдь не склонна принять с дружеским расположением ответ своего Эмиаса, которого еще недавно превозносила за его «неослабное усердие и безошибочные действия»; в гневе меряет она шагами комнату и ругательски ругает этих «чистоплюев, этих брезгливых недотрог» («dainty and precise fellows»); все они много обещают и ничего не делают. Паулет, негодует она, нарушил присягу; он подписал «Act of Association», клялся послужить королеве, хотя бы и ценою своей жизни. Да мало ли есть людей, которые что угодно для нее сделают, некий Уингфилд, например! В подлинном или притворном гневе напускается она на беднягу Девисона — Уолсингем, хитрец этакий, избрал луч-

шую участь, он сказался больным,— а тот, чудак, еще советует ей держаться законного пути. Люди поумнее его, отчитывает Девисона королева, думают иначе. С этим делом надо было давно кончить, позор для них для всех, что они тянут.

Девисон молчит. Он мог бы похвалиться, что делу уже давно дан ход. Но он чувствует, что только досадит королеве, если честно ей расскажет то, что она, по-видимому, сама знает, но о чем бесчестно умалчивает, а именно, что гонец со смертным приговором, скрепленным большой печатью, выехал в Фотерингей, а вместе с ним — некий приземистый, коренастый малый, которому предстоит обратить слово в дело, приказ — в кровь: палач города Лондона.

## «В МОЕМ КОНЦЕ МОЕ НАЧАЛО»

8 февраля 1587 года



«**Е**n ma fin est mon commencement»—когда-то Мария Стюарт вышила это, еще не ясное ей в ту пору изречение, на парчовом покрове. Теперь ее смутное предчувствие сбывается. Только трагическая смерть кладет истинное начало ее славе, только эта смерть, в глазах будущих поколений искупит вину ее молодости, преобразит ее ошибки. Уже много недель, как твердо и обдуманно готовится осужденная к величайшему своему испытанию. Совсем еще юной королевой пришлось ей дважды видеть, как дворянин умирает под топором палача; рано поняла она, что ужас этого непоправимо бесчеловечного акта может быть преодолен лишь стоическим самообладанием. Весь мир и последующие поколения—Мария Стюарт это знает—будут взыскательно судить ее выдержку и

осанку, когда, первая из венчаных королей, она склонит голову на плаху; малейшая дрожь, малейшее колебание, предательская бледность были бы в столь решительную минуту изменой ее королевскому достоинству. Так в эти недели ожидания собирается она в тиши с душевными силами. Ни к чему в своей жизни эта горячая, неукротимая женщина не готовилась так обдуманно, так спокойно, как к своему смертному часу.

Вот отчего никто не заметил бы в ней ни тени удивления или испуга, когда во вторник седьмого февраля слуги докладывают ей о прибытии лордов Шрусбери и Кента вместе с несколькими членами магистрата. Предусмотрительно сзывает она своих ближних женщин, а также большую часть челядинцев. Только окружив себя верными слугами, принимает она это посольство. Она поминутно хочет иметь их рядом — пусть когда-нибудь поведают миру, что дочь Иакова V, дочь Марии Лотарингской, та, в чьих жилах течет кровь Стюартов и Тюдоров, нашла в себе силы мужественно и непреклонно снести и самые тяжкие испытания. Шрусбери, под чьим кровом она провела без малого двадцать лет, клонит перед ней седую голову и колени. Голос его чуть дрожит, когда он объявляет, что Елизавете пришлось, вняв настойчивым требованиям своих подданных, повелеть привести приговор в исполнение. Мария Стюарт словно и не удивлена недоброй вестью; без малейших признаков волнения, зная, что каждый ее жест будет внесен в книгу истории, выслушивает она приговор, спокойно осеняет себя крестным знаменем и говорит: «Хвала господу за это известие, что вы мне приносите. Для меня нет вести более утешительной, ибо она сулит мне конец земных страданий и милость господи, сподобившего меня умереть во славу его имени и его возлюбленной римско-католической церкви». Ни единым словом не оспаривает она приговор. Она уже не хочет как королева бороться с несправедливостью, причиненной ей другой королевой, а лишь как христианка—возложить на себя свой крест; а быть может, в своем мученичестве она возлюбила последнее торжество, еще оставшееся ей в этой жизни. Только две просьбы есть у нее: чтобы духовник напутствовал ее своим благословением и чтобы казнь не пришлось уже на следующее утро: ей хочется как следует обдумать

свои последние распоряжения. Обе просьбы отвергнуты. Ей не нужен пастырь ложной веры, отвечает граф Кент, фанатичный протестант, зато он охотно пришлет ей священника реформатской церкви, чтобы тот наставил ее в истинной религии. Конечно, Мария Стюарт отказывается в этот великий час, когда она перед всем католическим миром намерена смертью своей постоять за свое исповедание, выслушивать от священника-еретика его рацеи насчет истинной веры. Менее жесток, чем это бестактное предложение обреченной жертве, отказ отсрочить ее казнь. Поскольку ей дается одна лишь ночь для всех приготовлений, немногие отпущенные ей часы так уплывают, что страху и тревоге не остается места. Всегда — и в этом дар бога человеку — умирающему тесно с временем.

Рассудительно и вдумчиво, качества, которых ей до сих пор—увы!—так недоставало, распределяет Мария Стюарт свои последние часы. Великая государыня, она и умереть хочет с истинным величием. Призвав на помощь свой безошибочный вкус, свою наследственную артистичность, свое врожденное мужество, не изменяющее ей и в самые опасные минуты, готовит Мария Стюарт свой уход — словно праздник, словно торжество, словно величественную церемонию. Ничего не оставляет она на волю случая, минуты, настроения — все проверяется на эффект, все оформляется по-королевски пышно и импозантно. Каждая деталь точно и обдуманно вписана, подобно волнующей или благоговейной строфе, в эпопею мученической кончины. Несколько раньше обычного, чтобы спокойно написать необходимые письма и обратиться с мыслями, приказывает она подать ужин и символически придает ему характер последней вечери. Откушав, она собирает вокруг себя домочадцев и просит налить ей вина. С глубокой серьезностью, но с просветленным челом поднимает она полную чашу над слугами, павшими перед ней на колени. Она выпивает ее за их благополучие, а потом обращается к ним с речью, увещая хранить верность католической религии и жить между собой в мире. У каждого просит она — и это звучит, как сцена из *vita sanctorum*<sup>1</sup> — прощения за все обиды, ко-

---

<sup>1</sup> Житий святых (лат.).

торые вольно или невольно ему причинила. И лишь после этого дарит каждому любовно выбранный для него подарок—кольца и драгоценные камни, золотые цепи и кружева, изысканные вещицы, когда-то красивые и разнообразившие ее уходящую жизнь. На коленях, кто молча, кто плача, принимают они дары, и королева невольно растрогана горестной любовью своих слуг.

Наконец она поднимается и переходит в свою комнату, где на письменном столе уже горят восковые свечи. Ей еще много надо сделать с вечера до утра: перечитать духовную, распорядиться приготовлениями к завтрашнему трудному шествию и написать последние письма. В первом, наиболее проникновенном письме она просит своего духовника не спать эту ночь и молиться за нее; хоть он и находится за два-три покоя в этом же замке, граф Кент—так безжалостен фанатизм—накрепко запретил утешителю оставлять свою комнату, чтобы не дал он осужденной последнего «папистского» причастия. Затем королева пишет своим родичам—Генриху III и герцогу де Гизу; в этот последний час на душе у нее лежит забота, особенно делающая ей честь: с прекращением ее вдовьей пенсии домочадцы ее останутся без средств к существованию. И она просит короля Французского взять на себя обязательство выплатить все по ее завещанию и приказать служить обедни «за всехристианнейшую королеву, что идет на смерть, верная католической церкви и лишенная всякого земного достоинства», Филиппу II и папе она уже написала раньше. И лишь одной властительнице этого мира остается ей написать—Елизавете. Но ни единым словом не обратится к ней Мария Стюарт. Ей больше нечего у нее просить и не за что благодарить ее. Только гордым молчанием может она еще устыдить своего старинного недруга, а также величием своей смерти.

Поздно за полночь ложится Мария Стюарт. Все, что ей должно было сделать в жизни, она сделала. Всего лишь несколько часов дозволено еще душе погостить в истомленном теле. Служанки на коленях забились в угол и молятся недвижными губами: они не хотят беспокоить спящую. Но Мария Стюарт не спит. Широко открытыми глазами смотрит она в великую ночь; только

усталым членам дает она покой, чтобы с бестрепетным сердцем и сильной душою предстать наутро пред все-сильной смертью.

На многие торжества одевалась Мария Стюарт — на коронации и крестины, на свадьбы и рыцарские игрища, на прогулки, на войну и охоту, на приемы, балы и турниры, повсюду являясь в роскошных одеждах, зная, какой властью обладает на земле красота. Но никогда еще ни по какому поводу не одевалась она так обдуманно, как для величайшего часа своей судьбы—для смерти. Уже за много дней и недель продумала она, должно быть, достойный ритуал своей кончины, тщательно взвесив каждую деталь. Платье за платьем перебрала она, верно, весь свой гардероб в поисках наиболее достойного наряда для столь небывалого случая; можно подумать, что и как женщина в последней вспышке кокетства хотела она оставить на все времена пример того, каким венцом совершенства должна быть королева, идущая навстречу казни. Два часа, с шести до восьми, одевают ее прислужницы. Не как бедная грешница в убогих лохмотьях хочет она взойти на плаху. Великолепный, праздничный наряд выбирает она для своего последнего выхода, самое строгое и изысканное платье из темно-коричневого бархата, отделанное куньим мехом, со стоячим белым воротником и пышно ниспадающими рукавами. Черный шелковый плащ обрамляет это гордое великолепие, а тяжелый шлейф так длинен, что Мелвил, ее гофмейстер, должен почтительно его поддерживать. Снежно-белое вдовье покрывало овеивает ее с головы до ног. Омофоры искусной работы и драгоценные четки заменяют ей светские украшения, белые сафьяновые башмачки ступают так неслышно, что звук ее шагов не нарушит бездыханную тишину в тот миг, когда она направится к эшафоту. Королева сама вынула из заветного ларя носовой платок, которым ей завяжут глаза,—прозрачное облачко тончайшего батиста, отделанное золотой каемкой, должно быть, ее собственной работы. Каждая пряжка на ее платье выбрана с величайшим смыслом, каждая мелочь настроена на общее музыкальное звучание; предусмотрено и то, что ей придется на

глазах у чужих мужчин скинуть перед плахой это темное великолепие. В предвидении последней кровавой минуты Мария Стюарт надела исподнее платье пунцового шелка и приказала изготовить длинные, за локоть, огненного цвета перчатки, чтобы кровь, брызнувшая изпод топора, не так резко выделялась на ее одеянии. Никогда еще осужденная на смерть узница не готовилась к казни с таким изощренным искусством и сознанием своего величия.

В восемь утра стучатся в дверь. Мария Стюарт не отвечает, она все еще стоит, преклонив колена, перед аналоем и читает отходную. Только кончив, поднимается она с колен, и на вторичный стук дверь открывают. Входит шериф с белым жезлом в руке—скоро его преломят—и говорит почтительно, с глубоким поклоном: «Madame, меня прислали лорды, вас ждут». «Пойдемте»,— говорит Мария Стюарт и готовится к выходу.

И вот начинается последнее шествие. Поддерживаемая справа и слева слугами, идет она, с натугой передвигая ревматические ноги. Втройне оградила она себя оружием веры от приступов внезапного страха: на шее у нее золотой крест, с пояса свисает связка отделанных дорогими камнями четок, в руке меч благочестивых—распятие слоновой кости: пусть увидит мир, как умирает королева в католической вере и за католическую веру. Да забудет он, сколько прегрешений и безрассудств отягчает ее юность и что как соучастница предумышленного убийства предстанет она пред палачом. На все времена хочет она показать, что терпит муки за дело католицизма, обреченная жертва своих недругов-еретиков.

Не дальше чем до порога—как задумано и условлено—провожают и поддерживают ее преданные слуги. Ибо и виду не должно быть подано, будто они соучастники постыдного деяния, будто сами они ведут свою госпожу на эшафот. Лишь в ее покоях готовы они ей прислуживать, но не как подручные палача в час ее страшной смерти. От двери до подножия лестницы ее сопровождают двое подчиненных Эмиаса Паулета; только ее злейшие противники могут, как пособники величайшего преступления, повести венчанную королеву на эша-

фот. Внизу, у последней ступеньки, перед входом в большой зал, где состоится казнь, ждет коленапреклоненный Эндру Мелвил, ее гофмейстер; шотландский дворянин, он должен будет сообщить Иакову VI о свершившейся казни. Королева подняла его с колен и обняла. Ее радует присутствие этого верного свидетеля, оно укрепит в ней душевное спокойствие, которое она поклялась сохранить. И на слова Мелвила: «Мне выпала самая тяжкая в моей жизни обязанность сообщить о кончине моей августейшей госпожи» — она отвечает: «Напротив, радуйся, что конец моих испытаний близок. Только сообщи, что я умерла верная своей религии, истинной католичкой, истинной дочерью Шотландии, истинной дочерью королей. Да простит бог тех, кто пожелал моей смерти. И скажи моему сыну, что никогда я не сделала ничего, что могло бы повредить ему, никогда ни в чем не поступила с нашими державными правами».

Сказав это, она обратилась к графам Шрусбери и Кенту с просьбой разрешить также ее ближним женщинам присутствовать при казни. Граф Кент возражает: женщины своими воплями и плачем нарушат благочиние в зале и вызовут недовольство, ведь им непременно захочется омочить платки в крови королевы. Но Мария Стюарт твердо отстаивает свою последнюю волю. «Словом моим ручаюсь,—говорит она,—что они этого делать не станут. Я не мыслю, чтобы ваша госпожа отказала своей равной в том, чтобы ее женщины прислуживали ей до последней минуты. Не верю, чтобы она отдала подобное жестокое приказание. Даже будь я не столь высокого сана, она исполнила бы мою просьбу, а ведь я к тому же ее ближайшая родственница, внучка Генриха VII, вдовствующая королева Франции, венчанная на царство королева Шотландии».

Оба графа совещаются; наконец ей разрешают взять с собой четырех слуг и двух женщин. Мария Стюарт удовлетворяется этим. Сопровождаемая своими избранными и верными, а также Эндру Мелвиллом, несущим за ней ее трен, в предшествии шерифа, Шрусбери и Кента входит она в парадный зал Фотерингейского замка.

Здесь всю ночь стучали топорами. Из помещения вынесены столы и стулья. В глубине его воздвигнут помост, покрытый черной холстиной, наподобие катафалка.

Перед обитой черным колодой уже поставлена скамеечка с черной же подушкой, на нее королева преклонит колена, чтобы принять смертельный удар. Справа и слева почетные кресла дожидаются графов Шрусбери и Кента, уполномоченных Елизаветы, в то время как у стены, словно два бронзовых изваяния, застыли одетые в черный бархат и скрывшиеся под черными масками две безликие фигуры—палач и его подручный. На эту величественную в своей страшной простоте сцену могут взойти только жертва и ее палачи; зрители теснятся в глубине зала. Охраняемый Паулетом и его солдатами, там воздвигнут барьер, за которым сгрудилось человек двести дворян, сбжавшихся со всей округи, чтобы увидеть столь неслыханное, небывалое зрелище — казнь венценосной королевы. А перед запертыми дверями замка сотнями и сотнями голов чернеют толпы простого люда, привлеченного этой вестью: им вход запрещен. Только дворянской крови дозволено видеть, как проливают королевскую кровь.

Спокойно входит Мария Стюарт в зал. Королева с первого своего дыхания, она еще ребенком научилась держаться по-королевски, и это высокое искусство не изменяет ей и в самые трудные минуты. С гордо поднятой головой она всходит на обе ступеньки эшафота. Так пятнадцати лет всходила она на трон Франции, так всходила на алтарные ступени в Реймсе. Так взошла бы она и на английский трон, если бы ее судьбой управляли другие звезды. Так же смиренно и вместе с тем горделиво преклоняла она колена бок о бок с французским королем, бок о бок с шотландским королем, чтобы принять благословение священника, как теперь склоняется под благословение смерти. Безучастно слушает она, как секретарь снова зачитывает приговор. Приветливо, почти радостно светится ее лицо—уж на что Уингфилд ее ненавидит, а и он в донесении Сесилу не может умолчать о том, что словам смертного приговора она внимала, будто благой вести.

Но ей еще предстоит жестокое испытание. Мария Стюарт стремится этот последний свой час облечь чистотой и величием; ярким факелом веры, великомучени-

цей католических святцев хочет она воссиять миру. Протестантским же лордам важно не допустить, чтобы ее прощальный жест стал пламенным «верую» ревностной католички; еще и в последнюю минуту пытаются они мелкими злобными выходками умалить ее царственное достоинство. Не раз на коротком пути из внутренних покоев к месту казни она оглядывалась, ища среди присутствующих своего духовника, в надежде, что он хотя бы знаком отпустит ее согрешения и благословит ее. Но тщетно. Ее духовнику запрещено выходить из своей комнаты. И вот, когда она уже приготовилась претерпеть казнь без духовного напутствия, на эшафоте появляется реформатский священник, доктор Флетчер из Питерсбороу — до последнего дыхания преследует ее беспощадная борьба между обеими религиями, отравившая ее юность, сломавшая ей жизнь. Лордам, правда, хорошо известно троекратное заявление верующей католички Марии Стюарт, что лучше ей умереть без духовного утешения, чем принять его от священника-еретика. Но так же, как Мария Стюарт, стоя на эшафоте, хочет восславить свою религию, так и протестанты намерены почитать свою, они тоже взывают к господу богу. Под видом попечительной заботы о спасении ее души реформатский пастор заводит свою более чем посредственную sermon<sup>1</sup>, которую Мария Стюарт в своем нетерпении умереть то и дело прерывает. Три-четыре раза просит она доктора Флетчера не утруждать себя, она твердо прилежит римско-католической вере, за которую, по милости господней, ей дано пострадать. Но попик одержим мелким тщеславием, что ему воля умирающей! Он тщательно вылизал свою sermon, в кои-то веки он удостоился такой избранной аудитории. Он знай бубнит свое, и тогда, не в силах прекратить это гнусное суесловие, Мария Стюарт прибегает к последнему средству: в одну руку, словно оружие, берет распятие, а в другую — молитвенник и, пав на колени, громко молится по-латыни, чтобы священными словами заглушить елейное словоизвержение. Так, чем вместе обратиться к общему богу, вознося молитвы за душу обреченной жертвы, борются друг с другом обе религии в двух шагах от плахи — ненависть, как всегда, сильнее,

---

<sup>1</sup> Проповедь (англ.).

чем уважение к чужому несчастью. Шрусбери, Кент и с ними большая часть собрания молятся по-английски, а Мария Стюарт и ее домочадцы читают латинские молитвы. И только когда пастор умолкает и в зале водворяется тишина, Мария Стюарт уже по-английски произносит слово в защиту гонимой церкви христовой. Она благодарит бога за то, что страдания ее приходят к концу, громко возвещает, прижимая к груди распятие, что надеется на искупление кровью спасителя, чей крест она держит в руке и за кого с радостью готова отдать свою кровь. Снова одержимый фанатик лорд Кент прерывает ее молитву, требуя, чтобы она оставила эти «popish trumperies» — папистские фокусы. Но умирающая уже далека всем земным распрям. Ни единым взглядом, ни единым словом не удостаивает она Кента и только говорит во всеуслышание, что от всего сердца простила она врагов, давню домогающихся ее крови, и просит господя, чтобы он привел ее к истине.

Воцаряется тишина. Мария Стюарт знает, что теперь последует. Еще раз целует она распятие, осеняет себя крестным знаменем и говорит: «О милосердный Иисус, руки твои, простертые здесь на кресте, обращены ко всему живому, осени же и меня своей любящей дланью и отпусти мне мои прегрешения. Аминь».

В средневековье много жестокости и насилия, но бездушным его не назовешь. В иных его обычаях отразилось такое глубокое сознание собственной бесчеловечности, какое недоступно нашему времени. В каждой казни, сколь бы зверской она ни была, посреди всех ужасов нет-нет да и мелькнет проблеск человеческого величия; так, прежде чем коснуться жертвы, чтобы убить или подвергнуть ее истязаниям, палач должен был просить у нее прощения за свое преступление против ее живой плоти. И сейчас палач и его подручный, скрытые под масками, склоняют колена перед Марией Стюарт и просят у нее прощения за то, что вынуждены уготовить ей смерть. И Мария Стюарт отвечает им: «Прощаю вас от всего сердца, ибо в смерти вижу я разрешение всех моих земных мук». И только тогда палач с подручным принимаются за приготовления.

Между тем себе женщины раздевают Марию Стюарт. Она сама помогает им снять с шеи цепь с «agnus dei»<sup>1</sup>. При этом руки у нее не дрожат, и, по словам посланца ее злейшего врага Сесила, она «так спешит, точно ей не терпится покинуть этот мир». Едва лишь черный плащ и темные одеяния падают с ее плеч, как под ними жарко вспыхивает пунцовое исподнее платье, а когда прислужницы натягивают ей на руки огненные перчатки, перед зрителями словно всполыхнулось кроваво-красное пламя — великолепное, незабываемое зрелище. И вот начинается прощание. Королева обнимает прислужниц, просит их не причитать и не плакать навзрыд. И только тогда преклоняет она колена на подушку и громко, вслух читает псалом: «In te, domine, confido, ne confundar in aeternum»<sup>2</sup>.

А теперь ей осталось немного: уронить голову на колоту, которую она обвиняет руками, как возлюбленная вагробного жениха. До последней минуты верна Мария Стюарт королевскому величию. Ни в одном движении, ни в одном слове ее не проглядывает страх. Дочь Тюдоров, Стюартов и Гизов приготовилась достойно умереть. Но это значит все человеческое достоинство и все наследованное и благоприобретенное самообладание перед лицом того чудовищного, что неотъемлемо от всякого убийства! Никогда — и в этом глут все книги и реляции — казнь человеческого существа не может представлять собой чего-то романтически чистого и возвышенного. Смерть под секирой палача остается в любом случае страшным, омерзительным зрелищем, гнусной бойней. Сперва палач дал промах, первый его удар пришелся не по шее, а глухо стукнул по затылку — сдавленное хрипение, глухие стоны вырываются у страдальцы. Второй удар глубоко рассек шею, фонтаном брызнула кровь. И только третий удар отделил голову от туловища. И еще одна страшная подробность: когда палач хватается голову за волосы, чтобы показать ее зрителям, рука его удерживает только парик. Голова вываливается и, вся в крови, с грохотом, точно кегельный шар, катится по

---

<sup>1</sup> Божественный агнец (лат.). Отлитое из воска изображение ягненка, символизирующее Христа.

<sup>2</sup> На тебя, господи, уповаю, да не постыжуся вовек (лат.). Псалом 71.

деревянному настилу. Когда же палач вторично наклоняется и высоко ее поднимает, все глядят в оцепенении: перед ними призрачное видение—стриженная седая голова старой женщины. На минуту ужас сковывает зрителей, все затаили дыхание, никто не проронит ни слова. И только попик из Питерсбороу, наконец опомнившись, хрипло восклицает: «Да здравствует королева!»

Недвижным, мутным взором смотрит незнакомая восковая голова на дворян, которые, случись жребию вынуться иначе, были бы ей покорнейшими слугами и примерными подданными. Еще с четверть часа конвульсивно вздрагивают губы, нечеловеческим усилием подавившие страх земной твари; скрежещут стиснутые зубы. Щадя чувства зрителей, на обезглавленное тело и на голову Медузы поспешно набрасывают черное сукно. Среди мертвого молчания слуги торопятся унести свою мрачную ношу, но тут неожиданное происшествие рассеивает охвативший всех суеверный ужас. Ибо в ту минуту, когда палачи поднимают окровавленный труп, чтобы отнести в соседнюю комнату, где его набальзамируют,—под складками одежды что-то шевелится. Никем не замеченная любимая собачка королевы увязалась за нею и, словно страшась за судьбу своей госпожи, тесно к ней прильнула. Теперь она выскочила, залитая еще не просохшей кровью. Собачка лает, кусается, визжит, огрызается и не хочет отойти от трупа. Тщетно пытаются палачи оторвать ее насильно. Она не дается в руки, не сдается на уговоры, ожесточенно бросается на огромных черных извергов, которые так больно обожгли ее кровью возлюбленной госпожи. С большей страстью, чем родной сын, чем тысячи подданных, присягавших ей на верность, борется крошечное создание за свою госпожу.

1587—1603



**Н**а древнегреческом театре вслед сумрачной, торжественно развертывающейся трагедии ставилась короткая шутовская драма, своего рода водевиль; подобный эпилог имеется и в драме Марии Стюарт. В утро восьмого февраля скатилась ее голова, а на другое утро весь Лондон уже знал о свершившейся казни. Великое ликование охватило при этом известии всю страну. Если бы обычно столь чуткую на ухо повелительницу не одолела внезапная глухота, Елизавета, разумеется, не преминула бы спросить, какое торжество, не предусмотренное календарем, празднуют ее подданные столь ретиво. Но она мудро остерегается спрашивать: все плотнее и плотнее закутывается она в волшебный плащ неведения. Она хочет быть официально извещена о казни соперницы, хочет быть «поставлена перед свершившимся фактом».

Печальная обязанность нарушить мнимое неведение королевы сообщением о казни ее «дорогой сестрицы» выпадает Сесилу. С нелегкой душой берется он за дело. За двадцать лет службы на голову испытанного советника немало обрушилось бурь, как непритворных, вызванных царским гневом, так и притворных, вызванных государственно-политическими соображениями, а потому серьезный, спокойный человек призывает все свое хладнокровие, вступая в приемный зал королевы, чтобы официально известить ее о свершившейся казни. Но такой сцены, какая за этим разыгрывается, даже он не предвидел. Что такое? Кто-то осмелился без ее ведома, без ее прямого приказа обезглавить Марию Стюарт? Невозможно! Немыслимо! Никогда б она не решилась на столь ужасную меру—разве что в Англию вторгся бы неприятель. Ее советники обманули, предали ее, поступили с ней, как заправские мошенники. Как, осрамить ее перед всем миром, непоправимо запятнать ее имя, ее достоинство вероломным, коварным злодейством? Бедная, несчастная сестрица—пасть жертвой такого постыдного недоразумения, такого низкого мошенничества! Елизавета вопит, рыдает, иступленно топает на седовласого министра. Целые ушаты сквернословия выливает она на него—да как он смел, он и другие члены совета, без прямого ее указа привести в исполнение подписанный ею смертный приговор!

Сесил и его друзья ни минуты не сомневались, что Елизавета, стремясь свалить с себя ответственность за инспирированное ею самой «беззаконие», постарается истолковать его как «превышение власти» со стороны подчиненных. Однако они понимали, что от них только и ждут такого непослушания, и сговорились снять с королевы «бремя» ответственности. Такая отговорка, рассчитывали они, нужна Елизавете лишь для отвода глаз, в малом же аудиенц-зале, *sub rosa*, их даже поблагодарят за проявленную расторопность. Однако Елизавета так настроила себя на эту сцену, что вопреки или, вернее, помимо ее воли, наигранный гнев переходит в настоящий и те громы, что сейчас разражаются над низко склоненной головой Сесила,—это уже отнюдь не шумовые эффекты, а оглушительные раскаты неподдельной ярости, ураган оскорблений, проливной дождь поношений и изде-

вательств. Дело доходит чуть не до рукоприкладства, Елизавета ругает старика площадными словами, хоть в отставку подавай, и в самом деле Сесилу за мнимое самоуправство на неопределенное время не велено являться ко двору.

Только теперь видно, как умно, как предусмотрительно поступил истинный подстрекатель Уолсингем, предпочтя в эти критические дни заболеть или сказать больным. Зато на его заместителя, беднягу Девисона, изливается вся громокипящая чаша высочайшего гнева. Он предназначен стать козлом отпущения, наглядным доказательством невинности Елизаветы. Никто не поручал ему, клянется Елизавета, передать Сесилу смертный приговор и скрепить его государственной печатью. Он действовал своей волею, против ее желания и намерений, и его дерзостное самочинство привело к неисчислимым бедам. По ее приказу в Звездной палате возбуждено официальное дело против ослушного — на самом деле чересчур послушного — слуги; судебный приговор должен торжественно показать Европе, что Марии Стюарт отрубили голову единственно по вине этого негодяя и что Елизавете о том ничего известно не было. И, разумеется, те сановники, что клялись по-братски разделить с ним ответственность, покидают сотоварища, попавшего в беду; им бы только свои министерские местечки и доходы спасти от громов и молний разбушевавшейся августейшей правительницы. Девисон, который в свое оправдание мог бы сослаться лишь на немые стены, видевшие, как Елизавета давала ему поручение, приговорен к уплате десяти тысяч фунтов, каковых у него сроду не было, и посажен в тюрьму; потом ему втихомолку подбрасывают кое-какой пенсioen, но при жизни Елизаветы ему и думать нечего о возвращении ко двору; карьера его рухнула, жизнь изломана. Царедворцу опасно не угадывать тайных желаний своего властителя. Но иной раз куда опаснее чересчур хорошо их угадать.

Благочестивая легенда о невинности и полном неведении Елизаветы слишком грубо состряпана, чтобы импонировать современникам. И, может быть, один толь-

ко человек задним числом уверовал в эту фантастическую версию: как ни странно, уверовала сама Елизавета. Ибо одним из самых примечательных свойств истеричных или склонных к истерии натур является способность не только к искусному обману, но и к самообману. Желаемое нередко принимается ими за действительное, и их свидетельские показания представляют порою самый добросовестный обман, а следовательно, и самый опасный. Елизавета, очевидно, верит в свою искренность, когда клянется направо и налево, что ни делом, ни помышлением не виновна в казни Марии Стюарт. Действительно, одной половиной души она не желала этой казни, и теперь память, опираясь на это нежелание, постепенно вытесняет у нее сознание соучастия в казни, которой она все-таки втайне желала. Приступ гнева, овладевший ею при получении известия, которое она призвала в тиши, но не хотела услышать, не только заранее отработан, как для сцены, но в то же время — все двойственно в этой женщине — это искренний, честный гнев прежде всего на самое себя, зачем она не осталась верна своим лучшим побуждениям, а также искренний гнев на Сесила, зачем он вовлек ее в это злодеяние, а вместе с тем не оградил от ответственности. Елизавета так истово внушила себе, что казнь произошла помимо ее воли, что в словах ее отныне слышится чуть ли не святая убежденность. Трудно не верить ей, когда одежде скорби она, принимая французского посла, уверяет, что «не так смерть отца и не так смерть сестры глубоко ее огорчила», как сознание, что она, «бедная, слабая женщина, окружена врагами». Если бы члены государственного совета, сыгравшие с ней эту бесчестную шутку, не были ее долголетними слугами, всем бы им не миновать плахи. Сама она подписала приговор лишь для того, чтобы успокоить свой народ, но только высадка неприятельских войск на английских берегах могла бы заставить ее привести его в исполнение.

На этой же полуправде, полулжи, будто она не желала казни Марии Стюарт, стоит Елизавета и в собственноручном письме к Иакову VI. Снова заверяет она, что жестоко огорчена «трагической ошибкой», происшедшей без ее ведома и согласия («without her knowledge and consent»). Она призывает бога в свидетели, что «не-

ловинна в этом деле», что у нее и в мыслях не было предать Марию Стюарт казни («she never had thought to put the Queene your mother, to death»), хотя ее советники все уши ей этим прожужжали. И, предвосхищая естественное обвинение в том, что Девисон только служит ей прикрытием, она горделиво заявляет, что никакие силы на земле не принудили бы ее свалить свое распоряжение на плечи исполнителя.

Но Иаков VI отнюдь не жаждет знать правду; ему важно одно: снять с себя подозрение, будто он спустя рукава защищал жизнь матери. Разумеется, как и Елизавете, ему не подобает сразу же возгласить «аминь» ж «аллилуйя». Он должен соблюсти видимость удивления и возмущения. Он даже отваживается на внушительный жест — торжественно объявляет, что столь великое беззаконие не останется без отщипления. Посланцу Елизаветы воспрещено ступить на шотландскую землю, и за ее письмом в пограничный Берик послан верховой: пусть весь мир видит, что Иаков VI ощерил зубы на убийцу своей матери. Однако лондонский кабинет давно уже изготовил эликсир, с помощью которого сын молчаливо «проглотит» весть о казни матери. Одновременно с письмом Елизаветы, рассчитанным на «подмостки мира», в Эдинбург следует и другое дипломатическое послание, в коем Уолсингем сообщает шотландскому канцлеру, что Иакову VI обеспечено преемство английского престола и что, следовательно, по той, темной, сделке ему заплачено сполна. Это сладкое питье оказывает на безутешного страдальца поистине волшебное действие. Иаков VI ни словом больше не заикается о денонсировании союзного договора. Его не беспокоит даже, что тело его матери лежит непогребенным где-то в закоулках церкви. Не протестует он и против того, что ее последняя воля — упокоиться во французской земле — грубо нарушается. Словно по волшебству, уверился он в невинности Елизаветы и с готовностью клюет на приманку «трагической ошибки». «Тем самым вы очищаете себя от вины в этом злополучном происшествии» («ye purge youre self of one unhappy fact»), — пишет он Елизавете и в качестве смиренного нахлебника желает английской королеве, чтобы ее «душевное благородство стало на веки вечные известно миру». Магическое обетование Елизаветы льет

елей на бушующие волны его неудовольствия. Отныне между ним и женщиной, подписавшей смертный приговор его матери, устанавливается нерушимый мир и согласие.

У морали и у политики свои различные пути. Событие оценивается по-разному, смотря по тому, судим мы о нем с точки зрения человечности или с точки зрения политических преимуществ. Морально казнь Марии Стюарт нельзя простить и оправдать: противно всякому международному праву держать в мирное время в заточении королеву соседней страны, а потом тайно свить петлю и вероломно сунуть ей в руки... И все же нельзя отрицать, что с точки зрения государственно-политической устранение Марии Стюарт было для Англии благодетельной мерой. Ибо критерием в политике — увы! — служит не право, а успех. В случае с Марией Стюарт последующий успех оправдывает убийство, так как оно принесло Англии и ее королеве не беспокойство, а спокойствие. Сесил и Уолсингем правильно расценили реальное положение вещей. Они знали, что другие государства побоятся возвысить голос против подлинно сильного правительства и станут трусливо смотреть сквозь пальцы на его насильнические действия и даже преступления. Они верно рассчитали, что мир не придет в волнение из-за этой казни; и в самом деле: фанфары местности во Франции и Шотландии внезапно умолкают. Генрих III отнюдь не рвет, как грозился, дипломатических отношений с Англией; еще меньше, чем когда надо было спасти живую Марию Стюарт, собирается он отправить за море хотя бы одного солдата. Он, правда, велит отслужить в Нотр-Дам пышную траурную мессу, и его поэты пишут несколько элегических строф в честь погибшей королевы. На этом вопрос о Марии Стюарт для Франции исчерпан и предан забвению. В шотландском парламенте слегка пошумели, Иаков VI облекся в траур; но проходит немного времени, и он уже снова выезжает на охоту на подаренных ему Елизаветой лошадях, с подаренными ему Елизаветой легавыми; по-прежнему он самый уживчивый сосед, какого когда-либо знавала Англия. И только тяжелодум Филипп Испанский спохватывается наконец и снаряжает свою Армаду. Но он оди-

нок, а против него — счастье Елизаветы, неотъемлемое, как это всегда бывает со славными властителями, от ее величия. Еще до того, как доходит до боя, Армаду вдребезги разбивает шторм, а вместе с ней терпит крушение и давно вынашиваемый план наступления контрреформации. Елизавета окончательно победила, да и Англия со смертью Марии Стюарт избавилась от величайшей угрозы. Времена обороны миновали, отныне ее флот будет бороздить океаны, направляясь к далеким землям и объединяя их в мировую империю. Множатся богатства Англии, последние годы царствования Елизаветы видят новый расцвет искусств. Никогда королевой так не восхищались, не любили ее и не поклонялись ей, как после этого позорнейшего ее деяния. Из гранита жестокости и несправедливости воздвигаются великие государственные сооружения, и неизменно фундаменты их скреплены кровью; в политике неправы только побежденные, неумолимой поступью шагает история через их трупы.

Однако сыну Марии Стюарт предстоит еще нешуточное испытание: не внезапным прыжком, как мечтал, взберется он на английский престол, не так скоро, как рассчитывал, получит обещанную мзду за свою продажную снисходительность. Ему придется — величайшая казнь для честолюбца — ждать, ждать и ждать. Пятнадцать лет, почти столько же, сколько мать его томилась в плену у Елизаветы, вынужден он в бездействии дремать в Эдинбурге и ждать, ждать, ждать, пока скипетр не выпадет из охладевших старушечьих рук. Брюзжащий, недовольный, сидит он в своих шотландских замках, выезжает часто на охоту, пишет трактаты на религиозные и политические темы, но все его дела сводятся к одному — к бесконечному, бесплодному и злобному ожиданию некоего известия из Лондона. А его все нет и нет. Можно подумать, что кровь соперницы, пролившись, вдохнула в Елизавету новую жизнь. Все крепче становится она со смертью Марии Стюарт, все увереннее, все здоровее. Покончено с бессонными ночами, с укорами совести, которые так терзали ее все месяцы и годы нерешительности; все сглажено, смыто без следа спокойствием, дарованным ее стране, ее правлению. Ни один живущий

не осмелится больше оспаривать ее корону, и даже смерти ревнивая женщина оказывает бешеное сопротивление, даже ей не отдает она короны. Семидесятилетняя старуха, цепкая и неподатливая, не хочет умирать, целыми днями блуждает она по дворцу, переходя из комнаты в комнату, нигде не находя покоя. Яростно и величественно сопротивляется она, не желая никому на свете уступить престол, за который так упорно и беспощадно боролась.

И все же час настает, наконец-то в жестоком единоборстве смерть одолевает неподатливую; но из легких еще вырывается хрипение, все еще бьется, хоть тише и тише, старое неукротимое сердце. Под окном, с оседланной лошадью на поводу, посланец нетерпеливого шотландского наследника ждет условного знака. Некая придворная дама обещала, как только жизнь королевы оборвется, бросить ему из окна перстень. Проходят долгие часы. Посланец напрасно смотрит вверх; старая королева-девственница, отвергшая столько искателей, все еще не подпускает к себе загробного жениха. Наконец двадцать четвертого марта зазвенело окно, торопливо высвывается женская рука, сверху падает перстень. Гонимец не медля садится на коня и два с половиной дня скачет без передышки в Эдинбург — эта скачка осталась памятной в веках. Так же как тридцать семь лет назад из Эдинбурга в Лондон гнал во весь опор лорд Мелвил, торопясь известить Елизавету, что Мария Стюарт родила сына, так теперь другой гонимец спешит назад к сыну, чтобы сообщить, что смерть Елизаветы принесла ему вторую корону. Ибо Иаков VI Шотландский в этот час становится равно и королем Английским — наконец-то становится Иаковом I. В сыне Марии Стюарт обе короны соединились навсегда, злосчастная борьба многих поколений пришла к концу. Темные, извилистые пути избирает подчас история, но неизбежно исполняются ее разумные цели, неизменно историческая необходимость вступает в свои права.

Со вкусом располагается Иаков в Уайтхолле, которым так мечтала завладеть его мать. Наконец-то он избавился от вечного безденежья, наконец-то его честолюбие

утолено; все его мысли теперь — о жизни в свое удовольствие, не о бессмертии. Он часто выезжает на охоту, он усердно посещает театр, где — единственная его заслуга — оказывает покровительство некоему Шекспиру и другим достойным стихотворцам. Тщедушный, бездарный, с ленцой, не обладающий ни душевными силами Елизаветы, ни мужеством и страстью своей романтической матери, управляет он объединенным наследием обеих враждовавших женщин; то, чего обе добивались со всем пламенным устремлением души и страсти, достается ему, умеющему терпеливо ждать, без борьбы, валится с неба. Но теперь, когда Англия и Шотландия объединены, должно предать забвению, что было время, когда королева Шотландская и королева Английская отравляли друг другу жизнь ненавистью и враждою. Уже нечего называть одну правой, а другую виноватой, смерть уравняла соперниц в их высоком сани. Те, что всю жизнь противостояли одна другой, могут спокойно почитать рядом. Иаков I приказывает взять прах его матери с погоста в Питерсбороу, где она лежит одна, словно отверженная, и при торжественном свете факелов перенести в Вестминстерское аббатство, в усыпальницу английских королей. Высеченное в камне ставится над могилой изображение Марии Стюарт, а неподалеку высеченное в камне стоит изображение Елизаветы. Старая вражда улеглась навек, ныне одна у другой не оспаривает больше прав и владений. И те, что в жизни упорно избегали друг друга и ни разу не глядели друг другу в глаза, ныне, как сестры, покоятся рядом во всеуравнивающем священном сне бессмертия.

# ЖОЗЕФ ФУШЕ

*Портрет  
политического деятеля*



---

## ПРЕДИСЛОВИЕ



озефа Фуше, одного из могущественнейших людей своего времени, одного из самых примечательных людей всех времен, не любили современники и еще менее верно судили о нем потомки. Наполеон на острове св. Елены, Робеспьер, обращаясь к якобинцам, Карно, Баррас, Талейран в своих мемуарах, все французские историки — будь то роялисты, респуб-

ликанцы или бонапартисты,— едва дойдя до его имени, начинали писать желчью. Предатель по натуре, жалкий интриган, пресмыкающийся льстец, профессиональный перебежчик, подлая полицейская душонка, презренный, безнравственный человек — нет такого клеймящего, такого бранного слова, которым бы его обошли; ни Ламартин, ни Мишле, ни Луи Блан не делают серьезной попытки изучить его характер, или, вернее, упорное, поразительное отсутствие характера. Подлинные очертания его облика появляются впервые в монументальной биографии Луи Мадлена (которой этот труд, равно и как другие исследования, посвященные этому вопросу, обязаны большей частью фактического материала); история же совершенно спокойно отодвигала в задние ряды незначительных статистов этого человека, руководившего в эпохи смены двух миров всеми партиями и оказавшегося единственным среди политиков уцелевшим в бурях тех лет, человека, победившего в психологическом поединке таких людей, как Наполеон и Робеспьер. Иногда его образ мелькает в пьесе или оперетке, посвященных Наполеону, но в большинстве случаев он фигурирует там в затасканной схематической маске прожженного министра полиции, этакого предтечи Шерлока Холмса: в плоском изображении роль закулисного деятеля всегда превращается во второстепенную роль.

Только один человек с высоты собственного величия увидел и все своеобразное величие этой единственной в своем роде фигуры: то был Бальзак. Этот большой и провидительный ум, видевший не только внешний покров событий эпохи, но и всегда заглядывавший за кулисы, прямо признал Фуше самым интересным в психологическом отношении характером своего века. Бальзак, привыкший рассматривать в своей химии чувств все страсти, как бы они ни назывались — героическими или низменными,— как совершенно равноценные элементы, в одинаковой мере интересовавшийся и совершенным преступником вроде Вотрена и гением нравственности вроде Луи Ламбера, не делал различия между нравственным и безнравственным, но, оценивая человека только по силе воли и напряженности его страсти, извлек именно этого, самого презренного, самого презираемого деятеля революции и империи, из тени, в которой тот нарочито скрывался.

Он называет этого *singulier génie*<sup>1</sup> единственным настоящим министром Наполеона и *la plus forte tête que je connaisse*<sup>2</sup>, а в другом месте — «одной из тех личностей, у которых под поверхностью скрыта такая глубина, что они остаются непроницаемыми, пока действуют сами, и могут быть поняты только впоследствии». Это совсем не похоже на моралистические презрительные отзывы историков. И в своем романе «*Une ténébreuse affaire*»<sup>3</sup> он посвящает этому «сумрачному, глубокому и необычному уму, который так мало известен», особую страницу. «Своеобразная гениальность,— пишет он,— столь ужаснувшая Наполеона, обнаружилась у Фуше не сразу. Этот незаметный член Конвента, один из самых выдающихся и непонятных людей своего времени, сложился и вырос в бурях революции. При Директории он достиг тех вершин, с которых люди глубокого ума получают возможность предвидеть будущее, основываясь на опыте прошлого; затем вдруг — подобно посредственным актерам, которые под влиянием какой-то внезапно вспыхнувшей искры становятся гениальными,— проявил поразительную изворотливость во время молниеносного переворота 18 брюмера. Этот бледнолицый человек, воспитанный в духе монашеской сдержанности, посвященный в тайны монтаньяров, к которым он принадлежал, и в тайны роялистов, к которым в конце концов примкнул, долго и незаметно изучал людей, их нравы и борьбу интересов на политической арене; он проник в замыслы Бонапарта, давал ему полезные советы и ценные сведения. В то время ни прежние, ни новые его коллеги и не подозревали всей широты его таланта чисто административного и в глубоком смысле слова государственного, так был велик его дар почти неправдоподобной проицательности и безошибочного предвидения». Так говорит Бальзак. Его похвалы впервые привлекли мое внимание к Фуше, и в течение многих лет меня время от времени занимал образ человека, которым восхищался Бальзак, говоря, что «он имел бóльшую власть над людьми, чем сам Наполеон». Но Фуше как в жизни, так и в истории умел оставаться на заднем плане: он неохотно позволяет

<sup>1</sup> Гения, единственного в своем роде (франц.).

<sup>2</sup> Самым умным человеком, которого я знаю (франц.).

<sup>3</sup> «Темное дело» (франц.).

заглянуть себе в глаза и в карты. Почти всегда он в центре событий, в центре партий; он действует незримо, скрытый под анонимным покровом своей должности, как механизм в часах; лишь изредка, в смятении событий, на самых крутых поворотах его пути, удастся уловить мимолетный абрис его лица. И вот что еще более странно. На первый взгляд ни один из этих схваченных на лету обликов Фуше не похож на другой. С некоторым трудом представляешь себе, что тот же самый человек, с той же кожей и с теми же волосами, был в 1790 году учителем монастырской школы, а в 1792 году уже реквизирует церковное имущество; в 1793 году был коммунистом, а пять лет спустя стал миллионером и через десять лет герцогом Отрантским. Но чем смелее становился он в своих превращениях, тем интереснее был для меня характер, или, вернее, бесхарактерность, этого самого совершенного макиавеллиста нового времени, тем больше увлекала меня вся его скрытая на заднем плане и окутанная тайной политическая жизнь, все более своеобразным, даже демоническим являлся мне его образ. Так совершенно неожиданно для себя, побуждаемый радостью чисто психологических исследований, взялся я писать историю Жозефа Фуше, надеясь этим сделать вклад в еще не существующую и в то же время совершенно необходимую биологию дипломатов, этой еще почти не исследованной опаснейшей духовной расы современности.

Подобное жизнеописание насквозь безнравственной личности, даже столь своеобразной и значительной, как Жозеф Фуше,— я и сам сознаю это,— противоречит потребностям нашей эпохи. Ей нужны и приятны героические биографии, потому что в ней маловато политически творческих образов вождей, что побуждает искать высокие примеры в прошлом. И я вовсе не умаляю вдохновляющего, укрепляющего, возвышающего влияния героических биографий. Со времен Плутарха они необходимы для подрастающего поколения, для юношества всех эпох. Но именно в политическом отношении они таят опасность искажения истории, создавая впечатление, что в те давние, да во все времена подлинно возвышенные натуры якобы определяют судьбы мира. Несомненно, герой уже самым фактом своего существования способен на десятки и сотни лет завладеть духовной жизнью

людей, но только духовной жизнью. В реальной, в подлинной жизни, в области действия политических сил решающее значение имеют — и это необходимо подчеркнуть, чтобы предостеречь от любых видов политической доверчивости, — не выдающиеся умы, не носители чистых идей, а гораздо более низменная, но и более ловкая порода — закулисные деятели. В 1914 и 1918 годах мы были свидетелями того, как решение вопросов всемирного значения, вопросов войны и мира, определялось не разумом и сознанием ответственности, а людьми, скрывающимися за кулисами, людьми сомнительной нравственности и небольшого ума. И ежедневно мы снова убеждаемся, что в нечистой и часто кощунственной политической игре, которой народы все еще простосердечно взеряют своих детей и свою будущность, руководят не люди с широким нравственным кругозором, не люди непоколебимых убеждений, а те профессиональные азартные игроки, которых мы называем дипломатами, искусники, обладающие ловкостью рук, пусторечием и хладнокровием. Если в самом деле, как уже сто лет тому назад сказал Наполеон, политика стала *la fatalité moderne*, современным роком, то мы, в целях самообороны, попытаемся разглядеть за этой силой людей и тем самым понять опасную тайну их могущества. Пусть же это жизнеописание Жозефа Фуше будет вкладом в типологию политического деятеля.

*Зальцбург*  
Осень 1929 г.

## ВОСХОЖДЕНИЕ

1759—1793



**31** мая 1759 года Жозеф Фуше — отнюдь еще не герцог Отрантский! — родился в портовом городе Нанте. Его родители принадлежали к семьям моряков и купцов, его предки были моряками, поэтому казалось само собой разумеющимся, что и наследник их будет мореплавателем, купцом, странствующим по морям, или капитаном. Но уже в ранние годы обнаруживается, что этот худой, высокий, малокровный, нервный, некрасивый мальчик не приспособлен к столь тяжелой и в ту пору еще действительно героической профессии. Уже в двух милях от берега он начинает страдать морской болезнью; стоит ему четверть часа побегать или поиграть с товарищами — он устает. Что предпринять с таким неженкой? — спрашивают себя родители; они

озабочены, ибо в 1770 году во Франции нет еще достаточного простора для духовно уже пробудившейся и нетерпеливо пробивающей себе дорогу буржуазии. В судах, в канцеляриях, в любом учреждении самые жирные куски достаются дворянству; для придворной службы нужен графский герб или крупное поместье; даже в армии поседевший на службе буржуа не продвигается выше капральского чина. Третье сословие еще никуда не допускается в плохо управляемом, развращенном королевстве; не удивительно, что четверть века спустя оно станет кулаками добиваться того, в чем слишком долго отказывали его смиренно протянутой руке.

Остается только церковь. Эта тысячелетняя держава, бесконечно превосходящая всех правителей в понимании мира, рассуждает умнее, демократичнее и шире. Она всегда находит место для способных и принимает в свое незримое царство представителей самых низких сословий. Жозеф уже мальчиком, на школьной скамье ораторианцев, отличается прилежанием. Когда он заканчивает образование, монахи охотно предоставляют ему кафедру преподавателя математики и физики, должность надзирателя и инспектора. Едва достигнув двадцати лет, он получает в этом ордене, который со времени изгнания иезуитов руководил католическим воспитанием во всей Франции, должность и звание, правда, жалкие, без особых надежд и видов на повышение, но все же в школе, где он и сам себя воспитывает, где, обучая, учится сам.

Он мог бы пойти дальше, стать патером, а быть может, со временем даже епископом или кардиналом, если бы дал монашеский обет. Но для Жозефа Фуше типично, что уже на этой первой, самой низшей ступени его карьеры обнаруживается характерная черта его существа — нежелание бесповоротно, навсегда связывать себя с кем бы или с чем бы то ни было. Он носит священническое облачение и тонзуру, он соблюдает монастырский режим вместе с остальными патерами, в течение всех десяти лет своего пребывания у ораторианцев, он ничем не отличается от священнослужителя, ни внешне, ни внутренне. Но он не принимает пострижения, не дает обета. Как всегда, во всех положениях, он не отрезает себе пути к отступлению, сохраняет возможность пере-

менить ориентацию. Он и служению церкви отдается лишь временно, не целиком, так же, как впоследствии он отдавался революции, Директории, консульству, империи или королевству; даже богу, а тем более человеку, не дает Жозеф Фуше обета верности на всю жизнь.

Десять лет, от двадцатого до тридцатого года жизни, бродит этот бледный, необщительный полусвященник по монастырским коридорам и тихим трапезным. Он преподает в Ниоре, Сэмюре, Вандоме, Париже, сдва ощущая перемену места, ибо жизнь монастырского учителя во всех городах протекает одинаково тихо, бедно и незаметно, всегда за немymi стенами, в стороне от событий. Двадцать, тридцать, сорок школьников, обучаемых латыни, математике и физике,— бледные, одетые в черное мальчики, которых водят к обедне и стерегут в дортуаре,— чтение научных книг в одиночестве, скудные трапезы, жалкое вознаграждение, черное поношенное платье, скромное монашеское существование. Словно в оцепенении, вне действительности, вне времени и пространства, бесплодно и бесстрастно прошли эти десять тихих, затененных лет.

Однако эти десять лет монастырской школы научили Жозефа Фуше многому, что пошло на пользу будущему дипломату,— главным образом технике молчания, важнейшему искусству скрывать свои мысли, мастерству познания душевного мира человека и его психологии. Тому, что всю жизнь, даже в минуты страстных порывов, он владеет каждым мускулом своего лица, тому, что никогда не удастся обнаружить признаков гнева, озлобления, волнения в его неподвижном, словно окаменевшем в молчании лице, тому, что он одинаково ровным, монотонным голосом спокойно произносит и самые обыденные и самые ужасные слова, и одинаково бесшумными шагами проходит и в покои императора и в неистовствующее народное собрание,— своей бесподобной выдержкой и самообладанием он обязан годам, проведенным в монастырских трапезных; еще задолго до того, как он вступил на подмостки мировой сцены, его воля была воспитана дисциплинарными упражнениями последователей Лойолы и речь его отшлифована тыся-

чететним искусством проповедей и религиозных диспутов. Быть может, не случайно все три великих дипломата французской революции — Талейран, Сийес и Фуше — вышли из монастырской школы, став тончайшими психологами задолго до появления на трибуне. Древнейшая общая традиция, далеко выходящая за пределы их личных судеб, придает в решительные минуты их обычно столь противоположным характерам известное сходство. У Фуше к этому присовокупляется еще и железная, спартанская самодисциплина, отвращение к роскоши и блеску, умение скрывать свою личную жизнь и свои чувства; нет, годы, проведенные Фуше в сумраке монастырских коридоров, не потеряны даром, он бесконечно многому научился, пока был учителем.

За монастырскими стенами, в самой строгой изоляции, воспитывается и развивается этот своеобразный гибкий и беспокойный дух, овладевая высоким мастерством в постижении человеческой психологии. Долгие годы он вынужден действовать лишь незаметно в самом тесном церковном кругу, но во Франции уже в 1778 году начался тот общественный ураган, который проникал и за монастырские стены. В монашеских кельях ораторианцев так же спорят о человеческих правах, как и в масонских клубах, новое по своему качеству любопытство влечет монахов навстречу буржуа так же, как любопытство преподавателя физики и математики влечет его к удивительным открытиям тех времен, к монгольфьерам — первым летательным машинам, к замечательным изобретениям в области электричества и медицины. Духовенство ищет сближения с образованным обществом, и вот в Аррасе оно осуществляется в очень своеобразном кружке, названном «Розати» — нечто вроде «Шларэффия», — в котором интеллигенция города общается в обстановке непринужденного веселья. Нет ничего особенно замечательного в этих собраниях: скромные буржуа декламируют стихи или произносят речи на литературные темы, военные смешиваются со штатскими, и там же охотно принимают монастырского учителя Жозефа Фуше, так как он может рассказать о новейших достижениях физики. Он часто проводит там время в кругу приятелей и слушает, как, например, капитан инженерных войск Лазарь Карно читает шуточные стихи собственного со-

чинения или бледный, тонкогубый адвокат Максимилиан де Робеспьер (он тогда еще гордился своим дворянством) держит за столом цветистую речь в честь общества «Розати». Ибо в провинции еще наслаждаются последним дыханием философствующего восемнадцатого века: господин де Робеспьер вместо смертных приговоров спокойно подписывает изящные стишки, швейцарский врач Марат сочиняет не суровые коммунистические манифесты, а слащавый сентиментальный роман, и где-то в провинции маленький лейтенант Бонапарт трудится над новеллой — подражанием Вертеру. Все грозы еще незримы за чертой горизонта.

Какая игра судьбы: именно с этим бледным, нервным, безудержно честолюбивым адвокатом де Робеспьером больше всего подружился монастырский учитель; им уже даже предстоит породниться, ибо Шарлотта Робеспьер, сестра Максимилиана, собирается отвлечь учителя школы ораторианцев от мысли о духовном сане, — повсюду болтают об их помолвке. Почему в конце концов этот брак не состоялся, остается тайной, но, быть может, именно здесь скрыт корень той ужасной, ставшей исторически значимой, взаимной ненависти этих двух людей, которые некогда дружили, а затем вступили в борьбу не на жизнь, а на смерть. Но в ту пору они еще не знали ни о якобинизме, ни о ненависти. Напротив: когда Максимилиана де Робеспьера посылают в Версаль депутатом в Генеральные штаты, чтобы он принял участие в составлении проекта нового государственного строя Франции, то именно полумонах Жозеф Фуше ссужает тщедушного адвоката де Робеспьера деньгами на дорогу и на новый костюм. Характерно, что Фуше держит ему, так же, как впоследствии многим другим, стремя, когда тот готовится к скачку в мировую историю. Но именно он же в решительный момент предаст своего прежнего друга и беспощадно низвергнет его.

Вскоре после отъезда Робеспьера на собрание Генеральных штатов, которое потрясло самые основы Франции, ораторианцы устраивают в Аррасе свою маленькую революцию. Политика проникает в монастырские трапезные, и умный Жозеф Фуше, всегда предугадывающий

перемену ветра, разворачивает паруса. По его предложению в Национальное собрание посылается депутация, дабы выразить третьему сословию симпатии духовенства. Но обычно столь осторожный, Фуше на этот раз несколько поторопился. Начальство, не имея возможности наказать его по-настоящему, переводит его в виде наказания в Нант, в подобную же школу, где он еще мальчиком изучал основы наук и познания человека. Но теперь он опытен и зрел, его уже не увлекает преподавание подросткам таблицы умножения, геометрии и физики. Знаток ветров, он почувал, что стране грозит социальный ураган, что политика властвует над миром; итак — с головой в политику! Одним движением он сбрасывает сутану, дает зарости тонзуре и уже не преподает школьникам, а произносит политические проповеди добрым нантским буржуа. Учреждается клуб, — карьера политических деятелей всегда начинается на такой пробной трибуне ораторского искусства, — и вот уже через несколько недель Фуше — президент общества «Amis de la Constitution»<sup>1</sup> в Нанте. Он хвалит прогресс, но очень осторожно, очень сдержанно, ибо стрелка политического барометра в этом купеческом городе стоит на «умеренно»; в Нанте не любят радикализма, потому что опасаются за кредиты и прежде всего заботятся о хорошей торговле. Получая жирные прибыли от колоний, там не терпят фантастических проектов вроде освобождения рабов, поэтому Жозеф Фуше сочиняет патетическое послание Конвенту против уничтожения торговли рабами, за это он, правда, получает взбучку от Бриссо; но это не роняет его во мнениях более узких буржуазных кругов. Чтобы своевременно укрепить свою политическую позицию среди буржуазии (будущих избирателей), он торопится взять в жены дочь состоятельного купца — безобразную девицу, но с хорошим приданым; он стремится быстро и всецело стать буржуа в эпоху, когда — он это предвидит — третье сословие будет господствующим.

Все это — уже подготовка к достижению основной цели. Едва успели объявить о выборах в Конвент, как бывший монастырский преподаватель выставляет свою кандидатуру. Как поступает каждый кандидат? Он прежде

---

<sup>1</sup> «Друзья Конституции» (франц.).

всего обещает своим добрым избирателям все, что они хотели бы слышать. Итак, Фуше клянется заботиться о торговле, защищать собственность, уважать законы; он гораздо многословнее обрушивается на зачинщиков беспорядков (ибо ветер в Нанте дует сильнее справа, чем слева), чем на старый режим. И вот действительно в 1792 году его избирают депутатом Конвента, и трехцветная кокарда депутата надолго заменяет скрытую, но тайно хранимую тонзуру.

Ко времени выборов Жозефу Фуше минуло тридцать два года. Его никак нельзя назвать красивым мужчиной. Худое, высохшее, почти бесплотное тело, узкое костлявое лицо с резкими чертами безобразно и неприятно. Острый нос, резко очерченные, тонкие, всегда сжатые губы, холодные рыбы глаза под тяжелыми сонными веками, серые, кошачьи зрачки, похожие на круглые стекляшки. Все в этом лице, все в этом человеке словно страдает недостатком живой плоти: он выглядит, как человек при свете газа, — блеклый, зеленоватый. Нет блеска в глазах, нет чувственной силы в движениях, нет металла в голосе. Тонкие пряди волос, рыжеватые, еле заметные брови, пепельно-бледные щеки. Кажется, что не хватило красок, чтобы придать здоровый цвет его лицу; этот крепкий, необычайно работоспособный человек всегда производит впечатление усталого, больного, немощного.

Каждому, кто смотрит на него, представляется, что в жилах его не может течь горячая красная кровь. И в самом деле: он и по характеру принадлежит к породе холоднокровных. Ему неведомы грубые, сокрушительные порывы страстей, его не соблазняют ни женщины, ни азартные игры, он не пьет вина, не любит мотовства, не знает радости телесных упражнений — спорта; он живет в комнатах среди актов и бумаг. Никогда не обнаруживает он гнева, никогда на лице его не затрепещет ни один мускул. Лишь едва заметная улыбка, иногда вежливая, иногда насмешливая, играет на этих тонких бескровных губах; никто не заметит под этой глинисто-серой, вялой маской признаков действительного волнения, никогда спрятанные под тяжелыми воспали-

ными веками глаза не выдадут ни его намерений, ни хода его мыслей.

В этом непоколебимом хладнокровии—основная сила Фуше. Нервы не властны над ним, чувства его не соблазняют, вспышки страстей скрыты непроницаемой стеной лба. Он отлично владеет собой и зорко следит при этом за ошибками других; он предоставляет другим истощать себя страстями и терпеливо ждет, пока они истощатся или, потеряв самообладание, не обнаружат слабого места, и тогда он наносит беспощадный удар. Ужасно это превосходство его равнодушного терпения: тот, кто так умеет выжидать и скрываться, тот проведет и самого искушенного противника. Фуше умеет быть спокойным слугою: не моргнув глазом, выслушивает он самые грубые оскорбления, с холодной улыбкой переносит самые позорные унижения; его хладнокровия не могут поколебать ни угрозы, ни гнев. Робеспьер и Наполеон—оба разбиваются об это каменное спокойствие, как волна о скалу; три поколения, целый народ бушует в приливах и стихает в отливах страстей, а он хладнокровно и гордо остается единственным, кто бесстрастен.

В этом хладнокровии—подлинный гений Фуше. Его плоть не удерживает и не увлекает его, она просто участвует в дерзких играх духа. Ни кровь, ни чувства, ни душа, ни один из этих вносящих смятение элементов сознания и ощущений настоящего человека не имеют значения для этого втайне азартного игрока, у которого все страсти сосредоточены в мозгу. Потому что в этом сухом, кабинетном человеке живет порочная склонность к авантюрам и его главная страсть—интрига. Но он утоляет ее только игрой ума; и то жуткое наслаждение, которое доставляют ему смуты и склоки, он всего гениальнее, всего лучше скрывает под внешностью добросовестного и дельного чиновника—этой маской он прикрывается в течение всей своей жизни. Из глубины кабинета он распускает нити паутины; укрываясь за актами и канцелярскими ведомостями, он наносит смертельные удары неожиданно и незаметно—в этом его тактика. Нужно очень пристально и глубоко заглянуть в историю, чтобы в заре революции, в легендарном сиянии Наполеона вообще заметить его присутствие, таким он кажется скромным и несущественным, тогда как на самом деле его

деятельность была всеобъемлющей и определяющей эпоху. Всю жизнь он остается в тени, но зато переживает три поколения. Еще долго после того, как пали Патрокл, Гектор и Ахилл, живет хитроумный Одиссей. Его талант переиграл гения, его хладнокровие долговечнее страстей.

Утром 21 сентября члены только что избранного Конвента впервые вступают в зал заседаний. Уже не так торжествен, не так пышен прием, как три года тому назад на первом законодательном собрании. Тогда стояло еще посреди зала роскошное кресло, крытое шелком, расшитое белыми лилиями,—место короля. Когда он вошел, все собрание, почтительно встав, приветствовало появление помазанника. Теперь его замки, Бастилия и Тюильри, разрушены, и нет больше короля во Франции; просто некий толстый господин — Людовик Капет, как его называют грубые тюремные надзиратели и судьи,—скаучает в качестве простого гражданина в Тампле и ждет приговора. Вместо него в стране теперь властвуют семьсот пятьдесят человек, поселившиеся в его собственном доме. Позади председательского стола высится новая скрижаль закона—гигантскими буквами написанный текст конституции; стены зала украшает зловещий символ—ликторский пучок розог и смертоносный топор.

На галереях собирается народ и с любопытством рассматривает своих представителей. Семьсот пятьдесят членов Конвента не спеша вступают в королевский дом. Странная смесь всех сословий и профессий: безработные адвокаты рядом с блестящими философами, беглые священники рядом с воинами, обанкротившиеся авантюристы рядом со знаменитыми математиками и галантными поэтами; как осадок со дна стакана, который сильно встряхнули, так и во Франции революция подняла наверх все, что было внизу. Теперь настала пора разобраться в хаосе.

Уже в размещении депутатов проявилась первая попытка водворить порядок. В зале, расположенном амфитеатром и таком тесном, что противники сталкиваются лбами, обдавая друг друга горячим дыханием враждебных речей, внизу сидят спокойные, просвещенные, осторожные — *magais* — болото, так насмешливо называют

тех, кто сохраняет бесстрастность при любых решениях. Бурные, нетерпеливые, радикальные занимают места на самых верхних скамьях, на «горе», последние ряды которой примыкают к галерее, словно символизируя этим, что за их спиной стоят массы, народ, пролетариат.

Эти две силы не уступают друг другу. Между ними, в приливах и отливах, бушует революция. Для буржуазии, для умеренных создание республики уже завершено завоеванием конституции, устранением короля и дворянства, передачей прав третьему сословию: они охотно запрудили бы и остановили напирание из низов течение, чтобы защитить то, что уже добыто. Их вожди—Кондорсе, Ролан, жирондисты—это представители интеллигенции и среднего сословия. Но люди горы хотят, чтобы могучая революционная волна устремлялась все дальше, чтобы смести все отсталое, все сохранившееся от старого строя; они — Марат, Дантон, Робеспьер, эти вожди пролетариата, стремятся к *la révolution intégrale*, к полной радикальной революции, к атеизму и коммунизму. Низвергнув короля, они хотят низвергнуть деньги и бога—древнюю опору государства. Чаши весов тревожно колеблются между обеими партиями. Если победят жирондисты, умеренные, революция постепенно выродится в реакцию, сперва либеральную, а потом консервативную. Если победят радикалы, они ринутся в пучины и водовороты анархии. Торжественная гармония первого часа не обманывает никого из присутствующих в роковом зале; каждый знает, что здесь скоро начнется борьба не на жизнь, а на смерть, борьба умов и сил. И то, какое место занимает депутат: внизу, в долине, или наверху, на горе,— уже заранее говорит о его решении.

В числе семисот пятидесяти торжественно вступающих в зал развенчанного короля молча входит с трехцветным шарфом народного представителя через плечо Жозеф Фуше, депутат от города Нанта. Тонзура уже заросла, духовное облачение давно сброшено; как и все здесь, он носит гражданское платье без всяких украшений.

Где займет место Жозеф Фуше? Среди радикалов, на горе, или с умеренными, в долине? Жозеф Фуше раз-

думывает недолго; он признает только одну партию, которой остается верен до конца: ту, которая сильнее, партию большинства. И на этот раз он взвешивает и подсчитывает про себя голоса; он видит — в данный момент сила еще на стороне жирондистов, на стороне умеренных. Поэтому он садится на их скамьи, рядом с Кондорсе, Роланом, Серваном, с теми, что занимают министерские посты, влияют на все назначения и распределяют прибыли. В их среде он чувствует себя уверенно, среди них занимает он место.

Но когда он случайно обращает взор наверх, где заняли места их противники радикалы, он встречает строгий, недоброжелательный взгляд. Его друг, Максимилиан Робеспьер, адвокат из Арраса, собрал там своих соратников и, гордясь своей стойкостью, никому не прощающей колебаний и слабости, холодно и насмешливо лорнирует оппортуниста. В этот миг испарился остаток их дружбы. С тех пор при каждом движении, при каждом поступке чувствует Фуше за спиной этот немилосердно испытующий, строго наблюдающий взор вечного обвинителя, неумолимого пуританина — и твердо помнит, что следует быть осторожным.

Осторожным; едва ли кто-нибудь бывает осторожнее, чем он. В протоколах заседаний первых месяцев вовсе не встречается имени Жозефа Фуше. В то время как все члены Конвента неистово и тщеславно теснятся к ораторской трибуне, вносят предложения, держат пылкие речи, обвиняют и нападают друг на друга, депутат от Нанта ни разу не подымается на возвышение. Дескать, слабый голос мешает ему выступать публично, — таковы его объяснения своим друзьям и избирателям. И так как все другие наперебой, жадно и нетерпеливо требуют слова, молчание этого мнимого скромника вызывает только симпатию.

Но в действительности его скромность — это расчет. Бывший физик вычисляет параллелограмм сил, он наблюдает, он не спешит высказать свою точку зрения, видя, что чаши весов еще колеблются. Он предусмотрительно откладывает решительное выступление до той минуты, пока окончательно не выяснится, на чьей же сто-

роне перевес. Главное—не раскрывать себя, не обнаружить преждевременно свою позицию, не связать себя навсегда! Ведь еще не ясно—двинется ли революция вперед, или отхлынет назад: истинный сын моряка, он ждет попутного ветра, чтобы оказаться на гребне волны, и до времени задерживает свой корабль в гавани.

Кроме того: еще в Аррасе, за монастырской стеной, он наблюдал, как быстро изнашивается популярность в эпоху революции, как быстро голос народа переходит от «осанны» к «распни его». Все или почти все из тех, кто выдвинулся в эпоху Генеральных штатов и Законодательного собрания, сегодня забыты или вызывают ненависть. Прах Мирабо, вчера еще покоившийся в Пантеоне, сегодня с позором удален оттуда; Лафайет, еще несколько недель тому назад торжественно провозглашенный отцом отечества, сегодня уже объявлен предателем; Кюстин, Петтион, несколько недель тому назад окруженные ликующей толпой, теперь боязливо прячутся в тени. Нет, только бы не выдвинуться слишком рано, не определиться слишком быстро, предоставить сперва другим истощиться и израсходоваться. В каждой революции—и это он знает, не по возрасту опытный,—победа достается не первому, не начинателю, а всегда лишь последнему, заканчивающему и овладевающему ею как добычей.

Итак, этот умник сознательно держится в тени. Он приближается к властимушум, но избегает всякой общественной, зримой власти. Вместо того чтобы шуметь на трибуне или в газетах, он предпочитает, чтобы его выбирали в комитеты и комиссии, где можно быть в курсе дел и влиять на события, оставаясь в тени, избегая контроля и ненависти. И в самом деле, его упорная, стремительная работоспособность привлекает к нему симпатии, а его незаметность убергает его от зависти. Из своего рабочего кабинета он может, выжидая, спокойно наблюдать, как терзают друг друга тигры горы и барсы жиронды, как великие и одержимые страстями выдающиеся люди вроде Верньо, Кондорсе, Демулена, Дантона, Марата и Робеспьера наносят друг другу смертельные раны. Он следит за ними и ждет, ибо он знает: только после того как одержимые страстями уничтожат друг друга, настанет час для тех, кто умел выжидать и кто

умеет быть рассудительным. Фуше и впредь всегда будет принимать окончательное решение только тогда, когда уже предрешится исход битвы.

Искусству пребывать в тени Фуше останется верен до конца жизни. Никогда открыто не стоять у власти и все же обладать ею, держать все нити в своих руках и никогда не считаться ответственным. Постоянно стоять за спиной властителя, прикрываться им, подгонять его и, когда он забирается слишком далеко вперед, покидать его в решительную минуту—это его излюбленная роль. И он играет ее, этот самый совершенный интриган политической арены, с одинаковой виртуозностью в двадцати вариантах, в бесчисленных эпизодах, среди республиканцев, королей и императоров.

Иногда представляется случай, и с ним возникает соблазн взять на себя основную, заглавную роль в мировой игре. Но он слишком умен, чтобы всерьез стремиться к этому. Он помнит о своем безобразном, отталкивающем лице, которое ни в малейшей степени не подходит для медалей и эмблем, для блеска и популярности и которому не придаст ничего героического лавровый венок на челе. Он помнит о своем пискливом, слабом голосе, который хорош для того, чтобы нашептывать, натравливать, внушать подозрения, но никогда не сможет пламенной речью зажечь массы. Он знает, что сильнее всего он в своем кабинете у письменного стола, за запертой дверью в тени. Оттуда он может следить и изучать, наблюдать и убеждать, сплетать и расплетать нити интриг, оставаясь непроницаемым и неуловимым.

В этом—последняя тайна могущества Жозефа Фуше; он всегда стремится к власти, более того—к самой высшей власти, но, в противоположность большинству, он удовлетворяется сознанием власти: ему не нужны ее внешние отличия и регалии. Фуше в высшей степени честолюбив, но не тщеславен; он стремится к власти, но не соблазняется видимостью. Как истинный и законченный мастер политической интриги, он ценит только действительные возможности власти, а не ее внешние отличия. Ликторский жезл, королевский скипетр, импера-

торскую корону он спокойно предоставляет другому; будь то сильный человек или марионетка—это безразлично: он охотно уступает ему блеск и сомнительное счастье быть любимцем народа. Он удовлетворяется тем, что знает положение дел, влияет на людей, действительно руководит мнимым повелителем мира и, не рискуя собой, ведет самую азартную из всех игр—грандиозную политическую игру. В то время как другие связаны своими убеждениями, своими публичными речами и действиями, он, избегающий света, в своем тайнике сохраняет внутреннюю свободу и остается недвижимым полюсом в беге событий. Жирондистов свергли—Фуше остается, якобинцев прогнали—Фуше остается, директория, консульство, империя, королевство и снова империя исчезают и гибнут—один лишь Фуше всегда остается благодаря своей изумительной сдержанности, благодаря своему дерзкому мужеству, с которым он сохраняет полную бесхарактерность и неизменное отсутствие убеждений.

Однако во всемирно-историческом движении революции настает день, один-единственный день, не терпящий колебаний, день, когда каждый должен сказать да или нет, подать свой голос за или против, сыграть чет или нечет,—это 16 января 1793 года. Часовая стрелка революции подошла к полдню, пройдено полдороги, шаг за шагом режется королевская власть. Но еще жив Людовик XVI; он заключен в Тампль, но жив. Не удалось (как надеялись умеренные) устроить его побег, не удалось (как втайне желали радикалы) уничтожить его руками разгневанного народа при штурме дворца. Его унизили, лишили свободы, имени и титула, но пока он дышит, он все еще король по наследственному праву крови, он внук Людовика XIV, и хотя теперь его презрительно называют не иначе как Луи Капет, он все еще опасен для молодой республики. И вот Конвент, осудив его 15 января, ставит вопрос о каре, вопрос о жизни или смерти. Тщетно надеялись нерешительные, трусливые, осторожные люди и люди, подобные Жозефу Фуше, с помощью тайного голосования избежать огласки, публичного выяснения своих позиций. Робеспьер безжалостно настаивает, чтобы каждый представитель французской

нации высказался перед собранием за или против, за жизнь или смерть, чтобы народ и потомство знали, куда причислить каждого: к правым или левым, к приливу или к отливу революции.

Позиция Фуше уже 15 января вполне ясна. Принадлежность к жирондистам, стремления его чрезвычайно умеренных избирателей обязывают его требовать помилования короля. Он расспрашивает друзей, прежде всего Кондорсе, и видит, что они единодушно склоняются к тому, чтобы избежать этого непоправимого решения — смертной казни. И так как большинство принципиально против смертного приговора, Фуше, разумеется, становится на их сторону: еще накануне вечером, 15 января, он читает одному из своих друзей текст речи с обоснованием просьбы о помиловании, которую он собирается произнести в Конвенте. Раз уж сидишь на скамье умеренных, то это обязывает к умеренности, и так как большинство восстает против всяческого радикализма, то его отвергает и Жозеф Фуше, не обремененный никакими убеждениями.

Но между вечером 15 января и утром 16 была еще ночь — беспокойная и тревожная. Радикалы не бездействовали, они привели в движение могучий механизм народного возмущения, которым они так превосходно умели управлять. В предместьях раздается грохот сигнальной пушки, секции барабанным боем собирают народ — нестройные батальоны мятежников, всегда вызываемые остающимися в тени террористами, чтобы понудить принять то или иное политическое решение; пивовар Сантер мановением руки за несколько часов приводит их в движение. Эти батальоны агитаторов предместий, рыбных торговков и авантюристов известны еще со времени славного взятия Бастилии, их знают со времен страшных сентябрьских убийств. Всякий раз, когда нужно прорвать плотину законов, насильно вздымают эту громадную народную волну, и всегда она неодолимо увлекает с собой все — и последними тех, кого она вынесла на поверхность из собственной глубины.

Уже в полдень густые толпы окружают манеж и Тюильри; мужчины в жилетах, с обнаженной грудью и

грозными пиками в руках, издавающиеся, кричащие женщины в огненно-алых карманьолах, солдаты национальной гвардии и просто люди улицы. Из их среды появляются зачинщики мятежей—американец Фурнье, испанец Гусман, Теруань де Мерикур—истерическая пародия на Жанну д'Арк. Когда проходят депутаты, которых подозревают в готовности голосовать за помилование, их обливают словно из помойных ушатов потоком ругательств; народным представителям грозят кулаками, угрожая расправой: все средства террора и грубого насилия пускаются в ход, чтобы запугать депутатов, чтобы заставить их отправить на плаху короля.

И это запугивание действует на всех малодушных. При свете мерцающих свечей собираются испуганные жирондисты в эти серые зимние сумерки. Еще вчера они были готовы голосовать против казни короля, чтобы избежать истребительной войны со всей Европой, а теперь, под страшным давлением народного восстания, они охвачены тревогой и разногласиями. Наконец, поздно вечером начинается поименное голосование, и по иронии судьбы первым должен сказать свое слово вождь жирондистов Верньо, чей всегда такой пылкий голос—ведь оратор южанин—как молот потрясал стены. Но в этот миг он, вождь республики, боится, что покажется недостаточно последовательным республиканцем, если оставит жизнь королю. И он, обычно такой порывистый и бурный, пристыженно опустив большую голову, медленно, тяжелыми шагами подымается на трибуну и тихо произносит: «La mort»—смерть.

Это слово как звук камертона разносится по залу. Первый из жирондистов отступил. Большинство остальных верны себе; триста голосов из семисот поданы за помилование, хотя все сознают, что теперь политическая умеренность требует гораздо большей смелости, чем мнимая решительность. Долго колеблются чаши весов: несколько голосов могут все решить. Наконец вызывают Жозефа Фуше, депутата из Нанта, того самого, который еще накануне уверял друзей, что будет в зажигательной речи защищать жизнь короля, который еще десять часов тому назад играл роль самого решительного среди решительных. Но тем временем бывший учитель матема-

тики, хороший калькулятор Фуше подсчитал голоса и увидел, что он рискует очутиться в невыгодной партии, в единственной партии, к которой он никогда не примкнет: в партии меньшинства. Бесшумными шагами поспешно поднимается он на трибуну, и с его бледных уст тихо слетает слово: «La mort»—смерть.

Герцог Отрантский впоследствии произнесет и напишет сто тысяч слов, чтобы признать, что одно это слово, сделавшее Жозефа Фуше régicide — цареубийцей, было ошибкой. Но слово сказано публично и запечатлено в «Moniteur»<sup>1</sup>; его не вычеркнуть из истории, оно останется навеки памятным и в личной истории его жизни. Ибо это первое публичное падение Жозефа Фуше. Он коварно напал сзади на своих друзей, Кондорсе и Дону, одурачил их и обманул. Но перед лицом истории им не придется краснеть за это, ведь и другие, более сильные, Робеспьер и Карно, Лафайет, Баррас и Наполеон, самые могучие люди своей эпохи, разделят их участь: в минуту неудачи он предаст их.

В это мгновение, кроме того, впервые обнаруживается в характере Жозефа Фуше еще одна, ярко выраженная и существенная черта: его бесстыдство. Предательски покидая свою партию, он никогда не бывает осторожным и медлительным, он не крадется смущенно, тайком выбираясь из ее рядов. Нет, среди бела дня, с холодной усмешкой, с поразительной, сокрушающей самоуверенностью, он прямым путем переходит к вчерашнему противнику и усваивает все его слова и аргументы. Что думают и говорят о нем прежние товарищи по партии, что думает толпа и общественность—ему совершенно безразлично. Для него важно только одно: быть всегда в числе победителей, а не побежденных. В молниеносности его превращения и безграничном цинизме его измен проявляется дерзость, невольно ошеломляющая, вызывающая удивление. Ему достаточно двадцати четырех часов, иногда одного часа, иногда всего лишь мгновения, чтобы на глазах у всех просто отшвырнуть знамя своих убеждений и с шумом развернуть другое. Он следует не

---

<sup>1</sup> Французская газета, официальный правительственный орган.

за идеей, а за временем, и чем быстрее оно мчится, тем проворнее он его догоняет.

Он знает—нантские избиратели будут возмущены, прочитав завтра в «Moniteur», за что он голосовал. Значит, надо их ошеломить: это вернее, чем убеждать. И с той же ослепляющей дерзостью, с той же наглостью, которая в такие мгновения едва не придает ему видимости величия, он не выжидает взрыва возмущения, а предупреждает нападение. Уже через день после голосования Фуше выпускает манифест, в котором он с шумом выдает за свое внутреннее убеждение то, что в действительности ему внушил страх перед провалом в парламенте: он не оставляет своим избирателям времени для размышлений и подсчетов, а стремительно и грубо терроризирует и запугивает их.

Ни Марат, ни самые ярые якобинцы не сумели бы, обращаясь к своим буржуазным избирателям, написать более кровожадно, чем этот вчера еще умеренный депутат: «Преступления деспота стали очевидными и преисполнили все сердца возмущением. Если его голова не падет тотчас же под ножом гильотины, все разбойники и убийцы смогут свободно расхаживать по улицам и нам будет грозить ужаснейший хаос. Время за нас и против всех королей земли». Так провозглашает необходимость и неизбежность казни тот, кто еще накануне носил в кармане сюртука столь же убедительный манифест против этой казни.

И действительно, умный математик вычислил правильно. Будучи сам оппортунистом, он прекрасно знает всеокрушающую силу трусости; он знает, когда на политическую арену выступают массы, смелость является решающим знаменателем во всех вычислениях. И он оказывается прав: добропорядочные консервативные буржуа боязливо склоняются перед этим наглым неожиданным манифестом; сбитые с толку и смущенные, они торопятся санкционировать решение, которому в душе нимало не сочувствуют. Никто не осмеливается противоречить. И с того дня Жозеф Фуше держит в руках жесткий холодный рычаг, который дает ему возможность вывернуться при всех обстоятельствах: презрение к людям.

С этого дня, с 16 января, хамелеон Жозеф Фуше из-

бирает (до поры до времени) красный цвет; в один день умеренный становится архимепримирым радикалом и сверхтеррористом. Одним прыжком он переметнулся в лагерь противников и даже в их рядах оказывается на крайнем, самом левом, самом радикальном крыле. С жуткой поспешностью — лишь бы не отстать от других — усваивает этот холодный ум, этот трезвый кабинетный человек кроважанный жаргон террористов. Он требует решительных мер против эмигрантов, против духовенства; он возбуждает, он гремит, он неистовствует, он убивает словами и жестами. Собственно говоря, он мог бы опять подружиться с Робеспьером и сесть с ним рядом. Но этот неподкупный, обладающий протестантски суровой совестью человек не любит ренегатов; с удвоенным недоверием отворачивается он от перебежчика: шумный радикализм Фуше кажется ему подозрительнее его прежнего хладнокровия.

Фуше своим обостренным чутьем угадывает опасность этого надзора, он предвидит приближение критических дней. Не рассеялась еще гроза над собранием, а на политическом горизонте уже сгущаются тучи трагической борьбы между вождями революции, между Дантоном и Робеспьером, между Эбером и Демуленом; и здесь, в среде радикалов, необходимо было принимать чью-то сторону, но Фуше не любит связывать себя, прежде чем определение позиций не станет безопасным и выгодным. Он знает, что мудрость дипломата заключается в том, чтобы в решающее время быть подальше от иных ситуаций. И вот он решает покинуть на все время борьбы политическую арену Конвента, чтобы вернуться, когда спор будет решен. Для такого отступления, к счастью, представляется почетный предлог, ибо Конвент избирает из своей среды двести делегатов, чтобы поддержать порядок в округах. Ему не по себе в вулканической атмосфере зала собраний, и Фуше прилагает все старания, чтобы попасть в число командированных делегатов. Его избирают. Ему предоставлена передышка. Пускай тем временем борются другие, пускай уничтожают друг друга, пусть они, страстные, расчищают место для честолюбца! Лишь бы не присутствовать при этом, не быть вынужденным выбрать одну из партий! Несколько месяцев, несколько недель немало значат в эпоху бешеного

бега мировых часов. Когда он вернется, исход борьбы уже будет решен, и он сможет тогда спокойно и безопасно присоединиться к победителю, к своей неизменной партии — к большинству.

Историки французской революции обычно уделяют мало внимания событиям в провинции. Все описания словно прикованы к циферблату Парижа, только на нем обозрим ход времени. Но маятник, регулирующий этот ход, надо искать в стране и армиях. Париж — это лозунг, инициатива, первичный толчок, а в огромной стране сосредоточено действие и решающая движущая сила.

Конвент своевременно понял, что темпы революции в городе и в деревне не совпадают: люди в селах, в деревушках и горах соображают не так быстро, как в столице, они воспринимают идеи гораздо медленнее и осторожнее и перерабатывают их по собственному разумению. То, что в Конвенте на протяжении часа становится законом, лишь медленно и по каплям просачивается в деревню и большей частью проникает туда уже фальсифицированным и разжиженным стараниями провинциальных чиновников-роялистов и духовенства — людей старого порядка. Поэтому сельские округа всегда отстают от Парижа на целую эпоху. Когда в Конвенте господствуют жирондисты, в провинции еще раздаются голоса в защиту короля; когда торжествуют якобинцы, провинция только начинает приближаться к идеям жиронды. Тщетны поэтому все патетические декреты, ибо печатное слово в ту пору медленно и нерешительно проби-вает себе дорогу в Овернь и Вандею.

Это заставило Конвент направить в провинцию деятельных носителей живого слова, чтобы ускорить ритм революции по всей Франции, сломить колеблющийся, едва ли не контрреволюционный темп развития сельских округов. Он избирает из своей среды двести депутатов, обязанных вершить его волю, и наделяет их почти неограниченной властью. Кто носит трехцветный шарф и красную шляпу с перьями, тот обладает правами диктатора. Он может взимать налоги, выносить приговоры, набирать рекрутов, смещать генералов; ни одно ведомство не смеет сопротивляться тому, кто своей священной персоной символически представляет волю Конвента.

Его права неограниченны, как некогда права проконсулов Рима, вершивших во всех завоеванных странах волю сената; каждый из них — диктатор, самодержавный повелитель; его решения не подлежат обжалованию и пересмотру.

Могущество этих выборных проконсулов огромно, но огромна и ответственность. Каждый из них в пределах доверенной ему области является как бы королем, императором, неограниченным самодержцем. Но в то же время за его спиной сверкает гильотина, ибо Комитет общественного спасения следит за каждой жалобой и немилосердно требует от каждого самого точного отчета о расходовании предоставленных ему денежных сумм. Кто был недостаточно суров, с тем сурово поступят; и напротив — кто слишком неистовствовал, того ждет возмездие. Если общее направление склоняется к террору — правильны террористические мероприятия; если же на весах перевешивает чаша милосердия — они оказываются ошибкой. Кажущиеся хозяева целых областей, они на самом деле рабы Комитета общественного спасения, подвластные изменениям политической обстановки, поэтому они беспрестанно поглядывают в сторону Парижа, прислушиваются к его голосу, чтобы, властвуя над жизнью и смертью других, сохранить свою жизнь. Нелегкую должность взяли они на себя; так же, как генералы революции перед лицом врага, они знают, что их может извинить и спасти от обнаженного меча только одно — успех.

Час, когда Фуше назначен проконсулом, — это час радикалов. Поэтому Фуше неистов радикален в своем департаменте Нижней Луары — в Нанте, Невере и Мулене. Он громит умеренных, он наводняет провинцию потоком манифестов, он грозит суровыми карами богачам, всем колеблющимся и нерешительным; применяя моральное и физическое принуждение, он сколачивает в деревнях целые полки добровольцев и направляет их против врага. Как организатор и в умении быстро схватывать обстановку он по меньшей мере равен своим товарищам, по дерзости речей он превосходит их всех. Потому что, — и это следует запомнить, — Жозеф Фуше, в отличие от за-

чинателей революции Робеспьера и Дантона, которые еще почтительно объявляют частную собственность «неприкосновенной», не соблюдает осторожности в вопросах религии и частной собственности: он составляет смелую, радикально-социалистическую, большевистскую программу. Первым откровенно коммунистическим манифестом нового времени был, по существу, не знаменитый манифест Карла Маркса и не «Hessische Landbote»<sup>1</sup> Георга Бюхнера, а почти не отмеченная в социалистической летописи лионская «Инструкция», которую хотя и подписали совместно Колло д'Эрбуа и Фуше, но сочинил, несомненно, один Фуше. Этот энергичный, на сто лет опередивший запросы времени документ — один из удивительнейших документов революции — достоин того, чтобы извлечь его из мрака забвения; пусть его историческая ценность умаляется тем, что впоследствии герцог Отрантский отчаянно опровергал все, что он сам когда-то требовал как гражданин Жозеф Фуше, — все же, с современной точки зрения, этот символ его тогдашней веры заставляет считать Фуше первым откровенным социалистом и коммунистом революции. Не Марат и не Шомет сформулировали самые смелые требования французской революции, а Жозеф Фуше; этот документ ярче и резче любого описания освещает его постоянно скрывающийся в тени образ.

«Инструкция» смело начинается провозглашением непогрешимости любых дерзаний: «Все позволено тем, кто действует в духе революции. Для республиканца нет опасности, кроме опасности плестись в хвосте законов республики. Кто перешагнет через них, кто, казалось бы, заходит дальше цели, тот часто еще далек от завершения. Пока существует хоть один несчастный на земле, свобода должна идти все вперед и вперед».

После этого энергичного и уже в известной мере максималистского введения Фуше так поясняет сущность революционного духа: «Революция совершена для народа; но под этим именем не следует подразумевать привилегированный благодаря своему богатству класс, присвоивший все радости жизни и все общественное достояние. Народ — это совокупность французских гражд-

---

<sup>1</sup> «Вестник Гессена» (нем.).

дан и прежде всего огромный класс бедняков, защищающих границы нашего отечества и кормящих своим трудом общество. Революция была бы политическим и моральным бесчинством, если бы она заботилась о благополучии нескольких сотен людей и терпела нищету двадцати четырех миллионов. Она была бы оскорбительным обманом человечества, если бы мы все время только говорили о равенстве, тогда как огромные различия в благосостоянии отделяют одного человека от другого». После этих вступительных слов Фуше развивает свою излюбленную теорию, что богатый, *mauvais riche*, никогда не может быть настоящим революционером, не может быть настоящим, искренним республиканцем, что, следовательно, всякая собственно буржуазная революция, сохраняющая разницу состояний, должна неизбежно выродиться в новую тиранию, «ибо богачи всегда считали бы себя особой породой людей». Поэтому Фуше требует от народа проявления величайшей энергии и осуществления совершенной, «интегральной» революции. «Не обманывайте себя: чтобы быть действительно республиканцем, каждый гражданин должен в самом себе произвести революцию, подобно той, которая преобразила лик Франции. Не должно остаться ничего общего между поданными тиранов и населением свободной страны. Все ваши действия, ваши чувства, ваши привычки должны быть изменены. Вас притесняют — значит, вы должны уничтожить ваших притеснителей; вы были рабами церковных суеверий — теперь вашим единственным культом пусть будет культ свободы... Каждый, кому чужд этот энтузиазм, кто знает иные радости, иные заботы, кроме счастья народа, кто открывает свою душу холодным интересам, кто подсчитывает, какую прибыль ему даст его звание, его положение и талант, и тем самым отделяется на миг от общего дела, чья кровь не кипит при виде притеснений и роскоши, кто проливает слезы сочувствия над бедствиями врагов народа и не сохраняет всей своей чувствительности только для мучеников свободы, — тот лжет, если он осмеливается называть себя республиканцем. Пусть он покинет нашу страну, иначе его узнают, его нечистая кровь оросит землю свободы. Республика хочет видеть в своих пределах лишь свободных людей, она решила истребить всех других, и она называет сво-

ими детьми лишь тех, кто хочет жить, бороться и умирать за нее». С третьего параграфа революционная декларация начинает становиться обнаженным, открыто коммунистическим манифестом (первым достаточно откровенным после 1793 года): «Каждый, имеющий больше самого необходимого, должен быть привлечен к участию в этом чрезвычайно важном деле оказания помощи, и взносы должны соответствовать великим требованиям отечества; поэтому вы должны в самых широких размерах, подлинно революционным способом установить, сколько каждый в отдельности должен вносить на общее дело. Тут идет речь не о математическом определении и не боязливо осторожном методе, обычно применяемом при составлении налоговых списков; это особое мероприятие должно соответствовать характеру обстоятельств. Действуйте поэтому широко и смело, возьмите у каждого гражданина все, в чем он не нуждается, ибо всякий излишек (*le superflu*) — это открытое поругание народных прав. Единичная личность может лишь во зло употребить свои излишки. Поэтому оставляйте лишь безусловно необходимое, все остальное во время войны принадлежит республике и ее армиям».

Особенно подчеркивает Фуше в этом манифесте, что нельзя удовлетворяться только деньгами. «Все предметы, — продолжает он, — которыми граждане обладают в излишке и которые могут быть полезны защитникам отечества, принадлежат отныне отечеству. Есть люди, которые обладают громадным количеством полотна и рубашек, тканей и сапог. Все эти вещи должны стать предметом революционной реквизиции». Таким же образом он требует, чтобы в национальную казну было отдано золото и серебро, *métaux vils et corrompés*<sup>1</sup>, презренные для истинного республиканца; «украшенные эмблемой республики, очищенные огнем, они станут полезным достоянием общества. Для торжества республики нам нужны лишь сталь и железо». Воззвание кончается ужасным призывом к беспощадности. «Мы со всей строгостью будем охранять врученные нам полномочия, мы будем наказывать как злостное намерение все, что при других обстоятельствах могло быть названо упущением, слабостью и медлительностью. Время половинчатых ме-

<sup>1</sup> Порочные и развращающие металлы (франц.).

роприятий и пощады миновало. Помогите нам наносить мощные удары, иначе они обрушатся на вас самих. Свобода или смерть — выбирайте!»

Этот принципиальный документ даёт возможность угадать методы деятельности Жозефа Фуше в роли проконсула. В департаменте Нижней Луары, в Нанте, Невере и Мулене, он осмеливается вступить в борьбу с самыми могучими силами Франции, перед которыми осторожно отступают даже Робеспьер и Дантон, — с частной собственностью и церковью. Он действует быстро и решительно в направлении *égalité des fortunes*<sup>1</sup> и изобретает так называемые «филантропические комитеты», которым состоятельные люди обязаны преподносить дары, устанавливая их размеры якобы по своему усмотрению. Чтобы быть достаточно хорошо понятым, он сразу же делает мягкое указание: «Если богатый не использует своего права сделать достойным любви режим свободы — республика оставляет за собой право завладеть его состоянием». Он нетерпим к излишкам и энергично расширяет само понятие *superflu*, утверждая, что «республиканцу нужны только оружие, хлеб и сорок экю дохода». Фуше извлекает лошадей из конюшен, муку из мешков; арендаторы отвечают жизнью за невыполнение данных им предписаний; он предписывает употребление хлеба низкого качества, каким впоследствии был и хлеб мировой войны, и запрещает всякую выпечку из белой муки. Каждую неделю он, таким образом, составляет пять тысяч рекрутов, снабжённых лошадьми, обувью, обмундированием и ружьями; он заставляет работать фабрики, и все подчиняются его железной энергии. Деньги стекаются — налоги, подати и дары, поставки и трудовые повинности; два месяца спустя он гордо пишет Конвенту: «*Ont rougit ici d'être riche*» — «Здесь стыдятся прослыть богатым». Но в действительности он должен был бы сказать: «Здесь боятся быть богатым».

Выступая как радикал и коммунист, Жозеф Фуше, ставший впоследствии миллионером и герцогом Отрантским, который повторно обвенчается в церкви с благо-

<sup>1</sup> Уравнения состояний (франц.).

словения короля, проявлял себя в то время свирепым и страстным борцом против христианства. «Этот лицемерный культ должен быть заменен верой в республику и мораль», — гремит он в своем зажигательном послании, и, как удары молнии, обрушиваются его первые мероприятия на церкви и соборы. Закон за законом, декрет за декретом: «Духовенство имеет право носить свое облачение только при исполнении обрядов», все преимущества у него отнимаются, ибо «пора, — поясняет он, — возвратить этот высокомерный класс к чистоте древнего христианства и обратить его в граждан государства». Скоро Жозефа Фуше перестает удовлетворять положение носителя высшей военной власти, высшего вершителя правосудия, неограниченного диктатора; он присваивает и все функции церкви. Он уничтожает безбрачие духовенства, приказывает священнослужителям, чтобы в течение месяца каждый женился или усыновил ребенка, он сам заключает и расторгает браки на рыночных площадях, он подымается на амвон (откуда старательно удалены кресты и религиозные украшения) и произносит атеистические проповеди, в которых отрицает бессмертие и существование бога. Христианские обряды при похоронах отменяются, и в утешение на кладбищенских церквях высекается надпись: «Смерть — это вечный сон». В Невере новоявленный папа впервые в стране совершает обряд гражданского крещения своей дочери, названной в честь департамента Ниевр. Национальная гвардия выступает с барабанным боем и музыкой, и на рыночной площади он без участия церкви дает ребенку имя. В Мулене он верхом на коне, во главе целого картежа, разъезжает по городу с молотком в руке и разбивает кресты, распятия и религиозные изображения, «постыдные» свидетельства фанатизма. Похищенные митры и напестольные покровы бросают в костер, и, пока вздымается яркое пламя, ликующая чернь пляшет вокруг атеистического аутодафе. Но неистовствовать, разбивая мертвые предметы, беззащитные каменные фигуры и хрупкие кресты, было бы для Фуше только частичным торжеством. Настоящее торжество доставил ему архиепископ Франсуа Лоран, который после его речей сорвал с себя облачение и надел красную шапку, а когда тридцать священнослужителей с восторгом последовали его

примеру, весть об этом успехе, словно пожар, пронеслась по всей Франции. И гордо хвастается Фуше перед своими менее удачливыми коллегами-атеистами, что он уничтожил фанатизм, искоренил христианство во вверенной ему области так же, как богатство.

Могло бы показаться, что все это — деяния безумца, иступленного фанатика и фантазера. Но в действительности Жозеф Фуше даже в мнимой страстности остается трезвым калькулятором и реалистом. Он знает, что обязан отчитаться перед Конвентом, знает, что курс патриотических фраз и писем падает так же быстро, как и курс ассигнаций, поэтому, если хочешь возбудить удивление, нужно заговорить языком металла. И, отправляя набранные им полки к границе, он все добытое при ограблении церквей отправляет в Париж. Ящик за ящиком с золотыми дароносицами, сломанными, расплавленными серебряными подсвечниками, тяжеловесными распятиями и драгоценными камнями втаскивают в Конвент. Он знает: республике нужны прежде всего наличные деньги, и он первый, он единственный посылает депутатам из провинции такую красноречивую добычу. Сперва они поражены этой небывалой энергией, потом приветствуют ее громовыми аплодисментами. С этого часа в Конвенте знают и повторяют имя Фуше — железного человека, самого неустрашимого, самого настойчивого республиканца республики.

Когда Фуше, исполнив свою миссию, возвращается в Конвент, он уже не похож на того неизвестного, незначительного депутата, каким он был в 1792 году. Человеку, который выставил десять тысяч рекрутов, который выжал сто тысяч марок золотом, тысячу двести фунтов наличными деньгами, тысячу слитков серебра, ни разу не прибегнув к *Rasoir national*<sup>1</sup>, к гильотине, Конвент поистине не может не выразить восхищения его усердием — *rouge sa vigilance*. Ультрарякобинец Шомет публикует гимн в честь его деяний. «Гражданин Фуше, — пишет он, — сотворил те чудеса, о которых я рассказал. Он почтил старых, поддержал слабых, уважил несчастных, разрушил

---

<sup>1</sup> Национальная бритва (франц.).

фанатизм, уничтожил федерализм. Он восстановил производство железа, арестовал подозрительных, примерно наказал каждое преступление, преследовал и сажал в тюрьмы эксплуататоров». Спустя год после того, как он осторожно сел на скамью умеренных, Фуше слывет самым радикальным в среде радикалов, и когда восстание в Лионе потребовало назначения особенно энергичного человека, беспощадного, не знающего колебаний,— кто мог показаться более подходящим для проведения самого ужасного эдикта, когда-либо созданного этой или какой-либо другой революцией? «Услуги, уже оказанные тобой революции,—предписывает ему на своем великолепном жаргоне Конвент,—служат залогом тех, которые ты еще окажешь. Ты должен снова разжечь потухающий факел гражданского духа в *Ville affranchie* (Lyon)<sup>1</sup>. Доверши революцию, положи конец войне аристократов, и пусть развалины, которые свергнутая власть стремится восстановить, обрушатся на них и раздавят их».

И в этом образе мстителя и разрушителя, *Mitrailleur de Lyon*<sup>2</sup>, впервые вступает Жозеф Фуше, впоследствии миллионер и герцог Отрантский, в мировую историю.

---

<sup>1</sup> Освобожденном городе (Лионе) (франц.).

<sup>2</sup> Палач Лиона (франц.).

## MITRAILLEUR DE LYON

1793



**В** книге истории французской революции редко открывают одну из самых кровавых ее страниц — главу о Лионском восстании. И все же ни в одном городе, даже в Париже, социальные противоречия не выразились так остро, как в этом первом индустриальном городе тогда еще мелкобуржуазной и аграрной Франции, в городе, ставшем родиной шелковой промышленности. Еще в разгар буржуазной революции 1792 года рабочие впервые образуют там отчетливо пролетарскую массу, резко отделяющуюся от роялистски и капиталистически настроенных предпринимателей. Нет ничего удивительного, что на этой раскаленной почве как реакция, так и революция принимают самые кровавые и фантастические формы.

Приверженцы якобинцев, толпы рабочих и безработных группируются вокруг одного из тех своеобразных людей, которых внезапно выносит на поверхность всякий мировой переворот, одного из тех кристально чистых идеалистов, которые, однако, своей верой и своим идеализмом навлекают больше бед и вызывают больше кровопролитий, чем самые грубые реалистические политики и самые свирепые террористы. Обычно именно такие искренне верующие религиозные экстатические натуры, стремящиеся перестроить и улучшить мир с самыми благородными намерениями, дают побудительный толчок к убийствам и несчастьям, которые отвратительны для них самих. В Лионе таким человеком был Шалье, расстрига-священник и бывший купец, для которого революция стала истинным, настоящим христианством; он был предан ей с любовью суеверной и самозабвенной. Восхождение человечества к разуму и к равенству означает для этого страстного почитателя Жан-Жака Руссо осуществление тысячелетнего царства, его пылкое и фанатичное человеколюбие видит в мировом пожаре зарю новой, нескончаемой человечности. Трогательный фантазер, когда Бастилия пала, он собственными руками относит камень из стены крепости в Лион; шесть дней и шесть ночей добирается пешком из Парижа и делает из этого камня алтарь. Он обожает пламенного язвительного памфлетиста Марата как бога, как новую Пифию; он знает наизусть его речи и статьи и как никто другой в Лионе воспламеняет своими мистическими и наизымыми речами рабочих. Народ инстинктивно чувствует его пылающее и сострадательное человеколюбие, а лионские реакционеры понимают, что этот чистый духом, одержимый человеколюбием человек во много раз опаснее самых шумливых зачинщиков мятежей — якобинцев. К нему тянутся все сердца, против него направлена вся ненависть. И когда в городе вспыхивают первые волнения, в тюрьму бросают, как зачинщика, этого неврастенического, немного смешного фантазера. Против Шалье, с трудом использовав поддельное письмо, состряпали какое-то обвинение и, в устрашение другим радикалам, бросая вызов парижскому Конвенту, его приговаривают к смертной казни.

Тщетно возмущенный Конвент посылает в Лион гонца

за гонцом, чтобы спасти Шалье. Он увещевает, он требует, он угрожает непослушному магистрату. Но, решившись, наконец, показать когти парижским террористам, городской совет самовластно отвергает все протесты. Несмотря на выписали в свое время лионцы орудие террора — гильотину — и поставили ее в сарай; теперь они решили дать урок сторонникам террора, впервые испытав это так называемое гуманное орудие революции на революционере. И так как машина не опробована, а палач неопытен — казнь Шалье превращается в жестокую, гнусную пытку. Трижды опускается тупой нож, не отсекая головы осужденного. С ужасом смотрит народ, как закованное, обливающееся кровью, еще живое тело его вождя крчится в мучениях позорной пытки, пока, наконец, палач милосердным ударом сабли не отделяет голову несчастного от туловища.

Но эта голова мученика, трижды раздробленная топором, скоро становится палладиумом мести для революции и головой Медузы для убийц.

Конвент встревожен известием об этом преступлении. Французский город осмеливается в одиночку открыто выступить против Конвента! Такой наглый вызов должен быть потоплен в крови. Но и лионские правители понимают, что им предстоит. Они переходят от сопротивления к открытому мятежу; они собирают войско, строят укрепления против сограждан, против французов, и открыто сопротивляются республиканской армии. Теперь оружие должно решить спор между Лионом и Парижем, между реакцией и революцией.

С логической точки зрения гражданская война в такой момент должна казаться самоубийством молодой республики, ибо никогда ее положение не было опаснее, отчаяннее, безвыходнее. Англичане заняли Тулон, завладели арсеналом и флотом, угрожают Дюнкирхену; в то же самое время пруссаки и австрийцы продвигаются вдоль берегов Рейна и в Арденнах, и вся Вандея охвачена пожаром. Битвы и мятежи сотрясают республику от одной границы до другой. Но эти же дни — поистине героические дни Конвента. Следуя грозному роковому инстинкту, вожди решают победить опасность, послав ей

вызов: после казни Шалье они отвергают всякое соглашение с его палачами. «*Potius mori quam foedari*» — «Лучше гибель, чем соглашение», лучше, ведя семь войн, начать еще одну, чем заключить мир, свидетельствующий о слабости. И этот неистовый энтузиазм отчаяния, эта нелогичная, бешеная страстность спасли в момент величайшей опасности французскую революцию, так же как впоследствии — русскую (одновременно теснимую с запада, востока, юга и севера англичанами и наемниками со всего мира, а внутри страны — полчищами Врангеля, Деникина и Колчака). Напуганная лионская буржуазия открыто бросается в объятия роялистов и дозевает свои войска королевскому генералу, но это не может помочь ей — из деревень, из предместий стекаются пролетарские солдаты, и 9 октября республиканские полки штурмом берут охваченную мятежом вторую столицу Франции. Этот день, быть может, самая большая гордость французской революции. Когда председатель Конвента торжественно поднимается со своего места и сообщает о капитуляции Лиона, депутаты вскакивают со скамей, ликуя и обнимая друг друга; на какое-то мгновение кажется, что улажены все споры. Республика спасена, всей стране, всему миру дано величественное доказательство неотразимой мощи, силы гнева и напора республиканской народной армии. Но гордость, возбуждаемая этой отвагой, роковым образом влечет победителей к заносчивости, к трагическому стремлению завершить свое торжество террором. Столь же грозной, как и стремление к победе, должна быть месть победителей. «Надо показать пример того, как французская республика, как молодая революция всего суровее карает тех, кто восстает против трехцветного знамени». И вот Конвент, выступающий поборником гуманности, позорит себя перед всем миром декретом, первыми историческими образцами которого могут служить варварское нападение Барбароссы на Милан или подвиги калифов. 12 октября председатель Конвента берет в руку тот ужасный лист, в котором содержалось ни много, ни мало как предложение разрушить вторую столицу Франции. Этот очень малоизвестный декрет звучал так:

«1. Национальный Конвент назначает, по предложению Комитета общественного спасения, чрезвычайную

комиссию из пяти членов, чтобы немедленно наказать лионскую контрреволюцию силою оружия.

2. Все жители Лиона должны быть разоружены, и их оружие передано защитникам республики.

3. Часть этого оружия будет передана патриотам, угнетаемым богачами и контрреволюционерами.

4. Город Лион должен быть разрушен. Все дома, где жили состоятельные люди,— уничтожить; могут быть сохранены лишь дома бедноты, квартиры убитых или осужденных патриотов и сооружения, служащие промышленным, благотворительным и педагогическим целям.

5. Название Лиона вычеркивается из списка городов Республики. Отныне поселение, объединяющее оставшиеся дома, будет называться *Ville affranchie*.

6. На развалинах Лиона возвести колонну, которая будет вещать грядущим поколениям о преступлениях и наказании роялистского города следующей надписью: «Лион боролся против свободы — Лиона больше нет».

Никто не осмеливается возражать против безумного предложения — превратить второй по величине город Франции в груды развалин. Мужество покинуло французский Конвент с тех пор, как нож гильотины зловеще сверкает над головой каждого, осмеливающегося хоть бы шепотом произнести слова «милосердие» или «сострадание». Напуганный собственным террором, Конвент единогласно одобряет варварское решение, и Кутону — другу Робеспьера — поручается исполнить его.

Кутон, предшественник Фуше, сразу постигает страшные, самоубийственные для республики последствия задуманного уничтожения самого большого промышленного города страны со всеми его памятниками искусства. И с первого же мгновения он решает саботировать поручение Конвента. Чтобы осуществить это, нужно пустить в ход лукавое притворство. Поэтому свое тайное намерение пощадить город Кутон прячет за хитростью, — он чрезмерно восхваляет безумный декрет. «Граждане коллеги, — восклицает он, — мы пришли в восхищение, прочитав ваш декрет. Да, необходимо разрушить город, и пусть это послужит великим уроком для

всех, кто мог бы осмелиться восстать против отечества. Из всех великих и могущественных мер воздействия, применявшихся Национальным Конвентом, от нас до этих пор ускользала лишь одна: полное разрушение... но будьте спокойны, граждане коллеги, и заверьте Конвент, что мы разделяем его воззрения и точно исполним его декреты». Однако, приветствуя таким гимном возложенное на него поручение, Кутон вовсе не собирается его исполнять, довольствуясь чисто показательными мероприятиями. Ранний паралич сковал его ноги, но его решимость нельзя поколебать; он приказывает отнести себя в носилках на рыночную площадь Лиона, ударом серебряного молота символически отмечает дома, подлежащие разрушению, и уведомляет трибунал об ужасной мести. Этим он успокаивает разгоряченные умы. В действительности же под предлогом недостатка рабочих рук он посылает лишь нескольких женщин и детей, которые для проформы делают по десятку вялых ударов заступом, и приводит в исполнение лишь несколько смертных приговоров.

Город уже облегченно вздыхает, радостно пораженный неожиданной милостью после столь грозных решений. Но и террористы не дремлют, постепенно они начинают догадываться о снисходительных намерениях Кутона и силой принуждают Конвент к насилию. Окровавленную, раздробленную голову Шалье как святыню привозят в Париж, с пышной торжественностью показывают Конвенту и для возбуждения народа выставляют ее в соборе Нотр-Дам. Все нетерпеливее выдвигают они обвинения против кунктатора Кутона: он слишком вял, слишком ленив, слишком труслив, недостаточно мужествен, чтобы осуществить такую примерную месть. Здесь нужен беспощадный, надежный и искренний революционер; не боящийся крови, способный на крайние меры, — железный и закаленный человек. В конце концов Конвент уступает их требованиям и посылает на место слишком снисходительного Кутона самых решительных своих трибунов — порывистого Колло д'Эрбуа (о котором легенда повествует, что в бытность его актером он был освистан в Лионе и потому является самым подходящим человеком, раз нужно проучить граждан этого города), а с ним радикальнейшего проконсула, прослав-

28. Стефан Цвейг. Т. 4.

ленного якобинца и крайнего террориста — Жозефа Фуше; они должны стать палачами несчастного города.

Действительно ли неожиданно призванный для свершения кровавого дела Жозеф Фуше был палачом, «кровопийцей», как в то время называли передовых бойцов террора? Судя по его словам — это так. Едва ли кто-нибудь из проконсулов вел себя в порученной ему провинции решительнее, энергичнее, радикальнее, революционнее, чем Жозеф Фуше; он беспощадно реквизирует, грабит церкви, опустошал сундуки и душил всякое сопротивление. Однако — и это чрезвычайно характерно для него! — только в словах, приказах и запугиваниях проявляется его террор, ибо за все время его правления ни в Невере, ни в Кламси не пролилось ни капли крови. В то время как в Париже гильотина работает словно швейная машинка, в то время как Карье в Нанте сотнями топит «подозрительных» в Луаре и по всей стране идут расстрелы, убийства и охота на людей, Фуше в своем округе не совершает ни единой политической казни. Он знает — и это лейтмотив его психологии — трусость большинства людей, он знает, что дикий, сильный террористический жест большей частью способен заменить террор как таковой, и когда впоследствии, в эпоху пышного расцвета реакции, все провинции обвиняют своих былых повелителей, то все его округа могут сообщить только о том, что он все время грозил смертью, но никто не может обвинить его ни в одной казни. Итак, совершенно очевидно, что Фуше, назначенный палачом Лиона, не любит крови. Этот холодный, бесчувственный человек, этот калькулятор и расчетливый игрок, скорее лисица, чем тигр, не нуждается в запахе крови для возбуждения нервов. Он неистовствует и угрожает (оставаясь внутренне спокойным) на словах, но никогда не требует казней ради наслаждения убийством, как те, кто одержим властью. Инстинкт и благоразумие (а не гуманность) заставляют его уважать человеческую жизнь, пока его собственная жизнь в безопасности: он угрожает жизни и судьбе человека лишь тогда, когда ставится под угрозу его собственная жизнь или выгода.

В этом одна из тайн почти всех революций и трагическая судьба их вождей: все они не любят крови и все же вынуждены ее проливать. Демулен, сидя за письменным столом, требует с пеной у рта суда над жирондистами; но, услышав в зале суда смертный приговор двадцати двум человекам, которых сам же посадил на скамью подсудимых, он вскочил и, дрожащий, смертельно бледный, в отчаянии выбежал из зала: нет, этого он не хотел! Робеспьер, поставивший свою подпись под тысячами роковых декретов, за два года до этого восставал в Национальном собрании против смертной казни и клеймил войну как преступление. У Дантона, хотя он и был создателем смертоносного трибунала, вырвалось из глубины души: «Лучше быть гильотинированным самому, чем гильотинировать других». Даже Марат, требовавший в своей газете триста тысяч голов, старался спасти каждого отдельного человека, приговоренного к смерти. Вина французских революционеров не в том, что они опьянились запахом крови, а в их кровожадных речах: они совершали глупости — только для того, чтобы воодушевлять народ, для того, чтобы доказать самим себе свой радикализм, они создали кровавый жаргон и постоянно бредили изменниками и эшафотом. И когда народ, опьяненный, одурманенный, одержимый этими безумными возбуждающими речами, действительно требует осуществления тех самых «энергичных мер», в необходимости которых его убедили, у вождей не хватает мужества оказать сопротивление: они обязаны гильотинировать, чтобы избежать обвинения в лживости разговоров о гильотине. Их действия вынуждены мчаться вдогонку за их бешеными речами, и вот начинается жуткое соревнование, ибо никто не осмеливается отстать от другого в погоне за народным благоволением. В силу неударжимого закона тяготения одна казнь влечет за собой другую: игра кровавыми словами превращается в дикое нагромождение человеческих казней. И отнюдь не потребность, даже не страсть и меньше всего решительность, а как раз нерешительность, даже трусость политиков, партийных деятелей, не имеющих мужества сопротивляться воле народа, в конечном счете именно трусость заставляет их приносить в жертву тысячи жизней. К сожалению, мировая история — история

не только человеческого мужества, как ее чаще всего изображают, но и история человеческой трусости и политика — не руководство общественным мнением, как хотят нам внушить, а, напротив, рабское преклонение вождей перед той инстанцией, которую они сами создали и воспитали своим влиянием. Так всегда возникают войны: из игры опасными словами, из возбуждения национальных страстей; так возникают и политические преступления. Ни один порок, ни одна жестокость не вызвали стольких кровопролитий, сколько человеческая трусость. Поэтому если Жозеф Фуше в Лионе становится массовым палачом, то причина этого кроется не в его республиканской страстности (он не знает никаких страстей), а единственно в боязни прослыть умеренным. Но не мысли являются решающим в истории, а деяния, и хотя он тысячу раз возражал против этого, за ним все-таки утвердилось прозвище *Mitrailleur de Lyon*, и впоследствии даже герцогская мантия не сможет скрыть следов крови на его руках.

Колло д'Эрбуа прибывает в Лион 7 ноября, а Фуше — 10-го. Они тотчас же приступают к делу. Но прежде чем начать настоящую трагедию, экс-комедиант и его помощник — бывший священнослужитель — разыгрывают маленькую сатирическую пьеску, пожалуй, самую вызывающую и наглую за все время французской революции — нечто вроде черной мессы среди бела дня. Панихида по мученику свободы Шалье становится предлогом для этой оргии атеистического экстаза. Пролог разыгрывается в восемь часов утра. Из всех церквей выносят остатки предметов культа, срываются с алтарей распятия, выбрасываются покровы и облачения, огромное шествие проходит по всему городу к площади Терро. Четыре прибывших из Парижа якобинца несут на носилках, покрытых трехцветными коврами, бюст Шалье, усыпанный грудами цветов, урну с его прахом и маленькую клетку с голубем, который будто бы служил утешением мученику в тюрьме. Торжественно и серьезно шествуют за носилками три проконсула, направляясь к месту нового богослужения, которое должно со всей пышностью засвидетельствовать перед лионским населением божест-

венность мученика свободы Шалье, «Dieu sauveur mort pour eux»<sup>1</sup>. Но эту и без того уже неприятно патетическую церемонию усугубляет еще и чрезвычайно неудачная, глупая, безвкусная выдумка: шумная толпа, ликующая, пускаясь в дикие пляски, тащит похищенную церковную утварь, чаши, дароносицы и религиозные изображения, а позади трусит осел, которому искусно напялили на уши епископскую митру. К хвосту бедного животного привязали распятие и Библию, и так, на потеху ревущей толпе, волочатся по уличной грязи привязанное к ослиному хвосту Евангелие.

Наконец, воинственные фанфары призывают народ остановиться. На большой площади сооружен алтарь из дерна, на нем торжественно устанавливают бюст Шалье и урну. Три народных представителя благоговейно склоняются пред новой святыней. Первым берет слово бывалый актер Колло д'Эрбуа, а за ним выступает Фуше. Он, упорно молчавший в Конvente, овладев своим голосом, высокопарно взывает, обращаясь к гипсовому бюсту: «Шалье, Шалье, тебя нет с нами! Преступники принесли в жертву тебя, мученика свободы, и пусть кровь этих преступников будет искупительной жертвой, которая успокоит твою разгневанную тень. Шалье, Шалье! Перед твоим изображением клянемся мы отомстить за пытки, и пусть дымящаяся кровь аристократов будет для тебя ладаном». Третий народный представитель менее красноречив, чем будущий аристократ, герцог Отрантский. Он лишь смиренно целует бюст и восклицает громовым голосом: «Смерть аристократам!»

После этих трех торжественных молений зажигается большой костер. Серьезно смотря недавний монах Жозеф Фуше и его коллеги, как отвязывают Евангелие от ослиного хвоста и бросают в костер, чтобы сжечь вместе с церковными облачениями, требниками, дароносицами и деревянными изображениями святых. Затем осла, в награду за его кощунственные заслуги, поят из освященной чаши для причастия, и, по окончании этой безвкусной церемонии, четверо якобинцев на плечах относят бюст Шалье в церковь, где его торжественно водружают на алтарь вместо разбитого изображения Христа.

---

<sup>1</sup> Бога-спасителя, умершего за вас (франц.).

Для сохранения непреходящей памяти об этом достойном празднестве в последующие за ним дни чеканят медаль. Теперь ее нельзя нигде достать, вероятно, потому, что впоследствии герцог Отрантский скупил все экземпляры и уничтожил их, так же как и книги, слишком подробно описывающие эти яркие подвиги из ультраякобинского и атеистического периода его деятельности.

Он сам обладал хорошей памятью, но для Son Excellence Monseigneur le sénateur ministre<sup>1</sup> христианнейшего короля было весьма неудобно и неприятно, чтобы другие помнили и могли напомнить об этой лионской черной мессе.

Как ни отвратителен первый день пребывания Жозефа Фуше в Лионе, все же пока это только спектакль и нелепый маскарад. Кровь еще не пролилась. Но уже на следующее утро консулы запираются в уединенном, неприступном доме; вооруженная стража охраняет его от посторонних; дверь заперта, словно символически преграждая доступ всякому снисхождению, всякой просьбе. Создается революционный трибунал, и письмо Конвенту возвещает, какую ужасную Варфоломеевскую ночь задумали народные короли Фуше и Колло: «Мы исполняем нашу миссию с энергией стойких республиканцев и не намерены спускаться с той высоты, на которую нас возвел народ, ради соблюдения жалких интересов нескольких более или менее виновных людей. Мы отстранили от себя всех, ибо не хотим ни терять времени, ни оказывать милости. Мы видим только республику, повелевающую нам дать лионцам примерный и памятный урок. Мы слышим только вопль народа, требующего быстрой и страшной мести за казнь патриотов, чтобы человечеству не пришлось впредь проливать потоки крови. Уверенные в том, что в этом подлом городе нет иных невинных, кроме тех, кого убийцы народа угнетали и заключали в тюрьмы, мы относимся недоверчиво к слезам раскаяния. Ничто не может обезоружить нашу суровость. Мы должны вам сознаться, граждане коллеги, что на снисходительность мы смотрим как на опасную слабость,

---

<sup>1</sup> Его высокопревосходительства господина министра и сенатора (франц.).

способную вновь воспламенить преступные надежды в тот момент, когда их нужно погасить навсегда. Оказать снисхождение одному человеку — значит оказать его всем подобным ему, и тогда воздействие вашего правосудия будет недействительным. Разрушение подвигается слишком медленно, республиканское нетерпение требует решительных мер: только взрывы мин, пожирающая работа пламени могут выразить гневную силу народа. Исполнение его воли не должно задерживаться, как исполнение воли тиранов, оно должно быть разрушительным, как буря».

Эта буря разражается по заранее намеченной программе 4 декабря, и ее отголоски грозно раскатываются по всей Франции. Рано утром выводят из тюрьмы шестьдесят юношей, связанных по двое. Но их ведут не к гильотине, работающей «слишком медленно», по выражению Фуше, а на равнину Бротто, по ту сторону Роны. Две параллельные наспех вырытые канавы дают жертвам понять ожидающую их судьбу, а поставленные в десяти шагах от них пушки указывают на средство этой массовой бойни. Беззащитных людей собирают и связывают в кричащий, трепещущий, воющий, неистовствующий, тщетно сопротивляющийся клубок человеческого отчаяния. Звучит команда — и из смертельно близких пушечных жерл в трясущуюся от ужаса человеческую массу врывается разящий свинец. Этот первый выстрел не убивает всех обреченных, у некоторых только оторваны руки или ноги, у других разорваны внутренности, некоторые даже случайно уцелели. Но пока кровь широко струящимся потоком стекает в канавы, звучит новая команда, и теперь уже кавалеристы набрасываются с саблями и пистолетами на уцелевших, рубят и расстреливают дрожащее, стонущее, вопящее, беззащитное и не могущее бежать человеческое стадо, пока не замирает последний хрип. В награду за убийство палачам разрешается снять одежду и обувь с шестидесяти еще теплых трупов, прежде чем закопать их истерзанными и обнаженными.

Это первый из знаменитых пушечных расстрелов Жозефа Фуше, будущего министра христианнейшего короля, и на следующий день он гордо хвастает в пламенной прокламации: «Народные представители останутся твер-

дыми в исполнении доверенной им миссии, народ вложил в их руки громы своей мести, и они сохранят их, пока не будут уничтожены все враги свободы. У них хватит мужества спокойно шагать вдоль длинейших рядов могил заговорщиков, чтобы, шагая через развалины, прийти к счастью нации и обновлению мира». И в тот же день это печальное «мужество» еще раз подтверждается смертоносными пушками на равнине Бротто; на этот раз перед ними еще большее стадо. Двести десять голов убойного скота выводят со связанными за спиной руками, и через несколько минут их укладывают картечь и залпы пехоты. Процедура остается той же, только на этот раз мясникам облегчают неприятную работу — их освобождают после столь утомительной резни от обязанностей могильщиков. Зачем этим негодьям могилы? Сняв окровавленные сапоги со сведенных судорогой ног, обнаженные, подчас еще корчащиеся тела просто брошают в текучую могилу Роны.

Но и эту ужасную расправу, которая вызовет отвращение по всей стране и в мировой истории, Жозеф Фуше еще облакает покровом восторженных слов. Даже то, что воды Роны заражены трупами, он прославляет как политический подвиг, — дескать, донесенные течением до Тулона, они послужат наглядным примером неумолимой, страшной мести республиканцев. «Необходимо, — пишет он, — чтобы окровавленные тела, брошенные в Рону, доплыли вдоль обоих берегов до устья, до подлого Тулона: они возбудят ужас у трусливых и жестоких англичан, ужаснут их и покажут им силу народного всемогущества». В самом Лионе такое устрашение уже излишне, ибо казнь продолжает следовать за казнью, гекатомба за гекатомбой. Взятие Тулона Фуше приветствует «слезами радости» и в честь радостного дня «посылает на расстрел двести мятежников». Все мольбы о пощаде тщетны.

Двух женщин, слишком страстно моливших кровавое судилище об освобождении их мужей, поставили связанными у гильотины; никого из пытающихся просить о снисхождении не подпускают даже к дому народных представителей. Но чем неистовее грохочут залпы, тем громче раздаются слова проконсулов: «Да, мы осмеливаемся это утверждать, мы пролили немало нечистой крови, но

лишь во имя человечности и исполнения долга... Мы не выпустим из рук молнию, которую вы доверили нашим рукам, пока вы не прикажете нам этого. До тех пор мы будем непрерывно продолжать убивать наших врагов, мы истребим их самым совершенным, самым ужасным и самым быстрым способом».

И тысяча шестьсот казней в течение нескольких недель подтверждают, что на этот раз, в виде исключения, Жозеф Фуше сказал правду.

Но, организуя эти бойни и составляя о них восторженные донесения, Жозеф Фуше и его коллега не забывают о другом печальном поручении Конвента. В первый же день по прибытии они посылают в Париж жалобу, утверждая, что предписанное разрушение города «слишком медленно» совершалось их предшественником, «теперь мины должны ускорить дело разрушения; саперы уже приступили к работе, и в течение двух дней здания Белькура будут взорваны». Эти знаменитые фасады, начатые еще в царствование Людовика XIV, построенные учеником Мансара, были, как самые лучшие, предназначены к уничтожению первыми. Жители грубо изгоняются из домов, и сотни безработных, женщины и мужчины, за несколько недель бессмысленно разрушительной работы превращают великолепные произведения архитектуры в груды мусора. Несчастный город наполнен воплями и стонами, треском выстрелов и грохотом рушащихся зданий; пока комитет de justice<sup>1</sup> уничтожает людей, а комитет de démolition<sup>2</sup> — дома, комитет des substances<sup>3</sup> проводит беспощадную реквизицию съестных припасов, тканей и ценных вещей.

Каждый дом обыскивается от погреба до чердака в поисках скрывающихся людей и спрятанных драгоценностей; везде царит террор двоих — Фуше и Колло, незримых и недоступных, прячущихся в доме, оберегаемом стражей. Лучшие дворцы уже разрушены, тюрьмы хотя и пополняются заново, но все же наполовину пусты, ма-

---

<sup>1</sup> Правосудия (франц.).

<sup>2</sup> Разрушения (франц.).

<sup>3</sup> Имушества (франц.).

газины очищены, и поля Бротто пропитались кровью тысяч казненных; в конце концов несколько граждан решаются (пусть это будет стоить им жизни!) отправиться в Париж и подать Конвенту прошение о сохранении оставшейся части города. Конечно, текст этого прошения очень осторожен, даже раболепен; они трусливо начинают с поклонов, восхваляя декрет, достойный Герострата, который «словно продиктован гением римского сената». Но затем они просят о «пощаде для искренне раскаявшихся, для заблуждающихся, о пощаде — мы осмеливаемся так выразиться — для невинных, несправедливо обвиненных».

Но консулы своевременно узнали о тайной жалобе, и Колло д'Эрбуа, самый красноречивый из них, летит курьерской почтой, чтобы своевременно отпарировать удар. На следующий день у него хватает дерзости, вместо того чтобы оправдываться, восхвалять в Конвенте и в клубе якобинцев массовые казни как особую «гуманность». «Мы хотели, — говорит он, — освободить человечество от ужасного зрелища слишком многих казней, следующих одна за другой, поэтому комиссары решили уничтожить в один день осужденных и предателей; это желание вызвано подлинной чувствительностью (*véritable sensibilité*)». И у якобинцев он еще пламеннее, чем в Конвенте, восторгается этой «гуманной» системой. «Да, мы уничтожили двести осужденных одним залпом, и нас упрекают за это. Разве не понятно само собой, что это было актом гуманности! Когда гильотинируют двадцать человек, то последний из осужденных двадцать раз переживает казнь, в то время как таким путем двадцать предателей погибают одновременно». И действительно, эти избитые фразы, поспешно выуженные из кровавой чернильницы революционного жаргона, производят впечатление: Конвент и якобинцы одобряют объяснения Колло и тем самым дают проконсулам санкцию на новые расправы. В тот же день Париж чувствует перенесение праха Шалье в Пантеон — честь, оказанная до тех пор только Жан Жаку Руссо и Марату, — и его возлюбленной, так же как и возлюбленной Марата, назначают пенсию. Таким образом, этот мученик публично объявлен национальным святым, и все насилия Фуше и Колло одобрены как справедливая месть.

И все же некоторая неуверенность овладела обзими деятелями, ибо опасная обстановка в Конвенте, колебания между Дантоном и Робеспьером, между умеренностью и террором требуют удвоенной осторожности. И вот они решают разделить роли: Колло д'Эрбуа остается в Париже, чтобы следить за настроениями Комитета и Конвента, чтобы заранее со своей напористой ораторской страстностью разгромить всякое возможное нападение, продолжение же убийств предоставляется «энергии» Фуше. Важно установить, что в то время Жозеф Фуше был неограниченным самодержцем, ибо впоследствии он ловко пытается приписать все насилия своему более откровенному коллеге; но факты свидетельствуют, что и в то время, когда он повелевал единолично, коса смерти бушевала не менее убийственно. Расстреливают пятьдесят четыре, шестьдесят, сто человек в день; и в отсутствие Колло, как и прежде, рушатся стены, разграбляются и сжигаются дома, тюрьмы опустошаются казнями, и по-прежнему Жозеф Фуше старается заглушить свои собственные деяния восторженными кровавыми словами: «Пусть приговоры этого трибунала внушают страх преступникам, но они успокаивают и утешают народ, внимающий им и одобряющий их. Неправы те, кто предполагает, что мы хоть раз оказали виновным честь помилования: не помиловали ни одного».

Но внезапно — что же произошло? — Фуше меняет тон. Своим тонким чутьем он издали уловил, что ветер в Конвенте резко изменил направление, потому что с некоторых пор его яростные смертоносные фанфары не находят настоящего отклика. Его якобинские друзья, его атеистические единомышленники, Эбер, Шомет, Ронсен, вдруг умолкли — умолкли навсегда, — беспощадная рука Робеспьера неожиданно схватила их за горло. Ловко балансируя между слишком бурными и слишком милосердными и прокладывая себе дорогу то вправо, то влево, этот добродетельный тигр внезапно набросился из мрака на ультралибералов. Он настоял, чтобы Карье, который так же радикально топил нантцев, как Фуше расстреливал лионцев, был вызван в Конвент для личного отчета; действуя через преданного ему душой и телом Сен-Жюста, он отправил в Страсбурге на гильотину буйного Евлогия Шнайдера; он публично заклеил, на-

звав нелепостью, атеистические народные зрелища, подобные тем, которые устроил Фуше в провинции и в Лионе, и отменил их в Париже. И, как всегда, робко и послушно следуют его указаниям встревоженные депутаты.

Снова обуюл Фуше прежний страх: вдруг он окажется не с большинством. Террористы побеждены — зачем же оставаться террористом? Лучше поскорее перебраться к умеренным, к Дантону и Демулену, требующим теперь «милостивого трибунала», быстро примениться к новому направлению ветра. Шестого февраля он внезапно приказывает прекратить расстрелы, и только гильотина (о которой он писал в своих памфлетах, что она работает слишком медленно) нерешительно продолжает свое дело — каких-нибудь две-три головы в день, не больше, — это, конечно, пустяки в сравнении с прежними национальными торжествами на равнине Бротто. Вместо этого он сразу направляет всю свою энергию против радикалов, против устроителей учрежденных им торжеств и исполнителей его приказов; революционный Савл внезапно превращается в гуманного Павла. Он попросту переходит на сторону противников, объявляет друзей Шалье «средоточием анархии и мятежей» и скоропалительно распускает десяток-другой революционных комитетов. И тогда происходит нечто чрезвычайно странное: уstraшенное, до смерти напуганное население Лиона вдруг видит в герое массовых расстрелов Фуше своего спасителя. А лионские революционеры пишут одно гневное послание за другим, обвиняя его в снисходительности, в предательстве и «угнетении патриотов».

В этих отважных превращениях, в этих наглых переходах среди бела дня в другой лагерь, в этих перебежках к победителю — секрет метода борьбы Фуше. Только это спасло ему жизнь. Он вел двойную игру, делал прямо противоположные ставки. Если в Париже его обвинят в слишком большой снисходительности, он укажет на тысячи могил и на разрушенные лионские здания. Если его обвинят в кровожадности — он сошлется на жалобы якобинцев, обвиняющих его в «модерантизме», в излишней снисходительности; он может, в зависимости от направления ветра, вытащить из правого кармана доказательство своей неумолимости или из левого — гуман-

ности; он может выступить в роли палача Лиона и в роли его спасителя. И действительно, с помощью этого ловкого шулерского фокуса ему удалось свалить всю ответственность за бойню на своего более откровенного и прямолинейного коллегу, Колло д'Эрбуа. Однако он сумел обмануть лишь более поздние поколения: неумолимо бодрствует в Париже Робеспьер — враг, не простивший Фуше того, что он вытеснил из Лиона его ставленника Кутона. Он знает по Конвенту этого двуличного депутата, зорко следит за всеми превращениями и перебежками Фуше, торопящегося теперь укрыться от грозы. Но недоверие Робеспьера имеет железные когти: от них не укроешься. Двенадцатого жерминаля он добивается в Комитете общественного спасения издания грозного декрета, в котором Фуше предписывалось немедленно явиться в Париж и представить отчет о лионских происшествиях. Он, в течение трех месяцев творивший жестокий суд и расправу, теперь должен сам предстать перед судом.

Перед судом? За что? За то, что он за три месяца казнил две тысячи французов? Быть может, его будут судить так же, как коллегу Карьера и других массовых палачей? Но именно в этот момент обнаруживается политическая гениальность последнего, поражающе наглого поворота Фуше: оказывается, он должен оправдаться в том, что подавил радикальное «*Société populaire*»<sup>1</sup>, что преследовал якобинских патриотов. *Mitrailleur de Lyon*, палач двух тысяч жертв, обвиняется — незабываемый исторический фарс! — в самом благородном преступлении, известном человечеству: в излишней гуманности.

Третьего апреля Жозеф Фуше узнает, что Комитет общественного спасения требует его для отчета в Париж, пятого — он садится в дорожную карету. Шестнадцать глухих ударов сопровождают его отъезд, шестнадцать ударов гильотины, в последний раз разящей по его приказанию. И еще два самых последних приговора торопливо приводятся в исполнение в этот день, два очень странных приговора. Кто же эти заключительные жертвы великого избиения, которые (по шутливому выражению эпохи) «выплюнули свои головы в корзину»?

<sup>1</sup> Народное общество (франц.).

## БОРЬБА С РОБЕСПЬЕРОМ

1794



Э то лионский палач и его помощник. Те самые, кто с одинаковым равнодушием гильотинировали по приказу реакции Шалье и его друзей, а затем, по приказу революции, — сотни реакционеров; теперь и они дождались своей очереди попасть под нож гильотины. При самом настойчивом желании из судебных протоколов нельзя выяснить, в чем именно они обвинялись; вероятно, они были принесены в жертву только затем, чтобы некому было рассказать преемникам Фуше и грядущим поколениям о лионских событиях. Мертвые умеют молчать лучше всех.

Карета умчалась. У Фуше есть о чем поразмыслить по дороге в Париж. Он может утешать себя, что еще не все

потеряно: у него много влиятельных друзей в Конвенте, прежде всего Дантон — великий противник Робеспьера; быть может, все же еще удастся сдержать грозного Максимилиана, угрожая ему самому. Но откуда знать Фуше, что в эти решающие часы революции события катятся намного быстрее, чем колеса почтовой кареты? Что вот уже два дня, как его близкий друг Шомет сидит в тюрьме, что громадную львиную голову Дантона Робеспьер уже вчера швырнул на плаху, что именно в этот день Кондорсе, духовный вождь правых, бродит голодный в окрестностях Парижа и на следующий день отравится, чтобы избежать суда. Всех их свалил единственный человек, и как раз этот единственный — его злейший политический противник. Только восьмого числа вечером, добравшись, наконец, до Парижа, Фуше узнает размеры опасности, навстречу которой он мчался. Одному лишь богу ведомо, как мало спал проконсул Жозеф Фуше в эту первую ночь в Париже.

На следующее утро Фуше прежде всего отправляется в Конвент и с нетерпением ожидает начала заседания. Но странно — просторный зал не наполняется, больше половины скамей пусты. Разумеется, многие депутаты могли отправиться исполнять поручения Конвента или по каким-либо другим делам, но все же — какая зияющая пустота там, справа, где сидели вожди жирондистов, блестящие ораторы революции! Куда они исчезли? Двадцать два самых отважных, среди них — Верньо, Бриссо, Петион — погибли на эшафоте, покончили самоубийством или растерзаны волками во время бегства. Шестьдесят три соратника, осмелившиеся их защищать, изгнаны решением большинства, — одним ударом Робеспьер освободился от сотни своих противников справа. Но не менее энергично обрушился его кулак на собственные ряды, на «гору»: Дантон, Демулен, Шабо, Эбер, Фабр д'Эглантин, Шомет и десятка два других — все, кто сопротивлялся его воле, его догматическому тщеславию, отправлены им в могилу.

Всех устранил этот невзрачный человек, низенький, тощий, с желчным лицом, невысоким, скошенным назад лбом, маленькими, водянистыми, близорукими глазами,

так долго остававшийся незамеченным за гигантскими фигурами своих предшественников. Но коса времени расчистила ему путь: с тех пор как устранены Мирабо, Марат, Дантон, Демулен, Верньо, Кондорсе, то есть трибун, мятежник, вождь, писатель, оратор и мыслитель молодой республики, все эти функции объединились в одном лице, и он, Робеспьер, стал Pontifex maximus<sup>1</sup>, диктатором и триумфатором. С тревогой смотрит Фуше на своего противника; все депутаты заискивающе толпятся вокруг него с назойливой почтительностью, а он с невозмутимым равнодушием принимает их славословия; защищенный своей «добродетелью», как панцирем, неприступный, непроницаемый, оглядывает Неподкупный своим близоруким взором арену, в гордом сознании, что никто уже не осмелится восстать против его воли.

Но один все же осмеливается — единственный, которому нечего терять, — Жозеф Фуше; он требует слова для оправдания своих действий в Лионе.

Это желание оправдаться перед Конвентом — вызов Комитету общественного спасения, ибо не Конвент, а Комитет потребовал от него объяснений. Но он обращается к высшей, к основной инстанции, к собранию нации. Смелость этого требования очевидна, однако президент предоставляет ему слово. Ведь Фуше не первый попавшийся: слишком часто произносили его имя в этом зале, еще не забыты его заслуги, его донесения, его подвиги. Фуше поднимается на трибуну и читает обстоятельный доклад. Собрание выслушивает его, не прерывая, не выказывая ни одобрения, ни порицания. Но кончилась речь — и никто не хлопает. Ибо Конвент напуган. Год работы гильотины лишил этих людей душевного мужества. Некогда свободно отдававшиеся своим убеждениям, как порывам страсти, смело бросавшиеся в битву слов и мнений, все они теперь не любят высказывать свою точку зрения. С тех пор, как палач словно Полифем вторгся в их ряды, хватая людей и справа и слева, с тех пор как гильотина мрачной тенью стоит за каждым их словом, они предпочитают молчать. Каждый прячет-

---

<sup>1</sup> Верховным жрецом (лат.).

ся за другого, каждый бросает взгляды то направо, то налево, прежде чем сделать малейшее движение; страх, подобно гнетущему туману, кладет серый отпечаток на их лица; ничто так не унижает людей и в особенности толпу людей, как страх перед незримым.

И на этот раз они не осмеливаются высказать своего мнения. Лишь бы не вторгаться во владения Комитета, этого незримого трибунала! Оправдательная речь Фуше не принимается, но она и не отвергается, ее пересылают на рассмотрение Комитету. Другими словами, она причаливает к тому берегу, который Фуше тщательно старался обойти. Его первая битва проиграна.

Теперь и его охватывает страх. Он слишком далеко забрел, не зная местности: лучше всего побыстрее отступить. Лучше капитулировать, чем вступить в единоборство с самым могущественным. И вот Фуше в раскаянии, преклонив колени, склоняет голову. В тот же вечер он отправляется на квартиру к Робеспьеру, чтобы высказаться, или, говоря откровенно, просить пощады.

Никто не присутствовал при этом разговоре. Известен лишь его результат, но по аналогичному посещению, с жуткой отчетливостью описанному в мемуарах Барраса, можно его вообразить. Прежде чем подняться по деревянной лестнице маленького дома на улице Сент-Оноре, где Робеспьер выставляет напоказ свою добродетель и свою нищету, Фуше должен подвергнуться допросу хозяев, оберегающих своего бога и жильца, как священную добычу. Вероятно, Робеспьер принял его так же, как и Барраса, в тесной, тщеславно украшенной лишь собственными портретами комнате, не пригласив сестр, стоя, холодно, с нарочито оскорбительным высокомерием, как жалкого преступника. Ибо этот муж, страстно любящий добродетель, столь же страстно и прочно влюбленный в собственную добродетель, не знает пощады и снисхождения к тому, кто хотя бы однажды держался иных взглядов, чем он. Нетерпимый и фанатичный, Савонарола разума и «добродетели», он отвергает всякое соглашение, не признает даже капитуляции своего противника; даже там, где политика властно требует соглашения, упорство ненависти и догматическая гордость не

позволяют ему уступить. Что бы ни говорил тогда Фуше Робеспьеру и что бы ни отвечал ему судья, одно несомненно: его встретили не добром, а уничтожающим, беспощадным разнесом, неприкрытой холодной угрозой, смертным приговором *en effigie*<sup>1</sup>. И, возвращаясь по улице Сент-Оноре, дрожа от гнева, униженный, отвергнутый, обреченный, Жозеф Фуше понял, что с этой поры лишь одно может спасти его голову: голова Робеспьера должна раньше свалиться в корзину, чем его собственная. Война не на жизнь, а на смерть объявлена. Поединок между Робеспьером и Фуше начался.

Этот поединок Робеспьера и Фуше — один из самых интересных, самых волнующих психологических эпизодов в истории революции. Оба незаурядно умны, оба политики, они все же оба — и вызванный и вызывающий — впадают в общую ошибку: они недооценивают друг друга, каждый полагает, что давно уже знает другого. Для Фуше Робеспьер все еще изможденный, тощий, провинциальный адвокат, забавлявшийся вместе с ним шутками в аррасском клубе, фабриковавший слащавые стишки в духе Грекура и впоследствии утомлявший Национальное собрание 1789 года своим пустословием. Фуше слишком поздно заметил, или, быть может, вовсе не заметил, как в результате упорной, непрерывной работы над собой, воодушевленный своей задачей, Робеспьер из демагога превратился в государственного деятеля, из ловкого интригана — в прозорливого политика, из красноречивого — в оратора. Ответственность большей частью возвышает человека, и Робеспьер вырос от сознания важности своей миссии, ибо среди жадных стяжателей и шумливых крикунов он чувствует, что судьба возложила на него одного спасение республики, и в этом задача всей его жизни. Осуществление именно своих представлений о республике, о революции, о нравственности и даже о божестве он считает священным долгом человечества. Эта непреклонность Робеспьера составляет и красоту и слабость его характера. Потому что, опьяненный собственной неподкупностью, зачарованный своей догматической твердостью, он всякое ина-

---

<sup>1</sup> Написанном на лице (франц.).

комыслие считает уже не разногласием, а предательством и ледяной рукой инквизитора отправляет каждого противника, как еретика, на современный костер — гильотину. Нет сомнения: великая и чистая идея воодушевляет Робеспьера 1794 года. Вернее сказать, она его не воодушевляет, она застыла в нем. Она не может покинуть его, так же как и он ее (судьба всех догматических душ), и это отсутствие теплоты, способной передаваться другим, отсутствие человечности, способной увлечь других, лишает его подвиг подлинной творческой силы. Его мощь только в упорстве, его сила — в непреклонности: диктатура стала для него смыслом и формой его жизни. Либо он наложит отпечаток своего я на революцию, либо погибнет.

Такой человек не терпит противоречий, не терпит несогласия, не терпит даже соратников, а тем более противников. Он выносит лишь тех людей, которые отражают его собственные воззрения, пока они остаются рабами его духа, как Сен-Жюст и Кутон, всех же иных неумолимо вытраивает едкая щелочь его желчного темперамента. Но горе тем, кто не только не разделял его воззрений (он преследовал и таких), но и сопротивлялся его воле или же сомневался в его непогрешимости. Именно в этом провинился Жозеф Фуше. Он никогда не спрашивал у него совета, никогда не склонялся перед бывшим другом, он сидел на скамьях его врагов и смело перешагнул установленные Робеспьером границы умеренного, осторожного социализма, проповедуя коммунизм и атеизм. Но до сих пор Робеспьер не интересовался им всерьез, Фуше казался ему слишком незначительным. В его глазах этот депутат оставался скромным монастырским преподавателем, которого он помнил еще в сутане, знал как жениха своей сестры, как ничтожного честолюбца, изменившего своему богу, своей невесте и всем своим убеждениям. Он презирает и ненавидит его так, как только может непоколебимость ненавидеть изворотливость, непреложное постоянство — беспринципную погоню за успехом, со всей недоверчивостью, с какой религиозная натура относится к неверию; но эта ненависть была направлена до сих пор не на личность Фуше, а лишь на ту породу людей, представителем которой тот был. Робеспьер высокомерно пре-

небрегал им до этих пор: зачем трудиться из-за интригана, которого можно раздавить в любую минуту? Робеспьер до сих пор наблюдал за Фуше, но не боролся с ним всерьез лишь потому, что так долго его презирал.

Только теперь оба замечают, как недооценивали они друг друга. Фуше видит огромную силу, приобретенную Робеспьером за время его отсутствия: все подвластно ему — армия, полиция, суд, комитеты, Конвент и якобинцы. Побороть его представляется невозможным. Но Робеспьер принудил его к борьбе, и Фуше знает, что погибнет, если не победит. Великое отчаяние всегда порождает великую силу, и вот он, в двух шагах от пропасти, с мужеством отчаяния набрасывается на преследователя, как затравленный олень на охотника.

Военные действия открывает Робеспьер. Сперва он собирается лишь проучить наглеца, предостеречь его пинком ноги. Как предлогом он воспользовался своей знаменитой речью 6 мая, призывавшей все духовенство республики «признать высшее существо и бессмертие как руководящую силу вселенной». Никогда Робеспьер не произносил речи прекраснее, вдохновеннее той, которую он словно писал на вилле Жан Жака Руссо: здесь догматик становится почти поэтом, туманный идеалист — мыслителем. Отделить веру от неверия и в то же время от суеверия, создать религию, возвышающуюся, с одной стороны, над обычным идолопоклонническим христианством, а с другой — над бездушным материализмом и атеизмом, соблюдая таким образом середину, которой он всегда пытается придерживаться в идеологических вопросах, — такова основная идея его обращения, которое, несмотря на напыщенную фразеологию, исполнено искренней нравственности и страстного стремления возвысить человечество. Но, даже витая в высоких сферах, этот идеолог не сумел освободиться от политики, даже к этим его рассчитанным на вечность мыслям желчная, угрюмая злоба присоединяет личные нападки. С ненавистью вспоминает он о мертвых, которых сам толкнул на гильотину, и издевается над жертвами своей политики, Дантоном и Шометом, как над презренными образцами

безнравственности и богохульства. И вдруг он обрушивает сокрушительный удар на единственного проповедника атеизма, пережившего его гнев,— на Жозефа Фуше. «Поведай нам, кто дал тебе миссию возвестить народу, что бога нет! Чего хочешь ты достигнуть, убеждая людей, что слепая сила определяет их судьбу, случайно карая то добродетель, то порок, и что душа не что иное, как слабое дыхание, угасающее у врат могилы! Несчастный софист, кто дает тебе право вырвать у невинности скипетр разума, чтобы доверить его рукам порока? Набросить траурное покрывало на природу, сделать несчастье еще отчаяннее, оправдать преступление, затемнить добродетель и унижить человечество!.. Только преступник, презренный для самого себя и отвратительный для всех других, способен верить тому, что лучшее, чем может нас одарить природа, — это ничто, небытие...»

Несмолкаемые аплодисменты звучат после блестящей речи Робеспьера. Конвент внезапно чувствует себя освобожденным от мелочности повседневных споров и единогласно принимает решение устроить предложенное Робеспьером празднество в честь верховного существа. Один Жозеф Фуше хранит молчание и кусает губы. Такой триумф противника вынуждает к молчанию. Он знает, что публично не может состязаться с этим мастером риторики. Безмолвный, бледный, он принимает это публичное унижение, но про себя решает отомстить, отплатить.

В течение нескольких дней, нескольких недель о Фуше ничего не слышно. Робеспьер полагает, что он устранен: пинка ногой было достаточно для наглеца. Но Фуше не видно и не слышно потому, что он действует подпольно, упорно и планомерно, как крот. Он посещает комитеты, заводит новые знакомства среди депутатов, он любезен, обязателен с каждым в отдельности и для каждого старается быть привлекательным. Больше всего он вращается среди якобинцев, где ловкое, гибкое слово имеет большое значение и где милостиво относятся к его лионским подвигам. Никто не знает точно, к чему он стремится, какие у него намерения, что предпримет этот деловитый, повсюду шныряющий, повсюду протягивающий нити невзрачный человек.

И внезапно все разъясняется — неожиданно для всех и неожиданнее всего для Робеспьера: 18 прерияля громадным большинством голосов Жозеф Фуше избирается президентом якобинского клуба.

Робеспьер насторожился: этого ни он, ни кто-либо другой не ожидал. Теперь лишь дает он себе отчет, сколь хитрого, сколь смелого противника обрел он в лице Фуше. Вот уже два года не было случая, чтобы человек, публично им задетый, отважился защищать свои права. Все они быстро исчезали, лишь только его взор оставался на них: Дантон скрылся в своем имении, жирондисты рассеялись по провинциям, остальные сидят дома и не подают голоса. А этот наглец, которого он в открытом собрании заклеил как нечистоплотного человека, спасается теперь в алтаре, в святыне революции, в якобинском клубе, и добивается там самого высокого назначения, которое может получить патриот. Ведь не следует забывать в самом деле, какую громадную моральную мощь приобрел этот клуб как раз в последний год революции. Самую высокую пробу чистейшей патриотической полноценности ставит якобинский клуб, удостоивая званием члена клуба; и тот, кого он изгоняет, кого он порицает, — уже тем самым заклеен как кандидат на плаху. Генералы, народные вожди, политики — все они склоняют голову перед этим судом, как перед высшей, непогрешимой инстанцией гражданского сознания. Члены клуба являются как бы преторианцами революции, лейб-гвардией, стражей храма. И эти преторианцы, эти строжайшие, честнейшие, непреклоннейшие республиканцы избрали Жозефа Фуше своим вождем! Гнев Робеспьера безграничен. Ибо среди бела дня этот негодяй ворвался в его царство, в его владения, туда, где он сам обвиняет своих врагов, где он закаляет собственную силу в избранном кругу испытанных друзей. И теперь, собираясь произнести речь, он должен будет просить разрешения у Жозефа Фуше, он, Маскимилян Робеспьер, должен будет подчиняться хорошему или дурному настроению Жозефа Фуше!

Тотчас же он напрягает все свои силы. Это поражение требует кровавого возмездия. Долой его немедленно!

но не только с кресла президента, но и из общества патриотов! Он тотчас же натравливает на Фуше нескольких лионских граждан, возбуждающих против него обвинение, и когда, застигнутый врасплох, всегда беспомощный в открытой ораторской борьбе, Фуше неловко защищается, Робеспьер сам берет слово и уговаривает якобинцев, чтобы они «не дали обмануть себя жуликам». Этим первым ударом ему почти удается свалить Фуше. Но пока тот все же обладает полномочиями президента и благодаря этому может своевременно прекратить обсуждение. Бесславно обрывает он прения и возвращается во мрак, чтобы подготовить новое нападение.

Теперь Робеспьер осведомлен. Он понял метод борьбы Фуше; он знает, что этот человек не вступает в поединок, но каждый раз снова отступает, чтобы тайно, в тени, подготовить нападение с тыла. Недостаточно просто отшвырнуть и отхлестать такого упорного интригана; его нужно преследовать до самого последнего укрытия и раздавить. Необходимо его задушить, обезвредить окончательно и навсегда.

Поэтому Робеспьер нападает вторично. Он повторяет свое обвинение перед якобинцами и требует присутствия Фуше на следующем заседании для объяснений. Фуше, разумеется, избегает этого. Он знает свою силу, знает и свою слабость, он не желает дать Робеспьеру публично торжествовать, чтобы тот лицом к лицу унизил его в присутствии трех тысяч человек. Лучше вернуться во мрак, лучше быть побежденным и выиграть время, драгоценное время! Поэтому он вежливо пишет якобинцам, что, к сожалению, должен уклониться от публичных объяснений; он просит якобинцев отложить суд, пока оба комитета не придут к соглашению в оценке его деятельности.

На это письмо Робеспьер набрасывается как на добычу. Именно теперь необходимо схватить, окончательно уничтожить Жозефа Фуше. Речь против Жозефа Фуше, произнесенная им 23 мессидора (11 июня), — это самое ожесточенное, самое грозное и желчное выступление из всех, которые Робеспьер когда-либо предпринимал против своих врагов.

Уже в первых словах чувствуется, что Робеспьер стремится не только поразить своего врага, но и сразить его,

не только унижить, но и уничтожить. Он начинает с приторным спокойствием. Вступление еще довольно снисходительно, он говорит, что «индивидуум» Фуше его не интересуется:

«Я, быть может, когда-то был с ним до известной степени связан, так как считал его патриотом, и не столько его бывшие преступления заставляют меня теперь выступить с обвинением, сколько то, что он скрывается для совершения новых преступлений, а также потому, что, как я уверен, он является главой заговора, который мы должны уничтожить. Вдумавшись в только что оглашенное письмо, я должен сказать, что оно написано человеком, не желающим оправдаться перед своими согражданами, когда ему предъявлено обвинение. Этим положено начало системе тирании, ибо кто не желает оправдаться перед народным собранием, членом которого он состоит, тот оскорбляет авторитет этого народного собрания. Удивительно, что тот, кто прежде так домогался одобрения нашего общества, теперь перед лицом обвинения пренебрегает им и чуть ли не обращается в Конвент за помощью против якобинцев». И вот внезапно прорывается личная ненависть Робеспьера, даже внешнее уродство Фуше он использует как желанный повод для унижения врага. «Неужели он боится,— продолжает издеваться Робеспьер,— глаз, ушей народа, боится, что его жалкий вид слишком явно будет свидетельствовать о его преступлениях? Что шесть тысяч обращенных на него глаз прочтут в его глазах всю душу, хотя природа и создала их такими коварно запрятанными? Не боится ли он, что его речь обнаружит смущение и противоречиями выдаст виновного? Всякий благоразумный человек должен признать, что страх — единственное основание его поведения; каждый избегающий взоров своих сограждан — виновен. Я призываю Фуше к ответу. Пусть он защищается и скажет, кто: он или мы достойнее охраняем права народного представительства и кто мужественнее уничтожал партийные раздоры: он или мы». Робеспьер называет Фуше «низким и презренным обманщиком», поведение которого равнозначно признанию вины, коварно намекает на «тех, чьи руки полны добычей и преступлениями», и кончает грозными словами: «Фуше достаточно охарактеризовал

себя; я высказал эти замечания лишь для того, чтобы раз и навсегда дать понять заговорщикам, что они не ускользнут от бдительности народа». Хотя эти слова предвещают смертный приговор, но собрание все же слушается Робеспьера и без промедления изгоняет своего прежнего президента, как недостойного, из клуба якобинцев.

Теперь Фуше отмечен для гильотины, как дерево для порубки. Исключение из клуба якобинцев — это клеймо; обвинение Робеспьера, и к тому же столь озлобленное, — это приговор. Фуше среди бела дня завернут в саван. Каждый теперь ежечасно ждет его ареста, и больше всех он сам. Уже давно не спит он в своей постели, опасаясь, что за ним, так же как за Дантоном и Демуленом, явятся ночью жандармы. Он прячется у некоторых храбрых друзей, ибо надо обладать мужеством, чтобы дать убежище публично опозоренному, опальному, мужеством даже для того, чтобы открыто с ним разговаривать. За каждым его шагом следит руководимая Робеспьером полиция Комитета общественного спасения и доносит о его знакомствах, о его посещениях и свиданиях. Он незримо окружен, все его движения связаны, он уже обречен ножу гильотины.

И на самом деле: в это время ни один из семисот депутатов не находится в такой опасности, как Фуше, у которого нет пути к спасению. Он еще раз попытался хоть где-нибудь найти поддержку — прежде всего у якобинцев, — но суровый кулак Робеспьера лишил его этой поддержки; теперь голова точно чужая сидит на его плечах. И чего ждать от Конвента, от этого трусливого, запуганного стада овец, покорно блеющего свое «да», когда Комитет хочет отправить на гильотину кого-нибудь из их среды? Они без сопротивления выдали революционному трибуналу всех своих прежних вождей — Дантона, Демулена, Верньо, — лишь бы сопротивлением не привлечь внимания к себе самим. Почему же должен избежать этой участи Фуше? Безмолвно, боязливо, смущенно сидят на своих скамьях эти некогда столь храбрые и страстные депутаты. Отвратительный, разрушаю-

щий нервы, разлагающий душу яд страха парализует их волю.

Но такова уж всегдашняя тайна яда: он обладает и целебными свойствами, если искусно очистить и соединить воедино скрытые в нем силы. И здесь — как это ни парадоксально — именно страх перед Робеспьером может стать спасением от Робеспьера. Нельзя простить человека, беспрерывно, неделями, месяцами заставляющего трепетать от страха, терзающего душу неизвестностью и парализующего волю; никогда человечество или часть его — отдельная группа — не могут долго выносить диктатуру одного человека, не проникаясь к нему ненавистью. И эта ненависть укрощенных сказывается в подспудном брожении во всех слоях. Пятьдесят, шестьдесят депутатов, не осмеливающихся, подобно Фуше, ночевать дома, кусают губы, когда Робеспьер проходит мимо них, многие сжимают кулаки за его спиной, хотя аплодируют его речам. Чем беспощаднее, чем дольше властвует Неподкупный, тем больше растет возмущение против его сверхмощной воли. Все мало-помалу оказываются задетыми и обиженными: правое крыло тем, что он послал на эшафот жирондистов, левое — тем, что он бросил в корзину головы крайних радикалов, Комитет общественного спасения тем, что он навязывает ему свою волю, купцы тем, что он угрожает их благосостоянию, честолюбцы тем, что он закрывает им дорогу, завистливые тем, что он властвует, и миролюбивые тем, что он не заключает с ними союза. Если бы удалось собрать воедино эту стоглавую ненависть, их повсюду рассеянный страх превратить в кинжал, острие которого пронзило бы грудь Робеспьера, они были бы все спасены: Фуше, Баррас, Тальен и Карно, все его тайные враги. Но чтобы добиться этого, нужно прежде всего внушить большинству этих слабохарактерных людей мысль о том, что Робеспьер угрожает их жизни; нужно внушить еще больший ужас и еще большее недоверие, искусственно повысить напряжение, порожденное его деятельностью. Нужно, чтобы все и каждый еще сильнее ощутили удушающую свинцовую тяжесть неопределенно грозных речей Робеспьера, нужно, чтобы ужас стал еще ужасней, а страх еще страшней — и тогда, быть может, масса обретет достаточно мужества, чтобы напасть на этого одиночку.

Вот здесь-то и начинается настоящая деятельность Фуше. С раннего утра до поздней ночи он крадетя от одного депутата к другому, нашептывая о новых тайных проскрипционных списках, подготовляемых Робеспьером. И каждому в отдельности он поверяет: «Ты в списке» или: «Ты назначен в следующую партию». И действительно, постепенно распространяется незримый панический страх, потому что перед лицом этого Катона, в его абсолютно неподкупных глазах, мало кто из депутатов имеет вполне чистую совесть. Один был несколько неосторожен в обращении с деньгами, другой когда-то противоречил Робеспьеру, третий слишком много времени посвящал женщинам (все это преступления в глазах республиканского пуританина), четвертый, быть может, некогда был дружен с Дантоном или с кем-нибудь другим из ста пятидесяти осужденных, пятый приютил у себя отмеченного печатью смерти, шестой получил письмо от эмигранта. Короче говоря, каждый трепещет, каждый считает нападение на себя возможным, все чувствуют себя недостаточно чистыми, чтобы вполне удовлетворить чрезмерно строгим требованиям, предъявляемым Робеспьером к гражданской добродетели. И Фуше продолжает перебегать, как челнок на ткацком станке, от одного к другому, протягивая новые нити, завязывая новые петли, все сильнее захватывая, обволакивая депутатов этой паутиной недоверия и подозрительности. Но затеянная им игра опасна, ибо он плетет лишь паутину,— и одно резкое движение Робеспьера, одно предательское слово может разорвать всю сеть.

Эта таинственная, отчаянная, опасная, хотя и закулисная, роль Фуше в заговоре против Робеспьера недостаточно подчеркнута в большинстве работ, посвященных той эпохе, а в поверхностных работах имя Фуше даже не упоминается. История почти всегда пишется только на основании внешних фактов, и изобразители тех тревожных дней описывают обычно только драматический, патетический жест Тальена, размахивающего на трибуне кинжалом, который он собирает вонзить себе в грудь, внезапную энергию Барраса, созывающего войска, обвинительную речь Бурдона; короче говоря, в описаниях действующих лиц, актеров великой драмы, разыгравшейся 9 термидора, не замечают Фуше. И дейст-

вительно, в этот день он не появлялся на сцене Конвента; его работа, более трудная, протекала за кулисами,— это была работа режиссера, руководившего дерзкой, опасной игрой. Он распределил сцены, разучил с актерами роли, где-то во мраке репетировал их и, оставаясь во тьме, в своей родной сфере, подавал реплики. Но если позднейшие историки не заметили его роли, один человек уже тогда ощутил его деятельное присутствие; то был Робеспьер, открыто назвавший его настоящим именем: «*Chef de la conspiration*» — главой заговора.

Этот недоверчивый, подозрительный ум угадывал, что втайне против него что-то затевается. Он замечает это по внезапно вспыхнувшему сопротивлению комитетов и еще яснее, быть может, по чрезмерной вежливости и покорности иных депутатов — его несомненных врагов. Робеспьер чувствует, что подготавливается какой-то удар в спину, он знает руку, которая его нанесет, руку *chef de la conspiration*, и принимает меры. Осторожно запускает он свои щупальца: собственная полиция, частные шпионы доносят Робеспьеру о каждом шаге, каждом выходе, каждой встрече, каждом разговоре Тальена, Фуше и других заговорщиков; в анонимных письмах его предостерегают или советуют немедленно объявить себя диктатором и уничтожить врагов, прежде чем они объединятся. Для того чтобы их смутить и обмануть, он вдруг надевает личину равнодушия к политической власти. Он больше не появляется ни в Конвенте, ни в Комитете. Сжав губы, он одиноко бродит со своим ньюфаундлендом и с книгой в руках; его встречают на улицах или в окрестных лесах, увлеченного своими излюбленными философами и, по-видимому, равнодушного к власти и могуществу. Но вечером, возвращаясь в свою комнату, он часами работает над текстом большой речи. Бесконечно долго работает он над ней — по рукописи видно, сколько он сделал изменений и добавлений; эта большая, решающая речь, которой он хочет сразу уничтожить всех своих врагов, должна быть неожиданной и острой, как нож, она должна быть плодом ораторского вдохновения, сверкать умом и отточенной ненавистью. С этим оружием в руках он хочет застать врагов врас-

плох, прежде чем они соберутся и сговорятся. Но лезвие все еще кажется ему недостаточно острым, недостаточно ядовитым, и долгие, драгоценные дни проходят за этой жуткой работой.

Но больше нельзя терять времени, ибо все шпионы доносят о тайных собраниях. 5 термидора в руки Робеспьера попадает письмо Фуше, адресованное его сестре; в нем содержатся таинственные слова: «Мне нечего бояться клеветы Максимилиана Робеспьера... скоро ты услышишь об исходе этого дела, которое, как я надеюсь, кончится в пользу республики». Итак — скоро: Робеспьер предупрежден. Он призывает к себе своего друга Сен-Жюста и запирается с ним в тесной мансарде на улице Сент-Оноре. Там выбирается день и способ нападения. 8 термидора Робеспьер должен ошеломить и парализовать Конвент своей речью, а 9-го Сен-Жюст выступит с требованием казни его врагов, казни строптивых членов Комитета, и прежде всего — казни Жозефа Фуше.

Напряжение становится почти невыносимым, заговорщики также чувствуют сверканье молний в тучах. Но они все еще медлят напасть на сильнейшего человека Франции, на него, могущественнейшего, захватившего все орудия власти, сосредоточившего в своих руках управление городом и армией, якобинцами и народом и обладающего славой и силой незапятнанного имени. Они все еще не чувствуют в себе достаточной уверенности, они все еще недостаточно многочисленны, недостаточно решительны, недостаточно смелы, чтобы в открытой борьбе схватиться с этим гигантом революции; иные уже осторожно поговаривают об отступлении и примирении. Заговор, с трудом склеенный, грозит развалиться.

В этот миг судьба — самый гениальный поэт — бросает решающую гирию на колеблющуюся чашу весов. Окажется, именно Фуше суждено взорвать мину. Ибо в эти дни, отчаянно затравленный всеми гончими, ежечасно чувствующий угрозу гильотины, он, в дополнение к своим политическим провалам, испытывает еще одно большое, личное несчастье. Суровый, холодный, коварный и замкнутый в общественных делах и в политике,

этот удивительный человек превращается у себя дома в трогательнейшего супруга, нежного семьянина. Он страстно любит свою отталкивающе уродливую жену и особенно маленькую дочку, родившуюся в период проконсульства, которую он сам окрестил на рыночной площади Невера, дав ей имя Ниевр. Это маленькое, нежное, бледное дитя, его любимица, внезапно тяжело заболевает в те дни термидора, и к заботе о собственной жизни присоединяется новая грозная забота — о жизни дочери. Это самое жестокое испытание; он знает, что немощный, слабогрудый ребенок умирает на руках матери, и не может из-за преследований Робеспьера проводить ночи у постели смертельно больной девочки, он должен прятаться в чужих квартирах и мансардах. Вместо того чтобы быть с ней, прислушиваясь к ее угасающему дыханию, он должен поспешно перебегать от одного депутата к другому, лгать, умолять, заклинать, защищая собственную жизнь. Измученный, с разбитым сердцем без устали бродит несчастный в эти знойные июльские дни (много лет не бывало такой жары) по политическим задворкам, не имея возможности находиться там, где страдает и умирает его любимый ребенок.

5 и 6 термидора этому испытанию приходит конец. Фуше провожает на кладбище маленький гробик: ребенок умер. Такие испытания ожесточают. После смерти дочери ему уже не страшна собственная смерть. Новая, рожденная отчаянием отвага укрепляет его волю. И когда заговорщики еще медлят и стараются отложить борьбу, Фуше, которому больше нечего терять на земле, кроме собственной жизни, произносит решительные слова: «Завтра должен быть нанесен удар». Это сказано 7 термидора.

И вот наступает утро 8 термидора — великого исторического дня. Уже с самого раннего утра безоблачный июльский зной давящей тяжестью ложится на спокойный город. Только в Конvente царит раннее и необычное волнение: депутаты шепчутся по углам, в кулуарах и на трибунах невиданное множество посторонних и любопытных. Призраки таинственности и напряжения бродят по залу, ибо неведомым путем распространилась весть, что сегодня Робеспьер будет расправляться со

своими врагами. Может быть, кто-нибудь подслушал и подсмотрел, как Сен-Жюст вечером возвращался из его обычно запертой на ключ комнаты, а Конвент слишком хорошо знает последствия этих тайных совещаний. Или же, напротив, Робеспьер узнал о воинственных замыслах своих противников?

Все заговорщики, все, кто под угрозой, боязливо вглядываются в лица своих коллег: не выболтал ли кто-нибудь опасную тайну и кто именно мог это сделать? Предупредит ли их Робеспьер, или они раздавят его раньше, чем он заговорит? Отречется ли от них или защитит их «болото» — неустойчивое, трусливое большинство? Каждый колеблется и трепещет. И, словно духота свинцового неба над городом, зловещая тяжесть общего беспокорства ложится на собрание.

Действительно, едва открылось заседание, Робеспьер просит слова. Торжественно, как в день прославления верховного существа, облачился он в свой, уже ставший историческим, небесно-голубой костюм и белые шелковые чулки; медленно, с нарочитой торжественностью, он поднимается на трибуну. На этот раз, однако, он держит в руках не факел, как тогда, а сжимает — словно ликтор рукоятку топора — объемистый сверток: свою речь. Найти в этих свернутых листках свое имя — означает гибель для каждого, поэтому мгновенно прекращается болтовня и шепот на скамьях. Из сада и кулуаров торопятся депутаты на свои места. Каждый со страхом вглядывается в слишком хорошо знакомое узкое лицо. Но ледяной, замкнутый, непроницаемый для любопытных взглядов Робеспьер медленно разворачивает свою речь. Прежде чем начать читать, он подымает свои близорукие глаза и, чтобы усилить напряжение, медленно, холодно и грозно оглядывает справа налево и слева направо, снизу доверху и сверху донизу все, словно загипнотизированное, собрание. Вот они сидят — его немногочисленные друзья, множество колеблющихся и трусливая свора заговорщиков, ожидающая своей гибели. Он смотрит им в глаза. Только одного он не видит. Единственный из врагов отсутствует в этот решающий час: Жозеф Фуше.

Но удивительно: только имя этого отсутствующего, только имя Жозефа Фуше упоминается в прениях. И как

раз в связи с его именем разгорается последняя, решительная битва.

Робеспьер говорит долго, растянуто и утомительно; по старой привычке он размахивает ножом гильотины, не называя имен, упоминает о заговорах и конспирациях, о недостойных и преступниках, о предателях и кознях, но он не называет имен. Он удовлетворяется тем, что гипнотизирует собрание; смертельный удар должен на следующий день нанести Сен-Жюст. На три часа он растягивает свою неопределенную, избыточную пустыми фразами речь, и когда он ее заканчивает, собрание скорее утомлено, чем напугано.

Вначале никто не шевелится. На всех лицах написано недоумение. Непонятно — означает ли это молчание поражение или победу. Только прения могут решить вопрос.

Наконец один из приверженцев Робеспьера требует, чтобы Конвент постановил отпечатать его речь и тем самым одобрил ее. Никто не возражает. Большинство соглашается — трусливо, рабски и вместе с тем словно облегченно вздыхая, что сегодня не потребуют от него большего, не потребуют новых жизней, новых арестов, новых самоограничений. Но вот в последнюю минуту встает один из заговорщиков (его имя достойно упоминания — Бурдон де л'Уаз) и возражает против напечатания речи. И этот единственный голос развязывает языки другим. Трусость постепенно нарастает и сгущается в мужество отчаяния; один за другим обвиняют депутаты Робеспьера в недостаточно ясной формулировке своих обвинений и угроз; пусть, наконец, выскажется ясно, кого он обвиняет. За четверть часа сцена преобразилась. Обвинитель Робеспьер должен защищаться; он ослабляет впечатление своей речи, вместо того чтоб усилить его; он поясняет, что никого не обвинял, никого не обличал.

В этот момент вдруг раздается голос, голос одного маленького, незначительного депутата: «Et Fouché?» — «А Фуше?» Имя произнесено, имя человека, которого Робеспьер уже клеймил однажды как руководителя заговора, предателя революции. Теперь Робеспьер мог бы, должен был бы нанести удар. Но странно, непостижи-

мо странно — Робеспьер уклоняется: «Я сейчас не хочу им заниматься, я подчиняюсь лишь голосу своего долга».

Этот уклончивый ответ Робеспьера — одна из тайн, унесенных им с собой в могилу. Почему он щадит своего злейшего врага, сознавая, что речь идет о жизни и смерти? Почему он не поражает его, почему не нападает на отсутствующего, на единственного отсутствующего? Почему не дает облегченно вздохнуть другим, напуганным, которые, без сомнения, охотно пожертвовали бы Фуше ради своего собственного спасения? В тот же вечер — так утверждает Сен-Жюст — Фуше еще раз пытался приблизиться к Робеспьеру. Что это — уловка или искреннее намерение? Некоторые очевидцы утверждают, что видели его в эти дни на скамейке в обществе Шарлотты Робеспьер, его бывшей невесты; действительно ли пытался он побудить стареющую девушку замолвить за него слово? Действительно ли, отчаявшись, он ради спасения собственной жизни хотел предать заговорщиков? Или он хотел обезвредить Робеспьера и прикрыть заговор видом раскаяния и покорности? Играл ли он, самый двуличный из всех, и в этот раз, как и в тысяче других случаев, краплеными картами? Был ли неподкупный, но сам стоявший под угрозой Робеспьер склонен в тот час пощадить самого ненавистного врага ради того, чтобы удержаться самому? Было ли это уклонение от обвинения Фуше признаком тайного сговора или только уверткой?

Все это осталось неизвестным. Над образом Робеспьера еще и теперь, по прошествии стольких лет, витает тень таинственности. Никогда история не разгадает полностью этого непроницаемого человека, никогда не узнает его последних мыслей: жаждал ли он диктатуры для себя, или республики для всех, хотел ли он спасти революцию, или стать ее наследником, как Наполеон. Никто не узнал его затаенных мыслей, мыслей его последней ночи — с 8 на 9 термидора.

Ибо это его последняя ночь: в эту ночь назревает решение. В лунном свете душевной июльской ночи призрачно отсвечивает гильотина. Чьи позвонки затрещат завтра под ее холодным лезвием: триумвирата Тальен —

Баррас — Фуше или Робеспьера? Никто из шестисот депутатов не ложится в эту ночь, обе партии готовятся к решительной битве. Робеспьер из Конвента бросился к якобинцам; при мерцающем свете восковых свечей, дрожа от волнения, он читает им свою речь, отвергнутую Конвентом. Еще раз — в последний раз — вокруг него бушует овадия, но, полный горьких предчувствий, он не обольщается тем, что три тысячи человек крича толпятся вокруг него, и называет эту речь своим завещанием. Тем временем его хранитель печати Сен-Жюст до зари отчаянно борется с Колло, Карно и другими заговорщиками в Комитете, а в кулуарах Конвента плетется сеть, которая завтра опутает Робеспьера. Дважды, трижды, словно челноком в ткацком стане, протягиваются нити слева направо, от партии «горы» к прежней эакиционной партии, пока, наконец, к утру не сплетутся в прочный, неразрывный союз. Здесь снова внезапно появляется Фуше, ибо ночь — его стихия, интрига — подлинная сфера его деятельности. Свинцовое, от страха ставшее белым, как известь, лицо Фуше призрачно выделяется в полусвете зал. Он нашептывает, льстит, обещает, он пугает, страшит, грозит одному за другим и не успокаивается, пока союз не заключен. В два часа утра все противники, наконец, сошлись на том, чтобы общими усилиями покончить с Робеспьером. Теперь Фуше может, наконец, отдохнуть.

На заседании 9 термидора Жозеф Фуше тоже не присутствует, но он может отдыхать, ибо дело его сделано, сеть сплетена и большинство решило не позволить ускользнуть от смерти слишком сильному и опасному противнику. Едва начинается Сен-Жюст, оруженосец Робеспьера, заранее приготовленную смертоносную речь против заговорщиков, как Тальен прерывает его, ибо они сговорились накануне не давать слова ни одному из могучих ораторов: ни Сен-Жюсту, ни Робеспьеру. Оба должны быть задушены, прежде чем они начнут говорить, прежде чем начнут обвинять. И вот при ловкой поддержке услужливого председателя ораторы один за другим поднимаются на трибуну, а когда Робеспьер собирается защищаться, все начинают кричать, орать и стучать, заглушая его голос, — подавленная трусость шестисот нетвердых душ, их ненависть и зависть, копившиеся

неделями и месяцами, направлены теперь на человека, перед которым каждый из них трепетал. В шесть часов вечера все решено. Робеспьер в опале и отправлен в тюрьму, напрасно его друзья, искренние революционеры, уважающие в нем суровую и страстную душу республики, освобождают его и укрывают в ратуше — ночью отряды Конвента штурмуют эту крепость революции, и в два часа утра, через двадцать четыре часа после того, как Фуше и его приверженцы подписали соглашение о его гибели, Максимилиан Робеспьер, враг Фуше, вчера еще могущественнейший человек Франции, лежит окровавленный, с раздробленной челюстью, поперек двух кресел в вестибюле Конвента. Крупная дичь затравлена, Фуше спасен. На следующий день телега грохоча катит к месту казни. С террором покончено, но угас и пламенный дух революции, прошла ее героическая эра. Настает час наследников — авантюристов и стяжателей, спекулянтов и двурушников, генералов и денежных мешков, час нового сословия. Теперь, как полагали, наступает и час Жозефа Фуше.

В то время как телега везет Максимилиана Робеспьера и его приверженцев по улице Сент-Оноре, по трагической дороге Людовика XVI, Дантона, Демулена и шести тысяч других жертв, вдоль нее теснятся ликующие, возбужденные толпы любопытных. Еще раз казнь становится народным праздником. Флаги развеваются на крышах, крики радости несутся из окон, волна веселья заливают Париж. Когда падает в корзину голова Робеспьера, гигантская площадь сотрясается от дружного, восторженного ликования. Заговорщики изумлены: почему народ так страстно ликует по поводу казни человека, которому Париж, Франция еще вчера поклонялись как богу? Изумление Тальена и Барраса возрастает еще больше, когда у входа в Конвент буйная толпа приветствует их восторженными возгласами как убийц тирана, как борцов против террора. Они изумлены. Уничтожая этого выдающегося человека, они стремились лишь освободиться от неудобного моралиста, слишком зорко следившего за ними, но они вовсе не собирались предоставить ржаветь гильотине, покончить с террором. Видя, однако, что народ более не расположен к массовым казням и что они могут снискать популярность, украсив

месть гуманными мотивами, они быстро решают использовать это недоразумение. Они намерены утверждать, что все насилия революции лежат на совести Робеспьера (ведь из могилы нельзя возразить), что они всегда восставали против жестокости и крайностей, всегда были апостолами милосердия.

И не казнь Робеспьера, а именно эта трусливая и лживая позиция его преемников придает дню 9 термидора его всемирно-историческое значение. Ибо до этого дня революция требовала для себя всех прав и спокойно принимала на себя всю ответственность, с этого же дня она робко начинает допускать, что совершались ошибки, и ее вожди начинают от нее отрекаться. Но внутренняя мощь всякого верования, всякого мировоззрения оказывается надломленной в тот момент, когда оно отрекается от безусловности своих прав, от своей непогрешимости. И тем, что жалкие победители Тальен и Баррас осыпают бранью трупы своих великих предшественников, Дантона и Робеспьера, называют их убийцами и робко садятся на скамьи правых, к умеренным, к тайным врагам революции, они предают не только историю и дух революции, но и самих себя.

Каждый хочет видеть рядом с собой Фуше — главного заговорщика, злейшего врага Робеспьера. Он, больше всех рисквавший головой как *chef de la conspiration*, имел бы право на самый сочный кусок добычи. Но удивительно — Фуше садится не с остальными заговорщиками на скамье правых, а на свое старое место на «горе», к радикалам, и хранит там молчание. В первый раз (все удивлены) он не там, где большинство.

Почему так странно поступил Фуше? — спрашивали многие и тогда и позднее. Ответ прост. Потому, что он умнее и дальновиднее других, потому, что он своим превосходным политическим чутьем лучше улавливает положение дел, чем неумные Тальен и Баррас, которым только опасность на короткое время придала энергии. Фуше, бывший преподаватель физики, знает закон движения, согласно которому волна не может застыть неподвижно. Она должна непременно двигаться — вперед или назад. Если начнется отлив, настанет реакция — она так же не остановится в своем беге, как не останавливалась революция; она так же дойдет до конца, до

крайности, до насилия. Тогда наспех сотканный союз порвется, и, если реакция победит, все бойцы революции погибнут. Потому что когда торжествуют новые идеи, зловеще меняется оценка деяний вчерашних. То, что вчера считалось республиканским долгом и добродетелью, например, расстрел шестисот человек, ограбление церквей,— будет, несомненно, сочтено за преступление: вчерашние обвинители завтра станут обвиняемыми. Фуше, у которого немало грехов на совести, не хочет прослыть участником чудовищных ошибок других термидорианцев (так называют себя убийцы Робеспьера), трусливо цепляющихся за колесо реакции; он знает — им ничто не поможет: раз уж реакция началась, то она сметет всех. Только из расчета Фуше предусмотрительно остается левым, остается верен радикалам; он чувствует, что скоро именно самые смелые будут схвачены за горло.

И Фуше не ошибся. Чтобы завоевать популярность, чтобы доказать свое мнимое человеколюбие, термидорианцы приносят в жертву самых энергичных проконсулов и позволяют казнить Карье, потопившего шесть тысяч человек в Луаре, Жозефа Ле Бона, аррасского трибуна, и Фукье-Тенвиля. В угоду правым они возвращают в Конвент семьдесят три исключенных жирондиста и слишком поздно замечают, что, поддерживая реакцию, оказываются сами в зависимости от нее. Они должны послушно обвинять своих помощников в борьбе против Робеспьера — Вийо-Варенна и Колло д'Эрбуа, коллегу Фуше по Лиону. Все больше угрожает реакция жизни Фуше. В первый раз ему еще удастся спастись трусливым отрицанием своего участия в лионских событиях (хотя он подписывал вместе с Колло каждый декрет) и лживым утверждением, что тиран Робеспьер преследовал его за излишнюю снисходительность. Таким образом, этому хитрецу удается пока обмануть Конвент. Он остается невредимым, в то время как Колло д'Эрбуа отправляется на «сухую гильотину», то есть на малярийные острова Вест-Индии, где он погибает уже через несколько месяцев. Но Фуше слишком умен, чтобы чувствовать себя уже спасенным после преодоления этой первой опасности; ему знакома неумолимость политических стесней, он знает, что реакция так же ненасытно пожирает людей, как и революция; если ей не обломать зубы, она не ос-

тановится в своей жажде мести до тех пор, пока последний якобинец не пойдет под суд и не будет разрушена республика. И он видит только один путь спасения революции, с которой он неразрывно связан своими кровавыми преступлениями: возобновление ее. И он видит только один путь к спасению своей жизни: свержение правительства. Снова его положение опаснее, чем у любого другого, и снова так же, как шесть месяцев тому назад, он в одиночку начинает отчаянную борьбу против значительно более сильного противника, борьбу за свою жизнь.

Всякий раз, когда идет борьба за власть и за спасение собственной жизни, Фуше проявляет поразительную силу. Он понимает, что нельзя удержать Конвент от преследований бывших террористов законными средствами, и остается единственное средство, достаточно испытанное во время революции: террор. Когда осуждали жирондистов, когда осуждали короля, трусливых и осторожных депутатов (среди них был и еще консервативный в ту пору Фуше) запугивали тем, что мобилизовывали против парламента улицы, стягивали из предместий рабочие батальоны — пролетарские силы, с их непреодолимым воодушевлением — и подымали на ратуше знамя восстания. Почему бы снова не использовать эту старую гвардию революции, штурмовавшую Бастилию, этих героев 10 августа, в борьбе со струсившим Конвентом, почему не сокрушить их кулаками превосходящие силы противника? Только отчаянный страх перед мятежом, перед гневом пролетариата мог бы напугать термидорианцев, и Фуше решает возбудить широкие массы парижского населения и направить их против своих врагов, против своих обвинителей.

Конечно, он не станет лично появляться в предместьях, чтобы произносить пламенные революционные речи, или, подобно Марату, рискуя жизнью, бросать в народ зажигательные брошюры. Для этого Фуше слишком осторожен: он не любит подвергать себя опасности, он охотнее всего уклоняется от ответственности; его мастерство не в громких увлекательных речах, а в нащепывании, в деятельности исподтишка, из-за чужой спины.

И на этот раз он находит подходящего человека, который выступает смело и решительно, прикрывая его своей тенью.

По Парижу бродит в ту пору опальный, подавленный человек — честный, страстный республиканец Франсуа Бабеф, который называет себя Гракхом Бабефом. У него горячее сердце и посредственный ум. Пролетарий, выходец из низов, бывший землемер и типографский рабочий, он обладает лишь несколькими прямолинейными идеями, но они насыщены мужественной страстью и пылают огнем истинно республиканских и социалистических убеждений. Буржуазные республиканцы и даже Робеспьер осторожно отодвигали в сторону социалистические идеи Марата об уравнивании имущества; они предпочитали говорить очень много о свободе, довольно много о братстве и возможно меньше о равенстве, поскольку это касалось денег и имущества. Бабеф подхватывает почти угасшие мысли Марата, раздувает их своим дыханием и несет, как факел, в пролетарские кварталы Парижа. Это пламя может внезапно вспыхнуть пожаром, может в несколько часов поглотить весь Париж, всю страну, ибо народ начинает постепенно понимать, что термидорианцы ради собственных выгод предали их революцию — революцию бедняков. И вот за спиной Гракха Бабефа начинает теперь действовать Фуше. Он не показывается рядом с ним публично, но втайне, шепотом уговаривает его поднять народное восстание. Он убеждает Бабефа писать зажигательные брошюры и сам правит их в корректуре. Он полагает, что, только если снова выступят рабочие и предместья с пиками и барабанным боем двинутся к городу, опомнится трусливый Конвент. Только террором, только ужасом, только устрашением можно спасти республику, только энергичным толчком слева можно уравновесить этот опасный крен вправо. И для этого дерзкого, смертельно опасного предприятия он использует порядочного, честного, доверчивого, прямодушного человека: можно надежно укрыться за его широкой пролетарской спиной. Бабеф, именующий себя Гракхом и народным трибуном, в свою очередь, чувствует себя польщенным тем, что известный депутат Фуше дает ему советы. Да, это еще последний честный республиканец, думает Бабеф, один из тех, кто не

покинул скамьи «горы», не заключил союза с jeunesse dorée<sup>1</sup> и поставщиками армии. Он охотно пользуется советами Фуше и, подталкиваемый сзади его ловкой рукой, нападает на Тальена, термидорианцев и правительство.

Однако Фуше удастся обмануть только этого добродушного и прямолинейного человека. Правительство быстро распознает, чья рука заряжает направленное против него оружие, и в открытом заседании Тальен обвиняет Фуше в том, что он стоит за спиной Бабефа. По обыкновению, Фуше тотчас же отрекается от своего союзника (так же как от Шомета у якобинцев, как от Колло д'Эрбуа в лионских событиях); Бабефа он едва знает, он осуждает его экстремизм,— короче говоря, Фуше с величайшей поспешностью отступает. И снова ответный удар поражает того, кто стоит перед ним. Бабефа арестовывают и расстреливают во дворе казармы (как всегда, другой расплачивается жизнью за слова и политику Фуше).

Этот смелый маневр не удался Фуше; он добился лишь того, что снова обратил на себя внимание, а это совсем нехорошо, потому что опять начинают вспоминать Лион и кровавые поля Бротто. Снова с удвоенной энергией реакция ищет обвинителей из провинций, в которых он властвовал. Едва удалось ему с трудом опровергнуть обвинения по поводу Лиона, как заговорили Невер и Кламси. Все громче, все настойчивее с трибуны просителей в зале Конвента обвиняют Жозефа Фуше в терроре. Он защищается хитро, энергично и довольно успешно; даже Тальен, его противник, старается теперь выгородить Фуше, потому что его тоже начинает пугать усиление реакции и он начинает опасаться и за свою голову. Но поздно: 22 термидора 1795 года, через год и двенадцать дней после падения Робеспьера, после длительных прений против Фуше возбуждается обвинение в совершении террористических актов, и 23 термидора выносится решение об его аресте. Как тень Дантона витает над Робеспьером, так тень Робеспьера — над Фуше.

Но теперь уже другие времена — умный политик правильно это учел: на календаре термидор четвертого года

---

<sup>1</sup> Золотой молодежи (франц.).

республики, а не третьего. В 1793 году обвинение означало приказ об аресте, арест обозначал смерть. Доставленный вечером в Консьержери, обвиняемый на следующий день допрашивался, а к вечеру уже сидел в телеге смертников. Но в 1794 году у руки правосудия уже нет стальной хватки Неподкупного; законы стали мягче, и, обладая некоторой ловкостью, можно их обойти. И Фуше не был бы самим собой, если бы он, избежавший стольких опасностей, не сумел высвободиться из пут такой непрочной сети. Хитростью и уловками добивается он того, что постановление об аресте не приводится в исполнение немедленно, ему дают срок для возражения. для ответа, для оправдания, а выиграть в ту пору время — это все. Только бы отступить в тень — и тебя забудут; только притихнуть, пока другие кричат, — и останешься незамеченным. Следуя знаменитому рецепту Сийеса, просидевшего все годы террора в Конвенте не открывая рта и впоследствии гениально ответившего на вопрос, что же он делал все это время: «J'ai vécu» — «Я жил», Фуше, подобно иным насекомым, прикидывается мертвым, чтобы его не умертвили. Сберечь свою жизнь вот теперь, в этот короткий промежуток переходного времени, — и он спасен. Потому что, с обычной опытностью распознавая политическую погоду, он чувствует, что ветер меняет направление, что всего величия и силы нового Конвента хватит еще лишь на несколько недель, может быть, месяцев.

Так Фуше удается спасти свою жизнь, а это много значит в то время. Правда, он спас только жизнь, — не имя и не положение, ибо его уже не избирают в новое собрание. Тщетным оказалось громадное напряжение, напрасно растрачены непомерные страсти и хитрость, ни к чему отвага и предательства: он спас только жизнь. Он уже не Жозеф Фуше из Нанта, представитель народа, и даже не учитель школы ораторианцев, он всего лишь забытый, презренный человек, без звания, без состояния, без значения, жалкий призрак, которого спасает только покров темноты.

И в течение трех лет ни один человек во Франции не произносит его имени.

МИНИСТР ДИРЕКТОРИИ  
И КОНСУЛЬСТВА

1799—1802



Создал ли кто-нибудь гимн изгнанию, этой властной силе, творящей судьбу, которая возвышает падающего человека и под суровым гнетом одиночества заново восстанавливает и заново сочетает поколебленные силы души? Художники всегда лишь сетовали на изгнание, оно казалось им помехой на пути к вершине, бесполезной остановкой, жестоким перерывом. Но ритм природы нуждается в подобных насильственных цезурах. Ибо лишь тот познал всецело жизнь, кто проник во все ее глубины. Лишь удар, отбрасывающий назад, придает человеку наступательную силу.

И прежде всего именно творческий гений нуждается в этом временном вынужденном одиночестве, дабы из глубины отчаяния, из дали изгнания измерить пределы и

высоту своего подлинного призвания. Самые значительные призывы доносились к человечеству из далекого изгнания; творцы великих религий — Моисей, Христос, Магомет, Будда — все они должны были сперва удалиться в безмолвие пустыни, в одиночество, прежде чем возвестить решающее слово. Слепота Мильтона, глухота Бетховена, каторга Достоевского, тюрьма Сервантеса, заключение Лютера в Вартбургском замке, изгнание Данте и добровольная ссылка Ницше в ледяных зонах Энгадина — все это тайные требования гения, предъявленные вопреки бдительной воле человека.

Но и в более низком, в более земном мире — в политике — временное удаление дает государственному деятелю новую свежесть взгляда, позволяет лучше обозреть и рассчитать игру политических сил. Ничто не может быть более удачным для политической карьеры, чем ее временный перерыв, ибо тот, кто всегда смотрит на мир только сверху, с императорского трона, с высоты башни из слоновой кости или с вершины власти, тот знает лишь улыбку льстецов и их опасную покорность: кто сам держит в руках весы, тот забывает свой собственный вес. Ничто не ослабляет художника, полководца, носителя власти больше, чем постоянные успехи и удачи; художник только в неудаче познает свое истинное отношение к творчеству, а полководец только в поражении — свои ошибки; лишь в немилости государственный деятель учится верно оценивать политическое положение. Постоянное богатство изнеживает, постоянное одобрение притупляет; лишь перерыв придает холостому ритму новое напряжение и творческую эластичность. Только несчастье углубляет и расширяет познание действительного мира. Любое изгнание — это суровый урок и наука: оно круто замешивает волю изнеженного, колеблющегося. оно делает решительным, твердого — еще более твердым. Для того, кто силен по-настоящему, изгнание означает не убавление, а, напротив, нарастание его сил.

Изгнание Жозефа Фуше продолжалось более трех лет, а тот одинокий, негостеприимный остров, на который его сослали, назывался нищетой. Вчера еще проконсул и один из вершителей судеб революции, он падает с са-

мых высоких ступеней могущества в такой мрак, в такую грязь и тину, что и следов его не найти. Единственный, кто его в ту пору видел, Баррас, рисует потрясающую картину жалкой мансарды под самым небом, той норы, в которой живет Фуше со своей некрасивой женой и двумя маленькими болезненными рыжими детьми, на редкость безобразными альбиносами. На пятом этаже, в грязном, тусклом, раскаленном от солнечных лучей помещении, скрывается после своего свержения тот, от чьего слова трепетали десятки тысяч людей и кто через несколько лет в качестве герцога Отрантского снова окажется у кормила европейских судеб. Но пока он не знает, на какие деньги купить завтра детям молока, и чем заплатить за квартиру, и как защитить свою жалкую жизнь от незримых бесчисленных врагов, от мстителей за Лион.

Никто, даже его самый достоверный и точный биограф Мадлен, не может рассказать достаточно полно, чем поддерживал Жозеф Фуше свое существование в течение этих лет нищеты. Он больше не получает депутатского жалованья, свое личное состояние он потерял при восстании в Сан-Доминго; никто не осмеливается дать ему, *Mitrailleur de Lyon*, место или работу; все друзья его покинули, все сторонятся его. Он берется за самые странные, самые темные дела: в самом деле, это не басня, что будущий герцог Отрантский в ту пору занимается откармливанием свиней. Но скоро он принимается за еще более нечистоплотную работу: он становится шпионом Барраса, единственного представителя новой власти, который обнаруживает удивительное сострадание, продолжая принимать Фуше. Правда, не в приемной министерства, а где-нибудь в темном углу, там время от времени подбрасывает он неутомимому просителю какое-нибудь грязное дельце, поставку в армию или инспекционную поездку, так, чтобы каждый раз дать ему ничтожный заработок, который обеспечивает докучливого попрошайку недели на две. Однако в этих разнообразных поручениях обнаруживается подлинный талант Фуше. Потому что Баррас уже тогда имеет нешуточные политические планы, он не доверяет своим коллегам, и ему весьма нужен личный сыщик, подпольный доносчик и осведомитель, не принадлежащий к официальной полиции, что-то

вроде частного детектива. Для этой роли Фуше прекрасно подходит. Он слушает и подслушивает, проникает по черным лестницам в дома, ревностно выспрашивает у всех знакомых новейшие сплетни и тайно передает эти грязные выделения общественной жизни Баррасу. И чем честолюбивее становится Баррас, чем более жадно строит он планы государственного переворота, тем все более нуждается он в Фуше. Давно уже мешают ему в Директории (в Совете Пяти, который теперь правит Францией) два порядочных человека,—прежде всего Карно, самый прямодушный деятель французской революции,—и он задумывает избавиться от них. Но тот, кто замышляет государственные перевороты и заговоры, нуждается прежде всего в бессовестных пронырах, в людях *à tout faire*<sup>1</sup>, брави и було, как их называют итальянцы, в людях бесхарактерных и в то же время надежных именно в своей бесхарактерности. Фуше словно специально создан для этого. Изгнание становится для его карьеры школой, и теперь он начинает развивать свой талант будущего мастера полицейских дел.

Наконец, наконец-то после долгой, долгой ночи, в жизненной стуже, во мраке нищеты Фуше учуял дыхание утра. В стране появился новый хозяин, возникает новая власть, и он решает ей служить. Эта новая власть — деньги. Едва положили Робеспьера и его приверженцев на твердые доски плахи, как воскресли всемогущие деньги и снова вокруг них тысячи прислужников и холопов. Экипажи, запряженные холеными лошадьми в новой упряжи, снова катятся по улицам, и в них сидят полуобнаженные, как греческие богини, очаровательные женщины в тафте и муслине. По Булонскому лесу катается верхом *jeunesse dorée*, в туго облегающих ноги белых нанковых штанах и желтых, коричневых, красных фраках. В украшенных кольцами руках они держат элегантные хлысты с золотыми набалдашниками, которые охотно пускают в ход против бывших террористов; парфюмерные и ювелирные магазины торгуют вовсю; внезапно возникает пятьсот, шестьсот, тысяча танцевальных зал и ка-

<sup>1</sup> Способных на все (франц.).

фе, повсюду строят виллы, приобретают дома, посещают театры, спекулируют, держат пари, покупают, продают и за спущенными камчатными занавесями Пале-Рояля спускают тысячи. Деньги снова у власти, самодержавные, наглые и отважные.

Но где же они, эти деньги, были во Франции между 1791 и 1795 годами? Они продолжали существовать, но были спрятаны. Так же, как это было в Германии и Австрии в период страха перед коммунизмом в 1919 году, богачи внезапно прикинулись мертвыми и, надев поношенное платье, жаловались на свою бедность, ибо тот, кто в эпоху Робеспьера окружал себя малейшей роскошью, даже тот, кто лишь приближался к ней, слыл за *mauvais riche*<sup>1</sup> (пользуясь выражением Фуше), считался подозрительным; прослыть богатым было опасно. Теперь опять силен только тот, кто богат. И, к счастью, наступает великолепное время (как всегда в дни хаоса) для приобретения денег. Состояния переходят из рук в руки; имущества продаются: на этом зарабатывают. Собственность эмигрантов продается с аукциона: на этом зарабатывают. Состояние осужденных конфискуется: на этом зарабатывают. Курс ассигнаций падает со дня на день, дикая лихорадка инфляции потрясает страну: на этом зарабатывают. На всем можно заработать, имея проворные наглые руки и связи в правительственных кругах. Но самый лучший, ни с чем не сравнимый источник доходов — война. Уже в 1791 году несколько человек мгновенно сообразили (как и в 1914 году), что из войны, пожирающей людей и разрушающей ценности, тоже можно извлечь выгоду, но тогда Робеспьер и Сен-Жюст, неподкупные, безжалостно хватали за горло всех *ассарагеурс*<sup>2</sup>. Теперь, когда эти катоны, слава богу, убраны и гильотина ржавеет в сарае, спекулянты и поставщики для армии чувят, что наступили золотые деньки. Теперь можно спокойно поставлять за хорошие деньги негодные сапоги, плотно набивать карманы авансами и реквизициями. Разумеется, при условии, что будут заказы на поставки. Поэтому в такого рода делишках всегда нужен подходящий посредник, обладающий достаточным влияни-

---

<sup>1</sup> Злонамеренного богача (франц.).

<sup>2</sup> Спекулянтов (франц.).

ем и в то же время сговорчивый помощник, могущий пропустить спекулянтов с заднего хода к заветным кормушкам, которые война и государство наполняют имуществом.

Для таких грязных дел Жозеф Фуше — идеальная фигура. Нищета основательно, дочиста соскребла его республиканскую совесть, он легко расстался со своей былой ненавистью к богатству, и теперь его, полуголодного, можно задешево купить. Но в то же время он имеет превосходные связи, ведь он вхож (как шпион) в переднюю Барраса, президента Директории. Таким образом, радикальный коммунист 1793 года, хотевший во что бы то ни стало заставить всех печь «хлеб равенства», стремительно становится ближайшим поверенным банкиров республики, исполняя за хорошие проценты все их пожелания и устраивая их дела. Например, спекулянту Энгерло, одному из самых наглых и бессовестных дельцов республики (Наполеон его ненавидел), грозит неприятное обвинение: он слишком нагло спекулировал и, снабжая армию, с чрезмерной заботливостью снабжал свои карманы. Теперь ему предстоит процесс, который может стоить кучи денег, а пожалуй, и жизни. Как поступают в таких случаях (тогда, как и сегодня)? Обращаются к человеку, имеющему связи в высших сферах, который может оказать политическое или личное влияние и способен «направить» неприятное дело в нужную сторону. Обращаются к Фуше, осведомителю Барраса, который тотчас же стремглав бежит к всемогущему (письмо напечатано в мемуарах Барраса); и действительно, нечистоплотное дело оказывается тихо и безболезненно замкнутым. В благодарность за услугу Энгерло не забывает Фуше при поставках для армии, при биржевых сделках, а — *l'appétit vient en mangeant*<sup>1</sup>. В 1797 году Фуше обнаруживает, что деньги пахнут гораздо лучше, чем кровь, пролитая в 1793-м, и, пользуясь своими новоприобретенными связями в финансовом мире и в продажном правительстве, основывает компанию для поставок в армию Шерера. Солдаты храброго генерала получают скверные сапоги и будут мерзнуть в тонких шинелях, они будут побеждены на полях Италии, но гораздо важнее то, что

---

<sup>1</sup> Аппетит приходит во время еды (франц.).

компания Фуше-Энгерло, а вероятно, и сам Баррас получат солидную прибыль. Исчезло отвращение к «презренному и губительному металлу», о котором так красноречиво трубил всего три года тому назад ультраякобинец и сверхкоммунист Фуше; забыта ненависть к «злым богачам», забыто, что «хорошему республиканцу не нужно ничего, кроме хлеба, оружия и сорока экю в день»; теперь настало время, наконец, самому стать богатым. Потому что в изгнании Фуше понял власть денег и теперь служит ей, как всякой власти. Слишком долгим, слишком мучительным было его пребывание на дне, на отвратительном дне, покрытом грязью презрения и лишений,— теперь он напрягает все силы, чтобы всплыть, чтобы подняться в те выси, в тот мир, где за деньги покупают власть, а из власти чеканят деньги. Проложена первая штольня в этом богатейшем руднике, сделан первый шаг на фантастическом пути, ведущем из мансарды пятого этажа в герцогскую резиденцию, от нищеты к состоянию в двадцать миллионов франков.

Теперь Фуше, окончательно сбросив с плеч неприятный груз революционных принципов, приобрел подвижность, и вот внезапно он снова в седле. Его друг Баррас занят не только темными денежными сделками, но и грязными политическими интригами. Он склонен потихоньку продать республику Людовику XVIII за герцогский титул и солидный денежный куш. Ему мешает только присутствие порядочных коллег — республиканцев вроде Карно, все еще верующих в республику и не понимающих, что идеалы существуют лишь для того, чтобы на них наживаться. И в государственном перевороте Барраса 18 фруктидора, освободившем его от этого тягостного надзора, Фуше, без сомнения, основательно помог своему компаньону тайными подкопами, ибо едва успел его покровитель Баррас стать неограниченным властелином в Совете Пяти, в обновленной Директории, как этот избегающий дневного света человек вырывается вперед и требует вознаграждения. Он требует, чтобы Баррас использовал его в сфере политики, при армии или в любом другом месте, дал ему любое поручение, при исполнении которого можно набить себе карманы и оправиться от долгих лет нищеты. Баррас нуждается в нем и не может отказать своему подручному в устройстве

темных дел. Но все-таки имя Фуше, *Mitrailleur de Lyon*, еще слишком отдает запахом пролитой крови, чтобы можно было решиться в медовый месяц реакции открыто, в Париже обнаружить свою с ним связь. Поэтому Баррас отправляет его в качестве представителя правительства прежде всего в Италию, где находится армия, а затем в Батавскую республику, то есть в Голландию, для ведения секретных переговоров. Баррас уже имел возможность убедиться, что Фуше — отличный мастер закулисных интриг: скоро ему придется еще основательнее испытать это на самом себе.

Итак, в 1798 году Фуше — посол Французской республики: он снова в седле. Он развивает такую же холодную энергию при исполнении своей нынешней дипломатической миссии, как некогда при исполнении миссии кровавой. Особенно стремительных успехов добивается он в Голландии. Умудренный трагическим опытом, созревший в бурях времени, с гибкостью, выкованной в суровом горниле нищеты, Фуше проявляет прежнюю энергию, сочетая ее с новой осторожностью. Скоро новые властители — там, наверху, — начинают понимать, что это полезный человек, который всегда держит нос по ветру и за деньги готов на все. Угодливый с высшими, беспощадный к низшим, этот искусный и ловкий мореплаватель как бы создан для бурь. И так как корабль правительства все более зловеще накрывается, и его неуверенный курс каждый миг грозит крушением, Директория принимает 3 термидора 1799 года неожиданное решение: Жозеф Фуше, посланный с секретным поручением в Голландию, внезапно назначается министром полиции Французской республики.

Жозеф Фуше — министр! Париж вздрогнул как от пушечного выстрела. Неужели снова начинается террор. раз они спускают с цепи этого кровожадного пса? *Mitrailleur de Lyon*, осквернителя святынь, грабителя церквей, друга анархиста Бабефа? Неужели — упаси бог! — вернут из малярийной Гвианы Колло д'Эрбуа и Билльо и снова поставят на площади Республики гильотину? Неужели снова начнут печь «хлеб равенства», введут филантропические комитеты, вымогающие деньги у богачей? Париж, давно успокоенный, со своими полутора тысячами танцевальных зал и ослепительными магазинами, со сво-

ей jeunesse dorée, приходит в ужас — богачи и буржуа трепещут, как в 1792 году. Довольны лишь якобинцы — последние республиканцы. Наконец, после ужасных преследований один из их рядов снова у власти — самый смелый, самый радикальный, самый непреклонный; теперь наконец-то приструнят реакцию, республика будет очищена от роялистов и заговорщиков.

Но странно, и те и другие спрашивают себя через несколько дней: в самом ли деле этого министра полиции зовут Жозеф Фуше? Снова оправдалось мудрое высказывание Мирабо (и в наши дни применимое к социалистам), что якобинцы в должности министра уже не якобинские министры: ибо уста, прежде требовавшие крови, теперь источают примирительный елей. Порядок, спокойствие, безопасность — эти слова беспрерывно повторяются в полицейских объявлениях бывшего террориста, и его первый девиз — борьба с анархией. Свобода печати должна быть ограничена, с мятежными речами необходимо покончить. Порядок, порядок, спокойствие, безопасность. Ни Меттерних, ни Сельдницкий, ни один из ультрареакционеров Австрийской империи не издавал более консервативных декретов, чем Жозеф Фуше.

Буржуа облегченно вздыхают: Савл превратился в Павла! Но подлинные республиканцы неистовствуют от гнева на своих собраниях. Они мало чему научились за эти годы, — они все еще произносят яростные речи, речи и речи, они грозят Директории, министрам и конституции цитатами из Плутарха. Они буйствуют, словно еще живы Дантон и Марат, словно набат, как прежде, может созвать стотысячную толпу из предместий. Но все-таки их назойливая болтовня в конце концов вызывает в Директории беспокойство. Как быть, что предпринять? — осаждают новоиспеченного министра полиции его коллеги.

«Закреть клуб», — отвечает он невозмутимо. Недовольно смотрят на него министры и спрашивают, когда он думает осуществить эту дерзкую меру. «Завтра», — спокойно отвечает Фуше.

И в самом деле, на другой день Фуше, бывший президент якобинцев, отправляется вечером в радикальный клуб на улице Бак. Здесь все эти годы продолжало биться сердце революции. Здесь те же люди, перед которы-

ми выступали Робеспьер, Дантон и Марат, перед которыми он сам выступал со страстными речами; теперь, после падения Робеспьера, после поражения Бабефа, только в «клубе Манежа» живет еще воспоминание о бурных днях революции.

Но сентиментальность несвойственна Фуше; он может, при желании, с потрясающей быстротой забыть о прошлом. Бывший учитель математики в монастыре ораторианцев принимает во внимание только параллелограмм реальных сил. Он считает, что с идеей республики покончено, ее лучшие вожди и деятели в могиле, следовательно, клубы давно уже превратились в сборище болтунов, где один перепевает другого. В 1799 году курс цитат из Плутарха и патриотических слов упал не меньше, чем курс ассигнаций; сказано слишком много фраз и напечатано слишком много бумажных денег. Франция (кто осведомлен об этом лучше министра полиции, контролирующего общественное мнение!) устала от ораторов, адвокатов и реформаторов, устала от законов и декретов, она жаждет лишь покоя, порядка, мира и ясности финансового положения; как после нескольких лет войны, так и после нескольких лет революции, после каждого порыва общественного воодушевления, предъявляет свои права неудержимый эгоизм отдельной личности и семьи.

Как раз в тот момент, когда один из давно отживших свой век республиканцев произносит пламенную речь, открывается дверь и входит Фуше в форме министра, сопровождаемый жандармами. Он удивленно обводит холодным взором вскочивших со своих мест членов клуба: какие жалкие противники! Давно перевелись люди дела, вдохновители революции, ее герои и смельчаки, остались лишь болтуны, а чтобы справиться с болтунами, достаточно уверенного жеста. Не колеблясь, он поднимается на трибуну; впервые после шести лет слышат якобинцы его ледяной, трезвый голос, но теперь в нем не звучат, как прежде, призывы к свободе и ненависть к тирану, теперь этот тощий человек спокойно, коротко и просто объявляет клуб закрытым. Собравшиеся так ошеломлены, что никто не оказывает сопротивления. Они не приходят в ярость, не устремляются, как без конца клялись, с кинжалами на губителя свободы. Они лишь что-

то бормочут, тихо отступая, и в смятении покидают помещение. Фуше рассчитал правильно: с мужчинами надо бороться, болтунов усмиряют одним жестом.

Зал пуст; он спокойно направляется к двери, запирает ее и прячет ключ в карман. И этим поворотом ключа, собственно говоря, положен конец французской революции.

Всякое учреждение становится тем, что из него делает тот или иной человек. Принимая министерство полиции, Жозеф Фуше, в сущности, получает второстепенную роль, что-то вроде подотдела министерства внутренних дел. Он обязан наблюдать и информировать, как тащеник он должен подвозить материалы, чтобы потом господ из Директории, словно короли, возводили здание внутренней и внешней политики. Но прошло едва три месяца, как Фуше пробрался к власти, и его изумленные покровители с ужасом замечают, что он следит не только за низами, но и за верхами, что министр полиции контролирует остальных министров Директории, генералов, всю политику. Его сеть охватывает все учреждения и все должности, в его руки стекаются все известия, он делает политику рядом с политикой, ведет войну рядом с войной; во всех направлениях расширяет он пределы своей власти, пока, наконец, возмущенный Талейран не определяет по-новому обязанности министра полиции: «Министр полиции — это человек, который сначала заботится о делах, которые его касаются, а затем обо всех тех делах, что его совсем не касаются».

Превосходно построена эта сложная машина, этот универсальный аппарат, контролирующий целую страну. Тысячи известных стекаются ежедневно в дом на набережной Вольтера, ибо за несколько месяцев этот мастер интриги наводнил всю страну шпионами, тайными агентами и доносчиками. Но его сыщики не только обычные неуклюжие, мелкие детективы, которые подслушивают у дворянников, в кабачках, публичных домах и церквях повседневные сплетни: агенты Фуше носят украшенные золотыми галунами мундиры и дипломатические фраки или легкие кружевные платья, они мило болтают в салонах предместья Сен-Жермен и, прикинувшись патриотами, пробираются на тайные совещания якобинцев. В списке

его наемников есть маркизы и герцогини, носители самых громких имен Франции; да, он может похвастать (фантастический факт!) тем, что у него состоит на службе самая высокопоставленная женщина страны — Жозефина Бонапарт, будущая императрица. Он оплачивает секретаря своего будущего повелителя и императора; в Хартуэлл, в Англии, он подкупил повара короля Людовика XVIII. О каждой сплетне ему доносят, каждое письмо вскрывается. В армии, среди купечества, у депутатов, в кабаках и на собраниях незримо присутствует министр полиции; тысячи известий стекаются ежедневно к его письменному столу; там рассматриваются, фильтруются и сравниваются эти отчасти правдивые и важные, отчасти пустые доносы, пока из тысячи шифров не будут извлечены точные сведения.

Ибо сведения — это главное; на войне так же, как в мирное время, в политике так же, как в финансовых делах. Уже не террор, а осведомленность олицетворяет власть во Франции 1799 года. Сведения о каждом из этих жалких термидорианцев: сколько денег он получает, кто ему дает взятки, за сколько его можно купить, чтобы держать под вечной угрозой и обратит начальника в подчиненного; сведения о заговорах отчасти, чтобы их подавлять, отчасти, чтобы поддерживать с тем, чтобы всегда уметь вовремя повернуть в политических делах в нужную сторону; своевременно полученные сведения о военных действиях или мирных переговорах, дающие возможность заключать на бирже сделки с услужливыми финансистами и наживаться самому. Таким образом, эта осведомительная машина в руках Фуше непрерывно доставляет ему деньги, и, в свою очередь, деньги являются маолом, позволяющим ей двигаться бесшумно. Игорные и публичные дома так же, как банки, тайно выплачивают ему миллионную дань, превращающуюся в его руках во взятки, а взятки — снова в информацию; так, никогда не останавливаясь, безотказно работает этот огромный, сложный полицейский механизм, созданный за несколько месяцев только одним человеком, гениальным психологом, обладавшим огромной работоспособностью.

Но самое гениальное в этом бесподобном сооружении Фуше то, что оно подчиняется управлению только одной определенной руки. Где-то в нем укреплен винт: если его

удалить — машина тотчас же остановится. Фуше с первого же мгновения принимает меры предосторожности на случай немилости. Он знает: если ему придется покинуть свой пост, достаточно одного поворота, чтобы вывести из строя созданную им машину. Ибо не для государства, не для Директории, не для Наполеона создает этот могучий человек свое произведение, но только лишь для самого себя. Он и не собирается вовсе добросовестно передавать своему начальству продукты химической перегонки сведений, которая производится в его лаборатории; с беззастенчивым эгоизмом он переправляет туда лишь то, что считает нужным: зачем учить разуму болванов из Директории и открывать им свои карты? Только то, что ему выгодно, что безусловно принесет выгоду лично ему, выпускает он из своей лаборатории, все прочие стрелы и яды он тщательно бережет в своем частном арсенале для личной мести и политических убийств. Фуше всегда осведомлен лучше, чем предполагает Директория, и поэтому он опасен и вместе с тем необходим для каждого. Он знает о переговорах Барраса с роялистами, о стремлении Бонапарта сесть на престол, о происках то якобинцев, то реакционеров, но он никогда не разоблачает эти секреты в тот момент, когда они становятся ему известны, а лишь тогда, когда ему покажется выгодным их раскрыть. Иногда он поощряет заговоры, иногда препятствует им, порой искусно их затевает или с шумом разоблачает (и вместе с тем своевременно предостерегает участников, чтобы они могли спастись); всегда он ведет двойную, тройную, четверную игру; постепенно его страстью становится обманывать и одурачивать игроков за всеми столами. На это, конечно, уходит все время и силы: Фуше, работающий по десять часов в день, не экономит ни того, ни другого. Он предпочитает сидеть с утра до вечера в своем бюро, лично просматривать все бумаги и обрабатывать каждое дело, чем позволить другому заглянуть в полицейские секреты. Каждого важного обвиняемого он допрашивает наедине, сам, в своем кабинете, так, чтобы все решающие подробности знал лишь он, только он и никто из его подчиненных; таким образом постепенно он, в качестве добровольного исповедника целой страны, держит в руках тайны всех людей. Снова, как некогда в Лионе, прибегает

он к террору, но теперь уже орудием последнего служит не тяжелый сокрушительный топор, а отравляющий страх, сознание виновности, гнет от ощущения слезки и разоблачения — вот средства, с помощью которых он душил тысячи людей. Машина 1792 года — гильотина, изобретенная, чтобы подавить всякое сопротивление государству, неуклюжее орудие по сравнению с тем сложным полицейским механизмом, который создал своими усилиями Жозеф Фуше в 1799 году.

На этом инструменте, который он создал собственными силами, Фуше играет, как подлинный артист. Он знает высшую тайну власти: наслаждаться ею втайне, пользоваться ею бережно. Прошли лионские времена, когда суровая революционная гвардия со штыками наперевес закрывала доступ в покои всемогущего проконсула. Теперь в его приемной толпятся дамы из предместья Сен-Жермен, и их охотно пропускают в кабинет. Он знает, что им нужно. Одна просит вычеркнуть своего родственника из списка эмигрантов, другая хотела бы получить хорошее место для кузена, третья — избежать неприятного процесса. Фуше одинаково любезен со всеми. Зачем восстанавливать против себя какую-либо из партий — якобинцев или роялистов, умеренных или бонапартистов, — ведь еще неизвестно, кто из них будет завтра у руля. Поэтому бывший страшный террорист превращается в чарующе любезного человека; публично в своих речах и прокламациях он жестоко громит роялистов и анархистов, но под шумок тайно предостерегает или подкупает их. Он избегает громких процессов, жестоких приговоров: он удовлетворяется властным жестом вместо насилия, предпочитает подлинную, хотя и незримую власть тем жалким символам, которыми украшены парадные шляпы Барраса и его коллег.

И вот получилось так, что через несколько месяцев чудовище Фуше сделался всеобщим любимцем; и в самом деле, какой же министр и государственный деятель не приобретает всеобщих симпатий, если он доступен для всех, смотрит сквозь пальцы и даже содействует обогащению людей, получению теплых местечек, всем уступает и, когда нужно, любезно закрывает строгие гла-

за, если только не слишком вмешиваются в политику и не препятствуют его собственным планам? Разве не лучше переубеждать людей с помощью подкупа или лести, чем наводить на них пушки? Разве не достаточно пригласить беспокойного человека в свой тайный кабинет и, вынув из ящика стола заготовленный для него смертный приговор, в дальнейшем не привести этот приговор в исполнение? Конечно, там, где обнаруживается действительное возмущение, он по-старому беспощадно подавляет его своей тяжелой рукой. Но по отношению к тем, кто ведет себя смиренно и не лезет на рожон, бывший террорист проявляет свою былую терпимость священника. Он знает, как падки люди на роскошь, на мелкие пороки и тайные наслаждения, — прекрасно, *habeant*<sup>1</sup> — лишь бы они были спокойны! Крупные банкиры, которых до этого времени, в дни республики, яростно травили, могут теперь спокойно спекулировать и наживаться: Фуше предоставляет им сведения, а они ему — долю в барышах. Печать — во времена Марата и Демулена свирепый, кровожадный пес, — смотрите, как ласково она теперь виляет хвостом; она тоже предпочитает сладкую булочку ударам плетки. Скоро шумиха, которую было подняли привилегированные патриоты, сменяется тишиной, нарушаемой лишь чавканьем, — Фуше бросил каждому кость или несколькими крепкими пинками загнал их в угол. Его коллеги поняли, поняли и все партии, что быть другом Фуше столь же приятно и выгодно, сколь неприятно познакомиться с когтями, скрытыми в его бархатных лапах, и этот самый презираемый человек, благодаря тому, что он все знает и каждого обязывает своим молчанием, внезапно приобретает бесчисленное множество друзей. Еще не восстановлен разрушенный город на Роне, а лионские расстрелы уже забыты, и Жозеф Фуше становится всеобщим любимцем.

Обо всем, что происходит в государстве, самые свежие, самые достоверные сведения получает Жозеф Фуше; никто не имеет возможности так глубоко заглянуть во все извилины событий, как он, вооруженный тысячеголовой, тысячеухой бдительностью; никто не осведомлен

---

<sup>1</sup> Пусть имеют (лат.).

о силах или о слабостях партий и людей лучше, чем этот холодный, расчетливый наблюдатель, с его аппаратом, регистрирующим малейшие колебания политики.

Проходит всего несколько недель, несколько месяцев, и Жозеф Фуше ясно видит, что Директория погибла. Все пять руководителей перессорились, каждый строит козни и ждет лишь удобного случая, чтобы свалить соседа. Армии разбиты, в финансах хаос, в стране неспокойно — дальше так продолжаться не может. Фуше чует близкую перемену ветра. Агенты доносят ему, что Баррас тайком ведет переговоры с Людовиком XVIII и готов продать республику бурбонской династии за герцогскую корону. Его коллеги, в свою очередь, любезничают с герцогом Орлеанским или мечтают о восстановлении Конвента. Но все, все они знают, что дальше так продолжаться не может, ибо нацию потрясают восстания внутри страны, ассигнации превращаются в ничего не стоящие бумажки, солдаты уже начинают сдавать. Если какая-то новая сила не сплотит воедино все усилия — республика неминуемо падет.

Только диктатор может спасти положение, и взоры всех ищут подходящего человека. «Нам нужны одна голова и одна сабля», — говорит Баррас Фуше, втайне считая себя этой головой и подыскивая подходящую саблю. Но победоносный Гош и Жубер погибли рано, в самом начале своей карьеры, Бернадот все еще корчит из себя якобинца, а единственного, о ком знают, что он обладает и саблей и головой, Бонапарта, героя Арколе и Риволи, из страха отправили подальше — и он теперь без толку маневрирует в песках египетской пустыни. Он так далеко, что на него рассчитывать, по-видимому, не приходится.

Из всех министров один только Фуше уже тогда знал, что этот генерал Бонапарт, который, как все думают, пребывает в тени пирамид, на самом деле не так далеко и скоро высадится во Франции. Они отправили этого слишком честолюбивого, слишком популярного и властного человека за тысячи миль от Парижа; они, пожалуй, даже исподтишка облегченно вздохнули, когда Нельсон уничтожил французский флот при Абукире, ибо какое значение имеют для интриганов и политиканов тысячи погибших, если вместе с ними устранен конкурент! Теперь

они спокойно спят, они знают, что он пригвожден к армии, и не собираются его возвращать. Ни на один миг они не допускают мысли, что Бонапарт может решиться самовольно передать командование другому генералу и нарушить их покой; ими предусмотрены все возможности, не предусмотрено лишь одно — сам Бонапарт.

Фуше, однако, знает больше и получает сведения из самых достоверных источников, потому что ему-то все передает и доносит о каждом письме, о каждом мероприятии самый лучший, самый осведомленный и преданный из оплачиваемых Фуше шпионов — не кто иной, как жена Бонапарта, Жозефина Богарне. Подкупить эту легкомысленную креолку было, пожалуй, не очень большим подвигом, ибо, вследствие своей сумасбродной расточительности, она вечно нуждается в деньгах, и сотни тысяч, которые щедро выдает ей Наполеон из государственной кассы, исчезают как капли в море у этой женщины, которая приобретает ежегодно триста шляп и семьсот платьев, которая не умеет беречь ни своих денег, ни своего тела, ни своей репутации и к тому же находится в ту пору в дурном настроении. Дело в том, что пока маленький пылкий генерал, собиравшийся взять ее с собой в скучную страну мамелюков, пребывал на поле брани, она проводила ночи с красивым, милым Шарлем, а быть может, и с двумя-тремя другими, вероятно даже со своим прежним любовником Баррасом. Это, видите ли, не понравилось глупым интриганам-деверям Жозефу и Люсьену, и они поторопились донести обо всем ее вспылчивому, ревнивому, как турок, супругу. Вот почему ей нужен человек, который помог бы ей, который следил бы за братьями-шпионами и контролировал их корреспонденцию. Это обстоятельство, а заодно и некоторое количество дукатов — Фуше в своих мемуарах прямо называет цифру в тысячу луйдоров — заставляют будущую императрицу выдавать Фуше все секреты и в первую очередь самый важный и самый грозный секрет — о предстоящем возвращении Бонапарта.

Фуше довольствуется тем, что он осведомлен. Разумеется, гражданин министр полиции и не думает информировать свое начальство. Прежде всего он укрепляет свою дружбу с супругой претендента, в тиши извлекает пользу из полученных им сведений и, по обыкновению,

хорошо подготовленный, идет навстречу решению, которое, как он отлично понимает, не заставит себя долго ждать.

11 октября 1799 года Директория поспешно призывает Фуше. Зеркальный телеграф передал невероятную весть: Бонапарт самовольно, без вызова Директории, вернулся из Египта и высадился во Фрежюсе. Что делать? Арестовать ли тотчас же генерала, который, не получив приказа, как дезертир покинул свою армию, или принять его вежливо? Фуше, представляясь еще более удивленным, чем искренне удивленные известием члены Директории, советует им быть снисходительными. Выждать! Выждать! Ибо Фуше еще не решил, выступит ли он на стороне Бонапарта или против него,— он предпочитает дать развернуться событиям. Но пока потерявшие голову члены Директории спорят, помиловать ли Бонапарта, несмотря на его дезертирство, или арестовать его, народ уже сказал свое слово. Авиньон, Лион, Париж встречают его как триумфатора, во всех городах на его пути устраивают иллюминации, и публика, в театрах, когда со сцены сообщают о его возвращении, встречает эту весть ликованием: возвращается не подчиненный, а повелитель, могучий и властный. Едва он прибыл в Париж, в свою квартиру на улице Шантерен (вскоре ее назовут в его честь улицей Победы), как его уже окружает толпа друзей и людей, полагающих, что полезно прослать его другом. Генералы, депутаты, министры, даже Талейран оказывают почтительное внимание генералу, и наконец к нему отправляется и сам министр полиции собственной персоной. Он едет на улицу Шантерен и велит доложить о себе Бонапарту. Но Бонапарту этот господин Фуше представляется безразличным и незначительным посетителем. И он заставляет его, как надоедливого просителя, прождать добрый час в передней. Фуше — это имя ему мало что говорит: лично он с ним не знаком и, может быть, только вспоминает, что человек с таким именем сыграл в годы террора довольно печальную роль в Лионе; быть может, он встречал этого оборванного, опустившегося, мелкого полицейского шпика в приемной своего друга Барраса. Во всяком случае это человек, не имеющий большого значения, какой-то

мелкий делец, пронырливостью раздобывший себе теперь маленькое министерство. Такого можно заставить посидеть в передней. И в самом деле, Жозеф Фуше битый час терпеливо ждет в передней генерала, и ему, быть может, пришлось бы и два и три часа просидеть там в кресле, сердобольно предложенном ему лакеем, не случись Реалу, одному из участников затеваемого Бонапартом государственного переворота, увидеть всемогущего министра, у которого домогается аудиенции весь Париж, в столь жалком положении. Испуганный таким злополучным промахом, он вбегает в комнату генерала, взволнованно сообщая ему об ужасной ошибке: как можно так оскорбительно заставляя ждать именно того, кто одним движением пальца может, как бомбу, взорвать всю их затею. Бонапарт тотчас же поспешно выходит к Фуше, очень вежливо приглашает его зайти в кабинет, просит извинить его и два часа разговаривает с ним с глазу на глаз.

Впервые встретились Бонапарт и Фуше лицом к лицу: они тщательно рассматривают, оценивают друг друга, соображая, насколько один может быть полезен другому в достижении его личных целей. Выдающиеся люди мгновенно распознают друг друга. Фуше сразу же угадывает в неслыханной динамичности этого властного человека непреодолимый гений самовластия. Бонапарт своим острым стремительным взглядом хищника сразу узнает в Фуше полезного, на все пригодного, быстро соображающего и энергично действующего помощника. Никто, рассказывая он на острове св. Елены, не дал ему такого сжатого и в то же время всеобъемлющего обзора положения Франции и Директории, как Фуше в этой первой двухчасовой беседе. И то, что Фуше — среди добродетелей которого откровенность отнюдь не значит — немедленно открывает всю правду претенденту на трон, означает, что он решил отдать себя в его распоряжение. В первый же час распределяются роли — господин и слуга, завоеватель мира и политик эпохи; их совместная игра может начаться.

Фуше уже при первой встрече с необыкновенной готовностью доверяется Бонапарту. Однако он не отдает

себя всецело в его распоряжение. Фуше не принимает открытого участия в заговоре, который должен вызвать падение Директории и сделать Бонапарта самодержцем, он слишком осторожен для такого шага. Слишком строго, слишком убежденно придерживается он своего жизненного принципа: никогда не принимать окончательного решения, пока не определится, на чьей стороне победа. Но происходит нечто странное: в последующие недели обладающего столь тонким слухом, столь острым зрением министра французской полиции поражает тягостный недуг: он внезапно становится слепым и глухим. Он не слышит наводняющих город слухов о предстоящем государственном перевороте, не видит бесчисленных писем, которые суют ему в руки. Все его обычно безукоризненно достоверные источники информации словно магически иссякли, и в то время, как из пяти членов Директории двое даже участвуют в заговоре, а третий наполовину к нему примкнул, министр полиции не подозревает о готовящемся военном перевороте, или, вернее, делает вид, что не подозревает. В его ежедневных донесениях нет ни строчки о генерале Бонапарте и о клике, нетерпеливо бряцающей оружием; правда, и другой стороне, стороне Бонапарта, не доставляет он никаких сведений, не сообщает ни строчки. Только молчанием предаёт Фуше Директорию, только молчанием связан он с Бонапартом, и он выжидает, выжидает, выжидает. В такие мгновения крайнего напряжения, за две минуты до свершения эта амфибия чувствует себя превосходно. Держать в страхе обе партии, быть человеком, перед которым заискивают обе стороны, чувствовать в своей руке колебание весов — вот в чем величайшее наслаждение для этого страстного интригана. Самая чудесная из всех игр; несравнимая в своем напряжении с игрой за зеленым столом или любовными забавами, — эти мгновения, когда мировая игра приближается к развязке! Сознать в такие минуты, что властен ускорить или затормозить ход событий, но, исходя именно из этого сознания, владеть собой и ничего не предпринимать, как бы ни чесались руки от стремления вступить в бой, а только наблюдать с волнуемым, возбуждающим, едва ли не порочным любопытством психолога — вот единственное наслаждение, воспламеняющее его холодный ум; только

оно волнует эту мутную, жидкую, почти водянистую кровь. Лишь такое психологически извращенное, духовно сладострастное упоение может увлечь этого трезвого, лишённого нервов человека — Жозефа Фуше. И в эти мгновения острого напряжения перед решающим выстрелом его обычно угрюмую серьёзность окрыляет своеобразная, жестокая, циничная веселость. Духовное сладострастие может разрядиться только в веселости, в добродушной или злой насмешке, и поэтому Фуше любит шутить именно тогда, когда другие находятся в величайшей опасности; как следователь в «Преступлении и наказании», он выдумывает самые остроумные и поистине дьявольские шутки именно тогда, когда виновный трепещет от ужаса. В такие мгновения он любит мистифицировать. На этот раз он в самый зловещий момент ставит веселую комедию на подмостках, которые, можно сказать, воздвигнуты на бочке пороха. За несколько дней до государственного переворота (он, конечно, заранее знает назначенный день) Фуше устраивает званый вечер. Приглашенные на этот интимный вечер Бонапарт, Реаль и другие заговорщики, сидя за столом, вдруг замечают, что их компания здесь в полном составе: министр полиции Директории пригласил к себе всю камарилью, всех без исключения участников заговора против Директории. Что это значит? Тревожным взглядом обмениваются Бонапарт со своими приверженцами. Неужели за дверью уже стоят жандармы, чтобы одним ударом разрушить гнездо государственного переворота? Некоторые из заговорщиков, может быть, припоминают нечто подобное в истории — роковую трапезу, устроенную Петром Великим для стрельцов, когда палач подал к десерту их головы. Однако люди, подобные Фуше, не прибегают к такого рода жестокостям — напротив, когда, к общему удивлению заговорщиков, является еще один гость (это и в самом деле дьявольская затея!), а именно президент Гойэ, против которого и направлен их заговор, они становятся свидетелями изумительного диалога. Президент справляется у министра полиции о последних событиях. «О, все одно и то же,— отвечает Фуше, лениво подымая веки и устремив взор в пространство.— Все та же болтовня о заговорах. Но я знаю, как к этому относиться. Если бы заговор действительно существовал, мы бы

уже имели тому доказательство на площади Революции».

Этот тонкий намек на гильотину действует на заговорщиков как прикосновение холодного лезвия. Они недоумевают: над кем он смеется — над Гойэ или над ними? Дурачит он их или президента Директории? Они не знают этого, не знает, вероятно, и сам Фуше, ибо для него существует лишь одно наслаждение на свете: сладострастие двойственности, жгучая прелесть и острая опасность двойной игры.

После этой веселой шутки министр полиции впадает опять в странную летаргию — вплоть до момента решительного удара; он слеп и глух, а половина сената уже подкуплена, и вся армия на стороне заговорщиков. И странное дело — Жозеф Фуше, который, как всем известно, всегда встает очень рано и первым появляется у себя в министерстве, именно 18 брюмера, в день наполеоновского переворота, охвачен изумительным, глубочайшим утренним сном. Он охотно проспал бы весь день, но два посланца из Директории поднимают его с постели и сообщают беспредельно изумленному министру о странных происшествиях в сенате, о сборе отрядов и явном перевороте. Жозеф Фуше протирает глаза и прикидывается, как полагается, пораженным (несмотря на то, что он накануне вечером совещался с Бонапартом). Но, к сожалению, продолжать спать или притворяться спящим уже невозможно. Министру полиции приходится одеться и пойти в Директорию, где его грубо встречает президент Гойэ, который не дает ему больше разыгрывать комедию изумления. «Ваш долг был, — набрасывается Гойэ на Фуше, — оповестить нас об этом заговоре, и, без сомнения, ваша полиция могла бы своевременно узнать о нем». Фуше спокойно проглатывает эту грубость и, словно самый преданный исполнитель, просит дальнейших указаний. Но Гойэ резко обрывает его: «Если Директория найдет нужным приказывать, она обратится к людям, достойным ее доверия». Фуше улыбается про себя: этот глупец еще не знает, что его Директория уже давно не имеет сил приказывать; что из пяти ее членов двое уже изменили, а третий подкуплен! Но зачем учить глуп-

цов? Он холодно откланивается и отправляется на свое место.

Но где его место, Фуше, собственно говоря, еще не знает,— он министр полиции старого или нового правительства, в зависимости от того, кто победит. Лишь на следующие сутки решается исход борьбы между Директорией и Бонапартом. Первый день начался для Бонапарта удачно: сенат, подогретый обещаниями и хорошо подмазанный взятками, исполняет все желания Бонапарта: назначает его командующим войсками и переносит заседание нижней палаты, Совета Пятисот, в Сен-Клу, где нет ни рабочих батальонов, ни общественного мнения, ни «народа», а имеется лишь прекрасный парк, который можно герметически закупорить двумя отрядами гренадеров. Но это еще не означает выигрыша всей партии, ибо среди «Пятисот» есть десяток-другой несносных парней, которых не удастся ни подкупить, ни запугать; найдутся, пожалуй, и такие, которые будут с кинжалом или пистолетом в руках защищать республику от претендента на престол. При таком положении надо держать в порядке свои нервы, не давать себя увлечь ни симпатиям, ни тем более таким пустякам, как присяга, а сохранять спокойствие, выжидать, быть настороже, пока не настанет решительный час.

И Фуше сохраняет спокойствие. Едва Бонапарт выступил во главе конницы по направлению к Сен-Клу, едва последовали за ним в экипажах главные заговорщики, Галейран, Сийес и десятка два других, как вдруг, по приказанию министра полиции, на всех парижских заставах опускаются шлагбаумы. Никто не смеет покидать города, никто не смеет входить в него, кроме курьеров министра полиции. Никто из восьмисот тысяч жителей, кроме этого энергичного человека, не должен знать, удался или не удался переворот. Каждый полчаса доносит ему курьер о ходе событий, а он все еще не принимает решения. Если победит Бонапарт, то, разумеется, Фуше сегодня же вечером станет его министром и верным слугой; если он потерпит неудачу, Фуше останется верным слугой Директории, готовым спокойно арестовать «мятежника». Известия, которые он получает, довольно противоречивы, ибо в то время как Фуше прекрасно владеет собой, более великий, чем он,— Бонапарт—

теряет всякое самообладание: это 18 брюмера, подарившее Бонапарту европейское самодержавие, остается, словно в насмешку, пожалуй, самым жалким днем в личной жизни этого великого человека. Решительный перед жерлами пушек, Бонапарт всегда теряется, когда ему приходится привлекать людей на свою сторону словами: много лет привыкший командовать, он разучился уговаривать. Он умеет, схватив знамя, скакать впереди своих гренадеров, он умеет разбивать армии. Но этому закаленному солдату не удастся напугать с трибуны нескольких республиканских адвокатов. Много раз описывали, как не знающий поражений полководец, выведенный из равновесия непрерывными репликами депутатов, бормотал наивные и пустые фразы, вроде: «Бог войны за меня», и так позорно сбивался, что друзья поторопились убрать его с трибуны. Только штыки его солдат спасают героя Арколе и Риволи от жалкого поражения, которое едва не нанесли ему несколько крикливых адвокатов. И лишь снова сев на коня и отдав солдатам приказ разогнать собрание, он опять становится повелителем и диктатором, и сознание, что он снова сжимает рукоять своей сабли, вносит уверенность в его смятенную душу.

В семь часов вечера все решено, Бонапарт—консул и самодержец Франции. Будь он побежден или отвергнут, Фуше тотчас бы велел расклеить на всех стенах Парижа патетическую прокламацию: «Подлый заговор раскрыт» и так далее. Но так как победил Бонапарт, то он считает эту победу своим достоянием. Не от Бонапарта, а от господина министра полиции Фуше узнает на следующий день Париж об окончательном падении республики, о начале наполеоновской диктатуры. «Министр полиции извещает своих сограждан,—говорится в этом лживом сообщении,— что, когда Совет собрался в Сен-Клу для обсуждения дел республики и генерал Бонапарт явился в Совет Пятисот, чтобы разоблачить революционные козни, он едва не стал жертвой убийцы. Но гений республики спас генерала. Пусть республиканцы сохраняют спокойствие... ибо их желания теперь сбываются... пусть успокоятся слабые — они находятся под защитой сильных... и только те должны бояться, кто сеет беспокойство, смущает общественное мнение и под-

готовазливает беспорядки. Приняты все меры, чтобы подавить смутьянов».

Снова Фуше чрезвычайно удачно применяется к обстоятельствам. И так нагло, так открыто среди бела дня совершается его переход к победителю, что постепенно самые широкие круги начинают разгадывать Фуше. Спустя несколько недель в предместьях Парижа ставится веселая комедия «Флюгер из Сен-Клу»; в этой всемирно понятной и восторженно принятой комедии, где лишь слегка были изменены имена, самым забавным образом высмеивались его беспринципность и осторожность. Фуше в качестве цензора мог бы, конечно, запретить подобное высмеивание своей особы, но, к счастью, он был достаточно умен, чтобы не прибегать к этому. Он совсем не скрывает свой характер или, вернее, его отсутствие; напротив, он даже афиширует свое непостоянство и свою загадочность, потому что это окружает его своеобразным ореолом. Пусть над ним смеются, лишь бы ему подчинялись и боялись его.

Бонапарт — победитель, Фуше — тайный помощник и перебежчик, а Баррас, повелитель Директории, — главная жертва. Ему этот день дает, пожалуй, самый замечательный в мировой истории урок неблагодарности. Ведь оба они, соединенными силами свалившие его и, как назойливому попрошайке, швырнувшие ему миллионную подачку, два года тому назад были его кreatureми, обязанными ему благодарностью, людьми, которых он вывел из ничтожества. Этот добродушный, легкомысленный, никому не мешающий жить, любящий наслаждения *bon homme*<sup>1</sup>, в прямом смысле этого слова подобрал на улице маленького, смуглого, опального и почти уже сосланного артиллерийского офицера Наполеона Бонапарта; он украсил заплатанную шинель Бонапарта генеральскими позументами; в один день сделал его, обойдя всех других, комендантом Парижа, подсунил ему свою любовницу, наполнил карманы деньгами, сделал главнокомандующим итальянской армией и тем самым построил для него мост в бессмертие. Таким же образом он извлек Фуше из грязной мансарды на пятом этаже,

<sup>1</sup> Простак (франц.).

спас его от гильотины и был единственным, кто избавил Фуше от голода в дни, когда все от него отвернулось, а потом создал ему положение и набил карманы золотом. И оба эти человека, обязанные ему всем, спустя два года объединяются, чтобы столкнуть его в ту грязь, из которой он их вытащил. Действительно, мировая история, как ни далека она от кодекса нравственности, не знает более яркого примера неблагодарности, чем поведение Наполеона и Фуше по отношению к Баррасу 18 брюмера.

Однако неблагодарность Наполеона к своему покровителю находит по крайней мере оправдание в его гении. Великая мощь дает ему особые права, ибо гений, стремящийся к звездам, может в случае необходимости и шагать по людям, может пренебрегать мелкими, проходящими явлениями, чтобы следовать более глубокому смыслу, тайному велению истории. Но зато поведение Фуше—это самая обычная неблагодарность абсолютно безнравственного человека, который совершенно откровенно думает только о себе и своей выгоде. Фуше, если это ему нужно, может с ошеломляющей, прямо зловещей быстротой забыть все свое прошлое; дальнейшая его карьера даст еще более удивительные образцы этого своеобразного мастерства. Две недели спустя он посылает Баррасу, человеку, спасшему его от сухой гильотины и от ссылки, формальный приказ об изгнании, предварительно отобрав у него все бумаги: вероятно, среди них были и его собственные прошения о помощи и доносы.

Баррас смертельно обиженный, стискивает зубы; их скрежет еще и теперь слышен в его мемуарах, когда он называет имена Бонапарта и Фуше. Одно только его утешает—то, что Бонапарт оставляет Фуше при себе. Баррас предчувствует: один отомстит за него другому. Они недолго останутся друзьями.

Впрочем, вначале, в первые месяцы их совместной деятельности, гражданин министр полиции преданнейшим образом предоставляет себя в распоряжение гражданина консула. В официальных документах продолжают еще тогда писать «гражданин». Честолюбие Бонапарта пока удовлетворено званием первого гражданина республики. В те годы, взявшись за решение грандиозной

задачи, с которой не смог бы справиться никто другой, он обнаруживает во всей полноте и многогранности свой юношеский гений; никогда образ Наполеона не является более величавым, творческим и гуманным, чем в ту эпоху обновления. Ввести революцию в рамки закона, сохранить ее достижения и вместе с тем смягчить ее крайности, закончить войну победой и придать этой победе подлинный смысл заключением прочного, честного мира—вот те возвышенные идеи, которыми вдохновляется новый герой, действуя с дальнорукостью пронзительного ума и упорным, энергичным трудолюбием страстно, неутомимого работника. Не те годы, о которых повествуют легенды, считающие подвигами лишь кавалерийские атаки, а достижениями—завоевания стран, не Аустерлиц, Эйлау и Вальядолид являются геркулесовыми подвигами Наполеона Бонапарта, а именно те годы, когда потрясенная, истерзанная партийными распрями Франция снова превращается в жизнеспособную страну, когда обесцененные ассигнации приобретают действительную ценность и созданный Наполеоном кодекс придает закону и обычаю железные, но все же человеческие формы, когда этот государственный гений с одинаковым совершенством оздоравливает все отрасли и органы государственного управления и умиротворяет Европу. Именно эти, а не военные годы являются истинно творческими, и никогда его министры не работали бок о бок с ним честнее, энергичнее и преданнее, чем в ту эпоху. И в Фуше он находит безукоризненного слугу, вполне разделяющего его убеждение, что лучше положить конец гражданской войне, прибегнув к переговорам и уступкам, чем к насилию и казням. За несколько месяцев Фуше восстанавливает в стране полное спокойствие; он уничтожает последние гнезда как террористов, так и роялистов, очищает дороги от грабителей, и его точно действующая и в большом и в малом бюрократическая энергия с готовностью подчиняется обширным государственным планам Бонапарта. Большие и благотворные дела всегда объединяют людей; слуга нашел своего господина, а господин — подходящего слугу.

Можно с точностью до одного дня, до одного часа установить, когда у Бонапарта впервые зарождается не-

доверие к Фуше, хотя в изобилии событий, насыщающих те годы, этот эпизод и оставался обычно незамеченным; его открыл только орлиный взор Бальзака-психолога, умевшего в неприметном распознавать существенное и в *petit détail*<sup>1</sup> — первичный толчок, возбуждающий значительные события; впрочем, он несколько поэтически приукрасил этот случай. Маленькая сценка разыгрывается во время итальянского похода, который должен решить исход борьбы между Австрией и Францией. 20 января 1800 года в Париже собрались взволнованные министры и советники. Курьер привез неблагоприятные известия с фронта при Маренго; он доносит, что Бонапарт разбит наголову, французская армия отступает по всему фронту. Каждый из собравшихся уже подумывает о том, что невозможно оставлять побежденного генерала в должности первого консула, все уже заняты мыслями о его преемнике. Насколько ясно были выражены эти мысли, осталось неизвестным, но меры к подготовке переворота, несомненно, втихомолку обсуждались, и это заметили братья Наполеона. Дальше всех зашел, вероятно, Карно, который хотел было сразу же восстановить старый Комитет общественного спасения; что касается Фуше, то он, по меньшей мере верный своей манере, вероятно, вместо того чтобы поддержать мнимо побежденного консула, хранил осторожное молчание, чтобы иметь возможность, если будет нужно, остаться у старого хозяина или же перейти к новому. Однако на следующий день прибывает другой курьер, с прямо противоположными известиями — о блестящей победе при Маренго: в последний час на помощь Бонапарту подоспел благодаря своей гениальной военной интуиции генерал Дезе и превратил поражение в победу. Во сто раз более сильный, чем перед походом, совершенно уверенный в своем могуществе, возвращается через несколько дней в Париж первый консул — Бонапарт. Без сомнения, он тотчас же узнает, что все министры и лица, пользующиеся его доверием, при первом же известии о поражении были готовы немедленно выкинуть его за борт; первой жертвой падает слишком далеко зашедший Карно — его лишают министерства. Остальные остаются на

---

<sup>1</sup> Мелкой детали (франц.).

своих местах, Фуше в том числе; этот чересчур осторожный человек не обнаружил неверности, хотя еще меньше проявил верности. Он не скомпрометировал себя, но и не отличился, оказавшись таким же, каким был всегда: надежным в счастье и ненадежным в несчастье. Бонапарт не увольняет его, не упрекает, не наказывает. Но с этого дня он ему больше не доверяет.

Этот маленький, почти забытый историей эпизод имел и другие, чисто психологические последствия. Он очень отчетливо напоминает, что правитель, основавший свою власть только на силе оружия и военных победах, неминуемо падет после первого же поражения и что каждый властелин, лишенный наследственных прав на престол, должен непременно и своевременно позаботиться о создании иного, законного основания для сохранения и упрочения своей власти. Сам Бонапарт, сознающий свою силу, наделенный тем непоколебимым оптимизмом, который присущ гениальным натурам в дни их расцвета, мог, пожалуй, и забыть об этом тихом предостережении, но не забыли его братья. Наполеон — и этим слишком часто пренебрегают все его историографы — пришел во Францию не один: его окружает голодный, жаждущий власти семейный клан. Прежде его матери и четверем не пристроенным к делу братьям казалось достаточным, чтобы их опора, их Наполеон женился на дочери богатого фабриканта и дал возможность своим сестрам купить несколько лишних платьев. Но когда он столь неожиданно достиг власти, они все жадно вцепились в него: он должен тащить за собой всю семью; они тоже жаждут величия, они хотят превратить всю Францию, а впоследствии и весь мир в семейную вотчину Бонапартов; их нечистоплотное, ненасытное, не оправданное ни малейшим проблеском гениальности стяжательство назойливо требует от брата, чтобы он принял меры к превращению своей власти, зависящей от благоволения народа, во власть независимую и постоянную, в наследственную королевскую власть. Они требуют, чтобы он основал монархию, чтобы он стал королем или императором; они хотят, чтобы он развелся с Жозефиной и женился на баденской принцессе, не осмеливаясь еще

допустить мысли о браке Наполеона с сестрой царя или одной из дочерей Габсбургов! Своими непрерывными интригами они все больше оттесняют его от старых товарищей, от старых идей, от республики в сторону реакции, от свободы к деспотизму.

Этому вечно интригующему, ненасытному, неприятному клану одиноко и довольно беспомощно противостоит Жозефина, супруга консула. Она знает, что каждый шаг к величию, к самодержавию удаляет от нее Бонапарта, ибо она не может дать королю или императору то, что совершенно необходимо для поддержания династической идеи: наследника, а с ним и прочную власть. Только немногие из советников Бонапарта стоят на ее стороне (у нее нет денег, чтобы давать взятки, она сама кругом в долгах), и тут-то ее самым верным другом оказывается Фуше. Уже давно с недоверием наблюдает он, до каких неожиданных размеров благодаря неожиданным успехам вырастает честолюбие Бонапарта, с каким упорством освобождается он от каждого искреннего республиканца и заставляет преследовать его как анархиста и террориста. Своим острым, недоверчивым взглядом он видит, что, говоря словами Виктора Гюго: «*Déjà Napoléon regardait sous Bonaparte*»<sup>1</sup>, что из-за облика генерала уже выглядывает император, за гражданином угрожающе возникает самодержавный властелин. Для него, навсегда связанного с республикой голосованием против короля, сохранение республики, республиканской формы правления — вопрос жизни и смерти. Поэтому он боится всего, что напоминает монархию, поэтому тайно и явно борется на стороне Жозефины.

Этого клан не может ему простить. И с корсиканской ненавистью они следят за каждым шагом Фуше, чтобы, едва он споткнется, столкнуть в пропасть неудобного человека, мешающего им устраивать свои дела.

Они ждут долго и нетерпеливо. Внезапно появляется возможность подставить ножку Фуше. 24 декабря 1800 года Бонапарт отправляется в оперу, чтобы присутствовать на премьере оратории Гайдна «Сотворение мира»;

---

<sup>1</sup> Из-за Бонапарта уже выглядывал Наполеон (франц.).

вдруг на узкой улице Никез, позади его кареты, взлетает такой сильный фонтан осколков, пороха и мелких пуль, что обломки перелетают через крыши домов: это покушение, пресловутая адская машина. Только бешеная скорость, с какой гнал лошадей его, — как говорят, — пьяный кучер, спасла первого консула, но сорок истерзанных, истекающих кровью прохожих лежат на земле, а карета, как раненый зверь, вздымается на дыбы, подброшенная напором взрывной волны. Бледный, с окаменевшим лицом, продолжает Бонапарт свой путь в оперу, чтобы продемонстрировать свое хладнокровие восторженной публике. С равнодушным, непроницаемым видом внемлет он нежным мелодиям старика Гайдна и с притворным спокойствием благодарит за шумные приветствия, в то время как сидящая рядом с ним Жозефина дрожит от нервного потрясения и не может скрыть слез.

Но то, что это хладнокровие было лишь искусно разыгранной комедией, почувствовали все министры и государственные советники, как только он вернулся из оперы в Тюильри. Его гнев обрушивается главным образом на Фуше; Наполеон неистово набрасывается на бледного, неподвижного министра: он, как министр полиции, давно должен был выследить подобный разговор, но он с преступной снисходительностью щадит своих друзей, своих бывших соучастников — якобинцев. Фуше спокойно возражает, что еще не выяснено, подготовлено ли это покушение якобинцами; он лично убежден, что в этом деле играют главную роль роялистские заговорщики и английские деньги. Но спокойный тон возражений Фуше еще сильнее озлобляет первого консула: «Это якобинцы, террористы, эти вечно мятежные негодяи, сплоченной массой действующие против любого правительства. Эти злодеи готовы принести в жертву тысячи жизней, чтобы убить меня. Но я расправлюсь с ними так, что это послужит уроком для всех им подобных». Фуше осмеливается еще раз высказать свои сомнения. Тут вспыльчивый корсиканец готов уже прямо наброситься на министра, так что Жозефине приходится вмешаться и взять супруга за руку. Но Бонапарт вырывается и в потоке прорвавшихся слов перечисляет Фуше все убийства и преступления якобинцев — сентябрьские дни в Париже, республиканские кровавые ночи в Нанте, резню заклю-

ченных в Версале,—явный намек на Mitrailleur de Lyon, на его собственное прошлое. Но чем больше горячится Бонапарт, тем упорнее молчит Фуше. Ни один мускул не дрогнул на его непроницаемом лице, пока сыпались обвинения, пока братья Наполеона и придворные насмешливо перемигивались, глядя на министра полиции, который, наконец, попался. С ледяным спокойствием отвергает он все подозрения и невозмутимо покидает Тюильри.

Его падение кажется неизбежным. Наполеон остается глухим ко всем уговорам Жозефины, защищающей Фуше. «Разве он сам не был одним из их вождей? Разве мне неизвестны его проделки в Лионе и на Луаре? Только Лион и Луара могут объяснить мне поведение Фуше!» — гневно восклицает он. Уже стараются угадать имя нового министра полиции, придворные уже начинают презрительно третировать опального Фуше, уже кажется, как часто случалось и раньше, что он окончательно устранен.

В последующие дни положение не улучшается. Бонапарт продолжает утверждать, что это покушение—дело рук якобинцев, он требует принятия решительных мер, строгого наказания виновных. И когда Фуше намекает Наполеону и остальным, что он подозревает кое-кого другого, его встречают насмешками и презрением; все глупцы смеются и издеваются над простоватым министром полиции, не желающим расследовать это ясное дело; все его враги торжествуют, видя, как он упорно настаивает на своей ошибке. Фуше никому не отвечает. Он не спорит, он молчит. Он молчит две недели, молчит и беспрекословно повинуется даже тогда, когда ему приказывают составить список ста тридцати радикалов и бывших якобинцев, подлежащих изгнанию, отправке в Гвиану, на «сухую гильотину». Не моргнув глазом, он составляет декрет, которым предает суду последних монтаньяров, последних деятелей «горы», последователей его друга Бабефа—Топино и Арена, единственное преступление которых заключается в том, что они публично заявили, что Наполеон наградил в Италии несколько миллионов, с помощью которых хочет купить власть.

Не вмешиваясь, скрывая свои мнения, он наблюдает, как изгоняют одних и казнят других; он молчит, как священник, связанный тайной исповеди, с замкнутыми устами присутствующий при осуждении невинного. Ибо Фуше давно уже попал на след, и пока другие насмеваются над ним, а сам Бонапарт ежедневно иронически упрекает его за глупое упорство, он собирает в своем, доступном лишь для немногих, кабинете неоспоримые доказательства того, что покушение в действительности подготовлено шуанами—королевской партией. Встречая с холодным, вялым и равнодушным видом многочисленные нападки в Государственном совете и приемных Тюильри, Фуше лихорадочно работает с самыми лучшими агентами в своей секретной комнате. Обещаны громадные награды, все шпионы и сыщики Франции подняты на ноги, весь город привлекается в качестве свидетеля. Уже опознана разорванная на куски кобыла, привезшая адскую машину, и найден ее бывший хозяин, уже подробно описаны люди, купившие ее, уже установлены благодаря мастерски составленной *biographie chouannique*<sup>1</sup> (созданный по замыслу Фуше регистр всех эмигрантов и роялистов, всех шуанов, содержащий подробные сведения о каждом из них) имена преступников, а Фуше все еще продолжает хранить молчание. Он все еще стойчески разрешает издеваться над собой, и враги его торжествуют. Все быстрее ткуются последние нити, образующие неразрывную сеть; еще несколько дней—и ядовитый паук будет пойман. Еще несколько дней! Ибо Фуше, задетый в своем честолюбии, униженный в своей гордости, стремится не к маленькой, посредственной победе над Бонапартом и всеми, кто упрекает его в неосведомленности,—он хочет полного, сокрушительного триумфа, он хочет иметь свое Маренго.

И вот спустя две недели он внезапно наносит удар. Заговор окончательно раскрыт, все следы преступления выяснены. Зачинщиком был, как и предполагал Фуше, самый грозный из всех шуанов — Кадудаль, а его подручными — заклятые роялисты, купленные на английские деньги. Как удар молнии, поражает это сообщение его

<sup>1</sup> Биографии шуанов (франц.).

врагов. Они видят, что напрасно и несправедливо были осуждены сто тридцать человек, что слишком рано, слишком нагло издевались они над этим непроницаемым человеком. Еще более сильным, более уважаемым и более грозным, чем когда-либо, становится для общества непогрешимый министр полиции. С гневом и удивлением глядит Бонапарт на железного калькулятора, снова доказавшего правильность своих хладнокровных расчетов. Он должен нехотя согласиться: «Фуше рассудил лучше многих других. Он прав. Нужно зорко следить за вернувшимися эмигрантами, за шуанами и всеми принадлежащими к этой партии». Фуше благодаря этому делу приобрел в глазах Наполеона большой вес, но не любовь. Никогда самодержцы не бывают благодарны человеку, обнаружившему их ошибку или несправедливость, и бессмертным остается рассказ Плутарха о солдате, который спас жизнь королю во время сражения и, вместо того чтобы бежать, как правильно советовал ему мудрец, остался, рассчитывая на благодарность короля: он поплатился за это головой. Короли не любят тех, кто был свидетелем их бесчестия, и деспотические натуры не терпят советников, которые хоть раз оказались умнее их.

В такой узкой области, как полицейская деятельность, Фуше достиг наивысшего триумфа. Но как ничтожен этот триумф по сравнению с триумфом Бонапарта в последние два года консульства! Ряд своих побед этот диктатор увенчал прекраснейшей победой — заключением мира с Англией, конкордатом с церковью; эти самые могущественные властители мира благодаря его энергии, его творческому расчету ныне уже не враги Франции. Страна умиротворена, финансы приведены в порядок, положен конец партийным распрям, все противоречия смягчены. В стране растет изобилие, промышленность развивается вновь, оживают искусства, настал век Августа, и уже недалек час, когда Август сможет именоваться Цезарем. Фуше, который знает каждое побуждение и каждую мысль Бонапарта, ясно видит, куда метит честолюбивый корсиканец: его уже не удовлетворяет роль главы республики, и он стремится навсегда

превратить спасенную им страну в свою личную собственность и собственность своей семьи. Консул республики, конечно, никогда не выказывает публично свои отнюдь не республиканские честолюбивые намерения, но при случае дает понять своим наперсникам, что хотел бы получить от сената выражение благодарности в форме особого акта доверия, *témoignage éclatant*<sup>1</sup>. В глубине души он жаждет иметь своего Марка Антония — надежно, верно слугу, который потребовал бы для него императорскую корону, и Фуше, хитроумный и гибкий, мог бы теперь заслужить вечную благодарность Наполеона.

Но Фуше отказывается от этой роли или, вернее, он не отказывается от нее открыто, но с притворной услужливостью старается исподтишка пресечь эти намерения. Он противник братьев Наполеона, противник клана Бонапартов, он на стороне Жозефины, объятай страхом и беспокойством перед этим последним шагом ее мужа на пути к престолу; она знает, что тогда ей недолго придется оставаться его супругой. Фуше предостерегает ее от открытого сопротивления. «Сохраняйте спокойствие,— советует он ей,— вы напрасно становитесь поперек дороги вашему супругу. Ваши опасения ему надоедают, а мои советы он принял бы за оскорбление». Фуше, верный своей природе, пытается тайно помешать исполнению этих честолюбивых желаний. Он пользуется тем, что Бонапарт, побуждаемый притворной скромностью, не высказывается открыто, и когда сенат собирается предложить Бонапарту *témoignage éclatant*, Фуше, как и некоторые другие, нашептывает сенаторам, что великий человек, будучи верным республиканцем, желает лишь продолжения срока консульства на десять лет. Сенаторы, убежденные, что почтят и обрадуют этим Бонапарта, торжественно принимают соответствующее решение. Но Бонапарт, который понимает коварную игру и прекрасно знает, кто ею руководит, приходит в ярость, когда ему преподносят этот ненужный ему, нищенский дар. Депутация встречена полным равнодушием. Когда мысленно уже ощущаешь на челе холодок золотой короны, тогда эти десять ничтожных лет представляются пустым орехом, который с презрением топчешь ногой.

---

<sup>1</sup> Неопровержимого доказательства (франц.).

Наконец Бонапарт сбрасывает личину скромности и ясно выражает свою волю — пожизненное консульство! И под тонким покровом этого понятия уже просвечивает видимая каждому зрячему грядущая императорская корона. И так велика в эту эпоху сила Бонапарта, что народ миллионным большинством голосов претворяет его желание в закон и избирает его (как полагают они и он) пожизненным властелином. С республикой покончено — нарождается монархия.

Клика братьев и сестер, корсиканский семейный клан, не забывает, что Жозеф Фуше препятствовал исполнению желания нетерпеливого претендента на престол. И, теряя терпение, они торопят Бонапарта избавиться от неприятного стремянного, — ведь он теперь достаточно крепко сидит в седле. К чему, говорят они, когда страна единодушно согласилась признать его пожизненным консулом, когда все противоречия благополучно разрешены и раздоры устранены, — к чему нужен этот слишком ревностный надзиратель, который следит не только за страной, но и за их собственными темными проделками? Долой его! Покончить с ним, отстранить этого вечного интригана, постоянно чинящего препятствия! Беспреданно, нетерпеливо, упорно и настойчиво уговаривают они все еще колеблющегося брата.

Бонапарт в глубине души согласен с ними. И ему мешает этот слишком осведомленный и постоянно пополняющий свою осведомленность человек, эта серая тень, ползущая за его сиянием. Но нужен серьезный предлог, чтобы отстранить министра, который так отличился, который пользуется в стране неограниченным уважением. Кроме того, этот человек одновременно с ним вошел в силу, и потому лучше не делать из него открытого противника. Он посвящен во все секреты, ему угрожающе хорошо известны все, подчас нечистоплотные, интимные дела корсиканского клана, поэтому не следует его грубо оскорблять. И вот придумывают ловкий, тонкий предлог, который дает возможность не придавать отстранению Фуше характера немилости: министра Жозефа Фуше вовсе не увольняют, но он так мастерски исполнял свои обязанности, что ныне учреждение по надзору за гражда-

нами является излишним и министерство полиции можно упразднить. Итак, упраздняют не министра, а министерство, то есть место, которое занимал Фуше, а тем самым, естественно, и его самого.

Чтобы смягчить чувствительность жестокого удара, которым его выставляют за дверь, отставку облачают в осторожную форму. Утрату поста ему возмещают назначением в сенаторы, и письмо, в котором Бонапарт сообщает об этом повышении в должности отставленному министру, звучит таким образом: «...исполнившего должность министра полиции в самые тяжелые годы талант, энергия и преданность государству гражданина Фуше всегда соответствовали требованиям, выдвигаемым событиями. И, предоставляя ему место в сенате, правительство помнит, что, если настанет время, когда снова понадобится министр полиции, оно не найдет человека, более достойного его доверия». Кроме того, зная, как прочно примирился бывший коммунист со своим прежним врагом — деньгами, Бонапарт строит для него великолепный золотой мост к отставке. И когда при ликвидации дел министр представляет два миллиона четыреста тысяч франков как остаток упраздненного фонда полиции, Бонапарт попросту дарит ему половину суммы — другими словами, миллион двести тысяч франков. Кроме того, обращенный враг денег, десять лет тому назад иступленно громивший «грязный и развращающий металл», получает в качестве прибавки к титулу сенатора майорат Экс — маленькое княжество, простирающееся от Марсея до Тулона и оцененное в десять миллионов франков. Бонапарт изучил Фуше; он знает эти беспокойные руки азартного интригана, и так как их трудно связать, он предпочитает нагрузить их золотом. История знает немного случаев, когда министра увольняли с большими почестями, а главное, с большими предосторожностями, чем Жозефа Фуше.

## МИНИСТР ИМПЕРАТОРА

1804—1811



**В** 1802 году Жозеф Фуше, или, вернее, его превосходительство господин сенатор Жозеф Фуше, по настойчивому, хотя и мягко выраженному желанию первого консула снова входит в частную жизнь, из которой он вышел десять лет тому назад. Это было невероятное десятилетие, человекоубийственное и роковое, преобразившее мир и смертельно опасное, но Жозеф Фуше сумел его отлично использовать. Теперь он не скрывается, как в 1794 году, в нетопленной, жалкой мансарде под самой крышей, а покупает красивый, хорошо обставленный дом на улице Черутти, принадлежавший, вероятно, некогда одному из «подлых аристократов» или «гносных богачей». В Ферьере, будущей резиденции Ротшильдов, он устраивает себе великолепное местечко для летнего отды-

ха, получая аккуратно высылаемые доходы майората Экс, своего княжества в Провансе. Да и вообще он образцово владеет благородным искусством алхимиков делать из всего золото. Его подопечные на бирже принимают его в долю, он выгодно расширяет свое имение,— проходит еще несколько лет, и человек, подписавший первый коммунистический манифест, становится вторым по богатству гражданином Франции, самым крупным землевладельцем в стране! Лионский тигр превратился в настоящего запасливого хомяка, умного, бережливого капиталиста, искусного процентщика. Это фантастическое богатство политического выскочки не изменяет его врожденной нетребовательности, закаленной суровой монастырской дисциплиной. Владея пятнадцатью миллионами, Жозеф Фуше живет едва ли иначе, чем в то время, когда он с трудом мог наскрести, обитая в своей мансарде, необходимые ему ежедневно пятнадцать су; он не курит, не пьет, не играет в карты, не тратит денег на женщин и на удовлетворение тщеславия. Словно добропорядочный сельский дворянин, он мирно прогуливается по лугам со своими детьми,— после двух первых, погибших от лишений, у него родилось еще трое,— устраивает время от времени маленькие приемы, слушает музыку, которой друзья развлекают его жену, читает книжки и наслаждается умными разговорами; где-то внутри, на недостижимой глубине, таится в этом рассудительном, ширококостном буржуа дьявольская страсть к азартной политической игре, страсть к напряжению и опасностям большой, всемирной игры. Его соседи ничего не замечают, они видят только честного помещика, прекрасного отца семейства, нежного супруга. И никто из людей, не знавших Фуше по службе, не подозревает, что под этой приветливой молчаливостью скрывается с трудом подавляемая страсть, влекущая его снова вырваться вперед, снова во все вмешаться.

О власть с ее взглядом Медузы! Кто однажды взглянул ей в лицо, тот не может более отвести глаз: он остается зачарованным и плененным. Кто хоть раз испытал хмельное наслаждение власти и повелевания, уже не в состоянии от нее отказаться. Перелистайте мировую историю, отыскивая примеры добровольного отречения: кроме Суллы и Карла V, из тысяч и десятков тысяч едва

ли найдется десяток людей, которые, пресытившись, в ясном уме отказались бы от почти кощунственной страсти играть роль судьбы для миллионов себе подобных. Так же точно, как игрок не может отказаться от игры, пьяница от питья, браконьер от охоты, так и Жозеф Фуше не может отойти от политики. Покой тяготит его, и в то время как он весело, с хорошо разыгранным равнодушием подражает Цинциннату, идущему за плугом, у него уже горят пальцы и трепещут нервы от желания вновь схватить политические карты. Хотя и отставленный, он добровольно продолжает нести полицейскую службу и для упражнения в письме, для того чтобы не быть окончательно забытым, еженедельно посылает первому консулу тайную информацию. Это забавляет его, занимает его ум интригана, ни к чему не обязывая, но не дает ему подлинного удовлетворения. Его мнимое отстранение от всего — это не что иное, как лихорадочное ожидание минуты, когда можно будет, наконец, вновь схватить узду в свои руки, почувствовать власть над людьми, власть над судьбой мира!

Бонапарт видит по многим признакам, как нетерпеливо рвется вперед Фуше, но предпочитает не замечать этого. Пока он может держать вдали от себя зловеще умного, зловеще работоспособного человека, он оставит его в тени; с тех пор как обнаружилось, какая самовластная сила таится в этом скрытном человеке, Фуше принимает на службу лишь тот, кому он крайне необходим и к тому же для самого опасного дела. Консул оказывает ему всевозможное благоволение, пользуется им для различных дел, благодарит его за хорошую информацию, приглашает его время от времени в Государственный совет, а главное, предоставляет ему возможность зарабатывать и обогащаться, чтобы он вел себя спокойно; и только одному он упорно противится, пока это возможно: дать ему снова назначение и возродить министерство полиции. Пока Бонапарт силен, пока он не делает ошибок, он не нуждается в таком сомнительном и слишком умном слуге.

К счастью для Фуше, Бонапарт, однако, совершает ошибки. И прежде всего ту всемирно-историческую, непростительную ошибку, что больше не удовлетворяется тем, что он Бонапарт, и, кроме уверенности в себе самом,

кроме торжества своей исключительности, жаждет еще тусклого блеска наследственной власти и пышности титула. Тот, кому некогда было бояться благодаря своей силе, своей неповторимо могучей личности, пугается теней прошлого — жалкого ореола изгнанных Бурбонов. И, побуждаемый Галейраном, нарушая международное право, он отдает жандармам приказ доставить из нейтральной области герцога Энгиенского и велит расстрелять его — поступок, для которого Фуше подыскал знаменитые слова: «Это — более чем преступление, это — ошибка». Эта казнь создает вокруг Бонапарта безвоздушное пространство, наполненное страхом и ужасом, негодованием и ненавистью. И вскоре он сочтет нужным снова укрыться под покров тысячеглазого Аргуса, — под защиту полиции.

И затем, — это самое важное, — в 1804 году консул Бонапарт снова нуждается в ловком и беззастенчивом помощнике для своего наивысшего взлета. Ему опять нужен стремянный. То, что два года тому назад казалось крайним пределом честолюбивых мечтаний — пожизненное консульство, — представляется теперь ему, высоко вознесшемуся на крыльях успеха, уже недостаточным. Он уже не хочет быть только первым гражданином среди других граждан, а хочет быть господином и владыкой над подданными; он страстно желает охладить горячий лоб золотым обручем императорской короны. Но, кто хочет стать Цезарем, нуждается в Антонии, и хотя Фуше долго играл роль Брута (а раньше даже роль Катилины), однако, изголодавшись за два года политического поста, он теперь охотно готов выудить императорскую корону из того болота, в которое превратился сенат. Приманкой служат деньги и добрые обещания. И вот мир наблюдает редкостное зрелище: бывший председатель якобинского клуба, ныне ставший его превосходительством, обменивается в коридорах сената подозрительными рукопожатиями и до тех пор настаивает и шептывает, пока несколько услужливых византийцев не внесут предложения «создать такое учреждение, которое навсегда бы разрушило надежды заговорщиков, гарантируя непрерывность правления за пределами жизни носителя «власти». Если вскрыть напыщенную оболочку этой фразы, то обнаруживается ее ядро — намерение превра-

тить пожизненного консула Бонапарта в наследственного императора Наполеона. Вероятно, перу Фуше (которое одинаково хорошо пишет и елеем и кровью) принадлежит та холопски рабелепная петиция сената, которая приглашает Бонапарта «завершить дело его жизни, придав ему бессмертие». Немногие более усердно содействовали окончательной гибели республики, чем Жозеф Фуше из Нанта, бывший депутат Конвента, бывший председатель якобинского клуба, *Mitrailleur de Lyon*, боровшийся с тиранами и некогда самый республиканский из республиканцев. И так же, как раньше гражданину Фуше получил назначение от гражданина консула Бонапарта в 1804 году, его превосходительство господин сенатор Фуше после двух лет золотого изгнания назначается его величеством императором Наполеоном снова на пост министра. В пятый раз Жозеф Фуше приносит присягу на верность: впервые он присягал еще королевскому правительству, второй раз республике, третий — Директории, четвертый — консульству. Но Фуше только сорок пять лет: как много времени остается еще для новых присяг, новой верности и новых измен! И со свежими силами бросается он снова в бурные волны излюбленной стихии, присягнувший новому императору, но верный только своей собственной беспокойной страсти.

В течение десяти лет на сцене мировой истории, или, вернее, на заднем ее плане, противостоят они друг другу — Наполеон и Фуше, связанные судьбой, вопреки их обоюдному инстинктивному противодействию. Наполеон не любит Фуше, Фуше не любит Наполеона. Несмотря на взаимную тайную неприязнь, они пользуются друг другом, связанные только притяжением противоположных полюсов. Фуше хорошо знает великий и опасный демонический дух Наполеона; он знает, что еще в течение десятков лет мир не создаст подобного гения, столь достойного того, чтобы ему служить. Наполеон, со своей стороны, знает, что никто так стремительно быстро не понимает его, как этот трезвый, ясный, все зеркально отражающий взгляд шпиона, как этот работающий, равно пригодный и для самого лучшего и для самого худшего политический талант, которому недостает только од-

ного, чтобы быть вполне совершенным слугой: безусловной преданности, верности.

Ибо Фуше никогда не будет ничьим слугой и всего менее лакеем. Никогда не поступится он целиком своей духовной независимостью, своей собственной волей ради чужого дела. Напротив: чем больше бывшие республиканцы, перерядившиеся ныне в дворян, покоряются сиянию, исходящему от императора, чем быстрее они превращаются из советников в льстецов и прихлебателей, тем все больше выпрямляется спина Фуше. Разумеется, теперь уже невозможно открыто возражать, прямо противопоставлять свое мнение неуступчивому императору, все более усваивающему повадки самодержца: ведь в Тюильрийском дворце уже давно устранены товарищеская откровенность, свободный обмен мнениями между гражданами; император Наполеон, который своим старым боевым товарищам и даже собственным братьям (как, должно быть, это их веселит!) разрешает обращаться к себе не иначе, как *Sire*<sup>1</sup>, и ни одному смертному, за исключением жены, не позволяет говорить себе «ты», не желает больше выслушивать советов своих министров. Бывало, гражданин министр Фуше входил к гражданину консулу Бонапарту в помятом жабо, с открытым воротом; теперь не то — теперь министр Жозеф Фуше отправляется на аудиенцию к императору Наполеону затянутый в пышный придворный мундир, с вышитым золотом высоким воротом, туго облегающим шею, в черных шелковых чулках и блестящих башмаках, увешанный орденами, со шляпой в руке. «Господин» Фуше должен сперва почтительно склониться перед былым товарищем, соучастником в заговоре, прежде чем обратиться к нему со словами: «Ваше величество». С поклоном он должен войти, с поклоном — выйти и, вместо того, чтобы вести интимную беседу, должен без возражений выслушивать отрывисто даваемые приказания. Не может быть никаких возражений против суждений этого самого энергичного из всех волевых людей.

По крайней мере никаких открытых возражений. Фуше слишком хорошо знает Наполеона, чтобы в случае расхождения во мнениях и желаниях навязывать ему

---

<sup>1</sup> Государь (франц.).

свои. Он позволяет, чтобы ему приказывали, командовали им, как и всеми другими льстивыми и раболепными министрами императорской эпохи, но с той маленькой разницей, что он не всегда повинуется этим приказаниям. Если он получает приказание произвести аресты, которых сам не одобряет, то он либо потихоньку предупреждает опальных, либо, если уж необходимо их наказать, повсюду подчеркивает, что это происходит не по его собственному желанию, а исключительно по приказу императора. Наоборот, поощрения и любезности он расточает всегда как исходящие от его милости. Чем более властно ведет себя Наполеон — и действительно достойно изумления, как этот от природы властолюбивый темперамент по мере расширения своего могущества становится все неудержимее и самодержавнее, — тем любезней и смиренней держит себя Фуше. И, таким образом, не произнося ни слова против императора, прибегая лишь к легким намекам, улыбкам, умалчиваниям, он один образует явную и вместе с тем совершенно неуловимую оппозицию новому правителю божьей милостью. Он сам уже давно не берет на себя опасный труд высказывать истины; он знает, что императорам и королям, даже если они раньше назывались Бонапартами, подобные вещи не по душе. Только контрабандой, исподтишка он иногда злобно подсовывает в своих ежедневных донесениях откровенные высказывания. Вместо того чтобы сказать «я думаю», «я полагаю» и получить нагоняй за эту самостоятельность мнений и суждений, он пишет в рапортах «говорят» или «один посланник сказал»; таким способом в ежедневный трюфельный паштет пикантных новостей ему удается подсыпать несколько зернышек перца по поводу императорской семьи. С побелевшими губами должен читать Наполеон сообщения о лозорных и грязных похождениях своих сестер, записанные в качестве «зловредных слухов», и едкие, злые отзывы о себе самом, меткие, острые замечания, которыми ловкое перо Фуше намеренно приправляет бюллетень. Не произнося ни слова, дерзкий слуга преподносит время от времени своему неприветливому господину горькие истины и следит, вежливо и бесстрастно присутствуя при чтении, как суровый господин силится проглотить их. Это маленькая месть Фуше лейтенанту Бонапарту, кото-

рый, надев императорский мундир, желает, чтобы его прежние советники стояли перед ним трепеща и согнув спину.

Совершенно очевидно: эти два человека отнюдь не симпатизируют друг другу. Как Фуше для Наполеона не слишком приятный слуга, так и Наполеон не слишком приятный господин для Фуше. Не было случая, чтобы к полицейским донесениям, которые кладут ему на стол, Наполеон отнесся спокойно и доверчиво. Он исследует своим орлиным взором каждую строчку, подмечая малейшую неувязку, пустейшую ошибку; тут он обрушивается на своего министра и, в порыве неудержимо вспыхивающего корсиканского темперамента, бранит его, как школьника. Коллеги из совета министров и все подслушивавшие у дверей и заглядывавшие в замочную скважину единодушно утверждают, что именно хладнокровие, с которым возражал Фуше, раздражало императора. Но это совершенно ясно даже помимо их свидетельств (все мемуары того времени следует читать с лупой в руках), потому что даже в письмах слышно, как гремит его суровый, резкий, начальственный голос. «Я нахожу, что полиция недостаточно строго следит за прессой», — поучает он старого, испытанного мастера своего дела, либо дает ему нагоняй: — «Можно подумать, что в министерстве полиции не умеют читать, — там ни о чем не заботятся». Или: «Я ставлю вам на вид, чтобы вы держались в рамках вашей деятельности и не вмешивались во внешние дела». Наполеон беспощадно пробирает Фуше, — об этом свидетельствуют сотни показаний, — даже в присутствии посторонних, перед адъютантами и Государственным советом и в припадке гнева не останавливается даже перед тем, чтобы напомнить ему о Лионе, о его террористической деятельности, называет его царубийцей и изменником. Но Фуше, холодный, как лед, наблюдатель, за десять лет в совершенстве изучивший весь механизм этих гневных вспышек, отлично знает, что иногда они действительно закипают произвольно в крови этого горячего человека, но что порой Наполеон разыгрывает их, как актер, вполне сознательно, и Фуше не дает себя запугать ни истинными, ни театральными бурями, не так, как австрийский министр Кобенцль, который за-

дрожал от страха, когда император швырнул ему под ноги драгоценную фарфоровую вазу. Фуше не позволяет себя смутить ни искусственно разбрызганными вспышками гнева, ни действительными приступами бешенства, и в то время как на него обрушивается целый поток резких слов, его белое, как мел, похожее на маску лицо непроницаемо: ни единое движение, ни единый нерв не выдают его волнения. И только когда Фуше выходит из комнаты, на его тонких губах змеится ироническая или влая улыбка. Он не дрожит даже, когда император кричит ему: «Вы изменник, я бы должен был приказать расстрелять вас», — и отвечает обычным деловым тоном, не повышая голоса: «Я не разделяю вашего мнения, Sire». Сотни раз слышит он, что его увольняют, грозят изгнанием, отстранением от должности, и тем не менее удаляется совершенно спокойно, вполне уверенный, что на следующий день император снова призовет его. И он всегда оказывается прав. Потому что, несмотря на все свое недоверие, свой гнев и тайную ненависть, Наполеон в течение целого десятилетия, до самого последнего часа не может окончательно избавиться от Фуше.

Эта власть Фуше над императором, составлявшая загадку для всех его современников, не заключает в себе, однако, ничего магического и гипнотического. Эту власть Фуше приобрел благодаря своему упорству, ловкости и систематическому наблюдению. Фуше многое знает, даже слишком многое. Он знает все тайны императора не только вследствие общительности последнего, но и против его желаний и держит в руках как все государство, так и своего господина благодаря своей безграничной, почти магической осведомленности. От супруги императора Жозефины ему известны наиболее интимные детали его супружеского ложа; от Барраса — каждый шаг, сделанный им по винтовой лестнице успеха; благодаря своим личным связям с денежными людьми Фуше контролирует все частные денежные дела императора, от него не укрываются ни грязные подробности из жизни членов семьи Бонапартов, ни игорные проделки его братьев, ни распутные похождения Полины. Равным образом для него не составляют тайны и супружеские измены его господина. Если в одиннадцать часов вечера закутанный в чужой плащ Наполеон, которо-

го трудно узнать, пробирается через потайной выход Тюильрийского дворца к своей возлюбленной, наутро Фуше уже знает, куда поехал экипаж императора, сколько времени пробыл он в названном доме, когда вернулся; он даже имел однажды возможность пристыдить властелина мира, сообщив ему, что его избранница обманывает его, самого Наполеона, с каким-то незадачливым актриской. С каждого значительного документа, имеющегося в кабинете императора, благодаря подкупленному секретарю снимается копия, попадающая затем к Фуше, и некоторые лакеи, как высокопоставленные, так и просто лакеи, ежемесячно получают добавку к жалованью из тайной кассы министра полиции в награду за надежные сообщения обо всех дворцовых разговорах. Днем и ночью за столом и в постели находится Наполеон под наблюдением своего слишком ревностного слуги; от него нельзя скрыть ни одной тайны, и, таким образом, император вынужден волей-неволей доверяться ему. И эта осведомленность обо всем и вся дает Фуше ту власть над людьми, которая так поражала Бальзака.

Но столь же старательно, как следит Фуше за всеми делами, намерениями и высказываниями императора, стремится он скрыть от Наполеона свои собственные планы. Фуше никогда не поверяет ни императору, ни кому-либо другому своих подлинных намерений и занятий; из колоссальных запасов сведений, которыми он располагает, он показывает лишь те, которые хочет показать, все остальное находится под замком, в ящике письменного стола министра полиции. В эту последнюю щитадель Фуше не разрешает никому заглядывать: его единственная страсть, его высокое наслаждение — оставаться неразгаданным, непроницаемым, непонятным — качество, которым никто не обладал в такой мере, как он. Поэтому совершенно напрасно приставляет к нему Наполеон нескольких шпионов, — Фуше дурачит их или даже использует, чтобы передать через них обманутому патрону совершенно лживые, дезориентирующие сведения. С годами эта игра в шпионаж и контршпионаж становится все более коварной, накаляемой ненавистью, а их отношения откровенно натянутыми. Да, атмосфера действительно чрезвычайно сгустилась вокруг этих двух

людей, из которых один слишком сильно желает быть господином, а другой совсем не желает быть слугой. Чем сильнее становится Наполеон, тем все более тяготит его Фуше. Чем сильнее становится Фуше, тем все более ненавистным делается для него Наполеон.

Фоном для этого личного соперничества двух различных индивидуальностей служит непрерывно, невероятно нарастающее общее напряжение тех лет. С каждым годом все отчетливее обнаруживаются во Франции два противоположных стремления: страна желает, наконец, мира, а Наполеон жаждет все новых и новых войн. В 1800 году Бонапарт, наследник революции, облекший ее в форму законности, был в полном согласии со своей страной, народом и министрами; Наполеон 1804 года, император нового десятилетия, давно уже перестал думать о своей стране, о своем народе и помышляет лишь о Европе, о целом мире, о бессмертии. После того как он мастерски разрешил одну поставленную перед ним задачу, он ставит себе благодаря избытку сил все новые, все более трудные задачи, и тот, кто превратил хаос в порядок, разрушает дело рук своих, снова ввергая порядок в хаос. Это вовсе не означает, что его ясный и острый, как алмаз, разум потускнел, совсем нет: интеллект Наполеона при всем своем демонизме математически точен и сохраняет величавую ясность до последней секунды, когда, умирающий, дрожащей рукой пишет завещание, это лучшее из своих произведений. Но разум его давно уже утратил чувство меры, да иначе и не могло быть после столь невероятного осуществления невозможного! После таких неслыханных, вопреки всем правилам всемирной игры выигрышей, как было не возникнуть в душе, привыкшей к столь непомерным ставкам, желанию превзойти невероятное еще более невероятным! Наполеон даже во время своих самых безумных походов столь же далек от душевного смятения, как Александр, Карл Двенадцатый или Кортес. Так же, как и они, он благодаря своим неслыханным победам утратил реальную меру возможного, и именно эти безумные порывы при совершенной ясности рассудка — величественные явления природы в царстве разума, столь же прекрасные, как ми-

стральная буря при ясном небе — приводили к тем деяниям, которые, будучи преступлениями одного человека против сотен тысяч, являются в то же время и легендарным обогащением человечества. Поход Александра из Греции в Индию, еще и сейчас представляющийся сказочным, когда воссоздаешь его, проводя пальцем по карте, плавание Кортеса, марш Карла Двенадцатого от Стокгольма до Полтавы, караван в шестьсот тысяч человек, который Наполеон тащит от Испании до Москвы, — все эти великие проявления мужества и в то же время несокомерия представляют в новой истории то же, что битвы Прометея и титанов с богами в греческой мифологии; это преступление и геройство, но, во всяком случае, это почти кощунственный максимум всего, что достижимо на земле. И Наполеон неудержимо стремится к этому крайнему пределу, едва только он почувствовал на челе императорскую корону. Вместе с успехами возрастают его стремления, с победами — его дерзость, с торжеством над судьбой — желание бросить ей еще более дерзкий вызов. Поэтому вполне естественно, что те из окружающих его людей, кто не оглушен фанфарами победных сводок и не ослеплен успехами, такие умные и рассудительные люди, как Талейран и Фуше, приходят в ужас. Они думают о своем времени, о современности, о Франции, а Наполеон думает только о потомках, о легенде, об истории.

Это противоречие между разумом и страстью, между логическим и демоническим характерами, вечно повторяющееся в истории, при наступлении нового столетия явственно проступает во Франции и служит как бы фоном для исторических фигур. Война сделала Наполеона великим, вознесла его из ничтожества на императорский трон. Естественно, что он постоянно стремится к войне и ищет все более крупных и сильных противников. Даже в числовом выражении его ставки растут совершенно фантастически. В 1800 году при Маренго он победил, командуя тридцатью тысячами человек, пять лет спустя он уже выставляет триста тысяч человек, а еще через пять лет вырывает у обескровленной, уставшей от войны страны почти миллион бойцов. Последнему обозному из его войска, самому глупому крестьянину можно было доказать как дважды два четыре, что подобная гиегго-

manie и cougomanie<sup>1</sup> (это слово изобрел Стендаль) должна в конце концов привести к катастрофе, и однажды в разговоре с Меттернихом, за пять лет до московского похода, Фуше произнес пророческие слова: «Когда он вас разобьет, останутся еще только Россия и Китай». Только один человек не понимает этого или умышленно закрывает на это глаза—Наполеон. Для того, кто пережил мгновения Аустерлица, затем Маренго и Эйлау,—мировую историю, втиснутую в два часа,— для того уже более не представляет интереса, не дает удовлетворения принимать на придворных балах лизоблюдов в мундирах, сидеть в празднично разукрашенном оперном театре, выслушивать скучные речи депутатов, нет, уже давно он лишь тогда испытывает нервный подъем, когда, во главе своих войск, продвигаясь форсированным маршем, захватывает целые страны, разбивает армии, небрежным движением пальца перемещает, как шахматные фигуры, королей и ставит на их места других, когда Дом инвалидов превращается в шумящий лес знамен, а вновь учрежденное казначейство наполняется сокровищами, награбленными по всей Европе. Он мыслит только полками, корпусами, армиями; он уже давно рассматривает Францию, всю страну, весь мир только как свою ставку, как безраздельно принадлежащую ему собственность: «La France c'est moi»<sup>2</sup>. Но некоторые из его близких придерживаются в глубине души того мнения, что Франция принадлежит прежде всего себе самой, что ее люди, ее граждане не обязаны делать королями корсиканскую родню, а всю Европу обращать в Бонапартову вотчину. Со все возрастающим неудовольствием видят они, как из года в год к воротам городов прибывают списки рекрутов, как вырывают из семей восемнадцатилетних, девятнадцатилетних юношей, чтобы они бессмысленно погибали на границах Португалии или в снежных пустынях Польши и России, погибали бессмысленно, либо за дело, смысл которого нельзя уже понять. Таким образом, возникает все более ожесточенное противоречие между ним, который следит только за своими путево-

---

<sup>1</sup> Guerre (франц.) — война, cougir (франц.) — бежать; то есть мания войны и походов.

<sup>2</sup> Франция — это я (франц.).

ными звездами, и людьми с ясным взглядом, видящими усталость и нетерпение своей страны. А так как его властный, самодержавный разум не желает выслушивать советов даже от близких, то последние начинают тайно раздумывать над тем, как бы остановить это безумно катящееся колесо и спасти его от неизбежного падения в пропасть. Ибо должна наступить минута, когда разум и страсть окончательно разойдутся и сделаются открытыми врагами, когда вспыхнет борьба между Наполеоном и умнейшими из его слуг.

Это тайное противодействие безграничной страсти Наполеона к войнам объединяет, наконец, двух его советников, наиболее ожесточенно враждовавших между собой: Фуше и Талейрана. Эти два самых способных министра Наполеона — психологически самые интересные люди его эпохи — не любят друг друга, вероятно, оттого, что они во многом слишком похожи друг на друга. Это трезвые, реалистические умы, циничные, ни с чем не считающиеся ученики Макиавелли. Оба выученики церкви, и оба прошли сквозь пламя революции — этой высшей школы, оба одинаково бессовестно хладнокровны в денежных вопросах и в вопросах чести, оба служили одинаково неверно и с одинаковой неразборчивостью в средствах республике, Директории, консульству, империи и королю. Беспрестанно встречаются на одной и той же сцене всемирной истории эти два актера в характерных ролях перебежчиков, одетые то революционерами, то сенаторами, то министрами, то слугами короля, и именно потому, что это люди одной и той же духовной породы, исполняющие одинаковые дипломатические роли, они ненавидят друг друга с холодностью знатоков и затаенной злобой соперников.

Они принадлежат к одному и тому же типу безнравственных людей, но если их сходство проистекает из их характеров, то их различие обуславливается их происхождением. В то время как Талейран, герцог Перигорский, архиепископ Отенский, природный кровный аристократ и князь, уже носит в качестве духовного владыки целой французской провинции фиолетовую мантию, маленький, невзрачный купеческий сын Жозеф Фу-

ше — еще только презренный, ничтожный священник, за несколько су в месяц вдалбливающий в головы дюжины монастырских учеников математику и латынь. Талейран уже был уполномоченным Французской республики в Лондоне и знаменитым оратором Генеральных штатов, Фуше еще только старался раздобыть себе в клубах с помощью лести депутатский мандат. Талейран приходит к революции сверху, как господин из своей кареты, спускаясь на несколько ступенек к третьему сословию, приветствуемый выражениями почтительного восторга, в то время как Фуше с трудом, при помощи всяческих интриг карабкается в ряды этого сословия снизу. В силу этого различия в происхождении общие им обоим главные качества приобретают различную окраску. Талейран, человек с тонкими манерами, исполняет службу с холодной и равнодушной снисходительностью большого барина, Фуше — с ревностным старанием хитрого и честолюбивого чиновника. И в том, в чем оба друг с другом сходны, они в то же время и различны, и если оба любят деньги, то Талейран любит их как аристократ — он любит швырять деньгами за игорным столом и сорить золотом при женщинах, меж тем как Фуше, купеческий сын, любит превращать деньги в капитал, получать барыши и бережливо накапливать. Для Талейрана власть — только средство к наслаждению, она представляет ему лучшую и пристойнейшую возможность пользоваться земными наслаждениями — роскошью, женщинами, искусством, тонким столом, — между тем как Фуше, уже владея миллионами, остается спартанцем и скрягой. Оба не в состоянии окончательно избавиться от следов своего социального происхождения: никогда, даже в дни самого разнузданного террора, Талейран, герцог Перигорский, не может стать истинным сыном народа и республиканцем; никогда Жозеф Фуше, новоиспеченный герцог Отрантский, несмотря на сверкающий золотом мундир, не может стать настоящим аристократом.

Более ослепительным, более очаровательным, может быть, и более значительным из них является Талейран. Воспитанный на изысканной древней культуре, гибкий ум, пропитанный духом восемнадцатого века, он любит дипломатическую игру как одну из многих увлекательных игр бытия, но ненавидит работу. Ему лень собственно-

ручно писать письма: как истый сластолюбец и утонченный сибарит, он поручает всю черновую работу другому, чтобы потом небрежно собрать все плоды своей узкой, в перстнях рукой. Ему достаточно его интуиции, которая молниеносно проникает в сущность самой запутанной ситуации. Прирожденный и вышколенный психолог, он, по словам Наполеона, легко проникает в мысли другого и проясняет каждому человеку то, к чему тот внутренне стремится. Смелые отклонения, быстрое понимание, ловкие повороты в моменты опасности — вот его призвание: презрительно отворачивается он от деталей, от кропотливой, пахнущей потом работы. Из этого пристрастия к минимуму, к самой концентрированной форме игры ума вытекает его способность к сочинению ослепительных каламбуров и афоризмов. Он никогда не пишет длинных донесений, одним-единственным, остро отточенным словом характеризует он ситуацию или человека. У Фуше, наоборот, совершенно отсутствует эта способность быстро все постигать; как пчела, прилежно, ревностно собирает он в бесчисленные мелкие ячейки сотни тысяч наблюдений, затем складывает, комбинирует их и приходит к надежным, неопровержимым выводам. Его метод — это анализ, метод Талейрана — яснovidение; его сила — трудолюбие, сила Талейрана — быстрота ума. Ни одному художнику не придумать более разительных противоположностей, чем это сделала история, поставив эти две фигуры — ленивого и гениального импровизатора Талейрана и тысячеглазого, бдительного калькулятора Фуше — рядом с Наполеоном, совершенный гений которого соединил в себе дарования обоих: широкий кругозор и кропотливый анализ, страсть и трудолюбие, знание и пронзительность.

Но нигде не бывает ненависти более жестокой, чем между различными видами одной и той же породы, поэтому и взаимное отвращение Талейрана и Фуше происходит из глубокого, инстинктивного понимания ими друг друга. С первого же дня большому барину противен этот прилежный, мелочный работяга, кропатель доносов, собиратель сплетен и холодный соглядатай Фуше, а того, в свою очередь, раздражает легкомыслие, мотовство, презрительно аристократическая и женственно-ленивая небрежность Талейрана. Их отзывы друг о дру-

ге полны яда. Талейран говорит с улыбкой: «Фуше потому так сильно презирует людей, что слишком хорошо знает самого себя». Фуше, со своей стороны, шутит, когда Талейрана назначают вице-канцлером: «Il ne lui manquait que se vice-là»<sup>1</sup>. Они очень охотно, где только возможно, причиняют друг-другу неприятности, а если представляется возможность навредить, каждый хватается за малейший к тому повод. То, что эти двое, один проворный, другой работающий, так хорошо дополняют друг друга, делает их подходящими министрами для Наполеона, а их бешеная взаимная ненависть для него также очень удобна, потому что они лучше, чем сотня бдительных шпионов, следят друг за другом. Фуше ревностно доносит Наполеону о каждом проявлении подкупности, распушенности и небрежности Талейрана, который, в свою очередь, спешит донести о всех проделках и интригах Фуше. Эта странная пара одновременно обслуживает и охраняет Наполеона и следит за ним. Превосходный психолог, Наполеон отлично использует соперничество своих министров, поощряя и в то же время сдерживая их.

Весь Париж долгие годы забавляется упорной враждой двух соперников — Фуше и Талейрана. Парижане следят за бесконечными вариантами этой комедии у ступеней трона, словно за сценами из пьесы Мольера, и наслаждаются тем, как эти два прислужника насмеются друг над другом, преследуя один другого колкими словечками, между тем как их господин с олимпийским величием прислушивается к этим выгодным ему спорам. Но в то время как все ожидают от них веселой игры в кошку и собаку, оба изоощренных артиста внезапно меняют свои роли и начинают совместно серьезную игру. Впервые общее для них обоих раздражение против господина берет верх над их соперничеством. Наступает 1808 год, и Наполеон опять начинает войну, самую бесполезную и бессмысленную из всех своих войн, — поход против Испании. В 1805 году он победил Австрию и Россию, в 1807 году разгромил Пруссию; он подчинил себе

---

<sup>1</sup> Ему доставало только этого порока (франц.). Игра слов: vice — вице, и vice — порок.

немецкие и итальянские государства, но для вражды с Испанией нет ни малейшего повода. Однако его недалекий брат Жозеф (через несколько лет Наполеон сам признает, что «принес себя в жертву дуракам») тоже желает получить корону, и ввиду того что свободной не имеется, решают, в нарушение международного права, просто отнять ее у испанской династии. Снова бьют барабаны, маршируют батальоны, снова плывут из касс с трудом собранные деньги, и снова опьяняется Наполеон опасной страстью к победам. Эта необузданная военная ярость мало-помалу представляется слишком безумной даже самым толстокожим; и Фуше и Талейран не одобряют эту ни с того ни с сего затеянную войну, от которой Франция будет еще семь лет истекать кровью, а так как император не слушает ни того, ни другого, то оба незаметно сближаются. Они знают, что император комкает и с раздражением швыряет в угол их письма, их донесения; уже давно не могут противостоять они генералам, маршалам, военщине и в особенности корсиканской родне, каждый член которой желал бы скрыть свое жалкое прошлое под мантией из горносталя. Они пытаются выразить свой протест публично, но, не имея возможности говорить открыто, затевают политическую пантомиму, настоящий театральный трюк: демонстративно делают союзниками.

Кто был постановщиком этой превосходной театральной инсценировки, Талейран или Фуше, неизвестно. Дело происходило таким образом: пока Наполеон воюет в Испании, в Париже идут непрерывные празднества и царит веселье,— к ежегодным войнам так привыкли, как к снегу зимой или к грозам летом. На улице Сен-Флорентен, в доме канцлера, в один декабрьский вечер 1808 года (в то время когда Наполеон в какой-нибудь грязной квартире, в Вальядолиде, пишет приказы по армии) горят сотни свечей и гремит музыка. Здесь собралось блестящее общество, красивые женщины, которых так любит Талейран, высшие государственные чины и иностранные послы. Все весело болтают, танцуют и забавляются. Внезапно во всех углах раздается легкий ропот и перешептывание, танец прерывается, изумленные гости собираются кучками: вошел человек, которого здесь никак не ожидали,— Фуше, тощий Кассио, как всем извест-

но, жестоко презираемый и ненавистный Талейрану, чья нога еще никогда не ступала в этом доме. Но, о чудо!— министр иностранных дел с изысканной вежливостью идет, прихрамывая, навстречу министру полиции, приветствует его, как дорогого гостя и друга, дружески берет его под руку. На виду у всех, совершенно открыто обласкав Фуше, Талейран ведет его через весь зал в соседнюю комнату; там они усаживаются в кресла и тихо беседуют, вызывая безграничное любопытство у всех присутствующих на балу. На следующее утро уже всему Парижу известна эта великая сенсация. Повсюду только и говорят об этом внезапном и столь подчеркнуто афишированном примирении, и каждый понимает его смысл. Когда между кошкой и собакой вспыхивает такая внезапная дружба, значит, она направлена против повара; дружба между Фуше и Талейраном означает, что министры открыто не одобряют политику своего господина, Наполеона. Тотчас же лихорадочно забегали все шпионы — нужно узнать, что означает этот заговор. Во всех посольствах скрипят перья, составляются срочные донесения; Меттерних сообщает спешной почтой в Вену: «Этот союз соответствует желаниям крайне утомленной нации», но и братья и сестры императора тоже бьют тревогу и посылают к императору курьера с этой невероятной новостью.

Вихрем мчится нарочный со своей вестью в Испанию, но еще быстрее, насколько возможно быстро бросается в Париж Наполеон, словно подгоняемый ударами бича. Получив письмо, император удаляется в свою комнату, не пригласив никого из приближенных. Кусая в кровь губы, он немедленно отдает распоряжение о возвращении: сближение Талейрана и Фуше действует на него сильнее, чем проигрыш в сражении. Обратная поездка совершается с безумной быстротой: 17-го он выезжает из Вальядолида, 18-го он в Бургосе, 19-го в Байонне; нигде ни одной остановки, везде поспешно меняют загнанных лошадей. 22-го врывается он как вихрь в Тюильри, а 23-го отвечает на остроумную комедию Талейрана драматической сценой: Вся расшита золотом толпа придворных, все министры и генералы старательно расстав-

лены в качестве статистов: следует наглядно показать, что император сокрушительно подавляет малейшее сопротивление его воле. Еще накануне он вызвал Фуше и с глазу на глаз задал ему головоломку, которую тот, привыкший к подобным душам, спокойно выдержал, приводя искусные и льстивые оправдания и вовремя расшаркиваясь. Этому раболепному человеку, думает император, достаточно дать мимоходом пинка, но Талейран, именно потому, что он считается более сильным и могущественным, должен быть наказан публично. Эту сцену часто описывали, и действительно, это одна из наиболее драматических сцен в истории. Сперва император в общих чертах неодобрительно высказывается о коварстве некоторых лиц, проявившемся во время его отсутствия, но затем, раздраженный равнодушием Талейрана, обращается прямо к нему, в небрежной позе стоящему неподвижно у мраморного камина, опершись рукой о косяк. И вот, вместо того чтобы преподать в присутствии целого двора задуманный заранее комический урок, император внезапно приходит в настоящее бешенство, кричит на старшего годами, более опытного человека, осыпая его самыми грубыми ругательствами; Наполеон называет его вором, клятвопреступником, изменником, продажным человеком, способным за деньги продать собственного отца, обвиняет его в убийстве герцога Энгиенского и в том, что он затеял испанскую войну. Ни одна прачка не могла бы более беззастенчиво срамить на весь двор свою соседку, чем срамит Наполеон герцога Перигорского, ветерана революции, первого дипломата Франции.

Слушатели окаменели. Всем не по себе. Каждый чувствует, что император ведет себя недостойно. Только Талейран, равнодушный и нечувствительный к оскорблениям (рассказывают, будто он однажды заснул во время чтения направленного против него памфлета), продолжает стоять с высокомерным видом, не меняясь в лице, не считая подобную брань оскорблением. По окончании бури он, прихрамывая, молча проходит по гладкому паркету в переднюю и там бросает одно из своих ядовитых словечек, которые поражают сильнее, чем грубые удары кулаком. «Как жаль, что такой великий человек так дурно воспитан», — говорит он спокойно, в то время как лакей набрасывает на него плащ.

В тот же вечер Талейран лишается звания камергера. Все недоброжелатели с любопытством проматривают в последующие дни «Moniteur», чтобы найти среди правительственных сообщений известие об отставке Фуше, но они ошибаются: Фуше остается. Как всегда, он спрятался при наступлении за спину более сильного, который служит ему громоотводом. Вспоминают, что Колло, его соучастник по лионским расстрелам, отправлен в ссылку на маярийный остров, а Фуше остался; Бабеф, его сообщник по борьбе против Директории, расстрелян, а Фуше остался; его покровитель Баррас вынужден был покинуть страну, а Фуше остался. И на этот раз падает только впереди стоящий, Талейран, а Фуше остается. Правительства, государственный строй, мнения, люди — все меняется, все рушится, все исчезает в бешеном водовороте смены столетий, только один остается на своем месте при всех режимах и сменах политических настроений — Жозеф Фуше.

Фуше остается у власти, и даже более того: именно то, что самый умный, ловкий и независимый советник Наполеона получил шелковый шнурок и был заменен просто поддакивающим чиновником, именно это усиливает влияние Фуше. Но, что еще важнее, кроме соперника — Талейрана, — удаляется на некоторое время и сам опустылевший властелин. Наступает 1809 год, и Наполеон опять начинает, как ежегодно, новую войну, на этот раз против Австрии.

Лучше всего чувствует себя Фуше именно в те периоды, когда Наполеон уезжает из Парижа и удаляется от дел. И чем дальше, тем лучше для Фуше, чем на более длительный срок, тем приятнее, — в Австрию, Испанию, Польшу; всего лучше было бы, если бы он опять отправился в Египет. Излучаемый им слишком сильный свет бросает тень на всех окружающих; его творчески-деятельная личность возвышается над всеми и парализует своим властным превосходством волю каждого. Когда же он находится за сотни миль, командует битвами, составляет планы походов, Фуше может время от времени сам разыгрывать роль вершителя судеб, а не быть только марионеткой в этой жесткой, энергичной руке,

Наконец-то, наконец-то Фуше впервые представляется такая возможность. 1809 год — роковой год для Наполеона; никогда еще, невзирая на очевидные внешние успехи, его военное положение не было столь угрожающе непрочным. В сокрушенной Пруссии, в недостаточно укрощенной Германии одиночные французские гарнизоны оказываются почти беззащитными, это десятки тысяч французов, которые стерегут сотни тысяч немцев, ждущих только сигнала, чтобы взяться за оружие. В случае новой победы австрийцев, подобной победе при Асперне, от Эльбы до Роны вспыхнет возмущение, восстанет целый народ. И в Италии дела обстоят не лучше: грубое оскорбление папы задело всю Италию так же, как унижение Пруссии — всю Германию, к тому же сама Франция утомлена. Еще один удар по императорской армии, растянувшейся по всей Европе, от Эбро до Вислы, и — кто знает? — может быть, он сокрушит основательно потрясенный железный колосс. Англичане, заклятые враги Наполеона, уже обдумывают этот удар. Пока войска императора разделены — часть находится у Асперна, часть около Рима и часть близ Лиссабона, — англичане намерены вторгнуться прямо в сердце Франции и, овладев прежде всего гаванью Дюнкерк, завоевать Антверпен, подняв восстание в Бельгии. Они рассчитывают на то, что Наполеон со своими боеспособными, закаленными армиями, маршалами и пушками далеко и перед ними лежит беззащитная страна.

Но Фуше на месте; тот самый Фуше, который в 1793 году при Конвенте научился, как можно рекрутировать в течение двух недель десять тысяч солдат. С тех пор его энергия не ослабла, она только вынуждена действовать во мраке, истощаясь в мелких происках и кознях. Страстно берется Фуше за дело, чтобы показать нации и целому миру, что он не только марионетка в руках Наполеона и, в случае необходимости, может действовать так же решительно и целеустремленно, как сам император. Наконец-то представился чудесный — прямо как с неба свалившийся случай — доказать раз и навсегда, что не вся моральная и военная мощь сосредоточена в руках одного человека. С вызывающей смелостью подчеркивает он в своих прокламациях, что Наполеон не так уж необходим. «Докажем Европе, что хотя гений Наполео-

на придает Франции блеск, нет никакой необходимости в его присутствии, чтобы отогнать врага», — пишет он бургомистрам и подтверждает эти смелые, властные слова делом. Как только 31 августа получено известие о высадке англичан на острове Валхерен, он требует в качестве министра полиции и министра внутренних дел (пост которого он временно занимает) созыва национальных гвардейцев, которые со времен революции мирно проживают в своих деревнях, став портными, слесарями, сапожниками и хлебопашцами. Остальные министры в ужасе. Как, без разрешения императора начать на свою ответственность такое далеко идущее мероприятие? Особенно противится этому всеми силами военный министр, возмущенный тем, что не имеющий на то никаких прав штатский вторгается в его священную область; он утверждает, что сначала нужно испросить в Шенбрунне разрешения на мобилизацию; прежде чем сеять в стране тревогу, нужно дожидаться приказаний императора. Но, чтобы получить ответ императора, потребуется четырнадцать дней почтовой езды туда и обратно — и Фуше не опасается посеять в стране беспокойство. Разве Наполеон не делает того же? В глубине души Фуше как раз и хочет вызвать беспокойство и возмущение, поэтому он решительно берет все на свою ответственность. С барабанным боем, именем императора, все жители провинций, которым угрожает нашествие, призываются к немедленной защите, — именем императора, который ничего не знает об этих распоряжениях. И еще одна дерзость: Фуше назначает главнокомандующим этой импровизированной северной армией Бернадота, человека, которого Наполеон, хотя тот и приходится шурином его брату, ненавидит сильнее всех генералов и в свое время наказал и отправил в ссылку. Фуше возвращает Бернадота из ссылки назло императору, министрам и всем его врагам. Ему безразлично, будут ли его меры одобрены императором. Важно лишь, чтобы успех оправдал его перед всеми.

Подобная отвага в решительные минуты придает Фуше действительно подлинное величие. Этот нервный, трудолюбивый человек рвется к большим делам, а ему всегда приходится заниматься пустяками, с которыми он справляется шутя. Вполне естественно, что избыток си-

лы ищет выхода, проявляясь в злобных и по большей части бессмысленных интригах. Но когда этот человек сталкивается с действительно всемирно-исторической задачей, соответствующей его силе, как было в Лионе, а затем, после падения Наполеона в Париже,— он с ней мастерски справляется. Спустя несколько дней город Флиссинген, который сам Наполеон называет в своих письмах неприступным, попадает, как и предсказывал Фуше, в руки англичан. Но самовольно сформированная Фуше армия успеваает за это время укрепить Антверпен, и, таким образом, вторжение англичан заканчивается полнейшим и очень дорого им стоившим поражением. Впервые, с тех пор как у кормила правления стоит Наполеон, осмелился один из его министров самостоятельно поднять знамя войны, распустить паруса и взять собственный курс, и именно эта самостоятельность спасла Францию в роковую минуту. С этого дня Фуше повышается в ранге и вырастает в собственных глазах.

Между тем в Шенбрунн прибыли письма канцлера и военного министра с обвинениями против Фуше, жалоба следует за жалобой по поводу дерзостей, которые позволяет себе этот штатский министр. Он созвал национальную гвардию, ввел в стране военное положение! Все надеются, что Наполеон накажет Фуше за превышение власти и сместит его. Однако, к всеобщему удивлению, император еще до того, как стало известно о блестящем успехе распоряжений Фуше, вопреки мнению всех одобрил его стремительную и решительную энергию. Канцлер получает выговор: «Я очень огорчен тем, что при таких исключительных обстоятельствах вы так мало использовали свои полномочия; при первом тревожном известии вы должны были призвать двадцать, сорок, пятьдесят тысяч национальных гвардейцев», а военному министру он пишет буквально следующее: «Я вижу, что только господин Фуше сделал все, что было в его силах, и понял опасность позорной бездельности». Таким образом, Фуше не только посрамил своих бездарных, осторожных и робких коллег, но и был поддержан самим императором. Вопреки проискам Талейрана и канцлера Фуше занимает теперь во Франции первое место. Он один сумел показать, что способен не только повиниться, но и повелевать.

И снова можно убедиться, что в минуту опасности Фуше умеет действовать. Поставьте его перед труднейшей задачей — он сумеет с ней справиться благодаря смелой находчивости и энергии. Дайте ему самый запутанный узел — он его распутает. Но как ни великолепно умеет он взяться за дело, ему недоступно другое, родственное искусство, наивысшее политическое искусство: умение своевременно отступить. Если он куда-нибудь запустит руку, он уже не в силах ее вытащить. И едва Фуше удастся распутать какой-нибудь узел, как некая дьявольская страсть к игре побуждает его снова нарочно все запутать. Так случилось и на этот раз. Благодаря его быстроте, умению поспешно собрать силы и отразить удар коварное фланговое нападение отбито. Понеся страшные потери людьми и припасами и потерпев еще больший урон для своего престижа, англичане вновь перегрузили свое войско на суда и отправились восвояси. Теперь бы можно спокойно возвестить отбой и с благодарностью отпустить по домам национальных гвардейцев, наградив кой-кого орденом Почетного Легиона. Но честолюбие уже возбуждено. Так прекрасно было разыгрывать из себя императора, поставить на ноги три провинции, отдавать приказы, составлять воззвания, произносить речи, пугать своих трусоватых коллег. И все это должно сейчас кончиться? Именно теперь, когда в упоении своей деятельной силой он чувствует, как она ежедневно, ежедневно растет? Нет, Фуше на это не пойдет. Лучше продолжать игру в нападение и защиту, даже если бы для этого понадобилось выдумать врага. Только бы продолжать бить в барабаны, будоражить население, сеять тревогу, рождать бурное движение. И вот он отдает приказ о новой мобилизации ввиду якобы предполагаемой высадки англичан в Марселе. Национальная гвардия созывается, ко всеобщему изумлению, во всем Пьемонте, Провансе и даже Париже, хотя нигде — ни внутри страны, ни на побережье — не видно ни одного врага, и происходит это единственно потому, что Фуше охвачен давно не испытанной страстью к организации и мобилизации, оттого что так долго сдерживаемый, так долго подавляемый в нем человек действия может наконец благодаря отсутствию императора развернуться до конца.

Но против кого же направлены все эти армии? — спрашивает себя, все более удивляясь, вся страна. Англичане не показываются. Постепенно недоверие охватывает даже самых доброжелательных из коллег Фуше: чего, собственно, добивается своими неистовыми мобилизациями этот непроницаемый человек? Они не понимают того, что это лишь бурно проявляется тайный азарт, сжигающий Фуше, опьяненного собственной деятельностью. А так как они не видят вокруг ни единого вражеского штыка, не видят неприятеля, против которого с каждым днем все более усиливается огромное ополчение, то у них невольно рождается подозрение, что Фуше лелеет далеко идущие планы. Одни полагают, что он готовит восстание, другие — что он желает восстановить старую республику и выжидает случая, когда император потеряет еще раз такое же поражение, как при Асперне, или когда новый Фридрих Штапс совершит более удачное покушение. И вот в главную квартиру в Шенбрунне летит донесение за донесением — Фуше либо сошел с ума, либо замышляет заговор. На этот раз Наполеон при всем своим доброжелательстве озадачен. Он видит, что Фуше зарвался, что его нужно осадить. Тон писем императора резко меняется; он обрушивается на Фуше, называет его «Дон Кихотом, который сражается с ветряными мельницами», и пишет своим прежним суровым тоном: «Во всех получаемых мною известиях говорится о национальной гвардии, созываемой в Пьемонте, Лангедоке, Провансе, Дофине. На кой черт это делать без особой надобности и без моего приказа!» Итак, Фуше, затаив раздражение, должен перестать разыгрывать из себя господина, уйти из министерства внутренних дел и снова стать лишь министром полиции своего увенчанного славы, увы, слишком рано возвращающегося повелителя:

Был ты веник грязный,  
Им ты снова стань!

Во всяком случае Фуше, хотя он и пересолил, был единственным, кто в весьма критический момент, среди всеобщего смятения, действовал своевременно и разумно ради спасения отечества. И Наполеон не может отказать ему в почести, которую он оказал уже столь многим.

Теперь, когда на французской почве, обильно удобренной кровью, выросло новое дворянство, когда получили титулы все генералы, министры и приближенные, настала очередь и для Фуше, старого врага аристократии, вступить в ее ряды.

Графский титул был ему приклеен втихомолку еще раньше. Но старый якобинец подымается еще выше по этой воздушной лестнице титулов: 15 августа 1809 года во дворце его апостольского величества императора австрийского, в парадном зале Шенбрунна, бывший маленький лейтенант с Корсики ставит свою подпись и печать на пергаменте, согласно чему бывший коммунист и беглый монастырский учитель Жозеф Фуше именуется отныне — внимание! — герцогом Отрантским. Он, правда, не сражался у Отранто и вообще никогда не видел этого южноитальянского города, но такое звучное чужестранное дворянское имя чрезвычайно подходит, чтобы замаскировать бывшего архиревolucionонера, и, если произнести титул должным образом, можно забыть, что за этим герцогом скрывается палач Лиона, старый Фуше времен «хлеба, одинакового для всех» и конфискации имущества. Для того чтобы он почувствовал себя вполне рыцарем, ему жалуются еще знак его герцогского достоинства: новехонький, блестящий герб.

Одно только странно: сам ли Наполеон намеренно предложил это как едкий намек на особенности характера Фуше, или то было психологической шуткой чиновника-геральдиста? Во всяком случае в центре герба герцога Отрантского изображена золотая колонна — весьма подходящий символ для этого страстного любителя золота. Вокруг колонны обвивается змея, по всей вероятности, также легкое указание на дипломатическую изворотливость нового герцога. Видимо, на службе у Наполеона состояли умные геральдисты, ибо трудно придумать для Жозефа Фуше более подходящий герб.

БОРЬБА  
ПРОТИВ ИМПЕРАТОРА

1810



**В**еликий пример всегда либо развращает, либо возвышает целое поколение. Когда является человек, подобный Наполеону Бонапарту, людям, приближенным к нему, предоставляется выбор: либо стусеваться, принизиться, дать себя затмить его величие, либо, следуя его примеру, напрячь свои силы до крайних пределов. Люди, близкие Наполеону, неминуемо должны стать его рабами или его соперниками: столь выдающаяся личность не терпит половинчатости.

Фуше был одним из тех, кого Наполеон вывел из равновесия. Он отравил ему душу опасным примером ненасытности, демонической воли к постоянному возвышению. Фуше тоже, подобно своему господину, постоянно

стремится расширить границы своей власти, он тоже не способен к мирному существованию, к уютному довольству. Великое разочарование приносят ему дни, когда Наполеон возвращается триумфатором из Шенбрунна и берет в свои руки бразды правления! Чудесными были те месяцы, когда он мог распоряжаться по собственному усмотрению — набирать армию, выпускать прокламации и, не считаясь с нерешительными коллегами, принимать смелые решения, властвовать над целой страной, играть за большим столом мировой судьбы! А теперь Жозеф Фуше должен снова вернуться к исполнению обязанностей министра полиции, должен следить за недовольными, за газетными болтунами, составлять из шпионских донесений ежедневные скучные бюллетени, интересоваться пустяками — выяснять, например, с какой женщиной вступил в связь Талебран и кто виновник вчерашнего падения курса ренты на бирже. Нет, после того как он прикоснулся к мировым событиям, подержал в руках руль большой политики, все это представляется его мятежному, жаждущему волнений уму мелочью, презренным бумагомаранием. Кто вел большую игру, тот не сможет удовлетвориться такими пустяками. Надо показать, что и в соседстве с Наполеоном можно совершать подвиги, — вот мысль, которая всегда лишает его покоя.

Но чего, казалось бы, можно достигнуть рядом с тем, кто достиг всего, кто победил Россию, Германию, Австрию, Испанию и Италию, кому император из старейшей династии Европы дает в супруги эрцгерцогиню, кто низвергнул папу и не поколебленную тысячами годами власть Рима, кто, опираясь на Париж, создал европейскую мировую империю? Нервно, лихорадочно, ревниво озирается честолюбие Фуше в поисках достойной задачи, и действительно: в здании мирового господства недостает еще одного, самого верхнего зубца — мира с Англией. И этот последний европейский подвиг хочет совершить Жозеф Фуше один, без Наполеона и вопреки Наполеону.

Англия в 1809 году, как и в 1795, — самый лютый враг, опаснейший противник Франции. Перед воротами Акки, перед укреплениями Лиссабона, во всех концах мира наталкивалась воля Наполеона на спокой-

ную, обдуманную, методическую силу англосаксов, и пока Наполеон завоевывал всю европейскую сушу, англичане захватили другую половину мира — моря. Они не могут поймать друг друга; двадцать лет стараются они, возобновляя время от времени свои усилия, уничтожить друг друга. Обе стороны потеряли в этой бессмысленной борьбе много сил и, не признаваясь в этом, немало устали. Во Франции, Антверпене и Гамбурге прекратили платежи банки с тех пор, как англичане начали душить их торговлю; и на Темзе в свою очередь скапливаются корабли с непроданным товаром, — все больше обесцениваются английские и французские ценности, и в обеих странах коммерсанты, банкиры и умные дельцы побуждают свои правительства прийти к соглашению и робко пытаются завязать предварительные переговоры. Но Наполеону кажется более важным, чтобы его глупый брат Жозеф сохранил корону Испании, а сестра Каролина — Неаполь; он прерывает с трудом начатые мирные переговоры с Голландией, его железный кулак понуждает союзников закрыть вход в свои гавани английским кораблям и бросать английские товары в море; вот уже отосланы в Россию грозные письма с требованием подчиниться континентальной блокаде. Снова страсть берет верх над разумом, и война грозит затянуться, если в последний час у партии мира не хватит мужества выступить быстро и решительно.

В этих преждевременно прерванных переговорах с Англией принимал участие и Фуше. Он нашел для императора и голландского короля посредника — французского финансиста, который, в свою очередь, нашел голландского, а тот уже английского посредника; так по испытанному золотому мосту переходили от правительства к правительству — как во время каждой войны и во все эпохи — тайные попытки соглашения. Но тут император резко приказал прекратить переговоры. Фуше недоволен. Почему не продолжать вести переговоры? Тянуть, торговаться, обещать, обманывать — его главная страсть. И Фуше составляет дерзкий план. Он решает на свой страх и риск продолжать переговоры, впрочем, делая вид, что исполняет поручение императора, оставляя как своих агентов, так и английское министерство в пол-

ной уверенности, что через их посредство о мире хлопочет император, тогда как в действительности пружину приводит в действие один лишь герцог Отрантский. Это—отчаянная затея, дерзкое злоупотребление именем императора и собственным положением, беспримерная в истории наглость. Но подобные тайны, такая двусмысленная и запутанная игра, ведя которую он разыгрывает не одного, а одновременно троих или четверых,—исконная страсть прирожденного, неисправимого интригана Фуше. Подобно школьнику, высывающему язык за спиной учителя, он проказничает за спиной императора, так же, как отчаянный мальчишка, рискуя получить нагоняй или быть наказанным ради одного только удовольствия, доставляемого дерзостью и обманом. Сотни раз прежде забавлялся он подобными политическими адюльтерами, но никогда еще не позволял себе столь дерзкого, своевольного и опасного поступка, как переговоры, которые он ведет с английским министерством иностранных дел о мире между Францией и Англией, против воли императора, но под прикрытием его имени.

Затея гениально подготовлена. Для ее осуществления он привлек одного из своих темных дельцов, банкира Уврара, уже несколько раз едва не попадавшего в тюрьму. Наполеон презирает эту темную личность за скверную репутацию, но это мало трогает Фуше, сотрудничающего с Увраром на бирже. В этом человеке Фуше уверен, ибо неоднократно вытаскивал его из беды и крепко держит в своих руках. Он посылает Уврара к влиятельному голландскому банкиру де Лабушер, который обращается к своему тестю, банкиру Берингу, в Лондоне, а этот последний сводит Уврара с английским кабинетом. И вот начинается шальная карусель: Уврар, разумеется, полагает, что Фуше действует по поручению императора, и официально передает свои предложения голландскому правительству. Это представляется англичанам достаточным основанием, чтобы серьезно отнестись к переговорам. Англия, полагая, что ведет переговоры с Наполеоном, переговаривается с Фуше, который, разумеется, тщательно скрывает от императора ход совещаний. Он хочет дать созреть делу, сгладить трудности, чтобы внезапно, как *Deus ex machina*<sup>1</sup>, предстать перед импе-

<sup>1</sup> Бог, появляющийся из машины (лат.).

ратором и французским народом и гордо сказать: «Вот мир с Англией! То, к чему вы стремились, что не удалось ни одному из ваших дипломатов, сделал я, герцог Отрантский».

Какая досада! Маленькая, глупая случайность прерывает эту великолепную, волнующую партию в шахматы. Наполеон отправляется со своей молодой женой Марией Луизой в Голландию навестить своего брата, короля Людовика. Шумный прием заставил его забыть о политике. Но однажды в случайном разговоре Людовик, который, как и все, не сомневается, что тайные переговоры ведутся с согласия императора, спрашивается, успешно ли они проходят. Наполеон настораживается. Он тут же вспоминает, что встретил в Антверпене этого ненавистного Увра. Что тут происходит? Что значит это общение между Англией и Голландией? Но Наполеон не выдает своего удивления: мимоходом просит он брата показать ему при случае переписку голландского банкира. Тот сейчас же исполняет просьбу императора, и на обратном пути из Голландии в Париж Наполеон находит время ее прочесть. И действительно, это переговоры, о которых он не имеет ни малейшего представления. Придя в ярость, он быстро разгадывает браконьерскую сделку герцога Отрантского, который снова охотится на чужой земле. Но, переняв хитрые приемы этого хитреца, он прячет свое подозрение за сдержанной вежливостью, чтобы не возбудить подозрения у ловкого противника и не дать ему улизнуть. Только командиру своей жандармерии Савари, герцогу Ровиго, сообщает он обо всем и приказывает быстро и незаметно арестовать банкира Увра и завладеть его бумагами.

И только 2 июня, через три часа после отдачи приказания, вызывает Наполеон своих министров в Сен-Клу; грубо и без обиняков спрашивает он герцога Отрантского, известно ли ему что-нибудь о поездке Увра и не сам ли он послал его в Амстердам. Фуше удивлен, но еще не подозревает, в какую западню он попал; он действует, как всегда, когда его в чем-нибудь уличают; так же как в дни революции в деле с Шометом и в эпоху

Директории с Бабефом, он старается вывернуться, попросту отрекаясь от своего сообщника. Ах, Уврар, поясняет он, этот навязчивый человек, готовый повсюду совать свой нос, да к тому же все это дело совсем не серьезно, так просто—забава, ребячество. Но у Наполеона крепкая хватка, и отделаться от него не так-то просто. «Нет, это не пустые затеи,— бросает он в ответ.— Это несслыханное превышение власти — вести за спиной своего государя переговоры с врагами на условиях, которые ему неизвестны и на которые он вряд ли когда-либо согласится. Это нарушение долга, которого не может потерпеть даже самое снисходительное правительство. Необходимо немедленно арестовать Уврара». Фуше становится не по себе. Этого только не хватало, арестовать Уврара! Он может все выболтать! Фуше всевозможными увертками старается заставить императора отказаться от этой чрезвычайной меры. Но император, зная, что его личная охрана уже позаботилась об аресте Уврара, с насмешкой выслушивает разоблаченного министра. Он теперь знает настоящего зачинщика этой дерзкой затеи, и отнятые у Уврара бумаги вскоре разоблачат всю игру, затеянную Фуше.

Теперь-то сверкнула молния из долго сгушавшихся туч недоверия. На следующий день, в воскресенье, Наполеон после обедни (он, несколько лет тому назад арестовавший папу, теперь, являясь зятем его апостолического величества, снова стал набожным) приглашает всех министров и сановников на утренний прием. Не хватает лишь одного: герцога Отрантского. Он не приглашен, хотя и занимает министерский пост. Император предлагает своим советникам занять места за столом и без промедления обращается к ним с вопросом: «Какого вы мнения о министре, который злоупотребляет своим положением и без ведома своего государя завязывает сношения с иностранной державой? О министре, который ведет переговоры на выдуманном им основании и, таким образом, ставит под удар политику страны? Какое наказание предусмотрено нашим кодексом за подобное нарушение долга?» Поставив этот суровый вопрос, император оглядывает всех присутствующих, ожидая, без сомнения, от своих приближенных и ставленников немедленного выдвижения предложений об изгнании или о других столь

же позорных мерах. Но, увы! министры, догадываясь, в кого направлена стрела, хранят неловкое молчание. В душе они солидарны с Фуше, который энергично стремится к заключению мира, и, как истинные слуги, рады дерзкой шутке, сыгранной с самодержцем. Талейран (уже не министр, но призванный для разбора этого дела как высший сановник) усмехается про себя; он вспоминает о собственном унижении, перенесенном два года тому назад, и ему доставляет удовольствие затруднительное положение, в котором очутились, с одной стороны, Наполеон, а с другой — Фуше; он не любит обоих. Наконец, канцлер Камбасерес, нарушив молчание, высказывается в примирительном духе: «Это безусловная ошибка, заслуживающая строгой кары, и простительная лишь в том случае, если виновный совершил ее из чрезмерного усердия к своим служебным обязанностям». «Чрезмерное усердие к служебным обязанностям!» — гневно восклицает Наполеон. Этот ответ ему не нравится, он желает не оправдать, а дать серьезный урок — примерно наказать виновного за самоуправство. С горячностью излагает он все обстоятельства и требует от присутствующих предложить кандидатуру преемника Фуше.

И опять никто из министров не торопится вмешаться в это неприятное дело. Фуше внушает им не меньший страх, чем Наполеон. Наконец, Талейран, как всегда в затруднительном положении, прибегает к своему излюбленному приему — к остроумной шутке. Обращаясь к соседу, он вполголоса произносит: «Господин Фуше, несомненно, сделал ошибку, но если бы мне пришлось назначать ему преемника, я, несомненно, назначил бы того же самого Фуше». Недовольный своими министрами, которых он сам превратил в автоматов и бессловесных мамелюков, Наполеон закрывает заседание и призывает к себе в кабинет канцлера. «Право, не стоит труда обращаться за советами к этим господам. Вы видите, какие полезные предложения способны они сделать. Но, надеюсь, вы не думаете, что я обратился к ним за советом прежде, чем не решил этого вопроса сам. Я уже сделал выбор — министром полиции будет герцог Ровинго». И, не дав последнему возможности высказаться, чувствует ли он влечение к столь неприятной миссии, импе-

ратор в тот же вечер встречает его резким приказанием: «Вы министр полиции. Давайте присягу и беритесь за дело!»

Отставка Фуше становится злобой дня, и сразу же вся общественность оказывается на его стороне. Ничто не могло привлечь к этому двуликому министру стольких симпатий, как его сопротивление неограниченному самодержавию человека, выдвинутого революцией, которое уже стало в тягость привыкшему к свободе поколению французов. И никто не хочет понять, почему стремление заключить, наконец, мир с Англией даже против воли воинственного императора является преступлением, заслуживающим кары. Все партии: роялисты, республиканцы, якобинцы, так же как и иностранные послы, единодушно видят в падении последнего свободолюбивого министра Наполеона явное поражение идеи мира, и даже в собственной опочивальне Наполеона его вторая жена, Мария Луиза, так же как некогда Жозефина, заступает за Жозефа Фуше. Единственный человек при французском дворе, на которого ее отец, австрийский император, указал как на достойного доверия, теперь уволен, смущенно заявляет она. Что может ярче выразить настроение французов, чем то, что именно недовольство императора возвысило человека в глазах общества; и новый министр полиции Савари, характеризуя ошеломляющее впечатление, произведенное увольнением Фуше, заявляет: «Я полагаю, что весть о появлении чумы не могла бы вызвать большего испуга, чем мое назначение министром полиции». Действительно, за эти десять лет Жозеф Фуше окреп одновременно с императором.

Непонятно, каким образом, но эти отклики все же повлияли на Наполеона, потому что, выставив за дверь Фуше, он спешит загладить неприятное впечатление. Так же, как раньше, в 1802 году, пилюля золотится задним числом и маскируется новым назначением. Потеря министерского поста компенсируется герцогу Отрантскому почетным титулом государственного советника, и его назначают послом империи в Риме. Личное письмо Наполеона к Фуше, в котором сообщается об отставке, как нельзя лучше говорит о колебаниях, владевших импера-

тором, о страхе и пневе, упреках и благодарности, озлобленности и примиренности. «Господин герцог Отрантский,— пишет он,— я ценю услуги, которые вы мне оказали, верю в вашу преданность и усердие в служении моей особе. Однако я не имею возможности оставить вас на посту министра,— этим я уронил бы свое достоинство. Пост министра полиции требует полного, совершенного доверия, каковое не может иметь места с тех пор, как вы в весьма важном деле поставили на карту мое спокойствие и спокойствие государства, что в моих глазах не может быть оправдано даже самыми похвальными побуждениями. Ваше странное представление об обязанностях министра полиции не сообразуется с благом государства. Не сомневаясь в вашей преданности и верности, я все же был бы вынужден прибегнуть к постоянному, утомительному надзору, что мне претит. Наблюдение за вами было бы необходимым вследствие многочисленных шагов, которые вы предпринимаете по собственному побуждению, не интересуясь, соответствуют ли они моей воле, моим намерениям... Я не могу надеяться, что вы измените ваш образ действий, так как уже в течение нескольких лет явные выражения моего недовольства не смогли ничего изменить. Опираясь на чистоту своих намерений, вы не желали понять, что добрые побуждения могут привести к немалым бедам. Моя вера в ваши способности и в вашу преданность непоколебима. Я надеюсь, что скоро вам представится случай применить первое и доказать, находясь у меня на службе, второе». Это письмо, словно потайной ключ, открывает самые сокровенные чувства Наполеона к Фуше, и стоит второй раз перечитать этот маленький шедевр, чтобы почувствовать, как в каждой фразе переплетаются приятие и неприятие, признательность и неприязнь, страх и скрытое уважение. Самодержец хочет иметь раба и озлоблен, что наталкивается на самостоятельного человека. Он стремится от него отделаться, но боится обратиться к врагу. Ему жаль его терять, и вместе с тем он счастлив, что освобождается от такого опасного человека.

Но по мере того как росла самоуверенность Наполеона, до гигантских размеров вырастала и самоуверен-

ность его министра, а всеобщая симпатия заставляла Жозефа Фуше проявлять еще большую непоколебимость. Нет, герцог Отрантский не позволит больше так просто себя отстранить. Пусть Наполеон полюбуется, какой вид примет министерство полиции, когда выставят за дверь Жозефа Фуше, и пусть почувствует его преемник, что, отважившись его заменить, он сел в осиное гнездо, а не в министерское кресло. Не для неуклюжего старого уса-ча вроде Савари, совершенного новичка в дипломатии, трудился он целых десять лет над сооружением превосходно настроенного инструмента, не для того, чтобы глупый неуч мог продолжать его работу и выдавать за свои достижения то, что было продумано его предшественником за многие дни и ночи тяжкого труда. Нет, его увольнение не обойдется им так дешево, как они себе это представляют. Оба они, и Наполеон и Савари, узнают, что Жозеф Фуше умеет не только гнуть спину, но и показывать когти.

Фуше решил не уходить с покорно склоненной головой. Он не желает худого мира, не желает спокойной капитуляции. Он, конечно, не настолько глуп, чтобы оказывать открытое сопротивление, — это не в его натуре. Он позволит себе только небольшую шуточку, остроумную, веселую шуточку, над которой посмеется Париж и которая покажет Савари, что в лесах герцога Отрантского расставлены превосходные капканы. Не надо забывать удивительной, сатанинской черты характера Жозефа Фуше: именно крайнее озлобление вызывает у него потребность в жестокой шутке, его мужество, вырастая, превращается не в отвагу, а в гротескно-уродливую надменность. Тех, кто оскорбляет его, он никогда не бьет кулаком, но всегда именно озлобленно-шутковским бичом, и при этом так, что оставляет противника с носом. И тогда, пенясь и шипя, в эти мгновения мнимого веселья, вырываются наружу все тайные побуждения, скрытые в этом замкнутом человеке, обнажая глубоко затаенную жгучую страстность и демонизм его природы.

Итак, нужно сыграть злую шутку с преемником! Ее нетрудно придумать, особенно если имеешь дело с таким наивным болваном. Для встречи своего преемника, который должен вступить в должность, герцог Отрантский облачается в парадный мундир и надевает маску

исключительной вежливости. И действительно, едва входит Савари, герцог Ровиго, как Фуше осыпает его любезностями. Он не только поздравляет его со столь почетным назначением, но и благодарит за то, что Савари освобождает его от этой обременительной должности, от которой он так устал. Уверяет, что счастлив получить наконец возможность отдохнуть от огромного труда. Ибо управление этим министерством, говорит он, — работа не только огромная, но и неблагоприятная, в особенности же для человека, к ней не привыкшего, в чем герцог скоро убедится. Во всяком случае, он выражает готовность быть ему полезным, чтобы немного запутанные дела министерства — ведь увольнение застало его врасплох — быстро привести в порядок. Конечно, прибавляет он, это потребует некоторого времени, но если герцог Ровиго согласен, он, Фуше, охотно возьмет на себя этот небольшой труд, пока герцогиня Отрантская будет перебираться на новую квартиру. Добродушный Савари, герцог Ровиго, не замечает ложки дегтя в бочке меда. Он приятно поражен исключительной любезностью человека, которого все считают злобным и хитрым, и даже вежливо благодарит герцога Отрантского за его исключительную услужливость. Конечно, пусть Фуше пробудет в министерстве сколько нужно; откланиваясь, он растроганно жмет руку этого честнейшего, незаслуженно опороченного человека.

Как жаль, что нельзя было видеть и зарисовать лицо Жозефа Фуше в тот миг, когда закрылась дверь за его обманутым преемником. Глупый тюлень, усмехается он, неужели ты думаешь, что я наведу порядок в делах министерства и, аккуратно разложив их по папкам, передам в твои неуклюжие лапы все тайны, собранные за десять лет кропотливого труда? Неужели стану для тебя смазывать и чистить так чудесно устроенную мною машину, которая бесшумно всасывает и перерабатывает своими зубцами и колесами поступающие со всей страны сведения? Глупец, тебе еще придется разинуть рот!

Сейчас же начинается бешеная работа. Верный друг призван на помощь. Тщательно запирается дверь в кабинет, и все важные секретные бумаги поспешно вытаскиваются из дел. Те, что могут еще когда-нибудь пригодиться, обвиняющие и предательские документы, Жозеф

Фуше откладывает для личного употребления, все остальное беспощадно сжигается. Зачем господину Савари знать, кто из представителей знати, живущей в предместье Сен-Жермен, кто из военных, кто из придворных оказывал услуги шпионского характера? Это слишком облегчит ему работу. Итак, в огонь эти списки! Пусть останутся имена совершенно незначительных осведомителей и доносчиков, дворников и проституток, от которых Савари все равно ничего важного не узнает. Папки очищаются молниеносно. Исчезают важные списки с именами заграничных роялистов и тайных корреспондентов, все искусно приводится в беспорядок, разрушается система регистрации, дела снабжаются неверной нумерацией, переставляются шифры и вместе с тем завербовываются в качестве шпионов важнейшие служащие будущего министра, которые должны тайно осведомлять обо всем прежнего и действительного хозяина. Винт за винтом вытаскивает и выламывает Фуше из громадного механизма, чтобы в руках доверчивого преемника не сцеплялись шестеренки и срывались передачи. Как русские сжигали перед вступлением Наполеона свой священный город Москву, чтобы лишить его удобных квартир, так разрушает и минирует Фуше любимое творение своей жизни. Четыре дня и четыре ночи дымится камин, четыре дня и четыре ночи продолжается эта дьявольская работа. И никто не догадывается, что государственные тайны перемещаются в шкафы Ферьера либо рассеиваются вместе с дымом по ветру.

А потом снова чрезвычайно вежливое, исключительно любезное расшаркивание перед ничего не подозревающим преемником: прошу вас, садитесь! Рукопожатие и принятая с улыбкой благодарность. Собственно говоря, герцогу Отрантскому следовало бы теперь мчаться в курьерской карете в Рим и приступить там к своим посольским обязанностям, но он хочет еще побывать в своем замке — Ферьере. И там, трепеща от тайного нетерпения и радости, ожидает первой вспышки гнева своего обманутого преемника, раскусившего шуточку, разыгранную над ним Фуше.

Не правда ли, песка прекрасно придумана, тонко разыграна и дерзко доведена до конца? К сожалению,

Жозеф Фуше допустил в этой веселой мистификации одну маленькую оплошность. Полагая, что потешается над неопытным, свежее испеченным герцогом, этим министром-младенцем, он забыл, что его преемник назначен властелином, который не терпит шуток. Наполеон уже и так недоверчиво следит за поведением Фуше. Ему не нравится эта медлительность в передаче дел и откладывание поездки в Рим. Кроме того, расследование деятельности Уврара, главного помощника Фуше, дало неожиданные результаты: выяснилось, что еще раньше, через другого посредника, Фуше передавал документы для английского кабинета. Пока еще никому не удавалось шутить с Наполеоном. Неожиданно 17 июня в Феррьер приходит резкое, как удар хлыста, послание: «Господин герцог Отрантский, прошу Вас переслать мне предложение, переданное Вами некоему господину Фаган для ведения переговоров с лордом Уэлсли, и привезенный им Вам ответ, о которых я ничего не знал». Эти грозные фанфары могли бы разбудить и мертвого. Но Фуше, опьяненный сомнением и задором, не торопится с ответом. Тем временем в Тюильри подливается масло в огонь. Савари обнаруживает ограбление министерства полиции и смущенно сообщает об этом императору. Тотчас летит второе и третье послание с приказанием незамедлительно переслать «весь министерский портфель». Секретарь кабинета лично передает Фуше распоряжение и приказ отобрать у герцога Отрантского противозаконно присвоенные им бумаги. Шутка окончена. Начинается борьба.

Действительно, шутка окончена: пора бы Фуше понять это. Но он, словно одержимый дьяволом, собирается всерьез помериться силами с Наполеоном, с самым сильным человеком мира. Он выражает посланнику свое крайнее сожаление в том, что не имеет названных бумаг. Он все сжег. Этому не верит ни один человек и меньше всех Наполеон. Вторично шлет он Фуше напоминание, суровое и настойчивое, — нетерпение императора известно всем. Но необдуманность переходит в упорство, упорство — в наглость, наглость — в прямой вызов. Фуше повторяет, что у него нет ни единого листоч-

ка, и для объяснения мотивов мнимого уничтожения частных бумаг императора прибегает к шантажу: император, говорит он извиняясь, удостоил его столь большого доверия, что поручал напоминать своим братьям об их обязанностях, когда им случалось вызывать недовольство его величества. А так как каждый из братьев Наполеона, в свою очередь, поверял ему свои жалобы, он считал своим долгом не сохранять подобных писем. Сестры его величества также не всегда были ограждены от клеветы, и император сам удостоивал сообщать ему о всех подобных случаях, поручая узнать, какие именно неблагоразумные поступки августейших сестер могли дать к тому повод. Ясно, совершенно ясно — Фуше намекает императору, что ему многое известно и он не позволит обращаться с собой, как с лакеем. Посланец понимает вымогательский характер угрозы и, конечно, сильно затрудняется преподнести повелителю в какой бы то ни было форме столь дерзкий ответ. Тут уж император выходит из себя. Он так неистовствует, что герцог Масса принужден успокаивать его и, желая положить конец досадному делу, предлагает лично побудить строптивого министра выдать утаенные бумаги. Повторное требование исходит от нового министра полиции герцога Ровиго. Но Фуше отвечает на все с одинаковой вежливостью и решительностью: очень, очень жаль, но чрезмерная осторожность побудила его сжечь бумаги. Впервые позволяет себе человек открыто оказать сопротивление императору во Франции.

Но это уж слишком. Так же как Наполеон за десять лет не сумел оценить по достоинству Фуше, так и Фуше недооценил Наполеона, полагая, что его можно напугать угрозой разглашения нескольких тайн. Оказывать перед лицом всех министров сопротивление человеку, которому царь Александр, австрийский император и саксонский король предлагали в жены своих дочерей, перед которым трепещут, словно школьники, все немецкие и итальянские короли! Эта высохшая мумия, этот жалкий интриган, еще не сносивший герцогской мантии, не жаждет подчиниться человеку, против которого не смогли устоять армии всей Европы? Нет, нельзя позволять себе подобных шуток с Наполеоном. Он немедленно вызывает шефа своей личной полиции Дюбуа, в присутст-

вии которого предается неистовым приступам ярости, обличая мерзкого, подлого Фуше. Твердыми, гулкими шагами ходит он гневно взад и вперед и вдруг вскрикивает: «Пусть он не надеется, что ему удастся поступить со мной так, как он поступил с богом, Конвентом и Директорией, которых он подло предал и продал. У меня более зоркий взгляд, чем у Барраса, со мной игра не будет такой легкой, я советую ему быть настороже. Я знаю, что у него есть документы и инструкции, переданные ему мною, и я настаиваю, чтобы он их вернул. Если он откажется, передайте его немедленно в руки десятка жандармов, пусть его отправят в тюрьму, и, клянусь богом, я покажу ему, как быстро я умею расправляться».

Теперь в воздухе запахло гарью. Нос Фуше учуял острый, угрожающий запах. И когда является Дюбуа, Фуше вынужден допустить, чтобы у него, у герцога Отрантского и бывшего министра полиции, ему же служивший подчиненный опечатал бумаги — мера, которая могла бы оказаться опасной, не спрячь осторожный министр заранее все самые существенные и важные документы. Но все же он начинает понимать, что коса нашла на камень. Он лихорадочно пишет письмо за письмом, одно императору, другие — некоторым из министров, чтобы пожаловаться на недоверие, которое выражают ему, самому честному, самому искреннему, самому выдержанному, самому верноподданному из министров, и в одном из этих писем особенно драгоценна одна очаровательная фраза: «Il n'est pas dans mon caractère de changer»<sup>1</sup> (да, да, именно эти слова собственноручно, черным по белому, написал хамелеон Фуше). Как пятнадцать лет тому назад в столкновении с Робеспьером, он надеется и теперь поспешным примирением предотвратить несчастье. Он садится в карету и едет в Париж, чтобы лично объяснить все императору, или, вернее, принести свои извинения.

Но поздно. Он слишком долго забавлялся, слишком долго шутил — теперь примирение уже невозможно, невозможно и соглашение; кто посмел публично бросить вызов Наполеону, должен быть публично унижен. Фуше получает письмо, такое суровое и резкое, какого, вероят-

---

<sup>1</sup> Не в моем характере быть непостоянным (франц.).

но, Наполеону ни разу не приходилось писать своим министрам. Оно очень кратко, это письмо, этот пинок ногой: «Господин герцог Отрантский, ваши услуги мне больше не угодны. В течение двадцати четырех часов вы обязаны выехать в свое поместье». Никакого упоминания о назначении послом в Рим; откровенное, грубое увольнение — и к тому же изгнание. Одновременно министр полиции получает приказание проследить за немедленным исполнением эдикта.

Напряжение было слишком велико, игра слишком важна — и кончается она неожиданно: Фуше сломлен; он подобен лунатику, который смело гуляет по крышам, но, разбуженный громким окриком, приходит в ужас от своей безумной смелости и падает в пропасть. Тот самый человек, который не терял самообладания и ясности мысли почти у подножия гильотины, съезживается самым жалким образом под ударом Наполеона.

Это 3 июля 1810 года — Ватерлоо Жозефа Фуше. Нервы не выдерживают — он бросается к министру за заграничным паспортом, он мчится без остановок, меняя на каждой станции лошадей, в Италию. Там он бежит с места на место, как бешеная крыса по горячей плите. Он то в Парме, то во Флоренции, то в Пизе, то в Ливорно, вместо того чтобы отправиться, согласно предписанию, в свое поместье. Он в страшной панике. Лишь бы только быть вне досягаемости Наполеона — там, куда не дотянется его рука. Даже Италия кажется ему недостаточно надежной защитой, это все же Европа, а вся Европа подчинена этому ужасному человеку. И вот он нанимает в Ливорно корабль, чтобы перебраться в Америку — страну безопасности и свободы, но буря, морская болезнь и страх перед английскими крейсерами гонят его обратно, и, снова обезумев, мчится он в карете зигзагами из порта в порт, из города в город, молит о помощи сестер Наполеона, князей, приятелей, исчезает, снова всплывает на поверхность, к огорчению полицейских чиновников, то нападающих на его след, то опять его теряющих, — словом, Фуше ведет себя как сумасшедший, как обезумевший от страха человек, и впервые он, человек, лишенный нервов, может служить клиническим

примером полного нервного потрясения. Никогда Наполеон одним движением, одним ударом кулака не разбивал противника столь решительно, как этого самого смелого и хладнокровного из своих слуг.

Так, то прячась, то появляясь вновь, продолжает он лихорадочно метаться; проходят недели, и невозможно понять (даже его превосходный биограф Мадлен не знает этого, да, вероятно, он и сам не знал), чего он хотел и куда в те дни стремился. По-видимому, лишь в карете чувствовал он себя защищенным от мнимой мести Наполеона, который давно уже не думает всерьез посягать на жизнь своего непокорного слуги. Наполеон хотел лишь настоять на своем, вернуть свои бумаги, и этого он добился. Ибо, пока обезумевший, впавший в истерику Фуше загоняет по всей Италии почтовых лошадей, его жена, оставшаяся в Париже, поступает гораздо благоразумнее: она капитулирует вместо него; нет сомнения, что герцогиня Отрантская, чтобы спасти своего мужа, тайно вручила Наполеону коварно скрытые бумаги, ибо ни один из тех интимных документов, на которые намекал Фуше, шантажируя Наполеона, никогда не был опубликован. Документы, хранившиеся у Фуше и касавшиеся лично Наполеона, исчезли так же бесследно, как бумаги Барраса, выкупленные у него императором, и другие компрометирующие его бумаги. Кто-то, либо сам Наполеон, либо Наполеон III, окончательно уничтожил документы, которые могли не соответствовать канонизированному изображению Наполеона.

Наконец Фуше получает милостивое разрешение вернуться в свое поместье в Экс. Гроза рассеялась, молния поразила лишь нервы, пощадив мозг. 25 сентября прибывает загнанный Фуше в свое поместье, «бледный, усталый человек, бессвязные мысли и речи которого свидетельствуют о нервном расстройстве». Но у него будет достаточно времени, чтобы привести свои нервы в порядок, ибо кто хоть раз оказал сопротивление Наполеону, тот надолго становится свободным от всех общественных дел. Честолюбец должен расплачиваться за свою злую шутку: волна снова опрокинула его и бросила на дно. На три года лишился Жозеф Фуше положения и должности: началось его третье изгнание.

## ВЫНУЖДЕННОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

1810—1815



**Н**ачалось третье изгнание Жозефа Фуше. Отставленный от службы министр, герцог Отрантский живет в своем великолепном замке Экс, как владетельный князь. Ему пятьдесят два года, он познал до конца все труды и забавы, все успехи и неудачи политической жизни, вечную смену приливов и отливов бурного моря судьбы. Он вкусил милость властимущих и отчаяние отверженного, он бывал настолько беден, что тревожился о хлебе насущном, и был безмерно богат, был любим и ненавидим, прославляем и изгоняем — теперь он, герцог, сенатор, их превосходительство, министр, государственный советник и миллионер, не зависящий ни от кого, кроме собственной воли, может

наконец отдохнуть на золотом берегу. Спокойно выезжает он в своей пышной карете на прогулку, наносит визиты местному дворянству, ему воздают высшие почести в провинции, и он получает тайные выражения симпатии из Парижа; он избавлен от треплющего нервы общения с глупыми чиновниками и деспотическим поводителем. Если судить по его довольному виду, герцог Отрантский прекрасно чувствует себя *gratul negotiis*<sup>1</sup>. Но насколько обманчив этот довольный вид, ясно из следующего (без сомнения, достоверного) места его (вообще мало достоверных) мемуаров: «Вывшаяся в меня привычка знать все обо всем не покидала меня и мучила во время скучного и однообразного, хотя и приятного изгнания»<sup>2</sup>. По его собственному признанию, *charme de sa retraite* (прелесть его уединению) придает не нежный пейзаж Прованса, а получение известий и донесений из столицы. «С помощью верных друзей и надежных посланцев я организовал тайную переписку с Парижем, регулярно получая взаимно друга друга дополнявшие известия. Одним словом, я имел в Экс свою частную полицию». Этот неугомный человек занимается теперь ради спорта тем, чем ему не дозволено заниматься по службе, и если он уже не может более бывать в министерствах, то ему хочется по крайней мере подглядывать чужими глазами в замочные скважины, подслушивать чужими ушами различные совещания и главным образом вынюхивать, не явилась ли наконец возможность вновь предложить свои услуги, вновь протолкаться к игорному столу современности.

Но герцогу Отрантскому придется еще долго быть не у дел, потому что Наполеон в нем не нуждается. Он сто-

---

<sup>1</sup> Вдали от дел (лат.).

<sup>2</sup> Я нигде не ссылаюсь в этой работе на вышедшие в 1824 году мемуары герцога Отрантского, потому что они написаны чужой рукой, хотя в них и попадает подлинный материал. В какой мере во всем двуличный Фуше сам участвовал в их составлении, остается вопросом, до сих пор еще не разрешенным наукой. Пока еще остается в силе остроумное замечание Генриха Гейне, который, говоря об «известной фальшивости» Фуше, прибавляет: «Его фальшивость заходила так далеко, что он уже после своей смерти издал фальшивые мемуары». (Прим. авт.)

ит на вершине своего могущества, покоритель Европы, зять австрийского императора и (исполнилось самое пламенное его желание) отец римского короля. Покорно заискивают перед ним все немецкие и итальянские князья, благодарные за милость, что ему угодно было оставить им их короны и коронки; уже пошатнулся его последний и единственный враг — Англия. Этот человек настолько всесилен, что он может с улыбкой отказаться от услуг таких ловких, но малонадежных помощников, как Фуше, а господин герцог имеет теперь впервые достаточно досуга, чтобы спокойно поразмыслить о той безумной заносчивости, которая побудила его помериться силами с этим самым могущественным из всех людей. Император не удостаивает Фуше даже чести сделать его предметом своей ненависти — с той огромной высоты, на которую судьба вознесла Наполеона, он и не замечает маленькое, злое насекомое, которое некогда гнездилось в его шубе, пока хозяин не вытряхнул его одним сильным взмахом. Он не замечает ни навязчивости опального, ни его отсутствия — Фуше для него больше не существует. Ничто более ясно не показывает павшему министру, как мало Наполеон его теперь уважает и боится, как полученное Фуше разрешение переехать в свой замок Феррьер, в двух часах езды от Парижа. Ближе, впрочем, император его не подпускает; Париж и Тюильри закрыты для человека, который осмелился противодействовать Наполеону.

Только один-единственный раз за эти два пустых года был приглашен Жозеф Фуше во дворец. Наполеон готовит войну против России, все отговаривают его, и поэтому ему хочется, чтобы Фуше высказал на сей раз свое мнение. Фуше, если верить ему самому, страстно предостерегает императора и передает ему (если только он его не сфабриковал *post factum*) тот меморандум, о котором говорится в его воспоминаниях; но Наполеон уже давно способен выслушивать лишь тех, кто подтверждает его собственное мнение, он нуждается лишь в рабском подтверждении своих слов. Ему кажется, что те, кто отговаривает его от войны, сомневаются в его величии. Поэтому Фуше холодно отсылают обратно в его замок, в праздное изгнание, между тем как император

с шестьюстами тысячами человек предпринимает самый смелый и самый безумный из своих подвигов — поход на Москву.

В удивительной и переменчивой жизни Жозефа Фуше наблюдается странная ритмичность. Когда он восходит, все ему удается; когда он падает, счастье поворачивается к нему спиной. Теперь, когда он, огорченный и озлобленный, живет в тени опалы, в своем отдаленном замке, вдали от города, и в вынужденном бездействии выжидает развития событий, и именно теперь, когда он разочарован и нуждается в душевной поддержке, сочувствии и нежном утешении, теряет он единственного человека, который в течение двадцати лет с любовью и терпением поддерживал его, сопутствуя во всех опасностях, — Фуше теряет жену. Во время первого изгнания, в мансарде, умерли два его первых, самых любимых ребенка, во время третьего изгнания его покидает спутница жизни. Эта потеря потрясает его, казавшегося бесчувственным, до глубины души. Этот непроницаемый человек, изменявший всем партиям и всем идеалам, сохранил трогательную верность своей некрасивой жене, был внимательнейшим мужем и заботливым отцом; так же как под маской сухого кабинетного бюрократа таился нервный интриган и азартный политический игрок, так под коварством и низостью этой личности робко и незримо скрывался добропорядочный буржуа, французский провинциальный супруг, одинокий человек, чувствующий себя хорошо и спокойно лишь в тесном кругу своей семьи. Весь глубоко затаенный запас доброты и порядочности, сохранявшийся в душе лукавого дипломата, он с молчаливой любовью отдавал своей спутнице, которая жила только для него, никогда не принимала участия в придворных празднествах, банкетах и приемах, никогда не вмешивалась в его опасную игру. Здесь, в неприступном убежище его частной жизни, скрывалась противодействующая сила, уравновешивавшая все то беспокойство, рискованное и неустойчивое, что наполняло политическое существование Фуше. И эта опора рухнула в момент, когда он в ней больше всего нуждался. Впервые чувствуется, что этот каменный человек действи-

тельно потрясен, впервые слышны в его письмах очень теплые, правдивые, человеческие нотки. Друзья советуют Фуше снова добиваться поста министра полиции: его преемник герцог де Ровиго стал посмешищем всего Парижа, позволив арестовать себя во время смешной попытки переворота, предпринятого каким-то полупомешанным субъектом. Но Фуше отказывается от всякого участия в политической жизни: «Мое сердце закрыто для всей этой человеческой суеты. Власть больше не привлекает меня, в моем теперешнем состоянии мне не только желателен, но совершенно необходим покой. Государственная деятельность представляется мне сумбурным, полным опасностей занятием». Впервые кажется, что этот умник действительно научился мудрости в школе страдания. После двадцати лет бессмысленной погони за почестями стареющим человеком, потерявшим спутницу этих страшных лет, овладела глубокая потребность в отдыхе, во внутреннем успокоении. Кажется, в нем навсегда угасла страсть к интригам, и воля к власти наконец-то окончательно сломлена в этой так много метавшейся, беспокойной, ненасытной душе.

Но какова ирония судьбы! Именно теперь, когда в первый и единственный раз вечно беспокойный Фуше желает наконец только покоя и отказывается от службы, его противник Наполеон принуждает его опять служить.

Не любовь, не расположение, не доверие заставляют Наполеона вновь призвать Фуше на службу, но подозрительность и внезапное сомнение в своих силах. Впервые возвращается император побежденным. Не во главе своей армии, высоко на коне, среди развевающихся знамен, въезжает он через Триумфальную арку в Париж, но, закрыв лицо шубой, чтобы не быть узнанным, возвращается в него ночью, словно беглец. Лучшая из всех его армий замерзла в русских снегах, ореол непобедимости утрачен, а с ним и все друзья. Императоры и короли, вчера еще гнувшие перед ним спины в поклоне, при виде побежденного императора с огорчающей поспешностью вспоминают о своем достоинстве. Весь мир выступает с оружием в руках против своего сурового повели-

теля. Из России идут казаки, из Швеции выступает старый соперник Бернадот, его собственный тесть—император Франц—вооружается в Богемии, подымается, горя мщением, поработенная Пруссия—бесчисленные, легкомысленные войны, как зубы дракона, как страшный посев, брошенный в опаленную, истерзанную почву Европы, приносят свои плоды, и жатва этой осенью будет собрана на полях под Лейпцигом. Повсюду колеблется и трещит гигантское здание, сооруженное в течение десяти лет этой единственной в своем роде мировой волей.

Из Испании, Вестфалии, Голландии и Италии бегут изгнанные братья Бонапарта. От Наполеона требуется теперь наивысшее напряжение сил. С удивительной предусмотрительностью и удесятеренной энергией готовится он к последнему, решительному бою. Во Франции призывают всех, кто еще в состоянии носить ранец или сидеть на коне, отовсюду, из Италии и Испании, стягиваются испытанные войска, чтобы восстановить то, что своими ледяными челюстями перемолола русская зима. День и ночь тысячи людей куют на заводах сабли и отливают пушки, из тайных запасов золота чеканят монету, из тайников Тюильри достают спрятанные сбережения, крепости приводятся в боевую готовность, и пока с востока и запада тяжелой поступью двигаются к Лейпцигу войска, во всех направлениях поспешно раскидываются дипломатические сети. Франция окружается ключей железной проволокой, в которой не должно быть ни единого слабого и ненадежного места, ни одного прорыва, каждая возможность должна быть учтена, фронт и тыл надежно защищены. Нельзя допустить, чтобы глупость или злоба вторично, как во время русского похода, поколебали или подорвали доверие народа к Наполеону. Все сомнительные люди должны быть удалены, все подозрительные взяты под строгое наблюдение.

Перед этим решительным боем император хочет учесть каждую случайность, предусмотреть любую возможную опасность. И вот он вспоминает о том, кто может стать опасным,— о Жозефе Фуше. Как видим, он не забыл о нем, а только не обращал на него внимания, пока чувствовал себя сильным. Но теперь, ощутив неуве-

ренность, он хочет обезопасить себя. Нельзя оставлять у себя в тылу, в Париже, ни одного возможного врага. А так как Наполеон не относит Фуше к числу своих друзей, то он и решает, что следует удалить Фуше из Парижа.

Правда, нет никаких видимых причин для того, чтобы арестовать и упрятать в крепость этого беспокойного интригана и тем самым оградить себя от его козней. Но и на свободе его тоже нельзя оставлять. Лучше всего связать этому страстному игроку руки какой-нибудь должностью, и, если возможно, подальше от Парижа. Но напрасно в суматохе государственных дел и военных приготовлений подыскивают в главной квартире в Дрездене для Фуше такое назначение, которое было бы для него почетным и обезвредило бы его. Подыскать его оказывается не так-то легко. Однако Наполеону не терпится удалить из Парижа эту темную личность. Если для Фуше нельзя найти подходящей должности, надо ее придумать, и вот Фуше получает совершенно фантастическое назначение: правителя оккупированных областей Пруссии. Прекрасная, первоклассная должность и, без сомнения, почетная, но с одним маленьким изъяном—она зависит от одного «если»; ее можно занять, если Наполеон завоюет Пруссию. А между тем текущие военные события дают мало оснований на это рассчитывать: Блюхер серьезно теснит императора на саксонском фланге, и, таким образом, назначение Фуше является едва ли не шуткой, чем-то висящим в воздухе. 10 мая император пишет герцогу Отрантскому: «Я приказал сообщить вам о своем намерении вызвать вас ко мне сразу же, как я вторгнусь во владения прусского короля, чтобы поставить вас во главе правительства этой страны. В Париже ничего не должно быть об этом известно. Все должно произойти под видом, будто вы отправляетесь в свое имение, и когда вы будете уже здесь, все должны думать, что вы дома. Одной только императрице известно о вашем отъезде. Я рад возможности вновь воспользоваться вашими услугами и получить новые доказательства вашей преданности». Император пишет так Жозефу Фуше именно потому, что он совершенно не верит в его «преданность». И, тотчас разгадав сокровенное намерение своего повелителя, Фуше неохотно, полный недоверия, со-

бирается в путь, в Дрезден. «Мне стало сразу ясно,— пишет он в своих мемуарах,— что император, опасаясь моего присутствия в Париже, хотел иметь меня под рукой в качестве заложника и единственно для этого вызвал меня к себе». Будущий правитель Пруссии не очень-то торопится в государственный совет, в Дрезден, потому что он знает, что в действительности там не столько нуждаются в его советах, сколько желают связать ему руки. Он приезжает только 29 мая; император встречает его словами: «Вы приехали слишком поздно, господин герцог».

О смехотворном намерении поручить Фуше управление Пруссией в Дрездене, само собой понятно, не говорится больше ни слова — для подобных шуток момент слишком серьезен. Но его теперь крепко держат в руках, и, к счастью, находится другой великолепный пост для того, чтобы держать его вдали от событий. Правда, этот пост не столь призрачный, как прежний, висевший между небом и землей, но все же он на сотни километров удален от Парижа, а именно — это наместничество в Иллирии. Старый товарищ Наполеона, генерал Жюно, управляющий этой провинцией, сошел с ума,— таким образом, освободилось помещение для непокорных. С едва скрываемой иронией вручает император это недолговечное полномочие Жозефу Фуше, который, как всегда, не противится и, почтительно кланяясь, выражает готовность немедленно отправиться в путь.

Название «Иллирия» звучит по-опереточному, и действительно — что за пестрое государство было выкроено по последнему насильственному «мирному» договору из обрывков Фриуля, Каринтии, Далмации, Истрии и Триеста! Государство без объединяющей идеи, без смысла и цели, с крошечным крестьянским городишком Лайбах, в качестве какой-то столицы, уродливый нежизнеспособный выкидыш, порождение опьяненного самовластия и близорукой дипломатии. Фуше находит там только почти пустую казну, несколько десятков скучающих чиновников, очень мало солдат и недоверчивое население, с нетерпением ожидающее ухода французов. Это искусственное, наспех подремонтированное, подштукатуренное государство трещит уже по всем швам; несколь-

ко пушечных выстрелов — и шаткое здание рухнет. Эти выстрелы скоро грянут по приказу тестя Наполеона, императора Франца, и тогда всему иллирийскому великолепию наступит конец. Фуше и думать не может о серьезном сопротивлении, имея всего несколько полков, составленных главным образом из кроатов, готовых при первом выстреле перейти на сторону своих старых товарищей. Поэтому с первого же дня он начинает готовиться к отступлению и, стремясь получше замаскировать его, ведет себя, как беззаботный правитель: дает балы, устраивает приемы, днем назначает торжественные парады своих войск, а ночью тайно отправляет деньги и документы в Триест. Его действия в качестве правителя ограничиваются тем, чтобы осторожно, шаг за шагом, с возможно меньшими потерями эвакуироваться. При этом стратегическом отступлении вновь блестяще проявляются его обычное хладнокровие, стремительная решительность и энергия. Шаг за шагом, без потерь отступает он из Лайбаха в Герц, из Герца в Триест, из Триеста в Венецию; ему удастся вывезти из своего недолговечного наместничества в Иллирии почти всех чиновников, казну и много ценных материалов. Но что значит потеря этой жалкой провинции! Ведь в те же самые дни Наполеон проигрывает самое важное и последнее в этой войне большое сражение — битву народов при Лейпциге — и тем самым утрачивает господство над миром.

Фуше самым безупречным образом справился со своей задачей. Теперь, когда уже не приходится больше управлять Иллирией, он свободен и, разумеется, желает вернуться в Париж. Но Наполеон держится иного мнения. Именно теперь ни под каким видом нельзя позволить Фуше вернуться в Париж. Еще в Дрездене император сказал: «Такого человека, как Фуше, при теперешних обстоятельствах оставлять в Париже нельзя», — и сейчас, после Лейпцига, эти слова приобретают в двадцать раз большее значение. Фуше нужно куда-нибудь убрать, и убрать подальше во что бы то ни стало. И, решая трудную задачу, как отразить пятикратно превосходящие силы противника, император поспешно придумывает новое поручение для неудобного человека, и опять такое, которое обезвредило бы Фуше на все время ведения

военных действий. Нужно дать ему возможность заняться дипломатическими интригами, но помешать ему запустить в Париж свои ненасытные лапы. И Наполеон посылает Фуше в Неаполь (который так далеко), чтобы он напомнил Мюрату, неаполитанскому королю и шурина императора, занятому больше своим королевством, чем делами империи, об его обязанностях и побудил его выступить со своей армией на помощь императору. Неизвестно, как Фуше исполнил свое поручение,— убеждал ли он старого генерала наполеоновской кавалерии сохранить верность Наполеону или, наоборот, поддерживал его измену,— историками не выяснено. Во всяком случае, цель императора достигнута: Фуше, по ту сторону Альп, за тысячи миль, в течение четырех месяцев занят бесконечными переговорами. В то время как австрийцы, пруссаки и англичане уже идут на Париж, он должен непрерывно и бессмысленно разъезжать взад и вперед из Рима во Флоренцию и Неаполь, из Генуи в Лукку, в сущности, бесцельно растрачивая время и силы на неразрешимую задачу. Потому что и сюда уже неудержимо надвигаются австрийцы; после Иллирии ему приходится терять Италию, второе вверенное ему государство. В конце концов к началу марта император Наполеон уже не имеет ни одного государства, куда бы он мог сплывать этого неудобного человека, да к тому же и в самой Франции он уже не может ни приказывать, ни запрещать. И вот 11 марта Жозеф Фуше, который благодаря гениальной предусмотрительности императора в течение четырех месяцев был устранен от всяких политических махинаций во Франции, возвращается через Альпы на родину. Но когда он наконец сбрасывает с себя цепь, на которой его держали, оказывается, что он опоздал на четыре дня.

В Лионе Фуше узнает, что войска трех императоров движутся на Париж. Итак, через несколько дней Наполеон падет и будет образовано новое правительство. Само собой разумеется, что он снедаем честолюбием и горит нетерпением *d'avoir la main dans la rôte*, подобраться к общественному пирогу и урвать себе лучший кусок. Но прямой путь в Париж уже прегражден на-

ступающими войсками, он должен томительно долго ехать в объезд, через Тулузу и Лимож. Наконец, 8 апреля почтовая карета въезжает в Париж. С первого взгляда Фуше понял, что приехал слишком поздно. А кто опаздывает, тот виновен. Наполеон сумел отплатить Фуше за все козни и шутки, предусмотрительно удалив его на то время, когда можно было ловить рыбку в мутной воде. Париж уже сдался, Наполеон свергнут, Людовик XVIII избран королем, и полностью сформировано новое правительство с Талейраном во главе. Этот проклятый хромоножка вовремя оказался на месте и быстрее переменял фронт, чем это удалось сделать Фуше. В доме Талейрана уже живет русский царь, новый король осыпает Талейрана знаками своего доверия, тот роздал по своему усмотрению все министерские посты, подлейшим образом не оставив ничего для герцога Отрантского, который в это время, не видя в этом ни смысла, ни цели, управлял Иллирией и вел дипломатические переговоры в Италии. Его никто не ждал, им никто не интересуется, никто не хочет его знать, никто не ищет у него совета и помощи. И снова Фуше, как уже не раз случалось в его жизни, конченный человек.

Долго не верится Фуше, что все так равнодушно допустят, чтобы он пал, он — великий противник Наполеона. Он явно и тайно предлагает свои услуги; его встречают в передней Талейрана, у брата короля, у английского посланника, на заседаниях сената — повсюду. Но никто не обращает на него внимания. Фуше пишет письма, в том числе и Наполеону, советуя ему переселиться в Америку, и одновременно, желая выслужиться, посылает копию этого письма Людовику XVIII. Однако он не получает ответа. Он ходатайствует перед министрами о получении достойного назначения — его везде принимают вежливо, холодно и ничего для него не делают. Фуше старается выдвинуться с помощью женщин, но все напрасно: он совершил самую непростительную политическую ошибку — прибыл слишком поздно. Все места уже заняты, и никто из сановников не желает добровольно встать, чтобы любезно уступить свое место герцогу Отрантскому. Честолюбцу не остается ничего иного, как вновь уложить свой чемодан и отправиться в за-

мок Ферьер. Со смертью жены у него осталось лишь одно подспорье — время. До сих пор оно всегда ему помогало, поможет оно ему и на сей раз.

И в самом деле, ему и на этот раз помогает время. Фуше скоро учуял, что в воздухе снова запахло порохом. Человеку, имеющему тонкий слух, даже из Ферьера слышно, как скрипит и трещит королевский трон. Новый повелитель, Людовик XVIII, делает одну ошибку за другой. Он все забыл. Ему угодно игнорировать революцию и то, что после двадцати лет гражданского равенства Франция не хочет вновь гнуть спину перед двадцатью дворянскими родами. Он недооценивает опасность, которую представляет собой преторианское сословие генералов и офицеров, переведенных на половинное жалованье, недовольных этим и толкующих о низкой скаредности огуречного короля. Вот если б вернулся Наполеон, тогда бы снова началась хорошая, отличная война, тогда можно было бы опять отправиться в поход, грабить чужие земли, делать карьеру и крепко забрать бразды правления в свои руки. Уже замечены подозрительные сношения между отдельными гарнизонами, в армии зреет заговор, и Фуше, который никогда, при любых обстоятельствах, не теряет окончательно связи со своим детищем — полицией, прислушивается к происходящему и узнает нечто такое, что наводит его на размышления. Он усмехается про себя: да, добрый король узнал бы интересные вещи, если бы сделал министром полиции герцога Отрантского. Но к чему предупреждать этих придворных льстецов? До сих пор Фуше возвышались лишь перевороты, лишь менявший направление ветер. Поэтому он спокоен, замкнут, неподвижен; он медленно и глубоко дышит, как борец перед боем.

5 марта 1815 года в Тюильри с поразительной новостью врывается гонец: Наполеон покинул Эльбу и 1 марта высадился с шестьюстами солдатами в Фрежюсе. С презрительной улыбкой выслушивают придворные эту новость. Они ведь всегда считали, что этот Наполеон Бонапарт, которого превознесли так высоко, не в своем

уме. Parbleu! <sup>1</sup> Ведь это смешно! Этот безумец хочет сражаться с шестьюстами солдатами против короля, за спиной которого стоит целая армия и вся Европа! Нечего волноваться и беспокоиться, кучка жандармов укротит этого жалкого авантюриста. Маршал Ней, старый боевой товарищ Наполеона, получает приказ схватить его. Хвастливо обещает он королю не только обезоружить нарушителя спокойствия, но даже «в железной клетке, возить его по стране». В течение первой недели Людовик XVIII и его приближенные открыто демонстрируют Парижу свою беззаботность, и «Moniteur» пишет обо всем происходящем не иначе как в шутливой форме. Но вскоре начинают поступать неприятные известия. Наполеон нигде не встречает сопротивления, каждый высылаемый против него полк не уменьшает, а увеличивает его крохотную армию, а тот самый маршал Ней, который обещал возить его по стране в железной клетке, переходит с развернутыми знаменами на сторону своего бывшего повелителя. Наполеон уже в Гренобле, теперь он в Лионе — еще неделя, и его пророчество сбудется: императорский орел опустится на башню собора Нотр-Дам.

Королевским двором овладевает паника. Что делать? Какими преградами остановить эту лавину? Слишком поздно понимают король и его титулованные советники, каким это было безумием — чураться народа и стараться искусственно забыть, что с 1792 по 1815 год во Франции происходило что-то вроде революции. Значит, теперь надо немедленно завоевать народную любовь! Как-нибудь показать этому глупому народу, что его действительно любят, что уважают его желания и права; надобно немедленно начать править по-республикански, по-демократически! И всегда, когда уже бывает слишком поздно, короли и императоры торопятся выказать себя истыми демократами. Но как завоевать любовь республиканцев? Очень просто: пригласить одного из них в министерство, какого-нибудь завязанного революционера, который разукрасит белое знамя королевских лилий <sup>2</sup> чем-нибудь красным! Но где найти такого республиканца? Тогда внезапно вспоминают о некоем Жозефе

<sup>1</sup> Черт возьми! (франц.)

<sup>2</sup> Л и л и — герб Бурбонов; королевское знамя было белого цвета.

Фуше, который несколько недель тому назад сживал во всех приемных и засыпал своими предложениями столы короля и его министров. Да, это и есть нужный человек, единственный, кого можно всегда использовать для любых дел. Поскорей же вытащить его из забвения! Всегда, когда какое-нибудь правительство испытывает затруднения, будь это Директория, консульство, империя или королевство, всегда, когда нужен настоящий посредник, способный, сгладив противоречия, навести порядок, обращаются к человеку с красным знаменем, к самому ненадежному по своим личным качествам человеку, но к самому надежному дипломату, к Жозефу Фуше.

Герцог Отрантский испытывает удовлетворение — те самые князья и графы, которые еще совсем недавно холодно отклоняли его услуги и поворачивались к нему спиной, сейчас с почтительной настойчивостью предлагают ему министерский портфель и даже, можно сказать, стараются всунуть его ему в руки. Но старый министр полиции слишком хорошо понимает действительное положение дел и не желает теперь, в решающий час, компрометировать себя ради Бурбонов. Он чувствует, что агония уже наступила, если его так настоятельно приглашают в качестве врача, поэтому он вежливо отклоняет предложение под различными предлогами, давая понять, что следовало обратиться к нему раньше. Но чем ближе подходят войска Наполеона, тем быстрее исчезает заносчивость при королевском дворе. Все настойчивее убеждают и упрасивают Фуше взять на себя управление страной, родной брат Людовика XVIII сам приглашает его на тайное совещание. На сей раз Фуше сохраняет твердость не в силу своих убеждений, а потому, что его совсем не воодушевляет спасти гнилое дело Бурбонов и он отлично чувствует себя, раскачиваясь на качелях между Людовиком XVIII и Наполеоном. Теперь уже слишком поздно, успокаивает он брата короля, пускай только король укроется в безопасном месте; авантюра Наполеона скоро окончится, а он, со своей стороны, обещает сделать все, чтоб помешать императору. Пусть только доверятся ему. Таким образом, Фуше заручается расположением Бурбонов и может, в случае победы короля, выдавать себя за его приверженца. С другой сто-

роны, если победит Наполеон, он сможет гордо сослаться на то, что отклонил предложение Бурбонов. Слишком часто применял он испытанную систему двойного страхования, не отказывается он от нее и на этот раз: Фуше будет считаться верным слугой двух господ, императора и короля.

Но на этот раз дело принимает еще более веселый оборот: как и всегда в решающие моменты жизни Фуше, трагическая сцена превращается в комическую. Бурбоны уже кое-чему научились у Наполеона и знают, что в минуты опасности нельзя оставлять у себя за спиной такого человека, как Фуше. За три дня до отъезда короля — Наполеон уже недалеко от Парижа — полиция получает приказ арестовать Фуше и вывезти его из Парижа как человека, внушающего подозрения, так как он отказывается принять министерский портфель.

Министром полиции, которому приходится выполнять это неприятное поручение, был тогда — воистину история любит неожиданные эффекты — Бурьенн, интимнейший друг юности Наполеона, его товарищ по военной школе, участвовавший в египетском походе, много лет бывший секретарем императора, хорошо знавший всех его приближенных и уж, конечно, Фуше. Поэтому он несколько напуган, получив от короля приказ арестовать герцога Отрантского. Благоразумно ли это? — позволяет он себе заметить. И после настойчивого подтверждения приказа Бурьенн качает головой: его будет не так-то легко привести в исполнение: Фуше стреляный воробей, его не поймает простыми силками середь бела дня; чтоб выловить такую крупную дичь, нужно время и исключительная ловкость. Тем не менее он отдает приказание. И действительно, 16 марта 1815 года, в 11 часов утра, полицейские окружают на улице карету герцога Отрантского и объявляют его арестованным, согласно приказу Бурьенна. Фуше, никогда не терявший хладнокровия, с презрительной улыбкой заявляет: «Нельзя арестовать посреди улицы бывшего сенатора». И прежде чем агенты, в течение долгого времени бывшие его подчиненными, успели опомниться, он крикнул кучеру, чтоб тот покрепче хлестнул лошадей, и вот карета уже катит

к дому Фуше. Озадаченные полицейские стоят с открытыми ртами посреди улицы и глотают пыль из-под колес умчавшегося экипажа. Бурьенн был прав: не так-то легко поймать человека, который сумел уйти целым и невредимым от Робеспьера, Конвента и Наполеона.

Когда одураченные полицейские доложили Бурьенну, что Фуше от них ускользнул, министр полиции решает применить строгие меры: теперь на карту поставлен его авторитет, он с собой шутить не позволит. Немедленно приказывает Бурьенн окружить со всех сторон дом на улице Черутти и охранять ворота. Вооруженный отряд подымается по лестнице, чтоб схватить беглеца. Но Фуше приготовил для них еще одну шутку, одну из тех великолепных и единственных в своем роде уловок, которые ему почти всегда удавались именно в самых трудных, напряженных ситуациях. Как уже не один раз отмечалось, в минуты опасности у Фуше возникает страстное желание разыграть и отчаянно дерзко провести за нос своих противников. Продувной мистификатор вежливо встречает чиновников, пришедших его арестовать, и внимательно рассматривает приказ об аресте. Да, все правильно. Разумеется, он и не думает противиться приказу его величества короля. Он только просит чиновников подождать немного в салоне, пока он приведет себя в порядок и уладит кое-какие мелочи, после чего он немедленно последует за ними. Выразив свою просьбу самым вежливым тоном, Фуше удаляется в соседнюю комнату. Чиновники почтительно ждут, пока он не кончит свой туалет,—нельзя же в самом деле схватить сановника, бывшего министра и сенатора, как воришку, за шиворот или надеть на него наручники. Некоторое время они почтительно ожидают, но наконец чиновникам начинает казаться, что им приходится ждать подозрительно долго. И так как Фуше все еще не возвращается, чиновники входят в соседнюю комнату, и тут обнаруживается — подлинно комедийная сцена в разгар политической суматохи, — что Фуше удрал. Совсем как в еще не существовавшем тогда кино, пятидесятишестилетний старик приставил к садовой стене лестницу и, пока полицейские почтительно дожидались его в салоне, с удивительной для его возраста ловкостью перебрался в соседний сад, принадлежавший королеве Гортензии, откуда благо-

получно и скрылся. Вечером весь Париж смеется над ловкой шуткой. Конечно, долго это не может продолжаться,— герцог Отрантский слишком известен всему городу и не сможет долго скрываться. Но расчет Фуше и на этот раз верен — сейчас важно выиграть лишь несколько часов, королю и его приближенным приходится теперь думать о том, как бы спастись самим от приближающейся кавалерии Наполеона. В Тюильри поспешно укладывают чемоданы, и своим суровым приказом король добился лишь того, что Фуше теперь имеет публичное свидетельство своей (никогда в действительности не имевшей место) преданности Наполеону, в которую, впрочем, и император ни за что не поверит. Но Наполеон, узнав об удачном трюке этого политического акробата, невольно засмеялся и заметил не без восхищения: «Il est décidément plus malin qu'eux tous» (Он, конечно, самый продувной из них всех).

ПОСЛЕДНЯЯ БОРЬБА  
С НАПОЛЕОНОМ

1815 — «Сто дней»



**В** полночь 19 марта 1815 года громадная площадь темна и безлюдна. Во двор дворца Тюильри въезжают двенадцать карет. Во дворце открывается потайная дверь, из нее, держа в поднятой руке факел, выходит лакей, за которым с трудом тащится, поддерживаемый двумя преданными приближенными, тучный, задыхающийся от астмы человек — Людовик XVIII. Всех присутствующих охватывает чувство жалости при виде немощного короля, который, едва вернувшись после пятнадцатилетнего изгнания, вынужден снова ненастной темной ночью бежать из своей страны. Большинство преклоняет колени, когда сажают в карету этого старика, которого дряхлость лишает достоинства, тогда как трагизм его положения трогает и потрясает. Лошади

тронулись, остальные кареты последовали за первой, еще несколько минут слышно цоканье копыт по твердому гравию сопровождающего короля конного отряда. И снова до рассвета погружается громадное здание в тишину и мрак,— до утра 20 марта, первого из ста дней после возвращения с Эльбы императора Наполеона.

Прежде всего появляется любопытство. Дрожащими от сладострастья ноздрями обнюхивает оно дворец, чтобы узнать, спаслась ли спугнутая королевская дичь от императора. Пришли купцы, безделники, фланеры. Одни со страхом, другие с радостью, в зависимости от темперамента и убеждений, передают они друг другу новости. К десяти часам собираются уже густые, напористые толпы. И так как лишь стечение народа придает мужество отдельным лицам, раздаются уже первые отчетливые возгласы: «Vive l'Empereur!» и «A bas le Roi!»<sup>1</sup>. Внезапно приближается отряд кавалеристов — это офицеры, получавшие в дни королевства половинное жалованье. Они чувят, что вместе с императором возвращается война, когда они снова станут нужны и будут получать полный оклад, награды, чины; под водительством Эксельмана они с шумным ликованием беспрепятственно занимают Тюильри (и так как смена властей совершается спокойно и бескровно, то курс ценных бумаг на бирже подымается). В полдень на старинном королевском замке без единого выстрела водружается трехцветный флаг.

Уже появились сотни рыцарей наживы, «верные слуги» императорского двора,— придворные дамы, лакеи, камергеры, повара, прежние государственные советники и церемониймейстеры, все, кто потерял работу и заработок во время господства белых лилий, все те вновь испеченные дворяне, которых Наполеон извлек из обломков революции и которым он роздал придворные чины. Все в парадных костюмах— генералы, офицеры, дамы; снова сверкают бриллианты, сабли и ордена. Открываются покои, их приготавливают к приему нового повелителя; поспешно снимают королевские эмблемы, на шелке кресел снова сияет наполеоновская пчела, сменившая королевские лилии. Каждый торопится вовремя оказаться на своем месте и быть сразу отмеченным как «вернопод-

---

<sup>1</sup> «Да здравствует император!» и «Долой короля!» (франц.)

данный». Наступает вечер. Словно для бала или большого приема, зажигают ливрейные лакеи канделябры и свечи; далеко, от самой триумфальной арки виден свет в окнах дворца, ставшего вновь императорским, огни привлекают громадные толпы любопытных в сады Тюильри.

Наконец в девять часов вечера появляется мчащаяся галопом карета; справа, слева, спереди и сзади ее не то охраняют, не то сопровождают всадники самых разнообразных званий и чинов, восторженно размахивающие саблями (скоро они пустят их в ход против европейских армий). Из густой толпы, словно взрыв, раздается ликующий клич: «Vive l'Empereur!», отдаваясь в дребезжащих стеклах кареты. В едином порыве, словно мощная волна прибой, ударяется толпа о карету; солдаты, обнажив сабли, вынуждены защищать императора от угрожающих его жизни выражений восторга. Они подымают его на руки и благоговейно несут свою священную добычу, великого бога войны, сквозь неистовствующую толпу вверх по лестнице, в старый дворец. На плечах своих солдат, с закрытыми от избытка счастья глазами и странной улыбкой лунатика на устах, снова подымается на императорский трон Франции тот, кто еще двадцать дней тому назад был изгнанником, покинувшим Эльбу. Это последний триумф Наполеона Бонапарта. В последний раз переживает он такой необычайный подъем, такой сказочный перелет из мрака изгнания к высочайшим вершинам могущества. В последний раз раздается в его ушах, подобно шуму волнующегося моря, любимый возглас: «Да здравствует император!» Минуту, десять минут наслаждается он, с закрытыми глазами и смятенной душой, этим пьянящим хмелем власти. Затем приказывает закрыть двери дворца, велит офицерам удалиться и призвать министров: начинается работа. Он должен защищать то, что ему даровала судьба.

Густая толпа, наполнившая зал, ждет выхода вернувшегося императора. Но первый же взгляд приносит ему разочарование: ему остались верны не самые лучшие, не самые умные, не самые нужные. Он видит придворных и вежливых визитеров, просителей и любопытных — много мундиров и мало умов. Не явились, не объяснив причины, почти все великие маршалы, настоящие сотоварищи

его возвышения; они остались в своих замках или перешли к королю, в лучшем случае они нейтральны, многие даже враждебны. Из министров отсутствует самый умный, самый ловкий — Галейран, из новоиспеченных королей — его родные братья и сестры, и прежде всего жена и сын. Среди собравшихся он видит много просящих и мало достойных; ликующие возгласы тысячной толпы еще волнуют кровь, но ясный, дальновидный ум Наполеона уже в самом триумфе предчувствует опасность.

Вдруг по дальним залам пробегает шепот, все возрастающий шепот удивления и радости, и люди в мундирах и расшитых фраках почтительно отступают, образуя проход. Подъехала карета, правда, с некоторым опозданием, и из нее выходит худой, бледный, хорошо известный всем герцог Отрантский; он явился, он не ждал, он предлагает свои услуги, однако не так назойливо, как эти мелкие придворные. Медленно, равнодушно, с полужакрытыми, непроницаемыми глазами шествует он, не отвечая на приветствия, по образовавшемуся проходу, и именно это всем хорошо известное, свойственное ему спокойствие вызывает восторг. «Дорогу герцогу Отрантскому!» — выкликают лакеи. Люди, знающие его ближе, выкрикивают немного по-другому: «Дорогу Фуше! Вот человек, в котором император нуждается сейчас больше всего!» Он избран, назначен, выдвинут общественным мнением, прежде чем император принял решение. Он явился не как проситель, а как властимушый — величественный и важный; и действительно, Наполеон не заставляет его ждать; тотчас же приглашает он к себе самого старого из своих министров, самого верного из своих врагов. Об их беседе известно так же мало, как о беседе, происходившей тогда, когда Фуше помог бежавшему из Египта генералу стать консулом и заключил с ним союз неверной верности. Но когда час спустя Фуше выходит из покоев Наполеона, он уже снова его министр — в третий раз министр полиции.

Еще не высохла типографская краска на листах «*Moniteur*», извещавшего о назначении герцога Отрантского министром Наполеона, как уже оба, император и ми-

нистр, втайне жалеют, что связались друг с другом. Фуше разочарован: он ждал большего. Невзрачная должность министра полиции уже давно не может удовлетворить холодное пламя его честолюбия. Назначение, которое в 1796 году явилось спасением и отличием для бывшего якобинца Жозефа Фуше, опального и изгнанным, теперь, в 1815 году, представляется снискавшему популярность, владеющему миллионами герцогу Отрантскому жалкой синекурой. Его самоуверенность возросла; теперь уже его увлекает только большая мировая игра, волнующий азарт европейской дипломатии, где игорным столом является Европа, а ставками — судьбы целых стран. Десять лет ему стоял поперек дороги единственный достойный сравняться с ним дипломат — Талейран; теперь, когда этот опаснейший соперник сделал ставку против Наполеона и собирает в Вене штыки всей Европы для борьбы с императором, Фуше считает себя единственным, кто вправе рассчитывать на должность министра иностранных дел. Однако Наполеон недоверчив — и не без оснований — и отказывается передать этот самый важный портфель в такие ловкие, слишком ловкие и потому ненадежные руки. Только министерство полиции, и то нехотя, подсовывает он Фуше; он знает: чтобы обезвредить опасное честолюбие Фуше, нужно бросить ему хоть крохи власти. Но и в пределах этого скромного ведомства Наполеон сажает шпиона, который должен следить за ненадежным министром, а злейшего врага Фуше, герцога Ровиго, назначает шефом жандармерии. И вот в первый же день их возрожденного союза возобновляется старая игра: Наполеон учреждает свою собственную полицию для слежки за министром полиции, а Фуше по-прежнему за спиной Наполеона наряду с политикой императора проводит свою собственную политику. Оба обманывают друг друга, не скрывая своих карт; опять должно решиться, кто одержит верх: более сильный или более ловкий, пылкость или хладнокровие.

Неохотно принимает Фуше управление министерством. Однако он его все-таки принимает. Этот великолепный, страстный игрок имеет один трагический дефект: он не может оставаться в стороне, не может ни единого часа быть только зрителем мировой игры. Он должен по-

стоянно держать в руках карты, должен сдавать, тасовать, передегивать, блефовать, крыть карты противника и козырять. Ему необходимо всегда сидеть за столом — все равно за каким: за королевским ли, императорским или республиканским — лишь бы участвовать в игре, лишь бы «avoir la main dans la pâte», быть поближе к пирогу, все равно к какому. Лишь бы быть министром, безразлично в каком правительстве — в правом или левом, при короле или при императоре, но лишь бы присосаться к власти. У него никогда не хватит ни нравственной, ни этической силы, ни гордости, ни даже просто выдержки, чтобы отказаться от брошенных ему объедков власти. Он всегда согласится принять должность, которую ему предлагают; ни люди, ни дело не имеют для него значения, весь интерес — в самой игре.

Неохотно принимает Наполеон к себе снова на службу Фуше. Уже десять лет знает он этого всегда идущего темными путями человека и уверен, что тот никому не служит, а всегда лишь отдается своей страсти и азарту. Он знает, что этот человек отбросит его, как труп дохлой кошки, и покинет в самый опасный момент, так же как он покинул и предал жирондистов, террористов, Робеспьера и термидорианцев, так же как он предал своего спасителя Барраса, Директорию, республику и консульство. Однако Фуше нужен Наполеону, или ему это только кажется, — так же как Наполеон привлек Фуше своей гениальностью, так Фуше привлекает Наполеона своими способностями. Отвергнуть его было бы смертельно опасно: сделать Фуше своим врагом в такой тревожный момент не решается даже Наполеон. Он избирает поэтому наименьшее зло — занять Фуше работой; облакая его правами и полномочиями, помешать ему быть неверным слугой. «Только от предателей я и слышал истину», — скажет впоследствии на острове св. Елены побежденный император, вспоминая Фуше. Даже в минуты крайнего озлобления он не теряет уважения к необыкновенным способностям этого дьявольского человека, ибо для гения нестерпимее всего посредственность; и Наполеон, даже зная, что Фуше его обманывал, вместе с тем сознает, что тот его понимает. Как умирающий от жажды тянется за стаканом отравленной воды, так и

Наполеон предпочитает услуги умного, хотя и ненадежного министра услугам министра верного, но недалекого. Десять лет ожесточенной вражды подчас непостижимее связывают людей, чем заурядная дружба.

Больше десяти лет служит Фуше Наполеону; министр — властелину, разум — гению; более десяти лет находится он под пятой Наполеона, подчиненный, побежденный. Но в 1815 году, в их последней схватке, Наполеон с самого начала оказывается слабейшим. Еще раз, в последний раз, испил он кубок пьянящей славы; словно на орлиных крыльях, судьба внезапно перенесла его с далекого острова на императорский трон. Посланные против него полки, в сотни раз превосходившие численностью его отряды, бросали оружие, едва завидев его плащ. Изгнанник, начавший свой поход с шестью сотнями солдат, за двадцать дней дошел до Парижа, возглавляя уже целую армию, и под гром ликований снова почивает на ложе королей Франции. Но что за жестокое пробуждение наступает через несколько дней! Как быстро бледнеет фантастический сон перед лицом отрезвляющей действительности! Он снова император, но это лишь пустой звук, ибо мир, некогда им поработанный и ползавший у его ног, не признает больше своего господина. Он пишет письма и воззвания, полные страстных заверений в собственном миролюбии; их читают и улыбаются, пожимая плечами, даже не устаивая ответом. Посланцев Наполеона к императору, королям и великим князьям задерживают на границе, как контрабандистов, и бесцеремонно отправляют обратно. Единственное письмо окольными путями доходит до Вены — Меттерних бросает его нераспечатанным на стол в зале заседаний. Редеют ряды сторонников, старые друзья и товарищи рассеялись по всем направлениям — Бертье, Бурьени, Мюрат, Евгений Богарне, Бернадот, Ожеро, Талейран отсиживаются в своих имениях или находятся в свите его врагов. Тщетно пытается он обмануть себя и друзей; он приказывает великолепно обставить покой императрицы и римского короля, словно они собираются вернуться на следующий день; на самом же деле Мария Луиза флиртует со своим чичисбеем Ней-

пертом, а сын Наполеона играет в Шенбрунне австрийскими оловянными солдатиками под строгим надзором императора Франца. И даже Франция не признает больше трехцветного знамени. Вспыхивают восстания на юге, на западе: крестьяне устали от постоянного набора рекрутов и стреляют в жандармов, которые должны снова реквизировать у крестьян лошадей для нужд артиллерии. На улицах расклеивают издевательские плакаты, пародирующие декреты Наполеона: «Пункт I. Ежегодно мне должны приносить в жертву для бойни триста тысяч человек. Пункт II. Если понадобится, я увеличу эту цифру до трех миллионов. Пункт III. Все эти жертвы будут посланы почтой на главную бойню». Нет сомнения, все стремятся к миру, и каждый благоразумный человек готов послать ко всем чертям вернувшегося на родину повелителя, если он не гарантирует мира. Но теперь,—как трагична его судьба,—когда воинственный император впервые жаждет покоя, при условии, что ему оставят власть, теперь-то ему никто и не верит. Честные буржуа, полные страха за сохранность своей ренты, не разделяют воодушевления офицеров, сидевших на половинном окладе, и профессиональных вояк, для которых мир означал застой в делах. И когда Наполеон, в силу необходимости, дарует им избирательные права, они тут же дают ему пощечину, избирая именно тех, кого он пятнадцать лет преследовал и держал в тени,—революционеров 1792 года Лафайета и Ланжине. Нигде не осталось союзников, в самой Франции мало твердых приверженцев; нет человека, с которым можно было бы посоветоваться в узком кругу. Недовольный и встревоженный, блуждает император по пустому дворцу. Нервы сдают, воля ослабевает: он то кричит, теряя самообладание, то впадает в тупую летаргию. Он теперь часто спит днем: не физическая, а душевная усталость, словно свинцовая тяжесть, день и ночь угнетает императора. Однажды Карно застает его в слезах перед портретом сына — римского короля; он жалуется приближенным, что его счастливая звезда закатилась. Игла внутреннего компаса показывает, что зенит успеха уже пройден, и беспокойно колеблется стрелка его воли от полюса к полюсу. Не надеясь на успех, готовый к любым со-

глашениям, вынужден наконец избалованный победами император вступить в войну. Но дух победы не витает больше над покорно поникшим челом.

Таков Наполеон в 1815 году, мнимый властелин, мнимый император, которому судьба ссудила призрачные одежды власти. Зато стоящий рядом с ним Фуше именно в это время достиг расцвета своих сил. Закаленный клинок его разума, всегда прячущийся в ножнах коварства, не так срабатывается, как страсти, пребывающие в вечном круговороте. Никогда Фуше не был так ловок, так пронырлив, так изворотлив и дерзок, как в эти сто дней, в период возрождения и падения империи; не к Наполеону, а к нему обращены полные надежды взоры тех, кто ждет от него спасения. Все партии (редкое явление) оказывают этому министру больше доверия, чем самому императору. Людовик XVIII, республиканцы, роялисты, Лондон, Вена — все видят в Фуше единственного человека, с которым можно всерьез вести переговоры, и его расчетливый, холодный разум внушает усталому, жаждущему мира человечеству больше доверия, чем то вспыхивающий, то в смятении гаснущий гений Наполеона. Все те, кто отказывает «генералу Бонапарту» в титуле императора, с уважением относятся к личному кредиту Фуше. Те же границы, на которых бесцеремонно задерживают и арестовывают государственных агентов императорской Франции, словно по мановению волшебного жезла, открываются для тайных агентов герцога Отрантского. Веллингтон, Меттерних, Талейран, герцог Орлеанский, царь и короли — все они охотно и с величайшей вежливостью принимают эмиссаров Фуше, и тот, кто до сих пор всех обманывал, становится вдруг единственным честным игроком в мировой игре. Ему достаточно двинуть пальцем, и его воля претворяется в действие. Восстала Вандея, предстоит кровавая борьба — но достаточно Фуше отправить гонца, и путем переговоров он предотвращает гражданскую войну. «К чему, — говорит он с откровенной расчетливостью, — проливать сейчас французскую кровь? Еще несколько месяцев — и император либо победит, либо погибнет; зачем бороться за то, что, по всей видимости, попадет к вам в руки без кровопролития?

Сложите оружие и ждите!» И тотчас же роялистские генералы, убежденные этими трезвыми, отнюдь не сентиментальными доводами, заключают желанный договор. Все — как за рубежом, так и внутри страны — прежде всего обращаются к Фуше, ни одно парламентское решение не принимается без его участия; беспомощно смотрит Наполеон, как его слуга парализует его руку повсюду, где ему хотелось бы нанести удар, как он использует против него выборы и с помощью республикански настроенного парламента ставит преграды его деспотической воле. Тщетно хочет Наполеон освободиться от Фуше — миновало то самодержавное время, когда герцога Отрантского можно было уволить как неугодного слугу, назначив ему пенсию в несколько миллионов; теперь скорее министр может спихнуть с трона императора, чем император — герцога Отрантского с его министерского кресла.

Эти недели своевольной и вместе с тем продуманной, целенаправленной политики составляют самые совершенные страницы истории мировой дипломатии. Даже его личный противник, идеалистически настроенный Ламартин вынужден отдать должное макиавеллистическому гению Фуше. «Нужно признать, — пишет он, — что в те дни Фуше, играя свою роль, проявил редкую смелость и стойкую неустрашимость. Из-за своих козней он ежедневно рисковал головой и мог бы в любую минуту пасть жертвой гордости или гнева, пробудившихся в груди Наполеона. Из всех уцелевших со времени Конвента он один сохранил свою энергию и не утратил свою отвагу. Будучи зажат благодаря своей смелой игре в жестокие тиски между нарождающейся тиранией и воскресающей свободой, с одной стороны, и между Наполеоном, приносившим в жертву своим личным интересам интересы отечества, и Францией, не желавшей идти на гибель ради одного человека, с другой стороны, Фуше запугивал императора, льстил республиканцам, успокаивал Францию, подмигивал Европе, улыбался Людовику XVIII, вел переговоры с европейскими дворами и политическую игру с господином Талейраном и своим поведением поддерживал общее равновесие; это была необычайно трудная, столь же низкая, сколь и возвышенная, и, во всяком случае, грандиозная роль, которой история и поныне не

уделила должного внимания. Роль, не отличающаяся благородством, но не лишенная любви к отечеству и героизма, роль, в которой подданный поднялся до уровня своего повелителя, министр превзошел властелина. Играя эту роль, Фуше стал благодаря своему двуличию третейским судьей между империей, Реставрацией и свободой. История, осуждая Фуше, должна будет признать его смелость в эпоху «ста дней», его превосходство перед всеми партиями и такое величие его интриг, которые должны были бы поставить его в ряд с самыми выдающимися государственными деятелями века, если бы могли существовать подлинными государственными деятелями без достойного характера и добродетелей».

Так пронизательно судит Ламартин, поэт и государственный деятель, живший в эпоху, еще непосредственно дышавшую воздухом тех лет. Легенда о Наполеоне, сотворенная пятьдесят лет спустя, когда тела десяти миллионов убитых обратились в прах, всех калек уже похоронили, а раны, нанесенные Европе, были залечены, судит о Фуше, конечно, более строго и несправедливо. Каждая героическая легенда представляет собой что-то вроде духовного тыла истории, и, как всякий тыл, она очень легко относится ко всему тому, от чего сама не страдает: к бесчисленным человеческим жертвам, к слепому самопожертвованию, даже к безумству героически гибнущих смельчаков и их бессмысленной верности. Наполеоновская легенда, прибегающая лишь к черной и белой краске, признает только «верных соратников» и «предателей» своего героя; она не отличает Наполеона — консула, который при помощи благоразумных и энергичных мер водворил мир и порядок в своей стране, от Наполеона, одержимого цезаристским безумием, для которого война стала манией и который во имя жажды личной власти беспощадно ввергал мир в кровопролитные авантюры и сказал Меттерниху слова, достойные Тамерлана: «Такому человеку, как я, наплевать на миллион жизней». И каждого здравомыслящего француза, пытавшегося противопоставить разумную умеренность безграничному честолюбию одержимого демоном императора, слепо бросавшегося навстречу своей гибели, ка-

ждого, кто не приковывал себя раболепно и подобострастно, забыв обо всем на свете, к его колеснице Джаггернаута—Талейрана, Бурьенна, Мюрата,— всех эта легенда с дантовой суровостью ввергает в ад, и Фуше предстает в ней как предатель из предателей, *advocatus diaboli*<sup>1</sup>. Согласно легенде, Фуше в 1815 году снова вступил в министерство только для того, чтобы, заранее продавшись Людовику XVIII и европейским державам, приблизиться к императору и, улучив момент, нанести ему удар в спину. Утверждают, будто он уже 20 марта, при отъезде короля, велел передать монархистам: «Спасайте короля, уж я берусь спасти монархию»—и, принимая министерский портфель, доверился своему Санчо Панса: «Мой главный долг—противодействовать всем планам императора; через три месяца я буду сильнее его, и если до тех пор он не прикажет расстрелять меня, я поставлю его на колени». Это предсказание, к сожалению, датировано настолько точно, что не может не быть придуманным *a posteriori*<sup>2</sup>.

Но предполагать, что Фуше вступил в министерство, уже являясь сторонником Людовика XVIII, в качестве подкупленного им шпиона, значит очень уж недооценивать этого человека и не понимать его великолепного в своей психологической сложности, таинственно демонического характера. Дело не в том, что Фуше, этот совершенно аморальный макиавелист, не был способен при случае совершить подобное, как и вообще любое, предательство, нет, но такая подлость была слишком проста, слишком малопривлекательна для этого азартного и отважного игрока. Просто обманывать одного человека, хотя бы то был и Наполеон, не в его натуре: обманывать всех—вот его единственное наслаждение, не внушать никому полной уверенности и каждому давать посулы, играть одновременно за все партии и против всех партий, никогда не действовать по заранее намеченному плану, а всегда лишь по интуиции, быть Протеем, богом превращений. Воодушевить этого страстного дипломата может не роль прямолинейного интригана—Франца Моора или Ричарда III, а только блистательная из-

---

<sup>1</sup> Адвокат дьявола (лат.).

<sup>2</sup> Впоследствии (лат.).

менчивость, изумляющая даже его самого. Он любит препятствия ради самих препятствий, он искусственно вдвое, вчетверо увеличивает их. Он предавал не однажды, а множество раз, он прирожденный предатель— предатель всегда и во всем. И Наполеон, знавший его лучше всех, вспоминая о нем на острове св. Елены, высказал по-настоящему глубокую мысль: «Я знал только одного действительно совершенного предателя: то был Фуше». Он был совершенным, а не случайным предателем, гением предательства, для которого предательство являлось не столько политикой и тактикой, сколько основной особенностью его существа. И лучше всего можно понять Фуше, сравнив его с прославившимися во время последней войны шпионами-двойниками, которые передавали вражеским державам одни тайны с целью выведать у них другие, более ценные. При этой двусторонней передаче сведений они в конце концов сами переставали понимать, какой державе служат, оплачиваемые обеими сторонами и не храня верности ни одной из них, преданные лишь самой игре, двурушнической игре на обе стороны, находя в состоянии такой межеумочности почти сверхъестественное, дьявольски опасное удовольствие. И только тогда, когда окончательно перевешивает одна чаша весов, страсть игрока уступает место рассудку, который озабочен получением барыша. Лишь когда победа уже предрешена, определяет Фуше свою позицию; так было в Конвенте, при Директории, в период консульства и в дни империи. Пока идет борьба, он не связан ни с кем; когда борьба окончена, он всегда с победителем. Если бы Грушй пришел вовремя, Фуше стал бы (по крайней мере на некоторое время) преданным министром Наполеона. Но так как Наполеон проиграл сражение, Фуше не мешает его падению и сам отпадает от него. И не в оправдание себе высказался он с присущим ему цинизмом по поводу позиции, которую он занимал в течение «ста дней»: «Не я предал Наполеона, а Ватерлоо».

Конечно, нетрудно представить, что Наполеона приводила в бешенство эта двойная игра его министра. Ведь он знал, что теперь на карту была поставлена его собственная голова. Снова, как десять лет тому назад, входит каждое утро в кабинет Наполеона этот худоща-

вый, сухопарый человек с бледным, бескровным лицом, одетый в темный сюртук, расшитый пальмовыми ветвями, и представляет доклад — великолепное, ясное, неопровержимое изложение состояния дел. Никто иной не смог бы дать лучший обзор событий, никто не сумел бы яснее изложить ход мировой политики, во все проникнуть, все увидеть: так чувствует Наполеон, этот пронзительнейший ум. И вместе с тем император догадывается, что Фуше не говорит ему всего, что знает. Ему известно, что к герцогу Отрантскому являются гонцы из других государств, что утром, днем и ночью его министр принимает за запертой дверью подозрительных роялистских агентов, что он ведет переговоры и заводит сношения, о которых ему, императору, ни слова не говорит. Но делается ли это, как хочет уверить его Фуше, лишь для получения информации, или это завязываются тайные интриги? Эта неуверенность ужасна для затравленного, окруженного сотнями врагов императора. Тщетно он то дружелюбно расспрашивает Фуше, то убедительно предостерегает его, то осыпает грубыми подозрениями: по-прежнему непоколебимо сжаты тонкие губы министра и ничего не выражают его словно стеклянные глаза. К Фуше не подберешься, у него не вырвешь его тайну. И Наполеон лихорадочно размышляет: как поймать его? Как узнать наконец, кто предан этим человеком, которому открыты все карты, — он или его враги? Как словить его, неуловимого, как проникнуть в него, непроницаемого?

Но вот наконец спасение! Найден след, и не один, почти доказательство. В апреле тайная полиция, которой император специально поручил следить за своим министром полиции, узнает, что из Вены, под видом служащего венской банкирской конторы, прибыл неизвестный и прямо отправился к герцогу Отрантскому. Посланца выслеживают, арестовывают, разумеется, без ведома министра полиции Фуше, и приводят в один из елисейских павильонов к Наполеону. Там ему угрожают немедленным расстрелом и продолжают запугивать до тех пор, пока он наконец не сознается, что привез для Фуше послание от Меттерниха, написанное симпатическими чернилами, в котором предлагается организовать в Базеле совещание доверенных лиц. Наполеон в бешенстве; письма такого рода от вражеского министра к его собственному

министру равнозначны государственной измене. Первое побуждение Наполеона вполне естественно: немедленно арестовать неверного слугу и опечатать его бумаги. Но приближенные отговаривают его от этого—прямых доказательств пока еще нет, и, зная неоднократно испытанную осторожность герцога Отрантского, можно не сомневаться, что в бумагах не удастся обнаружить следов его проделок. И император решает прежде всего испытать преданность Фуше. Он приглашает его к себе и с непривычным для него притворством, которому он научился у собственного министра, расспрашивая об общем положении дел, справляется о возможности вступить в переговоры с Австрией. Фуше, не подозревая, что его посланец давно все выболтал, ни единым словом не упоминает о письме Меттерниха; притворившись равнодушным, император отпускает своего министра, совершенно убежденный в его предательстве. Но чтобы окончательно обличить Фуше, он—несмотря на свое возмущение—инсценирует тонко придуманную комедию со всеми кви-прокво мольеровской пьесы. Через агента разузнают пароль для встречи с посредником Меттерниха. Император посылает своего доверенного, который должен выступить в роли доверенного Фуше: австрийский агент, несомненно, выдаст ему все, и тогда наконец император не только убедится в предательстве Фуше, но и узнает, до каких размеров дошло это предательство. В тот же вечер посланец Наполеона уезжает; через два дня Фуше будет обличен и попадет в собственный капкан.

Однако как быстро ни протянешь руку за угрем или змеей, поймать невооруженной рукой холоднокровное животное невозможно. В комедии, которую ставит император, имеется, как в каждой настоящей комической пьесе, встречное действие, как бы двойное дно. Если Наполеон содержит за спиной Фуше тайную полицию, то и Фуше имеет за спиной Наполеона подкупленных писцов и тайных доносчиков: его лазутчики работают не менее проворно, чем шпионы императора. В тот самый день, когда агент Наполеона, играющий роль посланца Фуше, отправился в Базель, в гостиницу «Трех королей», Фуше уже узнал о грозящей ему опасности,—

кто-то из «доверенных» Наполеона сообщил ему о предстоящей комедии. И на следующее утро Фуше, которого хотели застать врасплох, делая свой обычный доклад, сам поражает своего повелителя. Посреди разговора он, внезапно хлопнув себя по лбу с видом человека, вспомнившего еще об одной совсем незначительной мелочи, сообщает: «Ах да, сир, за более важными делами я забыл вам сказать, что получил письмо от Меттерниха. Но его посланец не передал мне порошка, необходимого для расшифровки депеши, и я предположил сначала, что это было какой-то мистификацией, так что я только сегодня смог вам об этом доложить».

Но тут уж император не выдерживает. «Вы предатель, Фуше,— кричит он,— мне следовало приказать вас повесить!»

«Не разделяю вашего мнения, ваше величество»,— холодно отвечает невозмутимейший, спокойнейший из всех министров.

Наполеон дрожит от гнева. С помощью этого преждевременного признания снова выскользнул у него из рук этот Фра-Дьяволо. Агент же, который через два дня принес ему сведения о переговорах в Базеле, сообщил мало определенного и много неприятного. Мало определенного, ибо по поведению австрийского агента можно заключить, что осторожный Фуше слишком хитер, чтобы явно связаться с врагами, он лишь ведет за спиной повелителя свою излюбленную игру, сохраняя за собой все возможности. Но и много неприятных вестей привез посланец, а именно — державы согласны, чтобы во Франции был любой государственный строй, но только не империя Наполеона Бонапарта. Яростно закусывает император губы. Его ударная сила сломлена. Он хотел тайно, с тыла поразить скрывающегося в тени Фуше, но в этой дуэли, из тьмы, ему самому нанесена смертельная рана.

Решительный момент благодаря уловке Фуше пропущен, Наполеон это знает. «Его предательство—как на ладони,—говорит он своим приближенным,—я жалею, что не выгнал его, прежде чем он сообщил мне о своей переписке с Меттернихом. Теперь момент упущен и нет

предлога для расправы с ним; он заявит во всеуслышание, что я тиран, жертвующий всем во имя своей подозрительности». С полной ясностью сознает император свое поражение, но он продолжает бороться до последней минуты, в надежде перетянуть дуликого на свою сторону или заставить его наконец врасплох и раздавить. Он прибегает ко всем средствам. Пускает в ход доверчивость, любезность, снисходительность и осторожность, но его могучая воля беспомощно отскакивает от граней этого холодного, со всех сторон превосходно отшлифованного камня: алмазы можно расколоть или выбросить, но не пробуравить. Наконец истерзанный подозрениями император теряет терпение.

Карно рассказывает о драматической сцене, в которой обнаруживается бессилие императора побороть своего мучителя. «Вы меня предаете, герцог Отрантский, у меня есть доказательства,—бросает Наполеон однажды во время заседания совета министров как всегда невозмутимому Фуше и, схватив нож из слоновой кости, кричит: — Возьмите этот нож и вонзите в мою грудь, это будет честнее того, что вы проделываете. Я мог бы расстрелять вас, и весь мир одобрил бы этот акт. А если вы спросите, почему я этого не делаю, я отвечу, что слишком презираю вас, что в моих глазах вы ничтожество!» Всем ясно, что подозрительность Наполеона перешла в бешенство, а страдание—в ненависть. Он никогда не забудет, что этот человек осмелился так провоцировать его, и Фуше это знает. Но он спокойно высчитывает жалкие возможности власти императора. «Через месяц с этим бешеным будет покончено»,—уверенно и презрительно говорит он своему другу. Поэтому он и не помышляет теперь о союзе—после решающего сражения один из них должен уйти: Наполеон или Фуше. Он знает (Наполеон объявил об этом), что первое же известие о победе на полях сражения принесет ему увольнение, а быть может, и приказ об аресте. И вот стрелки часов одним рывком возвращаются на двадцать лет назад, к 1793 году, к тем дням, когда самый могущественный человек своего времени, Робеспьер, решительно заявил, что через две недели должна скатиться с плеч чья-нибудь голова—его или Фуше. Но герцог Отрантский приобрел за эти годы самоуверенность. В сознании своего превосходства напо-

минает он другу, который предостерегает его от гнева Наполеона, угрозу Робеспьера и, улыбаясь, присовокупляет: «Но пала его голова».

18 июня внезапно загремели пушки перед Домом инвалидов. Население Парижа радостно встрепенулось. За последние пятнадцать лет оно научилось узнавать этот медный голос. Одержана победа, сражение выиграно, полное поражение армии Блюхера и Веллингтона — сообщает «Moniteur». Восторженные толпы наводняют бульвары, всеобщее настроение, еще несколько дней тому назад неустойчивое, проявляется вдруг в восторженном выражении верноподданнических чувств императору. Только чувствительнейший термометр — рента — падает на четыре пункта, ибо каждая победа Наполеона означает затяжку войны. И лишь один человек, быть может, трепещет в глубине души при этих медных звуках — это Фуше. Ему победа деспота может стоить головы.

Но трагическая ирония судьбы — в тот час, когда в Париже салютуют французские пушки, английские пушки при Ватерлоо уже разгромили пехоту и гвардию Наполеона, и в то время как в ничего не подозревающей столице устраивают иллюминацию, кони прусской кавалерии, подымая вихри пыли, гонят перед собой последние жалкие остатки бегущей армии.

Еще день длится ослепление не подозревающего правды Парижа. Только двадцатого просачиваются в город страшные вести. Бледные, с дрожащими губами, передают парижане друг другу тревожные слухи. В комнатах, на улице, на бирже, в казармах — везде шепчутся и говорят о катастрофе, несмотря на упорное молчание газет. Наконец, об этом начинают говорить все жители внезапно оробевшей столицы, они сомневаются, негодуют, жалуются и надеются.

Но только один человек действует: Фуше. Едва получив (конечно, раньше других) известие о Ватерлоо, он уже смотрит на Наполеона как на труп, который необходимо как можно скорее убрать со своего пути. И он тотчас же берется за лопату, чтобы вырыть ему могилу. Он немедленно пишет герцогу Веллингтону, чтобы сразу

установить контакт с победителем; одновременно с беспримерной психологической прозорливостью он предостерегает депутатов, что Наполеон в первую очередь попытается всех их отправить по домам. «Он вернется расшвирепевшим и немедленно потребует диктатуры». Необходимо заранее сунуть ему палки в колеса! К вечеру парламент уже подготовлен, совет министров восстановлен против императора, последняя возможность снова захватить власть выбита из рук Наполеона—и все это прежде, чем он успел ступить ногой в Париж. Теперь хозяином положения является не Наполеон Бонапарт, а, наконец, наконец-то, Жозеф Фуше.

Перед самым рассветом, укрытая черной мантией ночи, словно траурным покрывалом, плохонькая коляска (собственную коляску Наполеона захватил Блюхер вместе с императорской казной, саблей и бумагами) въезжает в Париж, направляясь к Елисейским полям. Тот, кто шесть дней тому назад в своем приказе по армии высокопарно писал: «Для каждого француза, обладающего мужеством, настал час победить или умереть», сам не победил и не умер, но зато ради него при Ватерлоо и Линьи погибло еще шестьдесят тысяч человек. Теперь он поспешно, как некогда из Египта и из России, вернулся домой, чтобы удержать власть: он нарочно велел ехать помедленнее, чтобы прибыть в Париж тайно, под покровом темноты. И вместо того чтобы прямо направиться в Тюильри, в свой императорский дворец, и предстать перед народными депутатами Франции, он успокаивает свои расстроенные нервы в маленьком, отдаленном Елисейском дворце.

Усталый, разбитый человек выходит из коляски, бормоча бессвязные, бессмысленные слова, подыскивая запоздалые объяснения и пытаясь извинить неизбежное. Горячая ванна приводит Наполеона в себя, лишь после этого сзывает он совет. Взволнованно, испытывая и гнев и сострадание, только внешне почтительно слушают советники несвязные, бредовые речи побежденного императора, который снова фантазирует о стотысячной армии, о реквизиции дорогих выездных лошадей и доказывает им (прекрасно знающим, что и ста человек не

выжать больше из обескровленной страны), что в две недели он противопоставит союзным державам двухсоттысячное войско. Министры, среди них и Фуше, стоят с поникшими головами. Они знают, что эти бредовые речи — последние судороги грандиозной жажды власти, все еще не угасшей в этом гиганте. Как и предсказывал Фуше, он требует диктатуры — передачи всей власти, и военной и политической, в одни руки, в его руки, и, быть может, он требует диктатуры лишь для того, чтобы министры отказали ему в ней, чтобы впоследствии, перед лицом истории, он мог свалить на них вину и сказать, что его лишили последней возможности одержать победу (современность знает аналогичные случаи при подобных поворотах истории).

Но все министры высказываются осторожно, каждый стыдится причинить резким словом боль этому страдающему, лихорадочно бредящему человеку. Только Фуше уже незачем говорить. Он молчит, потому что давно уже начал действовать и принял все меры к тому, чтобы отразить последнюю атаку Наполеона на власть. С деловитым любопытством врача, который наблюдает спокойно и пытливо агонию умирающего, заранее высчитывая, когда остановится пульс и организм перестанет бороться, он без сострадания слушает эти пустые бредовые речи: ни одного слова не слетает с его тонких, бескровных уст. *Moribundus*<sup>1</sup>, он обречен, безнадежен, какое же значение могут иметь его речи, полные отчаяния! Он знает — пока император опьяняется своими навязчивыми фантазиями, стараясь опьянить и других, в тысяче шагов от Елисейского дворца, в Тюильри, собрание совета с немилосердной логикой послушно принимает решения согласно его, Фуше, приказу и воле.

Он сам, правда, так же как и 9 термидора и 21 июня, не появляется в собрании депутатов. Он во мраке подтянул свои батареи, наметил план сражения, выбрал для атаки подходящую минуту и подходящего человека — трагического, почти гротескного противника Наполеона, Лафайета, — и этого достаточно. Молодой дворянин, вернувшийся на родину четверть века тому назад героем американской освободительной войны, овеванный

---

<sup>1</sup> Умирающий, обреченный на смерть (лат.).

славой в двух частях света, знаменосец революции, пионер новых идей, любимец своего народа, Лафайет рано, слишком рано познал упоение властью. И вдруг из спальни Барраса является какое-то ничтожество, коротышка корсиканец, лейтенант в потрепанной шинели и стоптанных сапогах, и в течение двух лет завладевает всем, что он, Лафайет, построил и чему положил начало, похитив у него и власть и славу. Подобные вещи не забываются. Обиженный дворянин, затаив в сердце злобу, живет в имении, в то время как облаченный в роскошную мантию императора корсиканец принимает поклонение европейских князей и устанавливает новый, более суровый, деспотизм гения вместо бывшего деспотизма дворянства. Ни единого луча благоволения не бросает это восходящее светило на отдаленное поместье, и когда маркиз Лафайет в своем скромном костюме приезжает однажды в Париж, этот выскочка почти не обращает на него внимания; расшитые золотом сюртуки генералов, мундиры новоиспеченных в кровавой каше маршалов сверкают ярче, чем его уже покрывшаяся пылью слава. Лафайет забыт, никто за двадцать лет не называет его имени. Волосы его седеют, некогда мужественно стройный, он похудел и высох, и никто не призывает его ни в армию, ни в сенат; ему презрительно позволяют сажать розы и картофель в Лагранже. Нет, честолюбец такого не забывает. И когда в 1815 году народ, вспомнив о революции, снова избирает своего прежнего любимца в парламент и Наполеон вынужден обратиться к нему с речью, Лафайет отвечает холодно и уклончиво — он слишком горд, слишком честен и правдив, чтобы скрывать свою враждебность.

Но теперь, подталкиваемый сзади Фуше, он выступает вперед; долго накоплявшаяся ненависть со стороны кажется едва ли не мудростью и силой. И опять с трибуны звучит голос старого знаменосца революции: «Снова, после долгих лет молчания, подымая свой голос, который будет узан старыми друзьями свободы, я вынужден напомнить вам об опасности, грозящей родине, спасти которую всецело в вашей власти». Впервые прозвучало опять слово свободы, и в этот миг оно означает освобождение от Наполеона. Лафайет предлагает заранее отвергнуть всякую попытку распустить палату и сно-

ва произвести государственный переворот; с восторгом принимается решение объявить народное представительство несменяемым и считать изменником родины всякого, кто сделает попытку его распустить.

Нетрудно отгадать, кому адресовано это суровое предупреждение, и, едва узнав о нем, Наполеон ощущает удар нанесенной ему пощечины. «Мне следовало разогнать их перед моим отъездом,—говорил он в бешенстве,—теперь уже поздно». В действительности еще не все погибло и еще не поздно. Он мог бы еще одним росчерком пера, подписав отречение, спасти для своего сына императорскую корону, а для себя—свободу; он мог бы еще сделать тысячу шагов, отделяющих Елисейский дворец от зала заседаний, и там, используя свое личное влияние, навязать свою волю этому стаду баранов. Но в мировой истории всегда повторяется одно поразительное явление: именно самые энергичные люди в наиболее ответственные минуты оказываются скованными странной нерешительностью, похожей на духовный паралич. Валленштейн перед своим падением, Робеспьер в ночь на 9 термидора—так же как и полководцы последней войны—именно тогда, когда даже излишняя поспешность явилась бы меньшей ошибкой, обнаруживают роковую нерешительность. Наполеон ведет переговоры и спорит с несколькими министрами, которые его равнодушно выслушивают; он бессмысленно осуждает ошибки прошлого в тот час, который должен решить его будущее; он обвиняет, он фантазирует, он выжимает из себя пафос—настоящий и поддельный,—но не обнаруживает ни малейшего мужества. Он разговаривает, а не действует. И точно так же, как 18 брюмера—словно история могла когда-нибудь повториться в пределах одной жизни и словно аналогия не была всегда в политике самой опасной ошибкой,—он посылает в парламент вместо себя ораторствовать своего брата Люсьена, пытаясь перетянуть на свою сторону депутатов. Но в те дни на стороне Люсьена были в качестве красноречивого помощника победы брата и его сообщниками—мускулистые гренадеры и энергичные генералы. Кроме того (об этом Наполеон роковым образом забыл), в течение этих пятнадцати лет погибло десять миллионов человек. И потому, когда Люсьен, взойдя на трибуну, обвиняет

французский народ в неблагодарности и нежелании защищать дело его брата, в Лафайете внезапно вспыхивает так долго подавляемый гнев разочарованной нации против ее палача, и он произносит незабываемые слова, которые, подобно искре, брошенной в пороховой погреб, одним ударом разрушают все надежды Наполеона. «Как,— обрушивается он на Люсьена,— вы осмеливаетесь бросать нам упрек, что мы недостаточно сделали для вашего брата? Вы разве забыли, что кости наших сыновей и братьев свидетельствуют повсюду о нашей верности? В пустынях Африки, на берегах Гвадалкивира и Тахо, близ Вислы и на ледяных полях Москвы за эти десять с лишком лет погибли ради одного человека три миллиона французов! Ради человека, который еще и сегодня хочет проливать нашу кровь в борьбе с Европой! Это много, слишком много для одного человека! Теперь наш долг — спасти отечество». Бурное и всеобщее одобрение должно было бы убедить Наполеона, что настал последний час добровольного отречения. Но, должно быть, на земле нет ничего более трудного, чем отречение от власти. Наполеон медлит. Это промедление стоит его сыну империи, а ему — свободы.

Фуше теряет, наконец, терпение. Если неудобный человек не хочет уходить добровольно, то долой его! Надо только быстро и хорошо приладить рычаг, и тогда рухнет даже такое колоссальное обаяние. Ночью он обрабатывает преданных ему депутатов, и на следующее же утро палата повелительно требует отречения. Но и это кажется недостаточно ясным для того, чью кровь волнует жажда могущества. Наполеон все еще ведет переговоры, пока, по настоянию Фуше, Лафайет не произносит решающих слов: «Если он будет медлить с отречением, я предложу свержение».

Повелителю мира дают один час для почетного ухода, для окончательного отречения, но он использует его не как политик, а как актер — так же, как в 1814 году в Фонтенбло, перед своими генералами. «Как,— восклицает он возмущенно,— насилие? В таком случае я не отрекись. Палата — всего лишь сборище якобинцев и често-

любцев, которых мне следовало разоблачить перед лицом нации и разогнать. Но потерянное время еще можно наверстать!» На самом же деле он хочет, чтобы его попросили еще настойчивее и чтобы, таким образом, жертва казалась еще значительнее; и действительно, министры почтительно уговаривают его, как в 1814 году уговаривали его генералы. Один Фуше молчит. Одно известие следует за другим, стрелка часов неумолимо ползет вперед. Наконец император бросает взгляд на Фуше, взгляд, как рассказывают свидетели, полный насмешки и страстной ненависти. «Напишите этим господам,— приказывает он ему презрительно,— чтобы они успокоились, я удовлетворю их желание». Фуше тотчас набрасывает карандашом несколько слов своим подручным в палате, извещая, что в ударе ослиным копытом более нет нужды, а Наполеон уходит в отдельную комнату, чтобы продиктовать своему брату Люсьену текст отречения.

Через несколько минут Наполеон возвращается в главный кабинет. Кому же передать столь значительный документ? Какая страшная ирония! Именно тому, кто принудил его подписать отречение и кто стоит теперь перед ним неподвижно, как Гермес, неумолимый вестник. Император безмолвно вручает ему бумагу, Фуше безмолвно принимает с трудом добытый документ и кланяется.

Это был его последний поклон Наполеону.

На заседании палаты Фуше, герцог Отрантский, отсутствовал. Теперь, когда победа одержана, он входит и медленно подымается по ступеням, держа в руках всемирно-исторический документ. Вероятно, в эту минуту его узкая, жесткая рука интригана дрожала от гордости — ведь он вторично победил сильнейшего человека Франции, и этот день 22 июня для него так же важен, как 9 термидора. При всеобщем гробовом молчании, оставаясь холодным и неподвижным, бросает он, словно бумажные цветы на свежую могилу, несколько прощальных слов своему бывшему повелителю. И больше никаких сентиментальностей! Не для того выбита власть из рук этого гиганта, чтобы, валяясь на земле, она могла стать добычей любого ловкача. Нужно самому завладеть

ею, использовав минуту, к которой он стремился столько лет. Фуше вносит предложение немедленно избрать временное правительство — директорию из пяти человек, — уверенный, что теперь-то он, наконец, будет избран. Однако еще раз ему угрожает опасность, что свобода действий, к которой он так долго стремился, ускользнет из его рук. Правда, ему удастся при голосовании коварно подставить ножку опаснейшему конкуренту, Лафайету, который своей прямоотой и республиканской убежденностью, действуя как таран, оказал ему незаменимую услугу. Однако при первом подсчете Карно получил 324 голоса, а Фуше только 293, так что пост председателя во вновь созданном временном правительстве принадлежит, несомненно, Карно.

Но в эту решающую минуту, отделенный всего одним дюймо́м от предмета своих желаний, Фуше, как опытный азартный игрок, делает еще один из своих самых поразительных и подлых ходов. Согласно результатам голосования, место председателя принадлежит Карно, а ему, Фуше, придется и в этом правительстве быть только вторым, между тем как он жаждет быть, наконец, первым и стать неограниченным повелителем. Тогда он прибегает к утонченной хитрости: едва собрался Совет пяти и Карно собирается занять принадлежащее ему по праву председательское кресло, Фуше, делая вид, что это в порядке вещей, предлагает своим коллегам организовать «Что вы под этим подразумеваете?» — спрашивает изумленный Карно. «Это значит, — наивно отвечает Фуше, — избрать председателя и секретаря». И с фальшивой скромностью добавляет: «Разумеется, я отдам свой голос за то, чтобы председателем были вы». Карно, не замечая подвоха, вежливо отвечает: «А я проголосую за вас». Но два других члена Директории уже втихомолку завербованы Фуше; таким образом, он имеет три голоса против двух, и, прежде чем Карно сообразил, что его одурачили, Фуше уже сидит в председательском кресле. После Наполеона и Лафайета ему удалось перехитрить и Карно, и вместо этого популярнейшего человека властителем судеб Франции оказывается пройдоха Жозеф Фуше.

В течение пяти дней, с 13 до 18 июня, потерял свою власть император; в течение пяти дней, с 17 до 22 июня,

ею завладел Фуше; отныне он уже не слуга, а — впервые — неограниченный повелитель Франции, он свободен, божественно свободен, ведя свою любимую сложную игру в мировую политику.

Первая осуществленная им мера, — долой императора! Даже тень Наполеона гнетет Фуше, и точно так же, как стоявший у власти Наполеон не был спокоен, пока этот непостижимый Фуше находился в Париже, так и Фуше не может свободно дышать, пока пространство в несколько тысяч миль не отделяет его от серого плаща. Фуше избегает говорить с Наполеоном лично, к чему быть сентиментальным? Он посылает ему предписания, слегка покрытые розовым налетом благожелательства. Но вскоре он срывает и этот бледный покров вежливости и беспощадно дает почувствовать поверженному императору его бессилие. Высокопарное воззвание, с которым Наполеон хотел обратиться на прощание к своей армии, просто-напросто брошено в корзину для мусора; тщетно ищет в недоумении на следующее утро Наполеон обращение в «*Moniteur*»: Фуше запретил его печатать. Фуше запрещает императору! Наполеону еще кажется невероятной та безграничная дерзость, с какой обращается с ним его бывший слуга, но с каждым часом настойчивее и откровеннее становятся удары, которыми преследует его эта жесткая рука, пока он, наконец, не переезжает в Мальмзон. Однако, забравшись туда, он упирается. Он не хочет двигаться дальше, хотя уже приближаются драгуны армии Блюхера, хотя Фуше с каждым часом все суровее понуждает его быть благодарным и уезжать. Чем явственнее ощущает Наполеон свое падение, тем судорожнее цепляется он за власть. В конце концов, когда дорожная карета уже ждет во дворе, у него является мысль сделать еще один величественный жест — он, император, просит разрешения стать в качестве простого генерала во главе войск, чтобы снова одержать победу или пасть. Но Фуше, трезвый Фуше не может воспринять всерьез такое романтическое предложение. «Этот человек, должно быть, издевается над нами! — гневно восклицает он. — Его присутствие во главе армии явилось бы лишь новым вызовом Европе, и не

таков характер Наполеона, чтобы можно было поверить в его безразличие к власти».

Фуше грубо отчитывает генерала за то, что тот вообще осмелился передать ему подобное послание, вместо того чтобы увезти императора, и приказывает немедленно позаботиться об отъезде этого человека. Самого Наполеона он вообще не удостоивает ответом. Победенные в глазах Фуше не стоят капли чернил.

Наконец-то он свободен и добился своей цели: устранив Наполеона, пятидесятишестилетний Фуше, герцог Отрантский, достиг единодержавной, ничем не ограниченной власти. Каким бесконечно извилистым путем шел он через лабиринт этого двадцатипятилетия: щуплый, бледный сынок торговца превратился в печального монастырского учителя с тонзурой на голове, потом он возвысился до народного трибуна и проконсула, затем стал герцогом Отрантским и слугой императора, и наконец — он больше не слуга, а единодержавный повелитель Франции. Интрига восторжествовала над идеей, ловкость над гением. Вокруг него кануло в бездну целое поколение бессмертных: Мирабо умер, Марат убит, Робеспьер, Демулен, Дантон гильотинированы, его со товарищ по консульству Колло выслан на малярный остров Гвианы, Лафайет устранен — погибли и исчезли все до одного товарищи Фуше по революции. И в то время как он, свободно избранный и облеченный доверием всех партий, распоряжается судьбами Франции, Наполеон, повелитель мира, переодетый бедняком, с фальшивым паспортом секретаря какого-то незначительного генерала, бежит, Мират и Ней ожидают расстрела, жалкие родственники Наполеона, некогда короли его милостью, бродят с места на место, потеряв свои земли, с пустыми карманами, в поисках убежища. Все славные деятели этой единственной в своем роде поворотной эпохи мировой истории пали, он один возвысился благодаря своему настойчивому, выжидающему во мраке, роющему под землей терпению. Министерство, сенат и народное собрание покорны в его искусных руках, как мягкий воск; некогда высокомерные генералы, дрожа за свои пенсии, с овечьей кротостью подчиняются новому президенту;

буржуазия и народ Франции ожидают его решений. Людовик XVIII шлет к нему гонцов, Талейран приветствует его, Веллингтон, победитель при Ватерлоо, посылает ему секретные известия — впервые все нити судеб всего мира совершенно открыто и свободно проходят через его руки.

Пред ним стоит грандиозная задача: спасти разбитую, побежденную страну от приближающихся врагов, помешать бесполезному, отчаянному сопротивлению, добиться хороших условий мира, найти подходящую форму государственного правления и подходящего главу государства, создать из хаоса новые нормы, установить прочный порядок. Для этого требуется большое мастерство, крайняя изворотливость ума, и действительно в этот час, когда все сбиты с толку и теряют присутствие духа, распоряжения Фуше обнаруживают величайшую энергию, а его замыслы, идущие по двум или даже четырем направлениям, — поразительную уверенность. Он всем друг, но только для того, чтобы всех дурачить и делать лишь то, что ему самому кажется правильным и полезным. Делая вид перед парламентом, что он стоит за сына Наполеона, выказывая себя перед Карно приверженцем республики, а союзникам выдавая себя за сторонника герцога Орлеанского, Фуше на самом деле потихоньку пододвигает кормило правления прежнему королю — Людовику XVIII. Совершенно незаметно, делая легкие, искусные повороты, не открывая даже ближайшим друзьям своих истинных намерений, перебирается он через целое болото подкупов на сторону роялистов и ведет переговоры о передаче доверенного ему правления Бурбонам, разыгрывая в то же время в совете министров и в палате роль непоколебимого бонапартиста и республиканца. С психологической точки зрения, такое решение задачи было единственно правильным. Только немедленная капитуляция перед королем может спасти истекающую кровью, разоренную, заполоненную чужими войсками Францию и сделать безболезненным переход к новому порядку. Один только Фуше благодаря своему чувству реальности сразу понимает необходимость такого хода событий и проводит в жизнь свой замысел самовольно, собственными силами, невзирая на противодействие совета, народа, армии, палаты и сената.

Фуше обнаруживает в эти дни исключительную мудрость, но — и в этом его трагедия! — ему недостает лишь одного, последнего, самого высшего и чистого качества: умения забыть ради дела себя, свою выгоду. Того последнего качества, которое подсказало бы ему, что такому человеку, как он, в пятьдесят шесть лет, стоящему на вершине славы, обладающему десяти- или двадцатимиллионным состоянием, пользующемуся почетом и уважением современников и истории, по осуществлении столь мастерски исполненной задачи следует отойти в сторону. Но тот, кто двадцать лет так жадно стремился к власти, кто двадцать лет наслаждался ею и все еще не насытился, тот не способен добровольно отречься, и совершенно так же, как Наполеон, Фуше не способен отойти от власти хотя бы минутой раньше, прежде чем его оттолкнут. А так как у него уже нет господина, которого он мог бы предать, ему ничего не остается, как предать самого себя, свое прошлое. Возвратить побежденную Францию ее прежнему повелителю — это было истинным подвигом момента, правильным и смелым политическим шагом. Но позволить наградить себя за это решение чаевыми, приняв назначение на пост королевского министра, — это уже низко и более чем преступно: это глупо. И бешеный честолюбец Фуше совершает эту глупость, чтобы еще хоть несколько часов истории «avoir la main dans la râте», пить из источника власти. Это его первая и самая большая, неисправимая глупость, навеки унизившая его перед историей. Проворно, ловко и терпеливо взобрался он по тысяче ступеней, но на последней неуклюже и совсем зря опустился на колени и полетел стремглав вниз.

О том, как происходила эта продажа трона Людовика XVIII в обмен на министерский пост, свидетельствует некий, к счастью, сохранившийся, характерный документ, один из немногих документов, дословно воспроизводящих дипломатические переговоры обычно столь осторожного Фуше. Во время «ста дней» единственный мужественный приверженец короля барон де Витроль собрал в Тулузе армию и сразился с возвращающимся Наполеоном. Его взяли в плен, привезли в Париж, и император хотел тотчас же отдать приказ о его расстреле, но вмешался Фуше; он всегда считал нужным щадить врагов и

в особенности тех, которые могли еще пригодиться. Итак, удовольствовались тем, что вплоть до решения военно-полевого суда заключили Витроля в военную тюрьму. Но едва Фуше становится 23 июня повелителем Франции, жена арестованного спешит к нему. Она молит об освобождении мужа, и Фуше немедленно соглашается на это, так как для него очень важно заручиться расположением Бурбонов. На следующий же день освобожденный предводитель роялистов барон Витроль является к герцогу Отрантскому, чтобы выразить ему свою благодарность.

Таким образом, между избранным республиканцами главой государства и непримиримым архироялистом происходит следующий разговор. Фуше спрашивает Витроля: «Итак, что же вы предполагаете теперь делать?» «Я намереваюсь ехать в Гент, почтовая карета ждет уже у ворот». — «Это самое разумное с вашей стороны, — ведь здесь для вас небезопасно». — «Не желаете ли вы передать что-нибудь через меня королю?» — «Ах, боже мой, нет. Конечно, нет. Передайте только, пожалуйста, его величеству, что он может рассчитывать на мою преданность, но, к сожалению, не от меня зависит, чтобы он смог в скором времени вернуться в Тюильри». — «Однако мне представляется, что это зависит только от вас». — «В гораздо меньшей степени, чем вы предполагаете. Передо мной большие трудности. Правда, палата упростила ситуацию. Вам ведь известно, — с улыбкой продолжает Фуше, — что она провозгласила королем Наполеона Второго». — «Как Наполеона Второго?» — «Конечно, с этого следовало начать». — «Но я полагаю, к этому не следует относиться серьезно?» — «Да, конечно. Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь в том, что это провозглашение совершенно бессмысленно. Но вы не можете себе представить, как много еще людей привержено этому имени. Некоторые из моих коллег, и прежде всего Карно, убеждены, что с избранием Наполеона Второго все будет спасено». — «Сколько же будет еще продолжаться эта шутка?» — «По всей вероятности, столько, сколько нам потребуется, чтобы избавиться от Наполеона Первого». — «И что же за этим последует?» — «Откуда же мне знать? В такие моменты трудно предсказать, что случится на следующий день». — «Но

если ваш коллега господин Карно столь привержен Наполеону, вам будет, вероятно, трудно отклонить эту комбинацию?» — «О, вы не знаете Карно! Чтобы отвлечь его от этого, достаточно провозгласить правительство «французского народа». Французский народ, подумайте только, что он скажет, услышав эти слова!» И оба смеются: избранный республиканцами герцог Отрантский, высмеивающий своего коллегу, и представитель роялистов. Они начинают понимать друг друга. «Вы правы, так постепенно все и наладится,— возобновляет разговор барон Витроль.— Но я надеюсь, что после Наполеона Второго и «французского народа» вы вспомните наконец и о Бурбонах». — «Разумеется,— отвечает Фуше,— тогда настанет очередь герцога Орлеанского». — «Как герцога Орлеанского?» — восклицает изумленный барон Витроль.— Неужели вы думаете, что король согласится принять корону, которую столько раз выставляли на продажу и предлагали всему свету?» Фуше молчит и улыбается.

Но барон де Витроль уже все понял. В этом лукаво-ироническом, как будто небрежном разговоре Фуше открыл ему свои намерения. Он недвусмысленно дал понять, что может начать чинить всевозможные препятствия, что вместо Людовика XVIII могут либо провозгласить императором Наполеона Второго, либо королем герцога Орлеанского, либо правительство французского народа, но что лично он, Фуше, не склоняется ни к одному из этих возможных вариантов и готов спокойно вычеркнуть все три в пользу Людовика XVIII, если... Что кроется за этим «если», Фуше не высказал, но барон Витроль его понял — быть может, по легкой улыбке или какому-либо жесту. Во всяком случае он внезапно решает не уезжать, а остаться в Париже, у Фуше, конечно, при условии, что он сможет свободно переписываться с королем. Он ставит и другие условия: прежде всего двадцать пять паспортов для его агентов, посылаемых в Гент, где находится главная квартира короля. «Пятьдесят, сто, сколько пожелаете», — отвечает весело настроенный министр полиции, входящий в республиканское правительство, представителю противников республики. «И затем прошу вашего разрешения один раз в день иметь с вами беседу».

И снова дает герцог веселый ответ: «Одного раза недостаточно! Два раза — один раз утром, другой раз вечером». Теперь барон де Витроль может спокойно оставаться в Париже и, ведя под крылышком герцога Отрантского переговоры с королем, сообщить ему, что ворота Парижа для него открыты, если... если Людовик XVIII готов принять герцога Отрантского в качестве министра нового королевского правительства.

Когда Людовику XVIII предложили купить Фуше, швырнув ему как чаевые пост министра, чтобы таким способом открыть себе ворота Парижа, обычно флегматичный Бурбон вскипел. «Никогда!» — заявляет он тем, кто хотел включить в список это ненавистное имя. И действительно, какое нелепое предложение: ввести в правительство убийцу короля, одного из тех, кто подписал смертный приговор его родному брату, беглого священника, свирепого атеиста и слугу Наполеона! «Никогда!» — кричит он вне себя от возмущения. Но ведь из истории известно, что означают эти «никогда» в устах королей, политиков и генералов: они почти всегда являются началом капитуляции. Разве Париж не стоит мессы? Разве его королевские предки со времен Генриха IV не приносили<sup>7</sup> подобных *sacrifici dell'intelletto*, жертв ума и совести, ради обладания властью?

Под влиянием настойчивых уговоров со стороны придворных генералов, Веллингтона и прежде всего Талейрана (ему, женатому епископу, нужно, чтобы среди придворных был еще более дискредитированный человек) король начинает понемногу колебаться. Все без исключения уверяют его, что только один человек способен беспрепятственно открыть ему ворота Парижа: только Фуше! Только этот человек, который, примыкая ко всем партиям и разделяя самые различные мнения, является постоянным и самым лучшим стремянным всех претендентов на корону, только он может предотвратить кровопролитие. Кроме того, этот старый якобинец уже давно стал решительным консерваторм, раскаялся и прекрасным образом предал Наполеона. В конце концов король, дабы облегчить свою совесть, исповедуется; говорят, что, воскликнув: «Мой бедный брат, если бы ты мог видеть

меня в эту минуту!» — он изъявил готовность тайно принять Фуше в Нельи — тайно, ибо в Париже не должны догадываться, что избранный народом вождь продает свою страну за пост министра, а претендент на престол — свою честь за королевскую корону. Во мраке, в присутствии одного только свидетеля, беглого епископа, тайно завершается этот позорнейший в новой истории сговор между бывшим якобинцем и будущим королем.

Там, в Нельи, разыгрывается жуткая, фантастическая сцена, достойная Шекспира или Аретино: потомок Людовика Святого, король Людовик XVIII, принимает одного из убийц своего брата, семикратного клятвопреступника Фуше, министра времен Конвента, императора и республики, чтобы принять у него присягу, восьмую присягу на верность. Талейран, бывший епископ, впоследствии республиканец, а затем слуга императора, вводит своего сотоварища. Чтобы лучше ступить, хромой Талейран кладет руку на плечо Фуше, — «порок, опирающийся на предательство», по язвительному замечанию Шатобриана, — и таким манером эти два атеиста, приспособленца, приближаются, словно братья, к наследнику Людовика Святого. Сперва низкий поклон. Затем Талейран принимает на себя неприятную обязанность представить королю в качестве министра убийцу его брата. Преклонив колени перед «тираном» и «деспотом» для принесения присяги, худощавый человек, став бледнее обычного, целует руку, в которой течет та же кровь, что он однажды помог пролить, и присягает во имя бога, чьи церкви он некогда разграбил и осквернил со своей шайкой в Лионе. Это чрезмерно даже для Фуше.

Поэтому, покидая комнату, где происходила аудиенция, герцог Отрантский все еще бледен и должен опереться на прихрамывающего Талейрана. Он не произносит ни слова. Даже иронические замечания прожженного циника-епископа, которому отслужить мессу все равно что сыграть в карты, не могут вывести Фуше из смущения, и он продолжает хранить молчание. Ночью, увозя в кармане подписанный королем декрет о своем назначении министром, возвращается он в Тюильри к своим ничего не подозревающим коллегам, которых он завтра разгонит, а послезавтра отправит в ссылку; должно

быть, ему было среди них слегка не по себе. Только что этот самый неверный из слуг был свободен, но — сколь удивительны противоречия судьбы! — низменные души не выносят свободы, они неизменно бегут от нее обратно в рабство. И вот Фуше, вчера еще сильный и независимый, вновь унижается перед господином, вновь приковывает себя к галере власти (воображая, что стоит у кормила судьбы). Но скоро он будет носить и клеймо — знак своей галеры.

На следующее утро в Париж вступают войска союзников. Согласно тайному сговору, они занимают Тюильри и просто-напросто запирают двери перед депутатами. Это дает удобный повод мнимоизумленному Фуше предложить своим коллегам, в виде протеста против угрозы штыками, сложить с себя полномочия правительства. Одураченные министры соглашаются на этот патетический жест. Таким образом, как было сговорено, престол внезапно оказывается незанятым, и в течение целого дня в Париже не существует никакого правительства. Людовику XVIII достаточно приблизиться к воротам Парижа, и его восторженно принимают как спасителя, окруженного шумным ликованием, которое подготовил за деньги новый министр полиции. Отныне Франция опять королевство.

Только теперь понимают коллеги Фуше, как ловко он их провел. Из «*Moniteur*» они узнают, и за какую цену был куплен Фуше. И в эту минуту глубоко порядочный, честный, ничем не запятанный (а лишь несколько ограниченный) Карно приходит в ярость. «Куда же мне теперь идти, предатель?» — презрительно спрашивает он новоиспеченного королевского министра полиции.

Но Фуше отвечает ему столь же презрительно: «Куда тебе угодно, дурак».

Этим лаконическим диалогом, характеризующим обоих старых якобинцев и последних термидорианцев, завершается удивительнейшая драма нового времени, революция и ее ослепительная фантазмагория — шествие Наполеона через мировую историю. Эпоха героических авантур угасла, начинается эпоха мирных буржуа.

## ПАДЕНИЕ И ЗАКАТ

1815—1820



**28** июля 1815 года — сто дней наполеоновского интермеццо уже позади — король Людовик XVIII в пышной парадной карете, запряженной белыми иноходцами, снова въезжает в свой город Париж. Оказанный ему прием великолепен. Фуше поработал на славу. Ликующие толпы окружают карету, над домами реют белые флаги, тот же, у кого их не оказалось, наскоро привязав к тростям носовые платки и скатерти, высунул их из окна. Вечером город сверкает мириадами огней, женщины от избытка радости танцуют даже с офицерами английских и прусских оккупационных войск. Не слышно ни одного враждебного выкрика, и предусмотрительно вызванная жандармерия оказывается излишней; да, Жозеф Фуше, новый министр полиции христианнейшего короля, превосходно позаботился о своем новом суверене. В Тюильри, том самом дворце, где еще месяц тому назад он почтительно называл себя вернейшим слугой императора Наполеона, ожидает герцог

Отрантский король Людовика XVIII, брата того «тирана», которому он двадцать два года тому назад в этом же доме вынес смертный приговор. Теперь, однако, он низко и подобострастно склоняется перед потомком Людовика Святого, подписываясь в своих письмах таким образом: «С почтением наивернейший и наипреданнейший подданный вашего величества» (буквально эти слова можно прочесть в дюжине докладов, собственноручно написанных Фуше). Из всех сумасшедших прыжков его акробатического характера это самый дерзкий, но он станет его последним сальто-мортале на политической арене. Поначалу кажется, что все отлично пойдет на лад. Пока король недостаточно прочно сидит на троне, он не пренебрегает услугами господина Фуше. Да к тому же он еще нуждается в этом Фигаро, который умеет так блестяще жонглировать в любых положениях. Прежде всего Фуше нужен для выборов, так как при дворе хотят обеспечить надежное большинство роялистов в народном парламенте: «испытанного» республиканца и человека, вышедшего из народа, используют в этом как непревзойденного погонщика. Кроме того, нужно заняться еще неприятными кровавыми делами: почему же не использовать эту поношенную перчатку? Ведь потом ее можно будет выбросить, даже не запачкав королевских рук.

Такое грязное дело предстоит совершить уже в первые дни. Правда, находясь в изгнании, король торжественно обещал амнистировать всех тех, кто в течение «ста дней» служил возвратившемуся узурпатору. Но после обеда рассуждаешь иначе: только в очень редких случаях короли считают себя обязанными выполнить то, что они обещали, будучи претендентами на престол. Злобные роялисты, гордые собственной верностью, требуют, чтобы теперь, когда король уверенно сидит в седле, были наказаны те, кто в период «ста дней» отпал от знамени, расшитого лилиями. Побуждаемый роялистами, которые всегда более монархичны, чем сам монарх, Людовик XVIII наконец сдается, и на долю министра полиции выпадает тяжелая обязанность составить список осужденных.

Герцогу Отрантскому это поручение не по душе. Должно ли в действительности наказывать людей из-за та-

кой мелочи, из-за того только, что они, поступая благородно, перебежали на сторону сильнейшего, на сторону победителя? И, кроме того, он, министр полиции христианнейшего короля, не забывает, что первое место в таком списке должно, собственно, по праву принадлежать герцогу Отрантскому, министру полиции при Наполеоне, то есть ему самому. Его положение — бог свидетель! — мучительно. Прежде всего Фуше пытается хитростью избежать неприятного поручения. Вместо списка, в котором должно было значиться тридцать или сорок главных виновников, он приносит, к всеобщему удивлению, несколько больших листов, куда внесено триста или четыреста, а по утверждению некоторых, тысяча имен, и требует, чтобы были наказаны либо все, либо никто. Он надеется, что у короля не хватит на это мужества и таким образом с неприятным делом будет покончено. Но в министерстве председательствует Талейран, такая же лиса, как и он сам, который замечает, что пилюля пришлась не по вкусу его приятелю Фуше; тем настойчивее стремится он заставить Фуше проглотить ее. Талейран безжалостно велит Фуше сокращать список, пока в нем останется лишь четыре десятка имен, и возлагает на него мучительную обязанность поставить свою подпись под этими приговорами к смерти и изгнанию.

Самым разумным со стороны Фуше было бы взять шляпу и закрыть за собой дверь дворца. Но уже не раз говорилось о слабости Фуше: этот честолюбец обладает всеми качествами ума, за исключением одного — умения вовремя сойти со сцены. Он скорее навлечет на себя немилость, ненависть и гнев, нежели добровольно оставит министерское кресло. Так появляется на свет, вызывая всеобщее возмущение, проскрипционный список, содержащий самые прославленные и благородные имена Франции, скрепленный подписью старого якобинца. Среди названных Карно l'organisateur de la victoire<sup>1</sup> и создатель республики, маршал Ней, победитель в бесчисленных битвах, спаситель остатков армии, бежавшей из России, — все товарищи Фуше, бывшие с ним во временном правительстве, последние его товарищи по Конвенту, товарищи по революции. В этом ужасном списке, приговаривавшем к смерти или изгнанию, перечислялись

<sup>1</sup> Организатор победы (франц.).

имена всех, кто за последние двадцать лет покрыл Францию славой. Только одно-единственное имя отсутствует в нем—имя Жозефа Фуше, герцога Отрантского.

Или, вернее, оно не отсутствует. Имя герцога Отрантского стоит в документе. Но не в тексте, не среди обвиняемых и осужденных министров Наполеона, а в качестве подписи королевского министра, отправляющего на смерть или в изгнание всех своих прежних товарищей, как имя палача.

За подобное самоуничужение, которым старый якобинец запятнал свою совесть, король не может отказать Фуше в известной благодарности. И Жозефу Фуше, герцогу Отрантскому, воздают наивысшую и самую последнюю честь. После пяти лет вдовства он решил вторично жениться, и этот человек, некогда столь злобно жаждавший «крови аристократов», задумал теперь породниться с «голубой кровью», а именно—жениться на графине Каstellян, аристократке высшего ранга и тем самым участнице «той преступной банды, которая должна пасть от меча правосудия», как он в свое время мило проповедовал в Невере. Но с тех пор взгляды бывшего якобинца, кровавого Жозефа Фуше, основательно изменились (чему было немало примеров), и теперь, первого августа 1815 года, он едет в церковь не для того, чтобы, как в 1793 году, разбивать молотком «позорные знаки фанатизма»—распятия и алтари,—а для того, чтобы вместе со своей благородной невестой смиренно принять благословение человека в такой же митре, какую он, как помнится, в 1793 году нахлобучил шулки ради на уши ослу. По старинному дворянскому обычаю—герцог Отрантский знает, что приличествует случаю, если он берет в жены графиню де Каstellян,—под брачным контрактом ставят свои подписи самые сановитые придворные. И в качестве первого свидетеля этот единственный в своем роде документ мировой истории подписывает *mapu pгopгia*<sup>1</sup> Людовик XVIII—самый достойный и самый недостойный свидетель венчания убийцы своего брата.

Это уже слишком, вне всякого сомнения, слишком. Такая сверхдержимость со стороны *régicide*, царубийцы,

<sup>1</sup> Собственной рукой (лат.).

который просит быть свидетелем при своем венчании брата гильотинированного короля, вызывает в дворянских кругах невероятное раздражение. Этот жалкий перебежчик, с позавчерашнего дня ставший роялистом, ворчат они, ведет себя так, словно он действительно принадлежит ко двору и благородному сословию. Кому, собственно говоря, еще нужен этот человек, *le plus dégoûtant reste de la révolution*, этот последний и самый грязный из отбросов революции, оскверняющий министерство своим омерзительным присутствием? Конечно, он помог королю возвратиться в Париж, он согласился своей продажной рукой подписать декрет, осуждающий лучших людей Франции. Но теперь с ним пора покончить! Те самые аристократы, которые в свое время, когда король нетерпеливо ожидал возможности вернуться в Париж, настаивали, чтобы он непременно сделал министром герцога Отрантского, дабы без кровопролития вступить в Париж, теперь вдруг больше не знают никакого герцога Отрантского; они упрямо припоминают лишь некоего Жозефа Фуше, который расстрелял в Лионе из пушек сотни священников и дворян и требовал смерти Людовика XVI. Внезапно герцог Отрантский замечает, что, когда он проходит через приемную короля, многие из дворян не раскланиваются с ним или с вызывающим пренебрежением поворачиваются к нему спиной. Неожиданно всплывают на поверхность и начинают переходить из рук в руки прокламации против *Mitrailleur de Lyon*; в новом патриотическом обществе «*Francs régéné-gés*»<sup>1</sup> предки *camelots du roi*<sup>2</sup> и «Пробуждающейся Венгрии» устраивают собрания и требуют, чтобы расшитое лилиями знамя было очищено от этого позорного пятна.

Но Фуше не сдается без боя, когда речь идет о власти: он впивается в нее зубами. В секретном донесении одного из шпионов тех лет можно прочесть о том, как он всеми средствами пытается укрепить свое положение. В конце концов в стране еще находятся те, кто низверг Наполеона: они смогут защитить его от слишком ярких слуг короля. Он наносит визит русскому царю, ежедневно часами ведет переговоры с Веллингтоном и английским посланником; нажимает на тайные дипломатиче-

<sup>1</sup> Возрожденные франки (франц.).

<sup>2</sup> Королевские молодцы (франц.).

ские пружины, пытаюсь, с одной стороны, завоевать расположение народа, протестуя жалобой против введения во Францию иностранных войск, и в то же время зпугать короля донесениями о преувеличенной опасности. Он подсылает к Людовику XVIII в качестве своего заступника победителя при Ватерлоо; мобилизует банкиров, женщин и оставшихся у него друзей. Нет, он не желает уходить: слишком дорого заплатила его совесть за этот пост, чтобы не защищаться до иступления. И действительно, несколько недель ему, как опытному пловцу, который то ложится на бок, то переворачивается на спину, еще удается продержаться на политических водах. В течение всего этого времени, как сообщает тот же шпион, он держится уверенно, и, возможно, уверенность на самом деле не покидала его. Ведь за эти двадцать пять лет он столько раз всплывал на поверхность!

Стоит ли тревожиться из-за каких-то там дворянчиков ему, кто справился с Наполеоном и Робеспьером! Старый циник давно уже не боится и презирает людей, ведь он перехитрил и пережил величайших людей мировой истории.

Но одного только не умеет этот старый кондотьер, этот утонченный знаток людей, да и никто этого не умеет: бороться с призраками. Он забыл, что при дворе короля, как Эриния, бродит призрак прошлого: герцогиня Ангулемская, родная дочь Людовика XVI и Марии Антуанетты, единственная из всей семьи избежавшая великого избиения. Король Людовик XVIII еще мог простить Фуше; в конце концов он обязан этому якобинцу своим королевским тронem, а такое наследство утоляет иногда (история может это доказать) братскую скорбь и в самых высших кругах. Да ему и легко было прощать, потому что сам он ничего не пережил в те ужасные времена. Но у герцогини Ангулемской, дочери Людовика XVI и Марии Антуанетты, сохранились в памяти потрясающие картины ее детства. Воспоминания, которые живут у нее в душе, не забываются, и ничто не может смягчить ее ненависть. Слишком много перенесла она душой и телом, чтобы быть в состоянии простить этого якобинца, этого страшного человека. Ребенком, в замке Сен-Клу, пережила она тот страшный вечер, когда тол-

пы санкюлотов, убив привратника, предстали в забрызганных кровью сапогах перед ее родителями. Потом она пережила вечер, когда их вчетвером, отца, мать, брата и ее — «булочника, булочницу и детей булочника», — втиснутых в телегу и каждую минуту ожидающих смерти, орущая, беснующаяся толпа волочила обратно в Париж, в Тюильри. Она пережила 10 августа, когда, выломав топорами двери, толпа ввалилась в покои ее матери, когда ее отцу издевательски нахлобучили на голову красную шапку и приставили к груди пику; она пережила жуткие дни в тюрьме Тампля и страшные минуты, когда к их окну подняли на пике окровавленную голову подруги ее матери, герцогини де Ламбалль, с распущенными, склеившимися от крови волосами. Как может она забыть минуты прощания со своим отцом, которого тащили на гильотину, и со своим маленьким братом, которого заморили и сгноили в темнице? Как ей не вспоминать о соратниках Фуше в красных колпаках, которые день и ночь допрашивали и мучили ее, вынуждая дать ложные показания в процессе против королевы, которую обвиняли в растлении своего малолетнего сына? Как изгнать из памяти то мгновение, когда ее вырвали из объятий матери, а потом по мостовой запрохотала телега, увозившая королеву на гильотину? Нет, ей, дочери Людовика XVI и Марии Антуанетты, узнице Тампля, эти ужасы известны не так, как Людовику XVIII, который знает о них лишь понаслышке, из газет, они как каленым железом выжжены в ее напуганной, омраченной и истерзанной с детства душе. И ее ненависть к убийцам отца, к мучителям матери, к страшным образам детства, к якобинцам и революционерам далеко еще не угасла, далеко еще не отомщена.

Такие воспоминания не забываются. И герцогиня поклялась никогда и нигде не подавать руки министру ее дяди, соучастнику убийства ее отца, Жозефу Фуше, никогда не дышать тем же воздухом, каким дышит он, и не находиться с ним в одном помещении. Открыто и вызывающе выказывает она перед всем двором министру свое презрение и свою ненависть. Она не посещает ни одного праздника, ни одного приема, на которых присутствует этот царубийца, этот предатель собственных убеждений; и ее открытое, язвительное, фанатически выстав-

ляемое напоказ презрение к перебежчику подстегивает чувство чести и у всех остальных. В конце концов уже все члены королевской фамилии требуют от Людовика XVIII, чтобы теперь, когда его власть упрочилась, он с позором изгнал из Тюильри убийцу своего брата.

Неохотно и лишь потому, что он не мог без него обойтись, назначил Людовик XVIII министром Жозефа Фуше. Охотно и даже с радостью дает он ему теперь, когда в нем больше нет нужды, отставку. «Бедную герцогиню надо избавить от встреч с этим отвратительным типом», — улыбаясь, говорит он о человеке, который, еще ничего не подозревая, подписывается как его «наивернейший слуга». И Талейран, другой перебежчик, получает от короля поручение — разъяснить своему сотоварищу по Конвенту и наполеоновским временам, что его присутствие в Тюильри не является более желательным. Талейран охотно берется исполнить это поручение. Ему и без того уже становится трудно держать паруса по крепкому роялистскому ветру, и он рассчитывает, что его удачливый корабль еще продержится, если выбросить за борт балласт. А самый тяжелый балласт в его министерстве — конечно же, «цареубийца» и его старый сообщник Фуше; эту, казалось бы, тяжкую обязанность — вышвырнуть его за борт — Талейран выполняет с очаровательной светской ловкостью. Не грубо и не торжественно возвещает он Фуше об его отставке, нет; как старый мастер формы, как потомственный дворянин, он выбирает изумительный способ дать Фуше понять, что пробил его последний час. Талейран, этот последний аристократ восемнадцатого века, продолжает разыгрывать комедии и интриги в обстановке салона, и на этот раз он облекает грубое прощание в изысканнейшую форму.

14 декабря Талейран и Фуше встречаются на одном из вечеров. Общество ужинает, беседует, болтает. Талейран в прекрасном настроении. Вокруг него образуется большой круг: красивые женщины, сановники и молодежь, все жадно теснятся, желая послушать этого блестящего рассказчика. И действительно, в этот раз он особенно charmant<sup>1</sup>. Он рассказывает о давно прошедших временах, когда ему пришлось, во избежание выполне-

<sup>1</sup> Очарователен (франц.).

ния приказа Конвента об его аресте, бежать в Америку, и превозносит эту великолепную страну. Ах, как там чудесно — непроходимые леса, где обитают первобытные племена краснокожих, великие неисследованные реки, мощный Потомак и огромное озеро Эри; и среди этой героической и романтической страны — новая порода людей, закаленных, крепких и дельных, опытных в битвах, преданных свободе, обладающих неограниченными возможностями и создающих образцовые законы. Да, там есть чему поучиться, там в тысячу раз больше, чем в нашей Европе, ощущается новое, лучшее будущее. Вот где бы следовало жить и действовать, восторженно восклицает он, и ни один пост не кажется ему более заманчивым, чем должность посла в Соединенных Штатах...

Внезапно он прерывает как бы случайно охвативший его порыв вдохновения и обращается к Фуше: «Не хотели бы вы, герцог, получить такое назначение?» Фуше бледнеет. Он понял. Внутренне он дрожит от ярости: как умело и ловко, на глазах у всех, выставила старая лиса за дверь его министерское кресло. Фуше не отвечает. Но через несколько минут он раскланивается и, придя домой, пишет свою отставку. Талейран удовлетворен и, возвращаясь домой, сообщает, криво усмехаясь, своим друзьям: «На сей раз я ему окончательно свернул шею».

Чтобы слегка замаскировать перед светом это явное изгнание Фуше, получившему отставку министру предлагают для проформы другую, незначительную должность. Таким образом, в «Moniteur» не сообщается, что убийца короля, régicide Жозеф Фуше отставлен от своего поста министра полиции, но там можно прочесть, что его величество Людовик XVIII соблаговолил назначить его светлостью герцога Отрантского послом к Дрезденскому двору. Естественно, все ожидают, что Фуше откажется от этого ничтожного назначения, которое не соответствует ни его рангу, ни месту в мировой истории. Однако не тут-то было! Не нужно большого ума, чтобы понять, что он, цареубийца, окончательно и бесповоротно отстранен от службы реакционнейшему правительству, что через несколько месяцев у него вырвут и эту брошенную ему жалкую кость. Но неистовая жажда власти превратила эту некогда столь отважную волчью душу в собачью.

Так же как Наполеон до последнего момента цеплялся уже даже не за положение, а за пустой звук наименования своего императорского достоинства, точно так же и еще менее благородно хватается его слуга Фуше за последний, ничтожный титул призрачного министерства. Цепко, как слизь, липнет он к власти; полный горечи, покоряется этот вечный слуга и на этот раз своему повелителю. «Я принимаю, сир, с благодарностью должность посла, которую ваше высочество соблаговолили предложить мне», — смиренно пишет этот пожилой человек, обладатель двадцати миллионов, тому, кто всего лишь полгода назад по его милости стал королем. Он укладывает свои чемоданы и со всей семьей переезжает ко двору в Дрезден. Устроившись по-княжески, он ведет себя так, словно собирается провести в Дрездене остаток своей жизни в роли королевского посланника.

Но близится то, чего он столько лет страшился. Почти четверть века Фуше отчаянно боролся против возвращения Бурбонов, инстинктивно чувствуя, что они все же в конце концов потребуют отчета за те два слова *la mort*, которыми он отправил на гильотину Людовика XVI. Он безрассудно надеялся обмануть их, прокравшись в ряды роялистов и замаскировавшись под верного слугу короля. Однако на этот раз он обманул не других, а лишь самого себя. Не успел он еще приказать обить новыми обоями свои покои в Дрездене и обставить их, как во французском парламенте уже разражается буря. Никто не говорит больше о герцоге Отрантском, все забыли, что сановник, который носит этот титул, с триумфом ввел в Париж их нового короля, Людовика XVIII; речь идет только о господине Фуше, *régicide*, Жозефе Фуше из Нанта, который в 1792 году приговорил к смерти короля, о *Mitrailleur de Lyon*, и подавляющим большинством голосов — 334 против 32 — человеку, «который поднял руку на помазанника божьего», отказано в каком бы то ни было прощении, и он осужден на пожизненное изгнание. Само собой разумеется, это означает также и постыдное увольнение с должности посланника. Безжалостно, злорадно и презрительно «господина Фуше» попросту пинком выставили за дверь; он уже не «превосходительство», не коммодор Почетного Легиона, не сенатор, не министр и не сановник; одновре-

менно саксонскому королю официально дается понять, что дальнейшее пребывание в Дрездене этого субъекта Фуше нежелательно. Тот, кто сам отправил в изгнание тысячи людей, следует теперь за ними двадцать лет спустя как последний из борцов Конвента, лишенный пристанища и проклинаемый всеми изгнанник. И ныне, когда он объявлен вне закона, ненависть всех партий так же единодушно обрушивается на низложенного, как прежде симпатии всех партий окружали властелина. Уже не помогают ни уловки, ни протесты, ни уверения: властелин без власти, провалившийся политик, проигравшийся интриган — всегда самые жалкие существа на земле. С огромными процентами заплатит ныне свой долг Фуше за то, что никогда не служил какой-либо идее, нравственной и человеческой страсти, но всегда был лишь рабом преходящей милости людей и минуты.

Что же теперь делать? Вначале это не беспокоит изгнанного из Франции герцога Отрантского. Разве он не любимец русского царя, не доверенный Веллингтона, победителя при Ватерлоо, и не друг всемогущего австрийского министра Меттерниха? Разве не обязаны ему Бернадоты, которых он посадил на шведский престол, равно как и баварские князья? Разве он уже многие годы не в близких отношениях со всеми дипломатами и разве не добивались все князья и короли Европы его благосклонности? Ему достаточно (так думает поверженный) лишь слегка намекнуть, и каждая страна будет настойчиво добиваться чести принять изгнанного Аристида. Но по-разному обращается мировая история с низложенным и с властью имущим. Несмотря на многократные намеки, русский двор, так же как и Веллингтон, не присылает приглашения; Бельгия отказывается — там уже достаточно старых якобинцев, Бавария осторожно уклоняется, и даже старый друг, князь Меттерних, держится удивительно холодно. Да, конечно, если герцог Отрантский во что бы то ни стало желает, он может направиться в Австрию, где великодушно готовы ничего не иметь против, но ему ни в коем случае нельзя приезжать в Вену, нет, там в его присутствии нет никакой необходимости, также и в Италию ему ни при каких обстоятельствах не следует ехать. В крайнем случае он может поселиться (предполагается хорошее поведение!) в каком-ни-

будь маленьком провинциальном городке, но только не в Нижней Австрии, не близ Вены. Да, он не слишком гостеприимен, старый добрый друг Меттерних, и даже то, что обладающий миллионами герцог Отрантский предлагает вложить все свое состояние в австрийские земли или государственные бумаги и предлагает отдать своего сына на службу в императорскую армию, не смягчает сдержанного тона австрийского министра. Когда же герцог Отрантский сообщает о своем намерении посетить Вену, его просьбу вежливо отклоняют: нет, ему лучше тихо и без шума отправиться в Прагу.

Так, не будучи собственно приглашенным, без почестей, скорее лишь терпимый, чем желанный, перебирается Жозеф Фуше из Дрездена в Прагу, чтобы обосноваться там: началось его четвертое — последнее и самое жестокое — изгнание.

В Праге также не слишком восхищены прибытием высокого, вернее, круто скатившегося со своей высоты гостя. Особенно неприязненно относится к внезапному пришельцу потомственная аристократия. Богемские дворяне читают французские газеты, которые в эти дни изобилуют мстительными и яростными выпадами против «господина» Фуше: в них очень часто и подробно описывается, как в 1793 году этот якобинец опустошал церкви в Лионе и обчищал кассы в Невере. Все ничтожные писаки, которые прежде трепетали перед тяжелым кулаком министра полиции и были вынуждены сдерживать свое негодование, теперь безудержно оплевывают его, беззащитного. С бешеной скоростью закрутилось колесо. Тот, кто в свое время надзирал за полмиром, теперь сам под надзором; все полицейские приемы, рожденные его изобретательным гением, применяются его учениками и подчиненными против своего бывшего учителя. Каждое письмо, адресованное герцогу Отрантскому или исходящее от него, попадает в Черный кабинет, где вскрывается и списывается; полицейские агенты подслушивают и докладывают о каждом его разговоре, шпионят за его знакомыми; каждый шаг Фуше контролируется, он повсюду чувствует, что за ним наблюдают, что его окружают и подслушивают; его собственное искусство, созданная им самим наука жестоко и успешно испытываются на нем — на том самом искуснике, который их изо-

брел. Напрасно ищет он защиты от этих унижений. Он пишет королю Людовику XVIII, но тот не отвечает поверженному, так же как в свое время Фуше не ответил свергнутому Наполеону. Он обращается к Меттерниху, который в лучшем случае отвечает ему через низших канцелярских служащих односложным «да» или «нет». Он должен спокойно сносить все надругательства и перестать наконец шуметь и подавать жалобы. Некогда всеми любимый только из страха, он презираем всеми с тех пор, как его больше не боятся: величайший политический игрок окончательно проигрался.

Двадцать пять лет ускользал он, гибкий и неуловимый, от судьбы, столько раз уже почти настигавшей его. Теперь, когда он окончательно прижат к земле, рок безжалостно обрушивается на поверженного. Не только как политик, но и как частное лицо переживает Жозеф Фуше в Праге свою самую мучительную Каноссу: ни один романист не сумел бы изобрести более остроумного символа его морального унижения, чем маленький эпизод, имевший место в 1817 году. К трагическому присоединяется теперь ужаснейшая карикатура на всякое несчастье — комическое. Унижен не только политик, но и супруг. Вне всякого сомнения, не любовь сочетала эту двадцатилетнюю красивую аристократку с пятидесятишестилетним вдовцом, у которого такое голое и бледное лицо мертвеца. Однако этот малособлазнительный кавалер был в 1815 году вторым богачом Франции, обладателем двадцати миллионов, превосходительством, герцогом и всеми уважаемым министром его христианнейшего величества; миловидной, но обедневшей провинциальной графине, естественно, улыбнулась заманчивая возможность блистать на всех придворных балах и среди знатнейших женщин Франции Сен-Жерменского предместья, и действительно, начало было очень многообещающим: его величество соблаговолил собственноручно подписать ее брачное свидетельство, дворяне и придворные спешили принести свои поздравления; пышный дворец в Париже, два имения и княжеский замок в Провансе соперничали в том, кто даст приют новой госпоже, герцогине Отрантской. За подобное великолепие и за двадцать миллионов честолюбивая женщина может взять

в придачу и трезвого, лысого, пергаментно-желтого супруга пятидесяти шести лет. Но поторопившаяся графиня променяла свою чистую молодость на золото дьявола — вскоре после медового месяца она узнает, что стала супругой не высокоуважаемого министра, а женой самого презренного, ненавидимого во Франции человека, изгнанного и лишенного земель, презираемого всем миром «господина» Фуше. Герцог со всем своим великолепием исчез, и ей остался лишь желчный, раздражительный, потрепанный старик. Поэтому не кажется слишком неожиданным, что в Праге между этой молодой женщиной и юным Тибодо, сыном тоже изгнанного старого республиканца, завязывается *amitié amoureuse*<sup>1</sup>, о которой точно не известно, насколько она была лишь *amitié* и насколько *amoureuse*. Дело доходит до весьма бурных объяснений, Фуше отказывает молодому Тибодо от дома, и, к несчастью, эта супружеская размолвка не остается тайной. Роялистские газеты, жадно ловящие каждый повод, чтобы хлестнуть кнутом того, перед кем они дрожали столько лет, печатают ехидные заметки о его семейных неурядицах и, к восторгу своих читателей, распространяют грубую ложь о том, что молодая герцогиня Отрантская удрала в Праге от старого рогоносца со своим любовником. Вскоре герцог Отрантский начинает замечать, что, когда он появляется в пражском обществе, дамы с трудом подавляют смехок и иронические взгляды, сравнивают молодую, цветущую женщину с его собственной, далеко не очаровательной фигурой. Старый распространитель слухов, вечный охотник за сплетнями и скандалами чувствует теперь на собственной шкуре, каково быть жертвой злостного уничтожения репутации, и понимает, что с злословием нельзя бороться, а самое разумное — бежать от него. Только теперь, в несчастье, осознает он всю глубину своего падения, и жизнь в Праге становится для него адом. Он обращается к князю Меттерниху с просьбой разрешить ему покинуть ненавидимый город и избрать другой, в глубине Австрии. Его заставляют ждать. Наконец Меттерних милостиво разрешает ему отправиться в Линц: туда униженно скрывается разочарованный и усталый человек, убегая от ненависти и насмешек прежде подвластного ему света.

<sup>1</sup> Любовная дружба (франц.).

Лиц — в Австрии всегда улыбаются, когда кто-нибудь называет его «город», он совсем невольно рифмуется со словом провинция. Мещанское население сельского происхождения, рабочие судовой верфи, ремесленники — все большей частью люди бедные, лишь несколько домов принадлежит местным помещикам. Здесь нет, как в Праге, ни великих и славных культурных традиций, ни оперы, ни библиотеки, ни театра, ни шумных дворянских балов, ни празднеств — настоящий, довольно сонный провинциальный городок, убежище ветеранов. Там поселяется старик с двумя молодыми женщинами, почти ровесницами, — супругой и дочерью. Он снимает великолепный дом и роскошно обставляет его, к великой радости подрядчиков и купцов — ведь до сих пор в их городе не селились такие миллионеры. Несколько семей пытаются завязать знакомство с интересными и благодаря своему богатству важными чужестранцами; знать, однако, явно предпочитает урожденную графиню Кастеллян этому мещанскому отродью, «господину» Фуше, которому впервые Наполеон (в их глазах такой же авантюрист) накинул на сухие плечи герцогскую мантию. Чиновничество, в свою очередь, получило из Вены тайный приказ по возможности поменьше общаться с ним; так и живет он, некогда столь деятельный, в полнейшей изоляции, почти избегаемый. Один из современников Фуше очень образно описывает в своих мемуарах посещение им одного из публичных балов: «Было странно видеть, насколько любезно принимали герцогиню и как никто не обращал внимания на самого Фуше. Он был среднего роста, плотный, но не толстый, с уродливым лицом. На танцевальных вечерах он постоянно появлялся в синем фраке с золотыми пуговицами, украшенном большим австрийским орденом Леопольда, в белых панталонах и белых чулках. Обычно он стоял в одиночестве у печки и смотрел на танцы. Когда я наблюдал за этим некогда всемогущим министром французской империи, который так одиноко и покинуто стоял в стороне и, казалось, был рад, если какой-нибудь чиновник вступал с ним в беседу или предлагал ему партию в шахматы, — я невольно думал о бренности всякой земной власти и могущества».

Одно только поддерживает этого духовно страстного человека до последнего момента его жизни: на-

дежда еще когда-нибудь, еще хоть раз вернуться в сферу высокой политики. Усталый, истасканный, немного медлительный и уже даже потучневший, он, однако, не может расстаться с иллюзией, что его, столь заслуженного, еще раз призовут к политической деятельности, что судьба еще раз, как уже неоднократно бывало, вырвет его из мрака и снова бросит в божественную игру мировой политики. Он не прекращает тайной переписки со своими друзьями во Франции, старое веретено все еще прядет свои невидимые сети, но они остаются незамеченными под крышами Линца. Он выпускает под вымышленным именем «Замечания современника о герцоге Отрантском» анонимный панегирик, живыми, даже лирическими красками описывающий его талант, его характер. Одновременно, в частных письмах, он, чтобы напугать своих врагов, неоднократно сообщает, что герцог Отрантский пишет мемуары, что они будут изданы у Брокгауза и посвящены Людовику XVIII; этим он хочет напомнить слишком отважным, что у бывшего министра полиции Фуше есть еще стрелы в колчане, и даже смертельно отравленные. Но странно — никто больше не трепещет перед ним, ничто не избавляет его от Линца, никто и не думает призвать его за советом или помощью. И когда во французском парламенте по какому-то другому поводу ставится вопрос о возвращении изгнанного, о нем вспоминают уже и без ненависти и без интереса. Трех лет, протекших с тех пор, как он покинул мировую арену, оказалось достаточно, чтобы забыть великого актера, который подвизался во всех ролях; молчание простирается над ним, как стеклянный катафалк. Для света не существует более герцога Отрантского; только какой-то старый человек, усталый, желчный и чужой, в угрюмом одиночестве гуляет по скучным улицам Линца. То тут, то там подрядчик или коммерсант вежливо приподымет шляпу перед согбенным, больным стариком, никто его больше не знает и никто о нем не вспоминает. История, этот адвокат вечности, самым жестоким образом отомстила человеку, который всегда думал лишь о мгновении: она заживо похоронила его.

Герцог Отрантский окончательно забыт, и никто, кроме нескольких чиновников австрийской полиции, не за-

мечает того, что в 1819 году Меттерних наконец разрешает герцогу Отрантскому переехать в Триест. Он делает это лишь потому, что знает из достоверных источников — эта маленькая милость оказывается умирающему. Этого беспокойного, жадного до работы человека бездельность утомила и подорвала больше, чем тридцать лет каторжной работы. Его легкие отказываются работать, ему вреден суровый климат, и Меттерних дарует ему для смерти более солнечное место — Триест. Там еще можно изредка видеть сломленного человека, который тяжелыми шагами направляется к мессе и, сложив молитвенно руки, преклоняет колени перед скамьями: тот самый Жозеф Фуше, кто четверть века тому назад своими собственными руками разбивал на алтарях распятия, теперь, склонив седую голову, преклоняет колени перед «постыдными знаками суеверия». Возможно, что его охватила тоска по тихим переходам трапезных старого монастыря, в котором он вырос. Что-то в нем совершенно изменилось, этот старый интриган и честолюбец желает лишь мира со всеми своими врагами. Сестры и братья его великого противника, Наполеона, также давно низложенные и забытые светом, приходят навещать Фуше. Они доверчиво болтают с ним о прошедших временах, и все эти посетители поражены, каким поистине кротким сделала этого человека усталость. Ничто в этой жалкой тени не напоминает больше того страшного и опасного человека, который в течение двух десятков лет дурачил мир и подставлял ножку величайшим людям своего времени. Он жаждет лишь мира, мира и спокойной смерти. И действительно, в свой последний час он примиряется с богом и людьми. Да, он примирился с богом, этот старый воинствующий атеист, гонитель христианства, разрушитель алтарей, в последние дни декабря он посылает за «отвратительным обманщиком» — за священником (так он называл его в майские дни своего якобинства) и с молитвенно сложенными руками принимает соборование. Он примирился и с людьми: за несколько дней перед смертью он приказывает своему сыну открыть его письменный стол и вынуть все бумаги. В камине разжигают большой огонь, в него бросают сотни и тысячи писем, а с ними, вероятно, и те страшные мемуары, перед которыми дрожали сотни людей. Была ли

это слабость умирающего или последнее, позднее проявление доброты, страх ли перед потусторонним миром или грубое равнодушие — во всяком случае, проникшись новым и почти набожным настроением, он, умирая, уничтожил все, что могло скомпрометировать других и чем он мог отомстить своим врагам, впервые, утомленный людьми и жизнью, стремясь вместо славы и власти к иному счастью — к забвению.

26 декабря 1820 года эта своеобразная, отмеченная необычайною судьбою жизнь, начавшаяся в гавани северного моря, заканчивается в городе Триесте на южном море. И 28 декабря тело беспокойного перебежчика и изгнанника предают земле. Известие о смерти знаменитого герцога Отрантского сперва не возбуждает большого любопытства. Только легкий, слабый дымок воспоминаний поднимается на мгновение над его угасшим именем и почти бесследно исчезает в успокоившемся небе времени.

Но четыре года спустя еще раз вспыхивает беспокойство. Распространяется слух, что должны появиться мемуары, написанные тем, кого так страшились. У кое-кого из властителей и у тех, кто спешил слишком дерзко обрушиться на низложенного, пробегает по спине озноб. Неужели еще раз говорят эти опасные уста, теперь уже из могилы? Неужели выплывут на свет из мрака полицейских архивов припрятанные там документы, слишком доверительные письма и компрометирующие доказательства? Но Фуше остается верен себе и после смерти. Мемуары, выпущенные ловким книготорговцем в Париже в 1824 году, так же ненадежны, как и он сам. Даже из могилы не выдает всей правды этот упрямый молчальник, и в холодную землю ревниво уносит он свои тайны, чтобы самому остаться тайной, полумраком и полусветом, образом, не разгаданным до конца. Но именно поэтому снова влечет его тайна к инквизиторскому искусству, в котором он сам мастерски подвизался: по мимолетно промелькнувшему следу воссоздать весь его извилистый жизненный путь и в переменах его судьбы распознать внутреннюю сущность того типа людей, к которому принадлежал этот своеобразнейший политический деятель.

## СОДЕРЖАНИЕ

Мария Стюарт. Перевод Р. Гальпериной	5
Жозеф Фуше. Перевод П. Бернштейн	395

Стефан Цвейг.  
Собрание сочинений в 7 томах.  
Том IV.

Редактор  
Н. В ы с о ц к а я.

Технический редактор  
А. Ш а г а р и н а.

---

Подп. к печ. 3/IV 1963 г. Тираж 385 000 экз. Изд. № 545. Зак. 543  
Форм. бум. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Физ. печ. л. 19,5+4 вкл. иллюстраций  
Условн. печ. л. 32,39. Уч.-изд. л. 32,13. Цена 90 коп.

---

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.  
Москва, А-47, улица «Правды», 24.

